НЕСТОР МАХНО







Василий Голованов

ЖИЗНЬ ЗАМЕЧАТЕЛЬНЫХ ЛЮДЕЙ


SHOUT
SHARE
IT

Annotation

Личность одного из лидеров революционного анархизма Нестора Махно (1888–1934) и сегодня вызывает большой интерес в обществе. Обнародованные после долгого запрета документы позволяют увидеть в нем не анекдотическую фигуру, созданную советским агитпропом, а незаурядного полководца и организатора, пытавшегося воплотить на родной Украине идеалы свободы и справедливости. В огне Гражданской войны отряды Махно сражались против белых и красных, интервентов и петлюровцев. В неравной борьбе они были разбиты, их «батька» закончил жизнь в эмиграции, но его идеи не погибли. В последние годы появляется все больше трудов, авторы которых исследуют не только яркую личность Махно, но и его теорию и практику самоорганизации общества в противовес подавляющей власти государства. Книга писателя Василия Голованова – одно из лучших исследований феномена Махно, сочетающее строгую документальность с художественным мастерством изложения.

В книгу включены многочисленные фотографии.

- Василий Ярославович Голованов
  - ОТ АВТОРА
  - ЧЕМОДАН ТАМБОВСКИХ БУЛОК
  - ПО ТУ СТОРОНУ МИФОВ
  - ЕГО УНИВЕРСИТЕТЫ
  - ПЕРВЫЕ ШАГИ
  - ЗУБКИ ПРОРЕЗЫВАЮТСЯ
  - МОСКВА
  - ВОССТАНИЕ
  - ПРОКЛЯТЫЙ ГОРОД
  - КОМБРИГ МАХНО
  - ФРОНТ ТРЕСКАЕТСЯ
  - МЯТЕЖ
  - ТРОЦКОМУ НУЖЕН КОЗЕЛ ОТПУЩЕНИЯ
  - ВСЕ КУВЫРКОМ
  - ЛИЦОМ К ЛИЦУ
  - БОЛЬШАЯ РУБКА
  - «АНАРХИСТСКОЕ ГОСУДАРСТВО»
  - СЪЕЗД. «ВСЯ ВЛАСТЬ СОВЕТАМ!»
  - РАЗГРОМ
  - ДВАДЦАТЫЙ ГОД
  - НЕИЗВЕСТНАЯ ВОЙНА
  - ПРОТИВ ВРАНГЕЛЯ

- КАПКАН
- ОКАЯННЫЕ
- ШАЛЬНАЯ ПУЛЯ
- В ИЗГНАНИИ. РУМЫНИЯ, ПОЛЬША, ДАНЦИГ
- ПАРИЖ: ПОСЛЕДНЕЕ ПРИСТАНИЩЕ
- ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНОЕ СЛОВО
- ОСНОВНЫЕ ДАТЫ ЖИЗНИ И ДЕЯТЕЛЬНОСТИ Н. И. МАХНО
- КРАТКАЯ БИБЛИОГРАФИЯ

• notes
- 1
- 2
- 3
- 4
- 5
- 6
- 7
- 8
- 9
- 10
- 11
- 12
- 13
- 14
- 15
- 16
- 17
- 18
- 19
- 20
- 21
- 22
- 23
- 24
- 25
- 26
- 27
- 28
- 29
- 30
- 31
- 32

Василий Ярославович Голованов
Нестор Махно

ОТ АВТОРА

Я хотел бы сказать несколько слов об этой книге. В годы юности, когда я порой ощущал себя мухой, завязшей в смоле, – из-за невыносимой неподвижности окружающего мира, словно бы остановившегося времени, словно бы омертвевшего языка и навеки застывшего казарменного пейзажа за окном, – в воображении моем стал появляться образ. Это был образ отряда, нарушающего мертвенный покой времени, разбивающего его, взламывающего его огненной энергией взрыва. Я видел так: блестит река. Разбрызгивая сверкающую на солнце воду, ее переходят кони. Люди верхами. Широкие спины, потные, вылинявшие гимнастерки, ремни портупей, сабли, винтовки. С грохотом скатываясь с кручи, к реке спускаются тачанки. Одновременно голова колонны выходит на противоположный берег. Виден одинокий всадник, над головой которого полощется черное знамя.

Это отряд Махно.

Временами, особенно в тех случаях, когда из привычного мне мира я попадал в совершенно иной мир, соприкасающийся с отправлениями Власти, – скажем, после очередного визита в начальственный кабинет, после какого-нибудь тягостного, бессмысленного, лживого разговора, – я понимал, что хотел бы оказаться на одной из тачанок отряда. Ложь Системы была слишком самоуверенной, слишком наглой. Зло ее казалось абсолютным и незыблемым, поэтому бунт против нее казался естественным и, возможно, единственным способом сохранить самоуважение и чувство собственного достоинства. По сравнению с заплесневелой бумажной жизнью Системы, жизнь переходящего реку отряда казалась мне чрезвычайно подлинной, подлиннее окружающей бредовой реальности – хотя нас с отрядом разделяло непреодолимое время. Я чувствовал: эти люди полны силы и отваги. В их руках настоящее оружие. А главное – в них есть решимость, перед которой, я знал, Система не устояла бы. Ее надменные чиновники валялись бы в пыли у конских копыт, лживо вымаливая прощение, их трусливые, жестокие стражи разбежались бы, их наглые слуги предали бы их. Это было бы торжество справедливости. Кратковременное, быть может, но торжество. Собственно говоря, торжество не может и не должно слишком затягиваться.

Я честен с читателем и потому открыто исповедуюсь в юношеском чувстве, из которого родилась эта книга. Тогда я почти ничего не знал о Махно. Интерес к нему был, пожалуй, не

более чем символическим протестом против мертвечины тех лет, которые верно, в общем-то, поименованы периодом застоя. Но, как всякий интерес, он по крупицам притягивал к себе факты. Постепенно их стало много, возникло желание их систематизировать. Мне захотелось рассказать самому себе, кем же, собственно, был Махно. На систематизацию и восполнение пробелов в знаниях ушло лет пять. На раздобывание редких сведений и шлифовку не вполне чистых от налипшей грязи истории фактов – еще пять. Так появилась эта книга.

За эти годы случилось слишком многое, чтобы образ человека, стоящего в центре повествования, не претерпел изменений. Время утратило неподвижность и понеслось вперед, порой даже слишком ходко. Мы стали свидетелями маленьких революций и немалых подлостей, зрителями и современниками крушения грандиозной коммунистической Системы и создания на ее месте новой Системы.

Это позволило многое понять. Поэтому то, что я написал, – не только биография Нестора Махно. Это книга о мистике истории. Об обреченности революционера-романтика, идущего на любые жертвы за народное дело. Поначалу этот образ казался мне привлекательным. Потом выяснилось, что это – образ убийцы, и с этим пришлось смириться, ибо революция – кровавое и страшное дело, в котором меньше всего значат что-либо благие намерения. Все, кто в 1917–1918 годах взял в руки оружие с решимостью пустить его в ход, делали это с сознанием своей исключительной правоты, во благо Родины, во имя человека. Война не оставила камня на камне от этого пафоса. Романтики оказывались кровавыми злодеями, патриоты России – ее предателями, добро и зло слились в какой-то невероятный сплав, который и не снился средневековым алхимикам.

Старая Россия, Россия, о которой мы порой бесполезно жалеем, в прежнем своем виде гигантской империи, простирающейся от Польши до Дальнего Востока, не могла, конечно, сохраниться: в ней много было ценного и живого (что, к несчастью, погибло), много гнилого и мертвого (что как раз не выгорело, а уцелело) и слишком много оставалось неизжитых обид, слишком много сосуществовало культур и времен (от XV века до XX), чтобы быть спокойным за ее существование. Вступив в мировую войну, страна вошла в поле такого жуткого напряжения, что не выдержала и разломилась. Я убежден, что если бы Россия не вступила в войну, не заразилась окопным ожесточением, все изменения совершились бы иначе. Но у ожесточения есть своя жуткая логика. Оно разрушило империю. Потом революция истребила уничтожителей империи. А на

следующем витке – и уничтожителей уничтожителей.

Иногда кажется странным, что столетние поиски «правды» в России завершились – после взрыва революции – колоссальной ложью большевизма. Крушение которого, в свою очередь, вызвало к жизни новую ложь. Я сам был свидетелем трехдневной революции в августе 1991 года, когда в Москве – в очередной уже раз – возводились баррикады. В какой-то ничтожной степени я был даже участником этих событий. Я знаю, что людей, которые строили баррикады, объединяли святые чувства – вернее, одно сложное чувство, которое очень трудно понять, не пережив его: чувство свободы, достоинства, обретенной правды. Это были дни острейшего переживания подлинности бытия. Отряд все-таки перешел сверкающую солнцем реку…

Но этими чувствами воспользовались совсем другие люди. Так бывает всегда. К каким последствиям это приведет, мы не знаем. Мистика истории заключается в том, что иногда лучше проиграть, чем выиграть. Кое-кто из революционеров понимал это. Махно не понял. Он хотел выиграть, и в этом его трагедия. История сжалилась над ним и из революционера сделала его бандитом. Политический бандитизм – подспудное, «внепарламентское» сопротивление крестьянства диктаторскому режиму партии Ленина – в конечном счете дал стране отдушину нэпа, а большевизму – шанс, который он не использовал. Трагедия большевиков в том, что они победили всех. И, как в русской народной сказке, за это право победы заплатили всем живым, что было в революционном движении: окаменели сначала по колена, потом по грудь, потом по самую макушку головы – самим мозгом окаменели.

Еще эта книга о живых людях. О правде, которую носят в себе они. О том, что в реальном, живом человеке желание правды, желание полнокровной, полноценной жизни никогда не угасает. Иначе существование теряет всякий смысл. Если бы это был роман, героем его я сделал бы семнадцатилетнего комсомольца 1919 года Женю Орлова, который, будучи уже глубоким стариком, встретился мне и очень помог в работе. Может быть, именно тем, что сохранил в себе азарт, чувство жизни, кипучей силы ее, романтизм революционной эпохи…

Мы плохо понимаем, к сожалению, какими тайными тропами чувства правды, подлинности бытия и свободы ходят по земле в самые жестокие, огнеомраченные годы, почему они не разлагаются в болотном гниении умирающих режимов. Но именно на этих слабых – по сравнению с силой материального, вещного мира – чувствах и держится, как кажется мне, единственная надежда современной цивилизации, которая

подошла к опасной черте стирания человеческой индивидуальности, чем, вероятно, готовит гибельные последствия для себя.

В этом смысле Махно во всей чрезмерности своих благих порывов и злодейства, во всей отвратительности и привлекательности своей – безусловно, фигура яркая и знаменательная. Если взглянуть на бунт как на особую культуру и представить себе посвященную этой культуре «Всемирную энциклопедию бунтарства», то имя Нестора Махно, конечно, должно быть вписано туда одним из первых.

Я хотел написать эту книгу, как средневековую хронику – устранив авторское «я», изложить читателю факты в их хронологической последовательности. Это не вполне удалось. Стройной и строгой хроники не получилось. Получилась книга, архитектурно представляющая собой почти чудовищное построение. Но так уж вышло. Зато мне, кажется, удалось другое: представить события того времени наглядно, как в кино, показать время в страшных терзаниях и противоречиях его, которые не могли и не могут быть осуждены однозначно.

Да и нужно ли судить? Ведь, возможно, единственная цель книги, которую я написал, состоит именно в том, чтобы передать читателю образ отряда, переходящего реку на пути к свободе…

ЧЕМОДАН ТАМБОВСКИХ БУЛОК

Заглянем сначала в Москву, в промозглый, дождливый июнь 1918 года. В это время здесь завязываются узелки драмы, которая до последнего времени будет оставаться одной из самых кровавых и темных страниц революции и Гражданской войны. Чтобы разглядеть завязи дальнейших исторических потрясений, нам придется обойти стороной партийные споры и правительственные декреты, по которым так искусительно легко пишется официальная история. Интересующие нас люди слишком далеки от высших сфер, где решаются судьбы народа. Они пока что на периферии истории, в массовке, и лишь подготавливаются для исполнения сольных партий на исторической арене.

Итак – Москва, июнь 1918-го. Еще остается месяц до возмущения левых эсеров. Еще несколько дней до декрета о комбедах. Еще несколько дней не будет ясно, что недоразумения с продвижением чехословацкого корпуса в Поволжье и Сибири означают начало невиданной по масштабу междоусобицы. Вторжение немцев с Украины на Дон вызвало вспышку белого пламени, но и это, по сути, было только офицерской увертюрой к драме совсем иного порядка… Москва жила дурными предчувствиями, однако жизнь в ней была хоть и скверная, но вполне еще мирная. Убийства. Грабежи. Карточки на табак. Из школьной программы изъяты Закон Божий и основы вероучения. Погиб под трамваем знаменитый актер Мамонт Дальский, анархист и пьяница, – тело отпели в церкви Рождества Христова в Кудрине, а хоронить повезли в Петроград.

Происходили уплотнение квартир «буржуев» и национализация Третьяковской галереи. Случился также угон прямо из гаража автомобиля немецкого посла графа Мирбаха. Напечатан декрет Троцкого о мобилизации в Красную армию. В газетах регулярно публикуются сводки о продуктах, подвозимых в Москву. Объявлено, что нарком просвещения Луначарский с вооруженным отрядом и восемнадцатью вагонами ходового товара отправляется в «хлебную экспедицию» в Вятскую губернию. Эта акция должна была стать как бы визитной карточкой новой продовольственной политики советской власти.

Тридцатипятилетие освящения храма Христа Спасителя праздновали в тяжелые для церкви дни: патриарха Тихона, 8 июня служившего в храме торжественную литургию, вызывали повесткой в ревтрибунал. Он не явился, чувствуя, что дело клонится к его аресту. Действительно, ряд священнослужителей были арестованы безо всяких повесток. Вообще, со времени

обнаружения в конце мая заговора «Союза защиты родины и свободы» репрессии власти чрезвычайно усилились. Одно за другим следуют мероприятия: аресты членов кадетской партии. Регистрация офицеров. Аресты и обыски в Петровской сельскохозяйственной академии. Дело земцев. Дело анархистов. Дело Щастного.[1] Лихорадило Звенигород. Трясло Клин. С начала июня Москва, вследствие «обнаружившейся связи» московских заговорщиков с белыми мятежниками в Сибири и на Дону, объявлена постановлением Совнаркома на военном положении. Вскоре режим военного комендантства избрала и близлежащая Кострома «в связи с упорно циркулирующими слухами о предполагавшемся расхищении продовольственных грузов и разгоне губернского совета распределения» (68, 5 июля 1918 г.).[2]

Впрочем, мирная жизнь еще тлела. В Художественном театре представляли «На дне», в студии Художественного – «Двенадцатую ночь», в театре Незлобина – историческую драму «Царь Иудейский». Народный кинематограф в цирке Саламонского шокировал зрителя картиною «Месть женщины – чудовищная месть». В Московском университете, как сообщала интеллигентная «Свобода России» (5 июня 1918 г.), «И.А.Ильин защитил диссертацию, представленную им на соискание степени магистра государственного права на тему „Философия Гегеля как учение о конкретности Бога и человека…“. Во вступительном слове диссертант говорил о своеобразном нечувственном опыте философского познания».

А левоэсеровское «Знамя труда» (11 июня 1918 г.) в день принятия декрета о комбедах опубликовало есенинский «Сельский часослов», который, как током, искрит смертным смятением и тоскою: «Где моя родина?» Где моя Родина, где Русь, что с ней случилось, что над нею сделали? – начался есенинский стон отныне и до смерти. О, как хотел бы видеть он Сына русской девы, укрытого от гибели в «синих яслях» Волги, чтобы, возросши, мог он возвестить миру новую истину! Но Сын ли приидет, или родина со свиньею вместо солнца вынырнет из купели гибели? Нет уверенности ни в чем, нет, нет! И оттого – будто плач:

Гибни, край мой!
Гибни, Русь моя,
Начертательница
Третьего
Завета…

В эти самые дни в город на поезде прибыл человек. Несмотря

на заградотряды, которые отлавливали мешочников, человек этот привез с собой чемодан тамбовских белых булок, ибо слыхал, что в Москве голод, а дело его было тонкое – добиться знакомства с авторитетами революционного движения и уяснить себе, что же все-таки происходит с революцией и насколько далеко зашло размежевание между различными конфессиями октябрьской веры. По сохранившейся фотографии 1918 года видно, что человек этот был мал ростом, субтилен, узкоплеч, коротко острижен. Одет, по моде того времени, в гимнастерку с портупеей и кирзовые сапоги. Можно с уверенностью сказать, что занятая собою Москва не заметила этого человека: никого особенно не интересовал этот провинциальный революционер, бежавший с Украины от немцев, ибо подобные ему обретались тогда в столице во множестве. Через полгода он заставит надменные большие города считаться с собой.

Звали этого человека Нестор Махно.

ПО ТУ СТОРОНУ МИФОВ

В истории революции едва ли сыщется другая, столь же противоречивая и туманная фигура, как Нестор Иванович Махно. Впрочем, точнее было бы говорить о противоречивости образа, созданного советской исторической наукой и породненными с Клио музами искусств. В случае с Махно мы вновь сталкиваемся с грандиозной фальсификацией, разработку которой десятки лет осуществляли и официальная историческая наука, и литература, и кино, преследуя одну, по сути своей прикладную, задачу: оправдать безраздельное политическое господство партии и ее историческую правоту.

Нет ничего удивительного в том, что в отношении Нестора Махно советская история предпочитала фигуру умолчания: за всем, что связано с махновщиной, стояла такая ужасающая правда о Гражданской войне, что лучше было ее просто не трогать. К тому же он пробивал свой путь в революции и, как всякий независимый революционер, подлежал забвению. Сам Махно понимал это. Поэтому он пытался перехватить инициативу и незадолго до финала своей борьбы просил соратника Петра Аршинова пробраться за границу и во что бы то ни стало написать и издать книгу о махновщине. Аршинов сделал это: «История махновского движения» появилась в Берлине в 1923 году. Но в СССР, в отличие даже от мемуаров многих стопроцентных белогвардейцев, она оставалась запрещенной, ибо касалась очень больного для коммунистической власти вопроса – взаимоотношений с крестьянством, которое лишь к 1922 году было окончательно усмирено и политически обезглавлено.

Советский опыт доказал, что умолчание – наиболее эффективное средство против исторической памяти. Конечно, вытравить из этой памяти образ «батьки» интерпретаторам истории было не под силу: Махно был слишком одиозной фигурой. Но зато можно было наполнить этот образ новым содержанием. Решающая роль в этом деле принадлежит, конечно, массовой культуре – литературе и кино, без которых подобные идеологические операции просто невозможны.

Интереснее всего то, что в воспоминаниях о Махно и махновщине позволительно говорить о жутких сторонах русской революции. Сюда, в махновщину, в повстанчество, вытесняются все застарелые комплексы большевизма и угрызения партийной совести. Повстанчеству приписывается то, в чем люди честные и совестливые в свое время обвиняли самих большевиков: неоправданная жестокость, ставка на силу, на инстинкты и

амбиции масс, политическая безапелляционность, бестолковая, разрушительная революционность, непонимание законов функционирования цивилизованного общества, в том числе и роли государства.

Разве матросы с «Авроры» взломали винные погреба Зимнего? Нет, это махновцы вылакали винные погреба в Бердянске! Разве большевики обкладывали контрибуциями буржуазию, чтобы залатать финансовые дыры в расстроенных бюджетах городов? Нет, махновцы, махновцы! Разве Саенко – харьковский чекист и отпетый палач – был проклятием Украины? Нет, живодером мог быть только Левка Задов из махновской контрразведки. Разве большевики уничтожали сложившего оружие противника? А вот махновцы расстреливали пленных юнкеров по-над берегом Азовского моря.

Махновцы – не свои, поэтому они могут быть и плохими, и страшными. Народ Ленина хорош. Народ Махно темен, жесток, раздираем поистине самоубийственными противоречиями.

Другой момент: Махно был всегда особенно ненавистен советской власти как вождь и вдохновитель крестьянской войны. Отсюда и вполне определенная тактика «понижения» его образа – упор на примитивность Махно, отношение к нему свысока как к провинциалу. Причем провинциализм его двоякого рода. С одной стороны, Махно – политический провинциал, приверженец анархизма, так и не понявший «передового» марксизма, неизбежного торжества и благородства большевистского дела, а заодно и чести, которая была ему оказана. С другой стороны, он провинциал по происхождению, сын кучера, неуч, деревенщина. Каким бы демократизмом ни отличалась советская мемуарная и художественная литература, в отношении Махно позволительны брезгливо-аристократические нотки. Он примитивно, зримо жесток. Примитивно, зверообразно хитер – именно этой врожденной хитростью, а не военной одаренностью Махно и его командиров и объясняются военные успехи махновцев.

Примитивизация Махно и его окружения стала настолько устойчивой традицией, что даже в книге 1990 года советский историк В. В. Комин (и, что примечательно, за ним другие) в очередной раз повторяет историю о разговоре Махно с рабочими железной дороги, которая всплывает всякий раз, когда надо засвидетельствовать, как мало Махно понимал в жизни и экономике современного ему общества. Когда повстанцы в 1919 году захватили Екатеринослав, железнодорожники обратились к Махно с просьбой выдать им зарплату, задержанную при белых. Махно якобы ответил: «Повстанцы разъезжают на тачанках, им ваши железные дороги не нужны. Пусть же кто катается в поездах

и расплачивается с вами» (33, 47). Известно, что свой ответ железнодорожникам Махно напечатал в повстанческой газете «Путь к свободе». И текст его известен. Никаких слов о тачанках и ненужности железных дорог там нет. Откуда же тачанки? Это, так сказать, чистый пропагандистский фольклор начала двадцатых годов. А наш современник просто не смог удержаться от искушения показать, что Махно, дурачок, не понимал такой малости…

Но самых выдающихся успехов достигло художественное слово.

Советская власть никогда не простила Махно ни первой любви, в которой, казалось, выявилось столько единодушия, столько воистину родственного, ни своеволия, которое он противопоставил диктату обеих столиц. Со злобой уязвленного самолюбия – словно капризная, властолюбивая женщина, находящая особое удовольствие в шельмовании отвернувшегося от нее любовника, – она с помощью всех доступных ей средств постаралась представить его образ в издевательском, карикатурном виде.

Заглянем на минутку в творческие мастерские двух крупных советских писателей, стараниями которых лишенный исторического контекста образ Махно вновь обретал плоть и кровь. Итак, Всеволод Иванов, роман «Пархоменко», 1939 год. По-своему уникальный пример трактовки событий Гражданской войны с точки зрения сталинских исторических ориентиров. Махно здесь нарисован с убедительной, конкретной зримостью. Это жестокий, патологически вероломный, бандитствующий атаман, по поводу которого неясно только одно – почему советская власть до сих пор его не прихлопнула? В публикуемом ниже отрывке речь идет о якобы имевшем место визите к Махно атамана Григорьева, который, восстав против большевиков, был разбит и кинулся спасаться к Махно, хитренько схоронившемуся в стороне от ссоры.

«…Махно встретил его на крыльце. Он стоял, расслабленно выставив вперед живот, прогнув поясницу и склонив набок голову с длинными волосами, мелкими глазками и зубами. Стараясь не глядеть в лицо Махно, атаман Григорьев вылез из брички и, схлопывая пыль с сапог, подошел к крыльцу.

– Кто против вас шел? – спросил Махно.

– Ворошилов.

Махно, накручивая волосы на палец, спросил:

– А на Екатеринослав кто наступал?

– Наступал Пархоменко, – ответил Григорьев.

– Большой волк вырос, – сказал Махно и, посторонившись,

добавил: – Пожалуйте, атаман, в хату, будем совещаться.

Совещание было краткое. Восстановить разговор двух друзей вряд ли кому удастся. Махно считал вредным давать кому-либо объяснения своих поступков. Только когда на звук выстрела в комнату его вбежал адъютант, он сказал, указывая на труп Григорьева:

– Поспорили, – и пошел к Ламычеву».

Ламычев – посланец от большевиков. Подойдя к нему и опять начиная накручивать волосы на палец, Махно говорит:

«– Мятежник, атаман Григорьев, мною казнен. Есть доказательства, что я подчиняюсь советской власти? Передай, на каких условиях я получу оружие…» (25, 386–387).

Для читателя, незнакомого с историей Гражданской войны, в этом отрывке все правдоподобно, хотя в нем нет ни слова правды. Но уж такова сила художественного слова, что для неспециалиста ничего подозрительного в этом батьке Махно нет. Нормальный батька. Вполне доброкачественный. Хотя, надо признать, образ отделан грубовато. Важнейшей и по существу единственной характеристикой, сразу отличающей Махно от положительных персонажей, являются его длинные волосы. Это не только знак принадлежности к чуждому политическому течению – анархизму, но и символ более глубинной, почти биологической инаковости. Особенно отвратительным автору представляется жест накручивания волос на палец. Эта деталь – видимо, намек на изломанность, «женственность», непоследовательность, коварство – с особой значительностью повторяется им дважды. У Багрицкого в «Думе про Опанаса» Махно охарактеризован также через прическу:

«…У Махна по самы плечи волосня густая…»

Тут уж не поймешь, в самом ли деле человек перед нами или уже зверь, – столько поистине животного в этой «волосне». Та же зверскость, звероподобность вычитываются, в конце концов, и у Всеволода Иванова, который наделяет Махно повадками уходящего от погони волка: «Виляя, спотыкаясь и иногда выскакивая в поле, иногда прячась в лес и всегда переодетый крестьянином, уже свыше тысячи километров скакал Украиной патлатый батько Махно» (25, 591). Лохматы и сподвижники Махно, например, «батько Максюта, коренастый мужик с длинными сальными волосами, с серьгой в ухе, похожей на запонку, бывший конокрад и вор» (25, 357).

Суммируя впечатления, мы должны будем признать, что перед нами – выродки. Политические характеристики их предельно упрощены. У Багрицкого смысл махновщины выявляется в поступке Опанаса, убившего комиссара Когана. Вс.

Иванов совсем лаконичен: «Бей жидов и грабь буржуев» (25, 361).

Гораздо тоньше сработан Махно Алексеем Толстым в «Хождении по мукам». Сам Махно Толстого интересует, по-видимому, сравнительно мало. Махновщина, которая, несомненно, была глубоко отвратительна сердцу русского барина, каковым автор трилогии был до революции и с успехом оставался после нее, занимает Толстого только как экзотический фон, на котором разворачиваются перипетии романа. Но, несмотря на личную неприязнь и идеологическую скованность, писатель все же дает понять, что фон этот глубоко драматичен.

У Иванова Махно – только выродок, тварь. У Толстого – внушающее ужас порождение того самого народа, о пробуждении которого так долго мечтала русская интеллигенция и которое само по себе оказалось так ужасно. Кого же породил народ, кто стоит во главе его? Злой карлик, бес, оборотень. Вспомним, как Рощин впервые повстречал Махно по дороге в Гуляй-Поле: «Навстречу ему ехал человек на велосипеде, вихляя передним колесом. За ним верхами – двое военных в черкесках и заломанных бараньих шапках. Маленький и худенький человек на велосипеде был одет в серые брюки и гимназическую куртку, из-под околыша синего с белым кантом гимназического картуза его висели прямые волосы почти до плеч» (76, 154). Рощин не может знать, что этот зловещий гимназист со сморщенным желтым лицом и высоким, «застревающим в ушах» голосом – оборотень, сам Махно, обладающий опасной для противника способностью менять свои обличья.

Оборотничество – черта бесовская. Изображаемый Толстым Махно – безусловно, бесовского племени. Он обладает рядом качеств, отличающих его от простых смертных. Даже пьет и пьянеет Махно иначе, чем обычные люди. В момент, когда Рощин оказывается в штабе Махно, тот стоит на распутье. С одной стороны, приехал делегат от большевиков матрос Чугай, чтобы договориться о совместном походе на Екатеринослав. С другой – прибыл посланник анархистской федерации «Набат» Лев Черный, чтобы отвадить от союза с большевиками. «Армия ждала. Делегат Чугай и мировой анархист из Харькова ждали. Махно пил спирт, не теряя разума, нарочно чудил и безобразничал – глаз его был остер, ухо чуткое, он все знал, все видел. Злоба кипела в нем» (76, 60). Злоба Махно такой нечеловеческой интенсивности, что перед нею клубком сворачивается жестокая душа палача и пытателя Левки Задова. Эта злоба – как судьба, с которой ни сам Махно, ни окружающие его люди ничего не могут поделать: «Махно гулял. В добытой после налета на Бердянск гимназической форме колесил на велосипеде напоказ всему городу, или вместе со своим

адъютантом Каретником пел песни под гармонь, или появлялся на базаре, злой и бледный, ища ссоры, но все от него прятались, зная, как легко у него из кармана штанов вылетает револьвер» (76, 159).

Исторической правды ради можно, конечно, отметить, что никакой матрос Чугай на переговоры в Гуляй-Поле не приезжал, так же как и «мировой анархист» Лев Черный, введенный в повествование, похоже, только для того, чтобы высказывать блистательные глупости именем анархии; Левка Задов не был палачом – о чем отдельно. Не случился еще и налет на Бердянск, да и вообще про Екатеринослав совсем не так договаривались. Однако все это отнюдь не снижает жизненности образа. Именно таким батька Махно десятки лет представлялся большинству наших соотечественников.

Но сегодня и эта мастерская литературная работа нас абсолютно не устраивает. Не так все просто – чувствуем мы. Мы достаточно уже много знаем о революции, чтобы верить, будто все дело в этом злобном существе с мальчишеской фигуркой… Или попробуйте объяснить, как он выдержал три года на ринге Гражданской войны, когда в одночасье погибали между тектоническими плитами двух воюющих станов крутые и бывалые атаманы, что ходили до самого Киева. Здесь трагедия иного масштаба. Слышите, набат гудит, кони ржут, бряцает железо? Это деревня собирает своих хлопцев, выставляет на фронт свои полки. Это происходит то, о чем еще Михаил Бакунин мечтал, как о лучшем средстве покончить с мерзостью российской жизни, – народный бунт, который, как огнем, вычистит всех паразитов с тела земли, чтобы на ней, удобренное их пеплом, широко, свободно раскинулось плодоносное древо народной жизни. Наивный был человек Михаил Александрович, раз верил, что без господ, без паразитов прекрасно все устроится и такой благодатью разольется народный дух…

А взбунтовавшийся народ избрал своим вождем Нестора Ивановича Махно, которого с таким чувством описал нам пролетарский писатель Алексей Толстой. Хотя и не надо представлять Махно монстром, чтобы выявить трагизм ситуации. Махно не выродок, он персонаж народной войны, выдвиженец и боевая душа народа, его ненависть – вот где узел, не распутав который, нам никогда не разобраться в ситуации. Он в точном смысле слова народный герой, прошедший через все злодеяния и все подвиги восставшего народа. И сколько бы мы ни упрямствовали в своем беспримерном народолюбии, придется признать, что вождь, в общем-то, был адекватен своему народу.

Когда В. Г. Короленко в письме к А. В. Луначарскому сказал о

Махно как о «среднем выводе украинского народа», он имел в виду как раз то, что его личность вполне соответствовала крестьянским представлениям о вожде: грамотный (но не интеллигент), умный (но неискушенный в политике, дипломатии, экономике), хитрый (но недальновидный – отличный тактик, скверный стратег), неприхотливый, не терпящий болтовни и казенщины, прежде всего полагающийся на силу, на пулеметы, на «рубку». Даже власть, которой, как ни грешно это было для анархиста, Махно тешил себя, тоже привлекала его именно вещными, чувственными, зримыми атрибутами: коляской, обитой небесного цвета сукном, ладно пригнанной портупеей, хлебом-солью, с поклоном поднесенным на рушнике, самим титулом – «батька».[3]

Обязательно нужно сказать, почему народный герой оказался смертельным врагом «народной власти», которую представляли большевики, почему их классовая теория на Украине не сработала и почему она, в принципе, не может сработать иначе, чем с эффективностью топора в хирургической операции. Но мы о другом.

Когда Ленин незадолго до октября 1917-го в «Государстве и революции» мечтательно (и даже как будто веря в это) пишет о знаменитой кухарке, которая вечером, после работы, будет управлять советским государством, предполагаемым как совершеннейшая форма демократии, он немногим отличается от Бакунина, полагавшего, что народу, в принципе, никаких советов давать не надо, поскольку народ сам располагает рецептами обустройства справедливой и свободной жизни…

Что ж, в новейшей истории редко встречались примеры столь полного осуществления народовластия, как в России в 1917–1918 годах и на Украине в 1918–1919 годах. Махновщина, например, – самое что ни на есть полное, самое искреннее воплощение этой идеи. И когда позднее идеологи большевизма пытались доказать, что ничего общего с «истинным» народовластием махновщина не имеет, это была ложь, для части из них бессознательная, но частью – хорошо осознаваемая. Махновщина была поистине хрестоматийной попыткой «до основания» разрушить старый мир, а затем своею собственной рукой воздвигнуть новый. Говорю это совершенно серьезно: попытка была действительно самоотверженная. К сожалению, мы знаем о ней слишком мало, так же как и о том, во что она обошлась самому народу…

В наши дни Махно, частично или полностью «реабилитированный» рядом публикаций, даже в среде образованной читающей публики вызывает несомненные симпатии. Разбойники и мятежники были популярны всегда. В

таинственной глубине этой популярности лежит, может быть, подсознательное желание людей, в обыденной жизни вполне добропорядочных и законопослушных, в один прекрасный день по-своему, с помощью клинка и пулемета, рассчитаться с миром, который является источником их страданий и унижений, пошлости и несправедливости. Нужно, однако, оговориться: несмотря на целый ряд появившихся в России и на Украине интересных исследований, посвященных Махно и махновщине, и в биографии самого Махно, и в истории возглавляемого им повстанческого движения остается по сей день так много неясного, что для любителей жанра исторической фантазии остается широкий простор для самых смелых выдумок и компиляций. Именно в этом жанре выполнены книга Игоря Болгарина и Виктора Смирнова «Девять жизней Нестора Махно» и поставленный по ней фильм, где реальные факты густо разбавлены сущей небывальщиной. Книг, подобных «Девяти жизням», гораздо больше, чем научных исследований, проливающих свет на события вековой уже почти давности.

И поскольку популярный образ Махно и по сей день остается образом фантастического бандита, можно сказать, что большевикам блестяще удалась глубокая идеологическая диверсия, проведенная в середине двадцатых годов. Ее смысл заключался в том, чтобы низвести Махно из политического противника власти в разряд сопутствующих всякой войне авантюристов и «атаманов». Эта работа заняла никак не меньше десяти лет: с середины двадцатых в советских журналах одна за другой появляются статьи про Махно, выходят посвященные ему книги. Все это – воспоминания людей, знавших Махно лично или непосредственно столкнувшихся с махновщиной, а потому претендующих на доверие читателя. Здесь и «воспоминания» ближайших сподвижников Махно, и мемуары работавших в Повстанческой армии анархистов, статьи подпольщиков-большевиков и лиц частных, случайно оказавшихся в эпицентре махновщины. Но все эти публикации объединяет одно – разносторонне антипатичный образ «архибандита» Махно. Нет, не комбрига 2-й Украинской Красной армии Нестора Махно, награжденного за боевые заслуги орденом Красного Знамени. И не командира крестьянской Революционно-Повстанческой армии, упорно сражавшейся и против белых, и против красных и в конце концов вынудившей большевиков заключить с нею политическое соглашение, беспрецедентное в истории Гражданской войны. Нет. Махно – бандит, и только. Везде подчеркиваются его личное вероломство и жестокость, пьянство и необузданность его «армии». Все эти публикации богаты фактурой, «случаями»,

которые, собственно, и делают их правдоподобными – но именно эти «случаи» и не пускают авторов бестселлеров сегодняшнего дня выскочить из наезженной колеи, кружась в которой нам никогда не понять истинного места Нестора Махно в истории. Ну, в самом деле, как отказаться от такой вкуснятины, когда Махно, переодетый невестой, пожаловал к одному из помещиков и учинил там кровавую резню… О, эта кровь на подвенечном платье! Красное на белом! Как можно пропустить такое? И небылица с переодеванием снова и снова преподносится читателю как быль.

Все лживые факты, несуразности и неточности, связанные с именем Махно, опровергнуть невозможно – так их много. Я хочу подчеркнуть только одно – чтобы такое количество лжи наросло на имя одного человека, нужна государственная политическая кампания по шельмованию его имени. Не будет лишним сказать, что даже опубликованные отрывки из рассказов ближайших соратников Махно – Алексея Чубенко, Виктора Белаша и других – являются не чем иным, как их следственными показаниями, адаптированными для печати. Широко известная в свое время книга кающегося анархиста Иосифа Тепера «Махно» представляет собой сочинение человека, не просто разошедшегося с Махно в политических взглядах, но сломленного и завербованного ГПУ. Мог ли он написать правду? Разумеется, эта ложь в конечном счете выдает себя – но именно она прежде всего востребуется масскультом. Не странно ли это? Нет. Масскульт, выполняющий сегодня роль «тотальной пропаганды» прошлого века, по природе своей питается не истинными фактами, а вымыслом в красивой – или пугающей – обертке.

Разумеется, у всех, кто серьезно интересуется историей и социологией, расстановка акцентов сильно изменилась. Многие совершенно верно усматривают в махновщине «народную оппозицию» большевизму. Остается вопрос – мог ли Махно победить? Если напрямоту, то нет. Цивилизационно большевики были гораздо более созвучны наступившему тоталитарному веку, чем Махно с его вольнолюбивыми декларациями. Разумеется, в начале русской революции 1917–1922 годов ни у кого язык не повернулся бы сказать, что речь идет о родах первой в XX веке и никогда доселе невиданной государственной деспотии, первого тоталитарного режима, на которые минувшее столетие оказалось столь щедрым. По сравнению с большевистской «диктатурой пролетариата» махновщина – это романтический марш назад, в прошлое, ко временам Запорожской Сечи, вольности левобережного казачества, окрестьянившиеся потомки которого вновь пытались снискать себе свободу и братское равенство.

Анархизм был лишь современной формой, в которую облекались эти вековые умонастроения. Это вовсе не значит, что ленинский вариант марксизма был учением более «передовым», чем анархизм, до которого человечество, может статься, дорастет лишь в сравнительно отдаленном будущем. Но мы говорим не о философии, а об истории.

Если мы проанализируем с исторической точки зрения события, о которых пойдет речь, то увидим, что они обусловлены не только очевидными экономическими или политическими интересами, но и прорывом на поверхность глубоко архаичных форм народного сознания, определенных представлений о «воле», социальной справедливости, воинской доблести и т. п. Когда в Екатеринославе Махно устраивал аудиенции, во время которых нуждающиеся подходили к нему и, рассказав о своей нужде, получали от батьки в руки жменю бумажных денег, – что это было? Бесполезно судить об этом с современной точки зрения. Люди времен Гражданской войны были не такими, как мы, и думали тоже по-другому. И то, в чем нам может увидеться откровенное самолюбование или грубый пиар, им, скорее всего, казалось самым что ни на есть полным, буквальным исполнением справедливости.

Несмотря на вызывающую глубокое сочувствие идею самоуправления народа, которой вдохновлялись украинские крестьяне, махновщина все же была отступлением от цивилизации вспять. В этом смысле и анархизм повстанцев был точно таким же попятным движением, стремлением как бы вернуться во времена, когда государство не вмешивалось в дела вольных казаков. Это было не преодоление государства на основе налаженной самоуправляющейся экономической и общественной жизни и эволюционно значимого скачка в сознании, а отказ от государства, как от «лишнего», непонятного, ненужного явления. Власть, естественно, сохранялась – на уровне, так сказать, вечевой демократии, но более сложные ее структуры представлялись ненужными, паразитическими. Это было одной из причин того, что махновцам, в общем, не удалось пустить корни в городах, где они оказывались хозяевами. Тут они тщетно пытались овладеть системой, пользование которой превышало пределы их компетенции. Расстреляв противников, объявив вольности трудящемуся населению и обложив контрибуцией буржуазию, они смутно представляли себе, что делать дальше. Города становились ловушками: армия, проявлявшая в походах героизм и дисциплину, начинала разлагаться, промышленность еле теплилась, эпидемии свирепствовали с необузданной, средневековой силой. Фактически махновщина эффективно

функционировала лишь как военная организация. Ее ждал неизбежный конец всех народных движений: кровавое подавление, истребление вожаков, смутная, тревожная память потомков…

То, о чем будет рассказано, – трагедия с бесчисленными жертвами и нулевыми результатами. В чем причина такой ужасающей исторической несправедливости? Почему тысячи людей, воодушевляемых идеалами добра и правды, с такой жестокостью уничтожали друг друга? За что они погибли?

Не наше дело судить их. Наше дело понять. Как писал философ Хосе Ортега-и-Гасет, посвятивший проблеме «масс» отдельную книгу: «Нам нужно знать подлинную, целостную Историю, чтобы не провалиться в прошлое, а найти выход из него» (62, 154).

ЕГО УНИВЕРСИТЕТЫ

Когда в июне 1918 года Махно с чемоданом тамбовских булок появился в Москве, ему еще не исполнилось тридцати лет. За плечами у молодого человека был тот специфический опыт жизни, который, с известной долей условности, можно назвать биографией настоящего революционера. Он рано почувствовал несправедливость, трагический раскол общества на богатых и бедных, рано был втянут в революционную деятельность, рано попал в тюрьму. Как настоящий революционер, свои лучшие годы он провел в заключении. Здесь, в противодействии тюремной администрации, закалился и выковался его характер. Здесь, отсеченный от живой народной жизни, он приемлет от старших товарищей право говорить от имени народа. Впечатления его крайне ограничены, опыт односторонен, чувства обеднены. В душе довлеют упрямая ненависть и романтическое предвосхищение революции, того рода мечтательность, которую С. Л. Франк – правда, применительно к интеллигенции – называл «болезнью»: «Это настроение мечтательности и его отражение на нравственной воле, эта нравственная несерьезность, презрение и равнодушие к настоящему и внутренне лживая, неосновательная идеализация будущего – это духовное состояние и есть ведь последний корень той нравственной болезни, которую мы называем революционностью и которая загубила русскую жизнь» (81, 73).

Нелепо, конечно, ждать, что семнадцатилетний подмастерье, каким был Махно в начале своего боевого пути, стал бы размышлять подобным образом. Слова эти могли быть написаны только интеллигентом и только после «ужасающего потрясения» революции. Махно же был чернорабочим, эксплуатируемым и униженным существом, личное недовольство которого революционные теории возводили в ранг исторического приговора «старому миру». При других обстоятельствах «романтизм» юноши мог бы обнаружиться как-нибудь иначе – скажем, в бегстве за счастьем в Америку. Но он рос на Украине, и совсем под боком у него была романтика иного рода – романтика темного и героического революционного подполья.

Историкам о детстве Махно известно совсем мало. Все без исключения красочные подробности, изложенные в полюбившихся нашим книгоиздателям «Мемуарах белогвардейца» Николая Герасименко, относятся к ведению исторической мифологии и не содержат ни грана истины. Махно никогда не служил помощником приказчика в галантерейном

магазине в Мариуполе и никогда не выказывал свой дикий нрав, мстя за побои хозяину, не обрезал пуговицы на костюмах и не подливал касторовое масло в чайник с чаем. Не был он и типографским рабочим, не обучался грамоте у анархиста Волина и никогда не служил народным учителем «в одном из сел Мариупольского уезда» (15, 5). Все это, как и недвусмысленный намек Герасименко на сотрудничество Махно с полицией, – чистая, беспримесная фантазия, и остается только гадать, сам ли автор, уловив политическую конъюнктуру, стал ее творцом, или же он ограничился изложением побасенок, которые когда-то от кого-то слышал. Примечательно, что именно из популярных «записок» Герасименко, по-видимому, черпал свои познания о махновщине Алексей Толстой. Писатель вслед за Герасименко утверждает, например, что Махно отбывал царскую каторгу в Акатуе (что неверно), и для пущей убедительности вкладывает ему в уста слова:

«– На царской каторге меня поднимали за голову, за ноги, бросали на кирпичный пол. Так выковываются народные вожди» (76, 165).

Герасименко же подкрепляет подлинность своего рассказа воспоминаниями одного из махновских атаманов, бывшего матроса-потемкинца Чалого, который будто бы отбывал вместе с Махно каторжный срок в Сибири. На самом деле Чалый – фигура не более реальная, чем матрос Чугай у Алексея Толстого, но на этой фантастической фигуре все-таки лежит отсвет исторической правды. При этом правдой оказывается именно то, что кажется наименее правдоподобным: среди махновских командиров действительно был матрос с броненосца «Потемкин» – батько Дерменджи. Более близких к истине сведений о молодых годах Махно в книжке Герасименко, увы, нет.

Поскольку никаких исторических исследований и даже просто документов, посвященных детству Махно, не существует, нам остается лишь внимательно перечитать то, что Махно сам написал о своей семье и ранних годах своей жизни (сохранились его «Записки», бегло написанные в Румынии и Польше, и более подробная автобиография, которая под названием «Мятежная юность» была переиздана в Париже в 2006 году). Увы, нам не избегнуть длинных цитат. Но зато не придется делать лживый вид, будто мы исследовали проблему самостоятельно. Итак, в путь! Поверьте, нам представляется редкая возможность в подробностях проследить становление маленького бунтаря.

…Нестор Махно был пятым и последним ребенком в семье бывшего крепостного крестьянина Ивана Родионовича Михненко, который после реформы служил у помещика Шабельского

конюхом и скотником в деревне Шагаровой. Его фамилию, происходящую от имени «Михаил», в документах писали по разному – когда Михненко, когда Махненко, а когда и Махно. Ко времени рождения младшего сына (это случилось 27 октября 1888 года) Иван Родионович перебрался с семьей в ближнее село Гуляй-Поле,[4] что славилось своими ярмарками, выгодно устроился кучером к богатому заводчику Марку Кернеру, но вскоре умер, когда Нестору не исполнилось еще и года. Единственное, что отец успел сделать для него, – это записать дату рождения ребенка годом позже. Так делали, чтоб не отдавать в армию совсем уж юных сыновей и подольше держать их при хозяйстве. Позже этот «приписанный» год спас Махно жизнь – ибо суд, разбиравший его дело, считал его несовершеннолетним. Но тогда, в 1889-м, после смерти Ивана Родионовича, семья очутилась поистине в бедственном положении. На руках вдовы Михненко осталось пятеро братьев, мал мала меньше, а у семьи в Гуляй-Поле не было даже дома: по бедности строительство велось медленно, и будущее семейное пристанище представляло собой голые стены без крыши. Мать Махно, Евдокия Матвеевна, была русская – чем и объясняется тот факт, что Махно, рожденный на Украине, лучше говорил по-русски, чем на малороссийском наречии.

Гуляй-Поле представляло собой в ту пору большое селение тысячи в две дворов. Мемуаристка Наталья Сухогорская, случайно оказавшаяся в Гуляй-Поле в самый разгар махновщины, пишет: «При мне там было 3 гимназии, высшее начальное училище, с десяток приходских школ, 2 церкви, синагога, бани, почтовое отделение, много мельниц и маслобоен, кинематограф. Население – в подавляющем большинстве украинцы. Великороссов в Гуляй-Поле мало – больше учителя и служащие. Наоборот, очень много евреев-купцов и ремесленников, очень дружно живущих с украинским селянством…» (74, 37).

«…Смутно припоминаю свое раннее детство, лишенное обычных для ребенка игра и веселья, – пишет в своих „Записках“ Махно, – омраченное сильной нуждой и лишениями, в каких пребывала наша семья, пока не поднялись на ноги мальчуганы и не стали сами на себя зарабатывать. На восьмом году мать отдала меня во 2-ю гуляйпольскую начальную школу. Школьные премудрости давались мне легко… Учитель меня хвалил, а мать была довольна моими успехами. Так было в начале учебного года. Когда же настала зима и река замерзла, я по приглашению своих товарищей стал часто, вместо класса, попадать на реку – на лед. Катание на коньках с сотней таких же шалунов, как и я, меня так увлекало, что я по целым дням не появлялся в школе. Мать была

уверена, что я по утрам с книгами отправляюсь в школу и вечером возвращаюсь оттуда же. В действительности же я каждый день уходил только на речку и, набегавшись, накатавшись там вдоволь с товарищами, проголодавшись, – возвращался домой.

Такое прилежное мое речное занятие продолжалось до самой масленицы. А в эту неделю, в один памятный для меня день, бегая по речке с одним из своих друзей, я провалился на льду, весь измок и чуть было не утонул. Помню, когда сбежались люди и вытащили нас обоих, я, боясь идти домой, побежал к родному дяде. По дороге я весь обмерз. Это вселило дяде боязнь за мое здоровье, и он сейчас же… сообщил обо всем случившемся моей матери.

Когда явилась встревоженная мать, я, растертый спиртом, сидел уже на печке.

Узнав, в чем дело, она разложила меня через скамью и стала лечить куском толстой скрученной веревки. Помню, долго после этого я не мог садиться, как следует, за парту, но помню также, что с этих пор я стал прилежным учеником» (55, 20).

«С наступлением лета, – продолжает наш герой, – я нанялся погонщиком волов к хозяину по фамилии Янсен. Платили мне по 25 копеек в день, то есть полтора рубля в неделю. Каждую субботу, получив эту сумму, я, преисполненный радости, почти бегом бежал 7 км домой, зажав в кулаке деньги. Прибежав, я немедленно отдавал деньги матери и был очень счастлив, когда она их брала… Мое детское сердце наполнялось радостью. Помню, однажды, я забыл напоить своих волов, поэтому по дороге они вдруг повернули и потащили повозку, груженную снопами, к водопою. В этот момент проезжал на бричке помощник управляющего. Это был грубиян, который получил у нас кличку „мухоед“ за то, что держал рот всегда открытым. Он ударил меня два раза кнутом. От ярости я готов был убежать домой, и только воспоминание о субботе и мысль о той радости, которую я доставлю матери, отдавая ей деньги, не позволили мне так поступить. Так я проработал все лето и заработал двадцать рублей. Это был мой первый заработок» (50, 14–15).

Наступила осень. Мать очень хотела, чтобы младший сын прошел полный курс начальной школы, раз уж старшим братьям не суждено было доучиться, и отдала Нестора во второй класс: «…Вскоре я стал лучшим учеником по математике и особенно по чтению. Будущее мне вновь улыбалось. Но второй класс оказался для меня последним. Положение нашей семьи стало настолько тяжелым, что, проработав все лето поденщиком у хозяина, я был вынужден остаться и на зиму… Именно в это время я начал испытывать гнев, злобу и даже ненависть по отношению к

хозяину и, в особенности, к его детям: этим молодым бездельникам, которые часто проходили мимо меня, свежие и бодрые, пресыщенные, хорошо одетые, надушенные, тогда как я, грязный, в лохмотьях, босоногий и вонявший навозом, менял подстилку телятам. Несправедливость такого положения вещей бросалась мне в глаза. Единственное, что меня успокаивало тогда, было довольно детское рассуждение, что это в порядке вещей: они были „господами“, а я работником, которому платили за неудобство от вони навоза.

Так прошло два года, я продвинулся в карьере, поменяв телят на коней. Там все стало еще более впечатляющим. Часто я видел, как сыновья хозяина грубо били конюхов, в особенности за то, что кони были „плохо почищены“. Но все еще в темных глубинах своего разума я трусливо принимал существующее положение вещей…» (50, 16–17).

«Прошел еще год, наступил 1902, и мне исполнилось тринадцать лет, – продолжает Махно. – Конюхами в то время были, главным образом, люди сознательные, со здравым рассудком. Из-за моего юного возраста ко мне они относились внимательно и очень меня жалели. Однажды летом, когда мы все как раз обедали, кроме старшего конюха, подрезавшего лошадям хвосты, два хозяйских сына вошли в конюшню в сопровождении управляющего и… начали спорить со вторым конюхом. Вначале они разговаривали вежливо, потом тон изменился, они стали кричать и оскорблять его. Затем они бросились на него и стали грубо избивать. Все остальные конюхи стояли полумертвые от страха перед „гневом хозяев“. Я же выскочил из комнаты, пронесся через двор, влетел в конюшню и закричал, обращаясь к старшему конюху: „Батько Иван! Хозяева бьют Филиппа на кухне!“ Батько Иван как очумелый выскочил на двор, в фартуке, с ножницами в руках. Вместе со мной, не проронив ни слова, он пересек двор и ворвался на кухню… Увидев, что его помощника избивают, он налетел изо всех сил на одного из „господских сынков“, бросился на него как лев и одним ударом повалил на землю. Он ударил его еще несколько раз ногой, затем схватил управляющего и стал дубасить его по-мужицки под ребра. Оба хозяйских сынка вместе с помощником управляющего удрали, выломав две оконные рамы на кухне. Между тем вокруг собрались другие батраки. Все поденщики, бросив работу, прибежали на помощь конюхам.

Со всех сторон раздавались крики: „До каких пор хозяева будут издеваться над нами?“ Все встали перед крыльцом господского дома и потребовали выплатить заработанные деньги, заявив, что больше оставаться здесь не будут. Старый хозяин

испугался и сам вышел на крыльцо, пытаясь нас уговорить. Он просил конюхов не бросать работу и простить глупость своих молодых наследников. Тогда конюхи решили остаться: они могли чувствовать себя удовлетворенными, так как по крайней мере в этом имении их поступок положил конец раз и навсегда всяким попыткам решать споры при помощи побоев.

Что касается меня, хотя я был еще ребенком, этот инцидент произвел на меня неизгладимое впечатление. Впервые я услышал бунтарские слова, с которыми батько Иван обратился ко мне после этого происшествия: „Никто здесь не должен соглашаться с позором побоев… И если когда-либо, мой маленький Нестор, кто-то из хозяев попробует тебя ударить, хватай первые попавшиеся под руку вилы и проткни его!“ Для моего возраста и для моей детской души эти слова казались ужасными, но стихийно… я чувствовал весь их подлинный смысл и справедливость. Впоследствии не один раз, когда я складывал солому в конюшне и видел кого-нибудь из хозяев, я представлял себе, что он собирается меня ударить, а я закалываю его вилами на месте» (50, 17–18).

Что и говорить, признание красноречивое!

В пятнадцать лет жизнь батрака для Махно закончилась: ему пора было обзавестись какой-нибудь «настоящей» специальностью, и он, по совету братьев, поступил учеником на литейный завод Марка Кернера, где один из лучших мастеров-литейщиков по фамилии Великий обучил его искусству литья колес для сеялок. Жизнь семьи шла своим чередом. После того как в 1904 году один из братьев, Савелий, был мобилизован на Русско-японскую войну, а Карп и Емельян обзавелись семьями и отделились, в материнском доме осталось только двое подростков – Григорий да Нестор. Григорий нанялся чернорабочим, а Нестор, проработав некоторое время в красильной мастерской Брука, в конце концов бросил производство и стал возделывать огород – четыре гектара земли, которую больше некому было обрабатывать.

Но тут подоспел 1905 год, и жизнь Махно круто переменилась. Его потянуло в революцию.

Революция всколыхнула Россию до дна. Теперь уже не только стратегически мыслящий большевистский ЦК и таинственная Боевая организация эсеров направляли карающие удары по самодержавию. Пламя полыхнуло вширь, по всей необъятной стране.

В собрании документов по истории первой русской революции, быть может, самыми потрясающими являются те, которые рассказывают о том, как очертя голову кидались в

«беспорядки» совершенно частные люди – какие-то учителя, гимназисты, беспартийные рабочие. Повинуясь какой-то сладостной тяге к разрушению ненавистного окружающего, они вдруг начинали ораторствовать на раскаленных докрасна митингах, а то и снаряжать бомбы… Здесь уже политический смысл просматривался с трудом, мотивы были иные: ненависть, нетерпение, обида за вечное унижение, за нелепо складывающуюся жизнь, а то и корысть. Не замедлили выявиться издержки методов, которые выглядели вполне приемлемыми для профессиональных революционеров, но в руках масс становились опасным оружием. Профессор А. Келли разглядел это из своего кембриджского далека и тонко отметил: «Массы, не оглядываясь на положительных героев, осуществили свою революцию. Отличия идеалистов от головорезов враз оказались размытыми в атмосфере насилия, когда в революционные ряды влились двусмысленные фигуры, реализуя свои таланты в качестве террористов, провокаторов или членов большевистских групп экспроприации» (30, 56). Воистину, по 1905 году многое можно было бы предсказать о 1917-м!

Деятельность гуляйпольской группы анархистов, в которую вступил шестнадцатилетний Махно, вполне вписывается в этот процесс «обмирщения» революции. Еще работая подручным в красильной мастерской Брука, он, как «мальчик-с-пальчик», был принят в театральный кружок при заводе Кернера, чтобы «смешить публику»[5] (6,191). В кружке он и познакомился с анархистами. Это были молодые рабочие и крестьяне Гуляй-Поля. Их решимость оказала гипнотизирующее действие на Махно, и он «немедленно присоединился» к ним.

«…Военное положение, введенное по всей стране, полевые суды, карательные отряды, расстрелы – все это сделало борьбу нашей группы очень трудной, – сообщает Махно о своем первом революционном опыте. – Несмотря на это, один раз в неделю, иногда чаще, мы организовывали пропагандистские сходки для ограниченного числа людей, от десяти до пятнадцати человек. Эти ночи, так как собирались мы, главным образом, ночью, были для меня полны света и радости. Зимой мы собирались в чьем-нибудь доме, а летом – в поле, возле пруда, на зеленой траве или, время от времени, на прогулках. Не обладая большими знаниями, мы обсуждали вопросы, которые нас интересовали.

Самым выдающимся товарищем в группе был Прокоп Семенюта. Родом из крестьян, он работал тогда слесарем на заводе. Он был наиболее знающим из нас и одним из первых в Гуляй-Поле, кто серьезно изучал анархизм. После полугода практики в маленьком кружке по изучению анархизма, усвоив

основы учения, я начал активную борьбу и перешел в боевую анархо-коммунистическую группу. Основателем этой группы был, главным образом, товарищ Владимир Антони. Его родители, чехи по происхождению, эмигрировавшие из Австрии, были рабочими. Он также работал токарем (и изготавливал для группы бомбы. – В. Г.)» (50, 20).

Ученым анархизмом в группе, в общем, не пахло, и ее юные участники вполне сошли бы за обычных грабителей, если б не романтический стиль их предприятий: черные маски, накладные бороды, требование у богачей денег «на голодающих».

Первое нападение было совершено 5 сентября 1906 года на дом гуляйпольского торговца Плещинера. К нему домой явилось трое с лицами, «вымазанными сажей» (60, 71). Угрожая револьверами и бомбой, они потребовали денег. Плещинер дал им 163 рубля и золотые кольца. Они этим не удовлетворились и потребовали еще золотые часы, которые Плещинер тотчас отдал.

«…10 октября последовало ограбление торговца Брука в том же селе Гуляй-Поле. Участвовало в ограблении 4 лица. Погрозив револьверами, экспроприаторы потребовали „на голодающих“ 500 рублей. Забрав здесь 151 руб., они ушли. Лица были закрыты бумажными масками» (60, 71–72).

Третьему нападению подвергся гуляйпольский Крез – промышленник и купец Марк Кернер, на заводе которого Махно работал. Трое участников с вымазанными грязью лицами ворвались в дом, но тут, к своей неожиданности, натолкнулись на рабочего-электротехника, которого втолкнули в кабинет Брука и заперли. Обыскав дом, они обнаружили 425 рублей и слиток серебра. Тем временем жена Брука послала горничную на галерею, чтобы та подняла тревогу. На галерее ее сразу перехватил четвертый «экспроприатор» и отвел на кухню, где оказался еще и пятый. Сам Кернер заявил полиции, что в ограблении его дома принимало участие никак не меньше семи человек, причем якобы они так волновались, что руки у них дрожали. Через два дня Кернер получил письмо от некоей «боевой дружины», в которой та, выразив сожаление, что забрала у него мало денег, предупреждала, что если он будет столь же усердно помогать полиции, как и раньше, дом его будет взорван.

Наконец, 19 августа 1907 года между станцией Гуляй-Поле и селом была ограблена почта: «При этом были убиты почтальон и городовой, везший деньги, и почтовая лошадь. Ямщик оказался жив и рассказал, что, когда почтовая телега выбиралась из оврага в гору по направлению к селу Гуляй-Поле, из оврага посыпались выстрелы. Он погнал лошадей. Выстрелы продолжались. Вскоре одна лошадь пала. Ямщик отпряг живую лошадь и поскакал на

ней в село. По осмотре почта оказалась целой…» (60, 72).

Безобразия накапливались, но только после убийства гуляйпольского пристава Лепетченко «анархической группой» всерьез занялась полиция. Новый пристав Караченцев, пытаясь выяснить имена преступников, внедрил в группу своего агента Кушнира, но тот быстро подпал под подозрение и был убит. В сентябре 1907 года на всякий случай были арестованы Махно, а через некоторое время и добивавшийся с ним свидания Владимир Антони. Однако доказать вину того и другого на этот раз не удалось.

«…Позже я узнал, – пишет Махно, – что начальник полиции, некий Караченцев, заявил нашему начальнику почты: „Я никогда еще не видел людей такой закалки. У меня много доказательств, чтобы обвинить их в принадлежности к числу опасных анархистов, но… я не смог ничего от них добиться. Махно, когда на него смотришь, выглядит глупым мужиком, но я знаю, что именно он стрелял в жандармов 26 августа 1907 года. Так вот, несмотря на все мои усилия, я не смог добиться от него никакого признания… Что касается другого, Антони, когда я его допрашивал, подвергнув беспощадным побоям, он набрался наглости заявить мне: Ты, сволочь, никогда из меня ничего не выбьешь! А я ведь ему показал, что такое 'качели'!“» (50, 22–23).

Махно был отпущен из тюрьмы через четыре месяца, а Владимиру Антони было предложено выехать в Австрию под тем предлогом, что он австрийский подданный. Но он только покинул пределы Екатеринославской губернии и продолжал поддерживать связь с группой. Оказавшись на свободе в начале 1908-го, Махно вернулся в Гуляй-Поле, где под руководством Александра Семенюты продолжал действовать анархистский кружок. Власти чувствовали, что опасность таится у них под боком, и в Гуляй-Поле было создано охранное отделение, расквартирован отряд казаков. Однажды, когда группа собралась в доме некоего Левадного, дом был окружен казаками и обстрелян. Большинству заговорщиков удалось бежать, кроме Прокопа Семенюты, убитого на месте. Его брат Александр и сам Левадный были ранены, но смогли убежать. Александр Семенюта не смог даже прийти на похороны брата из опасения быть схваченным, но поклялся жестоко отомстить убийцам.

Весной 1908 года произошел целый ряд новых ограблений. 10 апреля в колонии Богодаровске в своем доме был ограблен торговец Левин. Среди принимавших участие в налете Махно не было. 13 мая произошло нападение на дом гуляйпольского купца Шиндлера, дочь которого была ранена пулей. 9 июля в Новоселовке напали на казенную винную лавку, сиделец которой

был убит. Встревоженный поступающими из Гуляй-Поля сведениями, туда решил приехать сам губернатор Екатеринославской губернии. По-видимому, он не подозревал, что подвергает себя смертельной опасности, ибо, как только известие о приезде губернатора достигло гуляйпольских анархистов, они незамедлительно стали готовить покушение на него. Однако покушение сорвалось из-за того, что губернатора бдительно охраняли солдаты. Раздосадованные срывом такой важной операции, боевики решили взорвать отделение гуляйпольской охранки. Для этого Александр Семенюта специально ездил в Екатеринослав, откуда привез девяти– и четырехфунтовые бомбы. Взрыв был намечен на 26 августа.

Тем временем пристав Караченцев решил выследить ту часть группы, которая, выехав из Гуляй-Поля, подалась в Екатеринослав. Одевшись под анархиста, он самолично выследил нескольких боевиков на квартире в пригороде Екатеринослава, сумел арестовать их и добиться «откровенных показаний» (60, 75). Быстро нащупав «слабину» некоторых участников, следствие неустанно добивалось от них все новых и новых сведений. Хшива опознал Горелика и Ольхова и уличал их в ограблении Левина. Алтгаузен уличил Махно и Чернявского, Левадный – Махно, Чернявского, Ольхова и Горелика. Зуйченко тоже топил Махно и валил на него ответственность за убийства. Вскоре явились и новые разоблачители. Родной брат участника группы Ивана Шевченко доложил следствию, что брат прятал у него во дворе бомбы, что у него собиралась для совещаний вся группа и он своими глазами видел в руках у Владимира Антони и своего брата Ивана большие деньги…

Ничего не подозревавший Махно накануне взрыва охранного отделения в Гуляй-Поле был арестован у себя дома, закован в наручники и препровожден в местную тюрьму. Оттуда его перевезли в Александрова (Запорожье). Пока шло следствие, Махно провел время в тюрьме Александровска. Это учреждение, где ему впервые удалось узнать голод и побои, он возненавидел на всю жизнь и неоднократно потом предпринимал попытки стереть тюрьму с лица земли. На следствии он держался крепко и, «несмотря на все обличения, виновным себя не признал» (60, 75). Сохранилась записка, отобранная у Махно во время предварительного заключения, из которой ясно, что замышлялся побег: «Тов(арищи), пишите, на чем остановились: буд(ем) ли что-нибудь предпринимать? Сила вся у вас, у нас только четыре человека. Да или нет – и назначим день. До свидания, привет всем» (60, 76). Побег был замыслен давно, когда гуляйпольские террористы еще все сидели в одной камере. Но полиция

перехитрила их, разбив на четверки, и по очереди стала переправлять в Екатеринославскую тюрьму. Несмотря на это, даже этим «четверкам» удалось договориться между собой и «волей» о том, чтобы их вырвали из рук конвоя при отправлении в Екатеринослав. Руководил подготовкой побега остававшийся на свободе Александр Семенюта. Только стечение ряда случайных обстоятельств (как, например, опоздание поезда) и то, что провокатор Алтгаузен, узнав в толпе на вокзале Александра Семенюту, поднял истошный крик, провалило этот дерзкий замысел.

В марте 1910 года Махно предстал перед Екатеринославским военно-окружным судом. Несмотря на то, что арестованные мотивировали вступление в группу и свою деятельность политикой, идеей «народной свободы», в обвинительном заключении им вменялась в вину чистая уголовщина, а именно: организация «преступного сообщества, поставившего заведомо для них целью своей деятельности открытое, путем угроз, насилия и посягательства на жизнь и личную безопасность похищение имущества правительственных учреждений и частных состоятельных лиц» (60, 77).

Всех участников, кроме умершего в тюрьме от тифа Левадного и некоего Хшивы, повешенного по приговору военного суда в качестве главного обвиняемого в убийстве пристава Лепетченко и провокатора Кушнира, приговорили в 1910 году к разным срокам каторги. Махно, как один из главных обвиняемых, был посажен в камеру смертников, где просидел 52 дня. Преступления, вменяемые ему в вину (организация преступного сообщества, хранение револьверов и бомб, изготовление бомб, участие в преступных сходках и экспроприациях у Брука, Кернера и Гуревича), в совокупности подлежали наказанию смертной казнью. Но дело Махно следовало разбирать особо – поскольку он был несовершеннолетним в момент совершенных им злодеяний (вот когда пригодилась выправленная отцом метрика!). Впрочем, всем участникам группы наказание, как мы уже говорили, было смягчено.

«Начиная с 26 марта 1910, – пишет Махно, – нас с товарищами держали в камере смертников. Эта камера с низким сводчатым потолком, шириной в 2 метра и длиной в 5, и еще три таких же находились в подвале Екатеринославской тюрьмы. Стены этих камер были покрыты надписями, оставленными известными и неизвестными революционерами, которые в тревоге ожидали там предначертанного им часа… Заключенные в этих камерах чувствовали себя наполовину в могиле. У нас было такое ощущение, как будто мы судорожно цепляемся за край земли и не

можем удержаться. Тогда мы думали о всех наших товарищах, оставшихся на свободе, не потерявших веру и надежду осуществить еще что-то доброе в борьбе за лучшую жизнь. Принесши себя в жертву во имя будущего, мы испытывали по отношению к ним особое чувство искренней и глубокой нежности» (50, 35).

Камера смертников была тяжким испытанием. Ее обитатели, обреченные на гибель, сдруживались быстро и накрепко, словно понимая, что времени у них больше нет. Они вместе мечтали о революции и просили товарищей – если тем суждено будет остаться в живых – отомстить за них палачам. Потом открывалась тяжелая железная дверь, и заключенный, чью фамилию выкрикнули на этот раз, торопливо прощаясь с оставшимися, уходил, чтобы не вернуться уже никогда.

«…Однажды мое терпение лопнуло, – пишет Махно, – и я отправил прокурору письмо с протестом, спрашивая, почему меня не отправляют на виселицу. В ответ через начальника тюрьмы я узнал, что, принимая во внимание мой юный возраст, казнь мне была заменена на каторжные работы, но он не сказал, на сколько лет. В тот же день меня вместе с последним товарищем, Орловым, перевели в здание, отведенное для каторжников… Оттуда я написал матери, в ответ она мне сообщила, что ходила к губернатору (он скреплял своей подписью окончательные смертные приговоры) и узнала там, что из-за моего юного возраста казнь мне заменили на пожизненную каторгу. Так на смену затянувшемуся кошмару ожидания повешения пришел кошмар каторги…» (50, 42).

По приговору Махно получил 20 лет каторги, которые ему предстояло отбывать в Бутырской тюрьме в Москве. Тем временем политический вдохновитель группы Александр Семенюта, добравшись до Бельгии, прислал оттуда в Гуляй-Поле издевательскую записку: «Село Гуляй-Поле, Екатеринославской губернии, волостное правление, получить Караченцеву, черту рябому. Господин пристав, я слыхал, что вы меня очень разыскиваете и желаете видеть. Если это верно, то прошу пожаловать в Бельгию, здесь свобода слова и можно поговорить. Александр Семенюта, анархист Гуляй-Поля» (60, 77).

Пока Семенюта наслаждался свободой в Бельгии, в августе 1911-го Махно перевезли из Екатеринослава в Москву и на долгие годы замуровали в Бутырках.

«В тюрьме Екатеринослава мы оставались пять с половиной месяцев, – пишет Махно, – затем после двухдневного путешествия прибыли в московскую тюрьму. Начальник отделения каторжников, некий Дружинин, полистал мое дело, пристально

посмотрел на меня своими пронзительными глазами и прошептал: „Здесь ты не будешь больше забавляться побегами“. С нас сняли наручники с замками и заковали в наручники на заклепках, которые каторжники должны были носить на протяжении первых восьми лет заключения. После этой маленькой церемонии нас посадили на неделю в камеры на карантин, как этого требовали правила для вновь прибывших. Мы познакомились со старостой политзаключенных, эсером Веденяпиным. После болезни он находился на карантине, прежде чем вернуться в свою камеру. Он нас ввел в курс распорядка жизни в тюрьме, познакомил с другими политическими заключенными, раздобыл для нас табака, сала, хлеба и колбасы, того, чего нам не хватало после поста в дороге…

После окончания карантина меня поселили в камеру № 4 седьмого коридора. В камерах держали по два-три человека, но нас, украинцев, отделили друг от друга, поскольку мы считались бунтовщиками. Я оказался в одной камере с эсером Иосифом Альдиром, литовским евреем из Ковно. Наши темпераменты отлично совпадали, и мы оставались вместе, как братья, вплоть до самой революции. Из окна камеры я мог хорошо рассмотреть все здание тюрьмы. Она занимала целый квартал, посредине находился широкий двор, вокруг него четыре больших корпуса, окруженные в свою очередь вторым двором. Вся территория была ограждена очень высокой стеной с башнями на каждом углу, знаменитыми тем, что в них в свое время сидели Пугачев, затем Гершуни (первый руководитель боевой организации эсеров) и много других, среди которых были толстовцы, подвергавшиеся издевательствам за то, что они отказывались брать в руки оружие во время войны с Японией в 1904–1905. Во внутреннем дворе росли деревья, главным образом липы. В тюрьме тогда находилось 3000 заключенных и несколько сот двуногих псов – охранников. Для узников, содержавшихся на карцерном режиме, было предназначено отдельное здание.

В Бутырки я прибыл 2 августа 1911 года. В это время режим там стал менее жестоким, чем раньше. Когда-то, по рассказам товарищей, это был настоящий кошмар: запрещалось ходить по камере, узников били кулаками или кнутом. Устроившись в камере, я сразу же посвятил свое время чтению. Я глотал книгу за книгой; прочел всех русских классиков от Сумарокова до Льва Шестова, в особенности Белинского и Лермонтова, от которых я был в восторге. Эти книги появились в тюрьме благодаря долгой веренице политзаключенных, которые создали таким образом замечательную библиотеку, значительно более богатую, чем во многих наших провинциальных городах. В особенности, я изучал

русскую историю по курсу Ключевского. Я познакомился также с программами социалистических партий и даже с отчетами их подпольных съездов. Позже мне в руки попала книга Кропоткина „Взаимная помощь“. Я проглотил ее и постоянно держал при себе, чтобы обсуждать с товарищами.

Я следил по мере возможного за событиями на свободе. Так, с большим волнением я узнал о заявлении министра внутренних дел Макарова по поводу кровавого расстрела на Ленских золотых приисках: „Так есть и так будет всегда“. Это повергло меня в глубокую депрессию. Убийство Столыпина 2 сентября 1911 года, напротив, вернуло мне боевой дух.

Увы! Мой страстный порыв к образованию был вскоре прерван продолжительной и тяжелой болезнью – воспалением легких, из-за которого я попал в больницу. Вначале мне поставили диагноз мокрый плеврит, затем, три месяца спустя, туберкулез легких. Это было очень серьезно, и я пролежал в больнице восемь месяцев. Подлечившись, я вновь с пылом взялся за изучение своих любимых дисциплин: истории, географии и математики.

Вскоре я познакомился с товарищем Аршиновым, о котором много слышал раньше. Эта встреча стала для меня большой радостью. В тюрьме он был одним из тех редких анархистов, которые отдавали предпочтение практике. Даже в тюрьме он оставался очень активным, и, сохраняя связи с внешним миром, он перегруппировывал и организовывал заключенных. По каждому поводу я надоедал ему записками. Проявляя большую сдержанность, он всегда шел мне навстречу, мы оставались в тесных отношениях до выхода из тюрьмы, а затем эти отношения стали еще более прочными…» (50, 49–50).

Петр Андреевич Аршинов был всего года на два старше Махно, но опыт в революции имел куда более солидный. В прошлом рабочий, слесарь, он упорно занимался самообразованием, пережил увлечение марксизмом и даже состоял в большевистской организации. Но с 1905 года он окончательно самоопределился как анархист и террорист и целиком отдался новому призванию. В конце 1906 года он с несколькими товарищами взорвал полицейский участок в пригороде Екатеринослава. В марте 1907-го пытался застрелить начальника главных железнодорожных мастерских Александровска Василенко. «Вина последнего перед рабочим классом, – читаем в предисловии Волина к „Истории махновского движения“, – состояла в том, что он отдал под военный суд за Александровское вооруженное восстание в декабре 1905 г. свыше 100 человек рабочих, из которых многие, на основании показаний

Василенко, были осуждены на казнь или на долгосрочную каторгу… На этом акте Аршинов был схвачен полицией, жестоко избит и через два дня, в порядке военно-полевого суда, приговорен к казни через повешение» (2,13). Заминка с исполнением приговора позволила Аршинову бежать из александровской тюрьмы во время пасхальной заутрени. Он пробрался за границу, жил во Франции, но через два года вернулся в Россию нелегалом. В 1910 году австрийцы взяли его с транспортом литературы и оружия, выдали русским властям. На этот раз приговор был – 20 лет каторги. Он отбывал срок в Бутырках, где узнал о Махно, с которым скоро сдружился, переговариваясь с ним по тюремному «телеграфу» и при помощи записок.

По-видимому, своими познаниями в анархистской теории в ее классическом, бакунинско-кропоткинском ключе Махно в основном обязан Аршинову. Во всяком случае, он твердо уверовал в созидающие возможности народного бунта и совсем не принял новейший европейский синдикализм с его тактикой стачечной борьбы и курсом на «профсоюзный коммунизм», считая его чем-то вроде меньшевизма в анархистском движении. Жизнь в Бутырках описана Махно в «Биографии» настолько подробно, что нет необходимости детально излагать ее здесь. «Бутырки» стали его университетом. Здесь Махно провел почти шесть лет. Здесь он перестал быть обычным деревенским «огнепускателем», едва умеющим читать и писать. Здесь впервые сочинил стихотворение «Призыв», пронизанное жаждой кровавого мщения, – которое напечатал потом в астраханской газете «Мысли самых свободных людей» под каторжным псевдонимом «Скромный». Здесь впервые испробовал себя в спорах с социалистами самых разных направлений. Когда началась Первая мировая и большинство эсеров и социал-демократов «приняли» войну, встав в этом вопросе на одну точку зрения с царским кабинетом министров, Махно разразился листовкой, в заглавии которой с присущей ему страстью вопрошал: «Товарищи, когда же вы, наконец, перестанете быть подлецами?» – из-за чего у него вышел крупный конфликт с одним из видных эсеров (56, 2). Однако, несмотря даже на политические споры, жизнь в тюрьме не отличалась разнообразием. Когда Махно арестовали, ему было девятнадцать лет. В Бутырской тюрьме ему сравнялось двадцать восемь – в этих стенах могло пройти еще столько же лет, и для мира ничего не изменилось бы. Каким-то образом он не впадал в отчаяние, не терял голову, продолжая занятия самообразованием, с особым усердием штудируя любимые науки – историю, географию, математику.

Многих удивит, что Махно писал и стихи, в том числе лирические. Писал по-русски, но были в них и украинские слова, и украинская степная тоска по воле. Кто-то из соседей по камере записал одно из них:

Гей, батька мой, степь широкая!
А поговорю я еще с тобою…
Ведь молодые ж мои бедные года
Да ушли за водою…
Ой, вы звезды, звезды ясные,
Уже и красота мне ваша совсем немила…
Ведь на темные мои кудри да пороша
Белая легла.
Ой, ночи черные да безглазые!
И не видно мне, куда иду…
Еще с малых лет я одинокий.
Да таким и пропаду.
Где ж вы, братья мои милые?
Никто слез горьких мне не вытер…
И вот стою я, словно тот дуб,
А вокруг только тучи да ветер…[6]

Позже Махно тоже писал стихи, но это были трескучие рифмованные агитки, лишенные всякого поэтического чувства. Быть может, именно в Бутырке пережил он последний момент, когда это чувство можно было удержать, претворить в нечто созидающее. Но слишком мрачным был тюремный быт, слишком глубока тоска, слишком беспросветна копившаяся годами ненависть.

* * *

Все изменилось в один миг. Свобода обрушилась на него так же нежданно, как когда-то арест. Наступил 1917 год.

«1 марта, часов в 8–9 вечера нас начали освобождать, – пишет Махно в своих „Записках“. – Об этом освобождении никто из заключенных ничего не знал. Все знали и видели, что по одному, по два человека из отдельных камер куда-то зачем-то вызывают, а обратно не приводят. Нам не говорили, куда и зачем уводили этих людей, и это для нас было загадкой. Загадка эта нас всех мучила и беспокоила. Мы терялись в догадках и начинали нервничать.

Помню, было около часа ночи. Из 25 человек в камере

осталось только 12; остальные были куда-то уведены. Несмотря на столь поздний для тюрьмы час, мы, оставшиеся еще в камере, нервничая, мучаясь неизвестностью, спать и не собирались ложиться. Наконец – свисток. Проверка. К нам в камеру заходит дежурный помощник начальника тюрьмы и с ним какой-то не известный нам военный. Дрожащим от волнения голосом спрашиваю: „Господин помощник, будьте добры, объясните нам, куда и зачем увели наших товарищей?“

Услышав мой вопрос, помощник быстро произнес: „Успокойтесь и не волнуйтесь. Нашей стране дал Бог переворот, объявлена свобода, к которой примкнул и я. Кто имеет 102 статью (статья о принадлежности к политическим партиям), тот завтра обязательно будет освобожден. Сейчас комиссия по освобождению устала и поехала отдохнуть“. Сказав это, он вежливо раскланялся с нами, чего раньше никогда не делал, и вышел из камеры. Многие из нас от радости подпрыгнули чуть ли не до самого потолка. Другие, со злобой, посылая проклятия по адресу комиссии по освобождению политических, заплакали.

Когда я спросил их: „О чем вы плачете“, то мне ответили: „Мы десятками лет томимся по застенкам тюрем и не устали, а они (комиссия) там на воле поработали всего только несколько часов и уже устали. А вдруг восторжествует снова контрреволюция, и мы остались опять на долгие годы в этих гнусных застенках“… Эти слова многих из нас натолкнули на разные мысли, и на час-другой каждый из нас погрузился в уныние… Сколько тревог, надежд и волнений уместилось в наших душах…» (55, 21–22).

Далее он продолжает: «Рассвет… Спать в эту ночь никто из нас не ложился. Каждый погрузился в самого себя и с нетерпением ожидал утра, а с ним и обещанного освобождения. Какой бесконечно желанной, прекрасной и дорогой нам, бессрочникам, казалась в эти минуты свобода. И, не получив еще ее, как мы волновались, как трепетали наши сердца в тревоге, в страхе, что у нас ее, свободу, или вернее – мечту о ней, отымут.

Время шло страшно медленно, и часы казались вечностью.

Наконец-то среди мертвой тишины камеры послышался шум говора со двора и раздался выстрел. Окно нашей камеры выходило на широкий двор тюрьмы с церковью и с большой площадью впереди нее. Услышав шум и выстрел, мы все моментально ринулись к окну. Видим, вся площадь тюремного двора заполнена солдатами в форме конвойной команды. То и были конвойные, которые кричали: „Товарищи заключенные, выходите все на свободу. Свобода для всех дана!“

Из окон тюремных камер послышалось: „Камеры заперты“.

„Ломайте двери!“ – все, как один, крикнули конвоиры.

И мы, не долго думая, сняли со стола полуторавершковую крышку и, раскачав ее на руках, сильно ударили ею по двери. Дверь открылась. С шумом, с криком выбежали мы в коридор и направились было к другим камерам, чтобы посоветовать, как открыть дверь, но там без совета проделали то же, что и мы, и все уже были на дворе…

Тогда мы поспешили все к воротам, ведущим на одну из улиц Москвы. Там были уже тысячи каторжан, и каждый из них спешил первым выйти на улицу. На Долгоруковской улице по дороге к городской думе всех нас выстроили по четыре человека в ряд, для регистрации, как пояснили нам. Вдруг видим – летят от городской думы военные и гражданские и с возмущением в голосе кричат конвоирам: „Что вы наделали… Обратно в тюрьму!.. Освобождение будет производиться по порядку“.

И нас моментально охватили войска и загнали обратно в тюрьму.

Среди криков и проклятий моих товарищей по адресу и властей, и комиссии по освобождению просидел я еще часов 5–6.

Наконец заходит какой-то офицер в чине поручика с какими-то бумагами в руках и кричит: „Кто такой Махно?“ Я откликнулся.

Он подошел ко мне, поздравил со свободой и попросил следовать за ним. Я пошел. Товарищи бросились за мной вдогонку, плачут, бросаются на шею, целуют. – Не забудь напомнить о нас…

По дороге этот офицер многих еще вызывал, и, следуя за ним, мы пришли в привратницкую. Здесь на наковальне солдаты разбили наши ножные и ручные кандалы, после чего нас попросили зайти в тюремную контору. Здесь заседала комиссия по освобождению. Она сообщила нам, кто из нас по какой статье освобождается, и поздравили со свободой. Отсюда уже без провожатых мы сами свободно вышли на улицу. Здесь нас встречали толпы народа, которые также приветствовали нас со свободой. Зарегистрировавшись в городской думе, мы отправились в госпиталь, где для нас были отведены помещения…» (55, 23).

Знакомых в древней столице у него не было. С неделю, пьяный от весны и от свободы, шатался Махно по бурлящей Москве, но, так и не найдя себе в ней ни места, ни дела, оставил Аршинова и двинул на юг, в родное Гуляй-Поле. Он вообще не любил городов и не понимал их.

ПЕРВЫЕ ШАГИ

С этого момента начинается новая история Махно. Революция давала ему шанс – выжить, выдвинуться, самоутвердиться. На авансцену политической жизни выходили вчерашние изгои империи, чтобы явить массам искус политического радикализма, немедленного, здесь и теперь, осуществления права всех на всё.

О событиях того времени мы также можем судить по мемуарам Махно. Он стал писать их уже в Париже, надеясь, вероятно, хоть на бумаге сквитаться со своими старыми врагами. В то время так поступали многие, но Махно это не удалось. Его погубила кропотливость, желание до мельчайших подробностей припомнить этапы своего боевого пути: вышло три книги, местами написанные совершенно чудовищным, лозунговым языком политика-самоучки. Как на грех, они обрываются ноябрем 1918 года, когда, собственно, и начался самый интересный период махновщины.

Впрочем, до мемуаров было далеко. Пока что выпущенный из тюрьмы арестант возвращался домой. Двадцати восьми лет, не имея за душой ни гроша, ни толковой профессии, – ничего, кроме девяти лет холодного тюремного бешенства, сделавшего его фанатиком анархии, – Махно, вероятно, в иное время в глазах односельчан выглядел бы полным неудачником. Но времена изменились, и он, как «свой» политкаторжанин, сразу попал в центр внимания. В Гуляй-Поле в ту пору царила обычная для всякого переходного времени неразбериха. Старая власть рухнула, новая еще не успела сорганизоваться. Руководить пытался какой-то «общественный комитет» (в названиях тоже не было определенности), во главе которого стоял почему-то прапорщик расквартированной в селе пулеметной команды. Политические симпатии гуляйпольцев были смутными, но склонялись вроде бы к эсерам, которые создали в селе отделение Крестьянского союза, придуманного для того, чтобы, когда придет время, способствовать переделу земли. Местная анархистская группа пользовалась, судя по всему, популярностью весьма ограниченной. Ей явно не хватало вождя, который объяснил бы крестьянам задачу момента, да и вообще мог бы как-то сопрячь теорию с действительностью… К слову сказать, все они, молодые крестьянские парни, были еще детьми или, в лучшем случае, подростками, когда Махно уже сел в тюрьму «за революцию». К ним-то – весьма кстати – и явился Махно, сразу же завоевавший непререкаемый авторитет среди молодежи. Никто из его товарищей по дерзким экспроприациям 1906–1908 годов,

кроме Назара Зуйченко (да и то на самых первых порах), никогда больше не всплыл в истории того, что позднее получило наименование «махновщины». Время унесло их навсегда. На их место пришли новые. Махно явился, чтобы возглавить молодых и вместе с ними построить другую жизнь. Нет, не хозяйство только – а жизнь целиком, переменив весь ее уклад, весь дух, все веками складывающиеся отношения в пользу трудящегося на земле крестьянина. Собственно дом, хозяйство, быт – все то, чего он столько лет был лишен, – по-видимому, совсем тогда не привлекали его. Он, правда, женится на крестьянской девушке, повинуясь воле матери, которая хотела, чтоб у младшего сына хотя бы после каторги все устроилось по-людски, да, видно, семейная жизнь занимала его мало: лишь пару раз вспоминает он свою Настеньку в мемуарах, с какой-то излишней холодноватой вежливостью называя ее «подруга» и «моя милая подруга», будто речь идет вовсе не о жене.

Свадебная гульба, как рассказывают в Гуляй-Поле, продолжалась три дня: это было время беспечное, изобильное, время надежд самых радужных, время весны революции – которая и сама, возможно, представлялась как нескончаемое торжество трудового народа, праздник с горилкой и песнями. Кто из сидящих за столом думал тогда, что большинству собравшихся на пир уготована скорая смерть, что оскудеют столы, опустошатся амбары, что весь крестьянский мир и быт будет порушен, а чувство праздника сменит сплошная череда скорбей?

Могла ли мать Махно, Евдокия Матвеевна, предположить, что через год убьют двух ее старших сынов, с промежутком в год вслед за ними уйдут еще двое, а последний – сидящий пока во главе свадебного стола – будет объявлен злейшим врагом трудового народа и тоже сгинет, потеряется в мире, умрет в ужасающей нищете? Она долго не знала, где он, жив ли. Потом выяснилось, что вроде жив. А в 1928 году Махно прислал родственникам в Гуляй-Поле фотографию из Парижа: сидит за столиком с витыми ножками, смышлено что-то пишет. Положительный такой, в костюме, в галстуке. Рядом оперлась руками на стол девочка – дочь Леночка. По-французски – Люси. После этого случая журнал «Огонек» опубликовал даже заметку «Махно в Париже», поместив открытку в качестве иллюстрации. Заметка была, в общем, незлая – еще не иссякло время поверхностного бухаринского прекраснодушия, – так что выходило, что Махно, в общем-то, примирился и раскаялся. Писатель Лев Никулин, который встретил знаменитого анархиста в Париже, заканчивал свою заметку словами: «Как ни странно, он мечтал о возвращении на родину…»

Да, он мечтал. Но между этими двумя моментами – временем, когда он вернулся на родину, и временем, когда он страстно захотел вернуться туда, вновь обрести ее, навеки утраченную, – пролегла пропасть. Все изменится. Исчезнут люди. Война изменит облик земли. Придя в движение, история сомнет и перемешает все. Все станет неузнаваемым, невозвратным. Иногда я думаю о том, сколько людей уже в 1919-м, не говоря уже о 1920 или 1921 годах, было бы радо, если бы Бог сотворил чудо и вернул все на свои места, сделал, как было. Но так не бывает. Прекраснодушные порывы 1917 года сменились беспощадной борьбой четырех последующих лет. Юноша, заигравшийся в революцию и заплативший за это девятью годами тюрьмы, был безжалостно пленен правилами игры и стал грозным партизанским вождем, потом знаменитым, государственного размера, бандитом для того, чтобы спустя еще несколько лет, гуляя по Венсеннскому лесу с молодой анархисткой Идой Метт, поведать ей о своей мечте.

Нам надо обязательно вчитаться в это свидетельство, чтобы понять, как трагичен Махно, чтобы понять, за что он боролся и к чему так никогда и не пришел. Он видел себя крестьянином. Он воображал себя молодым. Он представлял себя возвращающимся в родное Гуляй-Поле, вечером, после дня, удачно проведенного на ярмарке с молодой женой, где они вместе продавали выращенные ими плоды… Они накупили в городе подарков… У него добрая лошадь и хорошая упряжь…

Ничему этому не суждено было сбыться. Может быть, гуляя в Венсеннском лесу, Махно вспоминал и первую жену свою, нежную красавицу Настю Васецкую. Может быть, именно она представлялась ему тогда сидящей рядом с ним на крестьянских дрогах спокойной спутницей его тихого семейного счастья… Но в 1917 году такое счастье не устраивало его, казалось слишком приземленным. Он почти не бывал дома, все сновал по митингам и комитетам, а потом, когда время забурлило, забилось, как вода в теснине, он попросту потерял жену свою во времени: оставил ее в Царицыне и уехал в Москву, чтобы уже не вернуться к ней. Когда они расставались, она была уже давно беременна и вскорости родила, но мальчик, Саша, появился на свет с каким-то врожденным уродством и быстро умер. А Настя прожила долго. Как и у всех, опаленных близостью к Махно, судьба ее сложилась не сладко. В конце концов она устроилась, вышла замуж за бобыля, растила ему четверых детей. Старухой уже продавала семечки на станции Гуляй-Поле. По мудрой простоте души зла на бывшего мужа своего она не держала, понимая, должно быть, что не судьба была ей быть с ним, – уж больно неугомонен был,

больно хотел осчастливить человечество…

Ему суждена была другая женщина, способная к войне и борьбе. Ею стала учительница гуляйпольской двухклассной школы Галина (по паспорту Агафья) Андреевна Кузьменко. Несомненно, была она натурой куда более романтической, чем Настя. Ко времени знакомства с Махно успела закончить шесть классов, уйти из родительского дома в послушницы Красногорского женского монастыря, сбежать из монастыря с бароном Корфом в его имение под Умань, быть проклятой бароновой родней и в конце концов преданной своим женихом, вновь вернуться в монастырь, быть, во избежание скандала, изгнанной оттуда, закончить с отличием женскую семинарию в Добровеличковке и, наконец, стать учительницей в Гуляй-Поле. В ней не было покоя, зато были неутоленная страсть и порох для взрыва – именно такая женщина нужна в годы борьбы. Потом, когда война закончилась, отношения ее с Махно разладились, и, хотя она родила ему дочь, собственно семьи так и не сложилось. Они то расходились, то сходились вновь, у нее бывали романы; Ида Метт,[7] близко знавшая Махно в Париже, вспоминала, что на людях жена часто была резка с ним, так что со стороны казалось даже, что она вряд ли когда-либо любила его и оказалась с ним рядом лишь потому, что ей льстило быть женою самого могущественного атамана Украины.

Он же, как ни странно, был ей верным мужем. Вообще, как ни странно покажется это после всех слухов, окружающих имя Махно, он был человеком патриархально-аскетичным, хотя в пору своей славы мог бы позволить себе любые излишества любви. Он нежно любил дочь, и, если в запальчивости ему случалось отшлепать ее, он ощущал себя больным весь день – такое даже трудно предположить в человеке, пожелавшем вступить в единоборство с Историей в тот момент, когда она требует от человека злодейства и не отпускает до тех пор, пока не выбьет из него прекраснодушную веру в то, что ничтожеству отдельного человека подвластны ее неумолимые стихии…

Впрочем, до разгула стихий было еще очень далеко: пока дул лишь легкий освежающий ветерок, колыхавший скатерть свадебного стола, за которым сидели пятеро братьев Махно, живые, веселые, хмельные. И казалось им, что и вправду быть им хозяевами жизни, и, может статься, прав младшенький, сидящий подле невесты, – главное зараз не сробеть и взять свое…

Свою общеполезную деятельность Нестор Махно начал с того, что на крестьянском сходе объявил незаконным то, что власть в селе представляет чужой, пришлый, никому не подотчетный человек – пулеметный прапорщик. Прапорщика сместили,

общественный комитет разогнали.

Махно обнажил саму суть анархической идеи: все устроить своим умом и никаким чуждым народу обязательствам не подчиняться, соблюдая свою пользу. Эта идея чрезвычайно понравилась его односельчанам. И когда через некоторое время из Александровска прибыли в Гуляй-Поле инструкторы агитировать за войну и Учредительное собрание, крестьяне отказались голосовать за предложенные им резолюции, «заявив ораторам, что они… находятся в периоде организации своих трудовых сил и поэтому никаких резолюций извне не могут принимать» (51, 20).

Гуляй-Поле всегда было тихой глубинкою – кто бы мог предположить, что здесь самая крамола и заведется, что отсюда и из таких же чистых, опрятных сел взметнется, как джинн, огонь войны?

Хоть крестьянский союз был и эсеровский, Махно избрали председателем комитета союза в Гуляй-Поле: он ездит по волости, организует отделения в деревнях, агитирует. За что агитирует? Да вот, «уясняет» трудовому крестьянству первостепенную задачу: захват земли и самоуправление «без какой бы то ни было опеки» (51, 25). Втолковывает, то есть что ни Учредительного собрания, ни законов ждать не надо – надо брать землю, пока плохо лежит и власть слаба.

Не сразу себе это «уяснили» крестьяне, но за несколько месяцев идея, в целом, возобладала. Массы, разохоченные обещаниями даровой земли, уважали гуляйпольского каторжанина за крутость и смелость суждений. Вскоре при перевыборах «общественного комитета» Махно был избран туда руководителем земельного отдела. И этой должностью он умело воспользовался, обревизовав все земли помещиков и кулаков.

В начале лета на предприятиях Гуляй-Поля был введен рабочий контроль. В июне «крестьяне Гуляйпольского района отказались платить вторую часть арендной платы помещикам и кулакам за землю, надеясь (после сбора хлебов) отобрать ее у них совсем без всяких разговоров с ними и с властью…» (51, 44). Внятно, явственно уже тянуло паленым; вот хлеб убрать, а там:

Дело Стеньки с Пугачевым,
разгорайся жарче-ка!
Все поместья богачевы
разметем пожарчиком…

Впрочем, спешки не было. К захвату земель еще надо было подготовиться – вооружиться, например. Пока же устраивали

сходы и митинги, своеобразные смотры настроений и сил. После расстрела в июле 1917-го рабочей демонстрации в Петрограде один из митингов выпалил такой резолюцией: «Мы, крестьяне и рабочие Гуляй-Поля, этого правительственного злодеяния не забудем… Пока же шлем ему, а заодно и Киевскому правительству – в лице Центральной Рады и ее Секретариата – смерть и проклятие, как злейшим врагам нашей свободы…» (51, 47).

Популярность Махно росла. Он одновременно выбран был односельчанами сразу на пять должностей: председателем крестьянского союза, председателем профсоюза рабочих-металлистов и деревообделочников, главой районного земельного комитета, районным комиссаром милиции и даже председателем организованной в селе больничной кассы. Везде избранный «председателем» Махно, естественно, физически не мог справиться со всей массой свалившихся на него дел. Как все успеть? Да и вообще, нужно ли анархисту быть главным во всяком деле? Он чувствовал себя неуверенно. Он шлет «наивную» (по его же собственному выражению) телеграмму известному анархисту Аполлону Карелину – принимать ли ему, сторонику безвластия, такие должности? От имени анархистской группы он составляет приветственное письмо П. А. Кропоткину по случаю его возвращения в Россию и ждет конкретных указаний – как завладеть землей без власти над собою и выжить паразитов? Но ответа нет. Приехав в начале августа в Екатеринослав на губернский съезд Советов, он первым делом мчится посоветоваться в федерацию анархистов – но и тут никто не может удовлетворить его практическое любопытство.

Федерация анархистов Екатеринослава вместе с губернским комитетом большевиков размещалась в здании бывшего английского клуба. Картина, которую увидел Махно, удручила его. «Там я застал много товарищей. Одни спорили о революции, другие читали, третьи ели. Словом, застал „анархическое“ общество, которое по традиции не признавало никакой власти и порядка в своем общественном помещении, не учитывало никаких моментов для революционной пропаганды среди широких трудовых масс…

Тогда я спросил себя: для чего они отняли у буржуазии такое роскошное по обстановке и большое здание? Для чего оно им, когда здесь, среди этой кричащей толпы, нет никакого порядка даже в криках, которыми они разрешают ряд важнейших проблем революции, когда зал не подметен, во многих местах стулья опрокинуты, на большом столе, покрытом роскошным бархатом, валяются куски хлеба, головки селедок, обглоданные кости?» (51,

54–55). Горькое недоумение не раз посещало Махно при виде единомышленников, но он никогда не усомнился в «истинности» анархизма как политической доктрины.

Губернский съезд Советов в Екатеринославе, на котором Махно попал в земельную комиссию, вынес одно принципиальное решение: преобразовать созданные на местах крестьянские союзы в советы. Махно как председатель и стал первым наместником новой советской власти в Гуляй-Поле.

Август закончился известием о неудавшемся походе генерала Корнилова на Петроград и созданием в Гуляй-Поле, по примеру столиц, комитета спасения революции на случай попытки контрреволюционного переворота. На митингах анархистская группа требовала разоружить всех помещиков и кулаков в районе, а также «немедленно отобрать у них землю и организовать по усадьбам свободные коммуны, по возможности с участием в этих коммунах самих помещиков и кулаков» (51, 70–71). Власти, наконец, встревожились. Уездный комиссар Временного правительства категорически требовал «удаления Н. Махно от всякой общественной деятельности в Гуляй-Поле» (51, 73). Но было уже поздно…

Наступил сентябрь. Сам Махно, возможно, еще колебался бы, раздумывая, как сподручнее осуществить аграрный переворот, но нагрянувшая накануне в Гуляй-Поле Маруся Никифорова требовала немедленных действий. Никифорова, позднее долгое время состоявшая при Махно на вторых ролях, в ту пору пользовалась куда более громкой известностью, чем он. Бывшая посудомойка водочного завода, убежденная анархистка, она была за террористические акты 1904–1905 годов приговорена к смертной казни, замененной бессрочной каторгой, которую отбывала в Петропавловской крепости. В 1910 году ее перевезли в Сибирь, и оттуда она, как когда-то Бакунин, через Японию бежала в Америку. В семнадцатом, подобно другим эмигрантам, вернулась на родину – ненавидящей и непримиренной.

Никифорова обрушила на Махно град упреков в постепенстве, соглашательстве и отходе от бунтарского правого дела:

– Надо прямым насилием над буржуазией разрушать устои буржуазной революции! (6, 194).

Маруся предложила разоружить часть Преображенского полка, стоящую неподалеку от Гуляй-Поля. Эпизод этот, вскользь упомянутый в воспоминаниях Махно, восполняется рассказом Назара Зуйченко: «Числа десятого сентября семнадцатого года, мы, 200 человек, выехали поездом в Орехово. Оружия, за исключением десяти винтовок и стольких же револьверов, взятых

нами у милиции, у нас не было. На станции Орехово мы оцепили снабжение полка и в цейхгаузе нашли винтовки. Затем окружили в местечке штаб. Командир успел удрать, а низших офицеров Маруся собственноручно расстреляла. Солдаты сдавались без боя и охотно складывали винтовки, а после разъехались по домам. Маруся уехала в Александровск, а мы с оружием вернулись в Гуляй-Поле. Теперь было не страшно…» (6, 194–195).

Мрачное, смутное время простерлось над степями Украины. Власти еще издавали приказы, но их уже некому было выполнять. В местечках стояли еще гарнизоны, но солдаты отрекались от своих офицеров. То, что казалось крепким, рушилось, а то, что ютилось в темных углах, как плесень, мгновенно набиралось соками силы. Гуляйпольские привилегированные классы оказались понятливы: едва крестьянский съезд принял решение о переделе земли, как помещики разбежались, а промышленная буржуазия покорно заплатила контрибуцию. И только в Александровске все еще не понимали, что происходит. Уездный комиссар послал к Махно чиновника особых поручений, дабы пресечь исходящую из Гуляй-Поля крамолу и составить протоколы на тех, кто принимал участие в разоружении буржуазии. Наивный человек! Возможно, именно за эту наивность, которая делала несерьезными все его распоряжения, а может, из-за сходства фамилии (уездный комиссар прозывался Михно) Махно пощадил его, когда Александровск оказался в руках большевиков, а сам Махно работал в ревкоме кем-то вроде судебного эксперта, определяя, кого из «бывших» казнить, а кого миловать.

Чиновника же особых поручений Махно вызвал в Комитет защиты революции и велел ему «в 20 минут покинуть Гуляй-Поле и в два часа – пределы его революционной территории» (51, 92). С тех пор до самой немецкой оккупации никто не беспокоил этот странный, полностью независимый район.

Нам никогда доподлинно не узнать, что происходило в эти слепые предзимние месяцы там, где кончалась нетвердая власть городов, в которых еще держался привычный порядок. Даже старые газеты не могут рассеять густой мрак, покрывший деревню: вряд ли журналисты и выбирались туда в ту пору. Какие драмы разыгрывались под пологом осенней ночи? Как делили землю? Как распределяли инвентарь? Многих ли убили? Многих ли осчастливили?

Махно пишет, что «часть кулаков и немцев-хуторян, чувствуя момент, сдались сразу революции и занялись на общих основаниях, т. е. без батраков и без права сдавать землю в аренду, устройством своей общественной жизни» (51, 176). А что сделали

с теми хозяевами, которые революции не «сдались»? Мы не знаем и лишь можем предполагать, памятуя о крутых нравах времени.

Когда махновщину называют «кулацким» движением, это неверно даже с классовой точки зрения. Собственно кулацкие хозяйства, хозяйства сельской буржуазии, были осенью 1917 года самими крестьянами разграблены так же, как и помещичьи имения. Осенью же 1918-го, когда кулаки, пытаясь вернуть отобранное, выступили в поддержку гетманского режима, держащегося на немецких штыках, огромное их число было физически уничтожено отрядами крестьян-повстанцев. Таким образом, наиболее продуктивные, обустроенные, специализированные хозяйства были разгромлены. Зато за их счет остальные получали как бы равные «стартовые возможности», которые, впрочем, могли обеспечить какой-никакой уровень производства хорошему хозяину. «Черный передел» между своими – до того, как в него вмешались большевики, послав в деревню изымать хлеб вооруженных и голодных людей, – в целом-то был делом внутренним, семейным. В запальчивости, конечно, могли кому-нибудь высадить дрыном глаз, но особенно не злодействовали. Всем вместе жить, все свои. Не китайцы, не венгры, которые пришли потом. Так что «раскулаченным» оставляли и плуг, и сеялку, и веялку, по две пары лошадей, по паре коров – жить можно было. А для большевиков, которые стали просачиваться в деревню и утверждать там свою власть где-то в начале 1919 года, все единоличники, все, кто не батраки, – одинаково были кулаками, что и привело потом к тяжелым последствиям.

…Незадолго до Октября в Гуляй-Поле пришла весть о том, что комиссар Михно, в отчаянной попытке спасти уезд от анархии, арестовал в Александровске Марусю Никифорову. Махно дозвонился до него по телефону, недвусмысленно предупредил: «Если не освободишь немедленно, то знай, что в эту же ночь запалим твое имение!» (6, 195).

Михно имел мужество отказаться. Но и Махно не собирался идти на попятный. Для вызволения Маруси был сформирован из молодежи отряд человек в 60, который двинулся на Александровск. Однако на этот раз до города махновцы так и не добрались. В Пологах, едва погрузились в поезд, начальник станции показал ошеломляющую телеграмму: в Петрограде свергнуто Временное правительство! На радостях решено было вернуться домой. И хотя эта вылазка закончилась ничем, она сама по себе очень симптоматична: Махно становилось тесно в Гуляй-Поле, он натачивал зубок на Александровск, а там и на другие соседние города…

Октябрьские события докатились до Украины в ноябре-декабре. Правда, в Гуляй-Поле никаких существенных изменений не произошло: власть тут и без того была советская, земля крестьянская, и все это сделалось без большевиков и их громогласных деклараций. Вообще большевики на Украине были много слабее, чем в России, оттого и уступчивей. Пытаясь захватить власть, они активно блокировались с левыми эсерами и анархистами, которые распоряжались несколькими бестолковыми, но вооруженными с головы до ног отрядами «черной гвардии». С севера еще просачивались в подмогу им эшелоны с революционными матросами, которые, позабыв мирную жизнь и исполнившись к ней скучливого презрения, мотались на поездах по всей стране и ставили новую власть силою штыков и невероятной морской ругани. Но и старая власть не сдавала полномочий: на Правобережье, на Киевщине, Центральная рада держалась довольно крепко, на ненадежном же левом берегу воцарился полнейший хаос. Несколько властей сосуществовали и правили параллельно, но только большевики сохраняли самообладание, прежде всего начиная создавать подпольные военизированные гнезда – ревкомы, из которых должно было со временем вылупиться их политическое господство.

Махно не хотелось оставаться в стороне от этих событий. В начале декабря он едет в Екатеринослав делегатом на очередной губернский съезд Советов. Екатеринослав трясло. Здесь, пишет Махно, «была власть, еще крепко хватавшаяся за Керенского, власть украинцев, хватавшаяся за Центральную Раду… здесь была и власть каких-то нейтральных граждан, а также своеобразная власть матросов, прибывших несколькими эшелонами из Кронштадта; матросов, которые держали направление против ген. Каледина, но по пути свернули в Екатеринослав на отдых. Наконец, власть Совета Рабочих, Крестьянских и Солдатских депутатов, во главе которого в это время стоял анархист-синдикалист тов. Гринбаум…» (51, 104). Все эти власти претендовали на руководство и, по выражению Махно, «злобствовали друг на друга и дрались между собой, втягивая в драку тружеников» (51,100). Махно это очень раздражало. Раздражала и борьба вокруг выборов в Учредительное собрание: Махно называл ее «картежной игрой политических партий» и, по возвращении в Гуляй-Поле, убеждал членов анархистской группы отказаться от поддержки на выборах эсеров и большевиков, ибо после увиденного никому уже не желает оказывать содействия. Не удовлетворил его и съезд Советов. «Характерно в этом съезде, что все, что он постановил в своих резолюциях, у нас в

Гуляйпольском районе за 3–4 месяца до того было проведено в жизнь» (51,106). Единственная удача – несколько ящиков винтовок, полученных от федерации анархистов, которая, в свою очередь, получила их от большевиков, вооружавших всех, кто мог помочь им против Украинской рады.

Вернувшись в Гуляй-Поле, Махно, однако, недолго оставался на месте. В последних числах декабря он с довольно большим отрядом появляется в Александровске. Сам Махно пишет, что выступление было вызвано известием о том, что войска Центральной рады заняли Кичкасский мост через Днепр, чтобы пропустить на Дон к Каледину несколько снявшихся с германского фронта эшелонов с казаками. Получив эту весть, Гуляйпольский совет заседал чуть не целый день и в конце концов решил выступить на стороне большевиков вместе с красногвардейским отрядом некоего Богданова, который пытался отбить мост и задержать эшелоны.

Эти обстоятельства проливают свет на совершенно темную для современного читателя подробность романа «Тихий Дон», когда Мелехов, возвращаясь с фронта, из теплушки наблюдает бой украинцев с анархистами: «украинцы», как становится понятно, – это войска Центральной рады, «анархисты» же – отряд вроде махновского или «черной гвардии» Маруси Никифоровой. Характерно, что Махно однозначно определяет намерения казаков – двигаться не просто на Дон, но непременно к Каледину, – повторяя тем самым один из самых расхожих революционных мифов о коренной, глубинной контрреволюционности казачества. И действительно, с казаками революционеры хоть и заигрывали, но в целом отношение к ним было настолько унизительно-подозрительным, что уже по этому одному не могло разрешиться миром. Верхнедонское восстание – по духу отчасти напоминавшее махновщину, но, как и всякое незрелое народное движение, оказавшееся под чужими, в данном случае белыми, знаменами, – вспыхнуло зимой 1919 года никак не из-за того, что казачество не приняло революционных преобразований. Оно их ждало, но не дождалось. Власть Советов утверждала себя нахраписто – путем интриг и демагогии, силы и грубой лести, совсем не считаясь с чаяниями и нуждами населения донских станиц. После восстания партийная пресса больше не сдерживалась и поливала казаков с разнузданной и трусливой яростью исчерпавшего аргументы пропагандиста. «Стомиллионный российский пролетариат не имеет никакого морального права применить к Дону великодушие, – металлическим тоном военного приказа требовали харьковские „Известия“ (№ 16, 8 февраля 1919 г.). – Старое казачество должно

быть сожжено в пламени социальной революции. „Всепотрясающие“ и всевеликие конные казачьи полчища должны быть ликвидированы. Казачество необходимо обезлошадить… Реакционное брюхо Дона должно быть вскрыто…»

Выступая против казаков, гуляйпольцы еще не знали, что и сами, только в иных выражениях, будут новой властью прокляты и без пощады усмирены и что летом 1921-го, ища спасения от преследователей, Махно с последней надеждой кинется в становище «врагов», в сторону Кубани и Дона – но никто уже на этой выжженной земле не отзовется ему.

Отряду Богданова и гуляйпольцам удалось захватить Кичкасский мост, и 7 января 1918 года здесь начались переговоры с казаками. Казаки сдавать оружие отказались, заявив, что их 18 эшелонов и сил пробиться у них хватит. Ночью случился бой, который при желании может быть истолкован в героическом для революционных сил плане, но на самом деле, конечно, он был решен неохотой казаков получить случайную пулю по дороге домой. На следующий день они согласились сдать винтовки и проходить лишь с седлами и лошадьми. Самое удивительное, что разоружение фронтовиков, для которых за несколько лет война стала второй профессией, произвел отряд, в котором, начиная с командира, никто не знал толком, как обращаться с оружием. Правда, вид у черногвардейцев «был страшен и суров: пулеметные ленты с патронами на плечах, за поясами торчало по два револьвера, из голенища выглядывали чеченские кинжалы… Но толку было мало. Никто не обучен. Все, знающие военное дело, бросив фронт, сидели по домам» (6, 196–197). Тем не менее бойцы отряда чувствовали себя хозяевами положения. Офицеров, которые не хотели срывать погоны и сдавать револьверы, без особой злобы бросали с моста в Днепр… Казаки простояли в Александровске еще пять дней, подвергаясь усиленной обработке большевистских и лево-эсеровских агитаторов, обещавших Дону широчайшую автономию, потом, оставив на улицах кучи конского навоза, ушли. В знак возвращения к нормальной жизни ревком наложил на городскую буржуазию контрибуцию в 18 миллионов рублей.

Читателю будет, может быть, странно узнать, что к героическим этим событиям Нестор Махно не имел почти никакого отношения. Командовать отрядом гуляйпольцев он заробел – должность командира принял старший брат Махно Савелий. Сам же он пристроился при ревкоме (где состояла и Маруся Никифорова) на должность и незаметную, и неблагодарную – разбирать дела «врагов революции», которых наарестовал Богданов и которые, как скот, томились в

арестантских вагонах, прицепленных к эшелону его отряда. Среди арестованных оказались провокатор Петр Шаровский и уездный комиссар Михно. Первого изобличили и подвели под расстрел, второго за либерализм выпустили. Осудить на смерть бывшего прокурора и начальника уездной милиции ревком все ж не дал: как был убежден Махно, из страха перед местной буржуазией.

На своей бумажной должности Махно превращался во вполне обычного провинциального советского уполномоченного. Какая-то власть у него была, но в то же время он кругом был зависим: от ревкома, от Богданова, от Маруси Никифоровой, от большинства, волю которого он должен был исполнять. А ему, между тем, все меньше нравились устанавливающиеся порядки. Не нравилось, прежде всего, с каким ревнивым ожесточением дрались за власть большевики и левые эсеры, которые, «разобравшись» с пленниками Богданова, начали серию новых арестов – на этот раз правых социалистов. Число узников тюрьмы опять выросло настолько, что ведать ее делами был приставлен специальный комиссар. Махно ничего изменить не мог, но бесился: «народовластие», осуществляемое через партийных чиновников, отвращало его. Не столько даже аресты меньшевиков и эсеров были отвратительны, но – тюрьма. Его первая тюрьма. Он пишет:

«У меня нередко являлось желание взорвать тюрьму, но ни одного разу не удалось достать достаточное количество динамита и пироксилина для этого. Я не раз говорил об этом левому эсеру Миргородскому и Никифоровой, но они оба испугались и старались меня завалить работой… Я брался за всякую работу, которую комитет на меня взваливал, и делал ее до конца. Но быть волом, видя, что за твоей спиной черт знает что творится, было не в моем характере… Уже теперь, – говорил я друзьям, – видно, что свободой пользуется не народ, а партии. Не партии будут служить народу, а народ – партиям. Уже теперь мы видим, что в делах народа упоминается одно лишь его имя, а вершат дела партии» (51, 138–141). Получение из Гуляй-Поля телеграммы о появлении в селе отряда Центральной рады дало Махно благовидный повод заявить о своем выходе из ревкома и вместе с отрядом убраться прочь из Александровска, чтобы начинать «подлинную революцию» в деревне.

Воочию увиденная Махно «диктатура пролетариата», осуществляемая как партийная диктатура, для народной революции явно не подходила. Что же взамен? Демократия узка, слишком добропорядочна, нетороплива, «буржуазна»: ни одной нотки сожаления по поводу разгона Учредительного собрания мы не найдем у Махно. Он видит прямое, непосредственное творение революции народом через свободные от партийных влияний

Советы. На уровне Гуляй-Поля эта программа казалась вполне осуществимой. Что должен делать революционер? У Волина, позже ведавшего всей культработой в махновском Реввоенсовете, на этот счет прямо: помогать идеями, опытом (но не руководить!), работать «непосредственно в народе» (95, 175). Обаятельнейшая идея! Впрочем, надо отдать должное, многие искренне старались приблизиться к этому идеалу. Махно, например, раза два в неделю ездил работать в сельскохозяйственную коммуну, устроенную батраками и рабочими неподалеку от Гуляй-Поля. Сама идея коммун, кстати, не из большевистского, а из народнического, анархистского, толстовского обихода (у Пильняка в романе «Голый год» синеблузый анархист Юзеф, к примеру, из таких вот коммунаров). Большевики же ее позаимствовали было на время, да потом бросили: слишком много позволяли себе добровольные коммуны самостоятельности, недостаточно партийно устремлялись в светлое будущее. Поэтому уже в двадцатые годы большинство из них придушили, а перед коллективизацией задавили последние.

Поскольку коммунам отрезалась земля и выделялась часть захваченного в усадьбах инвентаря и скота, против этой затеи выступали некоторые единоличники. Однако, пишет Махно, такое мнение «на всех съездах резко осуждалось» (51, 176). Мы не можем проверить, насколько он здесь искренен. Но, как показали дальнейшие события, коммунистические симпатии крестьян и их приверженность к анархизму в начале 1918-го, покуда не пришли немцы и не вернули старые порядки, были далеко не так крепки, как Махно хотелось бы верить. Впрочем, мы глубоко заблуждались бы, думая, что в начале 1918 года Гуляй-Поле было той «столицей анархии», а Махно ее столь же безраздельным хозяином, как это оказалось в 1919-м. Его авторитет оспаривали ораторы различных партий; в том числе как-то раз схлестнулся с ним на митинге большевик, местный уроженец, тоже кучеров сын и с Махно почти одногодок Михаил Полонский. Через год судьба столкнула их насмерть, а пока что клеймил Нестора за анархистскую демагогию ладный матросик, что так и ходил по селу в революционной флотской форме и бескозырочке с названием черноморского крейсера – «Иоанн Златоуст». Крестьяне же, размежевав землю и поделив захваченный осенью инвентарь, к политике утратили всяческий интерес и предоставляли ораторам спорить до хрипоты.

Меж тем поспевала катастрофа Бреста. Центральная рада, как известно, подписала с немцами Брестский мир отдельно от Советской России. Довольные немцы прозвали его «хлебным миром»: по этому договору до 1 июля 1919 года Украина

обязывалась поставить в голодающую Германию 75 миллионов пудов хлеба, 11 миллионов пудов живого скота, миллион гусей, 30 тысяч живых овец и т. д. Но до июля нужно было еще дожить: немцы ведь прекрасно знали, что подписывают договор с правительством, бежавшим из своей столицы, и у них не было иллюзий относительно возможностей Центральной рады покончить с революционными беспорядками на Украине. Но зато они не сомневались в своих силах: 1 марта 1918 года Центральная рада вернулась в Киев вместе с немецкими войсками.

К концу апреля немцы и австро-венгры оккупировали всю Украину. Разрозненные большевистские, левоэсеровские и анархистские отряды пытались оказывать им сопротивление, но бывали неизменно биты и откатывались все дальше на восток. В этот отчаянный момент Махно вновь решил поддержать большевиков: в Гуляй-Поле был организован крепкий батальон из бывших регулярных солдат. Махно связался с начальником красных резервных войск Беленкевичем и предложил свои услуги в обмен на вооружение. Беленкевич, не скупясь, отгрузил шесть орудий, три тысячи винтовок, два вагона патронов и девять вагонов снарядов. Но все это так и осталось незадействованным.

В начале апреля Махно вызвал в свой штаб тогдашний командующий Южным фронтом Павел Егоров – видимо, чтобы дать ему оперативное предписание, – но в сумятице отступления Махно штаб потерял и ездил от станции к станции в поисках его следов. Тем временем в Гуляй-Поле вызрела измена. 16 апреля в село вошел отряд Центральной рады. «Вольный батальон» не оказал сопротивления и разошелся по домам. Более того, входившая в состав батальона еврейская рота помогала в аресте членов ревкома и совета, разоружила членов анархистской группы, разгромила ее помещение. С особенным чувством, как о неслыханном кощунстве, пишет Махно о том, что один из членов группы, Лев Шнейдер, участвовал в этом разгроме, топтал и рвал портреты Кропоткина и Бакунина, анархистские книги. Еще через несколько дней село было занято немцами.

Весть об измене настигла Махно на станции Цареконстантиновка. Воистину, к такому повороту событий он не был готов. С Махно случилась истерика, потом он впал в забытье и долго спал на коленях какого-то красногвардейца…

ЗУБКИ ПРОРЕЗЫВАЮТСЯ

«Помню, я проходил по базару-толкучке с намерением купить исподнее белье, чтобы после трех недель переодеться…» (53, 27). Пусть эта фраза, случайно оброненная Махно в воспоминаниях, послужит нам камертоном в разговоре о событиях весны 1918 года. Нельзя ничего понять о Гражданской войне, следуя героическим стереотипам – будь то героика Перекопа или «Ледяного похода» белых. Изнанка военной романтики – монотонное, неотвратимое бедствие и беспомощная гибель миллионов, остановившиеся заводы, голод, нищета, всесилие чиновников-распределителей, «комиссародержавие», смертоносные, неостановимые без лекарств эпидемии, дикая усталость, пыль, грязь, рваные сапоги, белье, гниющее на теле, и – ожесточение, душевное оскудение, опустошенность…

В апреле 1918 года впервые обнаружился ужас Гражданской войны, которая до этого очень многим представлялась лишь в романтическом свете восстания мирового пролетариата. Немецкие солдаты не восстали, ступив на революционную землю Украины, но зато вскрылась и вылезла на поверхность собственная мразь: бездарность партийных вожаков, беспомощность властей, трусость, мелкая мстительность… Немецкое наступление словно метлой вымело с Украины всех, кто связал свою судьбу с Октябрьской революцией, – теперь эти люди отрядами и поодиночке хлынули на Таганрог и Ростов, где еще держалась советская власть, хотя дни ее и здесь были сочтены. Ростов готовился к эвакуации, свирепствовали грабежи, предсовнаркома Донской области и начальник чрезвычайного штаба обороны Подтелков, как пишет Махно, «переселился уже из особняка в вагон при двух паровозах на полных парах» (53, 31). Фронта толком не было – как не было еще и украинской Красной армии. То, что называлось красной гвардией и было буквальным исполнением завета Маркса об упразднении «стоящих над народом» регулярных войск и замене их «всеобщим вооружением народа», – выявило свою полную беспомощность перед лицом немцев. Какие-то отряды еще продолжали драться на бродячих фронтах, другие панически бросались в тыл, их разоружали, отсылали на фронт или отправляли на перековку дальше – в Царицын.

Отступая в общей каше, Махно попал сначала в Таганрог, где встретил много своих: двух братьев, Савелия и Григория, Алексея Марченко, из которого впоследствии вырос не знающий страха дерзкий партизан, Семена Каретника, который командовал

Повстанческой армией во время взятия Крыма, путиловца Бориса Веретельникова, который из Петрограда вернулся в родные места, чтобы взяться за дело революции по-рабочему, – и еще много анархистов и сочувствующих. В помещении таганрогской анархистской федерации состоялась сходка, не без претензии названная Махно в мемуарах «таганрогской конференцией». Решали, что делать дальше, коль вышел такой разгром и конфузия. Условились разъехаться и осмотреться, где, что и как происходит, а к июню, к началу полевых работ, возвращаться домой, начинать беспощадный индивидуальный террор против оккупантов и тех, кто заодно с ними окажется, – и поднимать восстание. Борис Веретельников с кем-то поехал в Петроград, Махно же нацелился на Москву, где были у него знакомые, у которых ему желалось повызнать кое-что…

В этом путешествии – через Ростов и Тихорецкую поездом на Царицын, оттуда пароходом до Саратова и вниз до Астрахани (где Махно неделю проработал в агитотделе краевого астраханского Совета), потом назад в Саратов и уж оттуда через Тамбов в Москву – Махно многое повидал и осмыслил. И хотя историки на это путешествие, как правило, обращают мало внимания, как на своего рода паузу в истории махновщины, – мне-то как раз кажется, что никакой паузы нет, что за это время Махно и сложился как политическая фигура.

Сейчас все отчетливее видно, что весна и лето 1918 года были для революции последним переломом: если когда-либо страной и был сделан выбор в пользу тоталитаризма, то, конечно, не в двадцать девятом и не в тридцать седьмом, а именно тогда. Впрочем, большевики свой выбор тоталитаризмом не называли – и слова такого еще не было. Просто шла речь о создании системы, способной с наибольшей эффективностью противостоять внешнему и внутреннему врагу, который необыкновенно умножился после окончательного разрыва большевиков с демократическими партиями меньшевиков и эсеров и с началом наступления на крестьянство. А то, что эта система требовала диктатуры, усекновения декларированных свобод, давления на органы народной власти, советы, репрессий по отношению к политическим оппонентам справа и слева – так что ж, господа: мы не белоручки, мы революционные практики, да-с… Анархисты и левые эсеры все это время обвиняли большевиков в отступничестве, в измене принципам 1917 года. Большевики, в свою очередь, заклеймили их контрой: пока вы будете орать о народоправстве, об «истинной» советской власти, придут белые и немцы и свернут и вам, и нам шею… По-своему большевики были правы: после разрыва с демократией, с началом Гражданской

войны у России, по-видимому, уже не было выбора: в ней так или иначе должна была возобладать «сильная власть», диктаторский режим или белого, или красного толка. Но революционным романтикам, которые хотели видеть в революции торжество свободы и справедливости, конечно, не хотелось в это верить. Они все еще полны решимости повернуть революцию на «истинный путь»… Махно – безусловно из их числа.

Первый конфликт с властями у него вышел из-за попытки большевиков разоружить отряд Маруси Никифоровой, который, подобно многим другим, разным по партийной «приписке» формированиям, в разгар боев явился в Таганрог на отдых. Махно пишет, что большевики терпели анархистов, пока те «оставались на боевых фронтах до издыхания» (53, 14), но в случае появления в тылу их старались поскорее разоружить. Положение усугублялось тем, что в Таганроге находилось бежавшее из Харькова украинское советское правительство, которому не нравилось близкое присутствие своевольной мелкобуржуазной «нечисти». Никифорову арестовали в помещении украинского ЦИКа Советов в присутствии Махно и председателя ЦИКа большевика Затонского, отряд разоружили. Бойцы, однако, не разбежались, а при поддержке местных анархистов и левых эсеров стали требовать вернуть им командира. Махно послал командующему Украинским фронтом Антонову-Овсеенко запрос относительно Никифоровой. Поскольку ее отряд был в числе немногих боеспособных, тот ответил вполне определенно: «Отряд анархистки Марии Никифоровой, как и т. Никифорова, мне хорошо известны. Вместо того, чтобы заниматься разоружением таких революционных боевых единиц, я советовал бы заняться созданием их» (53, 15). Позднее Антонов-Овсеенко не без иронии окрестил Марусю Никифорову «энергичной и бестолковой воительницей» (1, т. 4, 96), так что приведенную характеристику можно считать завышенной. Несомненно одно: давая ее, Антонов-Овсеенко, как человек принципиальный и честный, прежде всего заботился о судьбах фронта, а в происшедшем чувствовал какую-то не совсем чистую политическую игру.

Заваривался скандал. Выразить «свой протест зарвавшимся за спиной революционного фронта властям» (53, 15) в Таганрог пришел бронепоезд под командой анархиста Гарина. Поскольку властям действительно нужно было как-то оправдать свои действия, Никифорову решено было судить. Практика судебных расправ над политическими противниками тогда еще была далека от совершенства, особенно мучительно вырабатывался стандарт обвинений революционного суда против революционеров же. Впрочем, были ли мучения? Анархистов с весны 1918 года

разоружали, судили и иначе дискриминировали по стандартному обвинению в уголовщине или в покровительстве ей – именно под этой маркой произошел разгром анархистских организаций в Москве и в Петрограде в апреле 1918 года. Правда в этих обвинениях присутствовала, но лицемерие властей, пытавшихся уголовным уложением прикрыть свои политические интересы, было все-таки столь очевидно, что, когда ЦК левых эсеров заслушивал доклад «своего» чекиста Закса о разгроме московского «Дома анархии» в ночь с 12 на 13 апреля и поголовном «профилактическом» аресте всех анархистов для выявления уголовного элемента, Мария Спиридонова, как говорили, не захотела даже слушать этот доклад и, возмущенная, покинула зал.

Марусе Никифоровой тоже, естественно, инкриминировалась уголовщина, но крупномасштабная: разграбление ее отрядом Елисаветграда во время взятия города у войск Центральной рады. Правда, суд над нею был открытым, и судьи – два большевика и два левых эсера – полностью оправдали ее, постановив, что «осудить Никифорову за разграбление г. Елисаветграда нет никаких оснований»[8] (53, 17). Ей вернули отряд, вооружение и отправили на фронт. Махно же в мемуарах скрупулезно отмечает, что написал по этому поводу листовку, «которая изобличала центральную украинскую советскую власть и командира Каскина в фальсификации дела против Никифоровой и лицемерно подлом отношении к самой Революции» (53, 17).

Направляясь в Москву, Махно с кем-то из своих перебрался сначала в Ростов, сунулся было, как всегда, в Дом анархистов, но, увидев и там поплевывание в потолок лежащих на роскошной мебели «заслуженных работников движения», задерживаться не стал, а, зачислившись в команду артиллерийского эшелона «под командой симпатизировавшего анархистам товарища Пашечникова» (53, 30), решил двигаться на Царицын, через который шел в Россию весь поток беженцев с Украины.

Товарищ Пашечников и в самом деле не чужд был некоторого романтизма: на Тихорецкой он послал людей из команды эшелона на базар за продуктами, «рассчитывая на недавнее еще право каждого красногвардейского отряда иногда совсем не платить торговцам, а если платить, то одну треть стоимости» (53, 32). Но тихорецкие лавочники, почувствовав, что «товарищи» явно залетные и к тому же отступающие, грабить себя не дали и учинили возмущение, которое закончилось тем, что эшелон Пашечникова был оцеплен красными войсками и блокирован. Махно вместе с анархистом Васильевым пошел объясняться с властями. «Власти нас арестовали, – пишет Махно, – и в вежливой

форме заявили, что мы подлежим расстрелу в военном порядке» (53, 33). Только сильнейший скандал, учиненный приговоренными к смерти, спас их от уготованной им участи. И хотя этот случай может рассматриваться просто как курьез, сам-то Махно, упоминая о нем, начинял его политическим смыслом: действия властей возмущают его, поскольку ограничивают святое право революционера действовать любыми методами «во имя революции». То самое право, которым в октябре семнадцатого все пользовались в равной степени, большевики теперь пытались оставить исключительно за собой: Махно улавливал в этом отзвуки процесса куда более обширного, чем базарная склока.

К весне 1918-го большевики, окрепнув, начали прибирать к рукам ту вольницу, которую они использовали для совершения своего переворота (в этом смысле интересно замечание анархиста В. Волина о том, что все части, выступившие на стороне большевиков в момент октябрьского переворота, в 1918 году были разоружены и расформированы).

Не обошлось без эксцессов, даже перестрелок между красногвардейцами, привыкшими себя считать добровольцами и героями революции, и красноармейцами, которые шли им на смену, повинуясь обычной мобилизации, не претендуя ни на особые заслуги, ни на какие-то особые права. Эта страница революции совсем забыта, ее быстро перелистнула начавшаяся Гражданская война, но в апреле—мае 1918-го, когда большевистская власть избавлялась от своих первых солдат – частью потому, что они были развращены делом, которому служили, и, в прямом смысле слова, разложены революцией, частью же оттого, что хранили в душах никому уже не нужный и даже опасный дух вольности, – ситуация была еще полна драматизма. Доходило до боев местного значения. Например, в Саратове, куда Махно попал немного времени спустя, при попытке большевиков распустить организацию матросов Балтики, Черноморья и Поволжья матросы орудийным огнем разбили даже резиденцию местной власти. Но сколь бы ни были импульсивны и воинственны подобные формирования, политическая их беспомощность была очевидна, и надолго их не хватало. После коротких вспышек их неизменно разоружали и расформировывали. Неосознанный протест народа против практики зрелого большевизма политически оформился куда позже, да и то в формах, слишком несовершенных для того, чтобы противостоять сложившейся структуре тоталитарного государства, – махновщина оказалась одной из них. Пока же Махно в команде перемещающегося по огромной клокочущей стране артэшелона присматривался, приглядывался,

принюхивался, не без трепета чувствуя в воздухе наэлектризованность близкого конфликта между революционной властью и революционным народом. Это пьянит его, волнует, и все чаще прорывается наружу его холодная нервность. Зудят десны у будущего несравненного партизана: зубки прорезываются.

Когда на станции Котельниково эшелон товарища Пашечникова почему-то решили разоружить (а Пашечников мог бы, конечно, разоружиться, но не хотел, потому что имел категорическое предписание следовать со своими орудиями до Воронежа), Махно предложил ему «открыть орудийный и пулеметный огонь по станции, разрушить ее и расстрелять власти, которые так подло действуют во вред делу защиты революции» (53, 40). Когда команда эшелона заняла свои места у орудий и пулеметов, на станции сообразили что к чему и открыли дорогу. Где-то уже совсем неподалеку от Царицына, на станции Сарепта, Махно ввязался в какой-то митинг, призвал «найти общий революционный язык с широкой массой революционных тружеников, осадить зарвавшихся Ленина и Троцкого» и спасать революцию (53, 44). Следствием было то, что из Царицына прибыл вызванный властями конный отряд венгров-интернационалистов (перешедших на службу к большевикам военнопленных мировой войны, которые, как самые надежные и нерассуждающие солдаты, активно привлекались для разного рода карательных операций). Отряд окружил эшелон и потребовал «выдать ему всех анархистов, которые, по их сведениям, пробираются на этом эшелоне в г. Царицын» (53, 44). Товарищ Пашечников проявил дипломатичность и хитрость, заявив, что никаких анархистов под его командой нет, а есть лишь орудийная прислуга, убеждений которой он не ведает. Мадьяры удовлетворились объяснением и вернулись в город. Вслед за ними в Царицын прибыл и сомнительный эшелон.

До эвакуации революционной Украины город Царицын жил тихой провинциальной жизнью: в садах играла музыка, работали кафе, и можно было на прогулке встретить кое-кого из «бывших», даже офицеров, бежавших сюда из центра от революционных потрясений. К. Е. Ворошилов, прибывший в Царицын во главе свежесформированной 5-й армии, через десять лет в не лишенном подобострастия очерке «Сталин и Красная армия» так описывал обстановку в городе: «Царицын в тот момент был переполнен контрреволюционерами всех мастей, от правых эсеров и террористов до махровых монархистов. Все эти господа до прибытия революционных отрядов с Украины чувствовали себя почти свободно и жили, выжидая лучших дней» (21, 12). Он

сетует, что товарищ Сталин, прибывший в начале июня в город в качестве особого уполномоченного по продовольствию – с отрядом красноармейцев и двумя автоброневиками, – застал здесь «невероятный хаос не только в советских, профессиональных и партийных органах, но еще большую путаницу в органах военного командования» (21, 10). В общем, и тут царила полная бестолковщина, обычная для смутного времени, которая изживалась тогда однозначно – вытяжкой всей жизни по военному ранжиру, что и было товарищем Сталиным проделано путем усиленного террора. И хотя до первых многообещающих экспериментов особого уполномоченного оставался еще месяц, с прибытием «украинских революционных отрядов» жизнь в городе пошла кругом: эти отряды, в большинстве своем партизанские, привыкшие действовать автономно, нужно было свести в регулярные части. Идейное партизанчество, в свете новой политики Троцкого – формировать регулярную армию, – объявлялось крамолой. Махно замечает: «Отряды… в которых обнаруживалась „контрреволюционность“ (а для этого достаточно было, чтобы командир его был анархистом или беспартийным и имеющим свое суждение о делах новой власти революционером), разгонялись, а то и расстреливались, как это было с Петренко и с частью его отряда» (53, 39).

Случай с Петренко потряс Махно и, сдается, послужил ему уроком на всю жизнь, и, когда Махно обвиняют в какой-то злостной подозрительности и недоверчивости к большевикам, это чистая демагогия: он просто знал что почем, успел кое-что повидать. Петр Петренко был одним из первых героев Гражданской войны на Украине – в ряду таких, как анархисты Гарин и Мокроусов, большевики Степанов и Полупанов, – и отряд его, отступавший из-под Таганрога, считался одним из наиболее боеспособных. Но именно этот отряд, вследствие того, что командир его был беспартийный, председатель штаба обороны Царицына С. Минин потребовал разоружить. Петренко, сознавая свои революционные заслуги, счел требование недостойным и отказался. Против него двинули войска. Под городом завязался бой.

Махно пишет: «Какая-то жуть охватывала нас, украинских революционеров… (53, 48). Хотелось броситься навстречу шедшим против отряда Петренко красноармейским колоннам и кричать: „Куда вы идете? Вас ведут убивать своих…“» (53, 49). «Я наблюдал начало боя, – продолжает он. – Я видел, как отважно сражались обе стороны. Видел также, что на стороне отряда Петренко было все население хутора Ольшанское и прилегающих к нему других хуторов. Оно возило хлеб, воду, соль отряду

Петренко» (53, 49). Петренко отбил удар высланных против него частей, но, желая показать себя солидарным с властью, он и не думал воспользоваться победой, а ждал лишь справедливого решения вопроса об отряде. Власти предложили ему переговоры, он согласился. В конце переговоров – очевидно, в момент особенно дружеских заверений – он был схвачен и препровожден в тюрьму. Отряд же разбит на группы и разоружен. Бойцы отряда, однако, не успокоились и, по-видимому, надеялись, завладев оружием, взять город для освобождения любимого командира. Махно пишет, что отговаривал их, настаивая, однако, на том, чтобы совершить налет на тюрьму и освободить Петренко. «В этом акте я усматривал лучшую и показательнейшую насмешку над властями, думающими тюремной стеной и решетками сбить с пути чувство долга и справедливости» (53, 59). Однако осуществить эту своеобразную шутку не удалось: Петренко, как контрреволюционер, был расстрелян, а его люди «высланы на фронт».

В этой маленькой трагедии, как в зерне, заключено уже все, что в будущем прорастет грандиозной трагедией махновщины. Правда, Махно решил сломать сценарий: в том месте, где и ему, в свою очередь, надлежало быть расстрелянным, он решил победить. Однако это не избавило трагедию от положенного ей финала.

МОСКВА

После месячного путешествия по городам Поволжья Махно очутился, наконец, в Москве. Москва ему опять не понравилась – он прямо именует ее «центром бумажной революции» и при каждом удобном случае спешит сказать свое строгое слово о «революционном генералитете». Но, во-первых, он и ехал сюда затем, чтобы повидать вождей революции, а во-вторых, потом уж тем более не мог удержаться, чтоб не охарактеризовать каждого из них, чтобы еще и еще раз показать, что он не бандит, а тоже политическая фигура, имеющая свое, так сказать, суждение. Отметим, кстати, что среди всех украинских атаманов, даже такого масштаба, как Григорьев и Зеленый, Махно выделялся именно тягой к политике и воплощенным в ней идеям. Его политический опыт, в частности, уберег махновщину от вырождения в гигантскую погромную организацию – что и произошло с дивизией Григорьева, когда она восстала против большевиков.

С вокзала, с чемоданом булок, Махно заехал сначала к профессору Алексею Боровому, кабинетному анархисту-интеллектуалу: здесь оставил булки, но задерживаться не стал, помчался сразу разыскивать любезного сердцу тюремного друга Петра Аршинова. После апрельского разгрома московской федерации анархистских групп тот отошел от сугубой политики и работал в Союзе идейной пропаганды анархизма секретарем, организуя диспуты и лекции и проживая, вернее, ночуя, в какой-то гостинице близ Театральной площади. Розыски Аршинова оставляют в памяти Махно несколько попутных впечатлений: трамвай, Настасьинский переулок, здание анархистской федерации – «помещение-сарай», в котором прежде «упражнялись футуристы в своих футуристических занятиях» (53, 94). Перевод анархистов из роскошного Купеческого собрания в это строение, расположенное к тому же в многозначительной близости от Народного комиссариата внутренних дел, красноречивее всяких слов свидетельствовал о их акциях на столичной политической бирже. Махно прекрасно отдает себе в этом отчет и не может сдержать горечи и досады.

Если для Ивана Бунина («Окаянные дни») революционная Москва 1918 года – это прежде всего царство Хама, бессмысленные и озлобленные толпы, «тучи солдат с мешками», «голоса утробные, первобытныя», преступные, «сахалинские» морды, семечки, Азия, газетная ложь, кривляющаяся в большевизме интеллигенция, одним словом – вырождение

цивилизации, наблюдать которое невозможно без скрежета зубовного и нервного кожного зуда, то Махно этого всего как раз не замечает. В этой Москве он свой, он сам из «страшной галереи каторжников». Его мучит и преследует другое: бумага, «бумажная революция», слова, слова, слова…

Листовки, воззвания, митинги, десятки газет. В помещении московской федерации анархистов лидеры движения перекладывают кипы нераспроданной газеты «Анархия». Лекция восходящей звезды московского анархизма товарища Иуды Гроссмана-Рощина о Льве Толстом. Прекрасные, берущие за душу слова, но не более. Конференция анархистов в гостинице «Флоренция» – просто бестолковое толковище: тот же самый Гроссман-Рощин много и горячо говорил о необходимости поднимать восстание на Украине, но почему-то в последний момент отказался походатайствовать перед большевиками о переправке товарищей-анархистов через границу Украинской державы. Не желал, видимо, унижаться.

«Фактически, – уныло констатирует Махно, – не было таких людей, которые взялись бы за дело нашего движения и понесли бы его тяжесть до конца». И он спрашивает себя: неужели и я стану таким, как они? «Никогда, ни за что!» (53, 102).

С говорунами и писаками он равнять себя не хотел.

Без пощады и снисхождения за прежние заслуги набрасывается Махно в своих мемуарах на известного в Москве анархистского литератора и теоретика Льва Черного, с которым познакомился, ночуя в каком-то заселенном анархистами доме, где последний был назначен комендантом и вынужден был переписывать мебель и следить за порядком в подъезде, нервничая и боясь скандалов с «квартирным комитетом» из-за того, что анархисты через закрытые ворота лезли во двор после двенадцати ночи. Махно, вероятно, знал, что Льва Черного тогда задергали повестками в суд по «делу анархистов», обвиняя в укрывательстве, знал, конечно, и то, что по сфабрикованному делу о подделке денежных знаков Черный в самом начале двадцатых годов был расстрелян в застенках ЧК. Но это не делает его снисходительнее. Махно пишет: «…человек этот обладал талантом оратора и писателя… но не умел уважать себя, ограждать свое достоинство» (53, 97). «Безвольный человек», «человек-тряпка», с которым другие делают все, что захотят. «Такие люди могут лишь освещать прошлое, если им попадается верный материал о нем» (53, 97). Навешивая на безответного Льва Черного безжалостные ярлыки, Махно, похоже, самоутверждался – всю жизнь его мучил комплекс недоучки, – изо всех сил стараясь произвести впечатление человека сильной

воли, человека дела.

Тот же мотив самоутверждения звучит в оценке Л. Мартова, выступление которого Махно слышал на съезде текстильных профсоюзов: «обиженный лидер», «неискренно, но дельно говорил», «кряхтел, сопел, но оставался мало услышанным» (53, 108). Интеллигентности в политике Махно не понимал, и усилия несчастного Мартова словом убедить своих политических оппонентов казались ему просто смехотворными.

В когорту жалких болтунов попадает и «щелкопер Зиновьев» (53, 139). А вот Троцкого, однажды услышанного на митинге, Махно в своих мемуарах словом не обидел, уважил за деловой подход и испытанное потом на собственной шкуре революционное беспощадство.

Завершает это противопоставление себя сонмищу московских революционных словоблудов сцена визита Махно к П. А. Кропоткину, написанная Махно по классическому канону передачи сакрального знания, апостольского завета любимому ученику. Содержание разговора Махно и Кропоткина, в ту пору уже больного, глубоко разочарованного в революции, хотя и не осмеливающегося открыто ее осуждать, мы знаем только в изложении самого Махно. Известно зато, что Кропоткин в эту пору сторонился активной политической деятельности, собирался из Москвы на жительство в Дмитров. С анархистами, за исключением группы деятелей кооперации, связей не поддерживал, за серьезных людей их не считая, но тихо публиковал в прокадетской «Свободе России» статьи об английском рабочем движении, в которых и сегодня легко уловить ностальгию человека, долгое время прожившего эмигрантом в цивилизованном обществе, по культурному и неспешному ведению дел даже в таком рискованном предприятии, как революция. Именно поэтому описание встречи Махно с Кропоткиным представляется наиболее сомнительным местом во всей трилогии батькиных воспоминаний. Вчитаемся в текст: «Он принял меня нежно, как еще не принимал никто. На все поставленные мной ему вопросы я получил удовлетворительные ответы. Когда я попросил у него совета насчет моего намерения перебраться на Украину для революционной деятельности среди крестьян, он категорически отказался советовать мне, заявив: „Этот вопрос связан с большим риском для вашей, товарищ, жизни, и только вы сами можете правильно его разрешить“. Лишь во время прощания он сказал мне: „Нужно помнить, дорогой товарищ, что борьба не знает сентиментальностей. Самоотверженность, твердость духа и воли на пути к намеченной цели побеждает все…“» (53, 106–107).

Ей-богу, кажется, что эти великолепные банальности Махно Кропоткину просто приписал, чтобы иметь возможность далее сказать о себе: «Эти слова Петра Алексеевича я всегда помнил и помню. И когда нашим товарищам удастся полностью ознакомиться с моей деятельностью в русской революции на Украине, а затем в самостоятельной украинской революции, в авангарде которой революционная махновщина играла особо выдающуюся роль, они легко заметят в моей деятельности черты самоотверженности, твердости духа и воли, о которых мне говорил Петр Алексеевич. Я хотел бы, чтобы этот завет помог им воспитать эти черты характера в себе самих» (53, 107).

Очень, очень серьезно относился к себе Нестор Иванович!

Но чем бы на самом деле ни закончилась встреча, для Махно это был знак великой причастности. Конечно, он не равнял себя с великими теоретиками-основоположниками, но верил, что именно ему выпала редкая удача: воплотить их теоретические построения на практике. И чем больше он общался с анархистами в Екатеринославе, в Таганроге, в Москве, тем более убеждался – именно ему…

После встречи с Кропоткиным Махно оставался в Москве еще несколько дней. Дело свое он сделал, в политической ситуации, насколько мог, разобрался и остался ею резко недоволен: революция не сделала трудящихся свободнее, она лишь подчинила их новому гнету рабоче-крестьянского государства. «Государство взяло на себя руководство социально-общественным строительством, что не требовало от пролетариев ни самостоятельности и инициативы, ни здорового трезвого ума, – пишет он. – Пролетариям же оставалось лишь выполнять то, что говорили большевики и левые эсеры» (53, 109).

К левым эсерам Махно, правда, относился терпимее, чем к большевикам: трещина меж ними не ускользнула от его внимания. «Смогут ли левые эсеры пойти настолько далеко в своей оппозиции большевикам, что мои впечатления об их готовности посчитаться с ленинизмом оправдаются целиком?» – спрашивает Махно. И сам отвечает: «Нет. У левых эсеров, как и у нас, анархистов, хороших желаний очень много, но очень мало тех сил, которые оказались бы достаточными для реорганизации пути революции» (53, 115–116). Политическое чутье у Махно, надо признать, было достаточно тонкое. Подоплека истерики, устроенной левыми эсерами незадолго до съезда Советов из-за Брестского мира, прозревается им с холодной ясностью: партии левых эсеров выгоднее делать вид, что конфликт проистекает из-за каких-то внешнеполитических разногласий, чем согласиться с тем, что «большевики, окрепшие за счет левых эсеров… взяли

перевес над ними и теперь, не нуждаясь более в них… стараются всосать их в свою партию или просто ликвидировать» (53, 117).

Задержись Махно в Москве буквально дней на десять – он стал бы свидетелем этой самой «ликвидации», случившейся 6 июля. Но тут случилось событие, которое окончательно определило его судьбу и ускорило отъезд на Украину, – встреча с Лениным.

Событие это, представляющееся многим историкам замечательным – особенно в силу, так сказать, несопоставимости, контраста оказавшихся рядом фигур, – на самом деле было чистой случайностью и, в общем-то, заурядностью, которая наверняка бы забылась, если б не крестьянская кропотливость, с которой Махно в мемуарах фиксировал все, что произошло с ним замечательного. В биографической хронике жизни Ленина этого события нет – что, однако, не значит, что Махно врет. Во-первых, «хроника» страдает явными пробелами, а во-вторых, из того, что интересовало Ленина в двадцатых числах июня, когда Махно очутился в кремлевском кабинете председателя Совета народных комиссаров, как раз и явствует, что встреча эта, встреча с товарищем с революционной Украины, была совершенно в русле тогдашних интересов Ленина.

Украина его интересовала по двум причинам. С одной стороны, чтобы выжить, нужно было поддерживать мир с немцами и правительством гетмана Скоропадского, с которым как раз шли тогда мирные переговоры. С другой стороны, чтобы выжить, эту самую Украину нужно было как можно скорее, вместе с немцами и гетманом, подпалить огнем восстания – уверен, что Ленин мечтал об этом не менее страстно, чем самый ярый анархист или левый эсер, – ибо там был хлеб. Хлеб! Наваждение голодного 1918 года. О хлебе насущном Ленин думает беспрерывно: то размышляет «об организации показательной заготовки хлеба в одном каком-нибудь уезде в виде опыта» (45, 556), то наркому продовольствия Цюрупе «выражает недовольство отсутствием литературы по борьбе с голодом» (45, 558), то, отдыхая с Н. К. Крупской и М. И. Ульяновой в бывшем имении Мальце-Бродово, рассуждает о желательности создания под Москвой совхозов для снабжения города продуктами, то жадно расспрашивает приезжих тамбовчан о борьбе с кулачеством, досадуя на нехватку продотрядов и организаторов.

Не позднее 26 июня «Ленин беседует (у себя на квартире) с Е. Б. Бош, работавшей на Украине, расспрашивает о ее работе, о создавшемся положении в связи с оккупацией немцами Украины, об отношении крестьянства к Советской власти» (45, 569). В эти же дни и состоялся, очевидно, разговор Ленина с Махно на ту же

самую тему: Украина манила его, там был хлеб, горы хлеба.

Махно для встречи с Лениным не прикладывал ни малейших сознательных усилий и, конечно, о ней не помышлял. Всем руководил исключительно случай. Дело было, собственно, в том, что Аршинов поселил Махно в гостинице Крестьянской секции ВЦИКа, которой заведовал его, как говорили тогда, «однопроцессник» (то есть проходивший с ним когда-то по одному политическому процессу) товарищ Бурцев. Но, видно, число подобных Махно протеже, революционеров мутной воды и невнятной огранки, проводивших свои дни в кромешном безделье, было столь велико, что, глядя на них, товарищ Бурцев начал потихонечку перекрашиваться из анархизма в левое эсерство, заметно нервничать и томиться. Махно это почувствовал и тактично съехал из гостиницы, а чтобы где-то жить, направился в Моссовет, чтобы получить ордер на бесплатную комнату. Далее с ним произошло именно то, что происходит со всяким советским человеком, перед которым встает квартирный вопрос: он был ввергнут в пучину бесконечных бюрократических процедур, в пучину того самого бреда, который еще в конце двадцатых годов с такой оптимистичной иронией воспринимался авторами «Двенадцати стульев». Ситуация, действительно, не лишена была комизма: ну в какой еще стране поиски комнаты завершились бы встречей с главой правительства? Поистине, ни в какой.

Ордера в Моссовете Махно не получил. «В Моссовете мне дали только пропуск в Кремль, во В ЦИК Советов, где я должен, де, предъявить свои документы, и уже тогда ВЦИК Советов сделает на них свою отметку, по которой Московский Совет может дать мне ордер» (53, 119). Блуждая по Кремлю, Махно забрел, по-видимому, в помещения ЦК большевиков, откуда кто-то (возможно, Бухарин) любезно вывел его в коридоры ВЦИКа и передал какому-то секретарю. Секретарь порасспросил его и, узнав, что товарищ с Украины, доложил Свердлову. Свердлов, председатель ВЦИКа, пожелал видеть его, велел говорить. Махно принялся рассказывать, но Свердлов вскоре оборвал его:

«– Что вы, товарищ, говорите… Ведь крестьяне на юге в большинстве своем кулаки и сторонники Центральной Рады».

«Я рассмеялся, – пишет Махно, – и не слишком распространенно, но выпукло нарисовал ему действия организованного анархистами крестьянства в Гуляй-Польском районе… Т. Свердлов, как будто и поколебленный, не переставал, однако, твердить:

– Почему же они не поддержали наших отрядов? У нас есть сведения, что южное крестьянство заражено крайним украинским шовинизмом…» (53, 122).

Махно занервничал: в эти отряды, которые действовали только по линиям железных дорог, не решаясь даже на 10–20 километров оторваться от эшелона, крестьянство не верило и верить не могло… Зачем же валить с больной головы на здоровую?

Свердлов согласился. Приглядываясь к Махно, он под конец спросил: «Но скажите мне – кто вы такой, коммунист или левый эсер?» (53, 124).

Махно хотел было прикинуться «беспартийным революционером», но в конце концов признался, что анархист. Свердлов удивился и сказал, что его сообщение о положении на Украине с удовольствием выслушал бы сам Ленин. Встреча была назначена на следующий день. Лидер большевиков задавал быстрые, конкретные вопросы: кто, откуда, как реагировали крестьяне на лозунг «Вся власть Советам!», бунтовали ли против Рады и немцев, а если да, то чего недоставало, чтобы крестьянские бунты вылились в повсеместное восстание? Махно отвечал, чувствуя, по собственному признанию, благоговение перед Лениным. По поводу лозунга «Вся власть Советам!» Махно старательно объяснил, что этот лозунг понимает именно в том смысле, что власть – Советам. Ленин еще и еше оаз поосил уточнить. Махно сформулировал: «Власть должна отождествляться непосредственно с сознанием и волей самих трудящихся» (53, 127).

– В таком случае крестьянство ваших местностей заражено анархизмом, – подумав, заметил Ленин.

– А разве это плохо? – спросил Махно.

– Я этого не хочу сказать. Наоборот, это было бы отрадно, так как ускорило бы победу коммунизма над капитализмом и его властью.

Ленин, по-видимому, остался доволен беседой: анархизм крестьян он считал временной и быстроизлечимой болезнью. Военные неудачи, приходилось признать, были неизбежны, но в них заключался урок – поступившись революционной романтикой, строить регулярную армию. На плечах крестьянского восстания ворваться на Украину и…

Нас же скорее заинтересует другое – глубокая неосведомленность двух первых фигур в государстве относительно того, что происходит в стране. И дело даже не в скудости оперативной информации, а в незнании более сущностном, происходящем от поспешности, поверхностности мышления обоих, которая хоть и была вполне объяснима в эти переполненные трагическими событиями дни, но, независимо от этого, порождала предвзятости и политические штампы

(крестьяне – кулаки и шовинисты), чреватые реками человеческой крови. Украину большевики так и не поняли, что позднее явилось причиной грандиозной катастрофы 1919 года, – потому что не хотели понять, искали только своей партийной выгоды, мерили только своим аршином.

Советский историк М. И. Кубанин, автор единственного в советской историографии настоящего исследования о махновщине, вышедшего мизерным тиражом в конце двадцатых годов, блестяще именно с марксистских позиций проанализировав хозяйство махновского района, с необыкновенной ясностью объяснил, почему именно здесь, на Левобережной Украине, могло зародиться мощное крестьянское движение, которое, приняв лозунги революции, оказалось, в конце концов, в оппозиции не только к белым, но и к красным. В исследовании Кубанина содержится именно то, чего Ленин и Свердлов не знали, хотя и должны были знать, устраивая революцию в стране, 9/10 населения которой составляли крестьяне, вкладывавшие в происходящее свой, отличный от кабинетно-большевистского, смысл.

Принципиальный вывод Кубанина заключается в том, что наибольшую антибольшевистскую активность в годы Гражданской войны выказали как раз те области России и Украины, которые в 1905–1907 годах, а также осенью 1917-го были наиболее революционными. В «махновских» губерниях (Екатеринославской, части Полтавской и Таврической) крестьяне жили зажиточнее, чем на остальной территории Украины, имели больше сельскохозяйственных машин, активно производили хлеб на продажу (более половины урожая шло на рынок, тогда как в среднем по Украине эта доля составляла от 25 до 30 процентов). Стремление владеть землей до революции выражалось здесь в скупке крестьянами земли у помещиков, а после – в активном «черном переделе», то есть грабеже. В селах Левобережья было мало бедноты, на которую делали ставку большевики в своей аграрной политике: разорившиеся крестьяне «отсасывались» предприятиями городов и шахтерских районов. Тесная связь с Россией, с русскими объясняла то, что националистические лозунги украинских правительств на Левобережье не были, в общем, поддержаны. Не было здесь и того махрового антисемитизма, которым отмечен весь ход Гражданской войны на Украине. Если в сопредельных областях еврей олицетворял собою ненавистного крестьянину разорителя-перекупщика (до 98 процентов торговцев сельхозпродуктами были евреи), то здесь, в степных губерниях, соотношение было иное: евреи, как и украинцы, в поте лица своего работали на земле, и отношение к

ним было вполне свойское. Богатство крестьян Левобережья сказалось потом решительным образом: нигде за всю историю Гражданской войны крестьянству для защиты своих интересов не удавалось создать организацию, по силе равную махновщине, нигде, разве что в Тамбовской губернии, очаге антоновщины, не сопротивлялось оно с таким остервенением государственному вмешательству в свои дела…

Встреча Махно с Лениным закончилась. Владимир Ильич предложил Махно воспользоваться большевистскими каналами для проникновения на Украину. Для этого Махно был отправлен к товарищу Затонскому, члену конспиративной «девятки» – своего рода украинского советского правительства в изгнании, который ведал выдачей фальшивых паспортов. История и здесь иронична: Махно помогал тот самый человек, который затем изо всех сил старался его уничтожить. Затонский предложил Махно воспользоваться партийными адресами и явками в Харькове. Но Махно отказался: он нацеливался на Гуляй-Поле. Больше работать на других он не хотел. Он хотел делать свою революцию.

ВОССТАНИЕ

В начале июля 1918 года Махно перешел границу Украинской державы по подложному паспорту на имя Ивана Яковлевича Шепеля, учителя из Екатеринославской губернии. В Харькове ему с трудом удалось сесть на поезд: в согласии с последними веяниями, проводник требовал от проезжего внятного, по всем правилам украинской мовы, объяснения, но Махно украинский язык забыл и говорил запинаясь. За то время, что он путешествовал, порядки на Украине изменились в корне: меньшевистско-эсеровское правительство Центральной рады, с которым немцы заключили мирное соглашение, использованное ими как повод для начала оккупации Украины, было теми же немцами разогнано и даже частично отдано под суд за идиотское похищение банкира Доброго. Похищение было организовано премьер-министром Центральной рады студентом третьего курса Всеволодом Голубовичем и министром внутренних дел Ткаченко (охарактеризован одним из современников как «мелкий авантюрист и интриган») в знак протеста против того, что генерал Герман фон Эйхгорн, командующий группой армий «Киев», отменил универсал Рады о социализации земли. Суд смахивал на трагифарс. Прокурор, типичный прусский служака, третировал бывших министров как мальчишек, с наслаждением им выговаривая:

– Когда с вами разговаривает прокурор, вы должны стоять ровно и не держать руки в карманах…

Голубович не выдержал, с ним сделалась истерика, он разрыдался – пришлось устроить перерыв, чтобы успокоить премьера. Успокоившись, он сознался суду в своей причастности к похищению Доброго и обещал больше никогда так не делать. Прокурор не смог сдержать сарказма:

– Я не думаю, что вам вновь когда-нибудь придется стоять во главе правительства…

На место Центральной рады немцами было посажено правительство гетмана Павла Петровича Скоропадского, генерал-лейтенанта, крупного землевладельца, крепко приверженного дореволюционным идеалам. Повсеместно возрождалось старое уложение жизни. В том числе возврату прежним владельцам подлежала земля, переделенная осенью 1917-го. Крестьяне должны были вернуть кулакам и помещикам также скот, инвентарь и, сверх того, за счет будущего урожая компенсировать невосполнимые убытки, причиненные в ходе дележа. К этому добавлялась еще необходимость выплачивать оккупантам

репарации по мирному договору, поставлять хлеб, скот, птицу – которые, естественно, тоже выжимались из деревни. На хлеб оккупационными властями была установлена твердая цена, но крестьяне, затаив лютую злобу, хлеб зажали. Правительство вынуждено было прибегнуть к принудительным «закупкам»: толку вышло немного, но злоба расширилась, и если в городах, несмотря на дерзкое убийство левыми эсерами генерала Эйхгорна, все-таки держался строгий немецкий порядок, то в деревне вновь под покровом ночи разверзалась какая-то кровавая жуть. «В Екатеринославском уезде совершено вооруженное нападение на имение Герсевановой, – писала газета „Слово“. – Взорван дом, убиты управляющий и сторож, ранены девушка и двое детей» (40, 38). «Нападение на дом Конько сопровождалось убийством 7 человек. Убит управляющий имением Ивакин. Ограблено 20 ООО рублей у помещика Бутько… В имении Литвинова вырезан весь состав служащих» (39, 38). «В Верхнеднепровском уезде грабителями убиты Перетятько и вся его семья. При нападении на дом Сендерея ограблено 2000 рублей. В Славяносербском уезде ограблена и расстреляна семья Неказанова» (40, 39).

Вряд ли эти убийства совершались непосредственно крестьянами: тут чувствуется холодный расчет, твердая рука преступников или профессиональных революционеров, начавших осуществлять «аграрный террор» по подобию 1905–1907 годов. Перечисленные злодеяния – как бы изнанка той революционной «работы», о которой пишет Махно в третьем томе своих воспоминаний, усердно идеологически ее оправдывая и разъясняя. Но, каковы бы ни были мотивы, деяния Махно и организованного им отряда, без сомнения, могли бы существенно пополнить этот газетный перечень. Сам Махно рассказывает о своих подвигах мало и уклончиво, боясь себя скомпрометировать, но местами он начинает собой любоваться и тут ненароком что-нибудь выдает. Так что, несмотря на крайнюю скудость и сомнительную достоверность сведений об этом периоде махновщины, кое-что нам все-таки известно.

Приехав на Украину, Махно поселился неподалеку от Гуляй-Поля на чердаке у некоего Захария Клешни, где он отлежался, выслушал новости и сочинил несколько пламенных писем к односельчанам, не без достоинства подписав их: «Ваш Нестор Иванович» (54, 7). Переодевшись бабой, сходил поглядеть на родное село. В Гуляй-Поле стоял мадьярский батальон с командой из офицеров-австрийцев. Дом матери Махно оккупанты сожгли, как и дома других смутьянов семнадцатого года. Расстреляли старшего брата Емельяна, который, как инвалид

мировой войны, к бунту не был причастен. Вроде бы даже жена Емельяна, Варвара Петровна, умолила коменданта не убивать мужа – не тот это Махно, – но, когда подскакал всадник, чтоб отменить приказ, тот уже лежал, сраженный пулями, в яме, вырытой своими руками. Самого старшего брата, Карпа, тоже водили расстреливать, но по неизвестной причине, из издевательства, что ли, пальнули поверх головы и стали полосовать нагайками, спрашивая, где деньги. Карп Иванович человек был мирный, работал как вол, кормя одиннадцать детей, денег у него сроду не было. Залпа в лицо и плетей он не вынес и, едва дотянув до дому, простился со своими и умер.

Эти жертвы были невинными, они взывали к отмщению, и сын Карпа, Миша, потом пошел в отряд к Махно мстить за отца. И если Нестор Махно лицом и фигурой был неказист, то племянник его был красавец – сохранилось фото. Он погиб в бою с белыми в 1919 году. И в этом своя была ужасающая логика, ибо, если узел ненависти развязан, платить по счетам ее приходится не только тем, кто развязывал, но и потомкам их – не до семи, но до семижды семидесяти раз. Мы до сих пор платим по этим счетам, хоть, может, и не осознаем этого. А уж в 1918 году можно себе представить, как было накалено народное настроение! В Терновке, например, где Махно поселился у своего дяди под видом учителя, его едва не прикончили местные хлопцы, заподозрив в нем провокатора. Он пишет, что на пирушке открылся им и организовал боевую группу. Так или иначе, к сентябрю вокруг Махно собралось человек восемь: Чубенко, Марченко, Каретников – все из старых буянов. Махно скороговоркой отмечает, что занимались они в основном нападениями на кулацкие хутора и помещичьи имения. По показаниям, которые дал ГПУ арестованный в 1920 году Алексей Чубенко, один из ближайших сподвижников Махно, первой акцией террористов был налет на экономию помещика Резникова, семью которого вырезали целиком – за то, что в ней было четыре брата-офицера, служивших в гетманской полиции. «Здесь же были добыты первые 7 винтовок, 1 револьвер, 7 лошадей и два седла» (40, 39).

22 сентября махновцы, одетые в мундиры державной варты[9] (полиции), встретили на дороге конный разъезд поручика Мурковского. Махно, в форме капитана гетманской армии, представился начальником карательного отряда, присланного из Киева по распоряжению самого гетмана, и поинтересовался, куда держат путь офицеры. Мурковский, не подозревая подвоха, рассказал, что направляется в отцовское имение отдохнуть, денек-другой поохотиться за дичью и за крамольниками.

Предложил составить компанию.

– Вы, господин поручик, меня не понимаете, – срывающимся от волнения голосом выговорил «капитан». – Я – революционер Махно. Фамилия вам, кажется, достаточно известная? (54, 51).

Офицеры стали предлагать Махно деньги, но тот холодно отказался. Тогда, исполнившись страха погибели, «охотники» кинулись врассыпную. По ним ударили из пулемета…

О, Махно любил провокацию! Любил недоумение и страх, темнотой проступающий в глазах врагов, когда внезапно объявлял он им свое имя. Любил до того, что и в позднюю пору, будучи грозным командиром Повстанческой армии, он нет-нет да позволял себе тряхнуть стариной и покуражиться по-прежнему, по-робингудовски, с отчаянным враньем и маскарадом: лицедей был. Послушайте интонацию, с которой Махно повествует о случившемся в тот же день, 22 сентября, событии – вы сразу поймете, как нравилось ему лицедейство, каким он себе нравился.

Когда, разделавшись с Мурковским, отряд проезжал одну из барских усадеб, навстречу ему выскочил голова державной варты с вопросом, что за стрельба была.

«– А вы начальник варты и не знаете, что делается в вашем районе?»

Тот стал ругаться, но Махно грубо оборвал его:

«– А вы кому служите?

– Державі та и голові вельможному панові гетьманові Павлові Скоропадському, – последовал ответ.

– Так вот, возиться нам с вами некогда, – сказал я ему и, обратясь к товарищам, добавил:

– Обезоружьте его и повесьте, как собаку, на самом высоком кресте на кладбище…» (54, 54).

Чувствуете, как ему нравится это: «как собаку, на кресте»?

Так ведь у него двух невинных братьев такие же вартовые замучили! Это можно простить? А если не простить, то скольким же братьям придется мстить за братьев?

Тогда не думали об этом. Тогда каждый, у кого было оружие, чувствовал себя в силе, и в праве, и в правде.

23 сентября отряд налетел на Гуляй-Поле, но там оказалось полно войск – ушли боковой улицей, схоронились в балке, где под открытым небом и заночевали. Через двое суток, в Марфополе, махновцев накрыл настоящий карательный отряд, небольшой, правда, человек 25. Махно подпустил врагов поближе, опять назвался вартовым и, чуть-чуть этим заявлением расслабив наступавших, в упор расстрелял из стоящего на тачанке пулемета. Так как за каждого убитого на территории деревни

оккупационные власти накладывали на население контрибуцию, трупы свезли в ближайший помещичий лесок.

То, что контрибуцию на Марфополь все-таки наложили – внести 60 тысяч рублей в течение суток, – Махно, по-видимому, не слишком тревожило: непосильные налоги, порки, шомпола – это ж было именно то, что высекало искру на трут, то, от чего должно было вскипеть сдерживаемое недовольство и полыхнуть восстание масс. Конечно, для восстания одних налетов на имения было недостаточно: здесь необходимо, чтобы большие, очень большие группы людей стали ненавидеть и уничтожать друг друга. А для того, чтобы воспламенить массы, потребна была другая масса, критическая масса насилий и смертей и вызванных ими отчаяния и злобы. Как частицы огненного флогистона, небольшие группы боевиков кружились по Украине, сея огонь и смерть: и лишь когда озверевшие от партизанских налетов каратели стали жечь деревни, убивать и мучить крестьян за одно лишь «сочувствие» – пламя народного гнева ударило вширь…

По порядку, однако. В конце сентября махновцам удалось на короткое время захватить Гуляй-Поле – австрийцы ушли оттуда ловить партизан, в селе оставалась одна рота и человек восемь—десять варты. У Махно было семь человек, но за сутки по старым связям удалось сагитировать на выступление еще четыреста. Ночью село было захвачено: и варта, и австрийцы сдались, штабные бежали. Махно спешил, зная, что боя не выдержит. В Александровск ушла телеграмма: «Всем, всем, всем! Районный гуляйпольский Ревком извещает о занятии повстанцами Гуляй-Поля, где восстановлена советская власть. Объявляем повсеместное восстание рабочих и крестьян против душителей и палачей украинской революции…» (6, 204). Махно пишет, что были отпечатаны листовки с призывом поддерживать революционно-повстанческий штаб (которого на самом деле еще не было) и организовывать боевые отряды. Был устроен грандиозный митинг: австрийские солдаты, которым раздали деньги из взятой бригадной кассы, воодушевились до того, что просили взять их с собой. Их, естественно, не взяли. Махно отдавал себе отчет в том, что эйфория будет короткой и за ней последует расплата. Он, по существу, блефовал, рассылая телеграммы и печатая воззвания от имени несуществующего штаба, но делал это сознательно, понимая, что по-настоящему почва для восстания будет подготовлена лишь после того, как по его следам в село придут каратели…

Действительно, вскоре на станцию Гуляй-Поле – километрах в семи от села – прибыло два эшелона карательных войск. Махновцы подстерегли карателей на марше и с двух тачанок

резанули из пулеметов по не успевшим развернуться походным колоннам. Когда враги залегли, партизаны сорвались прочь, проскочили Гуляй-Поле «напоперек» и в количестве двадцати примерно человек были таковы, оставив остальных участников восстания на милость победителей…

Отрядов, подобных махновскому, было тогда на Украине множество: все они были невелики, дерзки и абсолютно безответственны. Иначе они и не могли бы, пожалуй, выжить: увеличение численности могло роковым образом обернуться неповоротливостью или, чего доброго, искушением принять открытый бой, выиграть который партизаны вряд ли могли бы. И не только потому, что оккупанты были в сто раз лучше вооружены, но и потому еще, что в это время заодно с ними действовали и добровольцы – кулаки и помещики, местные уроженцы, великолепно знающие каждую пядь земли, каждый партизанский угол. Зажиточные хуторяне и немцы-колонисты с нутряной тоской чувствовали, что уж на этот-то раз священное их право собственности на землю обрушится навсегда, отберут у них, перекроят и переделят все нажитое – свои же ближние отберут из чистой зависти, как уже отбирали в семнадцатом году, но только с большей злостью, с большим остервенением. Хуторяне и колонисты припрятывали оружие, организовывали «самооборону», а то и включались – всем своим хозяйским сердцем ненавидя партизанскую сволочь, голытьбу, огнепускателей – в карательные операции.

В конце сентября Махно двинулся на соединение с отрядом анархиста Ермократьева, который, по слухам, насчитывал до 300 человек. Но оказалось, что отряд разгромлен, и только сам Ермократьев с семью сподвижниками прятался где-то на хуторе. Его взяли с собой и тронулись в сторону Гуляй-Поля.

Вечером, с перепугу, должно быть, махновцев обстреляли немецкие колонисты, оберегающие от налетов свою маленькую Heimat – колонию № 2. Вот как описывал дальнейшее Алексей Чубенко, бывший не только свидетелем, но и участником событий: «Выбили их из огорода, а они засели во дворах; выбили оттуда, прогнали улицей, а они засели в домах и ну палить по нас. Судили-рядили, а потом решили выкурить. Мигом поднесли огня и пустили красного петушка. Скирды сена, соломы, дома горели так ярко, что на улицах было светло, как днем. Немцы, прекратив стрельбу, выбегали из домов, но наши всех мужиков стреляли тут же. Женщин и детей брали в плен. Под утро, когда выхватили из огня кое-что из одежды, лошадей и тачанки, мы двинулись вперед…» (6, 205).

В тот же день к вечеру случилось еще одно событие, которое

стыдливо замалчивается и Махно, и Аршиновым, и в перевранном виде кочует из книжки в книжку у советских историков, когда они, как о достоверном факте, пишут о том, как Махно, одевшись в подвенечное платье, прибыл на бал к помещику Миргородскому и учинил там кровавую резню. Версия эта по-своему поэтична, но, по-видимому, лжива. Во всяком случае, в воспоминаниях о махновщине Виктора Белаша, который пишет со слов все того же Чубенко, изложена куда более убедительная, хотя и не менее кровавая история.

Итак, в тот же день партизаны захватили на дороге разъезд штабс-капитана Мазухина, начальника александровской уездной варты, который незадолго перед тем руководил разгромом отряда Ермократьева, а теперь ехал на именины к помещику Миргородскому.

Несчастный штабс-капитан! «Его раздели догола, а за компанию и его секретаря, ехавшего с ним в экипаже. Кучера, вартового и четырех конных, сопровождавших его, только обезоружили» (6, 206). Штабс-капитан заплакал, «упрашивая даровать ему жизнь. Но куда там! Ермократьев сам его пытал за михайлово-лукашевскую расправу, а затем привязал к животу ручную гранату и взорвал, а секретаря расстрелял» (6, 206).

Нарядившись в мундиры варты, повстанцы прибыли на именины к Миргородскому. Подвыпившие гости радостно приветствовали их как русских офицеров.

«– За здоровье хозяина, офицеров, за возрождающуюся великую Россию и вас, господа помещики!.. – начал тост отставной генерал. – Да поможет вам Бог освободить христианскую церковь от анархистов-большевиков!

– Да ниспошли вам, русские люди, успеха в поимке бандита Махно! – провозгласил один из гостей…

Махно полез в карман за бомбой.

– Покарай его святая… Разъяренный Махно встал…

Генерал оторопел, гости от испуга выронили бокалы…

– Я сам Махно, … буржуазные! – зычно крикнул Нестор и поднял бомбу. Шипя, она упала в хрустальную вазу… Наши бросились к дверям. Свет потух… Оглушительный взрыв, за ним другой, третий.

Мы стояли у окон и ждали, когда кто-нибудь из них будет бежать… Но никого не дождались. Когда осветили зал, глазам представилась такая картина: полковник, захлебываясь в крови, тяжело дышал, хозяин без руки корчился в судорогах, остальные или совсем не показывали признаков жизни, или звали на помощь. Наши хлопцы обыскали их, у женщин поснимали ценности, а потом штыками докололи оставшихся в живых.

Мигом ребята открыли погреба и разыскали выпивку и закуску.

Подкрепившись немного и захватив что поценнее, зажгли имение. Красиво оно горело» (6, 206–207).

К концу месяца в отряде было уже около 60 человек: кружась по селам, Махно убеждался, что может в любой момент «облипнуть» людьми. 30 сентября он пришел в село Дибривки, где к нему присоединился растрепанный карателями и с лета прятавшийся в лесу отрядик местного партизана Федора (настоящее имя Феодосии) Щуся, который позже станет одной из самых одиозных фигур махновщины. На совместном митинге им удалось так распалить крестьян, что вступить в отряд выразили готовность до полутора тысяч человек. Но не было оружия. Встреча, однако, была столь теплой, что уставшие от ярости партизанчества повстанцы легли спать, даже не выставив охранения. Ночью на село ударили австрийцы вместе с добровольцами из кулаков и немецких колонистов, и партизаны, побросав тачанки и оружие, вынуждены были бежать обратно в лес. Положение было критическое: в отряде после бегства насчитали всего тридцать два человека, силы врага были неизвестны, но намерения его ясны – окружить партизан и уничтожить. Махно один, пожалуй, не потерял голову, сходил в село на разведку и вернулся злой: батальон австрийцев занял Дибривки, с ними было две сотни добровольцев и варты. Числом карателей партизаны были удручены едва ли не больше, чем внезапностью их нападения. Щусь предложил схорониться поглубже – ему все еще казалось, что лес, столько времени укрывавший его, сбережет и на этот раз. Но Махно знал, что такое каратели. В голове его созрел безумный план: немедленно напасть на врагов, рассеять их и, воспользовавшись паникой, скрыться. Бойцы отряда – и махновцы, и щусевцы, – прельщенные светом отчаянной надежды, с гибельным восторгом закричали:

«– Отныне будь нашим батьком, веди, куда знаешь!» (6, 208).

Сцена наречения Махно «батькой» – несомненно, ключ ко всей махновской мифологии. В этом смысле показательно, что сам Махно ночной партизанский крик, исторгнутый из груди в минуту отчаяния, предлагает нам в следующей редакции:

«– Отныне ты наш украинский Батько, мы умрем вместе с тобою. Веди нас в село против врага!» (52, 84).

Для Махно события этой ночи имеют поистине сакральный смысл – в них и повод для глубокомысленных философских рассуждений – «Честно ли допускать до того, чтобы меня так возвышали?» (54, 91), – и оправдание. Поэтому он не удерживается от того, чтобы страшный разгром, учиненный

карателями в Дибривках, истолковать в победном для себя смысле. Хотя это была и не победа даже, а просто спасение от смерти – для тридцати партизан.

Но Махно действительно отличился. Он и еще несколько человек с двумя пулеметами «льюис» незамеченными прокрались через село до самой базарной площади, где расположились каратели, и, спрятавшись за базарными лавками, внезапно открыли смертоносный, в упор, огонь по отдыхавшим людям. С другой стороны на них ударили бойцы Щуся: среди австрийцев и добровольцев началась паника: крестьяне, выбегая из дворов с вилами и топорами, стали ловить и убивать в беспорядке отступавших. Блеснули первые языки огня… Вот оно, вот оно – восстание, бунт, «святой и правый» бой угнетенных против угнетателей! Дождался Нестор Иванович!

Австрийцы, однако, быстро опомнились. «Отступив на западную и северную окраины, – рассказывал Чубенко, – они подожгли строения. Расстреливая крестьян, бегущих из центра на пожар, они не миловали ни женщин, ни детей. Более сорока двух дворов сгорело, а сколько было расстрелянных – трудно сказать.

Махно на площади митинговал перед крестьянами, которые, как и повстанцы в лесу, кричали: будь нашим батьком, освободи от гнета австрийцев!..

Но скоро мы вновь были окружены.

С боем прорвались мы через мост на южной стороне села. Нас преследовали стоны дибривчан… шум падающих в огне строений… Но помочь горю мы были не в силах» (6, 208).

Махно пишет, что все село было сожжено и ограблено, бабы снасильничаны, мужики избиты или убиты. Особенно зверствовали кулаки и колонисты, присоединившиеся к карателям. Уже на следующее утро махновцы отловили на дороге тачанку из немецкой колонии Красный Кут. В ней вместе с колонистами оказался плененный ими дибривский крестьянин. Когда Махно спросил его, какой кары он желает обидчикам своим, тот ответил: «Они дураки. Я им ничего худого не хочу сделать» (54, 106). Однако другие, ранее прибежавшие в отряд крестьяне из Дибривок воспротивились такому подходу. «Они взяли этих кулаков и тут же отрубили им всем головы» (54, 106).

Занялась, занялась уже ненавистью душа человеческая! На Украине начинались события, в терминах мирного времени неописуемые, осененные средневековым образом «пляски Смерти» – аккомпанементом которой должны служить адский свист ее косы, вопли ужаса, стоны умирающих, треск свирепого огня и отчаянное хрипение всякой другой, прижившейся к человеку погибающей твари. Противники стоили друг друга. За

Дибривки махновцы в один день сожгли Фесуковские хутора и колонию Красный Кут, откуда явились пособники карателей. Некоторые из них еще не вернулись домой и не знали, что сами едут на пепелище. «Легкий ветерок посодействовал задаче. Колония быстро превратилась в сплошной костер» (54, 111). Нигде не задерживаясь, отряд стремительно двинулся на юг, в Бердянский и Мариупольский уезды, налетая на хутора, налагая контрибуции, отбирая оружие, уничтожая сопротивлявшихся и безусловно обрекая на смерть офицеров и вартовых.

Под Старым Керменчиком махновцы впервые столкнулись с белыми: подробностей боя мы не знаем, но Махно записал за собой победу. Белые тогда еще были не в силе, сами действовали по-партизански, главными врагами махновцев оставались кулаки и карательные батальоны. Под Темировкой отряд, разросшийся до 350 человек, попал в западню: Чубенко свидетельствует, что накануне Махно и многие повстанцы были пьяны и не приняли достаточных мер предосторожности. Окруженные ночью австрийцами, повстанцы сражались отчаянно. Махно, раненный в руку, стрелял из «льюиса» с плеча верного телохранителя Пети Лютого. Но лишь половине бойцов, в том числе и Махно с новой «женой» – дибривской телефонисткой Тиной, удалось вырваться из окружения. Месть батьки была страшной. Хуторянам, поверившим слухам о том, что Махно убит, в качестве сюрприза преподнесена была «сверхмобильная авангардная боевая группа» под командой отчаянного головореза Алексея Марченко, которому предписывалось «огнем и мечом пронестись в один день через все кулацкие хутора и колонии маршем, который не должен знать никаких остановок перед силами врагов» (54, 159). Рейд произвел на кулаков шоковое впечатление, хотя хутора на этот раз не сжигались и расстреливали только организаторов сопротивления. С оккупантами Махно тоже посчитался: на линии Александровск—Синельниково махновцы разбили немецкий эшелон пущенным со станции паровозом и, перебив охрану, захватили много оружия и огромное количество варенья, которым, как пишет Махно, русская буржуазия одаривала своих защитников. Все добро, включая варенье, было роздано окрестным крестьянам…

Вероятно, операции такого рода продолжались бы еще долго, если бы вдруг – а эта весть для всех была неожиданностью, только для одних приятной, а для других ужасающей, – не выяснилось одно обстоятельство: немцы уходят! О ноябрьской революции в Германии, отречении кайзера от престола и крахе всех германских замыслов на Западе и на Востоке здесь, в партизанской глуши, никто не знал. Очевидно было одно: уходят!

«Гуляй-Польский район, до того насыщенный войсками, в начале декабря был почти пуст. Гуляй-Поле, Дибривки и Рождественка были оставлены оккупантами на произвол судьбы. Они группировались, главным образом, на ж.-д. узлах: Пологи, Чаплино, Волноваха и, если на них не нападали, не проявляли себя наступательными действиями, – свидетельствует Чубенко. – Эти села были нами заняты без боя. Отсюда мы начали отрядами распространяться во все стороны…» (6, 210). На узловых станциях под прикрытием оккупантов скопились толпы беженцев – все, кто каким-то образом был связан с властями, хотя бы только деловыми отношениями, спешили скрыться. Наталья Сухогорская, приехавшая на «умиротворенную» Украину весной голодного 1918 года, чтобы отъесться и отдохнуть, и в результате вместе с ребенком попавшая в самый эпицентр махновщины, вспоминает: «На железнодорожной узловой станции Пологи, в 19 верстах от Гуляй-Поля, скопилась масса народа… убегавшего от Махно… Австрийцы еще оставались в Пологах… солдаты ходили взад и вперед, так как временно здесь был помещен австрийский штаб. Между тем среди беженцев совершенно спокойно разгуливал сам батько Махно. Переодетый рабочим, в темных очках, он похаживал и посматривал на публику… Никому и в голову не пришло выдать его австрийцам… Австрийцы уходили, им было не до нас…» (74, 41). Мы не знаем, в самом ли деле Махно прогуливался среди беженцев в Пологах – Сухогорекая знала его в лицо, но могла все же и ошибаться, – но для нас важно зафиксированное ею состояние ужаса перед ним, парализующего страха, который внушало его имя. Махно входил в силу. Теперь он был хозяином района.

В Гуляй-Поле, «основательно» занятом 27 ноября, был организован Революционно-Повстанческий штаб. Наметились «фронты», то есть выставлены были отряды: на западе, в районе Чаплино, против отступающих немцев; на востоке – против «казачьих отрядов белого Дона»; на юге – против Дроздовского отряда, рейдирующего в районе Бердянска; на юго-западе – против помещичье-кулацких формирований генерала Тилло, действовавших в Таврической губернии. Под контролем Махно оказалась территория радиусом примерно 40–45 километров со «столицей» в Гуляй-Поле. Что конкретно происходило на этом пространстве в те смутные дни, мы знать не можем. Н. Сухогорская вспоминает черное ночное небо и опоясывающую горизонт розовую ленту пожарищ: «Это горели хутора немцев и личных врагов Махно» (74, 41). Махно, напротив, утверждает, что всячески противился сведению счетов. Действительно, нелепо полагать, что пострадали только его личные неприятели. После

бурной весны и не менее бурной осени 1918 года в каждой деревне, похоже, было кому с кем посчитаться. В сведении счетов, в конце концов, и заключен главный ужас Гражданской войны. Махновцы, надо полагать, своих противников-кулаков не пощадили, выжгли со всем тщанием крестьян, привыкших к разного рода нечистой работе. Но к уцелевшим, побежденным, не было того рода отчужденной, холодной жестокости, похожей на издевательство, которую потом, в лице присылаемых из города продагентов, чекистов и прочих, продемонстрировали большевики…

В отношении кулаков все же проведен был ряд диктаторских мер, а именно – разоружение и экспроприация. Махно цитирует резолюцию, принятую на сходе дибривских крестьян: «За каждую сданную собственниками-богатеями винтовку с пятьюдесятью патронами к ней отряды должны возвращать три тысячи рублей из общей контрибуционной суммы» (54, 124). Эх, придет двадцатый год, и такое диктаторство просто ухаживанием покажется… Правда, для нужд партизанской войны безвозмездно отбирались тачанки и часть содержащихся в хозяйстве лошадей: нужно было не зевать и оградить район от чужеродного вторжения в условиях калейдоскопически меняющейся боевой обстановки.

Махно становился крут, решителен, постепенно привыкал к командному своему статусу. Но чтобы быть вождем полноценным, чтобы его образ был наполнен в должной мере силой обаяния, чтобы никто не смел упрекнуть его в мужской холодности – что может быть хуже на Украине? – ему нужна была женщина. Такая женщина, которая не посрамила бы его титул батьки. Он давно приглядывался к двадцатичетырехлетней учителке из Добровеличковки Галине Кузьменко. Он пошел за нею, когда ощутил себя в силе, когда почувствовал наверняка, что она не устоит перед обаянием его геройства.

Сцена «сватовства», рассказанная мне внучатым племянником Махно Виктором Яланским (сам он ее услышал от Варвары Петровны, своей бабки, которая, после того как австрийцы расстреляли ее мужа Емельяна, стала твердокаменной партизанкой и даже при советской власти вспоминала Махно исключительно как героя), настолько многозначительна и вместе с тем трогательна, что, несмотря на кажущуюся грубость, вызывает искреннее восхищение:

«Она преподавала урок, и вдруг, говорит, заходит в военной форме мужчина, небольшого роста, садится за парту – и смотрит на нее…

…Потом встал – а ученики все смотрят – „Пойдемте, говорит,

выйдемте из класса“. Ну, она сказала ребятам, что скоро вернется, и вышла с ним в коридор.

У него пистолет был, он его уронил на пол:

– Подбери.

Она стоит, смотрит:

– Твой – ты и бери».

Прекрасная, краткая, простодушная дуэль! Он нагнулся, подобрал. Из рассказа Виктора Ивановича получается, что вернуться в класс Галине Андреевне так и не пришлось: Махно повел ее к директору школы, Алексею Корпусенко, и объявил: «Вот, это будет моя жена». А тот хоть и робел перед атаманом, но все же, храня в груди старорежимную педантичность и ответственность, возразил: «Как же ж? Она же уроки преподает… Вот кончатся экзамены…»

– Ну, – вздыхал в этой части рассказа Виктор Иванович, – Нестор побеседовал с ним, и она стала его женой и сподвижницей на всю жизнь, от Гуляй-Поля до Парижа… (92).

Быть может, Агафья-Галина и не любила Махно, но ей была по нраву жизнь, которую он вел, – с погонями, битвами, сумасшедшими страстями. С полным правом народные песни и боязливо-восторженные крестьянские рассказы ставили рядом «батьку Махно» и «матушку Галину». Н. Сухогорская так описывала ее в воспоминаниях: «Очень красивая брюнетка, высокая, стройная, с прекрасными темными глазами и свежим, хотя и смуглым цветом лица, подруга Махно внешне не походила на разбойницу. По близорукости она носила пенсне, которое ей даже шло… Жена Махно производила впечатление не злой женщины. Как-то она зашла в тот дом, где я снимала комнату, в гости. В котиковом пальто, в светлых ботах, красивая, улыбающаяся, она казалась элегантной дамой, а не женой разбойника, которая сама ходила в атаку, стреляла из пулемета и сражалась. Рассказывали про нее, что несколько махновцев она сама убила, поймав их во время грабежа и насилия над женщинами. Ее махновцы тоже побаивались…»

Итак, личную жизнь Махно устроил. Но для дела ему катастрофически не хватало людей. Если уж белые и большевики испытывали постоянную нехватку в компетентных, толковых работниках, то махновцы и подавно: у них были только те таланты, которые могли дать деревня и городские низы. Этим обстоятельством задавался и уровень образованности, и масштаб дарований. И хотя среди махновских командиров были настоящие самородки, люди исключительно одаренные в военном отношении (В. Куриленко, С. Каретников, П. Петренко), эта бедность в людях всегда была ощутима. Первоначально в штабе

повстанчества оказались только Махно, Алексей Марченко и Семен Каретников. Марченко был человек отчаянной смелости, но стратегически мыслить, по-видимому, не умел и по убеждениям был закоренелый партизан и налетчик. Каретников (часто называемый Каретником) на мировой войне дослужился до унтера, имел боевой опыт. Правда, вскоре после бегства из Киева гетмана Скоропадского в Гуляй-Поле вернулись Александр Калашников и Савва (он же Савелий) Махно, освобожденные из тюрьмы по объявленной новым украинским правительством политической амнистии. В декабре 1918 года начальником штаба стал Алексей Чубенко, вместе с которым работали левый коммунист Херсонский (екатеринославский рабочий, считавший себя несогласным с линией партии), левый эсер Миргородский (когда-то работавший вместе с Махно в александровском ревкоме) и анархист Горев.

Как раз в это время в Гуляй-Поле прибыл Виктор Белаш, 26-летний паровозный машинист, которому суждено было стать бессменным начальником штаба и первым стратегом махновщины и который, словно бы в пику тяжеловесной науке фон Клаузевица, начал даже писать целиком построенную на парадоксах «Тактику партизанской войны». Белаш не знал Махно и услышал о нем только в Мариуполе, куда добрался вместе с рыбаками, чтобы ввязаться во всеукраинскую драку. Услышав же, почуял родное и стал пробираться в Гуляй-Поле: через фронт, уже установившийся между махновцами и белыми, через родную Новоспасовку. Махновская столица предстала его глазам во всей красе: «У штаба висели тяжелые черные знамена с лозунгами: „Мир хижинам, война дворцам“, „С угнетенными против угнетателей всегда“, „Освобождение рабочих – дело рук самих рабочих“. Дальше виднелись красные флаги вперемешку с черными, развешанные, видимо, у зданий гражданских организаций. Рядом со штабом, у входа в „Волостной Совет рабочих, крестьянских и повстанческих депутатов“ висели два флага – один черный с надписью: „Власть рождает паразитов, да здравствует анархия!“, другой – красный с лозунгом „Вся власть советам на местах!“.

Мимо нас проехала тачанка с пулеметом. Пьяные молодые пулеметчики с длинными волосами под гармошку пели какую-то песню, а столпившиеся возле штаба девушки махали им вдогонку платочками…

…Громадный штабной зал был переполнен народом. Здесь была и караульная команда штаба, и местные посетители, главным образом – женщины, просящие вернуть с позиции их сыновей, и делегаты, приехавшие из окрестных сел. В отдалении в углу на столике стоял телефон, и телефонист кричал в трубку

изо всех сил… Направо были двери с надписями мелом. На первой из них было написано – „начальник снабжения“, на второй – „члены штаба“ и на третьей – „начальник штаба“» (6, 202).

Белаш не застал Махно – тот уехал брать Екатеринослав. Встреча произошла лишь через несколько дней. Белаш не без удивления увидел маленького человека, одетого в диагоналевые галифе, драгунскую с петлицами куртку и студенческую фуражку, который устало соскочил с лошади и, пропустив проходящие по улице подводы, вошел в штаб.

– Что же вы тут сидите, подлецы? Пьете, наверное, а нас там бьют! – долетел до него высокий полуженский голос (6, 211).

Щусь, знавший Белаша, представил его батьке:

– Батько, а вот тот, который обещал высадить десант на Кубани.

Махно взглянул на прибывшего:

– А, сволочь, обманул! – и пожал ему руку.

Махно опять лицедействовал: он обломал зубы об Екатеринослав и чувствовал себя неуютно. Такого разгрома партизаны прежде не знали.

ПРОКЛЯТЫЙ ГОРОД

Первое взятие Екатеринослава в декабре 1918 года – событие самое значительное в истории раннего повстанчества. Одновременно это повод для политических спекуляций наших историков, стремящихся доказать, что изначально махновцы были по отношению к большевикам одержимы каким-то патологическим вероломством. Сюда же приплюсовываются картины разграбления города и повального пьянства – которые станут главными внеполитическими характеристиками махновщины вплоть до 1920–1921 годов, когда махновцы представляли собой исключительный по своим боевым качествам и мобильности партизанский отряд, успешно сражавшийся против противника, численно превосходящего их раз в десять. Но и по сей день вряд ли кто сомневается в том, что махновцы беспрерывно пили и грабили, хотя достаточно себе представить нечеловеческие условия партизанской войны, требующей бешеных скоростей и постоянной собранности, чтобы понять, что пьяные бандиты в таких условиях не просуществовали бы и недели – их просто стерли бы в порошок.

М. Кубанин признает, что грабежи махновцев не превосходили по масштабам грабежи белых и петлюровцев (про Красную армию историк того времени, естественно, не мог сказать ни слова). М. Гутман, вспоминая второе взятие Екатеринослава в 1919 году, уверенно констатирует: «Такого повального грабежа, как при добровольцах, при Махно не было» (40, 186). Махно, как и красные, принципиально запрещал грабить, тогда как в отрядах петлюровских атаманов грабежи были узаконены. Другое дело, что приказы выполнялись плохо: армии всех воюющих сторон в разваливающейся, агонизирующей стране жили почти исключительно за счет «самозаготовок», которые были не чем иным, как более или менее организованной формой грабежа. Грабить вынуждены были все: здесь белые мало чем отличались от красных и от махновцев, особенно в 1918 году, когда в армиях еще не сложились аппараты снабжения и передовые отряды, действующие в отрыве от главных сил, могли рассчитывать только на собственную добычливость.

И хотя в декабре 1918 года разграбление Екатеринослава – вернее, Озерного базара, который Махно объявил своей продовольственной базой, – действительно имело место, сокровенная суть екатеринославского дела заключается совсем не в этом.

Согласно наиболее распространенной версии, повторяемой

большинством историков вслед за Д. Лебедем – слова которого звучат особенно убедительно в силу того, что он сам был участником событий конца 1918 года, – Махно был приглашен большевиками для взятия Екатеринослава по решению областкома КП(б)У, который получил от ЦК «общую директиву» на предмет взятия города и привлечения Махно для этой цели (не зря ездил батька в Москву: запомнился!). Махно якобы долго колебался, боясь сильного петлюровского гарнизона, стоящего в городе, но, получив сведения, что часть петлюровцев готова переметнуться на его сторону, решил поучаствовать в предприятии большевиков. Подпольщикам и махновцам удалось захватить город, но из-за пьянства и грабежей батькин отряд быстро потерял боеспособность и, когда к петлюровцам подошли подкрепления, панически, позорно бежал, бросив большевиков и их дружины на произвол судьбы.

Все это выглядит правдоподобно, но правдой не является. Во-первых, «приглашение» Махно поучаствовать во взятии города вовсе не было, так сказать, актом доброй воли и проявлением товарищеского доверия со стороны большевиков: собственно говоря, не было никакого приглашения, а был обыкновенный сговор, в котором каждая из сторон преследовала свои цели и относилась к интересам партнера с достаточным наплевательством, чтобы все предприятие, в конце концов, провалилось. Второе обстоятельство еще ужаснее для партийной истории: в момент подхода к городу свежего корпуса петлюровских стрелков, перед которыми дрогнули большевики и махновцы, в тыл последним ударили вооруженные большевиками же рабочие дружины, уставшие от пятидневного путча. То, что рабочие с оружием в руках бросились избивать большевиков, для партийного разума вещь более ужасающая, чем отцеубийство, поэтому буквально всеми советскими историками это обстоятельство невротически замалчивается и затушевывается с помощью преувеличенных обвинений махновцев в разгильдяйстве и предательстве. Ну конечно, это они, махновцы, виноваты! Только из сносок, из примечаний к рассказу Махно о екатеринославских событиях, воспроизведенному в воспоминаниях Белаша (6, 214), мы можем заключить, что истинное положение вещей официальным историкам все-таки известно…

Боюсь, однако, что эти замечания для читателя ничего пока не проясняют, а наоборот, только все запутывают: кто с кем бился, в конце концов, и почему?

Итак, Украина, гетманщина. Губернский город Екатеринослав. Основанный в 1778 году Потемкиным и

задуманный как великолепный памятник Екатерине II – столицей Новороссии с улицами шириною в 30 сажен, дворцами и университетом, – город, однако, не стал развиваться по плану. Уже через пять лет пришлось его переносить на место старых казацких зимовищ, ибо первоначальное его местоположение было болотистым, нездоровым. Павел I проклял город, лишив его имени, – нарек Новороссийском. Александр I имя вернул. Но по-настоящему город жить начал с конца XIX века, оказавшись центром огромной, богатейшей губернии. Как грибы росли ярмарки, магазины, банки, заводы. Два завода были крупнейшие: Александровский-Южнороссийский рельсопрокатный и Брянский, правильнее сказать – механический завод акционерного общества Брянских заводов. Еще, к сведению, в городе имелись: больница на 200 мест, дом для умалишенных на 550 человек, богадельня, собор, множество церквей, 12 синагог, реальное училище «с метеорологической при нем станцией», две табачные фабрики, четыре пивоваренных завода, общественный сад на берегу Днепра, памятник Екатерине II, общество попечительства о женском образовании, общество взаимного вспомоществования приказчиков и «замечательный железнодорожный мост через р. Днепр». Населения было больше ста тысяч.

До поздней осени 1918 года город Екатеринослав, занятый еще весною австрийцами, не знал никаких потрясений. Жизнь текла размеренно. Иноземная оккупация, столь тягостная в деревнях, в городе почти не ощущалась. «После советской голодовки поражала баснословная дешевизна цен на съестные припасы и громадное изобилие их на рынках. Екатеринослав был завален белыми булками, молочными продуктами, колбасами, фруктами, – свидетельствует бежавший из России на Украину профессор Г. Игренев. – …Моего преподавательского оклада в университете, 450 рублей в месяц, с избытком хватало на жизнь… Спокойствие в городе нарушалось только слухами о происходящих в деревнях крестьянских восстаниях и о необычайной жестокости, с которой австрийские оккупационные войска их подавляли» (26, 186). Немецкие газеты до Екатеринослава не доходили, поэтому весть о революции в Германии и предстоящей эвакуации немцев и австрийцев пала как снег на голову. В конце ноября пришли первые известия о восстании против гетмана Скоропадского галицийских стрелков во главе с бывшим военным министром Центральной рады Симоном Петлюрой: восстание было поддержано крестьянством и вскоре охватило всю Правобережную Украину. Петлюровцы обложили Киев. Гетман бежал. Немцы заявили о своем нейтралитете.

Население города вряд ли осознало смену режимов раньше, чем в город вошли без единого, на этот раз, выстрела первые петлюровские солдаты. «Разодетые в опереточные зипуны, они распевали национальные песни, красиво гарцевали на своих лошадях, стреляли в воздух, проявляли большую склонность к спиртным напиткам, однако никого не трогали, – с холодной интеллигентской иронией пишет Г. Игренев. – …В учреждениях, управляемых петлюровцами, господствовала полная бестолковщина. Одно учреждение не подозревало о существовании другого; каждое ведомство в отдельности непосредственно сносилось с Киевом. Ежедневно публиковались приказы о мобилизации, которые в тот же вечер отменялись. Так, по крайней мере, раз пять объявлялась мобилизация студенчества и ни разу не приводилась в исполнение. Из учреждений были изгнаны все служащие, не владевшие „украинской мовой“» (26, 188–189). Петлюровцы, собственно говоря, поначалу заняли только нижнюю часть города, расположенного на склоне высокого холма, в верхней же сохранялось подобие старого порядка, так как здесь расположились части 8-го офицерского корпуса Добровольческой армии, которые деникинцы начали формировать при гетмане. Примерно неделю обе власти мирно сосуществовали, несмотря на различие политических устремлений: белые готовились к борьбе за единую-неделимую Россию, петлюровцы же – за самостийную украинскую республику, правительство которой, к тому же, тогда еще вдохновлялось довольно-таки радикальными лозунгами. Председателем этого нового правительства – Директории – был тогда крупнейший украинский социал-демократ В. Винниченко, достаточно левый для того, чтобы проповедовать мир и сотрудничество с большевистской Россией. Однако большевики, легализовавшись, проявили мало склонности к сотрудничеству и начали готовиться к захвату власти. Махно тоже скептически отнесся к провозглашению Украинской народной республики: меньшевиков и эсеров он не любил, совершенно по-большевистски называя их агентами буржуазии, и правительство Директории мгновенно оценил как «буржуазное». На митингах высказывался однозначно: «Украинской директории мы признавать не будем» (54, 155).

Петлюровцы же, о Махно, да и вообще о повстанческом движении на Левобережье зная мало, полагали, что он, подобно другим крестьянским «батькам», рано или поздно присоединится к их войску. Тем не менее они действовали дипломатично: атаман Екатеринославского коша войск Директории Горобец дважды телеграфировал в Гуляй-Поле предложения о совместной

борьбе за Украинскую республику и, очевидно, звонил туда лично с целью добиться от повстанцев разрешения проводить мобилизацию в подконтрольных им районах, предлагая взамен оружие.

Оружие махновцев очень интересовало: в Екатеринослав немедленно выехала делегация в составе Чубенко и Миргородского. Петлюровцы обещали провиант и обмундирование, дали вагон патронов и полвагона винтовок. «Кроме того, – вспоминал Чубенко, – нам удалось за хорошую взятку… получить из артсклада бомбы и взрывчатое» (6, 211). Однако этим дело не ограничилось: посланцы очень быстро поняли, что в рядах новых хозяев города нету строю, часть офицеров во главе с атаманом Руденко не согласна с действиями кошевого, нервничает из-за присутствия немцев и формирующихся белогвардейских частей, да и вообще готова, в случае чего, проявить себя на поприще более радикальных преобразований. «Демократическое офицерство» устроило в честь Миргородского и Чубенко банкет: те разразились речами, выслушав которые, часть присутствовавших офицеров вынуждена была уйти, а оставшиеся грянули славу батьке Махно и восставшим трудовым массам. Все это, без сомнения, вселило в сердца делегатов самые смелые надежды.

На обратном пути, когда поезд остановился в Нижнеднепровске, к махновцам в вагон явились большевики из Губревкома и стали их расспрашивать о цели их визита к петлюровцам. «Мы объяснили им наши искренние намерения, но отнеслись недоверчиво», – замечает Чубенко (6, 211). Большевики предложили совместными усилиями захватить город. Махновцы, по-видимому, недолго колебались. Для координации действий решено было прислать в ревком одного представителя от штаба повстанчества. С такими вестями вернулись Чубенко и Миргородский в Гуляй-Поле. Выслушав их, Махно решительно высказался за взятие города. Его, как мираж, манили арсенал и орудия.

Я нарочно фиксирую на этом внимание, потому что нашими историками в этот момент обычно производится подмена: начинают утверждать, что у большевиков и у махновцев цель была общая – Екатеринослав, – и потому выходит, что махновцы, бросив город, изменили общему делу. Но махновцам в то время Екатеринослав был совсем не нужен. Махно, собственно говоря, и не скрывал, что вся эта затея ему представлялась только набегом, чисто военной, тактической операцией по раздобыванию оружия. Удерживать город он не собирался. И я более чем уверен, что большевики об этом прекрасно знали и что это их вполне

устраивало: где еще отыщешь союзника, который не претендует на власть? Большевикам же именно власть была нужна: они рассчитывали с помощью политически недалеких партизан захватить город и продержаться до прихода подкреплений из красной России. О том, что это явная авантюра, они, по-видимому, не думали. Осторожничанье и «колебания» Махно казались им слюнтяйством и трусостью. Махно же, понюхавший живого порохового огня и уже к тому времени раз или два раненный, хладнокровно выжидал. Посланный в Екатеринославский губревком Марченко обо всем его информировал.

Петлюровцы тем временем усердно рыли себе могилу. Сначала они сразились с частями формирующегося белогвардейского корпуса, пытаясь заставить их убраться из города. Бой шел целый день, перекатываясь по городу дождем пуль, и был остановлен только вмешательством австрийского командования, которое пригрозило, в случае непрекращения безобразий, обстрелять город из тяжелых орудий. «Дерущиеся вняли этому аргументу, – пишет проффессор Г. Игренев, – и 8-й корпус на следующий день мирно ушел. Впрочем, часть его солдат осталась и перешла к петлюровцам… Стало весело, шумно и пьяно. Гайдамаки пели, плясали, но главным образом стреляли не в людей, а просто так себе, в воздух. Днем еще было сносно, но ночью становилось жутко. Нельзя было пройти несколько шагов по улице, чтобы перед ухом не просвистела пуля. Бывали и жертвы, особенно дети» (26, 188).

Вскоре, осмелев, петлюровцы предъявили ультиматум австрийским частям, собиравшимся оставить город: сдать оружие. Австрийцы, недавно еще внушавшие страх и безусловное почтение, подчиняться гайдамашне, ряженной под запорожских казаков, не захотели. Опять вспыхнул бой, который также продолжался весь день и закончился все же разоружением австрийцев: они устали и не видели более смысла воевать, а тем более гибнуть на чужой земле. «Сильное впечатление производило зрелище, как гайдамаки срывали погоны у австрийских офицеров. Гордые оккупаторы, союзники державы, едва не победившей всю Европу, склонялись перед толпой полупьяных украинских стрелков, представлявших совершенный нуль в военном отношении. Так повернулась к ним судьба… Тихо и незаметно вышли из города австрийские части, после своего позора не показывавшиеся больше на улицах» (26, 189).

22 декабря петлюровцы разогнали городской Совет рабочих депутатов, 26-го – разоружили кайдакский военно-революционный штаб, которым заправляли большевики, и

оказались, таким образом, полновластными хозяевами положения. Однако после ухода австрийцев судьба города была предрешена – утром 27-го на Екатеринослав напал Махно.

Как пишет М. Кубанин, Екатеринославский губревком в своем распоряжении имел 1500 человек, но почти все они были выведены на линию Чаплино—Синельниково, где держали фронт против белых, которые стали просачиваться на Украину буквально по следам уходящих немцев. После разгона Совета и петлюровского налета на штаб у большевиков оставалось еще человек 500 боевиков. Махно тоже привел человек 500–600, из них сто конных, так что сила делилась прямо пополам; союзники были повязаны, ибо в одиночку никто из них не мог рассчитывать взять город. Позже, захватив Екатеринослав, каждая из сторон пыталась изменить соотношение сил в свою пользу – махновцы за счет левых эсеров, партийная дружина которых из 200 человек примкнула к ним в ночь на 28 декабря, а большевики – за счет вооружения рабочих на заводах. И хотя Махно, мгновенно вписанный в большевистскую иерархию и назначенный главнокомандующим всеми силами, наступавшими на Екатеринослав, как бы олицетворял собою примирение интересов и согласие сторон, взаимная подозрительность все же присутствовала, что не могло не сказаться на успехе всего дела.

В четыре часа утра 27 декабря махновцы и большевики, загрузившись в Нижнеднепровске в рабочий поезд, под видом деловитых пролетариев преодолели «замечательный железнодорожный мост» через Днепр, окруженный сонной охраной, и, высадившись на городском вокзале, захватили его, разметая себе дорогу бомбами и пулеметами. Вслед за рабочим поездом сразу прибыло еще несколько составов с большевистско-махновскими войсками, которые тут же начали растекаться по городу.

Профессор Игренев, до поры до времени воспринимавший события иронично и отстраненно, как русский интеллигент, ставший свидетелем краха державы и культуры, так описывает это утро: «Когда ранним утром следующего дня мы с женой отправились на ближайший рынок, чтобы запастись припасами… петлюровские солдаты настойчиво предлагали публике разойтись, предупреждая, что сейчас будет открыта пальба по железнодорожному мосту, уже занятому махновцами. Действительно, на рыночной площади были расставлены тяжелые орудия. Не успели мы несколько отойти от площади, как грянули первые оглушительные удары.

Пятеро суток с этого момента, без передышки, шла ожесточенная артиллерийская пальба. Что пришлось пережить за

эти безумные дни, не поддается описанию. Махновцы, заняв при первой же атаке вокзал, буквально засыпали город артиллерийскими снарядами. В первый же день здание духовной семинарии, в которой помещались гуманитарные факультеты университета, получило 18 пробоин, из них 8 навылет… В воздухе стоял невыносимый гул от пальбы…» (26, 190).

Дело в том, что на вокзальной площади махновцы сразу захватили два орудия, командир которых не думал сопротивляться, а напротив, предложил свои услуги. Махно впервые получил вожделенные пушки и на радостях сам стрелял, изумляясь мощи огня и разрушений. Первые атаки махновцев и большевиков были отбиты, но с наступлением темноты они вновь пошли на приступ и стали занимать улицу за улицей. Настала ночь, ужасом наполнив души обывателей: город замер под властью разбойников…

Нам не избегнуть длинных цитирований. Чтобы не домысливать, что испытывали люди в эти часы, придется вновь обратиться к запискам Игренева, в которых так подкупает точность деталей и непосредственность суждений: «…Все жители дома собрались в казавшейся сравнительно более безопасной передней первого этажа. Думали о смерти и молчали. Стреляли так сильно, что уже нельзя было различить ударов. К 7 ч. вечера стрельба внезапно затихла. Соседи отправились наверх. Вдруг постучали в дверь. На мой вопрос кто там, раздался грубый голос: „А ну-ка, открой!“ Я открыл и невольно отшатнулся: на меня направлены были дула нескольких ружей. В квартиру ворвалось гурьбой человек 10 с ног до головы вооруженных молодцов, обвешанных со всех сторон ручными гранатами; одеты они были в самые разнообразные костюмы: одни – в обычные солдатские шинели, другие в роскошные енотовые шубы, очевидно, только что снятые с чужих плеч, третьи, наконец, в простые крестьянские зипуны. На испуганный вопрос подоспевших хозяев квартиры (я снимал у них только комнаты): кто вы? раздался ответ: „петлюровцы!“ и послышался дружный хохот: „Небось обрадовались, а мы ваших любимчиков в порошок истерли и в Днепр сбросили. Поиграли – и будет. Мы – махновцы и шуток не любим“. „Нам квартира эта нужна; выбирайся отсюда поскорей“, – прибавил предводитель отряда. Хозяйке квартиры удалось убедить незваных гостей, что передних двух комнат и прихожей будет вполне достаточно для их целей» (26, 191).

Усадив махновцев за стол, обитатели квартиры смогли немножко их разглядеть. Один, смуглый брюнет, хвастал произведенными кровопролитиями. «Другой, бледный и изможденный, в железной австрийской каске, сосредоточенно

молчал, водя своими стеклянными глазами прирожденного убийцы. Внезапно он вытащил из-за голенища гамаши, очевидно, только что снятые с убитой, и, обращаясь к моей жене, сказал, ухмыляясь: „Возьми, барышня, на память, кажется, женские чулки“. Жена стала уверять, что ей не нужно этого подарка, что, видимо, задело страшного кавалера. Положение спас наш хозяин, который взял гамаши для своей дочери. Совсем иного типа, чем остальные, был другой махновец: по виду мирный сельский пахарь, лет 45, одетый в обычное крестьянское платье, он поминутно крестил свой рот, приговаривая после каждого проглоченного куска: „Спасибо хозяину и хозяйке“. Невольно возникало недоумение, как затесался этот человек в буйную разбойничью ватагу; по-видимому, это была жертва насильственной махновской мобилизации.

В столовую вошел сам начальник отряда (как потом оказалось, пулеметной команды), солдат с совершенно неопределенным выражением лица; он пришел звать своих товарищей на смену и, отказавшись от угощения, стал нас просвещать: „Наш батька, – поведал нам он, – сам генерал: он царской армии подпоручик. Он коммунист настоящий, не то что петлюровцы, жидами купленные. Махно каждому позволяет взять по одной паре всего, сколько нужно, чтобы на себе носить. А кто больше возьмет, тех всех расстреливает…“» (26, 191–192).

Махновцы, сидевшие в столовой, ушли на позицию. «…Их начальник позволил нам запереть на крючок дверь из столовой в половину квартиры, занятую отрядом. Всю ночь отдельные солдаты дергали за двери в надежде пограбить, но при окликах уходили, ничего не отвечая. Во двор к нам был поставлен пулемет, который стучал всю ночь; как оказалось, его чинили и пробовали. Мы все, конечно, не спали и прислушивались. У махновцев слышно было беспрерывное движение и шепот: только впоследствии мы узнали, что в нашей квартире был избит прикладами и чуть не расстрелян врач-сосед, который, поверив, что пришедшие солдаты петлюровцы, стал поносить махновцев. Его целую ночь продержали под дулами ружей, ежеминутно угрожая убить, а он ползал на коленях и молил о пощаде; наконец его избили и под утро вытолкнули на улицу…

На рассвете приютившаяся у нас пулеметная команда выстроилась в боевой готовности перед домом; на другом конце площади стояли еще петлюровцы. После ухода махновцев мы нашли под кроватью целую кучу ручных гранат. Шкаф был взломан, и все платье и белье из него украдено. Мы поспешили позвать солдат, чтобы вернуть им оставленные на память бомбы.

Припасы все были съедены, и жена решилась, пользуясь

затишьем, выйти на площадь поискать продовольствия. Махновцы, стоявшие там, узнали ее и пустили пройти: „А, ты из того дома будешь? Ну иди, иди; только скорей! А то стрелять надо. Мы подождем, но немного“» (26, 192).

28 декабря бой продолжался: шрапнель рвалась над крышами, загоняя обывателей в нижние этажи. Нижний город был взят, петлюровцы отступили на холм, но ультиматум с требованием о сдаче, переданный через «нейтральную» городскую думу, категорически отвергли.

Махновцы тем временем сформировали состав и грузили в него оружие. Большевики же через профсоюзы открыли на заводах запись добровольцев, вооружили их, и уже к вечеру город патрулировали «солидные рабочие дружины». Распоряжался всем ревком. При этом Марченко, введенный в ревком как представитель махновцев, от дел был практически отстранен. Левых эсеров тоже «не принимали». Они кинулись за помощью к Махно, чтобы он повлиял на большевиков и заставил их сформировать новый ревком на паритетных началах. Ночью состоялось заседание ревкома, которое позднее и Махно, и большевики вспоминали, плюясь от отвращения. Махно предложил составить ревком из 15 человек: 5 большевиков, 5 махновцев и 5 левых эсеров. Большевики, конечно, не согласились. Д. Лебедь, бывший участником событий, презрительно комментирует: «Левые с.-р. заключают блок с Махно и каждое место в ревкоме отстаивают с бешенством… Эсеры величают Махно „батьком“, все время заискивая его расположения… Разговоры о конструировании власти выливаются в острые и гаденькие формы торговли. Коммунисты готовы отказаться, взывая к революционной совести с.-р. и Махно» (44, 14).

Упрек левым эсерам в угодничестве мы должны принять с одной оговоркой: в ту же ночь Махно был поименован большевиками не то что «батьком», но комиссаром по военным делам Екатеринославского района. Однако неудача с выборами ревкома охолодила проснувшийся было политический азарт Махно. Он не хотел служить партийной монополькe. После заседания им овладевает какая-то унылая брезгливость: «…Для нас Ревком собственно не был нужен, мы бы ему никогда не подчинились, и поэтому я особенно не настаивал. Я спешил погрузить отбитое оружие и готовился оставить город, зная, что это неизбежно в силу нашей малочисленности и начавшейся партийной грызни за городскую власть» (6, 214). Большевики проиграли и Махно, и Екатеринослав.

Двадцать девятого опять шли бои, петлюровцы почти

повсеместно были биты. Махновцы достигли Озерного базара и начали грабить лавки и магазины – в основном съестное и одежду. Думаю, что масштабы этого грабежа все-таки преувеличены: наверняка основная масса бойцов ничего существенного с этого разгрома не поимела или, как часто бывает в таких ситуациях, ухватила что-нибудь до нелепости ненужное, хотя, возможно, часть батькиных любимцев и загрузила кое-какое барахлишко в поезд. В тот же день большевики выпустили воззвание о низложении Директории и восстановлении советской власти. Махно по-своему отметил это событие, с анархистской непосредственностью амнистировав – то есть попросту выпустив на волю – арестантов местной тюрьмы. «Мы выпустили арестованных, думая, что ребята наши, – пояснял он позднее, – но через день пришлось самому трех расстрелять за грабежи» (6, 213).

Тридцатого город был взят. Но торжество было явно преждевременным. Утром тридцать первого к Екатеринославу подступил семитысячный корпус «сичевых стрелков» петлюровского полковника Самокиша – и соединенные силы дрогнули. Махно кинулся на фронт, пытаясь собрать своих и оттянуть к мосту, через который пролегала дорога к отступлению. И тут случилось самое неожиданное. «Все дружины, организованные Губревкомом, главным образом серпуховская, все время охранявшие город от бандитизма, повернулись против нас, – вспоминал Махно. – „Хотя бы состав с оружием захватить“, – подумал я и послал Лютого на станцию. Но везде была измена: ревкомовские дружины стреляли по нас из домов в затылок, а Самокиш напирал все сильнее. Я с частью своих отбросил серпуховцев от моста и перешел его, а остальные – кто куда… Я потерял шестьсот человек, спас четыреста. Наш состав, груженный оружием, железнодорожники умышленно загнали в тупик. Итак, я вернулся ни с чем» (6, 214).

В исторической литературе довольно обвинений в адрес Махно, бросившего большевиков в трудную минуту, но нигде не говорится, что «восстание» рабочих, которым якобы сопровождался штурм города, если и было, то было антибольшевистским. Мы можем только гадать, что так ожесточило трудящихся – пресловутая меньшевистско-эсеровская агитация или прелести революционной власти, – но должны констатировать факт: рабочие стреляли в своих «освободителей» и приветствовали петлюровцев.

После пережитых потрясений Махно отказался защищать позицию в пригороде Екатеринослава и с остатками людей прямиком двинулся в Гуляй-Поле. Вернулось с ним всего около

200 человек. Говорят, что на вопрос, где остальные, он отрубил: «в Днепре». Неизвестно, так ли это. Екатеринославский разгром очень подорвал авторитет Махно. Гуляй-Поле переживало шок. «Сукин сын, погубил детей, потопил несчастных, а сам невредимый вернулся», – проклинали Махно женщины (6, 215). Нужны были новые неисчислимые бедствия, чтобы люди вновь увидели в нем защитника и полюбили его.

КОМБРИГ МАХНО

Украинский фронт был образован решением Реввоенсовета республики 4 января 1919 года. Формально РСФСР и Украинская народная республика были самостоятельными государствами и, соответственно, создание одной державой фронта против другой должно было бы означать объявление войны. Но ничего подобного! Тихой сапой войска Советов просачивались из-за границы, 3 января Харьков был взят, но на запросы Директории, чем вызвано вторжение Красной армии на Украину, Чичерин отвечал, что наступают не советские регулярные войска, а украинские партизаны. Меж тем уже четвертого товарищ Затонский как представитель временного рабоче-крестьянского правительства Украины принял в столице – Харькове – военный парад, а вечером встретил там нового премьера Пятакова.

Украинцы послали в Москву делегацию для ведения переговоров о мире и совместной борьбе против интервентов и добровольцев. Но по величайшей иронии истории как раз во время этих переговоров случился переворот, председателем Директории стал Симон Петлюра, и Украина под давлением тех самых интервентов, против которых она собиралась воевать – а это были французы, высадившиеся в Одессе, – сама 16 января объявила войну советской России. Впрочем, переговоры вряд ли могли увенчаться успехом. В силу Директории большевики не верили, и тот же Затонский недвусмысленно сигналил в Кремль Сталину и Пятакову: «Мое мнение – никаких соглашений. Войска петлюровцев разбегаются, крестьяне бунтуют и самочинно строят советы. Надо бить Балбачанчиков (петлюровских атаманов. – В. Г.) по черепу, в Раду не итти, сельские и уездные собрания использовать для выступления и демонстрации, проводить резолюции о поддержке советской власти» (1, 105). В целом большевики просчитали все точно: уже в начале февраля в их руках оказались Киев, Черкассы, Кременчуг, Екатеринослав. Военные успехи сдерживала нехватка людей и оружия. Ведь если в России Красная армия уже была создана и худо-бедно и вооружена, то на Украине ничего похожего не было.

В свое время в приграничной зоне был собран из частей бывшей украинской советской армии довольно сильный кулак, но основная часть этих сил – «курская бригада» – была главкомом Вацетисом предназначена для соседнего Южного фронта, который разворачивался на стратегически важный район Юзово, где были залежи угля. Так что поначалу советская украинская армия насчитывала всего три-четыре полка, и прилив в нее шел

главным образом за счет партизан и оболыпевичившихся петлюровских солдат. Позднее в своих «Записках о гражданской войне» командующий Украинским фронтом Антонов-Овсеенко не без досады и не без обиды вспоминал, как в угоду Южному фронту, которому надлежало реализовать стратегический замысел главкома (отбить уголь!), Украинский фронт всегда урезывался и обделялся – что, безусловно, послужило одной из причин колоссального разгрома летом 1919 года, когда слабый фронт, изъеденный фурункулезом крестьянских восстаний против большевиков, не выдержал и провалился чуть ли не до самой Москвы.

В начале января в «освобожденный» Харьков прибыл отряд Павла Дыбенко – матросы, погруженные на бронепоезд с 8 пушками и 17 пулеметами. К тому времени Дыбенко (в 1917 году совместно с Антоновым-Овсеенко возглавлявший первый советский наркомат по военным и морским делам) уже вполне выявил свою стратегическую несостоятельность и использовался по назначению – там, где нужна была слепая сила. Антонов приказал ему «занять Лозовую, войти в связь с Махно, вести разведку к Славянску и Полтаве» (1, т. 3, 107).

Вообще, Антонов-Овсеенко прямо свидетельствует, что на Левобережье военные усилия большевиков ограничивались «прочищением дороги» (1, т. 3, 192) в партизанский район Махно. Силы его в этот момент исчислялись в пять тысяч человек. Правда, сама по себе эта цифра ничего не говорит: крестьянские отряды отпускали своих бойцов с позиции поработать домой – значит, шла ротация: одни уходили, другие занимали их место, следовательно… Да, конечно, вовлечено было более пяти тысяч…

Чем была эта война партизан против белых? Нам никогда бы не представить себе этого, если б не сохранившийся в воспоминаниях Виктора Белаша фрагмент о пересечении им линии фронта.

Белаш тогда поездом пробирался к Махно из Мариуполя – как странно, что поезда ходили! – и поглядывал в окошко. На станции Волноваха, занятой белыми, вдруг грянул залп: Белаш увидел, что у самого полотна дороги расстреляли пять человек. Поезд тронулся: «Отъезжая, я посмотрел в окно на дорогу, ведущую от станции в ближайшую немецкую колонию. На деревьях, насаженных вдоль дороги, болтались вытянутые человеческие фигуры, возле которых толпились солдаты. Это были повешенные пленные махновцы.

По обе стороны дороги виднелись окопы, в которых солдаты спали непробудным сном. За ними тянулась новая линия укреплений, запутанная колючей проволокой, впереди которой

рыскала кавалерийская разведка белых. Разведчики остановили поезд и сказали, чтобы на паровозе вывесили белый флаг. Мы въезжали в район, занятый Махно…

Передовая группа махновцев, видимо аванпост, поднявшись из окопов, остановила поезд. Они, как и белые, прошли вагоны, осмотрели вещи, проверили документы и отпустили нас, за исключением трех немцев.

– Сюда, хлопцы… это же из Розовки! Я их, тварей, всех знаю, – тащил из вагона трех немцев высокий худощавый махновец. – …В разведочку приехали?.. А ну-ка, Крейцер, сознавайся, где сыновья? В карательном отряде? А помнишь, как я служил у тебя? Помнишь, как в красную гвардию записался? А помнишь, как ты и сыновья привели карательный отряд и хату мне сожгли?

…Немец только пожимал плечами и плакал.

– Скидай, скидай одежду, видишь – люди голые – да живее поворачивайся! – проговорил командир. – А ну, хлопцы, в штаб атамана Духонина их! – отдал он распоряжение и, повернувшись, приказал машинисту отправляться.

Я видел, как их кололи штыками, как они, падая, бежали от полотна в поле, как махновцы снова нагоняли их и снова кололи…» (6, 198–199).

Возле семафора поезд остановился. Белаш вышел из вагона поразмять ноги и оторопел: «Целая стая собак, походивших на волков, грызлась между собою в стороне от полотна, в глинистых карьерах. Одна из них силилась перетащить что-то через рельсы. Приблизившись, я с ужасом увидел, что это была человеческая нога в сапоге…

С полотна ясно было видно дно карьера. Самая большая собака сидела на задних лапах и как бы охраняла груду трупов, которых, как мы после узнали, было двести. Десятка два собак, поменьше ростом, усевшись кольцом в отдалении, визжали, как бы упрашивая главаря допустить и их. Но тот огрызался. Наконец, это ему, видимо, надоело. Он стал на ноги, прошелся по трупам, выбрал себе по вкусу, отошел в сторону. Остальные собаки бросились к трупам и начали их терзать.

У меня не хватило сил смотреть на это. Я бросил в собак камень. Все они, как по команде, громко завыли… Собаки озверели, приобрели волчьи наклонности…

А люди, – подумал я, – чем лучше волков?

Враждующие лагеря истребляли друг друга, истязали взятых в плен… Если то был махновец, его белые поджаривали, т. е. сжигали на кострах, или после пыток вешали на столбах. Если это был белый – махновцы рубили его на мелкие куски саблями или

кололи штыками, оставляя труп собакам» (6, 199).

Обе стороны берегли патроны.

Позиция, на которую прибыл Белаш, была занята отрядом из его родной деревни, Новоспасовки. Всего было 700 человек, которыми командовал Василий Куриленко – впоследствии один из лучших махновских командиров, которого красные в 1919 году почти уже переманили к себе, но все-таки спесью своей и подозрительностью оттолкнули. Куриленко объяснил Белашу суть дела: минувшей ночью белые пытались отнять у махновцев узловую станцию Цареконстантиновку, но были разбиты и бежали, оставив 200 человек в плену на верную гибель. «Поделившись новостями, – вспоминает Белаш, – мы зашли в штаб и сели за стол, на котором появился украинский борщ и полдюжины бутылок австрийского рома» (6, 200).

Вскоре Белашу предстояло поближе познакомиться со всеми махновскими командирами. Попытав его о жизни и о судьбе, Махно решил ему доверить организовать фронтовой съезд: военная обстановка требовала согласованности действий, а с этим как раз было туго – многие партизаны действовали сами по себе, соседей не знали, повстанческому штабу подчинялись в принципе, но на деле не очень. А между тем пошли бои, в которых промашка могла дорого стоить. Белаш поехал объезжать отряды, уламывать «батьков» прислать делегатов на съезд.

В Пологах он обнаружил собранный из трех деревень отряд в 700 человек, «наполовину вооруженных самодельными пиками, вилами и крючками. У другой половины были винтовки, обрезы и дробовые ружья. Обладатели их считались счастливыми людьми, хотя патронов на винтовку было не более пятидесяти» (6, 215). Совещание командиров явило собой еще более экзотическую картину: «Большинство из них было в немецких дорогих шубах, каракулевых шапках, хромовых сапогах. Но были и победнее. Одни имели по два-три револьвера, торчащих за поясом, а другие носили на ремне тяжелые берданки или дробовики…» (6, 216).

Наконец, под Ореховом предстала глазам Белаша картина совсем уже странная: от нее прет дремучим средневековьем, разбойничьим ужасом. Вот представьте себе: ночь. Костер. Вокруг костра кольцом – человек двести.

«В середине носился в присядку плотный мужчина средних лет. Длинные черные волосы свисали на плечи, падали на глаза. – „Рассыпалися лимоны по чистому полю, убирайтеся, кадеты, дайте нам во-о-олю!“ – выкрикивал он.

– Это наш батька Дерменджи, – объяснил нам один из повстанцев.

Вдруг на позиции затрещали пулеметы и винтовки. Два

верховых скакали во весь карьер и кричали:

– Немцы наступают!

„Батько“ крикнул:

– Ну, сынки, собирайся…

– На фронт, на фронт с гармошкою! – заревела толпа. И они, спотыкаясь и спеша, вразброд побежали на позицию» (6, 217).

Дерменджи был человек известный: участвовал в восстании на броненосце «Потемкин»; тухлой говядиной спровоцированная революционность развилась у него аж до бесовства. Но кругом еще вертелись отрядики личностей никому не известных: Зверева, Коляды, Паталахи, батьки-Правды. Последнего Белаш видел: оказался безногий инвалид, который, въехав в село на тачанке, собрал людей и половиной тулова своего заорал:

– Слухайте, дядькі! Будемо сидіти на вашій шиі до того часу, поки ви нас як слід не напоіте! (6, 217).

За правдивое слово Белаш чуть было не расстрелял партизана, но, приглядевшись, оставил. Антонов-Овсеенко в своих «Записках» дважды вспоминает его. Первый раз батько-Правда сильно напугал власти, появившись в окрестностях городка Орехова с «анархистской бандой», к которой присоединился и посланный для расправы с бандитами кавалерийский отряд. Потом вроде бы выяснилось, что никакого мятежа не было, отряд просто шел на отдых. Но тем не менее сильно укороченная тень батьки-Правды пала и на Махно. У Махно Антонов-Овсеенко и встретил батьку-Правду во второй раз и в записке предсовнаркому Украины Раковскому так его характеризовал: «Правда – безногий калека, организатор боевых частей, не бандит…» (1, т. 4, 117). Может быть, оно и так, но сдается, здесь все-таки преувеличение: Антонов-Овсеенко был романтик, это часто подводит политика.

Третьего января в Пологах открылся фронтовой съезд, на который приехало более 40 делегатов от разных частей. Резко выступал Белаш: «Следует положить конец батьковщине и разгильдяйству и все мелкие и крупные отряды реорганизовать в полки, придать им обоз, лазарет и снабжение» (6, 219). На этом же съезде Белаш был избран начальником штаба.

Оперативная обстановка к тому времени сложилась следующая:

«…Махновский южный участок, расстоянием в 150 верст, защищался пятью полками, с общей численностью бойцов – 6200 человек, наполовину безоружных. Против них стоял противник: со стороны г. Александровска – до 2000 петлюровцев, со стороны Попово – Блюменталь – Новомихеевка – егерская бригада (из немцев-колонистов) в 3000 человек и немецкие отряды,

насчитывавшие свыше 2000 чел., со стороны В. Токмака – белогвардейские части… до 4500 чел.» (6, 220–221).

Нехватка оружия сказывалась роковым образом. Бой с немцами у колонии Блюменталь махновцы проиграли, и, хотя колонию разорили и сожгли, радости от этого не прибавилось. Махно был взбешен, раздавлен. Белаш вспоминает жуткий эпизод, случившийся после боя на станции Орехово:

«…Поезд Махно стоял у перрона и у паровоза столпился народ. Махно кричал:

– В топку его, черта патлатого!

Мы подошли и увидели: Щусь, Лютый и Лепетченко возились на паровозе со священником – бородатым стариком. Его одежда была изорвана в клочья, он стоял на коленях у топки… Вдруг Щусь открыл дверцы и обратился к нему:

– Ну, водолаз, пугаешь адом кромешным на том свете, так полезай в него на этом!..

Все стихли… Священник защищался, но дюжие руки схватили его… Вот скрылась в дверцах голова, затрепетали руки… Момент – скрылись и ноги. Черный дым повалил из трубы, пахло гарью. Толпа, молча сплевывая, отходила в сторону.

Оказалось, что на станции поп агитировал повстанцев прекратить войну с немцами во имя Бога и гуманности. Он стращал раненых, что, если они его не послушают, будут гореть в аду. Об этом сказали Махно, который распорядился сжечь его на паровозе на виду у всех…» (6, 218).

В топку – во имя Бога и гуманности! Воистину, святой мученик, ты до конца прошел путь своей веры!

Наступление белых, численно превосходящих махновцев и прекрасно вооруженных, было неотвратимо. К концу января они оказались в самом эпицентре махновщины, заняли Гришино, Гайчур, Гуляй-Поле. Повстанцы пятились, пятясь, у петлюровцев взяли Александровск, вооружались вилами и пиками. Но Махно, похоже, понял, что без большевиков ему в этой борьбе не выстоять. Поэтому он посылает в Харьков Чубенко с наказом разыскать Дыбенко и заключить союз. 28 января Чубенко позвонил в штаб и сообщил, что договорился об условиях соглашения. Что именно было сказано в ходе этой встречи, мы не знаем, но когда месяц спустя красные, наконец, «расчистили» дорогу к Махно, подразумевалось, что внутренняя жизнь Повстанческой армии (добровольчество, выборность командного состава и пр.) остается неизменной, что махновцы примут комиссаров-коммунистов, что армия не будет переброшена с противоденикинского фронта, станет подчиняться высшему красному командованию в оперативном отношении и, наконец,

главное: сохраняя свои черные знамена, она будет получать военное снаряжение наравне с частями Красной армии. Аршинов замечает, что в «центре» Махно был известен лишь как отважный повстанец, о котором время от времени мелькали восторженные сообщения в газетах, поэтому никто не сомневался в том, что повстанческие отряды немедленно вольются в Красную армию. Так оно формально и произошло: отряды Махно как отдельная пехотная бригада были приписаны к Заднепровской дивизии, которой командовал Дыбенко. Но хотя Махно и считался отныне красным комбригом, действовал он по-прежнему абсолютно самостоятельно, ибо, честно говоря, ни направлять, ни контролировать его действия долгое время было просто некому. Он, правда, повидался с Дыбенко: партизанский батько и красный комдив сфотографировались на фоне эшелона. Возможно, того, в котором Махно спал: после Бутырок он боялся больших помещений. Дыбенко, с папироской в руке, на целую голову возвышающийся над Махно, несмотря на его папаху, на снимке смотрится покровителем, старшим братом-большевиком. И лишь упрямый, своенравный взгляд Махно свидетельствует, что он не напрашивался под высокое покровительство. Он вел свою игру.

Посланцев Махно в Харькове приняли очень тепло. Белаш говорил с заместителем Антонова-Овсеенко, тот передал привет повстанцам и заверил, что в поддержку Махно посланы уже оружие, полк пехоты и бронепоезд «Спартак».

В Харькове Белаш наведался также в анархистскую федерацию «Набат» – самую влиятельную после разгрома анархистов в Москве и Петрограде, где и «доложил о махновщине». Интерес был несомненный. Четыре человека, захватив с собой литературу, выразили готовность ехать с ним и работать у Махно. Кроме того, Белаш передал письмо батьки в Москву Аршинову – с приглашением приехать.

В самом конце января повстанцами было – буквально штыковыми атаками – отбито Гуляй-Поле. «Сколько радости было у женщин при встрече со своими, – пишет Белаш, – сколько слез и объятий в Гуляй-Поле при нашем появлении!» (6, 225). К февралю у Махно было уже несколько десятков тысяч человек: огромное количество крестьян, мобилизованных деникинским генералом Май-Маевским и им вооруженных, переходили линию фронта и сдавались повстанцам.

С военной точки зрения события на повстанческом фронте с января по апрель 1919 года ничем особенным не примечательны: партизаны постепенно пробились к берегу Азовского моря и стали отжимать белых на Таганрог. В Бердянске, который сразу же после ухода немцев был наводнен «чистой» публикой, Махно

не ждали. Напрасно офицеры, знакомые с партизанами, предупреждали, что это – враг сильный и лукавый. Молодежь только смеялась в ответ: «мы – регулярные войска, а махновцы – сброд, ничего не понимающий в войне» (74, 42). Когда же вдруг выяснилось, что город то ли сегодня, то ли завтра будет взят, то обнаружилось, что защищать его некому, ничего к обороне не готово. Военный губернатор Бердянска по баснословным ценам продавал «своим» билеты на пароход, остальные были брошены на произвол судьбы. Бедные жители города отправились на вокзал встречать махновцев. «Они вступили в город в 6 часов вечера, а вечером все мужчины гуляйпольцы, сбежавшие из села, были схвачены и вскоре убиты», – вспоминает Наталья Сухогорская (74, 43). На морском берегу расстреливали не успевших бежать офицеров и мальчишек-юнкеров. По поводу Бердянска советские историки расписывали потом поистине людоедские подробности, которые, несомненно, были плодом их не в меру рьяного воображения. Сообщалось, например, что Калашников, командир 7-го полка махновской бригады, сам пытал пленных и выкалывал им вилками глаза (32, 4).

Советскими историками жестокость партизан, как правило, преувеличивается, чтобы подчеркнуть их отличие от кадровых, «чистых» красноармейских частей. Но тут возникают новые недоразумения. В книге В. Комина «Нестор Махно: мифы и реальность» я прочитал сильно озадачивающую фразу. Рассказывая о назначении Махно комбригом, автор дословно пишет следующее: «Казалось бы, войско Махно выполнило свою задачу и, войдя в состав Красной Армии, должно было раствориться в ней» (34, 26). В чем, простите? Никакой Красной армии на Украине не было в это время. Или, вернее, махновцы и были Красной армией, вместе с григорьевцами, морячками Дыбенко и т. д. Здесь нет ни словесной игры, ни преувеличения: регулярная армия только еще начинала создаваться, и Антонов-Овсеенко без колебания использовал в своих целях уже сложившиеся формирования – так было с «армией» Махно, так было с бывшей петлюровской дивизией Григорьева, отрядами Щорса, Боженко и иже с ними. И когда Бунин в «Окаянных днях» описывает кривоногих красноармейцев, лузгающих семечки в разгромленной Одессе, надо понимать, что это григорьевцы, которые и брали город.

Никаких других войск, в которых могла бы благоразумно «раствориться» махновская бригада, не было: лишь к лету 1919 года удалось сформировать, дисциплинировать и вооружить некоторое количество регулярных частей, столь милых сердцу Троцкого, который ненавидел партизан за их смутный

небольшевизм, претензии участвовать в политике и иные амбиции. Искоренение партизанчества на Украине – история, полная загадок и драматизма, никем еще, к сожалению, не написанная.

Переговоры между атаманом Григорьевым и Антоновым-Овсеенко состоялись в Харькове 18 февраля. «Низкорослый, – писал о собеседнике Антонов, – коренастый, круглоголовый, с почти бритым упрямым черепом, серым лицом. Одет в тужурку военного покроя и штатские брюки на выпуск. Хотя Григорьев на вид невзрачен, но чувствуется, что он себе на уме и властен. Он болтлив и хвастлив. Яркими красками расписывает свои „победы“, говорит, что у него 26 отрядов, в которых будто бы 15 тысяч человек» (1, т. 3, 166). К слову сказать, преувеличения в этих словах не было.

Никифор Григорьев был честолюбцем. Закончив мировую войну в чине штабс-капитана, он служил сначала гетману, потом Петлюре, потом решил испробовать себя в роли народного вождя. Пресса того времени характеризовала его так: «Григорьев производит впечатление человека бесстрашного, с огромной энергией, крестьянского бунтаря, чрезвычайно внимательного к крестьянству, с огромной любовью к людям земли. Среди крестьян Григорьев популярен. К горожанам относится скептически. На фронте решителен и бесстрашен, огромной работоспособности, с дезертирами и грабителями жесток. Штаб Григорьева состоит из украинских левых с.-р. (начальник штаба Тютюник), так же как и командный состав» (40, 65–64).

Григорьев, как и Махно, был назначен красным комбригом. Поначалу ему не очень-то доверяли, предполагалось честолюбивого комбрига использовать где-нибудь на вторых ролях, и Григорьев не проявлял себя, понимая, что к нему присматриваются. «Секретный сотрудник», приставленный к штабу григорьевской бригады, сообщал в целом утешительные сведения: «Пока ничего особенно подозрительного. Пьянство, грабеж, отдельные левоэсеровские выпады…» (1, т. 3, 176). Антонову-Овсеенко представлялось возможным, окружив Григорьева верными людьми и наводнив части политкомами, превратить его бригаду в первосортную красноармейскую часть. Однако после того как штаб Григорьева посетил командарм-2 Анатолий Скачко, отношение изменилось к худшему, промелькнуло даже словечко: «ликвидировать». Скачко не застал Григорьева, ибо тот, узнав о визите начальства, уехал на фронт. Гость был удручен: «Я нашел вместо штаба грязный вагон и кучу неорганизованных бандитов. Никаких признаков начинающихся организаций. Цистерна спирта, из которой пьет всякий. Сотни

две-три полупьяных солдат. Пятьсот вагонов, груженных всяким добром – спирт, бензин, сахар, сукно. Эти вагоны упорно не желают разгружать… Мое впечатление – Григорьеву доверять нельзя. Необходимо ликвидировать… Считать отряды Григорьева нашими войсками и полагаться на них нахожу невозможным…» (1, т. 3, 223).

Однако уже через две недели Скачко радикально изменил свою точку зрения, чему причиной были крупные военные победы, одержанные войсками Григорьева. 8 марта, после трехдневной артиллерийской дуэли, Григорьев взял занятый греками и французами Херсон. 13 марта, приняв ультиматум Григорьева, союзники и добровольцы оставили Николаев. Скачко вынужден был засвидетельствовать, что в городе григорьевцы вели себя образцово: «Сам атаман, застрелив вожака-матроса, предотвратил грозивший погром» (1, т. 3, 230). В начале апреля начался штурм Одессы. Григорьев извещал товарищей-партизан: «Обкладываем Одессу и скоро возьмем ее. Приглашаю всех товарищей-партизан приезжать на торжество в Одессу» (1, т. 3, 244).

Антонов-Овсеенко был против того, чтобы Одесса досталась Григорьеву: он чувствовал, что речь не идет о чисто военной победе, что в нее вкладывается определенный политический смысл. За Григорьевым волочился длинный левоэсеровский хвост. В Херсоне, например, левые эсеры составили большинство на съезде Советов, обставили большевиков и долго ругались с ними, кого избрать почетным председателем съезда – Ленина или Спиридонову? В Николаеве съезд левых эсеров вынес резолюцию «сделать отряд Григорьева центром военных сил под флагом партии» (1, т. 4, 69). Стоя под Одессой, Григорьев не принимал посланцев от подпольщиков-большевиков и всю связь держал через левых эсеров.

Антонов-Овсеенко всерьез подумывал сменить Григорьева под предлогом болезни или перебросить его войска под Очаков. Но Григорьев уже перехватил инициативу. После двухнедельного штурма его войска ворвались в Одессу. Столь крупная победа не могла остаться незамеченной. Предсовнаркома Украины послал Антонову-Овсеенко ликующее приветствие, в котором указывалось, что победители Одессы имеют перед собой новые, мирового масштаба перспективы: помощь восставшей Бессарабии, Галиции, Венгрии. «Вперед, вперед, всегда вперед!» – звал Раковский к мировой революции. Однако за такое дело, как взятие Одессы и отражение готовящегося десанта французов, Григорьева следовало каким-то образом поощрить, обмен победными телеграммами был наградой явно недостаточной.

Командарм Скачко предложил было представить Григорьева к высшей боевой награде Страны Советов – ордену Красного Знамени. В победной реляции он докладывал: «Одессу взяли исключительно войска Григорьева… В двухнедельных непрерывных боях бойцы показали выносливость и выдающуюся революционную стойкость, а их командиры – храбрость и военный талант… Прошу товарища Григорьева, который лично показал пример мужества в боях на передовых линиях, под ним было убито два коня и одежда прострелена в нескольких местах, и который добился победы над сильным врагом, наградить орденом Красного Знамени» (33,3).

Антонов-Овсеенко, возможно, разделял всеобщее ликование по поводу взятия Одессы, но он, по крайней мере, знал, чего стоила эта победа: «Полураздетые, полубосые и порой полуголодные, эти войска поистине заставляют удивляться тому самоотвержению, с которым они выполняли свою боевую работу» (1, т. 4, 329). Свой орден Григорьев, без сомнения, так и не получил. Что-то страшное стояло за всей его фигурой. В заповеднике Аскания-Нова красноармейцы Григорьева резали и жрали бизонов, чем вызвали даже недоуменное недовольство предсовнаркома Украины: как можно? Это что – армия революции? Неудивительно: за исключением Антонова-Овсеенко, никто из большевистских вождей фронтовиков не знал – их боялись, никто не представлял себе, что такое голодная армия, подвязанные веревками подметки сапог и атаки с одной винтовкой на троих. В тылу медленно создавались новые, более или менее благонадежные формирования, а на фронтах дрались партизаны, сорвиголовы, деревенские драчуны, дрались без жалости и пощады к себе и к врагам. Город для них был добычей, отдыхом, сном. Тыл, тыловики – и большевики именно как тыловики – раздражали их недоверием, беспрерывными проверками на политическую благонадежность.

Григорьев отличался составлением необычайно длинных, страстных телеграмм: одним из приказов ему даже настрого вменялось «прекратить изнасилование телеграфа» (1, т. 3, 243). После очередной порции подозрений и недовольств Григорьев телеграфировал на фронт: «Заявляю, что нужно быть железным человеком, чтобы проглотить те оскорбления, которые наносит мне центр… Здесь у меня при штабе политинспекция Реввоенсовета харьковского направления – уже восемь, а политком бригады дней десять, а вчера прибыла комиссия во главе с товарищем Эго. Вот их и спросите обо всем…» (1, т. 3, 229). Центр слал на фронт инспекции и агитаторов, но практическая помощь была минимальная. Меж тем, взяв Одессу,

Григорьев все более входил в роль политика. Он потребовал войскам трофеев, отправив телеграмму непосредственно Раковскому: «Одессу взяли крестьяне 52 волостей, которые составляют мой кадр… Мануфактуры хватит на всю Украину. Крестьяне, что лили кровь под Одессой, просят дать мануфактуру всем деревням по твердым ценам. У нас в деревнях женщины шьют платья из мешков. Убедительно прошу всю мануфактуру направить немедленно крестьянам Украины. Эти крестьяне, когда их земляки и жены засевали поля, брали штурмом укрепленную проволокой позицию. Под городом Одессой есть села, которые дали по 800 бойцов. Одессе дайте хлеба. Атаман Григорьев» (1, т. 4, 73). Нет сомнения, что при таких настроениях атамана награждение орденом Красного Знамени только усилило бы его разгулявшиеся политические амбиции, которые, напротив, надо было как-то утихомирить.

Мануфактуру обещали дать. Оставалось решить, что делать с пятнадцатью тысячами вооруженных красноармейцев, которые, сделав свое боевое дело, довольно быстро начали проявлять признаки агрессивности и недовольства (недаром ведь григорьевский мятеж начался с безобразий отдельных частей на узловых станциях, когда войска были двинуты на отдых домой). А тут еще и сам Григорьев стал выказывать раздражение и глубочайшее разочарование в деле, которому служил. Поближе узнав представителей новой власти, которая следовала по пятам его армии, он с брезгливостью военного человека отстучал Раковскому: «Если вслед за мною будет вырастать такая паршивая власть, которую я видел до настоящего времени, я, атаман Григорьев, отказываюсь воевать. Заберите мальчиков, пошлите их в школу, дайте народу солидную власть, которую бы он уважал» (33, 31). С Григорьевым срочно нужно было что-то делать…

16 апреля атаман получил повышение и был назначен командиром 6-й украинской стрелковой дивизии. Одновременно, с одобрения ЦК и Совнаркома Украины, решено было изнутри овладеть отрядами Григорьева, а его самого устранить «секретным образом» (1, т. 4, 75). Войска же пока надо было «задействовать», ввязать в бой, и здесь представлялось два плана – бросить их дальше на запад, в помощь восставшей Венгрии, или перекинуть на восток, в подмогу Махно, который, продвинувшись было вперед, на линии Волноваха—Мариуполь завяз в затяжных боях с белыми. Трудно себе представить, какой силы гремучая смесь образовалась бы, случись этому последнему плану осуществиться. Но события, как всегда, развивались своим чередом.

Пока надо подчеркнуть лишь одно: бригада Махно никоим

образом не выделялась в худшую сторону в строю других частей Красной украинской армии, все были примерно одинаковы, и даже если оставить в стороне григорьевцев, которых можно при большом желании упрекнуть в партизанщине и погромных настроениях, то и другие окажутся не лучше.

К примеру, Антонов-Овсеенко следующим образом характеризует полк имени Тараса Шевченко, смотр которого состоялся в начале марта в Полтаве: «Полк имени Тараса Григорьевича Шевченко состоит из политически темных крестьян-повстанцев. Командир полка тов. Живодеров, человек грубый и политически безграмотный (моряк в кожаной куртке, бородатый и увешанный оружием). Настроение полка бодрое, революционное, но недружелюбное в отношении евреев» (1, т. 3, 188). Также и солдаты 1-го ударного Таврического партизанского полка по поводу евреев высказывались совершенно определенно, что «в их принципе не оставлять по своему пройденному пути немцев-колонистов и евреев» (1, т. 4, 104). О военных навыках тогдашних красноармейцев свидетельствует доклад об организации артиллерийского дела в Харьковской группе войск инспектора артиллерии Лаппо – документ более чем красноречивый: «Командный состав (красные офицеры) совершенно стрелять не умеют, люди не обучены, материальная часть не в порядке… Когда я обратил внимание штаба на это явление, то один из высших чинов заявил мне, что им важно дать пехоте моральную поддержку, звуковой эффект выстрела, а потому орудие может стрелять и без панорамы… Орудиями пользуются как пулеметами, полки таскают их за собой, препятствуя тем самым сводить их в правильные боевые единицы» (1, т. 4, 125).

О нравах красноармейцев можно было бы особо и не говорить, достаточно вспомнить «Конармию» Бабеля, но, убедительности ради, приведу все ж отрывок из «Очерков русской смуты» А. И.Деникина, где он описывает развлечения самого что ни на есть ядра кадровых красных сил: моряков и красноармейцев Дыбенко.

«…Забравшись в храм (в Спасовом скиту) под предводительством Дыбенки, красноармейцы вместе с приехавшими с ними любовницами ходили по храму в шапках, курили, ругали скверно-матерно Иисуса Христа и Матерь Божию, похитили антиминс, занавес от Царских врат, разорвав его на части, церковные одежды, подризники, платки для утирания губ причащающихся, опрокинули Престол, пронзили штыком икону Спасителя. После ухода бесчинствовавшего отряда в одном из притворов храма были обнаружены экскременты» (17, 126).

О, особое сладострастие разрушителя – нагадить в храме, искорябать росписи и фрески скверными матерными словами! Поражает именно единодушие, с которым революционный народ отвернулся от своих учителей и стал сжигать проповедников в топках, а храмы превращать в отхожее место. И для того, чтобы уяснить почему, недостаточно ироничной усмешки Бориса Савинкова, экс-террориста и народолюбца: «народ-богоносец надул…» Тут трагедия: когда рухнуло царство, народ не заплакал, а принялся драться и пировать на его обломках. И кто скажет, чья в той беде вина?

Несмотря на родственность в отношении к «старому миру», между махновцами и большевиками довольно скоро обнаружились и явные противоречия. Во-первых, в занятом ими районе махновцы не давали забирать хлеб, гоняя продагентов со своей территории, а во-вторых, они начали строить какую-то свою советскую власть, именно тем особенно для большевиков неприятную, что власть была советская, но не партийная. За зиму и весну 1919-го в «вольном районе» прошло три съезда Советов, решениями которых и определялась здесь вся жизнь. Первый съезд был экстренно созван в январе, во время наступления белых и петлюровцев. Поскольку красных еще в районе не было, да и вопросы обсуждались сугубо практические – как армию кормить, вооружать и во что одевать, – он у большевиков беспокойства не вызвал. Но второй, случившийся 12 февраля, заставил насторожиться. Дело не в том, конечно, что была объявлена «добровольная мобилизация» в Повстанческую армию, а в том, что собрание ребром поставило ряд политических вопросов – например, выразило недоверие правительству советской Украины, которое крестьяне «не избирали», и высказалось за полную самостоятельность Советов на местах. Получалось, что, признавая советскую власть, крестьяне 350 махновских волостей отказывались признавать над собою власть харьковского правительства, но зато признавали какой-то Военно-революционный совет, который тут же и избрали.

При этом гуляйпольский съезд был обставлен со всей серьезностью, как и «настоящий» большевистский съезд Советов: знамена, Марсельеза, гости от большевиков и от товарищей-матросов, более двухсот делегатов. Махно присутствовал на съезде, но, ввиду сложной обстановки на фронте, председательствовать отказался. Его назначили почетным председателем, а руководить стал Борис Веретельников, путиловский рабочий родом с Левобережья, который сразу же в докладе о текущем моменте поведал, как ездил в Россию, надеясь найти там свободу и духовный простор, но нашел лишь «полный

разгул угнетения, тяжелой зависимости рабочих и крестьян от начальства свыше» (65, 12).

Антибольшевистская линия на съезде просматривалась совершенно отчетливо. Избранный председателем Военно-революционного совета сельский учитель Чернокнижный высказался со всей резкостью: «Теперь, когда после жестокой, упорной борьбы… неприятель разбит и трудовой народ Украины может вздохнуть свободно, – к нам появляется какое-то большевистское Правительство и навязывает свою партийную диктатуру» (65, 6). Товарищ Черняк, анархист из «Набата», прояснил ситуацию: «Мы знаем, что среди большевиков есть много честных революционеров… Но мы уверены, что эти люди не отдавали бы свои жизни, если бы они знали, что известная кучка людей захватит в свои руки власть и будет угнетать целый народ» (65, 17). И даже выступавшие от имени большевиков Херсонский и Карпенко признали узурпацию власти одной партией позорной и недопустимой. Брошюра с резолюциями съезда, изданная в Гуляй-Поле, заканчивается лозунгами: «Долой комиссародержавие и назначенцев!», «Долой чрезвычайки – современные охранки!», «Да здравствуют свободноизбранные Рабоче-Крестьянские Советы!» (65, 25).

В деревне и на фронте махновцы оставались хозяевами положения, но сопротивляться утверждению новой большевистской власти у себя в тылу, в городах, они не могли. Происходило то же, что и с Григорьевым: вслед за партизанами шли партработники, устанавливая свои порядки. В захваченном махновцами Бердянске установилось фактическое двоевластие. С одной стороны, в городе был военный комендант – посланный к Махно комиссаром Озеров, то ли большевик, то ли левый эсер, человек крутого нрава, с военным прошлым и раздробленной правой конечностью, в которой, однако ж, он умудрялся крепко держать нагайку, при помощи которой наводил порядок среди своих солдат, срывающихся с фронта «на отдых», чтобы вволю попить благоухающего дорогого вина, которым полны были погреба города. С другой стороны, власть в Бердянске держал большевистский ревком, едва ли не половину забот которого составляло договориться с анархистами, которые прибились к Махно и не гнушались проводить время в питии и веселии.

Функцию переговоров взял на себя Степан Дыбец, в тридцатые годы начальник советского главка автомобильной и тракторной промышленности, но тогда, в 1919-м, – неофит большевизма, недавно только перекрасившийся в коммунисты из анархо-синдикалистов. Как человек, причастный к анархизму, он и вел переговоры с Махно и его окружением.

Писатель Александр Бек записал беседу с Дыбецом, когда тот уже был одним из воротил советской тяжелой индустрии, и здесь интересно мнение хозяйственника о политическом лице Махно: «…Толкуя о будущем, он обнаруживал полное невежество, особенно в таких вопросах, как экономика, промышленность. Знал лишь, что завод – это такая вещь, которая должна выпускать изделия, а во всем остальном – откуда брать сырье, каким образом осуществлять хозяйственные связи, хозяйственный план – оставался совершенно темным. Повторял свое: „Коммуна“» (5, 46).

Дыбец, конечно, Махно окарикатурил: у идейных анархистов были свои представления о том, как в безвластном обществе должна развиваться промышленность – сейчас бы это описывалось формулой хозрасчета. Но он прав в другом: ни о какой хозяйственной политике тогда и речи не было, город грабили и махновцы, и большевики, и вопрос был только в том, кто больше ухватит и куда отвезут награбленное – в Гуляй-Поле или в Москву.

Когда, например, ревкому потребовались деньги для скупки хлеба у крестьян, на буржуазию наложили контрибуцию. Дыбец собрал биржевиков и сказал:

«Городу нужны деньги. Необходимо в город подвозить хлеб. У нас нет денег. Если сбором контрибуции займется Махно, то несколько человек будут расстреляны совершенно зря. В наши планы не входит расстреливать людей… Мне трудно знать, насколько состоятелен тот или иной гражданин, а вы, биржевики, всех знаете. Составьте мне списочек, с кого сколько можно взять. Я полагаюсь на ваше благоразумие. Если вы этой работы не проделаете, мы ее сделаем сами, но, конечно, с ошибками. А если передадим Махно, то вам совсем плохо придется…» (5, 59).

Отношения махновцев с большевиками строились по принципу, кто кого переиграет. К примеру, Махно в полном составе отправил на фронт осточертевшую ему бердянскую ЧК. Ревком тут же стал запугивать обывателя махновской контрразведкой, о которой ходили самые ужасные слухи. Махновские части повадились «отдыхать» в город – ревком приказал вылить в море тридцать тысяч ведер прекрасного вина, чтобы отвадить их от этого. Озеров просил начавшееся наступление подкрепить ударным батальоном ревкома – ревком не дал. Озеров просил коммунистов на фронт – ревком не дал ни одного человека, ссылаясь на то, что в махновских частях коммунистов якобы убивают.

И, уж конечно, ничто так не характеризует полюбовные отношения партнеров, как история с кожей. Как о большом

достижении С. Дыбец рассказывал А. Беку о том, как ревком отыграл у махновцев несколько вагонов кожи, конфискованной у спекулянтов Бердянска. Махновцы, отспорив себе двенадцать вагонов из двадцати, потребовали отправить кожу в Гуляй-Поле, но Дыбец, дав загрузить вагоны, договорился, что на узловой станции Пологи вагоны с кожей будут прицеплены к любому поезду, идущему в Москву. Махновцы не догадались послать с грузом сопровождающих, и кожа от них ускользнула. После этого «пропавшая кожа», как символ неорганизованности и безалаберности махновцев, стала прекрасным аргументом в устах большевиков. Чуть что, ввертывалось:

«– А кожа?

…Когда у нас опять пытались отобрать какие-нибудь запасы, мы неизменно отвечали:

– Ну, это опять – кожа. Лучше мы сами вас снабдим» (5, 58).

К несчастью, все эти мерзости взаимного надувательства не одной только кожи касались. «Союзнички» словно забыли, что в нескольких десятках километров от них проходит фронт, который держали ни в какой высокой политике не замешанные крестьяне, «добровольно мобилизованные», чтобы защищать свои очаги. Мы еще увидим, как дорого заплатят они за амбиции партийных «верхов». А амбиции, безусловно, были. Прежде всего – власть. Следуя за партизанами, большевики практически даром получали власть в свои руки.

А на украинских фронтах до середины 1919 года большевики могли рассчитывать только на крестьян-повстанцев. Ставка Антонова-Овсеенко на партизанские отряды в Москве, конечно, казалась сомнительной, но на Украине она приносила зримые плоды. Отбитые Григорьевым крупнейшие черноморские порты и красавица-Одесса говорили сами за себя. Бригада Махно тоже не стояла на месте: 15 марта был взят Бердянск, 17-го– Волноваха, 27-го – Мариуполь. Под ударами махновцев стал рушиться весь левый фланг добровольцев-деникинцев, а главное, было перерезано снабжение Добрармии вооружением. Ситуация на фронте решительным образом обернулась в пользу красных. За взятие Мариуполя комбриг Махно, который не имел той сомнительной славы честолюбца и авантюриста, которая волочилась за Григорьевым, был, в свою очередь, награжден орденом Красного Знамени. Это была, повторим, высшая награда того времени, поскольку в обычных случаях героев-красноармейцев из-за отсутствия официальных революционных медалей и орденов награждали золотыми часами, портсигарами и даже «золотыми перстнями с каменьями и обручальными кольцами, реквизированными у буржуазии». Так что «Красное

Знамя» вручалось только знаковым фигурам, «внесшим исключительный вклад в дело борьбы с контрреволюцией и белогвардейцами» (33, 2). Сегодня все специалисты по русской и советской наградной символике сходятся во мнении, что Махно достался орден под № 4. Правда, по официальным данным, этот орден получил председатель РВК Псковского уезда, видный большевик Ян Фабрициус. Однако в таком разночтении нет ничего удивительного. Официальный список первых кавалеров ордена Красного Знамени РСФСР с 1918 года неоднократно «корректировался», отдельные имена из него навсегда вымарывались, причем среди «забытых» кавалеров ордена оказался не только анархист Махно, но и маршал В. К. Блюхер, попавший в мясорубку сталинских репрессий, которому принадлежал орден Красного Знамени № 1, и расстрелянный в 1921 году командарм Второй конной армии Ф. К. Миронов, кавалер ордена № 3, который в «официальном» списке приписан И. В. Сталину за оборону Царицына.

В. А. Антонов-Овсеенко в своих «Записках о гражданской войне» ни слова не пишет о награждении Махно орденом. Но оно и понятно – третий том, посвященный событиям, которые имеют непосредственное отношение к этому делу, вышел в 1933 году, когда всей официальной историей получение «бандитом» Махно ордена категорически отрицалось. Да и мог ли бывший командующий Украинским фронтом, подозреваемый в «троцкизме» и, в конце концов, за «троцкизм» и расстрелянный, в 1933 году хотя бы фигурально «отобрать» орден у верноподданного Фабрициуса и «вернуть» его Махно? Разумеется нет. Сохранилась, правда, победная телеграмма П. Е. Дыбенко, в дивизию которого входила бригада Махно: «Заднепровская бригада взяла город Мариуполь, сломив сопротивление белогвардейцев и французской эскадры, при этом стойкость и мужество полков было несказанными. Захвачено более 4 млн. пудов угля и много воинского снаряжения. Комбриг Н. Махно и комполка В. Куриленко одними из первых в РСФСР награждены орденами Красного Знамени» (33,4). Представление к ордену Василия Куриленко вероятно, но вряд ли он его получил, не будучи все-таки «знаковой фигурой» революции. Подтверждала награждение Махно «Красным Знаменем» и его жена Галина Андреевна: «Нестор был действительно награжден орденом Красного Знамени, когда это случилось, я не помню, но орден помню очень хорошо, он был на длинном винте, его полагалось носить, проколов верхнюю одежду, но Нестор не надевал его никогда…» (33, 4). Впрочем, сохранилась известная фотография комбрига Махно с орденом на груди. Так что вопрос не в том,

надевал Махно орден или не надевал. Загадкой остается, кто и когда осуществлял процедуру награждения. Мариуполь, как мы помним, был взят 27 марта. Вручить орден Махно мог бы сам комдив Дыбенко, но к тому времени, когда орден должен был быть доставлен из Москвы, он прочно застрял в Крыму. 29 апреля 1919 года Гуляй-Поле посетил командующий Украинским фронтом Антонов-Овсеенко, в целом благожелательно настроенный к Махно. Не тогда ли и получил батька свой орден?

7 мая 1919-го в Гуляй-Поле побывал уполномоченный Совета обороны, член большевистского ЦК Л. Б. Каменев. На встречу с ним Махно прибыл с фронта, причем как раз из Мариуполя. Здесь как будто таится вторая возможность награждения. Однако Каменев относился к Махно настороженно и тон его бесед с Махно очень подозрителен. Вряд ли после таких разговоров Лев Борисович вдруг пожаловал бы батьку орденом. А распространенная версия, что орден Нестору Ивановичу вручил в бронепоезде Клим Ворошилов 4 июня 1919 года, попросту не выдерживает никакой критики. 4 июня Махно уже был объявлен Троцким вне закона, и Ворошилов на бронепоезде был послан, чтобы захватить его. Причем Махно, сдается, сразу догадался об этом. Впрочем, да простит меня читатель, тут мы забежали непозволительно далеко вперед. До драматических событий лета 1919-го было еще далеко. Весной их ровным счетом ничего еще не предвещало.

ФРОНТ ТРЕСКАЕТСЯ

8 апреле 1919-го скорая победа над белыми казалась делом решенным. В Одессе и Херсоне добровольцы заодно с интервентами были биты, Дыбенко ломился в Крым, где готовился провозгласить Крымскую советскую социалистическую республику. Южному фронту и Махно был дан приказ наступать на Дон, при этом силы Южфронта должны были первым делом отбить Донбасс с его углем, а Махно – наступлением на Таганрог «подрезать» белых снизу. Выступая 1 апреля на пленуме Московского совета, Троцкий заверил аудиторию, что, «как только состояние рек и мостов позволит, – это дело ближайших же недель, а может быть, и дней, – Южный фронт станет свидетелем дальнейших решительных событий», которые представлялись ему в свете безусловного успеха (1, т. 4, 49–50).

Победа казалась не только возможной, но и неизбежной при том перевесе сил, который сложился в районе Донбасса – 40 тысяч красных штыков и 4,5 тысячи сабель против, соответственно, 12,5 тысячи штыков и 9 тысяч сабель у белых. Нужно было обладать холодной прозорливостью Ленина, чтобы не потерять от успехов чувства реальности и, более того, предчувствовать возможный крах крымской затеи, которая отвлекала много войск, но стратегически имела мало смысла. Ибо, как бы (по карте) ни казалось заманчивым выйти через Крым прямо в тыл деникинцам и прорваться на Кубань, сделать это реально нельзя было из-за господства на море флота союзников.

Ленин упрямо твердил о первоочередной задаче – взять Ростов. В этом направлении двигались Махно и соседняя с ним 13-я армия Южфронта – увы, не подпертые никакими резервами. Эта слабина и сама по себе могла бы оказаться гибельной, но в довершение ко всему она была усугублена ошибкой и тактического, и политического свойства: в конце марта главком Вацетис решил, исходя из общности задач, стоящих перед Махно и 13-й армией, передать Махно в подчинение Южному фронту – которым командовал тогда В. М. Гиттис – и таким образом оторвать его от Антонова-Овсеенко. Командование Южфронта украинских партизан не знало, они оставались для него элементом совершенно чуждым; таганрогское направление, где оперировал Махно, было для штаба фронта, располагавшегося в Купянске, глубочайшей и совершенно неведомой фронтовой периферией, и ничего, кроме вреда, от такого переподчинения, естественно, получиться не могло. Командовавший Украинским фронтом Антонов-Овсеенко это чувствовал и предупреждал

ставку: «За дисциплинированность и боеспособность частей, отдаваемых мною Южфронту, не могу отвечать. Всякое отрывание их от нашего командования их будет разлагать» (1, т. 3, 215). Тем не менее части Махно были переподчинены.

До какой степени все это запутало боевую ситуацию, понять может, наверное, только военный человек. Будучи в подчинении Южфронта, Махно в то же время был подчиненным Дыбенко, который командовал Заднепровской дивизией, входящей во Вторую украинскую армию Скачко – то есть армию, находящуюся в ведении Украинского фронта. До середины апреля сведения о положении на фронтах Махно получал только из сводок Украинского фронта. «Свой» фронт нужной ему информации дать не мог. Снабжение не было организовано. Личные контакты – и те не были налажены новым начальством. И когда потребовалось «обревизовать» бригаду Махно, поехал к нему не комюжфронтом В. М. Гиттис, а командукр В. А. Антонов-Овсеенко… Список этих несуразностей чрезвычайно длинен и заканчивается вполне логично – предложением члена Реввоенсовета Южного фронта Сокольникова просто-напросто «убрать» Махно в связи с рядом испытанных им поражений.

Всю эту скучноватую военную информацию нам необходимо знать, чтобы ясно понять ситуацию, которую наши историки безбожно перевирали, чтобы никто не мог ни проверить, ни понять, что Махно в 1919 году красным не изменял, фронта не открывал и предателем не был, что предателем его сделали, именно сделали при помощи всех мощностей партийной пропаганды совершенно конкретные люди из числа большевиков, которым надо было отчитаться – почему проиграна война там, где, по их же словам, она должна была быть выиграна?

Дело складывалось следующим образом: в конце марта заняв Мариуполь, Махно стал нажимать на Таганрог, перерезал линию железной дороги и провалил начавшееся было наступление белых на Луганск. Он просил резервов для развития успеха, но поддержать «изнемогавшую бригаду» (выражение Антонова-Овсеенко) было нечем, войск не было в принципе – за что и спросилось потом с главкома Вацетиса, который считал Украинский фронт второстепенным и упрямо направлял все части другим фронтам. Дыбенко, который прежде мог помочь, теперь глубоко залез в Крым и сам требовал подкреплений.

8 апреля прилетела первая ласточка: генерал Шкуро ударил на стыке Махно и 13-й армии и, обратив в бегство части последней, опрокинул фронт. Скачко сообщал Антонову-Овсеенко по прямому проводу: «Волноваха взята противником, Мариуполь отрезан. Прорыв расширяется, у противника появилась уже

пехота. Вся серьезность положения в том, что части 9-й дивизии бегут, и полки самовольно снялись с позиций у Волновахи и, угрожая комендантам станции оружием, приказали себя везти через Пологи в Гришино» (1, т. 4, 53). Тут, пожалуй, для нас важнее всего определенность донесения, что панически бежали красноармейцы, а не махновцы.

Антонов-Овсеенко подбадривал Скачко: «…силы Шкуро преувеличены вдвое». Скачко бесстрастно возражал: «Пять тысяч великолепной и дисциплинированной кавалерии из кубанцев и горцев, не поддающиеся политическому разложению. При летней погоде и в нашей степи одна пехота даже в четверном количестве справиться с такой кавалерией не может. Это аксиома начальной тактики» (1, т. 4, 55).

Антонов-Овсеенко против этого аргументов не имел, а посему запретил Скачко оправдываться и «упражняться в неврастеническом тоне» и велел, за неимением резервов, организовывать отряды из крестьян и рабочих, бежавших из Донбасса. 16 апреля Антонов получил телеграмму Ленина и Троцкого с категорическим требованием оказать всемерную и немедленную поддержку Донбассу и Южфронту вообще, так как вспыхнувшее в тылу Южфронта восстание донских станиц Вешенской и Казанской грозило развалить фронт и в дальнейшем принести еще более крупные неприятности.

Главком Вацетис в том же ключе требовал форсировать наступление Махно на Таганрог, не зная (или не желая знать), что Махно отступает и поддержать его нечем.

Получив приказ главкома, Махно отстучал Дыбенко отчаянную телеграмму, требуя «немедленной посылки каких бы то ни было вооруженных сил». Скачко меланхолически констатировал: «Махно почти не существует» (1, т. 4, 60). Весьма энергично воздействовал Владимир Ильич: «Перебросить украинские войска для взятия Таганрога обязательно тотчас и во что бы то ни стало» (1, т. 4, 59). Ленину все кажется, что распорядился – и точка. И Зимний взят.

19 апреля Скачко сообщил Антонову-Овсеенко, что на Мариупольском направлении началось общее отступление махновской бригады. Он полон самых мрачных предчувствий: «Противопоставить движению противника нечего, 3-я бригада Махно, находясь беспрерывно более трех месяцев в боях, получая только жалкие крохи обмундирования и имея в придачу таких ненадежных соседей, как 9-я дивизия, совершенно истощилась» (1, т. 4, 57). Антонов-Овсеенко, в свою очередь, передавал вверх по инстанциям: «Из оперативных сводок… ясно положение: бригада Махно своим наступлением оттянула на себя корпус

Шкуро и теперь разбита, как и 9-я дивизия. Все, что возможно, снимается с Киевского и Одесского направления; но и это дела не поправит, если не разовьется наступление восьмой армии…» (1, т. 4, 57).

К счастью для красных, у белых тогда еще не было сил для развития глубокого наступления. Конный налет Шкуро был лишь пробой сил, разведкой боем, по которой, правда, можно было бы сделать и кое-какие выводы о замыслах белой ставки. Антонов-Овсеенко, который позднее впал в немилость за то, что Деникин проломил его фронт, в своих «Записках о Гражданской войне» все же считал принципиально важным отметить, что не его войска в апреле дали слабину и что если бы их поддержали – не дрогнули бы и в мае: «Факты свидетельствуют, что утверждения о слабости… района Гуляй-Поле, Бердянск – неверны. Наоборот, именно этот угол оказался наиболее жизнеспособным из всего Южного фронта… И это не потому, конечно, что здесь мы были наилучше в военном отношении сорганизованы и обучены, а потому, что войска здесь защищали непосредственно свои очаги… Махно еще держался, когда бежала соседняя 9-я дивизия, а затем и вся 13-я армия…» (1, т. 4, 311).

Фронт стабилизировался, однако отношение большевиков к Махно сразу изменилось. После того как победоносный партизан вышел из боев битым, разом как-то всколыхнулась вся та муть, которая в виде донесений от партийных деятелей и чекистов давно накапливалась вокруг его имени. То вдруг поступали тревожные сведения, что Махно засылал делегатов к Григорьеву договариваться о совместном выступлении против большевиков, то выпирало что-нибудь из области самовольных захватов, и, хотя все знали, что бригада живет на подножном корму и получает жалованье лишь на половину своего состава, опять выходило, что Махно грабитель более грабительский, нежели Дыбенко или Григорьев. Потом, наконец, были же сведения: махновцы упрямо не дают создавать в своем районе комитеты бедноты, и товарищи партийцы жалуются, что никакой возможности работать им в махновском районе нету. То, что большинство товарищей просто праздновали труса, опасаясь сунуться в войска или в деревню, где не было понятливого пролетария, а сплошь был проклятый единоличник, – в расчет, видимо, не шло. И когда, поопомнившись от разгрома, командиры драпанувших полков девятой дивизии по принципу «вали на соседа» обвинили махновцев в том, что это они развалили фронт, тыловикам почему-то тоже очень верилось (как верится до сих пор некоторым историкам), будто махновцы бежали впереди всех, фронт разлагали, издевались над красноармейцами, срывая с них

красные звезды, резали коммунистов за то, что те не позволяли им грабить… По тылу прошла жуть: что же это там, в партизанском краю, творится? Слухи ползли один страшней другого.

Но ведь мы можем дотошливо вгрызться в неудобные свидетельства и ситуацию перевернуть, и тогда выяснится, например, что хлебозаготовки в махновском районе шли довольно успешно, крестьяне добровольно продавали хлеб и ерепенились только там, где заготовкам «помогали» продотряды и чекисты. Тогда же вдруг явится нам мысль и вовсе крамольная —что не товарищам-партийцам тяжко работалось в партизанских рядах, а что попросту не было таких партийцев, которые выразили бы не то что желание, а хотя бы большевистскую готовность в эти ряды внедриться. Большевики насаждали свою власть в тылу – это факт. А вот на фронте…

Степан Дыбец, член бердянского ревкома, рассказал Александру Беку очень важный для нас эпизод о том, как назначенный к Махно начальником штаба Озеров упрашивал его съездить с ним вместе на фронт:

– Тебе, Дыбец, это выгодно. Наживешь политический капитал в войсках. Посмотришь, как наступают, и будешь мне помогать… (5, 53).

Дыбец, как дисциплинированный партиец, справился в уездном комитете партии: стоит ли? Там решили: стоит. «…Надо показать, что большевики не страшатся идти в бой, делят судьбу фронтовиков» (5, 53). Показать надо…

Тем не менее Степан Дыбец, появившийся под огнем в красных революционных сапогах, привезенных из Америки, где он эмигрантствовал еще как анархист, снискал себе среди партизан добрую славу: «Дыбец, бывший анархист, а ныне коммунист, пуль не боится, будет драться вместе с нами, привез белье, – значит, наш брат, к нему можно апеллировать, ходить к нему, как к своему коммунисту» (5, 55). Много ли их было, таких «своих»?

Еще красноречивее об отношениях между партийными «верхами» и партизанскими «низами» свидетельствует другой факт: перед наступлением Озеров принес Дыбецу рапорт на имя Дыбенко – просил патронов – и молил тоже подписать: «Дыбенко моему рапорту вряд ли поверит. Ты же теперь – большевик. Добавь от себя несколько слов. Подтверди мою бумагу» (5, 52).

Если не верили, что на войне нужны патроны, то понятно ли, чему верили, дорогой читатель?

Однако у большевиков были и реальные поводы попристальнее приглядеться к Махно: десятого апреля состоялся третий по счету районный съезд махновских вольных советов.

Крамола на нем, безусловно, прорвалась в виде неодобрения продразверстки, но в целом съезд был деловой, речь шла о мобилизации на фронт десяти мужских возрастов (годы рождения с 1889 по 1898-й), и в этом смысле мероприятие могло бы даже рассматриваться как прямое исполнение указаний Антонова-Овсеенко о формировании отрядов на местах перед лицом белой опасности. Но Дыбенко это почему-то взорвало. Он разразился телеграммой: «Всякие съезды, созванные от имени распущенного, согласно моему приказу, Военно-революционного штаба, считаются явно контрреволюционными, и организаторы таковых будут подвергнуты самым репрессивным мерам вплоть до объявления вне закона. Приказываю немедленно принять меры к недопущению подобных явлений. Начдив Дыбенко» (1, т. 4, 108). Получив телеграмму, делегаты съезда, которые претендовали выражать интересы двух миллионов крестьян края, приняли резолюцию протеста. По сути дела, это была первая попытка большевиков наложить лапу на «вольные советы».

Между тем и сам Дыбенко заодно с Махно попал в щекотливое положение, будучи обвинен в незаконном захвате 90 вагонов муки и фуража, предназначенных для рабочих Донбасса. Потянулось следствие. «Дыбенко вышел совершенно чист; вина Махно оказалась не столь уж значительной, ибо было задержано им небольшое количество грузов ввиду совершенно исключительной обстановки», – констатировал Антонов-Овсеенко (1, т. 4, 102). Тем не менее и через две недели, когда на Украину в качестве чрезвычайного уполномоченного Совета обороны прибыл член большевистского ЦК Л. Б. Каменев, тыловые чинуши самого высокого ранга упрямо ему твердили о том, что в продовольственном вопросе за действия Махно и Дыбенко поручиться не могут. Тут же, как это испокон веку делалось на Руси, вновь решено было создать «для обследования действий» каждого из них специальные комиссии, собрав предварительно имеющийся у наркомпрода и наркомвоена обвинительный материал.

Под фронтовиков, обесславивших себя неудачами, определенно велся подкоп. Это с болезненной остротой военного человека почувствовал командующий Второй армией Скачко и имел мужество телеграфировать Антонову-Овсеенко лично:

«Мелкие местные чрезвычайки ведут усиленную кампанию против махновцев, и в то время, как те проливают кровь на фронте, в тылу их ловят и преследуют за одну только принадлежность к махновским войскам. Глупыми, бестактными выходками мелкие чрезвычайкомы определенно провоцируют махновские войска и население на бунт против советской

власти… Так дальше продолжаться не может; работа местных чрезвычаек определенно проваливает фронт и сводит на нет все военные успехи, создавая такую контрреволюцию, какой ни Деникин, ни Краснов никогда создать не могли». Скачко предложил упразднить мелкие ЧК и передать их функции особым отделам при командарме. «В случае отказа я буду вынужден провести эту меру в пределах своей армии собственной властью, и пусть меня тогда вешают, как бунтовщика, ибо я предпочитаю лучше быть повешенным, нежели смотреть, как все завоевания Красной армии сводятся на нет глупостью» (1, т. 4, 102).

Скачко был человек умный и честный, ему недолго оставалось командовать армией, ибо в сферах политики более высокой по каким-то причинам решили существа дела не разбирать, а для отчетности найти виноватого.

На соцзаказ, как всегда, первой откликнулась чуткая партийная пресса. Едва стабилизировался фронт, как в лицо повстанцам со страниц главной газеты советской Украины – харьковских «Известий» – были выплеснуты слова: «Долой махновщину!»

Махно опять обвинялся в мелкобуржуазности, растленной, как венерическая болезнь, и, соответственно, в разлагающем влиянии на Красную армию и развале фронта.

Помянув махновский съезд, автор передовицы требовал положить конец «безобразиям», творящимся в «царстве Махно», а для этого – слать в район агитаторов, «вагоны литературы», инструкторов по организации советской власти. Готовилась широкомасштабная идеологическая экспансия. К слову сказать, что творится в «царстве Махно» – никто не знал, ибо ни один пропагандист не бывал там. Но, как нередко бывает в таких случаях, это не имело никакого значения.

Одновременно в штабе Южфронта окончательно решили реорганизовать партизанскую бригаду Махно в регулярную советскую дивизию и для этого первым делом сместить Махно с должности командира и заменить его неким товарищем Чикванайя. Как примет это Махно, было неизвестно. Боялись восстания. Сокольников из штаба Южфронта намекал Антонову-Овсеенко: «…В связи со сдачей Мариуполя, поражением-бегством бригады Махно, не сочтете ли подходящим моментом убрать Махно, авторитет которого пошатнулся?» (1, т. 4, 103). Антонов-Овсеенко отмалчивался. Ему докладывали, что бригада Махно опасно разрослась и давно уже превзошла по численности дивизию, что при нем состоят «многочисленные банды» анархистов, и все местные учреждения, вплоть до уездного центра Александровска, переполнены анархистами и левыми эсерами. Но

он знал также, что половина передаваемых ужасов – преувеличение, если не ложь, – и что одно неловкое движение может вызвать взрыв и пожар почище тех вспышек, что тут и там возникали на Украине в виде разрозненных крестьянских восстаний.

Антонов-Овсеенко решил лично ехать в войска всех трех знаменитых полководцев начала девятнадцатого года, с каждым лично повидаться и поговорить. Ему нужны были Григорьев, Дыбенко, Махно. Поездка эта полна драматизма и той динамики, которая делает рассказ о ней похожим на киносценарий: вот мизансцена общего плана, вот – среднего, вот – крупного…

У Григорьева командующий фронтом побывал буквально накануне мятежа. Собственно говоря, что-то уже творилось с его дивизией, что-то начиналось: двинутые из-под Одессы на отдых домой части вели себя вызывающе, громили станции и отделы ЧК, зачем-то издевались над станционным персоналом, а то и сцеплялись между собой, но все это, растянутое по лентам железных дорог, еще не имело политического смысла и названия и пока что вписывалось в общий контекст безобразий, сопровождающих продвижение любой армии. Григорьев встретил Антонова-Овсеенко в своей «столице» Александрии с оркестром, почетным караулом, почтительным рапортом. Осмотр войск и войсковых мастерских на комфронтом произвел наилучшее впечатление. Съездили в соседнее село Верблюжку, которое выставило на фронт четырехтысячный полк. Загорелые, крепкие солдаты полка, обутые в «подобие обуви», жадно слушали слова про мировую революцию и советскую власть, отозвались мощным «ура». Но когда кто-то из сопровождавших Антонова-Овсеенко произнес слово «коммуна», полк взорвался такой злобой, что насилу удалось унять. Антонов в тот же день телеграфом недвусмысленно предупреждал Раковского: «Население провоцировано действиями продотрядов. Сначала организуйте местную власть, потом выкачивайте хлеб. Части Григорьева и он возбуждены до крайности… Категорически заявляю вам, как главе правительства: политика, проводимая на местах, создает обиду, возбуждение против центрвласти вовсе не одних кулацких, а именно всех слоев населения» (1, т. 4, 83).

Григорьев не скрывал своего раздражения: «За что воюем?» Антонов-Овсеенко вынужден был убеждать, что виноват не центр, а местный идиотизм, но слова звучали вроде бы не совсем убедительно, и от его внимания не ускользнуло, что Григорьев проговорился о необходимости «миром поладить» с восставшими казаками верхнего Дона, которые к тому времени еще не попали в орбиту влияния Деникина и вместе с примкнувшим к ним 204-м

красным полком вели партизанские бои против советских войск независимо от белых. Он принимает решение не бросать дивизию Григорьева в сторону Дона, в помощь Махно, а двинуть ее на запад – на Румынию, Венгрию, подальше от проклятых вопросов внутренней политики – к чести и славе, богатым трофеям и винным погребам, наградам и почестям, причитающимся будущему предводителю восстания мирового пролетариата…

Никифор Григорьев был честолюбив, и Антонов-Овсеенко знал это. В последнем разговоре наедине, твердо глядя в глаза атаману, он сказал: «Смотрите, в союзе с Советской властью вы одержали победы мирового смысла, прославили свое имя. Дорожите этим именем. Не поддавайтесь шептунам-предателям. Вы можете новыми великими делами войти в историю».

Григорьев задрожал, но выдержал взгляд командующего фронтом. Потом воскликнул: «Решено! Верьте! Я с вами до конца. Иду на румын. Через неделю буду готов… Только дайте больше работников и обуви…» (1, т. 4, 84).

Работников толковых Григорьеву не прислали, обуви, по-видимому, тоже. Через неделю дивизия полыхнула мятежом на пол-Украины…

Из Александрии путь Антонова-Овсеенко лежал в Симферополь, к Дыбенко. Тут обстановка была поспокойнее: решался вопрос о создании Крымской советской республики со своим правительством, куда Дыбенко – явно невтерпеж ему было – метил наркомвоенмором. Вопрос о подкреплениях Махно решился отрицательно: Дыбенко не дал, напротив, грозился забрать приданные Махно части своей дивизии для добивания последних белогвардейцев под Феодосией…

Из Крыма поезд Антонова-Овсеенко покатил прямиком в Гуляй-Поле. Ни один из начальников подобного ранга еще не осчастливливал городок своим визитом. Можно с уверенностью сказать, что если бы не мужество Антонова, сунувшегося в самое махновское логово, никто бы так и не побывал у Махно – прежде всего не состоялся бы скоро воспоследовавший визит Каменева, – и мы до сих пор судили бы об обстановке в Гуляй-Поле того времени исключительно по ужасающим слухам, которые вокруг него циркулировали.

Первые впечатления, правда, легли довеском к тому «негативному», которого и так было предостаточно. 28 апреля в Пологах к поезду командующего фронтом приблизилось несколько человек в сильной взволнованности – это были комиссары, бежавшие от Махно. Говорили, что Махно готовится арестовывать коммунистов и поворачивать штыки против советской власти. Вообще, предчувствие грозящей измены,

какого-то грандиозного восстания, близкие приметы которого мерещились всюду, смертной тоскою точили сердца партийцев. Мятеж мерещился всем, мятежа ждали, мятежом сочилась деревня, еще не раздавленная, не выжженная войной, еще полная сил, но уже уставшая от первых большевистских упражнений. Антонов-Овсеенко чувствовал настроения и ситуацию лучше, чем кто бы то ни было. Он знал Украину, он давно, с 1918 года еще, имел дело с партизанами. Махно, Маруся Никифорова, Гарин – эти имена для него, в отличие от киевских, харьковских и московских вождей, имели смысл и значение. За этими именами стояли люди и войска – его войска.





Дом семьи Махно (Михненко) в Гуляйполе.


МЕТРИЧЕСКОЙ КНИГИ ПА 1888

Запись в метрической книге о рождении Нестора Махно.




Браться Махно – Карп и Емельян.



Нестор Махно в 1906 году.



Гуляйпольская группа анархо-коммунистов в 1907 году. Махно – первый слева.



Книга № 624

Поступил въ тюрьму 24 Декабря 1910 года

ДѢЛО

КОНТОРЫ Екатеринославской Губернской Тюрьмы

По Екатеринославскому производству:

Имя Нестор, отчество Иванов

фамилія Махно

Свѣдѣнія объ арестантѣ:

Мѣсто приписки Ку[?] сия Гуляй-Поле, тайные[?] Александровскаго у Екатеринослав[?]

Мѣсто жительства —

Семейное положеніе холостой

Грамотенъ (подпись) грамотный

Вѣроисповѣданіе Православное Лѣта 24 Приговоръ суда 12

срок 4 начало мая/тысяча девятьсот одиннадцатаго

конец тоже число тысяча девятьсот пятнадцатаго

Засчесть: по ключ. Предвар. аресту [illegible]

Когда [illegible] Куда [illegible]

Свѣдѣнія о [illegible]

Примѣчаніе Содержится

Справа Н. Махна — арештанта Катеринославської тюрми. 1910 р.

Тюремное дело Нестора Махно. 1910 год.



Бутырская тюрьма, узником которой Махно был в 1911–1917 гг.

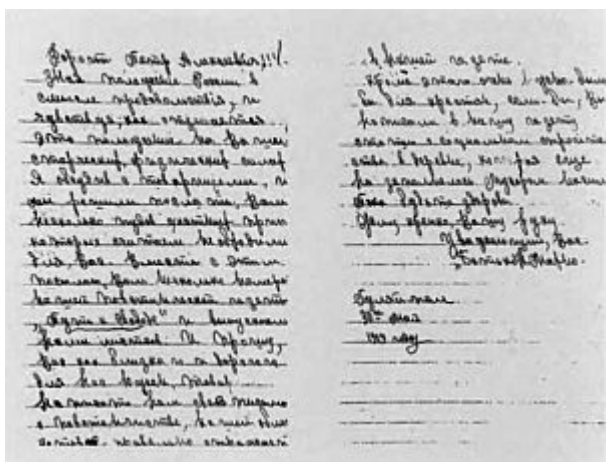


Узники Бутырки, освобожденные после Февральской революции. Махно и здесь – первый слева.





Духовные отцы Махно – М. А. Бакунин и П. А. Кропоткин.



Письмо Махно Кропоткину.



Партизанский отряд Т. Вдовиченко хоронит погибших товарищей. 1918 г.



Гетман П. Скоропадский со своим окружением.



Тачанка – боевое изобретение махновцев.



Батька со своими бойцами. 1918 г.



Штаб-квартира Махно в Гуляйполе.



Махновцы изучают проект соглашения с красными. Старобельск. 1920 г.



Н. Махно в 1919 году.



Знаменитый атаман Федор Щусь (в центре) с товарищами.



Голос Махновца

ОРГАН РЕВОЛЮЦИОННЫХ ПОВСТАНЦЕВ УКРАИНЫ (МАХНОВЦЕВ)

Историческая справка.

ОНИ И МЫ.

Проект декларации



ТОВАРИЩИ ПОВСТАНЦЫ!

С каждым днем расширяется район действий революционно-повстанческой армии. Недалек, вероятно, день, когда повстанцы выбьют от власти Деникина тот или другой город.

Это будет **город**, освобожденный повстанцами-махновцами от всякой власти. Это будет город, в котором, по примеру других революционных повстанцев, должна будет замереть вольная жизнь, должна будет начать строиться свободная организация рабочих, в единении с крестьянами и повстанцами.

Товарищи повстанцы!

Помните твердо: вся дальнейшая судьба нашего махновского движения будет зависеть от вашего поведения в занимаемых нами местностях.

Если, при занятии города или села, вы не позволите себе ряда самочинных действий, грабежей, убийств и погромов, то наше движение и наша армия приобретут громадную силу и станут непобедимыми. Далеко по России и по всему миру пойдет слава о том, что махновская армия была единственной достойной славной армией, не допустившей грабежей и насилий над мирными жителями.

Наоборот, если повстанцы, взяв город, позволят себе, подобно григорьевским и другим бандам, громить, убивать, насиловать, то это будет гибелью всего махновского движения, повстанчества.

Сочувствие и махновщина всего населения—сельского и городского—величайшая наша выгода. Наоборот, озлобление против нас со стороны населения нанесет нам непоправимый и, может, гибельный удар.

Помните твердо, товарищи повстанцы: вопрос нашего поведения в занимаемых местностях есть **вопрос жизни и смерти для всего нашего движения.**

Пусть же каждый из нас скажет себе твердо и ясно: **ни одного убийства, ни одного грабежа, ни одного насилия, ни одного самочинного обыска!** Порядок и организованность в занимаемом городе.

Товарищи! **Будьте сами честны.** От этого зависит вся наша дальнейшая судьба революции.

Образцы печатной продукции армии Махно – газета «Голос

махновца» и листовка, обращенная к повстанцам.



Один из ближайших сподвижников батьки Трофим Вдовиченко.



Командир еврейской роты армии Махно Александр Тарановский.



Начальник штаба повстанческой армии Виктор Белаш.



Федор (Феодосий) Щусь.



Известный махновский командир Лев Задов (Зиньковский).



Партизаны-махновцы. 1919 г.



Батько Махно на вершине популярности.



Знамя одного из махновских отрядов.

Выслушав комиссаров, Антонов отправил Махно телеграмму, предупреждающую о визите. Аппарат в штабном вагоне вскоре отстучал ответ: «На вашу телеграмму № 775 сообщаю, что знаю вас как честного, независимого революционера. Я уполномочен от имени повстанческо-революционных войск… просить вас приехать к нам, чтобы посмотреть на наш маленький, свободно-революционный Гуляй-Поле – „Петроград“, прибыв на станцию Гуляй-Поле, где будем ждать с лошадьми» (1, т. 4, 109).

В этом ответе умиляют своеобразная чопорность – «от имени…» – и ежистая независимость. Петроград сравнил с Гуляй-Полем – не для того, чтобы противопоставить, а для того, чтобы сопоставить: и здесь, и там в свое время пробил час народной свободы. Мы независимы и свободны так же, как и вы.

29 апреля на станции Гуляй-Поле командукра встретила тройка. В селе выстроенные во фронт войска грянули «Интернационал». Навстречу Антонову вышел «малорослый, моложавый, темноглазый, в папахе набекрень, человек. Отдал честь: комбриг батько-Махно. На фронте держимся успешно. Идет бой за Мариуполь» (1, т. 4, ПО).

Конечно, инспекция Антоновым-Овсеенко бригады Махно была поверхностна – он многого не успел увидеть, почувствовать здесь, как и в дивизии Григорьева, которую покинул, все-таки, с ошибочным впечатлением, что Григорьев «не выдаст», пока будет удовлетворено его честолюбие. Но Махно командующий знал

дольше, Махно был понятнее: таких, как он, командиров-анархистов у Антонова немало было в восемнадцатом году…

Обходя строй формирующегося в Гуляй-Поле полка, Антонов-Овсеенко отмечал про себя: одеты кое-как, но вид бодрый. В штабе чувствуется рука спеца – Озерова, посланного к Махно начальником штаба. Выслушав доклад о положении на фронте, где разгромленная бригада вновь контратаковала и пробивалась к Мариуполю, Антонов зафиксировал: Махно обнаруживает как будто «значительную упругость». Выслушал жалобы: ни винтовок, ни патронов. Заговорили об отступлении. Разгорячась, Махно понес на соседей: девятая дивизия панически настроена, ее командный состав – белогвардейцы! (1, т. 4, 111). Антонов-Овсеенко, пользуясь поворотом разговора, возразил, что, по докладам командиров девятой, сами махновцы обнаруживают неустойчивость и антисоветские настроения. Это вызвало недоумение: «повстанцы уважают красную звезду». Побледневший Махно как доказательство предъявил фронтовое донесение: «Бежала соседняя девятая и погиб, окруженный, не сдаваясь, наш полк у Кутейникова» (1, т. 4, 111). Разговор пошел уже не обиняками:

– Изгоняли политкомиссаров?

– Ничего подобного! Только нам надо бойцов, а не просто болтунов. Никто их не гнал. Сами поутикали… (1, т. 4, 112).

Эти батькины слова сурово подтвердил политкомиссар бригады.

Махно просил оружия. За все время союза с Красной армией бригада, по непонятным причинам, получила от Дыбенко только три тысячи винтовок, причем итальянских, к которым ни русские, ни немецкие патроны, бывшие в ходу на Украине, не подходили. Теперь, за израсходованием патронов, эти винтовки превратились в тяжелое и неудобное холодное оружие. Все остальное вооружение, в том числе и орудия, добыто с бою…

После штабного совещания Махно показал командующему любимое село: три школы, «деткоммуны», госпитали, где на тысячу раненых не было ни одного профессионального, опытного врача. Школами и детсадами, как это ни смешно, заведовала в Гуляй-Поле Маруся Никифорова, прима-анархистка 1918 года, которую Махно отстранил от ведения военных операций. Видел Антонов-Овсеенко и еще кое-кого из приближенных: по-видимому, темной осталась для него лишь деятельность махновской контрразведки да анархического Культпросветотдела (что-то вроде политуправления бригады), но всего успеть увидеть он не мог.

Читателя, вероятно, заинтересует контрразведка, навсегда

соединившаяся в исторической памяти с фигурой Левки Задова. Но организовал контрразведку не он, а анархист-набатовец Черняк, появившийся в Гуляй-Поле в январе 1919 года вместе с Белашом, после того как тот приезжал для переговоров с большевиками в Харьков. Черняку мирная пропагандистская работа была не по нутру, его тянуло к романтике прежней суровой и беспощадной жизни подпольщиков-боевиков, и он еще в 1918 году попытался в новых условиях реализовать подходящий ему modus vivendi, организовав контрразведку при одном из красногвардейских штабов, в котором – мир тесен – был и знаменитый разгонщик Учредительного собрания матрос Анатолий Железняков. Здесь же встретился ему и юзовский анархист Лева Зиньковский – огромный улыбчивый рыжий детина необыкновенной физической силы, бывший каталь доменного цеха, который, собственно, и был Левкой Задовым. Потом они вновь повстречались уже у Махно, куда Лева привел и своего брата, совсем юного еще, девятнадцатилетнего Даниила, которого ласково звали Данько. Вообще, обоих в батькином войске любили за бесстрашие, настоящую воинскую хитрость, верность и доброту. Лева очень привязался к Махно и весь последний год, когда тот не вылезал из болезней, причиняемых ранами, ходил за ним, как родная мать и, бывало, в буквальном смысле слова носил на руках.

Черняк же у Махно сплотил вокруг себя группу горячих молодых людей, каждый из которых потом в полной мере реализовался как бескомпромиссный романтик террора: Яша Глагзон после разгона штаба Махно пробрался в Москву и стал эксистом у «анархистов подполья», которые, борясь с диктатом большевиков, совершили осенью 1919-го знаменитый взрыв Московского комитета партии в Леонтьевском переулке, надеясь убить Ленина, который вроде бы должен был присутствовать на заседании, но не пришел. Хиля Цинципер из контрразведки Черняка у «анархистов подполья» был печатником – следовательно, он на даче в Краскове и набрал листовочку «Правда о махновщине»; дачу потом, когда накрыли организацию, сожгли, но Хилю взяли живым. Один из его подельщиков, Михаил Тямин, сидя на Лубянке, написал пространные показания, где пытался объяснить следствию трагизм положения, при котором революционеры вынуждены разговаривать друг с другом на языке динамита, и, много внимания уделив ужасающему вырождению «делателей революции», умолял чекистов помиловать и освободить Цинципера и еще пять человек, как чистых и искренних борцов за народное дело, уверяя, что эти пятеро еще сделают для революции больше, чем сотни «чистеньких»

карьеристов. Просьбе его не вняли: «анархисты подполья» слишком уж многое себе позволили—взрывом было убито 12 человек, 55 пострадало, среди них – Н. И. Бухарин, раненный в руку. «Анархисты подполья» пытались большевистский государственный террор перешибить плетью своего самопального террора, применяя против советских чиновников те же методы, что и против сановников царского режима. Взрыв объявлялся началом третьей революции, за первым ударом были обещаны новые: «С большевиками мы ведем борьбу… пока власть не уничтожит нас или мы не уничтожим власть…»

При такой постановке вопроса «анархистам подполья» нечего было рассчитывать на пощаду. Все подпольщики были, безусловно, романтиками, но это был тот чудовищный, бесплодный, презрительный к человеческой жизни романтизм обреченных – и, более того, зачарованных своею скорой смертью людей, – который других людей, с более здоровыми инстинктами, заставляет от таких держаться подальше, чураясь их, как бесноватых. Декларацию «анархистов подполья» – ответ на политику «красного террора» – читать по-настоящему страшно: это апология тотального разрушения, песнь смерти, написанная людьми, не способными ни к каким компромиссам и готовыми ради человеческого братства и солидарности дойти до крайности разрушения и «пожарищ новой революции».

Левка Задов был не из таких. Он был проще, здоровее. Родился он в семье бедного еврея, имевшего восьмерых детей и две десятины земли. После того как отец, перебравшись в Юзовку, умер, двадцатилетний Лева, в ту пору уже поступивший на металлургический завод, решил, что жизнь несправедлива к нему, и вступил в анархистскую группу. За ряд экспроприации он прямиком попал на каторгу, откуда, как и Махно, был освобожден всеобщей политической амнистией 1917 года. Но, вернувшись домой, он не стал бунтовать, а снова пошел на завод, и, пожалуй, если б не революция, то к прежнему бы делу Задов не вернулся: не было в нем того запалу, что был в Махно, и злости не было – выдумка это Алексея Толстого, такая же выдумка, как и придурочный Махно в картузе на велосипедике.

В 1921 году Лева с братом ушел вслед за Махно в Румынию, но через три года от тоски вернулся и стал служить в одесском ГПУ, где, благодаря своей толковости, продвинулся в должностях и от «сотрудника для поручений» дослужился до высокого чина в разведке. В 1937-м его вместе с братом арестовали, в 1938-м – расстреляли за «шпионаж». В автобиографии, подшитой к следственному делу, Лев Николаевич Задов сообщил о себе еще следующие сведения:

«…В 1917 году по возвращении из каторги поступил снова на завод в доменный цех, где работал до апреля 1918 года, т. е. до прихода немцев на Украину…

В сентябре м-це от рабочих дом. цеха был избран в Совет рабочих, крестьянских и солдатских депутатов, каковым я состоял до отступления партизанских отрядов из Украины.

В декабре 1917 или в январе 1918 г. вступил добровольно в партизанский отряд, именуемый тогда Красной Гвардией, и участвовал в боях во время налетов донских казаков на Донбасс.

В апреле 1918 г. во время прихода немцев отступил с красногвардейским отрядом под руководством анархиста Черняка. Отступали мы до гор. Царицына.

Под Царицыным наш отряд, как и большинство анархистских отрядов, был разоружен, но в течение 8—10 дней наш отряд был снова вооружен и брошен на фронт в районе станицы Потемкинской – против казачьих банд генерала Краснова…

В августе м-це 1918 года к нам в отряд прибыло распоряжение из Царицына о том, чтобы именоваться Красной Армией, были присланы деньги для выплаты зарплаты, где мне, как начальнику штаба боевого участка, полагалось 750 руб., а красноармейцу рядовому – 50 р. Я, как анархист, с этим положением не согласился и с согласия Черняка выехал в Козлов в штаб Южного фронта. Откуда был направлен на Украину для ведения подпольной работы.

По приезде на Украину я связался с атаманом Махно, у которого я и остался до 1921 года, т. е. до момента ухода в Румынию.

Во время моего пребывания в махновских бандах я занимал следующие командные посты: помкомполка, начальник контрразведки 1-го Дон. корпуса, был комендантом так называемой Крымской группы во время ликвидации Врангеля, членом штаба армии и адъютантом…»[10]

Вообще, Лева Зиньковский прославился именно как человек исключительно военной хитрости, разведчик. К делам контрразведки, которыми занимался сначала Черняк, а потом Голик и Попов, он напрямую причастен не был. В принципе, контрразведка при штабе бригады создана была для раздобывания военной информации, но все время за ней волочился хвост каких-то дел то вроде бы корыстного, то полицейского, поднадзорного свойства. Во всяком случае, слухи, окружавшие этот орган революционной самодеятельности народа, были ничуть не лучше слухов, окружавших обыкновенно ЧК. Член повстанческого штаба Алексей Чубенко, прибыв в занятый махновцами Мариуполь, по собственному признанию,

был больно шокирован беспрерывными разговорами о махновской контрразведке: «Одни говорили, что их обобрали, другие, что кого-то убили, третьи, что кого-то изнасиловали…» (39, 196). Тут требуется только одна существенная оговорка – свои признания о махновщине Алексей Чубенко, как и Виктор Белаш, делал за столом следователя в ЧК, и впоследствии советская пропаганда еще неимоверно раздула их.

Впрочем, возвращаясь к нашей теме, контрразведкой Антонов-Овсеенко не занимался. Ему нужно было убедиться, что Махно не изменит и фронт выстоит. Визит, в духе командующего, закончился мужским разговором с глазу на глаз. Комфронтом прямо спросил Махно – не было ли у того переговоров с Григорьевым насчет побунтовать? Махно убежденно отрицал. Антонов-Овсеенко сказал, что в штабе Южфронта есть соображения подчинить бригаду комдиву Чикванайя. Махно спокойно воспринял это известие, хотя и понял, что оно означает: ему не доверяют командовать более, чем бригадой. Антонов-Овсеенко прямо посмотрел в глаза комбрига (у Махно был неприятный, очень «тяжелый» взгляд, но из этой дуэли комфронтом вышел победителем). Махно заверил:

– Пока я, Махно, руковожу повстанцами, антисоветских действий не будет, будет беспощадная борьба с буржуйными генералами… (1, т. 4, 113).

Поздно вечером, уехав из Гуляй-Поля, Антонов-Овсеенко телеграфировал в Харьков: «Пробыл у Махно весь день. Махно, его бригада, весь район – большая боевая сила. Никакого заговора нет. Сам Махно не допустил бы. Район вполне можно организовать, прекрасный материал, но нужно оставить за нами, а не за Южфронтом. При надлежащей работе станет несокрушимой крепостью. Карательные меры – безумие. Надо немедленно прекратить начавшуюся газетную травлю махновцев…» (1, т. 4, 113).

По этому же поводу – в редакцию харьковских «Известий»: «Статья полна фактической неправды и носит прямо провокационный характер… Махно и его бригада… заслуживают не руготни официозов, а братской признательности всех революционных рабочих и крестьян…» (там же, 114).

Командующему 2-й Украинской армией Скачко было приказано выделить для бригады деньги, обмундирование, шанцевый инструмент, хоть полштата телефонного имущества, походные кухни, патроны, врачей, перевязочные средства, один бронепоезд на линию Доля—Мариуполь…

Можно с уверенностью сказать: никогда еще Махно не был так заинтересован в союзе с большевиками, как после визита

Антонова-Овсеенко. Никогда еще ни с кем из них у него не устанавливалось товарищеских отношений на таком уровне. Он ждал помощи, которая свидетельствовала бы и еще об одном: доверии к нему.

Но ровным счетом ничего, о чем просил Антонов-Овсеенко, не было сделано.

Газетная травля махновцев не прекратилась.

Бригаду оставили в составе Южфронта, хотя одновременно Ленин, обладавший иезуитской хитростью, категорически предписывал ответственность за войска Махно взвалить именно на Антонова-Овсеенко лично, советуя ему быть с партизанами дипломатичным «временно, пока не взят Ростов». Ленин был уверен, что победа близка, но что значит – «временно»? Что замышлялось? Факт: оружия махновцы тоже не получили. С ними вышла совершенно та же история, что спустя двадцать лет повторилась с анархистами в Испании, которых тоже из различных опасений держали на голодном оружейном пайке, пока не выяснилось, что они стоят на направлении главного удара генерала Франко. Главного удара Деникина ждали на Царицын, где окопался Сталин, думая, что белые будут пробиваться на Волгу на соединение с Колчаком, – а он ударил на Махно, рванулся через Украину к Москве, и вот тогда-то морально избиваемый командарм-2 Скачко и проговорился, оправдываясь, что не снабжали Махно нарочно и, значит, на убой людей тысячами слали нарочно, думая, что сойдет: «…Еще при образовании бригады Махно… были даны ей итальянские винтовки с тем расчетом, чтобы в случае надобности имелась возможность оставить их без патронов…» (1, т. 4, 306).

Ан не сошло! История заставляет платить по всем счетам.

«Лучшие кадры политработников», которых мечтал послать к Махно Антонов-Овсеенко, также остались мечтанием. Пробирались к Махно только анархисты и левые эсеры. Поскольку в России деятельность анархистских групп, претендовавших более чем на клубную работу, была почти повсеместно запрещена, в район Гуляй-Поля потянулись люди, охочие до живого дела. Первыми докатились, естественно, боевики, которые, будучи элементом не нужным в мирной советской жизни, искали случая вновь испытать себя в насилиях и пирах, которыми сопровождается слом старого мира. Это по их части следует записать великолепно написанную И. Тепером сцену в бердянском борделе, когда, наблюдая пьяный дележ проституток, Махно не выдержал и с омерзением начал стрелять и в девок, и в «единомышленников». Но таких анархистов было меньше, чем принято думать, отношение Махно и его штаба к ним было

отрицательное, особенно после того, как приехавшая в Гуляй-Поле ивангородская группа попыталась взломать и ограбить бригадную кассу.

Конфедерация «Набат» из Харькова наблюдала за Махно с сочувствием, но открыто своих симпатий не выражала: Махно им казался слишком уж просоветским явлением, и до того, как его выставили вне закона, чувства набатовцев клонились скорее к Григорьеву, который был и резок, и остер на язык. Правда, несколько человек из «Набата» присоединились к штабу повстанцев и работали пропагандистами. Из Петрограда к Махно приехал Михалев-Павленко, – Аршиновым охарактеризованный как необыкновенной души юноша-идеалист. В отличие от большинства анархистов он занимался не пропагандой, а войной, организовал инженерные части бригады и стал поистине любимцем Махно. Его казни большевикам и Ворошилову лично Махно никогда не простил: любовь батьки была слепа, как и ненависть его. В апреле в Гуляй-Поле из Москвы прибыл сам Аршинов, учитель. Письмо Махно побудило его покончить с застоявшейся жизнью столичных политических кружков и связать свою судьбу с восставшим народом.

Аршинова называют злым гением Махно, подразумевая под этим то, что, не будь его, Махно в конце концов подпал бы под влияние большевиков и стал бы нормальным красным комбригом или даже комдивом, заслужил бы ордена, как Котовский, чтобы потом вовремя, до начала чисток и репрессий, умереть от ран или, что еще лучше и героичнее – пасть на поле брани, замешав свою кровь в раствор, цементирующий фундамент партийной диктатуры…

Все это очень сомнительно. Во-первых, Махно сам был убежденный, идейный анархист, сторонник «вольных советов», и никакого влияния большевизма он, надо прямо признать, не испытывал, а то, что он чувствовал личное уважение к Антонову-Овсеенко, – целиком человеческая заслуга последнего. Во-вторых, судьба Махно была предопределена не им и не Аршиновым, а большевиками: оказавшись «не той» политической фигурой на направлении главного удара Деникина, отвратить который его войска в силу уже известных нам причин не могли, он обречен был стать козлом отпущения.

Допуская в историю сослагательное наклонение, мы вынуждены будем сделать слишком много оговорок, чтобы вывести столь неудобную фигуру, как Махно, на благополучный путь красного командира: он мог бы стать им, лишь оказавшись участником победоносного похода, при условии политической терпимости союзников и благоразумной (хотя бы в рамках нэпа)

внутренней политики властей у себя в тылу. Поскольку все эти допущения, как нам известно, не реализовались, путь Махно иным быть не мог. Однако, прежде чем его звезда красного комбрига закатилась окончательно, ей суждено было блеснуть светом обманчивой надежды еще один раз. В начале мая в Гуляй-Поле приехал Каменев.

Лев Борисович Каменев прибыл на Украину еще в конце апреля в качестве верховного экспедитора по продовольствию, которому поручено было разобраться: почему так трудно, скупо и спазматически-порционно поступает в центр хлеб из богатых пшеничных губерний Поволжья и Украины, откуда должен бы течь рекой? Из Поволжья экспедиция вырвала около трех миллионов пудов продовольствия, в основном за счет проталкивания застрявших по железным дорогам грузов и водворения порядка в погрузочной бестолочи. Каменеву, как и большинству большевиков, находящемуся под обаянием идеи о совершенном государстве, где все будет производиться и потребляться сознательно и по плану, до слез обидно, что хлебозаготовки правительства нейдут как надо. О «бессознательном» в экономике – используя терминологию Фрейда, – о тайных приводах экономической жизни он не то чтобы не догадывается, он вытесняет саму мысль об этом, объясняя неудачи саботажем, а не тем, что, разгромив рынок, партия отдала продовольственное дело в лапы двух кафкианских монстров – Наркомпрода и Наркомата путей сообщения. Характерна телеграмма Ленину: «…Во всем деле перевозок отсутствие даже мысли об общем плане единого хозяина. Никакой согласованности между отправителем груза, губпродкомом и хозяином железной дороги не существует. Каша, бестолочь, безответственность…» (89, 119).

Прибыв из Поволжья на Украину, Каменев и здесь пытается поправить дело исключительно увязкой действий центральных, местных и армейских заготовительных органов. Ему кажется возможным поручить все заготовки Наркомпроду, который потом сам раздаст и Москве, и армии, и местному населению сколько нужно. О том, что это типичная бюрократическая утопия, мысли нет. О том, что во время войны из этого может вырасти все, вплоть до бунта, – тоже. Поэтому действия махновцев, оцепивших своей охраной эшелон с хлебом, уже оцепленный охраной Наркомпрода, кажутся ему исключительно преступными и вызывают раздражение:

– Тогда эта самая Советская власть к чорту годится, если Махно ей не подчинится… Нет, нужно играть начистоту, это все пустяки, они подчинятся… (89, 132).

Постепенно, однако, до Каменева доходило, что все не так просто. Глупо, глупо ведь, проводя в деревне строгую классовую линию, раздавать драгоценную, предназначенную в обмен на хлеб мануфактуру бедноте: что беднота даст? Глупо выколачивать хлеб из крестьян более зажиточных прикладами продотрядов – озлобятся. На совещании в Мелитополе он своим именем благословляет продработников на смягчение линии: «Чорт с ним, с богатым, пусть получает товар, нам нужен хлеб во что бы то ни стало» (89, 129).

Хлебозаготовительная деятельность Каменева прервалась началом деникинского наступления; белые взяли Луганск; Ленин назначил Каменева уполномоченным Совета обороны и просил находиться в районе боевых действий в Донбассе. Тут-то, по-видимому, ему и явилась мысль вслед за Антоновым-Овсеенко проинспектировать тот самый «слабый» участок фронта, о котором было столько разговоров, – район бригады Махно.

Безымянный летописец экспедиции большевистского вождя оставил нам интересное описание этой поездки – тем еще любопытное, что в нем сквозит неподдельное удивление увиденным городского человека, далекого от жизни революционных низов.

Рано утром 7 мая поезд экспедиции, с крепким отрядом и основательно вооруженный пулеметами, прибыл на станцию Гуляй-Поле. Махно должен был приехать сюда же с фронта, из Мариуполя. Каменева сопровождали Клим Ворошилов, звезда которого начала восходить после знакомства со Сталиным в Царицыне, и Матвей Муранов, прикомандированный к Каменеву работник ЦК. Их встречали на платформе Маруся Никифорова, Михалев-Павленко, Борис Веретельников и еще кто-то из штаба. Встречающие не без иронии разглядывали поезд особого уполномоченного, ощетинившийся пулеметами (вообще, фронтовиков раздражали вооруженные эскорты большевистских бонз, они горько посмеивались: «как к бандитам к нам ездят»). В ожидании Махно завязался разговор. Каменев назвал махновцев героями, но попрекнул тем, что они задерживают хлеб, предназначающийся голодающим рабочим. Воспоследовавший разговор заслуживает того, чтобы быть переданным со стенографической точностью:

«Махновец. – Хлеб этот реквизируется чрезвычайками у голодающих крестьян, которых расстреливают направо и налево.

Муранов. – Направо и налево нехорошо, но, я думаю, вы не толстовцы.

Веретельников. – Мы за народ. За рабочих и крестьян. И не меньше за крестьян, чем за рабочих.

Каменев. – Разрешите мне сказать, что мы тоже за рабочих и крестьян. Мы также за революционный порядок… Мы, например, против погромов, против убийств мирных жителей…

Махновец. – Где это было? На наших повстанцев клевещут все, между тем лучшие наши товарищи, такие начальники, как дедушка Макс юта…

Ворошилов. – Ну, уж этого я знаю.

Махновец. – Дедушка Максюта – крупнейший революционер, он арестован» (89, 135).

Известный анархист, «дедушка» Максюта, буквально через несколько дней был убит начдивом Пархоменко, когда во время боев красных с восставшими григорьевцами за Екатеринослав он, с горсткой уголовников вырвавшись из тюрьмы, сам умудрился захватить город. Но до последнего подвига «крупнейшего революционера» еще положен был Богом срок. Пока что ждали Махно.

Внезапно показался локомотив с одним вагоном. Начальник станции ожил. «Батька едет», – предупредил он. Вышел Махно. «Острые ясные глаза. Взгляд вдаль. На собеседника редко глядит. Слушает, глядя вниз, слегка наклоняя голову к груди, с выражением, будто сейчас бросит всех и уйдет. Одет в бурку, папаху, при сабле и револьвере. Его начштаба – типичный запорожец; физиономия, одеяние, шрамы, вооружение – картина украинского XVII века» (89, 136).

Мотив того же изумления сквозит и в описании почетного караула повстанцев: «Один стоит в строю босой, в рваных штанах, офицерской гимнастерке и австрийской фуражке; другой – в великолепных сапогах, замазанных донельзя богатых шароварах, рваной рубахе и офицерской папахе… Вокруг войска теснится толпа крестьян. Издали наблюдают несколько евреев. Настоящая Сечь» (86, 136–137).

Собрался большой митинг. Махно воодушевленно говорил о единстве революционного фронта: «большевики нам помогут». Каменев держался в том же ключе: «Вместе с Красной армией пойдут славные повстанцы товарища Махно против врага трудящихся и будут драться в ее рядах до полного торжества дела рабочих и крестьян» (89, 137).

Но в целом увиденное – чужое и непривычное – насторожило его. За обедом, который состоялся на квартире Махно («обстановка в роде квартиры земского врача»), он упрямо расспрашивал Махно об антисемитизме. Махно рассказал, как застрелил начальника станции за вывешенный антисемитский лозунг. Это Каменева не убедило. Не убедило его и то, что на террасе соседнего дома, поглядывая на важных гостей, сидела за

чаем еврейская семья. Не убедило и то, что среди анархистов в «культпросветотделе» было немало евреев: ночью, уехав от Махно, он в поезде составил «открытое письмо» ему, где прежде всего указал на антисемитизм…

Вообще, несмотря на совещания в штабе, на гостеприимный обед, распоряжалась которым новая жена Махно Галина Андреевна – будущая грозная «матушка Галина», – несмотря на разговор в узком кругу приближенных, во время которого Махно вновь и вновь соглашался быть «просто комбригом» с комиссаром при штабе, несмотря на проводы, фотографирование на память и открыточку, которую Махно Каменеву надписал крупным почерком непривычного к письму человека, начертав на обороте – «Тов. Каменеву. На память в посещении Гуляй-Поля. Батько Махно», – Каменев, кажется, так и не уверовал в «благонадежность» Махно.

Не таким, не таким виделся Льву Борисовичу Розенфельду революционный народ. Послушным и благодарным он виделся ему. А тут было своеволие. Были выкрики: «Хотите крестьян разорить, а потом любить?» (89, 138). Были нападки на ЧК. Был гуляйпольский совет, в котором заседали какие-то несоветские, явно недостаточно угнетенные мужики в «прекрасных сапогах и жилетках при цепочке», были, наконец, эти дерзкие, никакого не имеющие почтения анархисты при штабе, сам этот штаб и Военно-революционный совет, претендовавший на власть в районе от имени каких-то самозваных съездов… Каменев советовал ВРС распустить, но понял, что не распустят. Да и то: разве сами большевики не точно так же брали власть в семнадцатом году, созывая свои съезды в пику тогдашней власти?

Каменев решил быть с Махно дипломатичным – он чувствовал себя и сильнее, и хитрее, – но в целом выводы его, в отличие от выводов Антонова-Овсеенко, были неутешительны. Летописец экспедиции формулировал: «Становилось все яснее, что махновцы должны быть вытеснены (кем и куда? – В. Г.) из Донбасского района и что без серьезной чистки среди них не обойтись…» (89, 138).

Махно же уверовал в дипломатию вождя. Теперь он не сомневался: ему помогут.

МЯТЕЖ

Восьмого мая части григорьевской дивизии должны были двинуться на румын. Обстановка в полках была напряжена до предела, то и дело поступали слухи о мелких еврейских погромах, потом и вовсе худая пришла весть о 22 чекистах, истребленных батальоном второго Херсонского полка в Казанке, но у Антонова-Овсеенко все еще жила надежда, что если стронуть дивизию и ввязать в бои в Бессарабий, то никуда ей не деться, придется биться за мировую революцию. Того же восьмого мая секретарь Каменева связался с Григорьевым и предупредил, что особый уполномоченный Совета обороны хочет прибыть в штаб дивизии в Александрию для переговоров с ним: Каменеву явно понравилась роль инспектора. Григорьев по телефону ответил, что рад, но надобности в таком визите не видит: ему самому назавтра надо быть в Екатеринославе у Скачко – там бы и встретиться. Григорьев просил Каменева ждать его в штабе Скачко до одиннадцати вечера. Однако одиннадцать минуло, минула и полночь. Григорьева не было. Утром комендант поезда Каменева запросил Александрию: выехал ли поезд командира дивизии?

– Да, – последовал ответ.

Однако на станции Пятихатки (полпути от Александрии до Екатеринослава) никто не видел поезда атамана. На всякий случай комендант Пятихаток доложил:

– Что же касается бронепоезда, то последний прибыл в Пятихатки и потребовал два паровоза на стоянку. Когда отправится – неизвестно.

В Екатеринославе смешались:

– Кто прислал бронепоезд и куда он направляется?

– Прислал атаман Григорьев. Направляется на Екатеринослав. Когда – неизвестно (89, 143).

Потянулось томительное, полное неясности и дурных предчувствий ожидание: где Григорьев? Что означает этот таинственный и одинокий бронепоезд в Пятихатках?

Семь вечера, восемь, девять. В девять – раньше, чем сорвалась лавина телефонных звонков, раньше, чем застучали телеграфные аппараты, – в штаб приполз страшный слух об идущих на Екатеринослав эшелонах григорьевской дивизии. Тошнотворное предчувствие засосало души штабных: измена. Срочно секретарь Каменева связался с Пятихатками. Коменданта станции почему-то уже не было на месте, говорил дежурный. Говорил вяло, но то, что сообщал он на взволнованные вопросы, было страшно:

– Проходили поезда какие-нибудь с утра?
– Проходили.
– Воинские проходили?
– Бронепоезд прошел и семнадцать эшелонов.
– Куда?
– В Екатеринослав.
– Когда?
– Последний только сейчас.
– Дайте подробности.
– Ничего не знаю.
– Где комендант?
– Не знаю.
Связь оборвалась (89, 143–144).

В годы Гражданской связь была плоховата, поэтому Каменев не знал еще, что части Григорьева заняли уже Елисаветград и начали резать коммунистов, громить советские учреждения и, в ослеплении ненависти, еврейские кварталы. Никто еще не знал об «Универсале» – обращении Григорьева к народу, но уже было ясно: бомба, начиненная для Румынии, – шестнадцать тысяч человек, 60 орудий, 10 бронепоездов, – рванула в руках, начинявших ее. Власть большевиков на Украине отныне висела на волоске.

В слове Григорьева, обращенном к народу, не оставалось надежды на пощаду большевикам: «Вместо земли и воли тебе насильно навязывают коммуну, чрезвычайку и комиссаров с московской обжорки… Тобой воюют, с оружием в руках забирают твой хлеб, реквизируют скотину твою и нахально убеждают, что все это для блага народа. Труженик святой! Божий человек, посмотри на свои мозолистые руки и посмотри кругом; неправда, ложь и неправда. Ты – царь земли, ты кормилец мира, но ты же и раб, благодаря святой простоте и доброте твоей… Народ украинский, бери власть в свои руки… Да здравствует диктатура трудящегося люда!.. Долой политических спекулянтов! Долой насилие справа! Долой насилие слева! Да здравствует власть советов народа Украины!» (1,4, 204).

10 мая днем неожиданно соединиться с Григорьевым по телефону удалось Антонову-Овсеенко из Одессы. Григорьев храбрился, старался держаться твердо. Услышав голос командующего фронтом, усмехнулся: «Очень приятно, очень рад. Докладываю вам, что правительство авантюриста Раковского я считаю низложенным. Через два дня я возьму Екатеринослав, Харьков, Киев, Херсон и Николаев. Будет создан съезд Советов Украины, который нам даст правительство народное, а не правительство политических спекулянтов-авантюристов. Уважая

вас, как честного революционера, сердечно прошу принять меры к предотвращению кровопролития…

– Я должен знать, что Григорьев говорит со мной.

– Это тот Григорьев, с которым вы ездили в Верблюжку…

– Правительство Украины с Раковским во главе выбрано на 3-м съезде Советов Украины. Не нужно оружия, чтобы созвать новый съезд Советов… Правительство нынешнее создано волею крестьян и рабочих…

– При помощи пулемета.

– А у вас разве их нет, чем вы будете действовать?

– На выборах их употреблять не будем.

Антонов понимал, что переубедить Григорьева нельзя; он говорил для того, чтобы выиграть время: войск для подавления мятежа не было, последняя надежда теплилась, что Григорьева уничтожат секретные сотрудники…

– Имейте твердость выслушать меня: только новый съезд Советов может дать новое правительство…

Григорьев перебил:

– Поздравляю вас. Только свободное участие всех советских партий даст нам правительство…

– Чтобы прийти к этому, не надо браться за оружие. Наше дело военных сначала отвоевать всю землю Украины и обеспечить внутреннюю свободу трудящихся…

Григорьев знал, что он смертник. Ему надоело спорить.

– Я не спорю, я только прошу, чтобы то правительство, которое так далеко стоит от народа и которое вдарилось в политическую спекуляцию, немедленно ушло от нас. И мы вместе с вами (то есть с Антоновым-Овсеенко. – В. Г.), под вашим командованием, выдержим какой угодно натиск. Народ, избавившийся от чрезвычаек и диктатуры коммунистов, воспрянет духом и пойдет вперед, не останавливаясь ни перед какими позициями врага. Вот вам, товарищ, мой ответ. Крови мы не хотим, но для того, чтобы говорить с правительством, я приказал занять Киев, Полтаву, Екатеринослав, Харьков…

Антонов сурово подчеркнул:

– Не могу допустить вашего наступления. Григорьев остался тверд:

– От наступления отказаться не могу. Прошу прислать делегацию. Думаю Екатеринослав взять без боя.

– Прощайте, ушел, – обрубил Антонов.

– Всего хорошего, – ответил Григорьев» (1, т. 4, 203–208).

На огромной территории Украины начались бои, которые продолжались более двух недель. Елисаветград несколько раз переходил из рук в руки; жестокие бои шли за Екатеринослав и

Черкассы. Сил у большевиков было крайне мало. До подхода частей с фронта Екатеринослав защищали отряды коммунистической молодежи, мальчики 13–16 лет, и рабочие дружины. В Николаеве, в Черкассах, в Помощной к Григорьеву перешли красные гарнизоны. Лишь после переброски фронтовых частей в район восстания удалось переломить ситуацию: 27 мая Дыбенко отбил у григорьевцев Николаев, 29-го – Херсон. В ночь с 21 на 22 мая красный бронепоезд «Руднев» совершил неожиданный по своей дерзкой смелости налет на Александрию, где находились штаб Григорьева и стянутые для решительного боя резервы: ураганным артиллерийским и пулеметным огнем григорьевцы были рассеяны, потеряв до трех тысяч человек убитыми. С этого начался спад восстания. Подавлялось оно с исключительной жестокостью. Во всяком случае, под Кременчугом Ворошиловым и Беленкевичем применялись знаменитые «децимации» (изобретение Троцкого) – расстрел каждого десятого пленного, которые почти неизменно использовались при подавлении массовых выступлений народа против правительства.

Выхваченный из исторического контекста (что неизменно проделывается нашими историками) григорьевский мятеж предстает вспышкой нелепой, злокозненной, случайной, а сам Григорьев – просто каким-то украинским Иудой, человеком исключительного вероломства, спровоцировавшим бунт против родной, в сущности, власти тысяч крестьян, не забывших, что они крестьяне, несмотря на годы солдатчины. Но если быть честными и, напротив, вписать бунт григорьевской дивизии в контекст всего происходящего на Украине, то нам откроется абсолютная предрешенность, предопределенность этого мятежа, так давно партийными чинушами предчувствуемого и в разных местах подозреваемого. А «авантюристическая» роль самого Григорьева, упорно ему приписываемая, осмыслится как полностью фаталистическая. Он не врал, присягая Антонову-Овсеенко на верность и клянясь наступать на румын. Он тоже хотел, чтобы все кончилось для него честью и славой, его самого тошнило от дурных предчувствий неизбежности предательства. Он ведь чувствовал, как в «историческом бессознательном» – в душах десятков и сотен тысяч людей, ничего не знающих о законах, которые влекут их в коммунистическое завтра, – накапливаются злоба и возмущение против новой власти. Векторы единичных воль и раздражений соединялись, сливались в мощный, клокочущий поток; поток подхватил его, он стал голосом возмущения и злобы, полководцем ненависти; он не был вождем, он был лишь необходимым органом – командиром – того

организма разрушения, которым стала его дивизия и который вовсю подпитывался извне. Он хотел справиться, совладать со своим гигантским телом ненависти, но не смог; управлять мятежом он не смог, оттого «григорьевщина» и осталась в памяти потомков какой-то кровавой блевотиной. Но и выбирать – быть или не быть восстанию – зависело не от него. Тысячи солдат его дивизии, тысячи родичей их в деревнях выбрали за него.

Дело заключалось, собственно, в том, что на Украине – в отличие от России, где большевики в 1917–1918 годах из тактических соображений воспользовались эсеровской земельной программой («земля крестьянам!»), чтобы потом протащить в деревне свою линию, – решено было не лукавить и сократить путь к коммунизму до минимума. В связи с этим произошла как бы «обратная реставрация» помещичьего землевладения: в бывших имениях и экономиях решено было создавать совхозы, замышляемые в условиях разгромленного рынка как высокопродуктивные государственные фабрики хлеба, сахарной свеклы, племенного скота. При всей внешней привлекательности этой вызревшей в Кремле идеи не учитывалась одна только малость: чтобы воплотить ее в жизнь, требовалось вновь отобрать у крестьян захваченные ими у помещиков землю, скот, инвентарь. Уравнительный передел земли отвечал убогим экономическим интересам тогдашнего крестьянства, но сколь бы ни были они убоги, это были все же не отвлеченности, а интересы, поднявшие в свое время крестьянство Украины на повсеместное восстание против немцев. Теперь ситуация повторялась – землю вновь хотели отнять. Причем чем беднее был уезд, тем больнее били правительственные меры по крестьянам, которые все еще мечтали, все еще надеялись стать хозяевами. Поэтому уже в феврале 1919 года в деревнях повсеместно начались возмущения, все усиливающиеся по мере того, как крестьяне знакомились с проводниками правительственной земельной политики – уполномоченными Наркомзема и Наркомпрода, чекистами, продотрядчиками. Все это были непонимающие, ненужные люди, абсолютно чуждые им. Когда же весной 1919-го, несмотря на полное фиаско политики комбедов, хорошо зарекомендовавшей себя в России (Украина была богаче, бедняков в деревне было меньше, а те, что были, не сразу прельстились возможностью безнаказанно грабить односельчан в пользу власти), начались принудительные хлебозаготовки, деревня ответила угрюмым сопротивлением, и скоро дело дошло до вооруженных схваток.

Задним числом конечно же партия признает потом ошибочность избранной земельной политики. Подходящие слова найдутся и у Ленина, и у Троцкого. Причем и в 1919-м, и в 1920

годах. Тактика таких признаний и украшает, собственно говоря, фасад тоталитарного режима своеобразным бюрократическим флером: товарищи, господа, смотрите – были ошибки, но мы их открыто признали, исправили. Вот решения, постановления, резолюции…

Одно из наиболее впечатляющих оправданий принадлежит Дзержинскому, который после крымской резни 1920 года, учиненной Землячкой, Пятаковым и Белой Куном, сокрушенно говорил В. Вересаеву: «Видите ли, тут была сделана очень крупная ошибка. Крым был основным гнездом белогвардейщины. И чтобы разорить это гнездо, мы послали туда товарищей с совершенно исключительными полномочиями. Но мы никак не могли думать, что они так используют эти полномочия…» (10, 30). Мы еще дойдем до Крыма и до того, что там произошло. Сейчас нам важно продраться сквозь бесчисленные «признания ошибок» и увидеть реальность, замутненную, а то и начерно замаранную самооправданиями и партийными бумажонками.

А реально весной 1919 года на Украине непрекращающейся чередой пошли крестьянские мятежи. Первым крупным был мятеж атамана Зеленого, командира сформированной эсерами против гетмана «днепровской дивизии», которая во время встречи с красными войсками держалась дружелюбно и даже, как ожидалось, могла примкнуть к ним. С Зеленым – тридцатитрехлетним задумчивым человеком, явным украинофилом, – разговаривал Антонов-Овсеенко. Атаман осторожно выразил готовность служить советской власти, но одновременно намекал на необходимость ее расширения: господство большевиков в правительстве не нравилось ему… Договорились вроде бы до того, что части Зеленого отойдут в тыл для переформирования по принципу регулярных. Вместо этого, вернувшись к войскам, Зеленый отдал приказ о наступлении на Киев. Лозунги восставших были традиционны: за свободную Украину, за независимые от большевиков Советы, против насильственной коммуны. Действия тоже: погромы, уничтожение коммунистов, безумные, отчаянные бои с усмирителями.

29 марта был отдан приказ об истреблении Зеленого и объявлении его вне закона. Это не помогло: восстание ширилось, «банды» крестьян подходили к Киеву. Разведка доносила: «Некоторые села присоединились поголовно к бандитам; дома остались лишь старики и дети. 5 апреля бандами занята Тараща, 22-й полк здесь разбит и потерял 4 орудия… Общая численность банд до 6000, из них вооруженных винтовками несколько сотен, остальные вооружены косами, топорами, вилами… К северу от Попельни у бандитов 4 орудия. Бандиты мобилизуют население

для перекапывания желдорпутей…» (1, т. 3, 344).

10 апреля отряды Зеленого ворвались в Киев, разбив коммунистический полк, и только личным вмешательством членов правительства, возглавивших партийные дружины, удалось восстановить порядок в городе. Ликвидировать восстание удалось лишь к началу мая, отряды Зеленого были рассеяны регулярными войсками, но на самом деле конфликт был просто загнан вглубь и ситуация продолжала оставаться взрывоопасной. Достаточно пролистать «Записки о Гражданской войне» Антонова-Овсеенко, чтобы получить представление о масштабах явления, столь неудачно поименованного бандитизмом, – это была самая настоящая крестьянская война против правительства, которое бросило на подавление мятежей более двадцати тысяч войск (лишь вполовину меньше, чем на «внешнем» фронте), при артиллерии и бронепоездах – что, впрочем, не обеспечило успеха.

Гомельский мятеж, возглавленный левыми эсерами-активистами – сторонниками активной вооруженной борьбы с большевиками, был подавлен сравнительно легко. Труднее пришлось с восстанием, вспыхнувшим в бедняцких – именно бедняцких, а не кулацких, – районах Литинского и Летичевского уездов: здесь повстанцы принципиально стояли за «подлинную» советскую власть, обвинять их в контрреволюционности было трудно, ибо даже их политические декларации не выходили за рамки жалоб, написанных «наверх» для выяснения нелепых, надоевших недоразумений. Атаман восставших обращался к властям:

«Все крестьянское население Литинского уезда в течение двух месяцев было узурпировано диктатурой кучки проходимцев, большей частью евреев, не избранных ими, почему крестьянство, сорганизовавшись, стало под красный флаг и сбросило навязанное ему правление евреев, называющее себя крестьянским. Город Литин и его уезд заняты красноармейскими крестьянскими войсками… Порядок в городе образцовый, что засвидетельствует посылаемая для вручений сего делегация от всех групп трудового населения. Прошу не присылать во избежание братского кровопролития войск. Если есть хорошие агитаторы (не коммунисты) христиане, прошу прислать. Всем советским учреждениям мною приказано возобновить работы…» (1, т. 4, 252).

То, что кровопролитие – не метод справиться с крестьянскими восстаниями, – понимали прежде всего военные, на которых были возложены карательные функции: ужас заключался в том, что и войска, состоящие из тех же крестьян, трясло, и вот-вот могло начаться что-то неописуемое.

Мобилизации в Красную армию были полностью провалены. Армия ненавидела ЧК. Разгром и даже поголовное истребление тыловых чрезвычаек при отступлении красноармейских частей были довольно типичным явлением. Озлобление дошло до того, что даже такой надежный товарищ и проверенный герой, как командир Таращанского полка Боженко, именем которого названы улицы, послал Щорсу телеграмму следующего содержания: «Жена моя социалистка 23 лет. Убила ее ЧЕКА г. Киева. Срочно телеграфируйте расследовать о ее смерти, дайте ответ через три дня, выступим для расправы с ЧЕКОЙ, дайте ответ, иначе не переживу. Арестовано 44 буржуя, уничтожена будет ЧЕКА» (1, т. 4, 163). Кто погубил любимую жену Боженко, неясно. Но факт, что только уговоры Затонского удержали полк от похода на Киев…

Антонов-Овсеенко понимал, что для изменения ситуации необходимо принимать решения политического характера. После провала мобилизации в апреле 1919 года в записке Ленину он перечислил ряд мер, необходимых для того, чтобы удержать советскую власть на Украине. В их числе были: введение в правительство представителей демократических партий, связанных с крестьянством; изменение земельной политики; сокращение на 2/3 всех советских учреждений; отказ от продовольственной диктатуры (1, т. 4, 148).

Буквально накануне григорьевского мятежа в докладе «о борьбе с тыловыми восстаниями» он вновь предлагает: назначить новый съезд Советов Украины, «внести разъяснение по земельному вопросу», упразднить центральную украинскую ЧК, подчинить местные ЧК исполкомам Советов, упразднить продотряды, запретить работникам на местах третировать население именем Москвы… (1, т. 4, 154). Не у одного Антонова-Овсеенко была ясная голова. Член правительственной комиссии по продовольствию Ефимов сообщал в центр: «карательными отрядами украинских крестьян успокоить никак нельзя будет» – и умолял для начала изменить название партии большевиков-коммунистов хотя бы на «большевиков-общественников», потому что крестьяне так ненавидят слово «коммуна», что не могут его слышать (1, т. 4, 258).

22 мая екатеринославская большевистская газета «Звезда» поместила умную и беспощадную статью И. Сановича против ЧК, «всеобъемлющая компетенция» которых возмущает автора: почему права чрезвычаек ничем не ограничены? Для чего существуют военные и гражданские трибуналы, если ЧК имеют право внесудебной расправы? Кому они подчиняются? Он требует и изменения аграрной политики: «руководящим положением в

данном случае должна быть линия наименьшего сопротивления и наибольшей близости к живым нуждам крестьянства…». Представляю, какое возмущение вызвали у товарищей по партии эти слова!

В 1933 году, когда выходили «Записки о Гражданской войне», Антонову-Овсеенко пришлось оправдываться за свои выводы 1919 года, называя их «поддакиванием кулаческим устремлениям» и «недопустимым обобщением фактов», – по-видимому, без этого самобичевания его честная книга, драгоценная для всех историков Гражданской войны, вообще не увидела бы свет. Что же касается И. Сановича, то ему уже в том самом 1919 году, без сомнения, пришлось выслушать упреки в соглашательстве и мелкобуржуазности. Умным советам умных людей, которые могли бы предотвратить реки человеческой крови, ни правительство, ни власти на местах не склонны были внимать. Преобладающая линия была другая: силой, не считаясь с жертвами, подчинить влиянию государства и партии, его возглавляющей, все закоулочки прежнего хозяйства. Окончательным и неколебимым сторонником жесткой линии по отношению к крестьянству, этому «несознательному», последнему буржуазному классу, своего рода материалу, необходимому пролетариату для выполнения своей исторической миссии, был Троцкий. Но Троцкий был не одинок. Романтическая большевичка Александра Коллонтай писала в то время: «На Украине сейчас, после закрепления власти за рабочими и крестьянами, начинает постепенно выявляться неизбежная рознь между этими несливающимися социальными элементами… мелкобуржуазное крестьянство целиком враждебно новым принципам народного хозяйства, вытекающим из коммунистического учения…» (28, 1 июня 1919 г.). Но если «целиком враждебно», то не следует ли его поголовно истребить, так же как и казачество? О том, что мысли такого рода, мысли, так сказать, обобщающие являлись в партийные головы, свидетельствует текст объявления одного из уездных военкомов, который всех трудящихся подразделил на особо благонадежных и менее благонадежных в политическом отношении: к последним, естественно, «относятся крестьяне и прочий распыленный элемент» (28, 12 февраля 1919 г.). Эти слова кажутся цитатой из Салтыкова-Щедрина или Андрея Платонова, однако за всем этим стояла, увы, не литература, а реальность.

Ленин, в целом, не склонен был к поиску серьезных компромиссов. Менять земельную политику, структуру власти он не собирался. Диктатура пролетариата казалась ему достаточно цельной и ценной политической доктриной, чтобы пожертвовать ей несколько десятков или даже сотен тысяч человек. Однако он

готов был пойти на демонстрацию, на видимость компромисса, чтобы, обманув этой демонстрацией партнеров, заставить их самих работать на утихомиривание политической ситуации. Решено было вновь поиграть с эсерами в двухпартийное правительство. В шифрованной телеграмме Раковскому 18 апреля 1919 года Ленин поделился соображениями о количестве отводимых им в правительстве мест: «Насчет эсеров советую никак не давать им больше трех и хорошенечко окружить этих трех надзором большевиков, а если не согласятся – им же хуже, мы будем в выигрыше». Через шесть дней Ильич шлет Раковскому еще одну недвусмысленную указульку: в случае расхождения эсеров с линией правительства в продовольственном и других основных вопросах – «подготовить изгнание их с позором».

А эсеры, глупцы, верили, что с ними играют серьезно!

Григорьев больше не верил. То, что григорьевское восстание разразилось с такою адскою силой, было следствием именно неверия, окончательного неверия крестьян в то, что с этой жестокой и тупой властью в принципе можно договориться. Уничтожить – можно. Истребить. Вырезать под корень. Силой заставить говорить с собою по-человечески. Этим настроением была задана чрезвычайная жестокость восстания, которая в конечном счете стала причиной его погибели.

Поначалу восстание во многих вселило надежду. Популярность Григорьева среди крестьян выросла необыкновенно; от него буквально ждали чуда; количество желающих записаться в его отряды во много раз превосходило количество оружия; добровольно привозили ему тысячи пудов хлеба. Одновременно сыграть на григорьевщине хотели и политики: призывно забились сердца анархистов-набатовцев, усмотревших в восстании начало «третьей революции» против всякой власти. С Григорьевым в тонах самых нежных говорили и члены ЦК украинских эсеров, умоляя не проливать кровь (для демонстрации семнадцати эшелонов, двинутых на Екатеринослав, было вполне достаточно) и уверяя, что сейчас – особо благоприятный момент для политических превращений: все оттенки эсеров договорились между собой, большевики готовы допустить их к власти, «можно надеяться на разрешение в ближайшее время важнейших вопросов».

Григорьев, однако, уже не контролировал ситуацию. После грандиозного еврейского погрома в Елисаветграде, где «святыми тружениками» в слепой злобе было уничтожено три тысячи человек, от него отмежевались меньшевики, Бунд, эсеры, левые эсеры и даже анархисты, потерявшие многих своих товарищей, в числе которых оказался младший брат одного из большевистских

вождей Г. Е. Зиновьева – Миша Злой. Не меньше жертв было и в Черкассах. В Смеле григорьевцы разграбили «буржуев», но этим не удовлетворились, стали хватать на улицах и в домах евреев, даже и бедняков, и уводить в особый вагон на станции. Шестидесяти узникам этого вагона в конце концов предложено было бежать прочь от полотна: вслед им зарычал пулемет. Лишь четверо спаслись случайно. «Ездившие на розыски трупов рассказывали, как в лесу возле Смелы ими найдены трупы, зарытые с обнаженными ногами поверх земли – головой вниз» (40, 72). Лишенная, а вернее, никогда не имевшая политического руководства, григорьевщина быстро выродилась в гигантскую погромную организацию. От атамана стали отворачиваться даже крестьяне: открывшийся 19 мая съезд крестьянских Советов Александрийского уезда резко высказался против погромов. Григорьев вынужден был оправдываться: «Я ни при чем… Ваши сыны…» Ему не вняли, постановив войти с советскими войсками в мирные переговоры. С двадцатых чисел мая григорьевские части начали потихоньку разбредаться по деревням…

Политически этот залповый выброс злобы имел только одно последствие – ЦК КП(б)У решил вопрос о вхождении в правительство левых эсеров из наиболее лояльной к большевикам группы «Борьба», отдав им, в точном следовании ленинским заветам, три второстепенных наркомата (просвещения, финансов, юстиции). Пролитая с двух сторон кровь так и осталась неоплаченной. Политика советской власти на Украине не изменилась.

Все это, однако, не замедлило сказаться на отношении «верхов» к еще одному участнику этой истории – комбригу Махно.

Уместно напомнить, что с конца марта, когда начался мятеж Зеленого, по конец мая, когда в основном было подавлено григорьевское восстание, Махно упорно сражался на фронте с белыми, хотя у него за спиной творились те же самые безобразия, что и на остальной территории Украины. Махновцы сражались с главными противниками большевиков, однако последние не переставали подозревать Махно в том, что он им изменит, изменяет или уже чуточку изменил. И до сих пор – хотя нет ни единого факта в пользу того, что Махно хоть чем-то поддержал Григорьева, – историки не могут удержаться, чтобы не намекнуть, что в принципе-то, конечно, поддерживал. Воистину, дедуктивные способности подчас идут во вред истине.

То, что начало григорьевского мятежа вызвало у большевистских руководителей панический страх, что Махно тоже выступит на стороне восставших, – это факт непреложный.

Когда в ночь с 9 на 10 мая – в ту самую ночь, когда в Екатеринославе получили «Универсал» Григорьева, – Махно почему-то отказался разговаривать по прямому проводу со Скачко – наступила такая паника, словно Махно уже выступил, началась «лихорадочная поспешная бессистемная и беспричинная эвакуация» города (1, т. 4, 240). Накануне вечером Каменев телеграфировал Ленину, что «почва для выступления» у Махно вполне подготовлена.

Откуда эта уверенность? От страха, что ли? И от страха же – подозрительный, надменный тон телеграммы, отправленной Каменевым Махно, по обычаю большевистского вождя, с дороги, из поезда:

«…Изменник Григорьев предал фронт, не исполнив боевого приказа идти на фронт. Он повернул оружие. Пришел решительный момент – или вы пойдете с рабочими и крестьянами всей России, или на днях откроете фронт врагам. Колебаниям нет места. Немедленно сообщите расположение ваших войск и выпустите воззвание против Григорьева, сообщив мне копию. Неполучение ответа буду считать объявлением войны. Верю в честь революционеров ваших – Аршинова, Веретельникова и других. Каменев» (86, 145).

Верил ли Каменев в то, что Махно, четыре месяца дравшийся с белыми, откроет им фронт? Навряд ли. Деникин обещал за голову Махно полмиллиона рублей. Тогда смысл фразы, оброненной Каменевым, другой: это не опасливое предположение, а угроза. Он дал понять Махно, какая слава его ждет, если тот проявит колебания. Махно – которому на протяжении многих месяцев вдалбливалась в голову мысль, что если он не изменил сегодня, то уж непременно изменит завтра, – не замедлил с ответом:

«Заявляю вам, что я и мой фронт останутся неизменно верными рабоче-крестьянской революции, но не институциям насилия в лице ваших комиссариатов и чрезвычаек, творящих произвол над трудовым населением. Если Григорьев раскрыл фронт и двинул войска для захвата власти, то это – преступная авантюра и измена народной революции, и я широко опубликую свое мнение в этом смысле. Но сейчас у меня нет точных данных о Григорьеве и о движении, с ним связанном… поэтому выпускать против него воззвание воздержусь до получения более точных данных…» (2, 108).

Появление в Екатеринославе, в штабе Скачко и Пархоменко, делегации из пяти махновцев, которые просили пропустить их через линию фронта к Григорьеву, чтобы сделать о его движении самостоятельное заключение и, в случае необходимости, провести

в его войсках соответствующую агитацию, вызвало крайнее замешательство. Опять стал мерещиться сговор. Однако на этот раз здравый смысл возобладал и делегатов отправили, несмотря на протесты Пархоменко, навстречу озверевшим легионерам Григорьева. Махновцы добрались до екатеринославского вокзала, занятого григорьевцами. Увидев груду трупов, евреев по преимуществу, вникли в сущность вопроса и поспешили назад. После этого Махно выпустил воззвание, в котором говорилось, что григорьевщина «пахнет петлюровщиной».

Григорьев лично пытался сноситься с Махно, но безрезультатно. Махно не собирался поддерживать его в борьбе за власть с большевиками. К тому же большая часть телеграмм Григорьева до Гуляй-Поля не дошла, а затерялась где-то в телеграфных пространствах. Часть из них перехватили чекисты. По-видимому, до штаба Махно дошло лишь одно послание Григорьева, полное скрытого за деловой лаконичностью отчаяния погибающего: «Батько! Чего ты смотришь на коммунистов? Бей их. Атаман Григорьев» (2, 112).

Махно не ответил. Он вел тяжелые бои, в которые его бросили, так и не дав вооружения, и чувствовал отчаянное, критическое, невозможное на фронте недоверие к себе со стороны красного командования. Сохранилась его телеграмма: «В Александровске местная власть распространяет слухи, что на Александровск идут три отряда повстанцев Махно и приказано быть готовыми к взрыву мостов для противодействия. Заявляю, что ни одна часть моих войск не снята с фронта, ни одного повстанца мною не отправлено ни на Александровск, ни на другой пункт Советской республики… Заявляю, что распространяемые александровскими властями слухи о движении повстанцев на Александровск есть чистейшая провокация… Примите срочные меры по прекращению подобной провокации, иначе фронту и тылу грозят неисчислимые бедствия, ответственность за которые падет всецело на руководящие органы власти. Батько Махно, адъютант Лютый» (89, 148–149).

Того же 13 мая к Каменеву из Гуляй-Поля телеграфно пробился некий Рощин из штаба повстанцев, пытаясь объяснить ситуацию:

«Злостная, черная рука сеет ложь. Тов. Махно не только успешно держит фронт, но успешно наступает. Реакционеры упорно говорят о связи Махно и Григорьева. Это ложь гнусная и хитро задуманная. Сообщение о расстреле политических комиссаров, во главе с Колосовым, есть отвратительная ложь. Все на своем посту. Вчера были взяты важные пункты: Кутейниково, Моспино, который снова пришлось сдать врагу из-за отсутствия

патронов и снарядов. Немедленно высылайте патроны, высылайте вагон плоской бумаги для газет и воззваний… Неполучение денег, бумаги, патронов явится серьезным препятствием в борьбе с контрреволюцией» (89, 149).

Однако фактически судьба Махно была уже предрешена. 16 мая в Харьков приехал Лев Давыдович Троцкий.

ТРОЦКОМУ НУЖЕН КОЗЕЛ ОТПУЩЕНИЯ

Троцкий, конечно, сыграл во взаимоотношениях с Махно роковую роль: будучи сторонником жесткой линии неукоснительной партийной диктатуры, он не мог сочувствовать ни особому положению махновцев в рядах Красной армии, ни тем социальным экспериментам, которые независимо от большевиков проводились на территории «вольного района». Остается гадать, насколько его желание разделаться с махновщиной было предрешено ко времени его приезда на Украину и насколько обострилось оно фронтовыми неудачами, которые нужно было незамедлительно свалить еще на кого-то. Своенравный комбриг, пробивающийся в светлое будущее под черным знаменем анархии и всею своею нелепой фигуркой свидетельствующий об упрямстве и неблагодарности темного, тупого, кулацкого народа, был идеальным кандидатом на роль козла отпущения. Менее всего подвластную большевикам «мелкобуржуазную стихию» Троцкий не любил так же, как и Ленин: в силу догматичного, строго дисциплинированного, но какого-то бедного чувствами характера и ума, – и явно видел в ней начало прежде всего враждебное. За это винить его глупо.

Действительная вина Троцкого, действительное преступление большевистской власти заключались в том, что они, исходя из своих политических представлений, посчитали целесообразным держать части Махно в таком положении, в котором те обречены были целиком полечь, сгинуть на полях войны и тем самым оздоровить обороняемый ими участок фронта, искупив тем самым свою первородную вину перед партией большевиков. Самонадеянность большевистского руководства, посчитавшего возможным подставить Махно под разгром, в расчете, что какие-то крепкие, надежные (но еще не существующие) части опрокинут белогвардейцев и погонят их обратно за Дон, обернулась для России и Украины неисчислимыми бедствиями, которые несла с собой затянувшаяся, как запущенная болезнь, Гражданская война.

Троцкий прибыл в Харьков 16 мая с целью решительно разобраться с ситуацией на Украине, патология которой была засвидетельствована чудовищным и диким григорьевским мятежом, поставившим под вопрос не только крепость фронта, но и вообще принцип советской власти на Украине. Ленин в Москве требовал решительного наступления на Донбасс, а Троцкому в Харькове открылось, что наступать здесь никто не думает, не

может, все сковано беснующимся пьяным восстанием и параличом недовольства режимом. Троцкий привык действовать решительно. Он предписывает восстание прежде всего подавить, но готов и к более широким политическим обобщениям, которые и были им сделаны в ряде докладов в Харькове и Киеве. Суть заключалась в том, что для победы над белыми нужно прежде всего ликвидировать партизанщину как принцип.

Практически это означало отказ от политики Антонова-Овсеенко, направленной на поиск общего языка с украинскими повстанцами, какую бы революционную веру они ни исповедовали, и начало враждебных действий против всех, кто не захочет войти в реорганизованную по принципам большевистского военного ведомства армию.

О возможных неприятностях Махно догадывался. Ему было известно, например, что во время григорьевского восстания его подозревали в подготовке похода на Екатеринослав и что было даже созвано специальное совещание в Александровске – что делать в этом случае, – которое успокоилось только тогда, когда Дыбенко пообещал, что в случае чего со своей дивизией он преградит путь Махно, что, впрочем, было чистым бахвальством, ибо Дыбенко-то видел, что Махно крепко ввязан в бои на фронте и никуда «пойти» не в состоянии.

На всякий случай, чтоб Махно не дергался, Дыбенко 14 мая в интервью газете «Коммунист» похвалил его: «Никто не может утверждать о причастности Махно к григорьевщине. Наоборот, честный революционер, каким он является, несмотря на свой анархизм, Махно верен рабочему движению и свято выполняет свой долг в войне против белогвардейских банд. Всякие обвинения Махно – гнусная провокация…» (12, 94). Говоря эти слова, Дыбенко мог и покривить душой, но он, во всяком случае, рассуждал здраво: Махно держит свой участок фронта и понапрасну третировать его незачем.

Приезд Троцкого сразу сместил все акценты. Грозный наркомвоенмор прежде всего устроил выволочку Раковскому за попустительство и мягкотелость. Жестокий дух внутрипартийного чинопочитания, выдаваемый за «дисциплинированность», большевиков подводил всегда: стремясь исправиться перед начальством, украинские товарищи с поистине неправдоподобной быстротой пересмотрели свои взгляды и, прежде чем Троцкий лично обрушился на Махно, поспешили сделать упреждающее телодвижение и вынесли решение о ликвидации махновщины. Все это кажется нелепостью и каким-то недоразумением. Тем не менее атмосфера на Украине была столь удушлива, столь отравлена страхами – перед Григорьевым, перед новым, еще

более чудовищным восстанием, во главе которого представлялся Махно, перед белыми, – что в действиях правительства Украины определенно стал проступать какой-то маразм; это действия группы тяжелых психопатов, которые, как мы увидим, в течение десяти дней усердно боролись с несуществующим мятежом бригады Махно, сделали все, чтобы этот мятеж поднять – не подняли, развалили фронт и чуть-чуть вменились в разум только тогда, когда белое наступление стало угрожать им лично.

Махно, сколько мог, терпел давление нелепо складывающихся обстоятельств. Что его, как анархиста и убежденного партизана, не любят, он знал. Но что речь идет уже о его уничтожении – он долгое время не догадывался. Среди большевиков у него уже не было заступников, после наезда Троцкого даже Антонов-Овсеенко впал в немилость. Но Махно не унывал. Он пытался апеллировать к Кропоткину, послал ему несколько пудов продовольствия, номера газеты «Путь к свободе» и листовки, почтительно прося его «как близкого и дорогого для нас южан товарища, написать нам свое письмо о повстанчестве… Кроме того, – беспокоился он, – очень нужно было бы для крестьян, чтобы вы написали в нашу газету статью о социальном строительстве в деревне, которая пока не заполнилась мусором насилия…» (52). Судя по этому письму, Махно особенно ничего не беспокоило, он просил совета у своего вождя – и только. Весьма сомнительно, что авторитет Кропоткина удержал бы большевиков от подлости, но Петр Алексеевич, насколько известно, на это письмо не откликнулся. Да ответ и не поспел бы – буквально через несколько дней Махно был проклят и объявлен вне закона.

Впрочем, поначалу ничего как будто не предвещало трагического исхода событий. В середине мая начались попытки наступления красных на Донбасс, и Махно, ввязанный в бои еще в начале григорьевского восстания, вновь навис над Таганрогом и, овладев станциями Кутейниково и Амвросиевка, перерезал железную дорогу, главную транспортную артерию донецкой группы Добровольческой армии. Этим он должен был вызвать на себя беспощадный огонь. Махновцы чувствовали это и с тревогой предупреждали: «…Части совершенно не имеют патронов и, продвинувшись вперед, находятся в угрожающем положении на случай серьезных контрнаступлений противника. Мы свой долг исполнили, но высшие органы задерживают питание армии патронами. Просим устранить это… и мы не только полностью выполним задание, но и сделаем больше того…» (1, т. 4, 302).

В принципе, был тот редкий момент на фронте, когда смелые, слаженные действия Махно и других частей Южфронта могли бы

переломить боевую ситуацию. Но конечно же Махно подмоги не получил – все резервы были брошены на подавление григорьевского восстания.

17 мая в точности повторилась апрельская история: сильным ударом кавалерия Шкуро рассекла фронт на стыке 2-й и 13-й армий и в один день прошла около полусотни километров. Закрыть прорыв было нечем: в резерве 2-й армии был один интернациональный полк численностью 400 штыков. Махно стал отступать, чем участь его была предрешена: его обвинили во всех застарелых грехах, вплоть до измены, но подмоги не дали.

В результате 21 мая командарм-2 Скачко уже определял ситуацию как безнадежную: «…Волновахский прорыв собственными силами армии не только не может быть ликвидирован, но не представляется возможным приостановить развивающийся успех противника…» (1, т. 4, 304). Но власти еще не поняли, что это – крах, и предпочитали действовать устрашением.

Вечером 25 мая на квартире Х. Раковского состоялась сходка Совета рабоче-крестьянской обороны Украины с повесткой дня: «махновщина и ее ликвидация». Присутствовали: Х. Раковский, В. Антонов-Овсеенко, А. Бубнов, А. Жарко, А. Иоффе, Н. Подвойский, П. Дыбенко. Поистине невозможно вообразить себе, что заставило этих людей – в тот момент, когда над фронтом нависла смертельная угроза и белая конница хлестала в прорыв, как вода в пробоину, – принять резолюцию следующего содержания: «Ликвидировать Махно в крайний срок, предложить ЦК всех советских партий (коммунистов и украинских эсеров-коммунистов) срочно принять политические меры к ликвидации махновщины, предложить командованию УССР в течение суток разработать военный план ликвидации Махно, предложить ЦК прифронтовой полосы организовать из своих отрядов полк, который должен быть немедленно брошен…» (12, 100). Этот тяжкий, вязкий текст кажется бредом: какой «полк», если у Махно 35 тысяч человек под ружьем? Зачем его «ликвидировать», если он держит фронт, и простое чувство самосохранения должно было бы подсказывать, что его надо поддержать? Что не выяснять отношения надо, не интриговать – а защищаться, любыми средствами, любыми силами?!

Но нет, даже чувство самосохранения отшибло. Почему? Тут надо разобраться. Выстроенная хронология подскажет нам, что 26 мая ВУЦИК утвердил положение о социалистическом землепользовании – сиречь об обобществлении земли под совхозы. Все, у кого была голова на плечах, не могли не понимать, что у крестьян этот декрет вызовет взрыв недовольства.

Вот почему заседание совета обороны состоялось накануне, вот почему репрессивные меры требовалось разработать в течение суток: надо было срезать крестьянскую верхушку, выжечь ересь «вольных советов», разгромить партизанские отряды – созданные крестьянством вооруженные силы… Восстания боялись, ждали его, и все-таки вопрос с землей решили так, как хотел центр (Ленин потом, естественно, признал, что было допущено «много ошибок»). В этом отношении большевики были невменяемы.

27 мая заместитель наркомвоена Украины В. И. Межлаук докладывал своему начальнику Н. И. Подвойскому, что обстановка в районе Махно очень напряженная и «непринятие своевременных мер обещает повторение григорьевской авантюры, которая будет опасна ввиду огромной популярности Махно среди крестьянства и красноармейцев» (12, 102). Отметим, что ничего еще не случилось. Войска Махно сражаются. Красные комиссары в полках не арестованы. Все как всегда. Тем не менее в Совете рабоче-крестьянской обороны Украины не только ломали голову над тем, где взять войска для ликвидации еще не вспыхнувшего мятежа, но и – как пишет в своей книге историк В. Волковинский, – «в жарких спорах обсуждали кандидатуру командующего этими войсками» (12, 103). Причем предложенная Реввоенсоветом республики кандидатура П.Е.Дыбенко, который хорошо знал Махно и был с ним в контакте, стараниями Ворошилова и Межлаука была отвергнута: Ворошилов хотел разгромить «мятежников» сам и тоже, наконец, снискать себе победные лавры. Дело казалось несложным: с тылу ударить на измочаленную в боях бригаду и, арестовав командиров, разоружить и без того плохо вооруженные полки. Ворошилову так хотелось исполнить эту роль, что на Антонова-Овсеенко, который, по-видимому, был яростным противником затеваемого дела, он написал в Москву донос о том, что тот состоит в сговоре с Махно (12, 101). Ленин, окончательно запутанный поступающим с Украины враньем (он все еще полагал, что речь идет о наступлении на Донбасс за углем, в то время как до разгрома оставались считаные дни), 28 мая прислал Раковскому укоризненную телеграмму, в которой просто пересказывал выдуманное в Харькове же вранье: «…Махно откатывается на запад и обнажает фланг и тыл 13-й армии, открывая свободный путь деникинцам…» (12, 101). Думаю, что телеграмма вождя послужила дополнительным аргументом в скверной тыловой игре политиканов, которой, впрочем, предрешен был скорый конец.

Читая эти строки, читатель ведь должен одновременно слышать орудийный гул, треск пулеметов и лязг танковых гусениц – ибо, пока продолжались тыловые игры, на фронте шли

непрекращающиеся бои. Махновцы дрались героически, но, действительно, гибли сотнями, не имея боевого опыта, сражаясь пешим строем против отборной донской и кубанской кавалерии. На Махно валили теперь всё – что он негоден как командир, потерял управление частями, окончательно опустился… Пока шла эта пропагандистская «накрутка», предназначенная в основном для газет, командующий 2-й армии Скачко, ничего толком не зная о тыловых интригах, допустил оплошность, стоившую ему карьеры: 29 мая, когда Совет рабоче-крестьянской обороны принял решение о мобилизации партийных сил и рабочих для борьбы с махновщиной, он санкционировал превращение разросшейся бригады Махно в дивизию, а самого Махно утвердил в должности комдива, разумно полагая, что лишь человек, знающий оперативную обстановку, еще может спасти фронт от неминуемого краха. Немедленно последовал окрик Реввоенсовета Южфронта: «Развертывать непокорную, недисциплинированную бригаду в дивизию есть либо предательство, либо сумасшествие. Во всяком случае, подготовка новой григорьевщины» (1, т. 4, 305). Опять эта навязчивая мысль об измене!

Оправдываясь, Скачко отправил Южфронту телеграмму, читая которую, невольно поражаешься глубине цинизма, с которым относились к повстанческим частям даже самые доброжелательные люди из большевистского руководства: «Столкновение между махновщиной и коммунизмом рано или поздно неизбежно… Но Реввоенсовет 2-й армии убежден, что до тех пор… пока добровольческо-казачьи войска не будут оттеснены на Кубань, вожди махновщины не будут иметь возможности идти против советской власти с оружием в руках… Вся 2-я Украинская армия только и состоит сейчас из бригады Махно. Украинские части из других армий, все сплошь вышедшие из повстанческих отрядов, не пойдут против Махно. Для ликвидации Махно необходимо иметь не менее двух хорошо вооруженных полночисленных дивизий…» (1, т. 4, 306).

Скачко, быть может, был циничен, но зато честен: его совету можно было бы и внять. Но взвинченные Троцким большевистские военачальники, похоже, действительно потеряли чувство реальности. Южфронт требовал немедленно сместить Махно с поста комдива и заменить его, как раньше было задумано, товарищем Чикванайя. То, что смещение командира, с которым отряды партизан воевали с самой зимы и которому верили больше, чем всем большевикам, вместе взятым, неминуемо вызовет возмущение, никого, по-видимому, не смущало. Хотя не нужно было иметь семи пядей во лбу, чтобы

понять, что означала для крестьян-повстанцев фигура батьки.

Командующий Южфронтом Владимир Михайлович Гиттис, воспитанник юнкерского училища, в царской армии – полковник, этого понимать не желал. Его, как человека аккуратного, привыкшего к дисциплине и порядку старой армии, «психологические моменты» партизанской войны трогали не более, чем слезы нервной женщины. Он видел одно: на правом, нелюбимом фланге его фронта стоит доставшаяся ему в наследство от Антонова-Овсеенко, зараженная анархистским духом бригада, подозрительная ему. И он действовал так, как, наверное, действовал бы любой военачальник в условиях обычной войны: смещал подозрительного ему командира и ставил своего.

Война, однако ж, шла Гражданская. Поэтому, в ответ на повторные требования штаба Южного фронта сместить Махно, из штаба махновской дивизии 29 мая пришла вдруг совершенно неожиданная по дерзости телеграмма, адресованная, помимо В. М. Гиттиса, Раковскому, Ленину, Каменеву и Антонову-Овсеенко:

«…Все одиннадцать полков повстанцев, входящие в 1-ю повстанческую Украинскую дивизию, считают т. Махно своим наиболее близким и естественным вождем… Абсолютно достоверно, что с уходом т. Махно со своего поста целые бригады не примут ничьего другого командования. Несомненно, это отзовется губительным образом на фронте и тыле революции. Поэтому штаб 1-й повстанческой Украинской дивизии войск имени батько Махно постановил: 1) настоятельно предложил т. Махно остаться при своих обязанностях и полномочиях, которые т. Махно пытался было сложить с себя; 2) все одиннадцать вооруженных полков пехоты, два полка конницы, две ударные группы, артиллерийская бригада и другие технические вспомогательные части преобразовать в самостоятельную повстанческую армию, поручив руководство этой армией т. Махно. Армия является в оперативном отношении подчиненной Южфронту, поскольку оперативные приказы последнего будут исходить из живых потребностей революционного фронта. Все оперативные распоряжения повстанческой армии будут неукоснительно сообщаться всему командованию…» Штаб напомнил, что подозрительное отношение к партизанам недопустимо, и выразил надежду, что все недоразумения «могут и должны быть устранены товарищеским путем» (1, т. 4, 307–308).

«Товарищеский путь» немедленно сыскался. От Скачко потребовали арестовать Махно и предать суду трибунала, поскольку решение, принятое повстанческим штабом, квалифицировалось как оставление фронта. При этом Реввоенсовет Южфронта настоятельно предписывал принять все

возможные меры «для предупреждения возможности Махно избежать соответствующей кары» (1, т. 4, 308).

Конечно, с точки зрения формальной военной логики, декларация штаба махновской дивизии была недопустимым, мятежным вызовом. Но формальная логика не способна объяснить коллизии Гражданской войны. Декларация была ответом повстанцев на многомесячное унижение недоверием и подозрениями, мелочными придирками, закулисными играми. Сражавшиеся на фронте люди рассчитывали на человеческое к себе отношение. Они требовали уважения.

Пожалуй, из всех красных военачальников один только Антонов-Овсеенко сумел бы уладить этот конфликт. Но теперь соглашения с повстанцами уже никто не искал. Напротив, изыскивался повод для давления, подчинения их силой – именно поэтому любое колебание настроений в махновском штабе расценивалось как предательство. Дни самого Антонова-Овсеенко на посту командующего Украинским фронтом были сочтены. Для Троцкого он был слишком мягок, слишком интеллигентен, слишком много рассуждающ. Военные неудачи еще понизили его акции. Москва требовала от него немедленно, быстро и решительно закрыть прорыв во фронте – а закрывать было нечем: с трудом наскребли и бросили к Волновахе бригаду пехоты с артиллерией и бронепоезд «Ворошилов», но они были еще в пути. В конце концов Антонова-Овсеенко задергали так, что 31 мая он, не выдержав, отбил в Москву телеграмму: «Выполнить ваши приказания не могу. Делаю все, что могу, в понуканиях не нуждаюсь. Или доверие, или отставка» (1, т. 4, 311).

Конечно, и этот, по духу совершенно махновский, вопль был квалифицирован как дерзость. Язык взаимопонимания и доверия был утрачен: Украинскому фронту оставалось существовать две недели, 2-я армия была преобразована в 14-ю, Скачко смещен, вместо него поставлен командармом Ворошилов, который, дорвавшись до власти, на ином языке, кроме языка угроз и силы, с повстанцами разговаривать не хотел и не умел.

Близилась развязка. Троцкий, чье молчаливое присутствие, несомненно, повлияло на охвативший украинские верхи приступ ревностного классового служения – ибо в скользком мелкобуржуазном классе виделось ему гноище всех зол и болезней революции, – конечно, не представлял себе, какие силы сосредоточил к этому времени на фронте Деникин. Кажется поистине удивительным, что в обстановке надвигающейся катастрофы (а потеря всей Украины, безусловно, была поражением катастрофическим) народный комиссар по военным делам не придумал себе лучшего дела, чем изничтожение некоего

командира дивизии, войска которого, оплеванные и оболганные с головы до ног, с яростью отчаяния продолжали драться с противником. Собственно говоря, это была уже не дивизия: после недельного сражения возле Большого Токмака от нее остались какие-то кровавые ошметья, в которых, однако, еще продолжали путаться копыта казацких скакунов Кавказской дивизии Шкуро.

2 июня в своей поездной газетке «В пути» Троцкий опубликовал статью «Махновщина», через два дня перепечатанную харьковскими «Известиями». Написанная признанным мастером партийной пропаганды статья, состоящая, по сути дела, из одних пустых фраз, не могла роковым образом не сказаться на отношениях между союзниками. Видя вопрос в плане чисто теоретическом, Лев Давыдович тем не менее уверенно пропечатывал: «„Армия“ Махно – это худший вид партизанщины… Продовольствие, обмундирование, боевые припасы захватываются где попало, расходуются как попало. Сражается эта „армия“ тоже по вдохновению. Никаких приказов она не выполняет. Отдельные группы наступают, когда могут, т. е. когда нет серьезного сопротивления. А при первом крепком толчке неприятеля бросаются врассыпную, отдавая многочисленному врагу станции, города и военное имущество…»

Троцкому еще предстояло убедиться в обратном – вот единственное, что утешает, когда читаешь эту разнузданную ложь. Но что должны были чувствовать повстанцы, если писали про них: «Поскреби махновца – найдешь григорьевца. А чаще всего и скоблить-то не нужно: оголтелый, лающий на коммунистов кулак или мелкий спекулянт откровенно торчит наружу…» Это в окопах – мелкие спекулянты? Что должен был чувствовать Махно, если о нем сообщалось в открытую: «Если он не восстал вместе с Григорьевым, то только потому, что побоялся, понимая, очевидно, всю безнадежность открытого мятежа»? В каком, наконец, смысле должно было воспринимать вопрос, сформулированный председателем Реввоенсовета республики в конце статьи: «Мыслимо ли допустить на территории Советской республики существование вооруженных банд, которые объединяются вокруг атаманов и батек, не признают воли рабочего класса, захватывают, что хотят, и воюют, как хотят?» Такая постановка вопроса подразумевала только один ответ – отрицательный. И Троцкий, словно бы набрав полную грудь воздуху, выкрикивал его: «Нет, с этим анархо-кулацким развратом пора кончить, кончить твердо, раз навсегда, чтоб никому больше повадно не было!»

Пока настроение и политическая терминология этой наркомовской истерики овладевали умами и сердцами военных и

партийных работников, Лев Давыдович, как человек душевно гибкий, решил еще раз испытать Махно. 3 июня он позвонил в штаб Революционно-повстанческой армии и потребовал, чтобы она заняла дополнительно стокилометровый участок фронта от Славянска до Гришино. Махно опус Троцкого прочесть не успел, а потому не по злобе, а по-честному, по-военному сказал, что сделать этого не сможет. Если быть объективным, то придется признать, что говорил он сущую правду, ибо не может одна дивизия держать двести километров фронта.

Троцкий, быть может, не столько был взбешен этим отказом, сколько известием о том, что на 15 июня в Гуляй-Поле назначен очередной съезд махновских «вольных советов». Махно созывал его, чтобы объявить мобилизацию перед лицом деникинского нашествия – он чувствовал, что его бросили, хотя и не знал еще, что предали. Большевики же не сомневались, что на съезде повстанцы вновь поднимут земельный вопрос – а это было уже слишком…

С этого момента начинается череда событий, не всегда ложащихся в один ряд, как поступки душевнобольного, которым руководят разные, часто противоречащие друг другу порывы. Так оно и было на самом деле, ибо, если поначалу большевиками владело лишь навязчивое желание расправиться с Махно, то потом к нему все в большей мере стал примешиваться страх, ужас от чудовищного военного поражения. Объявленные Н. И. Подвойским мобилизации не удались, а те немногочисленные отряды, которые удалось собрать, вмиг были уничтожены белыми. По сути, кроме махновцев, белое наступление никто не сдерживал. Немногочисленные и только еще формирующиеся отряды 14-й армии были у них в тылу. Поэтому, когда выяснилось, что опасность отнюдь не в махновщине, что никакого мятежа нет, а есть провал фронта, за который придется отвечать лично и по всей строгости военного времени, Махно сначала захотели заставить сражаться, а потом просто стали валить на него, что ни попадя – чтоб виноватым вышел «чужой».

3 июня, поговорив с Махно и сделав для себя окончательные выводы, Троцкий направил Раковскому подробные рекомендации по борьбе с махновщиной: «Махновцы созывают съезд нескольких уездов Гуляй-Поля с целью борьбы против коммунистической советской власти. Ясно, что в данных условиях съезд является открытой подготовкой мятежа в полосе фронта. Помимо мер военного характера, относительно коих уже сделаны соответствующие распоряжения, необходимы были бы меры политического характера…» (12, 105). Когда-то советская власть замышлялась теоретиками большевизма как самое широкое

самоуправление народа. Ленину в «Государстве и Революции» и в голову не приходит назвать ее «коммунистической». Но прошло чуть больше года революции и Гражданской войны – и в России было повсеместно проведено «обольшевичивание» Советов. Так партии проще было управлять народом. Троцкий экспортировал российский политический опыт на Украину – и, разумеется, ересь «вольных советов», где, может быть, большевиков вообще не было, терпеть не желал.

4 июня был упразднен Украинский фронт. Относительно Махно Троцкий издает знаменитый приказ № 1824, запрещавший махновский съезд, который «целиком направлен против Советской власти и против организации Южного фронта… Результатом съезда может быть только новый безобразный мятеж в духе григорьевского и открытие фронта белогвардейцам, перед которыми бригада Махно отступает в силу неспособности, преступности и предательства своих командиров». Делегатов и распространителей воззваний съезда вменялось арестовывать и судить трибуналом 14-й армии.

Новоиспеченный командарм—14 Ворошилов в поддержку Троцкого написал свой приказ № 1, которым тоже запрещал проведение каких-либо съездов в районе дислокации вверенных ему войск, а также под угрозой расстрела – переход бойцов своей армии в дивизию Махно.

Текст приказов в штаб Махно не поступал; о них узнали дня через три, по-видимому, из тех же «Известий», где они были опубликованы. Но за эти три дня для Махно все изменилось. Он еще ничего не знал, но он уже был преступником, объявленным вне закона. Он не мог знать о заседании Всеукраинского ЦИКа Советов и Совета рабоче-крестьянской обороны, которые вновь и вновь объявляли незаконным гуляйпольский съезд. Но в конце концов и приказы, и лихая передовая харьковских «Известий» с призывом употребить «каленое железо» (5 июня 1919 г.), и, наконец, последовавший 6 июня призыв председателя Совнаркома Украины Раковского обрушить на руководителей кулацкой контрреволюции меч красного террора должны были стать известными ему.

Того же 6 июня белоказаки прорвались в район Гуляй-Поля и под Святодуховкой начисто вырубили крестьянский полк, выступивший им навстречу во главе с путиловцем Борисом Веретельниковым, погибшим в этом бою. В тот же день на станции Цареконстантиновка Махно провел совещание командиров. Узнав о предательстве большевиков, часть – левые эсеры и анархисты – предложила открыто выступить против них. Старые повстанцы из крестьян воспротивились, зная, что несет им

деникинское нашествие. Что делать, было не ясно. Вскоре после заседания штаба группа «набатовцев» во главе с Аршиновым покинула Повстанческую армию, пообещав, что всеми доступными средствами пропаганды будет распространять правду о махновском движении. Под такое дело батька дал им в дорогу денег. Вскоре от армии откололась и группа боевиков из контрразведки Черняка, которые предполагали, разделившись на три группы, совершить ряд террористических актов – взорвать харьковскую Чека, убить Колчака и Деникина. Потребовали 700 тысяч рублей. Махно дал. Часть харьковской группы всплыла потом в Москве, среди «анархистов подполья», «колчаковцы» затерялись где-то, «деникинцы» частью погибли – во всяком случае, бывшая среди них Маруся Никифорова была схвачена белой контрразведкой в Крыму и повешена в Симферополе.

7 июня отчаянной атакой Махно отбил у белых Гуляй-Поле. По-видимому, к этому дню масштабы белогвардейского наступления начали, наконец, обрисовываться перед красным командованием, и злорадство по поводу разгрома анархо-кулацких отрядов все чаще стало перемежаться у военных чиновников приступами страха. К Махно вдруг на прославленном бронепоезде «Руднев» выехали Ворошилов и Межлаук, отправив телеграмму, чтобы держался до последнего. В бронепоезде был создан совместный штаб махновцев и 14-й армии. Поскольку Ворошилов был генералом без армии (он, если помним, принял под свое командование 2-ю армию Скачко, которая, по собственному признанию командарма, только и состояла из бригады Махно), то план его, по-видимому, был прост: устранив Махно и наиболее ретивых его командиров, подчинить себе оставшиеся партизанские части. Вопрос: виделся ли Махно с Ворошиловым, а если виделся, почему тот не убил его? Может быть, момент был неподходящий. Во всяком случае, у Махно было много поводов для подозрений в том, что игра ведется нечисто. Вышел приказ Троцкого № 105 – «Перебежчикам к Махно – расстрел». Восьмого числа – новый приказ: «Конец махновщине!» – в котором махновцы объявлялись главными виновниками ни для кого уже не тайного разгрома красного фронта:

«Кто является виновником наших последних неудач на Южном фронте и в особенности в Донецком бассейне?

Махновцы и махновщина».

Со злорадством: «Махновские части оказались совершенно небоеспособными, и конные белогвардейцы гнали их перед собой, как стадо баранов».

Лживо: центральная советская власть наведет порядок в гнилых местах и уже направила для этой цели в район

махновщины «надежные честные воинские части». «Махновщина ликвидируется».

Махно знал, что ликвидируется: сначала «надежные части» разгромили сельхозкоммуну имени Розы Люксембург, избив крестьянина-председателя Кирьякова, а через несколько дней пришли деникинцы – и расстреляли его.

Он понимал, конечно, что так дело для него добром не кончится. Но он не знал, где выход. В эти дни он казался подавленным, совершенно лишенным воли к действию. Красный комбриг Е. Брашнев в очерке «Партизанщина» вспоминал, что застал Махно одного в пустом штабе в Гуляй-Поле: он не знал, где его войска, взирал на пришедших с равнодушным недоумением… Брашнев жалел, что не убил тогда Махно. Но в тот момент он казался слишком жалким.

Между тем тот, по-видимому, решал, что ему все-таки делать. В том, что после всего случившегося его непременно расстреляют, он, как человек неглупый, конечно, не сомневался. Он не хотел, чтоб его расстреливали, и стремился оставить за собою место революционера. Для этого у него был только один шанс: играть без правил. Не подчиняться судьбе. Вновь начинать партизанскую войну на свой страх и риск. 9 июня со станции Гайчур он отправляет Троцкому (копии Каменеву, Ленину, Зиновьеву) два длинных послания, прося освободить его от командования дивизией и одновременно пытаясь воззвать к революционной совести своих предполагаемых адресатов. Его слова полны горечи:

«Я прекрасно понимаю отношение ко мне центральной власти. Я абсолютно уверен, что эта власть считает повстанческое движение несовместимым с ее государственной деятельностью. Она полагает также, что это движение связано лично со мной…

Это враждебное отношение – которое теперь становится агрессивным – центральной власти к повстанческому движению неизбежно ведет к созданию внутреннего фронта, по обе стороны которого будут трудящиеся массы, верящие в революцию.

Я считаю это величайшим, непростительным преступлением в отношении трудящихся и считаю своим долгом сделать все, чтобы избежать этого.

Самое простое средство для центральных властей избежать этого преступления заключается, на мой взгляд, в следующем: нужно, чтобы я покинул свой пост…» (95, 573).

В другом месте он поясняет:

«…Несмотря на то, что я с повстанцами вел борьбу исключительно с белогвардейскими бандами Деникина, проповедуя народу лишь любовь к свободе, к самодеятельности –

вся официальная советская пресса… распространяла обо мне ложные сведения, недостойные революционера… Троцкий в статье под названием „Махновщина“… доказывает, что махновщина есть, в сущности, фронт против советской власти, и ни слова не говорит о фактическом белогвардейском фронте, растянувшемся более чем на сто верст, на котором, в течение шести с лишним месяцев, повстанчество несло и несет неисчислимые жертвы…

Я считаю неотъемлемым, революцией завоеванным правом рабочих и крестьян самим устраивать съезды для обсуждения как общих, так и частных дел своих. Поэтому запрещение таких съездов центральной властью есть прямое наглое нарушение прав трудящихся» (2, 126).

Выговорившись, Махно опять просит освободить себя от обязанностей командира дивизии и выражает надежду, что «после этого центральная власть перестанет подозревать меня, а также все революционное повстанчество в противосоветском заговоре и – отнесется к повстанчеству на Украине как к живому, активному действию массовой социальной революции, а не как к враждебному стану, с которым до сих пор вступали в двусмысленные подозрительные отношения, торгуясь из-за каждого патрона…» (2, 127).

Получив, благодаря телеграмме, координаты Махно, Ворошилов приказал двинуть свой бронепоезд на станцию Гайчур. Однако заманить Махно в бронепоезд Ворошилову так и не удалось. Он выжидал. В результате выжидания бронепоезд был окружен белыми. Как писал Махно в книжке «Махновщина и ее вчерашние союзники – большевики», ему пришлось выручать своих «палачей» из западни, для этого ударив в тыл белым небольшим конным отрядом при четырех пулеметах. Ворошилов через ординарца Махно рассыпался в изъявлениях благодарности и передал батьке послание, в котором опять, как ни в чем не бывало, просил навестить-таки его в бронепоезде и обсудить план совместных действий. Махно ответил, что ему известен приказ Троцкого и та роль, которая отведена в реализации этого приказа Ворошилову. Поэтому от визита в бронепоезд он отказался, но сообщил о своих планах: с рейдовой группой проникнуть в глубокий тыл Деникина и опустошить его. Письмо было подписано: «Ваш старый друг в борьбе за торжество революции».

Махно, конечно, хитрил, смиренной речью послушника и скромнеца, добровольно устраняющегося от политики, усыпляя бдительность тех, кто послан был уничтожить его. Внезапно с отрядом всадников в несколько сот человек – в основном старых повстанцев 1918 года – он появился в Александровске и

официально сдал дела дивизии. Председатель александровского исполкома Н. Гоппе попросил было его прикрыть город, но Махно сказал, что на это у него нет времени. Схватить его никто не решился, да и не пытался.

Отряд ушел за Днепр, на правый берег, в тыл – но к красным. Через несколько дней комдив Дыбенко получил неожиданный и дикий приказ от своего бывшего подчиненного: оставить Никополь. Это был вызов. Махно ничего не забыл и не простил большевикам предательства. 15 июня, выступая перед повстанцами, ушедшими вместе с ним, Махно договорил то, чего не сказал ни Троцкому, ни Ленину: «…Вопреки желанию Троцкого – толкнуть нас в объятия Деникина – мы выдержали экзамен блестяще. Окруженные трибуналами, которые нас расстреливают, не имея патронов и снарядов, мы… продвигались вперед. Однако так продолжаться больше не должно… ибо немыслимо умирать на фронте, когда в тылу расстреливают. Мы вышли из подполья и посмей трибунал арестовать кого из нас – мы закатим такую истерику, что задрожит и Киев. Довольно сентиментальности: надо действовать, да так, чтобы красный фронт разыграть в пользу повстанчества…» (12, 112). Мало кто понял глубинный смысл речи, которую он говорил. Но он как-то почуял, что его звездный час еще впереди, что он уведет Красную армию под свои знамена и «разыграет» красный фронт…

Узнав, что Махно улизнул, Ворошилов не сдержал злобы: 15 июня в бронепоезде «Руднев» были схвачены члены штаба Махно Бурбыга и Михалев-Павленко и 17 июня, как изменники, казнены в Харькове. Несколько дней ревтрибунал 14-й армии работал на станции Синельниково: первые жертвы красного террора не превышали нескольких десятков человек. Правда, среди них оказался ни в чем не повинный политкомиссар махновской бригады Озеров, присланный в штаб Антоновым-Овсеенко. 25 июня ревтрибунал судил его и приговорил к расстрелу: за все свои стратегические просчеты революционные вожди сполна рассчитались со своими подчиненными…

Венчала этот список позорных дел еще одна газетная кампания, развязанная в Москве в ведомственной газете Троцкого – «Известиях народного комиссариата по военным делам», с целью соответственного поднесения столичному общественному мнению боевых неудач Красной армии. Здесь, в Москве, далекой от украинских проблем, Махно было можно обвинять во всем, в чем угодно. 25 июня некий Иринарх Зюзя изобличал бывшего комдива Махно не только в предательстве, но и в том, что он своими прежними успехами способствовал концентрации сил противника.

В том же духе и в той же стилистике было выдержано еще несколько публикаций: «Деникин был на краю гибели, от которой его могли отделять всего несколько дней, но он хорошо угадал кризис партизанщины и накипь кипения кулаков и дезертиров…» (27 июня 1919 г.).

После этого стоит ли говорить, что Махно обвинялся в прямом сговоре со Шкуро и в отказе сражаться?

7 июля прорезался, наконец, спокойный, уверенный голос вдохновителя пропагандистской кампании, которому нужно было спихнуть на партизан украинскую катастрофу, масштабы которой с каждым днем внушали в столице все больший ужас. Нарком по военным делам товарищ Троцкий в тоне, приличествующем не газетной шавке, но государственному деятелю, взвешенно заключал: «Всесильные на грабеж, махновцы оказались бессильными против регулярных частей…» В этой фразе, если вдуматься, задана тема для всех последующих фальсификаций, всех исторических неправд о Махно.

Товарищ Троцкий не хотел брать на себя ответственность за разгром. Товарищ Троцкий оставался чист.

Сдержать белогвардейское наступление все это, естественно, не могло. Разгром был полный. А. И. Деникин со сдержанной гордостью вспоминал это время: «Кавказская дивизия корпуса Шкуро разбила Махно под Гуляй-Полем и, двинутая затем на север к Екатеринославу, в ряде боев разбила и погнала к Днепру Ворошилова… Опрокидывая противника и не давая ему опомниться, войска эти прошли за месяц 300 с лишним верст. Терцы Топоркова 1 июня (13-го н. ст.) захватили Купянск; к 11-му (24), обойдя Харьков с севера и северо-запада, отрезали сообщения харьковской группы большевиков на Ворожбу и Брянск и уничтожили несколько эшелонов подходящих подкреплений… Правая колонна ген. Кутепова 10 (23) июня внезапным налетом захватила Белгород, отрезав сообщение Харькова с Курском. А 11-го (24), после пятидневных боев на подступах к Харькову, левая колонна его ворвалась в город и после ожесточенного уличного боя заняла его.

16 (29) июня закончилось очищение Крыма, а к концу месяца мы овладели и всем нижним течением Днепра до Екатеринослава, который был захвачен уже 16 (29) числа по собственной инициативе ген. Шкуро.

Разгром противника на этом фронте был полный, трофеи наши неисчислимы…» (17, 104–106).

Как видим, для командующего Вооруженными силами Юга России разгром Махно представлялся лишь частностью в очень крупномасштабной операции, а не ключевым моментом, предопределившим развал Украинского и Южного фронтов, и уж тем более не предательством, каким бы хотелось объяснить этот развал Троцкому. Однако наркомвоенмор, будучи верен себе, продолжал отыскивать виноватых и клеймил на этот раз 13-ю армию А. И. Геккера: «Армия находится в состоянии полного упадка. Боевая способность частей пала до последней степени. Случаи бессмысленной паники наблюдаются на каждом шагу. Шкурничество процветает…» Впрочем, не без сарказма добавляет к этому Деникин, все сказанное в равной мере могло быть отнесено к 8, 9, 14-й армиям (17, 106).

Крымская армия Дыбенко, столкнувшись с высадившимся в районе Коктебеля белогвардейским десантом генерала Слащева, тоже очень быстро потеряла боеспособность и стала попросту разбегаться. «Сил, действительно революционных, оказалось не так уж много, – с горечью констатирует современник. – А присосавшийся для наживы элемент побежал, увлекая за собой и

сознательную массу» (37, 199). По Херсонской губернии, куда изливался поток бегущих из Крыма, слонялись банды дезертиров, получивших среди крестьян насмешливое название «житомирские полки» – за то, что они коротали время, скрываясь в жите, во ржи, промышляя грабежом и убийством. К ним присоединились, почувствовав гнильцу и неопределенность момента, местные криворожские бандиты, руководимые знаменитыми Скляром и Сидором, прозванным за свой огромный рост «полтора Сидора»: «Это был зверь в образе человека, он мало того, что убивал, но вырезывал сердце, такую операцию он проделал на станции Белая Криница над одним матросом и одним красноармейцем латышского батальона» (37, 199). В той же Белой Кринице «полтора Сидора» был все же схвачен красными и убит.

Вообще, на Украине творилось что-то невообразимое: вслед за красноармейцами и бывшими махновцами, сведенными в 58-ю стрелковую дивизию, шли толпы беженцев (большинство этих людей погибли в страшном 1919 году, но пока что они были живы и, как всякие живые люди, хотели есть и пить и, главное, хотели уцелеть и спасти близких). Жара в то лето стояла невыносимая, над дорогами тонкой кисеей висела бурая пыль. Кичкасский мост через Днепр был забит толпами людей и гуртами скота; иногда появлялись битые, потерявшие всякое представление о ситуации на фронтах красноармейские части, требовали пропустить за Днепр немедленно, вклинивались в гущу людей: орали бабы, ревели быки, скрежетали орудия…

Наводить порядок на переправах выезжал сам Дыбенко, внушал ужас: описано, как командира какой-то растерявшейся части он на глазах народа, не разбираясь, как и что, для примеру оборав, застрелил. Другого – тому повезло, оказался «братишка», матрос, – помиловал. Велел только развернуть людей на сто восемьдесят градусов и топать обратно, и, протопав километров пятьдесят или сто, окапываться и держать там позицию. В общем, послал на гибель – обычный грех, сопутствующий любому отступлению, когда верхи, потеряв контроль над ситуацией, бросают людей в огонь, чтоб получить хоть минутную передышку.

Спас Днепр – естественная водная преграда, преодолеть которую с наскоку белым было невозможно. Выстроив по Днепру линию обороны, красное командование спешило прежде всего разделаться с остатками партизанщины и выжечь, если таковой наличествовал, всякий дух своеволия. Степан Дыбец (из члена бердянского ревкома превратившийся в комиссара боевого участка от Херсона до Грушевки) упоминает, в частности, как пришлось разоружить мелитопольский полк, проявлявший явное своеволие и открытое нежелание вписываться в структуру

большевистской армии. Но в целом повстанцы Махно показали себя бойцами надежными и хладнокровными: говорить, что именно они спасли фронт от полного развала, как делают апологеты Махно, конечно, глупо; но то, что дрались не за страх, а за совесть, то, что спасали, – не подлежит никакому сомнению. Об отношении к себе деникинцев бывшие партизаны никаких иллюзий не питали – те их считали скотом, взбунтовавшимся быдлом, достойным самого жестокого наказания. И как бы ни были мягки, как бы ни были проникнуты отвращением к большевистскому произволу и насилию «Очерки русской смуты» А. И. Деникина, доблестные войска его, занимая пораженные «краснотой» районы, творили те же произвол и насилие, третируя фабричное население и прочий мелкотравчатый элемент, возомнивший себя хозяином земли, и уж совсем не сдерживались в таких проклятых перед Богом, Царем и Отечеством местах, как Гуляй-Поле. Здесь был учинен жесточайший погром: жгли дома махновцев и евреев, издевались, расстреливали; более 800 гуляйпольских евреек, вполне в духе петлюровцев, были изнасилованы казаками Шкуро. Жену батькиного брата Саввы Федору, прежде чем расстрелять, господа офицеры долго и вдумчиво пытали: били, кололи штыками, отрезали ей грудь. Сельхозкоммуны были разгромлены; земля и инвентарь опять возвращены прежним владельцам.

Несмотря на это, красные бывших махновцев все равно подозревали: если не в намерении изменить, то, так или иначе, в чем-то нехорошем. В этом отношении наиболее показательна судьба Василия Куриленко – одного из самых смелых и талантливых махновских командиров, которого не только некоторые дальновидные большевики старались залучить к себе, но который и сам, в общем-то, чем дальше, тем больше, склонялся – если можно так сказать – не к партизанчеству, а к красноармейчеству.

Степан Дыбец утверждает, что еще в период боев на повстанческом фронте Куриленко, командовавший Новоспасовским (по названию деревни) полком, намекал ему, что, зная бердянский ревком как солидных людей, он бы охотнее работал с ними, чем с Махно. Когда же Махно оставил командование дивизией, руки у Куриленко оказались развязаны, и он, ничуть не артачась, подчинился красному командованию и справно занялся обороной отведенного ему боевого участка. Испортил отношения с Куриленко опять же Дыбенко, продолжавший числиться командующим фактически более не существующей Крымской армии и потерявший пост наркомвоенмора Крымской советской социалистической

республики, поскольку таковая была упразднена белыми. Неудачи военной и политической карьеры, неотступно преследовавшие Дыбенко со времени разгрома под Нарвой в 1918 году, досадовали его необыкновенно, и он ездил по фронту в чрезвычайном раздражении. Приехав вместе с Дыбецом в Новоспасовский полк, он, зная о причастности полка к махновщине, по ничтожному поводу устроил командиру Куриленко дикую выволочку перед строем бойцов (вспомним вскользь, что Дыбенко, хоть и бородатому, было тогда всего только тридцать годков, а он уже был шишка, номенклатура; Куриленко же было порядка двадцати восьми, но он был так себе, партизанский командир, которого можно было не только унижать безнаказанно, но и в порошок стереть в два счета). Куриленко все же не сдержался и отвечал партийному «генералу» довольно резко. Дыбенко приказал: отстранить Куриленко от командования полком и направить к нему в штаб в Никополь. Практически это был смертный приговор. Все понимали это. Знавшие Куриленко командиры Красной армии решили его не уступать и оставить командовать полком, надеясь, что дело забудется. Не тут-то было! Однажды, просматривая перечень полков, занимавших линию обороны по Днепру, Дыбенко вновь наткнулся на фамилию бывшего махновца и, вспомнив его дерзость, повторил вызов.

Дыбец не хотел терять Куриленко. Решено было на время спрятать его в штабе боевого участка. Куриленко вызвали в штаб. Он приехал, сопровождаемый эскадроном: иначе полк не отпускал.

Куриленко сказал, что еще пригодится Красной армии.

Сказал, что выполнит любой приказ, но к Дыбенко не поедет, ибо не хочет умирать униженно и зря.

Дыбец вышел к эскадрону и объявил о своем решении оставить пока Куриленко при штабе. Как комиссар, он должен был военную демонстрацию полка пресечь и осудить, и он сделал это: «Забирайте свой эскадрон, чтоб этой демонстрацией и не пахло. Понятно? И не вздумайте еще когда-нибудь нас припугнуть. Так легко вам это не сойдет…»

Люди выслушали комиссара. Люди сказали:

– Ты понимаешь, Дыбец, угроза тут неуместна, мы люди военные, но если что-нибудь с ним случится, с тебя будем спрашивать. Ты не обижайся. Но только таких, как Куриленко, у нас мало. Имей в виду, что твои приказы будут выполнены. Но не дай Бог выйдет какой случай с Куриленко. Не дай Бог нам его потерять… (5, 98).

Оказавшись в безопасности при штабе (из списка командиров полков Куриленко выбыл, а списками штабных Дыбенко не

располагал), Куриленко, однако, стал томиться такою лютой тоской, что просил его либо расстрелять, либо дать ему хоть какое-нибудь дело. Ему поручили сформировать кавалерийский полк: ни людей, ни лошадей, ни оружия не дав при этом. Через неделю он привел полк в пятьсот человек, в конном строю, с мешками вместо седел, с пиками вместо сабель. Просил дать ему боевой участок, чтобы можно было отбить у белых лошадей и оружие.

Лучше всего характеризует Куриленко блистательно рассказанный Дыбецом эпизод проверки им присланного в полк комиссара. Куриленко интересовало: доверяют ли красные ему, что за птицу прислали – соглядатая или помощника, бойца или труса. Вместе с новым комиссаром Куриленко объехал эскадроны. Потом поинтересовался: «Может быть, у тебя, комиссар, есть замечания?

– Нет, обойдусь без замечаний. Ты же опытный полковой командир. Поработаю, позабочусь о бойцах, чтоб они бодро жили.

– Правильные слова. Теперь еще одно к тебе дело. Прикинька, какое тут расстояние до следующего села?

– Черт его знает. Пожалуй, верст пять-шесть.

– И это правильно. Глаз у тебя хороший. В бинокль на село хочешь посмотреть?

– Давай.

– Казачий разъезд видишь?

– Вижу.

– И я видел. А теперь едем туда молоко пить» (5, 115). Куриленко стегнул свою лошадь. Комиссару ничего не оставалось, как ехать за ним. Они подъехали к ближайшей хате – а казачий разъезд был в другом конце села, – попросили у бабы молока. Внезапно подскакал казак:

– Откуда вы? Какой части?

– А ты какой части? Вижу, что донец. – Разговаривая, Куриленко попивает молоко. – Много вас тут? Сотня где стоит?

– Там-то.

– А кто командир сотни?

– Такой-то.

– Ага, я так и думал. Поворачивай и доложи своему командиру, что приезжал в гости молоко пить красный полковой командир Куриленко. Понял, что я тебе говорю? (5, 116).

Покончив с молоком, Куриленко достал маузер:

– Если не поедешь докладывать, стреляю.

Казак сорвался прочь, а Куриленко с комиссаром хорошей рысцой поскакал в другую сторону. Комиссар ему понравился.

Рассказанная Степаном Дыбецом и записанная Александром

Беком история поистине романтична, полна особого очарования того беспощадного времени. Проникнувшись им, читатель захочет, может быть, узнать продолжение, захочет узнать, что стало с этим бравым человеком, как кончил он свой путь – стал славным красным командиром или злая казацкая пуля сразила его во цвете лет и силы? Нет. Слушай, читатель, то, чего недосказал Александр Бек: Василий Куриленко был зарублен в кровавом бою с красными в ночь на 8 июля 1921 года, после того как махновцы, уходя от преследования, прошли «изгородь» из пяти бронепоездов на линии Константиноград—Лозовая, вырвались из полного окружения возле деревни Константиновка и, разделившись на части, пытались уйти от погони. На хуторе Марьевка часть махновцев была истреботрядом «настигнута и изрублена», и среди них погиб «известный атаман» Василий Куриленко, в прошлом красный командир. Воистину – во время Гражданской войны неисповедимы пути Господа Бога нашего…

Кто бы, к примеру, мог предположить, что Махно уничтожит атамана Григорьева? Положительно, никто. Встречи двух атаманов боялись как огня, полагая, что она закончится невиданным сговором против советской власти. Но тогда, когда ее ждали, она не произошла, а когда произошла – вытанцевалось все иначе, чем представлялось и красным, и Григорьеву, видевшему в Махно нерешительного союзника, которого должно было несколько взбодрить объявление вне закона.

Однако последовательно. Пройдя, после заочного обмена любезностями с Ворошиловым, с отрядом своих повстанцев через Александровск и не обращая внимания на настойчивые мольбы предгубисполкома товарища Гоппе защитить город от белых, Махно перешел на правый берег Днепра и углубился в пустоватое пространство красного тыла, совсем еще недавно выжженного григорьевским восстанием, – в пространство, где по деревням еще шатались атаманские недобитки, а в городах стояли красные гарнизоны, прочие же части после подавления мятежа были двинуты против Деникина. Этот урок – передышки в сравнительно глубоком красном или белом тылу, когда воюющие стороны скованы напряженной борьбой и не могут позволить себе роскошь отвлекаться на рейдирующий позади фронта партизанский отряд, – Махно усвоил прекрасно. Впрочем, он все же напомнил большевикам о себе, совершив внезапный налет на Елисаветград – с целью освобождения из местной тюрьмы заключенных там махновцев и анархистов, но налет закончился неудачей, гарнизон города мужественно защищался, и махновцы отскочили сильно потрепанными. Это был первый открытый выпад против недавних союзников.

Вообще же в это время – хоть счет шел буквально на часы и отряд находился в постоянном движении, шли на тачанках, останавливаясь на отдых на три-четыре ночных часа, – Махно проявляет некоторую нерешительность. Разрыв с большевиками его, пожалуй, травмировал. К тому же, перейдя с левого берега Днепра на правый, он оказался оторванным от своего района и вступал на территорию, контролируемую Григорьевым, который, несмотря на разгром и обещанную за его голову награду в полмиллиона рублей, все еще не был пойман и продолжал трепать красных уцелевшими небольшими отрядами. Теперь уже Махно нельзя было избежать встречи с мятежным атаманом. Встреча произошла в конце июня возле села Петрово, километрах в шестидесяти от линии фронта. О подробностях ее мы знаем из показаний Алексея Чубенко, которые тот дал ГПУ в 1920 году. Проверить их невозможно, сравнить не с чем. Поэтому вопрос – доверять ли целиком или принять как некую условную, приемлемую для ГПУ версию событий – остается проблемой для каждого читателя. Раздражают постоянные – нужные ГПУ и большевистской пропаганде – упоминания Чубенко о пьянстве Махно и членов его штаба. Он явно подчеркивает – это заметит внимательный читатель – эту особенность фронтового быта, явно выпячивает ее, хотя пили и в красных, и в белых штабах, и не только пили: в ход шел и кокаин, огромные партии которого ходили по России в это время. Согласно Чубенко, Григорьев приехал к Махно с тремя приближенными. Войдя в штаб Махно, первым делом спросил:

– А у вас тут жидов нет? Ему кто-то ответил, что есть.

– Так будем бить, – усмехнувшись, сказал Григорьев. «В это время подошел Махно и разговор Григорьева был прерван» (40, 79). Могла ли состояться подобная интерлюдия? В принципе, могла. Григорьев политических пристрастий четких не имел: он был военный, выскочка, выдвиженец войны, он, как Махно, не сидел шесть лет в кандалах за политику. Ища опоры и понимания в народе, он эксплуатировал самые темные его инстинкты – ненависть к евреям, которая была делом давним, а теперь вот подогревалась еще причастностью евреев к делам новой власти, к большевикам. Вот если бы эти слова были вложены в уста Махно, это была бы стопроцентная ложь. Послушаем, однако, что далее показывает Чубенко.

Махно и Григорьев поговорили об «Универсале» – обращении Григорьева к народу. Махно сказал, что кое с чем не согласен, но в целом хотя бы видимость взаимопонимания была достигнута, поскольку тут же было созвано совещание по объединению сил. «Махно задал вопрос: „Кого мы будем бить? Коммунистов?“

Григорьев отвечал: „Будем Петлюру бить“. Махно говорил, „что будем Деникина бить“, но Григорьев вдруг уперся, заявив, что Петлюру и коммунистов он знает, а Деникина не знает и ничего против него не имеет» (40, 79). Если рассказанное правда, то это поистине забавно: каждый атаман выражал готовность биться только с тем противником, которого «знал лично». Несколько раз то григорьевцы, то махновцы выходили посовещаться. Поначалу 7 из 11 махновцев были за то, чтобы с Григорьевым не соединяться, а немедленно его расстрелять. Махно, однако, настаивал на объединении, говоря, что григорьевские повстанцы – жертвы обмана, а Григорьева расстрелять всегда успеется. В результате 9 из 11 проголосовали за объединение. Когда Аршинов, склонный изображать Махно революционным рыцарем без страха и упрека, пишет, что Махно с самого начала хотел убить Григорьева и все эти переговоры затеял только как камуфляж для этого убийства, он, в данном случае, исторической правды не выдерживает. Григорьев был нужен Махно. Убить Григорьева – значило обратить против себя его людей, а у Махно было слишком мало сил, чтоб отбиваться. Он явно хитрил. Батька решился на этот новый альянс, чтобы посмотреть, что получится. Зачем был Махно Григорьеву? Вероятно, он нужен был Григорьеву для того, чтобы своею физиономией как-то обозначить политическое лицо движения, лично у Григорьева совершенно стершееся во время мятежа, и придать партизанской борьбе идейный смысл, которого, как Григорьев сам понимал, явно недоставало.

Был образован совместный штаб. Григорьев был назначен командующим всеми вооруженными силами, а Махно – председателем Реввоенсовета, которому командующий подчинялся. Начштаба стал брат Махно Григорий, начальником снабжения армии – григорьевец, начальником оперативной части – снова махновец.

Союз, однако, получился некрепким: махновцы сразу заметили «кулацкую ориентацию» Григорьева, что не нравилось ни бойцам, ни командирам, ни анархистам из штаба: избивает евреев, грабит русских, разоряет крестьянские кооперативы, не гнушаясь поборами с бедняков, благоволит к кулакам, у которых если что и забирает, то только за плату… Махновцы, возросшие и окрепшие на экспроприации кулачества, к такому не привыкли. В «вольном районе» ничего подобного не водилось. Докладывали Махно и о недоразумениях более серьезных: о том, как Григорьев расстрелял махновца, который ругал попа и украл у него с огорода пучок луку, о том, как Григорьев втихую одному помещику отправил пулемет, два ящика патронов, винтовки и обмундирование на несколько человек, о том, как в районе

Плетеного Ташлыка Григорьев в очередной раз уклонился от боя со шкуровцами, мотивируя отступательный маневр слабостью сил… Махно выслушивал, но до поры молчал. За месяц сотрудничества с Григорьевым он понял, что союз этот ему невыгоден. Политически Григорьев был деградант и авантюрист, от этого страдала репутация армии. Махно понимал, что поднять крестьян могут только революционные – хотя и не большевистские – лозунги. Григорьев начинал мешать ему. Однако, чтобы убрать Григорьева, нужен был повод более значительный, чем расстрел повстанца, укравшего лук у попа, и предполагаемое сочувствие белым: устранение Григорьева должно было быть понято его людьми – иначе дело могло обернуться междоусобицей. Но тут случай помог Махно: в конце июля повстанцы захватили двух подозрительных людей, которые, будучи представлены в штаб, хотели видеть самого Григорьева. «Махно назвался Григорьевым, и тогда один из них вынул письмо от командования белой армии, отправленное Григорьеву. Махно расстрелял парламентеров, а его штаб в тот же день за обедом, распивая самогонку, решил расстрелять Григорьева» (40, 81). Повод был хорош.

Вечером того же дня, 27 июля, в селе Сентове состоялся большой митинг – Аршинов вообще называет его «съездом повстанцев Екатеринославщины, Херсонщины и Таврии», утверждая, явно преувеличенно, что присутствовало около 20 тысяч человек. Григорьев выступал первым и призвал бороться с большевиками любыми средствами, в союзе с кем угодно – имея в виду, очевидно, белых. Местные крестьяне, однако, большого энтузиазма не проявили, да и вообще бросалось в глаза их нежелание записываться в Повстанческую армию – из-за того, что григорьевцы и махновцы разбили крестьянский кооператив. Настал решительный момент. Чубенко выступил и назвал Григорьева контрой и царским слугою, у которого в глазах «до сих пор блестят его золотые погоны» (40, 81).

Григорьев вскинулся. Махно удержал его.

– Пусть говорит, – сказал он. – Мы с него спросим. После выступления Чубенко направился в помещение сельского Совета, за ним двинулись Григорьев с телохранителем, Махно, Каретников, Троян, Лепетченко, Колесник. Незаметно Чубенко изготовил на боевой взвод свой револьвер «библей».

Григорьев, видимо, ничего не подозревал. Он тоже был вооружен: двумя револьверами системы «парабеллум», один из которых висел в кобуре у пояса, а другой, привязанный ремешком к поясу, был заткнут за голенище.

– Ну, сударь, дайте объяснение, на основании чего вы

говорили это крестьянам? – обратился он к Чубенко.

Тот с холодной беспощадностью изложил атаману все его прегрешения: и бесплатные реквизиции сена у бедных крестьян, и расстрелянного махновца, и нежелание наступать на Плетеный Ташлык, где были шкуровцы. Когда Чубенко помянул двух офицеров, которые привезли Григорьеву ответ деникинцев, Григорьев понял, что попал в западню. Он схватился за револьвер, «но я, – пишет Чубенко, – будучи наготове, выстрелил в упор в него и попал выше левой брови. Григорьев крикнул: „Ой, батько, батько!“ Махно крикнул: „Бей атамана!“

Григорьев выбежал из помещения, а я за ним и все время стреляя ему в спину. Он выскочил на двор и упал. Я тогда его добил» (40, 83).

Телохранитель Григорьева хотел убить Махно, но Колесник схватил его за маузер и случайно попал пальцем под курок, так что тот не мог выстрелить. Махно же, забежав сзади телохранителя, пять раз выстрелил ему в спину. При этом пулями, прошедшими навылет, был ранен и Колесник, который вместе со своим противником повалился на пол.

В тот же день григорьевцы были разоружены, какая-то часть их присоединилась к Махно, но небольшая. Махно же, покончив с Григорьевым, приказал во что бы то ни стало захватить одну из железнодорожных станций и телеграфировал: «Всем. Всем. Всем. Копия – Москва, Кремль. Нами убит известный атаман Григорьев. Подпись: Махно. Начальник оперативной части Чучко».

Казнь Григорьева произвела хорошее впечатление на леворадикальные круги и восстановила поколебленный было авторитет Махно среди левых эсеров и анархистов, которым Григорьев после всех бесчинств его солдатни и погромов представлялся более чем сомнительной фигурой. Москва хитренько помалкивала. Меж тем Махно, оказавшись во главе довольно крупного отряда, численностью тысячи в три человек, осмыслял новое свое положение. Он становился последним крупным партизаном на Украине. Он был последним партизаном и первым среди партизан.

Ему ничего не оставалось делать, как начинать все сначала.

С развернутыми черными знаменами, с обозом беженцев, на тачанках, украшенных лозунгами «Свобода или смерть», «Земля – крестьянам, заводы – рабочим», отряд, вновь обретший революционный дух, двинулся на запад. В районе станции Помощная – где не было ни красных, ни белых, Махно остановился. Здесь он решил закрепиться и формировать новую армию. О том, что недостатка в бойцах у него не будет, он уже догадывался.

Для Красной армии ситуация на Украине складывалась все хуже. Фронт был разорван на части, прорыв белых в районе Харькова стал причиной спешного отхода войск. Высшее командование было растеряно до предела и столь же горячо поддавалось гибельному унынию, сколь совсем недавно еще полно было ликованием по поводу скоро грядущей победы. Значительные силы на юге Украины не успели вовремя отойти и были, по существу, отрезаны белыми. Бывшие махновцы из 58-й стрелковой дивизии после расформирования Крымской армии Дыбенко оказались в рядах 12-й армии, очутившейся в наиболее тяжелом положении. Со взятием Екатеринослава и Полтавы и началом деникинского наступления в низовьях Днепра Южная группа войск оказалась в стратегическом окружении. Здесь, правда, надо учитывать, что в Гражданскую «окружение» не было явлением столь гибельным, как, скажем, в Отечественную войну – несравненно меньшие силы были вовлечены в боевые операции, окруженными особенно некому было заниматься, некому было их планомерно уничтожать, закупорив в каком-нибудь «котле», которых так много было в 1941-м. В некотором смысле 12-я армия оказалась попросту в тылу у белых, точно так же, как в тылу у белых, несколько севернее красных, группировался возле Помощной Махно, к которому начали помаленьку прибиваться отступающие красные части. Сильнейшим ударом для командования 12-й был бунт 58-й дивизии и переход к Махно двух или трех бригад бывших махновцев, организованный Калашниковым и Дерменджи. С ними ушла и часть красноармейцев.

История с бунтом 58-й достаточна темна, чтобы вызвать наше любопытство. Официальные историки это обстоятельство упоминают невнятно и вскользь, словно его и не было. В. В. Комин пишет, например: «Вскоре вокруг батьки снова стали группироваться его бывшие и новые вооруженные отряды. Пришли к нему командиры Калашников, Будалов, Дерменджи со своими частями, порвав с красными» (34, 39). Аршинов, настроенный по отношению к Махно явно апологетически, от усердия трактует еще более туманно: «В конце июля крымские части большевиков сделали военный переворот и пошли на присоединение к Махно, взяв в плен своих командиров» (2, 135). Я понимаю, что Аршинову прежде всего надо засвидетельствовать разрыв «народа» с его лжедрузьями большевиками. Но из-за этого пропагандистского пафоса неясно даже, что «крымские части большевиков» – это в основном бывшие махновцы. Полным мраком покрыто присоединение к Махно красноармейской бригады под командованием М. Полонского – односельчанина

батьки, который когда-то, в 1918-м, спорил с ним на митингах в Гуляй-Поле. В газетной заметке, посвященной Полонскому, утверждается, что командование бригады пошло на соединение с Махно под давлением обстоятельств, поскольку под Уманью-де бригада была окружена. Но это явная неправда: Махно оказался под Уманью после целой череды боев с белыми в двадцатых числах сентября и сам был окружен, никто к нему не присоединялся. Все уцелевшие части Южной группы Красной армии к тому времени пробились километров на 350 к северо-западу и в районе Житомира соединились с основными силами. А бунт 58-й дивизии случился на месяц раньше, в августе – следовательно, мы можем предположить, что командование бригады Полонского «под Уманью» никакого «решения», хотя бы даже и вынужденного, о присоединении к Махно не принимало, но в августе, когда забунтовала 58-я, просто покорилось обстоятельствам. Тут вылезает то, что историкам старой школы хотелось бы спрятать: с развалом фронта ряд частей Красной армии начал явно тяготеть к Махно, который недвусмысленно заявлял о своей готовности не оставлять Украину и отстаивать ее до конца: «Все, кому дорога свобода и независимость, обязаны оставаться на Украине и вести борьбу с деникинцами» (34, 40). Большевики, отступавшие в Россию, в этом контексте выглядели предателями. Махно же обещал разгромить Деникина и установить истинную советскую власть с настоящими коммунистами во главе. Притягательность его непрерывно росла.

Из воспоминаний о 12-й армии А. Кривошеева видно, что искать спасения у Махно красноармейцев вынудила не только злостная агитация его «агентов», но и чувство тупика и заброшенности, вызванное развалом фронта и оставлением Украины. «Армия стала рваться на клочки, потянулась отступать по разным направлениям. Екатеринослав был сдан. Неуспевшие перейти Днепр потянулись к западу по Правобережью на соединение с частями Киевского района. Но белые пошли наперерез. Они разорвали армию на три клочка, один из которых отступил на Харьков—Екатеринослав, другой на Киев, а третий даже и сюда не мог попасть, так как в помощь белым еще и Махно начал разоружать своих же и перерезал линию Вознесенск—Помощная. К нему тогда целиком перешли две бригады, уже переформированные из Крымской армии, командование над которой принял тов. Федько и которая была названа 58-й дивизией» (37, 199).

Нарисовать в подробностях, как произошел бунт, нельзя: достоверных свидетельств нет, додумывать бессмысленно. Обойдемся теми малыми крохами, которыми мы располагаем.

Степан Дыбец в своих воспоминаниях прямо свидетельствует, что бунт в дивизии был подготовлен приказом об оставлении позиций на Днепре и отходе на Кривой Рог: о том, что харьковский прорыв деникинцев грозит окружением с севера, бывшие повстанцы, составлявшие ядро дивизии, не знали. Сами они действовали успешно, поэтому приказ упал как снег на голову. Всюду пошел ропот: «Чего ж мы будем отходить, когда надо наступать?» (5, 119).

Опять сказались партизанские настроения. На марше несколько полков прямо заявили: «Не будем закрепляться, хватит отступать, надо идти в наступление, надо родные дома отвоевать» (5, 120). Однако не успела дивизия занять указанные ей позиции, как пришел новый приказ – отступать дальше, на линию Долинская—Николаев. «Теперь, – вспоминает Дыбец, – отступали со скандалами. Войска начали явно колебаться, митинговали, не хотели отходить. Самые надежные наши полки стали разлагаться… Полков пять или шесть отказались отступать… Тавричане тянутся в Таврию, мелитопольцы – на Мелитопольщину. А тут все дальше уходим, шагаем по херсонским степям. Подводы, скот, крестьяне, женщины – нет конца отступающему множеству. Обоз несусветный и нельзя от него избавиться: семьи идут с полками» (5, 120).

Ситуация эмоционально складывалась тяжелейшая и явно выходила из-под контроля. При переходе на линию Долинская—Николаев куда-то задевался 6-й Заднепровский полк, которым командовал бывший махновский командир Калашников. Командование бригады думало, что полк, со скотом и подводами, отстал в пути. Но это была не задержка. Это был бунт.

В ночь на 14 августа 6-й Заднепровский полк объявился в Новом Буге и арестовал весь штаб боевого участка. Сам Дыбец так описывает этот момент:

«Часа в четыре утра, в комнату, где я спал, стучат:

– Просят в штаб, экстренная телеграмма.

Открываю дверь. Вваливаются человек восемь. У меня в углу стояла винтовка. Отрезают меня от винтовки.

– Пожалуйте в штаб.

Все это показалось мне подозрительным. Но рожи наши – не из белого офицерья…

Иду в штаб с этой гурьбой. Входим. И вот:

– Возьмите еще одного арестованного…» (5, 121).

Калашников арестовал всех своих военкомов, всех политработников и объявил об измене большевиков и предательстве ими интересов народа Украины. Был арестован командир первой бригады Кочергин. Воспротивившийся

перевороту отряд немцев-спартаковцев и моряков был разбит махновцами. Отдельным «надежным» частям, быстро собранным в батальон, в самом начале заварушки на подводах и тачанках удалось прорваться к штабу дивизии, к комдиву Ивану Федько. Эти части спешно были двинуты на Николаев и Одессу, на соединение с частями 45-й стрелковой дивизии, которой командовал Иона Якир. Но и в Николаеве обстановка была накалена до предела. Вот-вот мог вспыхнуть бунт. Поскольку экипажи автоброневиков колебались, переходить к Махно или нет, решено было взорвать броневики. Были взорваны лучшие, вооруженные морскими орудиями: «Спартак», «Урицкий», «Худяков» и «Имени Свердлова». Подоспевшие части мятежников внесли еще больший разлад. Штаб дивизии, вместе с Федько, был арестован. На митинге агитаторы Калашникова звали красноармейцев в Повстанческую армию, говорили об измене большевиков и требовали предать их суду народа. Самосуд был предотвращен частями дивизии, состоявшими из московских рабочих, которым удалось освободить командиров. Вскоре подошли войска 45-й дивизии, посланные для усмирения беспорядков. Видя, что сагитировать оставшиеся части не удастся, махновцы, запалив вокзал и склады, оставили город. К восставшим, правда, перешли расчеты 40 орудий, сами же пушки были брошены.

Случившееся можно истолковать в самых различных терминах. Естественно, в первую голову говорят о подрывной пропаганде махновцев, прельстивших красноармейцев вольностями службы в Повстанческой армии. Аршинов как будто подтверждает это: «Был дан пароль свергать красных командиров и группироваться под общим командованием Махно» (2, 129). Кубанин тоже не считает восстание стихийным. По его мнению, махновцы продемонстрировали традиционную хитрость, сохранив свои части под видом красноармейских, а потом «взорвав» дивизию изнутри. И только из воспоминаний Дыбеца становится ясно, насколько сильна была эмоциональная подоплека выступления – хотя и он не пишет о колоссальном разочаровании народа Украины в большевиках, как своих правителях и защитниках. К тому же присутствие баб на возах, конечно, сказалось роковым образом. Советские историки именно этого не хотят замечать – что бунт 58-й дивизии случился из-за желания драться с белыми, отвоевать свои очаги. И в этом желании единодушными оказались и преданный Махно Калашников, и Куриленко, который о Махно имел свое суждение и даже, оказавшись среди восставших, заявил, что со своим полком придерживается самостоятельной политической линии. Отныне,

однако, судьба его была решена: он был в числе бунтовщиков, он вновь из комполка превращался в атамана.

То, что оставление Украины и пространств юга России было для многих людей огромной личной трагедией, очень трудно понять, не пережив опыт беженства. Для кого-то движение фронта было лишь перемещением флажков на карте, занимательной военной игрой, а для кого-то личной драмой, разворачивающейся в дилемму: уходить от родного дома или биться за него? На этот вопрос должен был ответить каждый мужчина, каждый воин. И если взглянуть на происходящее с этой точки зрения, то с мятежом 58-й дивизии легко соотнести так называемый «мятеж» командира донского казачьего корпуса Ф. К. Миронова, будущего командира 2-й Конной, который тоже в конце августа не выдержал и, разметав стоящие перед ним красноармейские части, двинулся из Саранска освобождать от белых родные станицы. Предательство большевиков казалось и ему совершенно очевидным. «Чтобы спасти революционные завоевания, – писал он в своем воззвании, – остается единственный путь: свалить партию коммунистов. Причину гибели нужно видеть в сплошных злостных деяниях господствующей партии, партии коммунистов, восстановивших против себя общее негодование и недовольство трудящихся масс… Вся земля – крестьянам, все фабрики и заводы – рабочим, вся власть – трудовому народу в лице подлинных советов рабочих, крестьянских и казачьих депутатов. Долой единоличное самодержавие и бюрократизм комиссаров и коммунистов!» (31, 125). Текст этого воззвания кажется написанным под диктовку Махно. И тот и другой пытались осмыслить и каким-то образом выразить свой протест против диктата и гнусности формирующегося режима. Правда, из мироновского мятежа вышел конфуз: с ним выступил недоформированный корпус, числом всего человек в 500. И даже в партизанский отряд, рейдирующий по тылам Деникина, мироновцы не успели превратиться, ибо были блокированы и разоружены. А с Мироновым вышла странная история. Его арестовали и судом трибунала приговорили к смерти. А потом вроде бы ВЦИК за предыдущие революционные заслуги помиловал его. Но в том-то и дело, что весь процесс был инсценированный – и о приговоре и о последующем помиловании все было известно заранее. Инициатором спектакля, кажется, был Троцкий: ему нужно было Миронова наказать, но расстреливать его он опасался, боясь, что взметнутся красные казаки, и тогда, пожалуй что, фронту не устоять. Он расправился с Мироновым, когда Гражданская война уже закончилась: что-то тот не то сказал о политике партии, его арестовали снова и в 1921-м расстреляли-

таки во дворе Бутырской тюрьмы под циничным предлогом – «попытка к бегству».

С махновцами вышло иначе: из Нового Буга Калашников повел к Помощной на соединение с Махно двенадцать тысяч человек. Это была большая сила. Пленных везли с собой. «Всем нам, рабам божьим, Калашников заявил, что расстреливать нас не будет, а довезет к Махно», – вспоминал С. Дыбец. Охраняла арестованных рота когда-то разоруженного им за самовольный уход с фронта мелитопольского полка, но из-за того, что в свое время Дыбец командиров полка не расстрелял, отношение к пленникам было сносное. «Калашникову пришлось считаться еще с тем, что некоторые полки, хотя и двигавшиеся с ним к Махно, оставались в той или иной мере нашими, – свидетельствует Дыбец. – Полк Куриленко был за нас, новоспасовцы тоже. Они открыто заявили Калашникову, что если на пути к Махно что-либо произойдет со штабом, то перестреляют весь 6-й Заднепровский (полк Калашникова. – В. Г.). И, как я приметил… даже выделили своих делегатов, которые наблюдали, чтобы ничего с нами не стряслось» (5, 126).

В селе Добровеличковке[11] Махно на белом коне встретил армию, которую вел к нему Калашников. Расцеловался с ним. Калашников указал на пленных:

– Вот доставил на твое усмотрение штаб боевого участка. Махно даже не оглянулся в сторону арестованных:

– Что ж, всех расстреляем.

В разговор вмешался Уралов, анархист из культпросветотдела, знавший Дыбеца еще по Бердянску:

– Как же расстрелять, когда там Дыбецы? Он и она.

– А, Дыбецы! – вскрикнул Махно. – Ну-ка, дай его сюда!

– Известно ли тебе, что я теперь коммунистов расстреливаю, так как объявлен вне закона?

– Известно.

– Ну так вот что. Рука у меня не поднимается на этого старого ренегата. Может быть, это моя слабость, но я его не расстреляю. И приказываю, чтобы волос с его головы не упал в расположении моих войск… Слыхали? (5, 127).

Как воспринимать слова Дыбеца относительно того, что Махно расстреливал коммунистов, не совсем ясно: осенью 1919 года коммунистов в махновской армии было много, двое были членами Реввоенсовета, но летом, по горячим следам «отлучения», возбужденный происходящим, Махно мог, конечно, и расстрелять несколько человек. Достоверных данных на этот счет нет, несмотря на то, что расстрел во время Гражданской войны был делом совершенно заурядным; это была

универсальная, принятая во всех армиях форма наказания, едва ли не единственная. Несмотря на слова Махно, заступничество Волина и Уралова, вопрос об участи пленников поднимался еще не раз: крестьяне-командиры Повстанческой армии были озлоблены на большевиков и хотели крови. Дыбец вместе с женой был посажен под замок и в конце концов представлен на суд Реввоенсовета Повстанческой армии, где большинством голосов был приговорен, по скромной логике того времени, к расстрелу.

«Когда проголосовали, Махно долго молчал, а потом сказал:

– Нет, не дам его расстрелять. Таких людей нельзя расстреливать» (5, 132). Дыбец предполагал, что на вынесение этого вердикта повлиял телефонный разговор Махно с Федько: последний вроде бы поклялся, что, если пленники будут расстреляны, ни один махновец не будет пощажен частями Южной группы. Это, конечно, смешно. Во-первых, на пощаду красных махновцы давно не рассчитывали. Во-вторых, командование Южной группы Красной армии само боялось, как бы остатки ее не переметнулись к Махно, так что подобных угроз Махно опасаться было нечего. Правда, его телеграмма в Москву об убийстве Григорьева дает нам основания думать, что поначалу он еще ждал – не «прощения», конечно, поскольку виноватым он себя не чувствовал, – а, скажем так, примирения, за которым последовало бы восстановление его в правах и в командной должности. Во всяком случае, он нащупывал контакт. Ко времени же бунта 58-й положение изменилось: Москва ответа не дала, большевики бросали Украину. Махно с каждым днем крепчал, и пробравшиеся к нему из Харькова анархисты «Набата» говорили, что все это – только начало новой, подлинно народной революции на Украине. Поэтому тон разговоров Махно с большевиками изменился.

А. Кривошеее интересно вспоминает, что, когда решался вопрос об отходе на север Южной группы И. Э. Якира (то есть 45-й, 47-й и остатков 58-й дивизий), решено было попытаться договориться с Махно, чтобы он не трогал отступающие войска и вообще, быть может, склонился бы действовать заодно с красными, пока на Украине такое дело. Знавший Махно В. П. Затонский (тот самый, что выписывал когда-то батьке липовый паспорт на Украину) сказал, что в таких переговорах участвовать не будет и за последствия объединения красных частей с Махно ответственности на себя не возьмет.

На переговоры поехал политком 45-й дивизии Голубенко. Со станции Голта он дозвонился до Махно и изложил предложение красного командования. Махно выслушал Голубенко. Махно сказал: «Вы обманули Украину, а главное, расстреляли моих

товарищей в Гуляй-Поле, ваши остатки все равно перейдут ко мне, и посему я с вами со всеми, в особенности ответственными работниками, поступлю так же, как вы с моими товарищами в Гуляй-Поле, а затем будем разговаривать о совместных действиях» (37, 201).

Узнав об ответе Махно, начдив 58-й Федько действительно заявил, что в походе за остатки дивизии не может ручаться, так как она своим правым флангом неминуемо соприкоснется с разведками Махно «и безусловно вся перейдет на его сторону» (37, 201). Особенно боялись за самый боевой 1-й полк, составленный из крестьян Днепровского уезда. Чтобы «проскочить» мимо Махно, в войсках были предприняты перестановки, «ненадежные» части перемещались на левый фланг, ввязывались в авангардные бои с кружившими вокруг петлюровцами… Так что, конечно, не страх перед местью Федько вынудил Махно помиловать Дыбеца. Пройдя и тюрьмы, и войну, Махно сохранил в душе своей какую-то странную, полудетскую привязчивость к людям, еще усиленную в юношеских революционных забавах чувством стаи, а в тюрьме закаленную делением на «своих» и «чужих». Уж если он кого-то любил – то любил. Если ненавидел – то ненавидел. Он бесконечно и преданно уважал Аршинова, доверял его «учености». Лучшими друзьями его были Семен Каретников и Исидор, по прозвищу Петя, Лютый – человек совсем простой даже среди повстанцев, бывший маляр. Дыбец для Махно был не только одним из тех анархистов-интеллектуалов, что в эмиграции выпускали литературу, которая потом нелегально доставлялась в Россию именно для таких, как Махно, горячих голов (в конце концов Дыбец перекрасился в большевизм, и его анархистское прошлое было зачеркнуто), но он был напоминанием о весне повстанчества. Поэтому его следовало отпустить.

Дыбеца и его жену, Розу, собирал в дорогу анархист Уралов. Снабдил каким-то документом, велел сменить знаменитые на всю Украину красные революционные сапоги на обычные. Махно тоже пришел попрощаться.

– Что сказать, если я выберусь к своим? – спросил Дыбец.

– Ничего не передавай. Десять раз вне закона объявляли. Не буду больше с большевиками работать, – то ли грустно, то ли раздраженно сказал Махно (5, 137).

Дыбецы оставляли партизанский лагерь. Штаб, войска, повозки, бабы, дети. скот. Пятнадцать тысяч мужчин, мужей и братьев оставались здесь, чтобы предотвратить белое нашествие. Через несколько дней они уже будут драться в тяжелейших боях, совершая отчаянные атаки, чтобы отбить снаряды и патроны, а

еще через месяц едва ли пятая часть этих людей, оставшихся в живых, совершит одну из самых дерзких операций, которая неожиданно изменит весь ход Гражданской войны.

ЛИЦОМ К ЛИЦУ

После отступления Красной армии с Украины на север махновцы – если не считать петлюровцев, которые занимали западные области Украины и никак не могли отыскать свою тему в грандиозной и трагической симфонии Гражданской войны, – остались единственной силой, противостоящей Деникину. Легко было бы, учитывая модную сегодня тенденцию проявлять открытые симпатии к белому движению, это противостояние представить следующим образом: с одной стороны – цвет нации, цвет офицерства, движимый благородной идеей восстановления великой России, и казачество, воспротивившееся анархии и большевистской деспотии. С другой – сброд, взбунтовавшиеся холопы, голытьба, вольница в духе Разина, которой ведомы лишь разрушительные инстинкты и которая, сорвавшись с цепи, сама страдает от обрушившейся на нее безграничной свободы и ранится ею, как неразумное дитя, схватившее опасную бритву. И при желании мы, действительно, найдем сколько угодно подтверждений подобному строю мысли. Достаточно сравнить фигуры вождей двух противоборствующих сторон – Деникина и Махно, чтобы понять, как легко это противостояние сделать картинным, как легко навязать читателю свои предпочтения.

И действительно, казалось бы, о каком сравнении может идти речь? Махно: бывший чернорабочий, эксист, каторжник, в военном отношении самоучка, жестокий, именно лично жестокий партизан, в политическом смысле дикарь, анархист именно в силу невозможности понять, объять разумом опыт человечества, политической цивилизации, опыт демократии, в то время весьма, правда, испаскудившей себе репутацию мировой войной.

Другое дело – Антон Иванович Деникин, Верховный правитель и Верховный главнокомандующий Вооруженными силами Юга России. Этот спокойный, слегка полноватый, уравновешенный человек с довольно-таки пышными усами и интеллигентской бородкой клинышком, будучи облаченным в генеральский мундир, никак не производил впечатление крестьянского сына, более того, сына крепостного, в свое время забритого в рекруты. Отец Махно, как мы помним, тоже был крепостным, таким образом социальное происхождение и Деникина и Махно было одинаковым – и все же они антиподы, как бы результаты двух разных подходов к жизни, двух различных жизненных стратегий. Отец Деникина выслужился, вышел в отставку майором. Но никакого состояния он не нажил. В автобиографии Антон Иванович Деникин коротко отмечает:

«Детство мое тяжелое, безотрадное. Нищета» (7, 76). Отец, выйдя на пенсию, получал 45 рублей в месяц, но вскоре умер, мать имела и того меньше. Деникин через реальное и юнкерское училище выкарабкался к офицерству, к военной службе. Карьера его началась успешно: младшим офицером в штабах различных военных округов; затем подсвечена была отблесками боевого пламени (в Русско-японскую войну – командир полка) и завершилась незадолго до Первой мировой войны генеральством. Он командовал бригадой «железных стрелков», прославившихся еще в годы последней Русско-турецкой войны, потом принял более крупное соединение – корпус. Стратегические способности его были несомненны. После февраля он стал начальником штаба Ставки, затем – командующим армиями Западного и Юго-Западного фронтов: таким образом, с военной точки зрения, это был человек, имевший богатый и универсальный опыт – скоро выяснится, что он еще обладал даром политика и дипломата. И если о Корнилове как о бывшем своем подчиненном генерал Брусилов, перешедший на службу к большевикам, честно писал, что военные дарования не позволяют легендарному вождю белого движения занимать должность большую, чем командир дивизии (командуя более крупными соединениями, Корнилов начинал совершать ошибки и путаться в обстановке), то Деникин, ставший его преемником, обнаружил себя человеком, мыслящим широко и масштабно.

После Октябрьского переворота он не поддался ни растерянности, ни искушению послужить новой власти. Одним из первых он в одиночку, под видом помещика, пробрался на Дон к Корнилову и стал его помощником. Был участником знаменитого Первого похода Добровольческой армии в январе 1918 года, когда теснимая со всех сторон «армия» – численностью едва больше четырех тысяч, почти сплошь – из офицеров и юнкеров, при восьми орудиях, – оставила забурлившую красными пузырями «обетованную землю донскую» и через степи двинулась на Кубань, надеясь хотя бы тут поднять на мятеж казаков. В эти месяцы (март 1918-го – знаменитый Ледяной поход, первые победы, соединение с кубанским отрядом полковника Покровского, неудачный поход на Екатеринодар, гибель Корнилова) зарождалась вся мифология белого движения, отмывалась символика белизны, чистоты идеи – самопожертвование во имя счастья и могущества Родины – и по крупицам собиралась героика похода, воплотившаяся позднее в символике нагрудного знака (меч, опоясанный терновым венцом) и в совершенно, по иронии судьбы, декадентском салонном романсе: «Не падайте духом, поручик Голицын…»

После смерти генерала Алексеева А. И. Деникин в сентябре 1918-го принял должность главнокомандующего Добровольческой армией, а в мае 1919-го, признав над собою власть Верховного правителя России адмирала Колчака, – стал заместителем главнокомандующего всеми Вооруженными силами России.

Деникин был известным мастером слова, выдающимся оратором, любил выступать. «Русский офицер, – говорил он в одной из агитационных речей, – никогда не был ни наемником, ни опричником. Забитый, загнанный, обездоленный… условиями старого режима, влача полунищенское существование, наш армейский офицер сквозь бедную трудовую жизнь свою донес, однако… – как яркий светильник – жажду подвига. Подвига – для счастья РОДИНЫ» (7, 16). В отличие от адмирала Колчака, который при всей своей исключительной самодисциплине и воинской честности и чести вынужден был делать «генералами» своей армии сибирских казачьих атаманов, своей бандитской практикой компрометировавших «белую» мечту своего вождя сразу и навсегда, Деникину удалось сплотить вокруг себя действительно одаренных и думающих военных. Конечно, и выслужившийся из фельдфебелей, но прошедший тщательную выделку в гвардии генерал от инфантерии Кутепов, получивший среди своих солдат прозвище «правильный человек», и генерал Слащев, закончивший Академию Генштаба, и генерал Эрдели, отпрыск древнего венгерского рода (предки которого служили еще в войсках Румянцева и Суворова), сам пять лет состоявший в императорской свите, были настоящими аристократами по сравнению с колчаковскими дуговыми и Семеновыми, не говоря уж о партизанских «батьках». Но даже боевые деникинские генералы, сильно отличающиеся от штабной элиты – и образованием пониже, и кровью пожиже, – белые «партизаны» К. К. Мамонтов и А. Г. Шкуро по сравнению с командирами повстанцев выглядят, как римские центурионы рядом с лично мужественными, но дикими вождями галльских и германских племен.

Для Деникина Махно – варвар, разрушитель, одна из наиболее ярких «фигур безвременья с разбойничьим обличьем» (17, 134). Махновщину он в своих «Очерках русской смуты» прямо называет явлением «наиболее антагонистичным идее белого движения» (17, 134). Именно махновщину, а не большевизм. Почему? По той же, вероятно, причине, по какой значительная часть офицеров царской армии и, более того, треть генералитета считала для себя возможной службу большевикам. Большевики были не только сильнее и деловитее своих «попутчиков» по

революции, они были (исключая романтический период 1917-го – начала 1918 года) бывшим служакам империи понятнее. Россия большевиков также представлялась огромным, сильным, централизованным государством, наделенным особой (хотя на этот раз и необычной) исторической миссией. Такому государству необходимы были и мощная армия, и традиционные институты принуждения и насилия, и министерские аппараты, для которых требовались специалисты разных необходимых в хозяйстве отраслей знания. Не то чтобы другие партии, называвшие себя социалистическими, отрицали это. Но их большевики победили. Идеи чистой демократии с крахом Временного правительства и разгоном Учредительного собрания, казалось, навсегда обанкротились вместе со своими лидерами. Повстанчество же, идущее под черным знаменем анархии, для кадровых военных, к которым принадлежала практически вся белая верхушка, воплощало в чистом виде идею бунта; причем не просто как неповиновения, грабежа, самозванчества, а в широком, бакунинском смысле – бунта как тотального разрушения всего: традиций, быта, культуры, истории, государства. Большевики были политическими соперниками, претендовавшими на роль новых, наглых, безграмотных – но, безусловно, решительных хозяев России. Повстанцы же – хламом, отбросами истории, ее выродками, нелепицами, химерами, как и проповедуемый ими анархизм, который для лидеров белого движения был политически не то что совершенно неприемлем, а как бы безумен.

Понять, как может великая держава распасться на сеть каких-то, чуть ли не по швейцарскому образцу, самоуправляющихся коммун, каких-то «вольных советов», людям, слепо приверженным русской государственной патриотической идее, а отчасти лишь слабо завуалированной идее монархической, – было просто невозможно. Политические ярлыки слепили всем глаза, повторялось вавилонское смешение языков: все до единой партии говорили о возрождении России, но никто уже соседа не разумел. В это время лишь единицы осмеливались думать, что другие тоже являются частью того целого, что составляло когда-то Россию, тоже являются носителями какой-то очень важной правды, так и не добытой ни литературой, ни благотворительностью, ни начатыми было реформами в бывшей империи, разломившейся на куски от противоречий, ее раздиравших.

Моя мысль будет понятнее, если читатель сопоставит, то есть поставит рядом две фотографии того времени, на которых отобразились два героя, порожденных Гражданской войной, два человеческих типа. На одном снимке изображен Андрей Григорьевич Шкуро, деникинский генерал, командир кубанской

кавалерии, отчаянный партизан, отличный тактик: аккуратная черкеска с газырями, золотые погоны; коротко стриженные русые волосы зачесаны назад, смелое, волевое, открытое лицо. Глядя на эту фотографию, думаешь, что этот человек, многажды проклятый всеми революционерами от анархистов до меньшевиков, был не только бесстрашен и дисциплинирован, но и не менее революционеров предан идее – идее белой России. На другой фотографии – командир махновской кавалерии Феодосии Щусь в Гуляй-Поле 1919 года: из-под бескозырки на плечи падают длинные волосы, тонкие усы над верхней губой, причудливый трофейный мундир – то ли гусара, то ли венгерского драгуна, большой перстень на левой руке. Поражает более всего то, что в фигуре повстанца есть какая-то подчеркнутость позы, какой-то надлом, словно перед нами не настоящий рубака, а ряженый, актер. Из всего окружения Махно Щусь действительно выделялся особым пристрастием к внешним эффектам – Н. Сухогорская упоминает, например, что одно время он ходил с головы до ног в красном, а С. Дыбец, оставивший в воспоминаниях беспощадно-издевательское описание внешности Щуся, в числе особенно поразивших его деталей туалета называет бархатную курточку и шапочку с пером. Может быть, Дыбец путает или врет? Он пишет далее, что «на пирах у Махно Щусь сидел, как статуя, и молчал. Он всерьез мечтал, что будет увековечен в легендах и сказках…» (5, 130). Если этот наивный нарциссизм – преувеличение, то еще большим преувеличением покажется свидетельство некоего Сосинского, приводимое в книге французского историка А. Скирда, о том, что он видел Щуся на коне, бабки которого были украшены жемчужными браслетами (94, 370). Но, скорее всего, все сказанное – правда.

Возможно, кому-то это покажется мелочью: более того, война нетерпима к оперетке, и уже на фотографии 1920 года франтовство Щуся выдают разве что чубчик, торчащий из-под фуражки, да дорогая портупея. Но, смею утверждать, именно с мелочей, с одежды, с манеры держать себя и начинается антагонизм повстанчества и белого движения. С одной стороны – ненавистные для крестьян высокомерие, выправка, барская аккуратность, с другой – ненавистные для служивых людей самозванчество, самолюбование, дерзостное своеволие невесть что о себе возомнившего мира голодных и рабов. И если, воюя с красными, махновцы охотно брали в плен целые полки, уничтожая лишь командиров и комиссаров, а солдат распуская на все четыре стороны – то есть как бы признавая в них заблудившихся «своих», – то в войне с деникинцами бились насмерть. Махновцы, попавшие в плен, офицерами уничтожались

поголовно; офицерские полки вырубались махновцами полностью. Здесь какая-то страшная, трагическая несовместимость: сталкивались и бились две культуры, два образа жизни, прежде замкнутые в своих классовых нишах и практически не соприкасавшиеся. «Интеллигенты», за исключением земцев, «народ» не знали и жизнью его не интересовались. «Народ», со своей стороны, тоже не понимал, чем занимаются и какую роль в жизни общества играют привилегированные классы, «баре». Многочисленные революционные теории внушали ему, что эти паразитические, не занимающиеся производственным трудом классы вообще не нужны. Теперь, когда дети «буржуев» и «кухаркины дети» сошлись лицом к лицу, они, наконец, увидели друг друга. Что же увидели они? Узнали ли в облике друг друга образ Сына, признали ли братство свое? О, жалкие беллетристические вопросы! Конечно же нет, никакого родства не признали они! Ненависть войны спалила их души, и ничего, кроме ненависти и презрения друг к другу, они не вкусили. Вот наблюдение Н. Сухогорской за поведением махновца, заметившего на улице человека в шляпе. Он цедит сквозь зубы в лицо прохожему: «Ишь, в шляпе… интеллигент, видно, прикончить бы…» (74, 47).

Сама Сухогорская, со своей стороны, полна утонченного презрения по отношению к партизанам: повстанцы любят парикмахерские, карты, семечки – с едкой иронией констатирует она. Ей это чуждо. За бесконечным размусоливанием картишек и обезьяньим лузганьем семечек ей видится какая-то колоссальная внутренняя пустота. Но и о белых – вот что интересно – эта женщина вспоминает с ужасом и неприязнью. Трехдневное разграбление Гуляй-Поля, доверительное и оттого особенно отвратительное хвастовство начальника карательного отряда, в руки которому попался большевистский комиссар: «Я его так бил, что он действительно стал красным и внешне и внутренне» (74, 44), та же самая пустота и бездуховность – вот изнанка белого движения.

Действительно, если бы речь шла только о противопоставлении «белой» и «черной» кости, черного и белого знамени, при котором «черным», повстанцам, приписывались бы лишь неясные разрушительные инстинкты, а «белым» – те высокие идеалы и святые добродетели, которыми их с наивной непосредственностью порой пытаются наделить, – было бы абсолютно непонятно, каким образом махновцам за несколько месяцев удалось в буквальном смысле слова разгромить тыл деникинской армии, вновь поднять десятки тысяч крестьян на восстание против тех, кто претендовал на роль освободителей

нации от «ига», и подготовить к зиме 1920 года еще более сокрушительный разгром белых, чем ждал красных летом.

То, что А. И.Деникин, еще в царской армии боровшийся с «отживающей группой старых крепостников», лично хотел бы, чтобы Россия, освободившись от большевиков, развивалась бы по эволюционному демократическому пути, сомнения не вызывает. Для порядку можно привести и соответствующую цитату – скажем, из речи на банкете в собрании ростовских граждан: «Я иду путем эволюции, памятуя, что новые крайние утопические опыты вызвали бы в стране новые потрясения и неминуемое пришествие самой черной реакции. Эта эволюция ведет к объединению и спасению страны, к уничтожению старой бытовой неправды, к созданию таких условий, при которых были бы обеспечены жизнь, свобода и труд граждан, ведет, наконец, к возможности в нормальной, спокойной обстановке созвать Всероссийское учредительное собрание…» (17, 137).

И все же эта прекрасная программа, и сегодня еще способная вызвать живое, сочувственное переживание – тем более что высказана она человеком, который долгие годы был в нашей истории олицетворением «самой черной реакции», – полностью провалилась. В своих «Очерках…» Антон Иванович с болью пишет о своих войсках: «Народ встречал их с радостью, на коленях, а провожал с проклятиями» (17, 270). Это признание человека, возглавлявшего на Юге белое движение. Что же случилось, что произошло? Казалось бы, несколько месяцев «крайних утопических опытов», проводимых на Украине партией Ленина, вполне выявили их крайне разрушительный для страны характер. Масштабы злодеяний, произведенных большевистской властью, казались поистине неправдоподобными: такое мог бы сделать враг, оккупатор, но не те, кто называли себя истинными друзьями народа и шли вперед в надежде осчастливить мир. Деникинская Особая комиссия по расследованию злодеяний большевиков в следующих цифрах и терминах подвела итог их пятимесячному господству: число жертв террора за 1918–1919 годы – 1 миллион 700 тысяч человек (17, 136). Разгром церкви. Систематическое «жестокое гонение на церковь, глумление над служителями ея; разрушение многих храмов с кощунственным поруганием святынь, с обращением дома молитвы в увеселительное заведение». К сведению: «в Лубнах перед своим уходом большевики расстреляли поголовно, во главе с настоятелем, монахов Спасо-Мгарского монастыря» (17, 126).

В других областях жизни опустошение было не меньшее. Продолжаю цитировать выводы комиссии: «Большевики испакостили школу: ввели в состав администрации коллегию

преподавателей, учеников и служителей, возглавленную невежественными и самовластными мальчишками-комиссарами; наполнили ее атмосферой сыска, доноса, провокации; разделили науки на „буржуазные“ и „пролетарские“; упразднили первые и, не успев завести вторых, 11 июня декретом „Сквуза“ закрыли все высшие учебные заведения Харькова» (17, 127).

«Большевистская власть упразднила законы и суд. Одни судебные деятели были казнены, другие уведены в качестве заложников (67 лиц). Достойно внимания, что из числа уцелевших членов Харьковской магистратуры и прокуратуры ни один, невзирая на угрозы и преследования, не поступил в советские судебные учреждения… На место старых установлений заведены были „трибуналы“ и „народные суды“… Глубоко невежественные судьи этих учреждений не были связаны „никакими ограничениями в отношении способов открытия истины и меры наказания, руководствуясь… интересами социалистической революции и социалистическим правосознанием…“

Большевики упразднили городское самоуправление и передали дело в руки „Отгорхоза“. Благодаря неопытности, хищничеству, невероятному развитию штатов (в больницах, например, наблюдалось нередко превышение числа служащих над числом больных), тунеядству и введению 6-часового рабочего дня, городское хозяйство было разрушено и разграблено, а дефицит в Харькове доведен до 13 миллионов.

…Земские больницы, школы были исковерканы, почтовые станции уничтожены, заводские конюшни опустошены, земские племенные рассадники скотоводства расхищены, склады и прокатные пункты земледельческих орудий разграблены, телефонная сеть разрушена…

Пять месяцев власти большевиков и земскому делу, и сельскому хозяйству Харьковской губернии обошлись в сотни миллионов рублей и отодвинули культуру на десятки лет назад» (17, 127).

После всего этого возвращение цивилизованных хозяев страны должно было бы вызвать всестороннюю поддержку тех преобразований, которых, после всего сказанного, можно было бы от них ожидать. Однако последовал лишь ряд весьма осторожных деклараций о местном самоуправлении и о земле, которые решение этих двух важнейших вопросов российской жизни отодвигали в неопределенное будущее, тогда как счет шел на недели, самое большее – на месяцы. Пока же неопределенное будущее вызревало, возвращался фактически старый порядок, ненавидимый «низами» и прежде всего крестьянами, которые

вынуждены были опять возвращать земли прежним владельцам, возмещать им убытки за счет урожая и т. п.

Никакие успехи – ни пробудившаяся жизнь общественных союзов и запрещенных большевиками партий, ни оживление производства, попавшего в руки прежних заводчиков, ни свобода торговли, ни даже «неизмеримо поднявшаяся» добыча угля в Донбассе, – не могли замазать этого свербящего, кровоточащего на Украине вопроса – кто будет владеть землею. Осторожный земельный закон, подготавливаемый в русле кадетской программы Колокольцевым, большей частью деникинского окружения воспринимался в штыки как слишком радикальный и «потрясающий основы»; все попытки подвести «некоторое юридическое обоснование под факт земельного захвата» (17, 271), которое смутно начал осознавать Деникин, а осознал только Врангель, – безусловно проваливались.

Вследствие этого все левые партии оказались в непримиримой оппозиции режиму. Партия эсеров, провозгласившая было вооруженную борьбу с большевиками, объявила о прекращении таковой и перенесении всей своей боевой активности на Деникина и Колчака, полностью развязывая себе руки заявлением, что в этой борьбе она будет пользоваться «всеми теми методами, которые партия применяла против самодержавия» (17, 163). Левые эсеры просто охотились за Деникиным и провалили покушение только из-за поразительного непрофессионализма террористов нового поколения; в Харькове члены боевой группы стояли буквально в нескольких шагах от принимавшего парад Деникина, но не могли убить его, так как в странствиях растеряли бомбы и оружие. Со своей стороны, убийство командующего Вооруженными силами Юга России подготавливали и крайне правые. Сам Деникин упоминает, в частности, что в январе 1920 года в Севастополе монархисты подпольно освятили нож, которым должно было устранить его.

Но не это было самое страшное. Страшнее, опаснее было то, что ожидаемого вождями белых повсеместного «восстания всех элементов, враждебных советской власти», не произошло. Русская буржуазия проявила крайнюю расторопность во всем, что касалось скорой наживы, спекуляции земельными участками, недвижимостью, но в достаточной степени индифферентно отнеслась к задачам, выдвинутым перед нею белым движением. Гражданского общества вокруг власти военных не сложилось, сочувствие проявлялось лишь на словах, наибольшую активность проявляли как раз правые, деятельность которых невольно сказывалась на физиономии режима: Пуришкевич, например, допускал конституцию и «свободы», но при этом все

социалистические партии объявлялись антигосударственными, народному просвещению придавался характер «церковно-государственный» (17,160). Устав «Умеренной партии», выработанный Н. Н. Львовым и профессором Н. Н. Алексеевым, говорил о необходимости «нравственного влияния Церкви Христовой на все стороны государственной жизни», в том числе на законодательство, вопросы политики и т. д. Два десятка организаций «Монархического блока» пытались объединиться вокруг лозунга «самодержавия, православия, народности», но, как не без иронии пишет Деникин, из предосторожности они не утруждали себя вопросами положительного государственного и социального строительства, а ограничивались общедоступным категорическим императивом:

– Бей жидов, спасай Россию! (17, 159).

Не было согласия даже среди центристских партий, имевших непосредственное касательство к работе правительства юга России – бывших кадет, октябристов, народных социалистов, которые, по существу, сходились только в одном вопросе – в признании частной собственности. При этом одни удерживали военного диктатора Украины от слишком революционных преобразований, другие же, напротив, отчаявшись ждать их, довольствовались, как народные социалисты, ролью оппозиции, и их газета «Утро России» «помещала периодически резкие статьи против армии и власти» (17, 156).

Деникин с горечью признает, что его правительству не удалось «найти опору». «Деникинщина» – использую термин официозной истории, – несмотря на все старания наиболее дальновидных ее деятелей, так и осталась военной диктатурой, противостоящей народу, оторванной – во имя постулатов «белой идеи» – даже от интересов своих собственных легионеров. В результате режим Деникина не только не приблизился к решению наиболее важных экономических и политических вопросов (идея Учредительного собрания чем дальше, тем в большей степени становилась ширмой для откровенно диктаторских действий), но не смог даже подняться над уровнем той бытовой неправды, которая самому Антону Ивановичу Деникину была в дореволюционной жизни и очевидна, и отвратительна. Расстрелы «большевиков», репрессии в отношении недовольных, восстановление контрразведкой приемов сыска и, главное, крайнее ожесточение войск, в которых носители «белой идеи», ветераны-идеалисты (если только такие вообще существовали когда-нибудь) растворились до незаметности, – это тоже была бытовая неправда, причем неправда кровавая.

Под командованием Деникина была совсем уже не та армия,

что когда-то совершала Ледяной поход: в нее было отмобилизовано, одето в английское обмундирование и вооружено на средства союзников больше ста тысяч человек. Оторванные от дома, ничего не желавшие знать о своей очередной исторической «миссии» (ибо за минувшие два года разные режимы достаточно обременяли народ всякого рода «миссиями», чтобы приучить его относиться к ним наплевательски), эти люди буквально озверели в походе, изливая свою ненависть на неприветливо глядящих крестьян и беззащитных перед любой сменой власти евреев. Антисемитизм в войсках был развит едва ли не до степени тяжелой душевной болезни. Генерал Драгомиров писал Деникину из Киева: «Озлобление войск против евреев доходит до… какой-то бешеной злобы, с которой ничего сейчас поделать нельзя» (17, 149). Сам Деникин позднее вынужден был признать: «Войска Вооруженных сил Юга не избегли общего недуга и запятнали себя еврейскими погромами на путях своих от Харькова и Екатеринослава до Киева и Каменец-Подольска» (17, 146). Вообще, евреи служили лишь в Красной армии и у Махно: последнее может кому-то показаться почти невероятным, ибо Махно в нашей истории выставляется как погромщик, но тот, кто хоть чуть-чуть интересовался махновщиной, знает, что факт существования в армии Махно «еврейской роты», «еврейской батареи» и т. п. лежит в слое совсем неглубоко зарытых истин. В армии же Деникина антиеврейские настроения были столь сильны, что приказом командующего были выведены в запас несколько офицеров-евреев, участвовавших еще в Первом кубанском походе. Подписывая приказ, Деникин стремился избегнуть инцидентов и обезопасить жизнь и достоинство ветеранов, но он не мог не понимать, что это – бесчестье и позор, достойные разве что петлюровцев, но не славного белого воинства. Но что поделаешь – история вновь подыскивала собственные формы для воплощения идей, порожденных человеческим разумом для всеобщего якобы блага, и вновь по-своему расставляла разноцветные политические фигурки на исторической арене…

Махно на некоторое время оказался оттесненным с авансцены почти за кулисы: он формировался в ничейном пространстве белого тыла возле станции Помощная, и, хотя Аршинов, а вслед за ним и Волин пишут о почти ежедневных боях с белыми и даже попытке наступления на Деникина, нам придется списать это на счет преувеличений. Никаких серьезных боев до конца августа не было; случались, должно быть, лишь налеты за оружием, которое для махновцев всегда было проблемой номер один.

Племянница Михаила Полонского, полк которого при

неясных обстоятельствах присоединился к Повстанческой армии, рассказала мне эпизод, который хоть и выглядит, подобно большинству свидетельств не из первых уст, как мифологема, тем не менее достаточно красноречиво описывает ситуацию. Якобы, когда Полонский был представлен пред очи Махно, тот велел разоружить полк.

– Чем же я буду воевать против белых? – спросил Полонский.

Махно показал в сторону деникинцев:

– Пойди и там добудь себе оружие…

На деникинцев работала гигантская машина английского военного ведомства, великолепно отлаженная в недавно завершившейся и победоносной войне. В штабе его были опытнейшие, испытанные офицеры. В кругу окружавших его политиков – «звезды» первой величины: П.Б.Струве, Н. Н. Львов, В. В. Шульгин.

Советниками Махно были несколько его командиров, ни один из которых в прошлом не имел офицерского чина, да пять или шесть анархистов, которые после вступления деникинцев в Харьков и разгрома «Набата» бежали к Махно. Но летом 1919 года в Повстанческой армии «идейных» работников были буквально единицы: Иосиф Гутман, по кличке «Эмигрант», Петр Аршинов, Михаил Уралов. Имен других мы не знаем. Наиболее значительной фигурой был, без сомнения, Всеволод Волин (Эйхенбаум), который возглавил сначала Культпросветотдел, а затем и Реввоенсовет армии, да и вообще сыграл в истории махновщины довольно значительную роль. Волина от большинства окружавших Махно людей отличал, во-первых, возраст – ему было уже 37, он казался едва ли не патриархом, и повстанцы называли его «дядя Волин», что очень нравилось ему. Во-вторых, он был образован. Во всей махновщине он был единственный образованный человек среди грамотных – черта уникальная. И если Аршинов, «учитель», всю книжную премудрость литературы, политэкономии и социализма превозмогал самоуком, то Волин вырос в хорошей семье богатых врачей, с гувернером, французским и немецким владел с нежного детского возраста. Как и большинство революционеров, он успел немножко поучиться в университете (факультет права), но потом все забросил, искусившись эсерством, которое, как казалось, давало возможность обрести в жизни совсем иной смысл, а главное – обрести судьбу, поэму жизни в безголосий тогдашней действительности. Конечно, это был именно искус, обман, и он резал «новую судьбу», как по трафарету: арест, ссылка, эмиграция. Жизнь для народа в очередной раз оборачивалась для юного романтика жизнью вне народа, карьера политического

эмигранта поколения 1905–1907 годов резко отличалась от судьбы «стариков»: если Герцен и Огарев жили прежде всего литературно, если Кропоткин после тюрьмы Клерво целиком отдался научным изысканиям в области истории и социологии, если Лавров, несмотря на участие в Коммуне и связь с «Народной волей» и Интернационалом, тоже, в общем, оставался теоретиком, то новое поколение – сплошь практики, им было не до учености, ситуация в России как будто подгоняла их к живому делу, а когда дело не выгорело, началось дробление, фракционная борьба – особенно у социал-демократов и эсеров, – смятение и разочарование в связи с делом Азефа, да и вообще всеобщая склока и взаимные обвинения в неудаче низвержения трона.

В это время Волин познакомился во Франции с Аполлоном Карелиным – тоже блудным сыном в хорошем семействе, анархистом из числа последних теоретиков (в ту пору он не занимался глобальными вопросами, а скромно анализировал возможности кооперации), который и перетащил его из эсерства в анархизм.

Эмигрантская жизнь Волина протекала довольно бурно.

В то время анархо-синдикалистское движение во Франции было еще сильно (в какой-то мере оно играло в жизни общества роль крайней левой, оттенявшей «оппортунизм» французских социалистов, сказавшийся, прежде всего, в санкции своему правительству на ведение войны). В 1915-м, как воинствующий пацифист, Волин чуть было не был заточен французскими властями в тюрьму: власти понять можно, но можно понять и Волина, который, бросив жену и четверых детей, через Бордо бежал в США. Здесь он сотрудничал в «Голосе труда» – анархистском еженедельнике, который позднее перебрался в Петроград, а тогда выходил при Федерации союзов русских рабочих США и Канады, в которой состояло 10 тысяч человек, то есть вращался в тех же эмигрантских кругах, что и Дыбец, и, возможно, встречался с ним, хотя ни тот ни другой не упоминает об этом.

В 1917-м он, как и большинство эмигрантов, полный самых радужных надежд, бросается в Россию – и, как большинство эмигрантов, застает картину, страшно изменившуюся по сравнению с 1905 годом: свободу и хаос, больную экономику, жизнь в предчувствии голода и грандиозного военного поражения. Как и большинство анархистов, он принял большевистский переворот в октябре, надеясь, что лозунги «мир народам», «заводы рабочим», «земля крестьянам» будут воплощены буквально – на это надеялись тогда все крайне левые, но их надеждам, как известно, не суждено было сбыться. Все, что

обещано было трудящимся, переходило в руки грандиозного монополиста-работодателя – рабоче-крестьянского государства, всякое несогласие с чиновниками которого отныне рассматривалось как контрреволюция. Обосновавшийся в Петрограде «Голос труда» тщетно пытался переорать большевистские издания, что путь избран неверный и тупиковый (то, что рабочие пошли за большевиками, поверив в их радикализм, Волин совершенно правильно объяснял слабостью русского пролетариата, крайней его неопытностью в самоорганизации, в отличие от европейцев и американцев).

Весной 1918-го, когда в России начались репрессии против анархистов, Волин стал дрейфовать на юг – Бобров, Курск. В Курске его застала первая конференция федерации «Набат», объединившей анархистов Украины и России: делегаты выглядели достаточно удрученными неудачами движения и достаточно озабоченными, чтобы показалось возможным создать сильную работоспособную организацию, своего рода партию, противостоящую коммунистам. Кроме того, на Украине отворилась ему и реальность совсем иного рода: помимо кружков, помимо бесконечных и бесполезных придумок столичной радикальной интеллигенции, которые конечно же были просто политическими игрушками, пасьянсами и лото по сравнению с грандиозными предприятиями большевиков, – здесь существовало массовое крестьянское движение за свободные Советы, которое к тому же называло себя анархическим! Среди набатовцев, а уж тем более среди столичных анархистов, всегда были люди, относившиеся к Махно и его армии скептически – тот ли это народный герой, о котором еще со времен Бакунина мечтали русские анархисты? Не слишком ли неказист лицом? Не слишком ли жесток? Не слишком ли властолюбив? Но Волин предпочитал не теоретизировать по этому поводу. Он считал, что дело революционера, а уж тем более анархиста– быть с «массами». Поэтому в августе 1919 года он оказался в Повстанческой армии. Здесь наладил газету «Путь к свободе», которую – от случая к случаю – печатали то в роскошной типографии, то на передвижной «бостонке». Но главное было не в этом. Главное заключалось в том, что как теоретик Волин сумел внушить Махно, что именно теперь, после ухода большевиков с Украины, ему и его Повстанческой армии выпадает редчайший в истории шанс начать третью, подлинно народную революцию, которая освободит все мировое человечество от растлевающей власти двух монстров – капитала и государства.

То, что Махно это запомнил, что эта перспектива крепко засела в его голове, подтверждается тем, что он сам, так или этак

переиначивая, повторяет Волина в своих сочинениях. Волин дал ему другой угол зрения, другой масштаб оценки собственных скромных деяний. За словами Волина были умственная работа, конференция, «Набат», наука. И пока батькина голова пылала от внезапно обрушившихся на него перспектив и необыкновенной, в связи с этим, перед человечеством ответственности, белые, добившиеся на фронтах бесповоротного, как казалось тогда, успеха, решили покончить с Махно.

БОЛЬШАЯ РУБКА

После летнего разгрома красных Махно не казался военной верхушке деникинской армии сколько-нибудь серьезным противником, несмотря на предупреждения боевых офицеров. А. И. Деникин нигде не называет его войска иначе как «банды» и «вооруженные банды» – с крайним, граничащим с презрением пренебрежением, – хотя его мемуары написаны много спустя после того, как махновцы переиграли его в военной игре и стали одной из главных причин катастрофического разгрома Вооруженных сил Юга России зимой 1919–1920 годов.

Гораздо более серьезным противником представлялся Деникину Симон Петлюра, у которого было 100 тысяч войск и которому белые также объявили войну, не желая поступаться принципом единой и неделимой России и иметь дело с украинскими сепаратистами, хотя те явно были бы рады всякому предложению о сотрудничестве и даже, я полагаю, были бы готовы чуть приспустить свой жовто-блакитный прапор, если бы белые в какой-то мере оговорили вопрос о национальной автономии. Это год спустя – когда, впрочем, было уже слишком поздно, – понял барон Врангель, в секретном приказе предписывая своим командирам сообразовывать действия с действиями уцелевших петлюровцев, «имея в виду основную задачу свергнуть коммунизм и помочь русскому народу воссоздать свое великое отечество» (40, 149), причем обещалась широчайшая автономия всем областям бывшей империи, населенным невеликороссами… Но тут опять насмешка истории: к тому времени, когда сменивший Деникина Врангель дозрел до подобных деклараций, петлюровская армия, разбитая сначала белыми, а потом красными, уже не представляла никакой силы. Белое движение, ища опоры, опять хваталось за пустоту.

Генерал Я. А. Слащев, долгое время возглавлявший операции белой армии против Петлюры и Махно, позднее – после жестокой обиды, нанесенной ему Врангелем (разжалование в рядовые), и амнистии советского правительства, – читая лекции в Высшей военной академии для будущих красных командиров, не без горькой самоиронии отмечал, что самонадеянность деникинского командования, решившего сразу победить всех врагов белой идеи, не могла просто так сойти с рук. То, что ставка считала ликвидацию Махно делом второстепенной важности, он полагал жесточайшей ошибкой: «Эта слепота ставки и штаба войск Новороссии была неоднократно и жестоко наказана» (70, № 9, 39). Проследим за развитием событий.

В двадцатых числах августа белые впервые начали теснить Махно в районе Помощной и Новоукраинки, но действия частей были согласованы плохо, сил для разгрома Махно – явно недостаточно – и в результате наступавшие были отбиты, потеряв бронепоезд «Непобедимый», захваченный повстанцами. Махновские «банды» в очередной раз обнаружили поразительную для тех, кто сталкивался с ними впервые, боеспособность. В эти дни в штабах белых появилась даже порожденная чувствами уязвленного самолюбия и офицерской гордости легенда, согласно которой всеми маневрами махновцев руководил некий Клейст, полковник германского генерального штаба, которого Махно заманил к себе на службу, дополняя стратегический ум германца своей жестокой, несгибаемой волей и знанием местного населения. С Клейстом благородному офицерству не стыдно было состязаться в тактике, Клейсту не стыдно было даже кое в чем уступить: лишь сознание того, что сопротивляется и совершает маневры грязное мужичье, «бандиты», – было непереносимо. Меж тем дело обстояло именно так. Хладнокровный, не склонный к мифотворчеству и самообману Слащев, командовавший 4-й дивизией, действовавшей против махновцев, бесстрастно отмечал: «Ему (Махно) надо было отдать справедливость… в умении быстро формировать и держать в руках свои части, вводя даже довольно суровую дисциплину. Поэтому столкновения с ним носили всегда серьезный характер, а его подвижность, энергия и умение вести операции давали ему целый ряд побед над встречавшимися армиями» (70, № 9, 38).

В начале сентября белые предприняли новую попытку сбить Махно с занимаемых позиций, наступая от Елисаветграда и Арбузинки, но вновь потерпели неудачу и Арбузинку потеряли. Слащев наблюдал: «Махно действовал сокрушительными налетами и крайне быстро, т. к. обстановка требовала высшей энергии и быстроты действий» (70, 39).

12 сентября: белые силами своих 4-й и 5-й дивизий и двух казацких конных полков начали новое наступление на Махно, пытаясь зайти повстанцам в тыл через занятый петлюровцами Ольвиополь. Это им удалось, так как петлюровцы, словно боясь поверить в неизбежность войны с Добровольческой армией, действовали с необыкновенной предупредительностью и, предпочитая держаться от белых на расстоянии пушечного выстрела, услужливо оставляли занимаемые ими местечки при первом же приближении славного воинства российского (одновременно, как не без оснований подозревал Слащев, они снабжали боеприпасами махновцев, хотя и те и другие старались скрыть эту связь).

Ожесточенные бои белых с махновцами продолжались неделю. «Махно дрался упорно, – пишет Слащев, – все время переходя в контратаки и действуя на тылы белых налетами своей многочисленной конницы…» (70, № 9, 40). 17 сентября Махно, теснимый с разных сторон, нащупал во фронте белых слабое место и, опрокинув 5-ю дивизию, повел наступление на Елисаветград, захватив пленных и несколько орудий. В городе началась паника, спешная эвакуация всех деникинских учреждений. Узнав, что махновцы на окраине Елисаветграда и городу «грозит неминуемая опасность быть преданным на разграбление жестоких банд», в ставке белых осознали, наконец, что дело куда серьезнее, чем предполагалось. Тогда спешно была образована так называемая «ольвиопольская группа войск», подчиненных единому командованию бывшего командира 4-й дивизии Слащева. Командир 5-й дивизии пытался возмущаться, так как он был старше чином, но обстановка была слишком серьезная, чтобы дать разгореться этим генеральским амбициям, и за несколько часов конфликт утрясли. В ночь на 19 сентября Слащев получил приказ ставки: «…спасти Елисаветград во что бы то ни стало» (70, № 9, 40).

На рассвете 19-го он двинул против Махно свою «гвардию» – Лабинский офицерский полк, численностью всего в 250 человек, но каждый из этих двухсот пятидесяти, как говорится, стоил трех. Лабинцы ударили Махно в тыл и произвели в рядах его панику. Махновцы отступили от Елисаветграда на запад, но быстро опомнились. Весь день длился упорный бой, однако попытки белых рассечь Махно надвое на линии Помощная—Новоукраинка все-таки не кончились ничем. К вечеру махновцы даже пытались контратаковать, но им во фланг вновь был брошен батальон офицерского полка, который отогнал атакующих в исходное положение.

Обе стороны выдохлись. Если махновцам не хватало боеприпасов, то белым столь же остро не хватало людей, чтобы развить операцию. Слащев пишет, что к вечеру 19 сентября обстановка сложилась такая, что белым, из-за отсутствия резервов лишенным свободы маневра, нужно было идти ва-банк: «Малейшее промедление грозило гибелью, Махно атаковал бы сам, и измотанные войска белых, имея в тылу партизанскую конницу врага, конечно бы, не выдержали» (70, № 9, 40). Можно было бы и отступить, чтобы за ночь, отлипнув от Махно, вернуть себе свободу действий. Но это означало бы сдачу Елисаветграда, разграбление (термин Слащева) города и, как понимали белые, «сигнал к восстанию» всех «тайных махновцев» в районе.

Слащев принял решение атаковать. Поскольку резервов не

было и на карту ставилось все, командирам было приказано возглавить атаку и идти впереди цепей. Начавшийся с рассветом этот отчаянный приступ позиций Повстанческой армии увенчался успехом: в 8 часов утра Слащев уже отдавал приказы на станции Новоукраинка. Махновцы же, взорвав захваченный у белых бронепоезд «Непобедимый», бросив три орудия и 400 пленных, потянулись отступать дальше на запад, в стороне от железных дорог, а то и вовсе по бездорожью, чтобы затруднить преследование. Волин вспоминает это время как исключительно тяжелое для Повстанческой армии: в гигантском обозе было 8 тысяч раненых – столько же, сколько боеспособных в строю, – медикаментов не было, и люди гнили заживо, боеприпасов тоже не было, дрались махновцы отчаянно и каждодневно, но уже без надежды на победу. В этих боях были убиты очень близкие Махно люди: брат Григорий и любимый адъютант Петя Лютый. Сам Махно спал урывками, едва по три-четыре часа, не снимая гимнастерки. Посылаемые во все стороны патрули приносили сведения сплошь неутешительные: помощи ждать неоткуда, фронт ушел далеко на север. Там, на севере, прощупывались только петлюровцы. На западе тоже были петлюровцы. С юга и с востока нажимали белые. В двадцатых числах сентября белые под Уманью окончательно прижали махновцев к петлюровцам. Дальше отступать было некуда.

Тут мы вплотную подошли к одному из замечательных событий в истории Гражданской войны, которое уже потому должно возбудить наше любопытство, что историками различных «школ» оно трактуется совершенно по-разному. Скажем, сочувствующие Махно Аршинов, а вслед за ним и Александр Скирда считают сражение под Уманью поворотным событием всей войны, что, вероятно, для читателя звучит по меньшей мере странно, ибо любой читатель, хоть сколько-нибудь поднаторевший в отечественной истории за последние годы, ни о каком таком сражении не слыхивал. Что неудивительно: этот эпизод борьбы махновцев с самого начала замалчивался, чтобы не признавать за партизанами героизма и не возбуждать к ним нежелательных симпатий.

Из всех «доперестроечных» авторов лишь Лев Никулин в журнальной публикации 1941 года упоминает о неожиданном ударе, которым Повстанческая армия разгромила преследователей под Уманью, после чего совершила головокружительный по быстроте и роковой по последствиям для белых марш на родное Левобережье. Но у Никулина о сражении под Уманью упомянуто вскользь, и даже в этом коротком рассказе все так запутано, что так и непонятно, в чем, собственно, дело.

Справедливости ради отметим, что в 1922 году в журнале «Военный вестник» не кто иной, как Я. А. Слащев, из белого генерала превратившийся в преподавателя Высшей военной академии РККА, опубликовал разбор всех операций Добровольческой армии против Махно и Петлюры. Но той же справедливости ради отметим, что его публикации, хоть и не были спрятаны в спецхран, в систематическом каталоге Ленинской библиотеки отсутствовали и, таким образом, были деликатно устранены из научного обращения. Поэтому вчитаемся в Слащева: «…Махно с упорными боями отходил на Новоархангельск – Покатилово, охватываемый с двух сторон белыми…» Здесь он узнал, что одна кавалерийская бригада белых «прорвалась через его фланговые банды ему в тыл и заняла Умань между ним и Петлюрой» (70, № 9, 41–42). У Слащева неточность, кое-чего он не знал: петлюровцы стояли в Умани, и, прежде чем Махно узнал об окружении, ему удалось договориться с их властями оставить в городе несколько тысяч раненых; речь также шла как будто о том, что петлюровцы передадут повстанцам 700 тысяч винтовочных патронов, но эта сделка – очевидно, из-за прорыва белых– сорвалась, ибо в день решающего боя армии пришлось драться буквально голыми руками. В это время Культпросветотдел армии опубликовал листовку «Кто такой Петлюра?», желая отмежеваться от самостийников. Один из ответственных советских работников признался потом, что «под словами этого воззвания охотно подпишется любой коммунист» (66, 8). Но петлюровцы не реагировали на анархистские выпады своих соседей, понимая, что, пока белые занимаются Махно, их самих они не тронут. И когда казачьи полки подошли к Умани, чтобы зайти в тыл к Махно, петлюровцы без боя и без угрызений совести сдали им город, бросив и раненых, и остатки недобитой партизанской армии на произвол судьбы.

В это время, констатирует Слащев, «Махно стал сильно таять числом (из-за дезертирства), достигая своим ядром всего 6–8 тысяч человек… Боевых припасов становилось все меньше и меньше» (70, № 9, 40–42).

Разведчики, посланные Махно в разные стороны 25 сентября, подтвердили, что армия окружена. Приказ генерала Слащева предписывал корпусу белых в трехдневный срок уничтожить банды Махно, которые «полностью деморализованы, дезорганизованы, испытывают недостаток в еде и вооружении» (95, 585).

Казалось, конец близок. Дух повстанцев упал, продолжалось тихое дезертирство, остававшиеся в рядах армии готовились к гибели. Четыре месяца отступления сказывались и упадком сил, и

неверием в победу.

В тот же день 25 сентября Махно внезапно объявил, что отступление закончено и настоящая война начнется завтра, 26-го. Вечером того же дня махновцы прибегли к маневру, который, если бы Слащев знал их лучше, наверняка заставил бы его насторожиться: они совершили вялую попытку прорыва на запад – безусловно обманную, но, однако, принятую за чистую монету. Казалось немыслимым, что «полностью деморализованные и дезорганизованные банды» осмелятся напасть на главные силы белых. Однако это было именно так. Махно каким-то необыкновенным своим чутьем определил, что у него есть единственный шанс спасти армию: напасть на ядро преследователей и уничтожить его.

Ночью махновская армия была двинута на восток, на главные силы Слащева под Перегоновкой. Аршинов, бывший участником событий, пишет: «Между тремя и четырьмя часами утра завязалось сражение… К восьми часам утра оно достигло высочайшего напряжения. Пулеметная стрельба превратилась в сплошной рев бури. Сам Махно со своей сотней исчез еще с ночи, пойдя в обход противнику… К 9 часам утра махновцы начали отступать… Деникинцы с разных мест подтянули основные свои силы и окатывали махновцев беспрерывными огневыми волнами. Члены штаба повстанческой армии… пошли в цепь. Исход боя решил внезапно появившийся Махно… Молча, без призывов, лишь с горящей на лице волей устремился он со своей сотней полным карьером на неприятеля и врезался в его ряды. Словно рукой сняло усталость и упадок духа у отступавших. – „Батько впереди! Батько рубится!“ – пронеслось по всей массе» (2, 140).

Плотность огня была такая, что, казалось, появление батьки и его сотни неспособно повлиять на ход сражения – вмиг всех изорвет пулями. Но Махно, к той поре уже не раз раненный, недаром снискал среди повстанцев славу «характерника» – по запорожскому поверью, казака, заговоренного от пули и от сабли. «Батькина сотня» врубилась в цепи врага. Аршинов говорил, что под пулями Махно чувствовал себя не более неуютно, чем другие люди под каплями дождя, – и в этом усматривал даже некоторую «патологию» его характера. Но он не бывал с Махно под огнем, когда все дело решает невероятная и, конечно, в мирной жизни непредставимая храбрость. Узнав своего командира, повстанцы поднялись и ударили в штыки. Пошел жестокий рукопашный бой – «рубка», как выражались махновцы.

Первый офицерский Симферопольский полк не выдержал натиска и смешался. Выстрелы, лязг железа и стоны умирающих слились в какую-то страшную музыку. Белые дрались с

ожесточением – достаточно сказать, что одна из рот полка целиком состояла из немцев-колонистов, добровольно вступивших в армию, чтобы свести счеты с махновцами-«экспроприаторами», а остальные были кадровые офицеры, уверенные к тому же, что сегодня они пришли на поле боя за победой, за славой и за наградами (после «спасения» Елисаветграда, например, в полку прибавилось 109 георгиевских кавалеров). И все-таки, когда, заметив Махно, повстанцы поднялись и ударили в штыки, полк дрогнул и стал пятиться – сначала в порядке, потом беспорядочно. Вослед отступавшим Махно пустил кавалерию и за нею в прорыв бросил всю армию, которая, разделившись к вечеру на три отряда, стремительно понеслась на восток, покрывая на повозках и тачанках 100–120 километров в день. Раздавить Махно Слащеву не удалось. Блистательный партизан впервые, быть может, выиграл действительно серьезную партию, в которой ставкой, как всегда, была жизнь.

Но сколь бы ни был высок продемонстрированный класс игры, из всего вышесказанного нам ясно все же, что сражение под Перегоновкой было событием, которое в ряду крупномасштабных операций Гражданской войны – таких, как штурм Перекопа в 1920 году, или менее известных, но не менее дорого обошедшихся белым Орловско-Курской и Воронежской операций в 1919-м, – выглядит достаточно скромно. В самом деле, силы противоборствующих сторон исчислялись едва ли двумя десятками тысяч человек (6–8 у Махно и 12–15 у Слащева), потери – также, самое большее, несколькими тысячами. Известно как будто, что Махно захватил у белых 23 орудия, 100 пулеметов и 620 пленных, а белые подобрали на поле боя несколько сот раненых махновцев – и это все.

В своей оценке случившегося Слащев, проигравший бой, исходит именно из этого. И если, читая Аршинова, можно подумать, что под Перегоновкой Повстанческая армия едва ли не целиком истребила преследовавший ее белогвардейский корпус, то Слащев как раз утверждает, что главные силы не были затронуты, что речь, собственно, идет об обыкновенном прорыве из окружения, когда Махно на узком участке проломил фронт, смяв и уничтожив два белых полка, – что, конечно, трудно считать судьбоносной для истории победой.

Слащев, безусловно, стремится преуменьшить драматизм происшедшего. И как бывший командующий корпусом, и как преподаватель красной военной академии он не склонен афишировать некоторые моменты сражения и не упоминает, в частности, о том, что придуманная им для Махно «западня» не

сработала, что части, поставленные в этой западне, простояли даром, хотя и слышали шум боя, и что именно по этой причине («из-за плохой связи») и погиб 1-й офицерский Симферопольский полк. Если же мы обратимся к воспоминаниям полковника Альмендигера, одного из немногих уцелевших в этом бою офицеров полка, то от холодного стратегического спокойствия Слащева не останется и следа и нам откроется полная драматизма картина гибели одного из лучших полков корпуса:[12] «Штаб полка, 2-я рота, часть пулеметов и батарея продвинулись вперед, перешли вброд Терновку, но командир полка не стал дожидаться, пока подойдут отставшие роты, а бросился дальше, оказавшись к вечеру на Лысой горе без своего полка. Другие роты отступали под сильным нажимом махновской пехоты справа и сзади, при беспрерывных атаках кавалерии на левый фланг…

Солнце начало жечь. Махновская пехота шла вслед за нами, но она не стреляла в нас, так как, по-видимому, у нее кончились патроны, что мы немедленно почувствовали. Мы, в свою очередь, тоже почти исчерпали запас патронов. Вражеская кавалерия нас атаковала с флангов; пытаясь посеять панику, бросала гранаты, чтобы потом врубиться в наши ряды. Нам приходилось все время останавливаться и стрелять, чтобы заставить их держаться на расстоянии. Несколько человек среди наших упали и, чтобы не достаться живыми врагам, вынуждены были застрелиться. Легкораненые старались идти со здоровыми. Мы достигли реки Синюхи, но мы не знали, где брод. Река была глубокой и достаточно широкой. В конце концов некоторые из нас бросились вплавь: кто-то добрался до противоположного берега, кто-то вернулся назад. Махновская пехота остановилась неподалеку от нас. Отстреливаясь от кавалерии, мы продолжали идти вдоль берега реки в надежде отыскать брод. К счастью, жители показали нам место, где можно было переплыть реку. Из наших шести рот оставалось не более сотни людей. Мы увидели колонны, идущие нам навстречу, мы думали, что это наши: внезапно они развернулись в цепь и стали забрасывать нас гранатами… Последние 60 человек под командованием капитана Гаттенбергера, командира 2-го батальона, развернулись в цепь и попытались достигнуть ближайшего леса. Но им это не удалось. Они еще раз отбили налет кавалерии, расстреляв последние патроны, но были скошены из вражеского пулемета. Те, кто еще остался в живых, были зарублены. Капитан застрелился. Пленных не было».

Драматизм ситуации очевиден, но из этого отрывка не следует, что это отчаянное сражение действительно повлияло на ход Гражданской войны. Это был бой, беспощадный и жестокий,

скажем мы, каких было множество. Тем не менее Аршинов настаивает: «Честь поражения контрреволюции (на Украине) принадлежит махновцам» (2, 144). Какие, собственно говоря, есть у него для этого основания? На этот вопрос требуется дать недвусмысленный ответ. И ответ этот единственный: все, что произошло вслед за боем под Перегоновкой, свидетельствует о том, что роль Махно в разгроме Деникина нам действительно неведома. Вероятно, сегодня нельзя уже оценить урон, который махновцы, в самый разгар драки белых с красными, нанесли деникинцам: слишком мало этот вопрос исследован, слишком много свидетельств утрачено или погребено под спудом. Но факт остается фактом: махновщина оказалась чем-то вроде скоротечной и беспощадной болезни, которая в полтора месяца полностью разложила белогвардейский тыл, и, когда в конце 1919 года в излучине Днепра от Екатеринослава до Александровска с севера на юг и до Кривого Рога на запад разрослась махновская советская «республика», по площади примерно равная европейскому тихому герцогству Люксембург, – белые вынуждены были затрачивать на борьбу с этой заразой едва ли не половину своих сил. Все это заставляет смотреть на сражение под Перегоновкой в несколько ином свете.

Москва ничего не знала о событиях под Уманью; она еще только оправилась от рейдов конницы Мамонтова и Шкуро, когда уже соседнюю с Московской Тульскую губернию объявили на военном положении; Москва была потрясена взрывом в Леонтьевском переулке, организованным в Московском городском комитете партии большевиков «анархистами подполья», чтобы убить Ленина: взрыв прогремел 25-го, а 26-го, когда махновцы рубились под Перегоновкой, еще извлекали из-под развалин трупы.

И хотя ни красная столица, ни деникинская ставка действительно не знали о том, что под селом Перегоновка горстка отчаянных партизан прорубила себе клинками путь к свободе, мы можем с уверенностью утверждать, что в гигантском механизме Гражданской войны стронулось что-то: закрутилось маленькое колесико, увлекая своими шестеренками к движению колеса большего масштаба, колеса медленного, но неотвратимого хода.

Современный французский историк Александр Скирда, украинские корни которого невольно заставляют его идеализировать повстанцев в духе запорожского казачества (второе издание своей монографии о Махно он так и назвал – «Казаки свободы»), в главке, посвященной прорыву махновцев из-под Умани, приводит редкие воспоминания белогвардейского

офицера Саковича, которые в русле последующих событий звучат как зловещее пророчество. Сакович был из числа офицеров того самого «засадного полка», который Слащев приготовил на погибель Махно, но так и не ввел в бой. Сакович томился ожиданием; он слышал интенсивную стрельбу в течение некоторого времени, потом все стихло; он ощутил, что произошло что-то очень важное:

«В небе, покрытом осенними облачками, плавали последние дымы шрапнельных разрывов, потом… все смолкло. Все мы, строевые офицеры, почувствовали, что случилось нечто трагическое, хотя никто не представлял себе масштабов несчастья, которое нас постигло. Никто из нас не знал, что именно в этот момент великая Россия проиграла войну. „Это конец…“ – сказал я, сам не зная почему, лейтенанту Розову, который стоял рядом со мной. „Это конец…“ – подтвердил он с мрачным видом» (94, 177).

Ясно, что Сакович написал эти строки, зная о катастрофе, постигшей деникинцев впоследствии. Ясно также, что пророческая фраза «это конец», повторенная дважды, и для Саковича, и для Александра Скирда – не более чем литературный прием. Хладнокровный Слащев в своих лекциях более сдержан: «При энергичном преследовании дни его (Махно) были бы сочтены» (70, № 9, 43). Прекрасно. Но что происходит дальше? А дальше происходит нечто почти неправдоподобное: штаб войск Новороссии приостанавливает преследование Махно и ввязывает корпус Слащева в упорные и длительные бои с Петлюрой, час которого, наконец, пробил. Поистине, нельзя себе представить решения более нелепого! В голый тыл рвется на тачанках 3,5 тысячи (по другим данным – до 7 тысяч) на все готовых партизан, «бандитов», доказавших свое боевое упрямство в ходе боев, непрекращающихся каждодневно более месяца, – и вдруг такое легкомыслие! Против Махно поручено действовать уже не Слащеву, а командиру Таганрогского полка\ Через две недели этот полк если и не был смешан с черноземом Повстанческой армией, вновь вобравшей в свои ряды тысячи человек, то уж, во всяком случае, не представлял для нее никакой опасности. Слащев по этому поводу едко замечает, что в работе главного штаба его, как боевого офицера, поражала бессистемность, «какое-то пренебрежение к противнику, когда он отходит, и невероятная нервность, когда он опять зашевелится» (70, № 9, 43). Воистину, Господь ослепляет тех, кого хочет наказать.

Всеволод Волин, вместе с Повстанческой армией вырвавшийся из белого кольца, приняв нелегкое для анархиста-теоретика боевое крещение, пытается припомнить первую ночь

после прорыва, когда махновцы верхами и на тачанках без продыху шли на восток. О, то не была тихая украинская ночь по Гоголю! Ночь дрожала от стука копыт, всадники неслись по дороге, усеянной трупами порубанных, пострелянных людей, раздетых до белья, а то и донага (и в этой спешке успевали раздевать поверженных врагов, чтобы поменять обветшавшее обмундирование). Луна освещала изуродованные трупы: у кого-то отрублена рука, у кого-то – голова… Волин думает: «Вот чем были бы мы все в этот час, если бы победили они… Что это – судьба? Случайность? Правосудие?» (95, 589).

Чем бы ни было случившееся, то, что ждало махновцев в последующие дни, было почти невероятно и напоминало сон: они не встречали никакого сопротивления… Волин не может определить состояние деникинцев иначе как «тыловая летаргия»: «Впечатление было такое, будто мы ворвались в заколдованное царство спящей красавицы. Никто не знал о событиях под Уманью, о прорыве махновцев» (95, 589). Да, правду сказать, если бы и знал, оказывать сопротивление было некому. Оперсводка махновского штаба, несмотря на сквозящее в ней самодовольство, проникнута также глубоким недоумением: «Поле усеяно трупами и погонами от Умани до Кривого Рога. Кривой Рог и Долинская оставлены противником без боя… Разведка наша, посланная по направлению Александровска, Пятихатки и Екатеринослава, противника не обнаружила» (40, 86). Тыловые гарнизоны деникинцев были ничтожно малы: в Кривом Роге было только 50 человек госстражи, которые, конечно, не принимая никакого боя, в ужасе бежали, едва тачанки махновцев загрохотали по мостовым города. Над Днепром от Николаева до Херсона войск не было никаких; в Херсоне – не больше 150 офицеров. Екатеринославский губернатор, не смущаясь столь малой численностью гарнизона, призывал к борьбе с махновцами – ввиду малого их количества – местное население, под махновцами, очевидно, подразумевая просто строптивых крестьян да скрывавшихся в лесу отставших партизан и красноармейцев. Всего за несколько дней до занятия Екатеринослава махновцами этот человек клятвенно уверял, что городу ничего не угрожает со стороны… петлюровцев!

Последствия подобного легкомыслия разразились чудовищной катастрофой: пройдя в десять дней около 600 верст, махновцы один за другим берут города – Кривой Рог, Александровск, Никополь. С каждым днем Повстанческая армия пополняется людьми и вооружением. 6 октября Махно отдает приказ наступать на юг: через пять дней у белых отбито Гуляй-Поле, захвачен на один день Мариуполь, взят Бердянск – один из

главных портов, через которые шло снабжение деникинской армии. Перерезаны все железные дороги, разгромлены артиллерийские склады… Читатель, который не сочтет за труд взглянуть на карту, убедится, что оперативное пространство Повстанческой армии исчислялось в это время десятками тысяч квадратных километров. Что творилось на этой территории, мы, конечно, представить себе не можем: в который раз обиженные и обидчики менялись местами, в который раз в каждом селе, в каждом прежде сонном, заросшем лопухами и вишнею местечке во имя гуманности, справедливости и свободы, словно ягодный сок, лилась кровь… Вновь, как осенью 1918 года, вздыбилась деревня – но уж теперь не надо было партизанам-поджигателям нагнетать обстановку: теперь каждый и сам знал в лицо врага своего.

В книге «Неизвестная революция» Волин, избранный председателем Реввоенсовета Повстанческой армии, не без сочувствия, хотя и с заметным при внимательном чтении замешательством, описывает сцену расправы крестьян над священником, который в свое время выдал деникинцам список смутьянов (как человек, Волин не чужд некоторых моральных предрассудков, но как интеллигент, взрастивший в себе анархическое мировоззрение, он всячески пытается их изжить, индульгируя себя волею «масс»). Однако, как бы в реальности ни обстояло дело, сегодня эту подробно описанную сцену нельзя читать без некоторого душевного трепета, представив себя на месте жертвы. Дело в том, что если большевики упразднили суд присяжных как «буржуазное» заведение, заменив его «тройками» быстро сыскавшихся фанатиков «революционного правосознания», то декларацией Реввоенсовета Повстанческой армии всякий суд, как репрессивное орудие эксплуататорских классов, был, в духе анархического учения, отменен в принципе, как институт: «Истинное правосудие должно быть не организованным, но живым, свободным, творческим актом общежития» (85, 48). Практически это означало низведение правосудия до уровня товарищеского суда или – что, возможно, представляет собой более достоверную аналогию – суда Линча, который, вне всякого сомнения, является самым что ни на есть «живым, свободным, творческим актом общежития» для всех, кто принимает в нем участие. И если Франц Кафка в «Процессе» ужасается более всего той бесчеловечности, машинное™, в которую в цивилизованном мире превращено судебное производство (именно производство: слов, параграфов, бумаг, перед которыми, как перед бесчисленными дверьми бесконечных чиновничьих кабинетов, человек оказывается совершенно

бессилен), то Волин, сам того не желая, выдает нам ужас прямо противоположного, человеческого, неравнодушного подхода к правосудию.

Заняв одну из деревень, махновцы узнали, что местный священник передал властям список из 40 человек, сочувствующих махновцам. Все они были расстреляны. Выяснив, что крестьяне говорят правду (аргумент, способный растрогать любого юриста), партизаны отправились искать попа. Далее Волин пишет: дома его не оказалось. Кто-то сказал, что он прячется в церкви. Но на двери снаружи висел замок. Замок, поколебавшись, сорвали (ибо возникли подозрения, что навесил его, спасая священника, маленький пономарь). В церкви никого не было, но ворвавшиеся обнаружили ночной горшок, уже использованный по назначению, и запас еды. Гремя оружием, несколько человек полезли на колокольню. Люди, наблюдавшие за происходящим с площади, видели, как с колокольни на крышу церкви выбрался человек в черной рясе и в ужасе закричал: «Братцы! Братцы! Я ничего не делал! Я ничего не делал! Братцы, помилуйте, братцы…»

Его схватили за рясу и стащили вниз, приволокли «по случайности», как пишет Волин, во двор к крестьянину, где остановилась махновская секция пропаганды. Тут же был устроен народный суд. Анархисты, следуя правилу не навязывать собственного мнения, не вмешивались, а только (не без скрытого удовольствия?) наблюдали. Поп был молод, с длинными волосами цвета соломы, очень напуган.

– Ну, – кричали попу, – что ты теперь скажешь, проходимец? Пришла расплата! Прощайся с жизнью и моли своего Бога…

– Братцы, братцы, – повторял поп, дрожа. – Я невиновен, невиновен, я ничего не делал, братцы…

– Как ничего не сделал? – раздались голоса. – А не ты, что ли, выдал Ивана, Петра, Серегу-горбуна и других? Разве не ты составил список? Хочешь, пойдем на кладбище, к их могиле. Или ты хочешь, чтобы мы в полицейском участке разыскали твои доносы?

Поп упал на колени, лицо его покрылось потом:

– Братцы, пощадите, я ничего не сделал…

На коленях священник подполз к молодой анархистке из секции пропаганды и, поцеловав ее платье, взмолился:

– Сестрица, заступись за меня… Я невиновен… Спаси меня, сестрица…

– А что я могу сделать для тебя? – ответила она. – Если ты невиновен – защищайся… Эти люди – не дикие звери. Если ты невиновен, никто не причинит тебе зла. Но если виноват, то что я могу сделать?

Какой-то повстанец на коне въехал во двор и, сквозь толпу пробравшись к попу, принялся хлестать его плеткой, при каждом ударе приговаривая:

– Не будешь обманывать народ! Не будешь обманывать народ!

– Хватит, товарищ, – сказал Волин мягко. – Не надо все же его мучить…

– Ну да, – поднялись голоса. – А то они никого не мучили…

В этот момент другой повстанец приблизился к попу:

– А ну, подымайся! Довольно ломаться! Вставай! Приговоренный больше не кричал. Очень бледный, едва ли сознавая, что происходит, он встал. Взгляд его скользил поверх голов, губы шептали что-то неразличимое.

Повстанец, взявший на себя судейские функции, спросил:

– Есть кто-нибудь, кто хочет защитить этого человека? Кто-нибудь сомневается в его виновности?

Никто не пошевелился.

Повстанец рванул попа и внезапно задрал ему рясу:

– Шикарная ткань… из нее выйдет отличное черное знамя, а то наше поистрепалось…

Осужденный покорился. Он встал на колени и, сложив молитвенно руки, стал читать молитву: «Отче наш, иже еси на небеси, да святится имя Твое, да приидет царствие Твое…»

Двое повстанцев встали позади обреченного и, достав револьверы, несколько раз выстрелили ему в спину.

Предатель упал. Все было кончено (95, 591–593).

Для человека, имеющего отношение к юриспруденции, каждая строка этого описания поистине вопиюща. Мы, однако, воздержимся от комментариев: все-таки Волин, сам того не желая, изобразил сцену «народного суда» достаточно красноречиво, чтобы ужаснуться ей и у человека со здоровыми инстинктами вызвать жалость к жертве. Забавнее всего, что сам-то он преследовал цель прямо противоположную: рассказать революционным кругам Европы, да и вообще запутавшемуся в либерализме человечеству, как славненько получалось у анархистов в 1919 году решать вопросы правосудия. Не удержась, замечу, что убивают попа, виновность которого нельзя все же считать до конца установленной, не крестьяне, а два повстанца, которые уже вкусили крови и, жаждая ее вновь, проделывают всяческие вещи, чтобы гибель несчастного ускорить: хлещут его плеткой, заводя толпу, а потом волевым решением отправляют его-таки в мир иной.

Партизаны, совсем еще недавно не знавшие, удастся ли им выбраться из смертельного кольца преследователей и встретить

восход нового дня, теперь чувствовали себя в деникинском тылу настолько полновластными хозяевами, что даже Махно – командующий всей армией, человек, действительно обладавший властью и силой, – мог расслабиться и исключительно удовольствия ради позволял себе забавы в духе раннего повстанчества с переодеванием, буффонадой, амикошонством и шампанским, которые неизменно заканчивались кровавой резней и собственноручной расправой с «врагами». Волин упоминает, как Махно с компанией старых друзей, переодетых в форму деникинских офицеров, приехал в имение помещика, известного как «крайний реакционер» и палач крестьян. Хозяин принял их с необыкновенным радушием и оставил на ночлег.

Нет, он не был зарезан ночью в постели: этак в пьесе не хватило бы перцу. Лишь на другой день, после завтрака с дорогими винами и ликерами, во время которого хозяин, поощряемый улыбками гостей, провозглашал тосты за здоровье Деникина и проклинал «махновских бандитов», лишь после того, как, совсем растрогавшись, помещик продемонстрировал гостям свой арсенал и непримиримую готовность к обороне, его неожиданно охолодили. Махно называет свое имя: «Пора платить…» Помещик, его верные слуги и друзья-офицеры убиты на месте… Кажется, будто вновь замелькали знакомые уже кадры хроники 1918 года…

Впрочем, неизвестно еще, когда ожесточение было большим. Наталья Сухогорская, до конца Гражданской войны вынужденная быть свидетелем творившихся на Украине ужасов, пишет, что возвращение Махно в Гуляй-Поле было поистине страшно. Ее откровение начинается рассказом о некоем белогвардейском прапорщике, оказавшемся расквартированным по соседству с нею: молодой офицер не мог удержаться от мальчишеского бахвальства и, как мог, утешал интеллигентную соседку тем, что белые необыкновенно устойчивы и никогда больше не отступят… Бедный юноша, конечно, и сам верил в это. А назавтра после разговора с соседкой, в 5 часов утра, когда сон так сладок, его выволокли из постели на утренний холодок, на расстрел, ворвавшиеся в село махновцы.

Богатых и ненавистных убивали; девушек, осмелившихся гулять с белыми, тоже убивали. «Нередко натыкались люди в своих дворах на части человеческого тела, принесенные собаками (значит, „рубали“ где-то за околицей. – В. Г.). Собаки сделались бичом села. Питаясь трупами убитых, они обратились в диких зверей… как волки, нападали по ночам на свиней, пожирали их, а люди не смели даже выйти из хаты. Оружие было ведь у всех отобрано…»

…Чем более проходит времени, тем труднее и тем ненужнее быть в истории судьею. Не будь на то причин, не загорелось бы снова в тылу у белых свирепое, как пламя, крестьянское восстание, охватывая, помимо исконно «махновских», и соседние губернии. Но и жестокости восставших оправдывать я не могу, считая, более того, что не мое это дело – оправдывать. Поэтому вернемся к фактам.

Ввиду того что силы Махно стали угрожать непосредственно деникинской ставке Таганрогу, от которого Махно был в ста верстах, в то время как деникинцы находились втрое дальше от Москвы, белые подтянули сюда крупные силы, в надежде все же как-то перекрыть истечение крови, образовавшееся вследствие разрыва партизанской гранаты буквально у них в животе. Им удалось добиться частичного успеха, но «накрыть» главные силы Махно на Левобережье они все же не смогли, и, хотя казаки, как утверждают, как-то раз захватили даже батькин обоз, операции против него напоминали перекатывание лужицы ртути на полу: чувствуя давление с одной стороны, махновцы текли в другую, бросали Мариуполь, захватывали Синельниково, Павлоград, уходили оттуда, появлялись в другом месте.

В это время Махно с главными силами вернулся на правый берег «и, в буквальном смысле слова разметав (термин Слащева. – В. Г.) в разные стороны войска начальника обороны Екатеринослава, овладел этим городом с налета… После этого екатеринославского боя начальник его района был смещен ставкой, а (белые) части остались пассивно стоять против Екатеринослава. Махно не беспокоил стоящих за Днепром, а занялся овладением района» (70, № 9, 41).

Правда, на родном левом берегу Днепра дело закончилось для махновцев поражением. В октябре в результате пятидневных боев под Волновахой с резервами Терской и Чеченской дивизий партизаны были разбиты и, еще некоторое время порейдовав в «пустотах» белого тыла, вынуждены были в конце концов уйти за Днепр и даже бросить Александровск. К середине ноября, когда белые начали планомерные операции против Махно, от повстанцев был очищен весь левый берег.

А. И.Деникин так комментирует эти события: «Положение становилось грозным и требовало мер исключительных. Для подавления восстания пришлось, невзирая на серьезное положение фронта, снимать с него части и использовать все резервы. В районе Волновахи сосредоточены были Терская и Чеченская дивизии и бригада донцов. Общее командование этими силами было поручено генералу Ревишину, который 13 (26) октября перешел в наступление на всем фронте. Наши войска в

течение месяца наносили удар за ударом махновским бандам, которые несли огромные потери и вновь пополнялись, распылялись и воскресали, но все же катились неизбежно к Днепру. Здесь у никопольской и кичкасской переправ, куда стекались волны повстанцев в надежде прорваться на правый берег, они тысячами встречали смерть…» (17, 234–235).

Сколько же трупов обрамило кичкасский мост с тех пор, как впервые Махно с отрядом своих «черногвардейцев» решился разоружать здесь идущие с фронта казацкие эшелоны?

Никому не сосчитать.

Люди – песок на весах истории, их жизни имеют вес только тогда, когда их отдано много, очень много. Махновцы бросили на чашу весов достаточно жизней, чтобы сдвинуть стрелку. «Это восстание, принявшее такие широкие размеры, расстроило наш тыл и ослабило наш фронт в наиболее трудное для него время», – констатировал в своих мемуарах А.И.Деникин (17, 235). «Тысячи встретивших смерть» удостоились трех строчек в единственной книге, написанной семь лет спустя на чужбине их заклятым врагом!

«АНАРХИСТСКОЕ ГОСУДАРСТВО»

Подпольная большевистская организация города Александровска появлением махновцев, прорвавшихся из-под Умани, была шокирована, наверно, не меньше, чем белые власти. До появления махновцев группа большевиков затаилась и проявляла себя сравнительно скромно. Евгений Петрович Орлов – в ту пору просто Женя Орлов, романтический семнадцатилетний мальчик, – глубоким уже стариком, сидя в моей квартире за чашкой крепкого кофе, тем не менее вспоминал 1919 год с трепетом: тогда он только еще входил в круг серьезных, взрослых дел, заражался лихорадкой политической борьбы и азартом конспиративной жизни. И он вспоминал, словно о событии чрезвычайной важности, как по рекомендации подруги в городском саду он был представлен странному человеку, проживавшему в городе под именем французского дворянина де Лави – чесучовый пиджак, белые брюки, соломенная шляпа, остренькая бородка а-ля Анатоль Франс, тросточка. Оказалось, что француз на самом деле не француз, а большевик, причем однофамилец, Андрей Орлов. Но тогда круг превращений еще не замкнулся, и Андрей Орлов дал Жене Орлову задание: пойти к портному Семену Новицкому и спросить: «Альберт приехал?» А когда он исполнил поручение и передал ответ: «нет, он еще задержался» – рассказал о тайной партийной явке в гостиничке «Париж» у Шоя Андриенко («Париж» был заштатным заведеньицем, где ночевали обычно проститутки и извозчики), о планах убить начальника городской деникинской контрразведки Григорьева и его помощника Продайко, о доставке прокламаций и подпольной газетки «Молот» из Екатеринослава. За «Молотом» Женя Орлов ездил вместе с Андреем Орловым, а потом отчаянные молодые ребята эти газетки расклеивали. Был такой сорвиголова Емелька Казанцев, любил риск – и «Молотом» припечатывал портреты Деникина и Шкуро возле театра «Модерн». А Коля Сагайдак развозил прокламации по деревням – он деревню знал хорошо: отец его, податной инспектор, был крестьянами убит, и сын, видно, посчитал, что правильно, – раз возил прокламации…

И все это длилось, пока в одну прекрасную ночь на весь город не грянул взрыв, и не загорелось здание городской тюрьмы, и после редких выстрелов темные еще улицы не заполнились звуком цокающих копыт. Наутро изумленные жители узнали, что город занят махновцами, и, как во сне, поплыли видения: всадники в папахах и свитках, тачанки; в красной черкеске с белым башлыком, на чудном гнедом коне с белыми чулками –

Михаил Полонский, назначенный начальником гарнизона; тонкой, почти девичьей, но одновременно жестокой красой красивый Федя Щусь, с завитою шевелюрой, командир кавалерии; плотный, рыжий, улыбчивый Левка Задов; жена Махно Галина Андреевна, как-то раз показавшаяся на улицах в шикарном английском ландо, обитом сукном небесного цвета…

Мы сидели с Евгением Петровичем у меня дома 15 марта 1989 года: он горячо вспоминал, а я слушал, мучаясь от невозможности представить себе то, что так явственно стояло перед глазами моего визави, на 58 лет опередившего меня во времени. И я задавал вопросы из своего времени, а он, естественно, отвечал из своего – и поэтому, если что и выяснялось, то какая-то куцая, сиюминутная правда, которой, в общем-то, небольшая цена.

– Были ли грабежи?

– Нет, грабежей не было. Был приказ: за грабежи – расстрел. Я как-то раз шел из дома и неподалеку от штаба Махно смотрю: два трупа лежат, народ толпится. Что такое? Да вот, говорят, сам Махно расстрелял за грабежи…

Так что же, совсем не грабили? Н. Герасименко (которому, правда, верить нельзя из-за фантастических домыслов, пронизывающих всю его книгу) утверждает вот, что Бердянск пограбили основательно: не успела еще смолкнуть над городом канонада и не затонул в порту, перевернувшись при повороте, переполненный спасающимися офицерами катер «Екатеринославец», как город заполнили сотни подвод, на которых крестьяне из ближних и дальних деревень вывозили все, что попадалось в магазинах и на складах, вплоть до оружия и английского обмундирования.

Такой эпизод возможен. Но Бердянск был периферией махновии; махновцы чувствовали, что город им долго не удержать, поэтому и попустили «своим» пограбить. Да и для армии военные склады деникинцев были богатым трофеем. В центре порядок был другой, хотя и тут без эксцессов не обходилось. И. Гутман рассказывает забавный эпизод, как какой-то махновец долго клянчил у прохожих себе штаны, а потом, не выдержав, остановил первого встречного и снял с него брюки. Сбросив свои отрепья, солдат рассмеялся: «Вот так давно бы! А то уже у шести просил: дайте, пожалуйста, штаны, совсем обносился. Все говорят: нет лишних. А вот теперь нашлись. Нам батько Махно запрещает грабить. „Ежели, говорит, тебе что нужно, – возьми, но не больше“. Ну, а мне больше и не надо» (40, 187).

Историки советского времени из любого эпизода делали в

отношении махновцев далеко идущие выводы. Для нас теперь, по счастью, все иначе. Ну, просил человек штаны – и все. Что это значит в политическом, этическом и классовом смыслах? Да прежде всего то, что собственные штаны его были рваные. Поэтому, слушая Е. П. Орлова, я об одном только сожалел – что не могу прорваться воображением туда, в тот Александровск, столь не похожий на современное индустриальное Запорожье, в ту осень, увидеть тех людей и то, что происходило с ними. По счастью, я перестал докучать своему собеседнику дурацкими вопросами, и он стал вспоминать, вспоминать… Вот как, например, в первое утро после занятия махновцами города большевики-подпольщики собрались на явке в «Париже» и недоумевали – что им теперь при махновцах делать? Ибо в последний раз Махно проходил через Александровск объявленный вне закона товарищем Троцким… И как понять, сколько людей у него? И надолго ли они пришли? И так гадали, пока щеголеватый Андрей Орлов, он же француз де Лави, не вышел из оцепенения и не велел:

– Значит, сейчас, Женя, бери ребят, беги в контрразведку, и тащите бумаги сюда…

И как эти мальчишки побежали в деникинский ОСВАГ, еще не тронутый махновцами, но почему-то уже разгромленный («бумаги лежали на полу грудами»), и, нахватав целые кипы этих бумаг, побежали обратно в «Париж», боясь махновцев, и по дороге Женя Орлов увидел и узнал почему-то застрявшего в городе белого офицера: он шел в штатском платье, белый офицер, бледный, как полотно. И они разминулись, боясь махновцев…

Если Андрей Орлов, он же француз, действительно был провокатором Добрармии, то он первым делом послал мальчишек в контрразведку не случайно: представьте это себе, и вы тут же ощутите настроение этого тревожного утра, и сюда же еще приплюсуется белый офицер – слишком бледный, чтобы не выломиться из тьмы прошлого и не сделаться вдруг понятным. Понятен страх его, человеческий страх быть грубо и жестоко умерщвленным: ведь уже были вывешены приказы коменданта города Каретникова и начальника гарнизона Полонского о явке с повинной всех деникинских офицеров, но он, этот переодетый в штатское поручик или капитан, не верил в милосердие победителей и, возможно, правильно не верил. Если Герасименко не врет, в Бердянске махновцы платили уличным мальчишкам по сто рублей за каждого обнаруженного офицера или пристава, которых тут же, на глазах у мальчишек, приканчивали. В Екатеринославе не тронули деникинских раненых в госпиталях, но офицеров расстреляли на берегу Днепра. Тут как со штанами –

время было такое… Нельзя было иначе.

В остальном представить себе, что за жизнь была при Махно, довольно трудно. Забавная жизнь. Читая Аршинова и Волина, легко увлечься вольнолюбивыми декларациями Реввоенсовета Повстанческой армии и заблудиться в словах о народовластии и свободе. Но что такое «народовластие»? Что такое «свобода»? Чтобы понять это, необходим образ, который наполнил бы реальным содержанием эти замусоленные до грязи и по сути уже ничего не выражающие слова. Один такой образ подарила мне Екатерина Николаевна Шафранова (письмо от 27 февраля 1989 года). Она пишет: «Мне было 12–13 лет, я жила в Александровске в семье дяди, преподавателя Александровского технического училища Константина Николаевича Трофимова, училась вместе с его дочерью Аней в женской гимназии…

Заняв Александровск, Махно отдал приказ учебным заведениям представить списки детей преподавателей. Никто не знал, для чего это нужно, в страшной тревоге за детей все советовались, совещались, но в конце концов список был составлен. Утаить кого-нибудь было нельзя – везде могли найтись недруги, которые напишут донос. Со списком справились, трепеща от страха.

Результат оказался совершенно неожиданным: Махно распорядился выдать по списку материю на платье. Не помню, что получили мальчики, но нам с сестрой достался материал на платье и еще на юбку и блузку…»

Представьте, как трепетали родители за жизнь детей, когда после красных и белых, григорьевцев и петлюровцев Махно истребовал списки. Как должны были бояться доноса, чтобы выдать ему своих детей… И каково, в результате, было удивление? Впервые власти дали обнищавшему населению хоть что-то… Боже мой! Какие странные повороты судеб и истории!

Рассказ о пике махновщины, о махновской республике, образовавшейся осенью 1919 года в излучине Днепра, должен был бы, наверное, начинаться не с таких вот вольных наблюдений, а с какого-нибудь обобщения – скажем, с очерка по истории социалистических утопий. И тогда, конечно, нужно вспомнить и Запорожскую Сечь, и пиратские республики и братства на островах Карибского моря и в дельте Миссисипи, и колонии иезуитов в Америке, и так далее – вплоть до коммун хиппи и «новых левых», которые со временем превратились в обычные кооперативы и в таком виде, или в виде сквотов, с радиостанцией для «независимого вещания», существуют до сих пор. Республичка махновцев просуществовала всего около двух месяцев, но в ней обнаружились не только курьез, но и урок

человечеству. Мы должны попытаться понять, почему великая бюрократическая утопия большевиков подмяла под себя и поглотила маленькую дикорастущую утопию махновцев. Как бюрократы в очередной раз оказались сильней бунтарей, которые в конечном счете не смогли противопоставить наступлению формирующейся системы ничего, кроме древнего демократического права казацкого круга – назовем этот круг «вольными советами», – которые, разумеется, формирующаяся тоталитарная власть принять не могла.

Вот теперь минуя Платона и прочих древних с их «идеальными республиками», совершим все же краткий обзор политического утопизма, который, в отличие от мифологии и религии с их образно-метафорическими представлениями о царстве Добра, ищет разрешения драматических противоречий действительности в создании некой политически безупречной организации, которая бы обеспечила счастье если не поголовно каждому, то уж, во всяком случае, гигантскому большинству людей.

Кампанелла и Томас Мор дали известнейшие описания таких общественных устройств, продемонстрировав заодно, сколь ограничены возможности индивидуального человеческого разума: читая «Утопию» или «Город солнца», нельзя не поразиться, насколько плоска и мелочно регламентирована жизнь в этих идеальных государствах, насколько нивелирована (или просто еще не выявлена?) в них личность. Но сколь бы ни были схоластичны их писания, в которых все страстное, мистическое, все не поддающееся бухгалтерскому учету в человеке игнорировалось – и сам этот человек, по мнению авторов, существо исключительно мозговое, рациональное (хотя это опровергалось всей человеческой историей и литературой от Гомера до Шекспира), был отдан во власть Идеального Государства. Эта хилая, нездоровая литературная традиция обрела новую кровь и дальнейшее развитие во времена французского Просвещения. Разум искусил блистательных французов идеей переустройства мира по своим законам (они казались открытыми), сообразно предписаниям Природы (они считались известными), и это казалось столь же естественным и осуществимым делом, как преобразование ландшафта по законам парковой архитектуры с необходимыми в этой архитектуре аллеями, шпалерами, беседками, водопадами и буленгринами. Отцы «Энциклопедии», в частности Дидро, дали новый толчок к изобретательству в области общественного устройства. Основным принципом такового виделось равенство, причем не только равенство в правах, а равенство имущественное, или даже

отсутствие личного имущества. Из подобного равенства вытекали некая общая размеренность и направленность жизни, общий труд, стремление к разумному идеалу, в котором материальный достаток сочетался бы с гармоническим развитием личности. Бесконечные вариации этой темы мы встречаем у аббата Габриэля Бонно де Мабли, считавшегося в XVIII веке в Париже большим авторитетом в вопросах политики и морали, и у Морелли, который сам по себе является загадкой. До сих пор, например, неясно, в самом ли деле он опубликовал в 1755 году в Амстердаме свое главное произведение – «Кодекс природы, или Истинный дух ее законов», – или же «Морелли» – не более чем литературный псевдоним, которым прикрылся кто-то из первых умов эпохи Просвещения. «Кодекс природы» требовал от человека принятия трех основных законов: первый из них отменял частную собственность, второй гарантировал каждому право на труд и на содержание, третий обязывал каждого заниматься общественно полезным трудом…

Все это вновь и вновь варьируется затем у Бабёфа и его последователей и, наконец, у Сен-Симона и Фурье. И хотя поражение революции 1848 года в Европе заставило говорить о «крахе социализма» или, во всяком случае (это отметил Бакунин), о зловредности всякого социалистического доктринерства – на протяжении всего XIX века не прекращались попытки дать возможно более точное и подробное описание «идеального государства».

Отношение к ним свысока недостойно: в копилку человеческой мысли утописты привнесли немало ценного – от экологически оправданной идеи скромного, без излишеств, потребления природных ресурсов до программ социального страхования, формулы акционерных предприятий и выраженной в новых терминах идеи человеческого братства и солидарности. Однако, отметим, именно это казалось наименее ценным ультрареволюционерам конца XIX – начала XX веков.

В России народная традиция, потянувшаяся сначала еще от казачества и старообрядцев, стяжания себе на земле райской жизни не путем преобразования государства, а путем максимального удаления от него, естественным образом подталкивала теоретиков русского революционного движения видеть будущее коммунистическое общество как общество без государства, общество анархическое. Не случайно автором одного из наиболее крупных русских утопических манифестов стал «апостол анархии» – князь П. А. Кропоткин. Сегодня, читая его доклад об идеале будущего строя, с которым он выступил на заседании кружка «чайковцев» в 1873 году, понимаешь, что такой

идеал мог вызреть только в голове революционера молодого, сравнительно мало еще искушенного в науках, не побывавшего ни разу в Европе и к тому же добровольно принявшего идеалы и даже предрассудки экономически очень мало развитого народа за идеалы будущего строя. У Кропоткина было одно несомненное оправдание – как бы экономически или политически мало ни был развит русский народ, от своего государства он ведал только одно: рекрутчину, самодурство чиновников и самое презрительное к себе отношение. Честное слово, не знаю – у кого бы в России хватило бы духу написать об «идеальном государстве»! Оказавшись потом во Франции и Англии, занявшись всерьез историей и социологией, Кропоткин никогда более не возвращался к политическим крайностям своего трактата, а после Октября и подавно – некоторые свои политические императивы (например, равенство в праве на труд и в труде, в способах образования, в общественных правах и обязанностях) пытался из политической плоскости перевести в план, так сказать, моральный. Равенство в труде во времена революции обернулось бесконечными издевательствами над «буржуями», а отрицание «привилегированного труда» – уравниловкой и даже репрессиями. Сам Кропоткин, поселившийся в Дмитрове, для местного совдепа был очень сомнительной фигурой: «старым князем» с неясными революционными заслугами, занятым почти непрерывно «привилегированным трудом»… Ведь он писал свою «Этику»!

Кропоткин, впрочем, уже в 1873 году понимал, что подробное описание идеального жизнеустройства бессмысленно и бесполезно, и оговаривался, что все сказанное рисует идеал будущего строя лишь в самых общих контурах, прочертить и расцветить которые должна сама жизнь в ходе своего революционного переустройства.

Жизнь, как ей и положено, внесла свои коррективы. Некоторые пункты «записки» – в России большевиков так же, как и в махновской республике, – оказались воплощенными в действительность поистине с пародийной буквальностью. Особенно это касалось переделов имущества, квартир, капиталов «в звонкой монете и ценных вещах». Махновцы сразу изъяли деньги из банков и конфисковали имущество ломбардов, куда население запрятало его от деникинцев: в Екатеринославе, судя по неоднократным упоминаниям, партизанские вожаки щеголяли с золотыми цепочками на шеях и браслетами на руках. Махновская казна и далее пополнялась почти исключительно за счет «контрибуций». На александровскую буржуазию, например, была наложена контрибуция в 50 миллионов рублей – но, видно,

и буржуазия была доведена войной до истощения, ибо даже скорым на расправу партизанам удалось собрать лишь 7 миллионов. В Екатеринославе из 50 миллионов собрали 10, в Бердянске из 25–15, в Никополе 8 из 15.

«Мероприятия» махновщины кажутся поистине доведенным до крайности революционным варварством. Это, конечно, так. Однако, оказавшись перед необходимостью управлять сравнительно обширной территорией и, следовательно, налаживать снабжение, финансы, городское хозяйство и т. д., махновцы пошли не дальше большевиков и точь-в-точь повторили их опыт 1917–1918 годов, когда большевизм был молод, зелен, горяч и утверждал свою власть при помощи штыка и контрибуций.

Тут еще раз вспомним, что махновская республичка просуществовала-то всего два месяца в кольце фронтов. За это время ни одна – ни белая, ни красная, ни какая-либо другая – власть ничего не успевала наладить. Вспомним Москву в декабре 1917-го, через полтора месяца после октябрьского переворота: это израненный, одичавший, голодный город. А Ярославль? А Самара? А Саратов? Я бы эту тему предпочел вообще не трогать. Если бы Махно продержался подольше – и при нем, можно не сомневаться, тоже все как-нибудь устроилось бы. Трудно, конечно, ожидать, что махновские власти в управлении городом проявили бы вдумчивость и компетентность земских городских дум, занимавшихся городским самоуправлением до Октября. Но что поделаешь! Дело партизана – сражаться и погибать, тяжкое бремя власти пригнетает и унижает воина, тогда как битва в вольном поле и своевременная гибель запечатлеваются навеки в памяти потомков.

Забытый ныне писатель Ефим Зозуля в одном из своих рассказов блистательно описал, как входит в украинское местечко партизанский отряд: рассыпанный строй «грязных, лишаистых, пыльных людей, обветренных, оборванных, обвешанных рыжими, облезлыми винтовками, ножами и бомбами» (23, 59). И описал ужас обитателей местечка перед этой неведомой силой, и жизнь, наполненную будничными заботами и обычными страхами простого трудящегося человека перед нелепыми жестокостями войны.

Читая Зозулю, мы можем представить себе, как входили в украинские местечки махновцы – точь-в-точь такие, какими описал их писатель, как шли они к центру, выбирали себе получше дома… Ну а дальше что? Что – непременно? Развешивали объявления. Декреты новой власти. Потом – конфисковывали какую-нибудь типографию и начинали печатать

газеты.

Газетка «Вольный Бердянск», случайно уцелевшая в одном из архивов Запорожья, сохранила для нас подробности взятия Бердянска:

«…Для занятия города были посланы части 2-го Азовского корпуса во главе с командиром т. Вдовиченко… В полночь на 12 октября наши части подошли к Бердянску версты на две, но неприятель открыл по ним ураганный артиллерийский, пулеметный и ружейный огонь, ввиду чего Новоспасовский полк окопался и утром, около пяти часов, вместе с другими частями и во главе с командиром тов. Гончаренко, занял город.

Деникинские банды пытались… спастись, но нашим пулеметным огнем они почти все были уничтожены. В городе и окрестностях нами было изрублено около 600 офицеров и сдались 900 чел. мобилизованных…

По вступлении наших частей в город немедленно были освобождены заключенные из тюрем, но, к великому огорчению, палачи успели до нашего прихода совершить тяжкое злодейство и в последнюю ночь расстрелять 200 заключенных.

До чего велик был энтузиазм повстанцев при взятии города, показывает тот факт, что сестра милосердия Новоспасовского полка тов. Митранова, находясь все время в передовой цепи и будучи ранена, не отставала и с громким криком „вперед“ приближалась к городу, пока не была вторично ранена, но и тогда без посторонней помощи вошла в город.

Так бороться и умирать за революцию могут лишь вольные повстанцы и подлинные дети труда. И взятие Бердянска останется одной из самых красивых страниц в истории революционной повстанческой борьбы махновцев…» (13, 21 октября 1919 г.).

Так что же правда – грабеж или геройство, порыв трудовых масс к новой жизни или гарцующие в золотых цепочках партизанские батьки? А все было, все правда. И энтузиазм рабочих – правда, и безвкусная газетная трескотня – тоже правда: «…Задали такую баню золотопогонникам, что тем приходилось вешаться на собственных подтяжках или стреляться из наганов, или наконец травиться цианистым калием, чтобы не попасть в руки „озверелого мужичья“…» Вы заметили, автору кажется, что он рассказывает очень веселые вещи… Были митинги. Был рынок, базар, барахолка. Ходили любые деньги. Поскольку с февраля 1917-го на Украине сменилось по крайней мере шесть различных властей, каждая из которых расплачивалась с населением (и с крестьянами прежде всего) своими дензнаками, махновцы разрешили на контролируемой ими территории хождение всякой валюты: царского и советского рубля, петлюровского карбованца,

денег деникинских и донских. Почему-то советские историки считали это вопиющей беспринципностью. Следует признать прямо противоположное: в условиях бесконечной смены режимов хождение разной валюты было единственной мерой, которая позволяла выжить издерганному и обнищавшему населению и наладить хоть какой-то товарооборот. Естественно, что курс всех этих карбованцев и рублей был разный и постоянно менялся: например, неудачи белых под Курском и наступление красных на Орел резко повысили курс советского рубля.

Как об историческом курьезе стоит упомянуть о том, что много позднее, когда махновцы вновь превратились в рейдирующий по степям Украины партизанский отряд, они выпустили свои шутовские деньги: белые листы бумаги с ладонь величиной, на которых от руки была начертана сумма – 25 или 100 рублей, – и надпись: «чем наши хуже ваших?». Несколько таких денег вместе с двадцатью бутылками вина, пятью кольцами колбасы и тремя фунтами керенок получили актеры цирковой труппы, в которой выступал Иван Поддубный – после того как знаменитый борец, вместе с другими циркачами снятый махновцами с поезда, в короткой показательной схватке осилил и положил на обе лопатки какого-то здоровенного хлопца из батькиной свиты. Ни в одной из биографий Поддубного об этом не упоминается, и, разумеется, к этому сообщению можно было бы отнестись с подозрением, как и к свидетелю, о нем поведавшему (Петр Тарахно в книге «Жизнь клоуна»), да, по правде сказать, я не вижу повода сомневаться. Все в духе времени, в духе народа, заселяющего эту бескрайнюю степь. И культурологическая параллель из Гоголя мгновенно подыщется, стоит лишь перечитать главку из «Тараса Бульбы» о приезде Тараса с сыновьями в Сечь – про вольную жизнь бесшабашных воинов и грабителей, про золото и парчу, что разметывались ими в шинках, про дикую и неудержимую веселость ото всякой мирской обязанности освободившегося казака, про презрение его к награбленным дукатам и реалам и даже к самой жизни, которая до смертного боя проходила в забвении пиров и неистового товарищества… Как похоже, как узнаваемо! Люди войны и грабежа, запорожцы не знали скупости – чувства слабого накопителя и торгаша. Так же и махновцы: нахватав в свои руки богатства, они тут же устраивали раздачу его. Известно, что в Екатеринославе батька проводил показательные приемы: чтобы получить вспомоществование, нуждающиеся должны были убедительно рассказать о своей нужде. Махно выслушивал, брал жменю денег, насыпал кому пригоршню, кому шапку. Иногда милость его изливалась совершенно необъяснимым образом. Так,

однажды, когда уже начался в рядах армии голод, он вызвал к себе заведующего провиантскими складами Екатеринослава, бывшего члена городской думы Илью Идашкина, и велел из городских запасов выдать продукты на фронт. Илья Яковлевич махновцев не любил. По образованию он был юрист, знал семь языков, до революции считался блестящим адвокатом и, будучи, следовательно, человеком интеллигентным, власть голытьбы презирал. Мужество, однако, не оставило его, и он отвечал, как думал:

– Если я выдам продукты армии, то пострадает население города.

Махно внимательнее вгляделся в лицо крупного, костистого мужчины еврейской наружности, пытаясь понять, что заставляет того говорить правду, а не лебезить перед ним, батькой.

– Пострадает, говоришь, население?

– Пострадает.

Илью Яковлевича вдруг отпустили с Богом; по пути, правда, завели в какую-то комнату и одарили меховой шубой (очевидно, «реквизированной» из ломбарда – вся комната была завалена шубами), и, хотя Идашкин в глубине души не сомневался, что и шуба – только уловка, чтобы его расстрелять, – его не тронули, а выпроводили прочь с дорогим подарком на плечах. И сам Илья Яковлевич, и семья его не пострадали в Гражданскую, пережили полосу сталинских репрессий, но в Отечественную сын и жена его были расстреляны немцами, как евреи.

Не менее удивительно – в связи с визитом к Махно – сложилась судьба Марии Александровны Фортус, знаменитой впоследствии разведчицы, которая в результате этого визита чуть не лишилась жизни. Мария Фортус, тогда очень еще молоденькая девушка, работала в большевистском подполье Екатеринослава. Тут надо сказать, что с приходом махновцев деятельность всех левых партий советской ориентации была легализована, в Екатеринославе выходила коммунистическая газета «Звезда», но этого большевикам было мало. По-видимому, они несколько раз предлагали махновской верхушке поделить власть, но Реввоенсовет махновцев на уговоры не поддался, отвечая, что народ сам определит своих избранников и навязываться в начальники нехорошо. Такая позиция большевиков не устраивала, и во всех городах партизанского района помимо «легалов» действовали еще подпольные группы, которые по-своему готовились встретить разгром деникинцев. Понятно, что для деятельности подпольщиков нужны были деньги. Взять их, однако, было неоткуда, и тогда решено было попользоваться объедками с махновского стола. Невинная наружность и личное

бесстрашие Марии Фортус повлияли на выбор подпольщиков – ее обрядили в платье с глухим воротничком и, зная особое расположение Махно к учителям, велели идти к батьке и просить за учительство.

Мария Фортус все выполнила в точности.

Махно оглядел ее и якобы обронил:

– Ось яка гарнесенька!

И денег дал.

Жена Махно, Галина Андреевна, запомнила это. Спустя несколько месяцев она опознала екатеринославскую «учителку» среди медсестер в одном из махновских отрядов и – то ли верно угадав в ней шпионку, то ли чисто по бабской ревности, – велела расстрелять. Ослушаться слова «матушки Галины» никто не смел. Но и сестричку Марию в отряде любили. Ее расстреляли – пуля пробила плечо, – но добивать не стали. Все это немного похоже на сказку, но все это было лишь преддверием к тем поистине волшебным приключениям, которые суждено было пережить Марии Фортус в республиканской Испании и в фашистском тылу 1945 года.

И все-таки, чуть призадумавшись, мы поймем, что не батькины приемы и не декларации Реввоенсовета армии наполняли пульс жизни в махновской республике. Это было что-то другое – обыденность, повседневность. То, что люди влюблялись, рожали детей посреди этого адища. То, что они находили силы для горя и для веселья. То, что они, наконец, работали. В этом – великая инерция выживания человеческой породы, великий природный оптимизм. Именно в том, что покуда один занят «грандиозными» вопросами революции и войны, другой просто работает – железнодорожником, учителем, кузнецом – и исправляет покалеченное войной, и приумножает количество неиспорченного и нужного людям материала.

Как странно, что Ленин, именно в 1919 году написавший работу «Великий почин» по поводу коммунистических субботников, увидел в самом порыве труда, бросившем московских железнодорожников на ремонт паровозов, что-то доселе невиданное («коммунистическое отношение к труду», позже выродившееся в нудную пропагандистскую кампанию), а не естественное желание каждого человека навести порядок в своем донельзя загаженном и запустелом дому…

Увидел «новое» там, где было просто здоровое, добротное отношение к труду людей, еще не развращенных войной до конца и испытывающих тоску и мерзость при виде окружающего их запустения. Через год после этого, 1 мая 1920 года, и в Кремле пришла мысль впервые после 1917 года убраться, и вождь

мирового пролетариата даже поднял на Драгунском плацу историческое бревно вместе с комиссаром пулеметных курсов И. Борисовым. Но для Ленина даже и субботник в Кремле был своего рода агиткой – он поверил в свое коммунистическое отношение к труду и захотел, чтобы так было везде. Агитационный характер кремлевского субботника подчеркивается, например, тем, что на плацу вождя снимал фотоаппаратом кинооператор А. Левицкий, после чего Ленин, взяв с собою самого молодого участника субботника – одиннадцатилетнего Володю Стеклова, поехал на закладку памятника Карлу Марксу.

Однако будем беспристрастны и признаем, что для человека, не выбитого окончательно из колеи, неестественно разрушать. Ничего такого уж нового тут нет. И, кстати, еще Энгельс отметил, что труд – это «нечто бесконечно большее», чем просто источник богатства. А Кропоткин «художественную» потребность, потребность в творческом труде ставил сразу вслед за потребностями физиологическими: «Жизнь может поддерживаться, лишь расточаясь…» (39, 311).

Мировая война и нестабильность политической ситуации 1917 года лишили труд очень многих людей не только плодов, но и смысла. Это вызвало раздражение и бурный выброс агрессии. Не здесь ли коренится одно из объяснений тому, почему вспыхнула Гражданская война?

…Говоря о махновском «государстве», образовавшемся в конце 1919 года, я, увлекшись рассказом, так и не очертил его границ, так что читателю, по вине автора, трудновато представить, где оно, собственно говоря, находилось. Как уже понятно было из нашего рассказа, в октябре 1919-го махновцы в своем неостановимом движении с запада на восток достигли Гуляй-Поля, Бердянска и даже Мариуполя. Но оттуда их скоро вытеснили белые. Они заняли обширный район на правом берегу Днепра, который служил как бы естественной водной границей республики, – там, где река, словно лук, выгибается дугой на восток. На вершине этой излучины – Екатеринослав, в центре – Александровск, внизу – Никополь. «Тетивой» был фронт, выставленный махновцами по линии Пятихатки—Кривой Рог, фланги которого также замыкались на Днепр. Вот в этих-то границах и существовал партизанский район Махно.

До того как Махно взял Екатеринослав, центром политической жизни республички был Александровск – тот самый Александровск, который мы опрометчиво покинули, так и не дослушав интереснейший рассказ Е. П. Орлова. Помню, я спросил его:

– А при Махно заводы работали? Он даже удивился:

– Конечно, работали!

– А когда лучше работали – при Махно или при белых?

– При белых-то вообще заводы лучше работали. При белых вернулись те же заводчики, что были и раньше. А при Махно пошло хуже. Вообще, люди потеряли перспективу, жили сегодняшним днем: сегодня белые, завтра красные, потом махновцы, потом еще кто-нибудь будет…

– А как восприняла приход Махно интеллигенция?

– Никак. Отец никак не воспринял, по крайней мере. Он был учитель, правый эсер, одно время был членом совета рабочих и солдатских депутатов. Читал Бакунина, Кропоткина, но Махно не считал идейным анархистом. Для него Махно был повстанец – вот и все.

– А на вашей коммунистической организации как приход махновцев сказался?

– А вот это самое интересное. Когда сколько-то времени прошло и мы поняли, что махновцы надолго, мы решили, что надо как-то определиться. Гришута сказал: значит, товарищи, у меня есть такое предложение – в «Париже» явку не открывать, а пусть боевики во главе с Женей Орловым организуют «Союз молодежи по борьбе с контрреволюцией». Как бы беспартийный. Для прикрытия.

Ну, мы пошли. На улице Соборной был дом контрразведчика деникинского Продайко. Его отец домовладелец был. Дом взяли себе анархисты. На двери – клочок бумажки. Написано: «Здесь помещается александровская группа анархистов „Набат“». В этой организации был мой знакомый, реалист, не помню фамилии сейчас его. В реальном училище сильная анархистская пропаганда была, он был анархист рьяный. Выслушал меня, усмехается: «Ну что у тебя, Женька, за секреты…» Я говорю: «Пусть будет союз социалистической молодежи. Всякой. И анархисты там…» Ведь наш Колька Сагайдак, он подвержен был влиянию анархизма. И Фурманов, вы знаете, тоже был… Ну вот, этот мой знакомый отвел меня к Волину.

Волин говорит: «Регистрироваться хотите? А зачем вас регистрировать? Работайте…»

Мы попросили бывший дом Гуревича, где был деникинский ОСВАГ. Там было три комнаты, одна большая. Потом еще Зинченко, начальник снабжения махновской армии, нам отдал помещение бывшего помещика Коробцова для клуба молодежи. Это мне сослужило хорошую службу потом… И вот – под нашей вывеской коммунисты все собирались…

Конечно, эксцессы случались всякие. Однажды тревога была, часов в десять, наверное, вечера. Мы с Колей Сагайдаком

выбежали на улицу с пистолетами… Мы пистолеты за деньги покупали на толчке. Неплохо были вооружены: браунинги были, даже винтовки. И нас с этими пистолетами махновцы схватили. И повели к Каретнику, коменданту города. Он на нас: «Кто такие?» – «Да вот, социалистическая молодежь», – говорим. – «Вы – белогвардейцы!» – «Да что вы…» – «У-у, мать-перемать! Снимай штаны!»

Я замешкался.

«Тьфу! – плюнул, ушел. – Я потом разберусь с вами».

Сидим мы с Колькой Сагайдаком, ждем, что будет. Вваливаются вооруженные, ведут двух махновцев. Каретник с пистолетом.

«А ну, ложись».

Махновцы ложатся на пол. И при нас шомполами били их: они грабили. Мы в ужасе – думаем, сейчас и нас будут шомполами бить, как этих. Они молчат – ни звука. Боялись, что, если закричат, – убьют.

Нас до утра оставили. Кое-как переспали на стульях – приходит Каретник: «Подь сюда! Ваше лицо мне понравилось. Идите!» Так и не знаю, почему нас отпустил. То ли в самом деле мы ему приглянулись, то ли Полонский за нас заступился. Он связан был с партийной организацией, практически ею руководил, но глубоко был законспирирован. Мы не знали, что он большевик.

Потом, когда мы уже с Полонским познакомились, он сказал: ну что ж, товарищи. Надо легализоваться. Левка Задов не дурак же все-таки? Он же видит, что в «Социалистическую молодежь по борьбе с контрреволюцией» седобородые ходят. Идите к Волину.

И Семен Новицкий, который потом попал в Реввоенсовет махновцев, пошел к Волину. Волин был умный человек, он прекрасно понимал, что нужно всех собирать для борьбы против общего врага. Он ничего не имел против, чтобы мы легализировались как коммунисты. Волин же нас пригласил в театр на выступление Махно. Театр Войтоловского – его сейчас нет, – на набережной реки Московки был отделан в мавританском стиле. Собралось народу очень много. Сидел Волин в президиуме, сидел командир корпуса Удовиченко. Из «Набата» кто-то, не помню сейчас, ну и Махно, конечно. Патлатый. Ходил тогда в офицерской голубой шинели и полупапахе с красным верхом. Он выступал. Не помню уже точно, о чем он говорил. Меня теоретические вопросы не очень тогда волновали. Но хорошо говорил, нервно. О защите права крестьян на землю. О том, что эсеры, кадеты, большевики – политические шарлатаны. О том, что анархисты не предадут крестьян.

А на следующий день вышла газета махновская «Путь к свободе». И на первой странице был напечатан гимн махновцев. Я помню его хорошо:

Споемте же, братцы, под громы ударов,
Под взрывы и пули, под пламя пожаров,
Под знаменем черным гигантской борьбы,
Под звуки «Набата» призывной трубы…

Их много, без счету судьбою забитых,
Замученных в тюрьмах, на плахе убитых,
Их много, о правда, служивших тебе
И павших в геройской неравной борьбе…

Такая была у них песня…

Не нужно быть специалистом, чтобы увидеть, насколько образный ряд махновского гимна близок патетике «Интернационала» и «Варшавянки». И все же.

Махновский гимн – это гимн обреченных. Служители правды, идущие под черным знаменем, не стяжают себе нового мира, до основания разрушив старый. На это нет и намека. Но есть намек другого рода – намек на неизбежность гибели в «геройской неравной борьбе»…

СЪЕЗД. «ВСЯ ВЛАСТЬ СОВЕТАМ!»

Любопытный вопрос: почему в минуты своих побед махновцы приглашали большевиков «во власть», а большевики махновцев – нет? На фронтах их, конечно, оставляли командирами, но чтобы пригласить в ревком? Не припомню такого случая. Ну, если не считать Екатеринослава 1918 года, когда у большевиков просто было так мало сил, что, не поделившись властью, они просто не взяли бы город. Ответ – в самом общем виде – в том, что махновцы воплощают собою стихию революции, большевики же, начиная с 1918 года, – порядок и диктат, противостоящий стихийному порыву народа и неизбежно враждебный ему. Позже это подметил С. А. Аскольдов в статье «Религиозный смысл русской революции», написанной для задуманного П. Б. Струве сборника «Из глубины», подготовленного к изданию в середине 1918 года, но увидевшего свет лишь в 1967 году во Франции. Он замечает, в частности, что, будучи порождением «красного коня» (согласно символике Апокалипсиса), анархия («черный конь») против него же и обратит свое оружие. У стихии и у диктатуры – разные правды и разные ужасы. Стихия бурна, переполняема какою-то неведомой силой, почти бесформенна, почти неуправляема. Но в ней еще живут порыв, чувственность, вера в справедливость и в лучшее будущее, в устройство жизни по правде. Она настолько наивна, что верит в правду. Она всеохватна: какого-нибудь большевичка, который затесался в ряды повстанчества, она запросто принимает за своего. Ее жестокость спонтанна и простодушна, в отличие от доктринерской, механической жестокости диктатуры.

Революционная диктатура в каком-то смысле является одновременно и концом революции: общество, организованное на принципах порядка, жестокой субординации и тотального подавления инакомыслящих, уже не хочет знать того избытка чувств, сил, энергии творчества и надежды, с которого начиналась революция. Ясно поэтому, что всякий «независимый революционер» и попросту нетвердый большевик будет немедленно исторгнут «из диктатуры», потому что будет ей только мешать.

Читателю может показаться, что я противоречу самому себе, высказываясь в защиту революции. Но без противоречий не получается. И тем лучше. Противоречивость происходящего была ясна уже в 1918 году. Тот же С. А. Аскольдов писал: «По замыслу своему революция есть все же стремление, утверждающее жизнь, а именно попытка произвести некую жизненную метаморфозу,

хотя и вопреки законам органического развития» (3, 216). Мы ничего не поймем в революции, не признав своей правды за революционерами или пытаясь объяснить случившееся только кознями заговорщиков, обуреваемых тщеславием политических эмигрантов и «каторжных горилл» (по злобному выражению И. Бунина). Революция потому и сделалась революцией, что всколыхнула миллионы людей, стала поиском новых смыслов, новых опор взамен ржавых скреп, державших Российскую империю. Поэтому она и победила! Революцию начали не большевики и вообще не партии – партии лишь с разной степенью успеха пытались направить и использовать в своих целях вырвавшуюся из глубин народа энергию протеста против бытовой и социальной неправды, крайними проявлениями которой стали война, связанный с нею произвол, коррупция и распутинщина.

Известно, что коэффициент полезного действия революций очень низок. «Затраты» всегда гигантски превышают тот разумный минимум сил, который нужно было бы приложить для достижения тех же социальных и экономических результатов в ходе, скажем, реформистской деятельности. Но тут первый парадокс: без детонатора революционного «взрыва» реформы иногда так и не могут начаться. Второй же парадокс заключается в том, что дело, возможно, вообще не в экономике: экономический результат захвата помещичьих земель крестьянами был откровенно ничтожный, если не отрицательный. Значит, срабатывает более психологический фактор, некое неясное ощущение, что так, как прежде, дальше жить нельзя, которое оказывается сильнее всяких резонов, доводов разума и даже страхов. Большевикам удалось это неясное ощущение, несущее в себе огромную потенциальную энергию, направить на разрушение, на гражданскую войну, на разнуздание самых дрянных привычек народа, что было необходимо для установления монопольной диктатуры. Возможно, дело не в большевиках. Возможно, правы авторы сборника «Из глубины», и революция, в принципе, несет в себе неизбежность диктатуры, необходимой для обуздания разбуженных ею же стихийных сил. Но от этого процесс превращения бунта в диктатуру не становится менее драматическим, а крах многих революционных надежд – менее болезненным.

Может быть, наиболее болезненным было крушение идеи народовластия, вдохновлявшей несколько поколений русских революционеров. Советы не были партийным изобретением, хотя в своих партийных мифологиях их приписывали себе то большевики, то эсеры. И в 1905-м, и в 1917-м Советы покрыли страну стихийно, и все левые социалисты приняли их как давно

чаемую форму народного самоуправления, способного заменить опостылевшую власть царского чиновничества. Сбылось! Во время летней передышки 1917 года, вызванной боязнью ареста, Ленин написал даже специально посвященную Советам книгу «Государство и революция», в которой предрек «растворение» государства в народном самоуправлении и запечатлел знаменитый образ кухарки, управляющей государством. С легкой руки Ленина в России стали считать, что Советы – лучше, «народнее» любой формы демократии, выработанной на западе (включая Швейцарию с ее уникальным самоуправлением). Тем более казалось невероятным, что партия большевиков, пришедшая к власти под лозунгом «Вся власть Советам!», уже весной 1918-го станет эти органы народной власти разгонять силой штыка, обнаруживая в них народных избранников, не согласных с ее линией. После июльского разгрома партии левых эсеров – главных оппонентов большевиков внутри Советов – «большевизация Советов» уже не знала преград и привела к повсеместной замене народной власти властью партийных комитетов, чрезвычаек или, как это было в деревнях, властью «комитетов бедноты», наделенных диктаторскими правами в отношении односельчан.

В знаменитом письме в ЦК большевиков, написанном со всей страстью революционерки, уличающей отступников в предательстве, Мария Спиридонова, лидер разгромленной партии левых эсеров, в ноябре 1918 года писала: «…Несмотря на все трудности жизни, масса, понимая окружающие опасности, умеет терпеть свои неслыханные тяготы. Но она революционна, она осознала свои права, она хочет самоуправления, она хочет власти Советов. Лозунги „кулацких восстаний“ (как вы их называете) не вандейские. Они революционны, социалистичны. Как смеете вы кроваво подавлять эти восстания, вместо законных удовлетворений требований трудящихся? Вы убиваете крестьян и рабочих за их требования перевыборов Советов, за их защиту себя от ужасающего, небывалого при царях произвола ваших застенков-чрезвычаек, за защиту себя от большевиков-назначенцев, от обид и насилий реквизиционных отрядов, за всякое проявление справедливого революционного недовольства… По смыслу нашей революции выходит, что если на тебя нападает кто бы то ни было и берет тебя за горло, то, если ты не овца и не слякоть, – защищайся – защищай свою жизнь и свободу, жизнь и свободу своих товарищей… (72, 63). И не вина масс, что их требования сходны с нашими лозунгами. Все то, чему мы учили народ десятки лет и чему он кровавым опытом, кажется, научился – не быть рабом и защищать себя, вы как будто

хотите искоренить из его души истязаниями и расстрелами (72, 52).

…Поистине, у нас началось новое рождение человечества, в силе и свободе. И трудящиеся будут и хотят терпеть все муки брюха, отстаивая правду, доживая до ее засияния. Перед нами открылись беспредельные возможности, свет которых не могли обтускнить ни вспышки красного террора, исходящие от самих трудящихся, ни темные стороны их погромных проявлений.[13] И, конечно, в этот пафос освобождения, в этот энтузиазм революционной эпохи нельзя было вносить ваш догматизм, диктаторский централизм, недоверие к творчеству масс, фанатичную узкую партийность, самодовольное отмежевание от самого мозга страны, нельзя было вносить вместо любви и уважения к массам только демагогию и, главное, нельзя было вносить в это великое и граничащее с чудом движение психологию эмигрантов, а не творцов нового мира (72, 60).

…Что, что сделали вы с нашей великой революцией, освященной такими невероятными страданиями трудящихся?!!

Я спрашиваю вас, я спрашиваю…» (72, 59).

Вне сомнения, это письмо, опубликованное левыми эсерами в начале 1919 года, – один из самых страстных, самых красноречивых памфлетов того времени. Это полное адской боли послание блаженного от революции инквизиторам от революции. И что толку, что вера у них одна – социализм, – если под этим подразумевают они разное? Спиридонова – прежде всего освобождение Человеческой Личности (и то, и другое слово в ее письме с большой буквы), ее оппоненты – прежде всего завоевание политической власти (во имя той же якобы личности, только с маленькой буквы, с маленькой…).

Тем из левых эсеров, кто не оказался крепко повязан с партией большевиков и сумел преодолеть «узость» народничества, суждено было многое понять после стремительного низвержения партии с высот власти, которую она разделила с большевиками в декабре 1917 года. Понять такое, чего торжествующие большевики понять тогда уже не хотели, а потом не могли. В этом смысле наиболее показательна упоминавшаяся уже книжка левоэсеровского наркома юстиции И. З. Штейнберга, подвергающая беспощадной этической ревизии весь опыт Октября, книга потрясающая и по фактуре, собранной задолго до разоблачительных публикаций нашего времени, и по глубине сомнений, мучающих автора. Вслед за П. А. Кропоткиным левоэсеровский лидер приходит к несколько необычному для революционера выводу – что подлинно революционными являются только те процессы, которые ведут к

духовному преображению личности. Источник, цель и средства борьбы за социализм заключаются именно в личности. Большевизм – социализм глухих, безумных, одержимых волей к власти, которым неведома трагедия революции, антиномия средств и цели, путей и идеала.

Из всех более или менее известных русских революционеров путь от нигилизма до веры, от альтруизма до христианской любви, от бунта до преображения прошел лишь один – член Исполнительного комитета «Народной воли» Лев Тихомиров, начинавший еще в начале 70-х годов XIX века вместе с Кропоткиным в кружке «чайковцев», ставшим отправной точкой целого ряда движений в русской революции (из «чайковцев» вышло несколько ярких народников и первостепенных фигур «Народной воли»; из «чайковцев» был сам Николай Чайковский, социалист весьма умеренного народнического толка, друг Кропоткина по эмиграции, в 1918 году отколовшийся от революции и возглавивший белое правительство в Архангельске). Исаак Штейнберг не дошел, как Лев Тихомиров, до веры, но дошел до покаяния, до исповеди. Мария Спиридонова не дошла и до покаяния, ее единственной верой был и остался социализм – но именно это давало ей силы обличать большевиков. Лишь много позже она смирилась, все приняла и, отказавшись от политики, оставила себе тихую радость труда «во благо народа» – малую схиму революционного подвижничества (что не спасло ее от тюрьмы и чекистской пули в затылок).

Но в 1918-м авторитет Спиридоновой был еще необыкновенно высок. Когда 6 июля, в день убийства левыми эсерами графа Мирбаха, Спиридонову арестовали, заточив затем, несмотря на кровохарканье, в холодных комнатах Чугунного коридора Кремля, чекисты, приставленные к ней, помогли ей бежать, ибо не могли смириться с ее арестом. Письмо ее в ЦК большевиков, написанное в ожидании суда (когда левоэсеровская фракция ВЦИКа была распущена, газеты партии закрыты и всякая легальная оппозиция перестала фактически существовать), должно было произвести огромное впечатление на всех революционеров, вдохновляемых идеей народовластия и свободы, на всех, кто не хотел мириться с безраздельным всевластием партии коммунистов.

Был ли известен текст этого письма Махно? Мы не знаем, но вероятность этого велика. Письмо должно было ходить и широко обсуждаться в анархистских и левоэсеровских кругах. Кроме того, в начале 1919 года, когда Махно был еще красным комбригом, к нему пробрался Дмитрий Попов – заочно приговоренный Ревтрибуналом к расстрелу командир спецотряда ВЧК, штаб

которого стал очагом сопротивления левых эсеров 6 и 7 июля 1918 года в Москве.

Попов был обычный выдвиженец революции, матросик, поднявшийся в командиры на мутноватой волне надвигающегося террора. Если глядеть непредвзято, то вполне зловещим покажется тот факт, что, как и большинство оберегающих кремлевскую власть частей, его отряд больше чем наполовину состоял из инородцев-«интернационалистов», которые, плохо разбираясь в обстановке и не зная даже русского языка, становились слепыми орудиями власти в наиболее сомнительных ее предприятиях. У Попова в отряде были финны, которым по иронии судьбы 7 июля пришлось сразиться на московских улицах с латышами Вацетиса, едва ли лучше финнов понимавшими, в чем, собственно, они принимают участие и в чем смысл разыгравшегося в городе сражения. В свое время Попову, как командиру отряда, на Красной площади вручал красное знамя Троцкий. Вряд ли, пожимая Попову руку, Троцкий думал, что этот матросик с симпатичненьким, но заурядным лицом окажется в числе его врагов. Троцкий свято верил в свое обаяние. Но тут он ошибся: человек «массы» действительно попал под влияние вождя, но не Троцкого, а Спиридоновой. И когда 6 июля Спиридонову, отправившуюся на V Всероссийский съезд Советов, чтобы сделать заявление об убийстве Мирбаха, арестовали в здании Большого театра, Попов не выдержал: «За Марию снесу пол-Кремля, пол-Лубянки, полтеатра…» С возмущения Попова, можно сказать, и началось то, из чего большевики слепили потом дело о «мятеже» левых эсеров. У нас нет ни времени, ни места для подробного объяснения того, что именно произошло 6 июля и позже, тем более что это прекрасно сделано другим автором.[14] Скажем лишь, что после подавления «мятежа» Попову, заочно приговоренному к смерти, 7 июля чудом удалось скрыться, и он, в конце концов, всплыл у Махно, как и многие другие, недовольные ходом революции бунтовщики. Кроме Попова, о письме Спиридоновой могли рассказать Махно Аршинов или даже Волин, который хорошо знал Спиридонову и относился к ней хоть и не без иронии, быть может, но с глубокой симпатией. Если это так, письмо должно было произвести на Махно сильнейшее впечатление: «…Если ты не овца и не слякоть – защищайся…»

Но самое сильное место письма, без которого послание Марии Спиридоновой большевикам выглядело бы частной политической истерикой, – это свидетельства крестьян о большевистской политике на местах, рассказы о безымянных сражениях безымянной войны, в которой очень скоро Махно предстояло стать одним из основных участников.

Вот приезд продотряда в деревню: «По приближении отряда большевиков надевали все рубашки и даже женские кофты на себя, дабы предотвратить боль на теле, но красноармейцы так наловчились, что сразу две рубашки внизывались в тело мужика-труженика. Отмачивали потом в бане или просто в пруду, некоторые по несколько недель не ложились на спину. Взяли у нас все дочиста, у баб всю одежду и холсты, у мужиков – пиджаки, часы и обувь, а про хлеб нечего и говорить…»

А вот – визит агитаторов: «Ставили нас рядом, дорогая учительница, целую одну треть волости шеренгой и в присутствии других двух третей лупили кулаками справа налево, а лишь кто делал попытку улизнуть, того принимали в плети…»

Третье письмо уже кровью убийства окрашено, но еще сдерживается гнев великим крестьянским терпением: «В комитеты бедноты приказали набирать из большевиков, а у нас все большевики вышли все негодящиеся из солдат, отбившиеся, прямо скажем, хуже дерьма. Мы их выгнали. То-то слез было, когда они из уезда Красную Армию себе в подмогу вызвали. Кулаки-то откупились, а крестьянам все спины исполосовали и много увезено, в 4-х селах 2–3 человека убито, мужики там взяли большевиков в вилы, их за это постреляли…»

А уж дальше – хватит, мочи нет, сам тон писем меняется: «Прошел слух в уезде, что ты нас обманываешь, сталкиваешься (столковываешься) опять с большевиками, а они тебя за это выпущают. Нет, уж теперь не заманишь к ним. У нас в уезде их как ветром выдуло, убивать будем, сколько они у нас народу замучили…»

Это уже – настроение махновщины 1920 года: еще не доспела до него Украина.

«Взяли нас и били, одного никак не могли усмирить, убили его, а он был без ума…»

«Деревня Телятово: стреляли по ребятишкам, бегущим в лес. Всего не перепишешь. Реквизиционный отряд большевиков при кулачной расправе: если лицо шибко раскровянится, то любезно просят выпить, потом бьют опять…»

«В комитеты бедноты идут кулаки и самое хулиганье. Катаются на наших лошадях, приказывают по очереди в каждой избе готовить обед, отбирают деньги, делят меж собой и только маленький процент отправляют в Казань…»

Письмо Спиридоновой вроде бы прямого отношения к истории махновского движения не имеет. Но я нарочно умножаю примеры – они редки, очень трудно понять, очень трудно почувствовать, что реально стояло за провозглашенной политикой комбедов и хлебных реквизиций. Как канцелярские

термины эти слова нейтральны. Их реальный смысл: глумление и издевательство над слабыми, вплоть до убийства, позабылся. Но я хочу, чтобы читатель знал его и помнил: когда в 1920 году Махно возникнет из небытия уже как бандит, случится это потому, что творившееся в России уже в 1918-м пришло и на Украину.

«Мы не прятали хлеб, мы, как приказали по декрету, себе оставили 9 пудов в год на человека. Прислали декрет оставить 7 пудов, два пуда отдать. Отдали. Пришли большевики с отрядами, разорили вконец. Поднялись мы. Плохо в Юхновском уезде, побиты артиллерией. Горят села. Сравняли дома с землей. Мы все отдавали, хотели по-хорошему…»

«Идет уездный съезд. Председатель, большевик, предлагает резолюцию. Крестьянин просит слова. „Зачем?“ – „Не согласен я“. – „С чем не согласен?“ – „А вот, говоришь, комитетам бедноты вся власть, не согласен: вся власть Советам, а резолюция твоя неправильная, нельзя ее голосовать“. – „Как… Да ведь это правительственной партии“. – „Что ж, что правительственной“. Председатель достает револьвер, убивает крестьянина наповал и заседание продолжается. Голосование было единогласное…»

«У нас зарегистрирована порка крестьян в нескольких губерниях, и количество расстрелов, убийств на свету, на сходах, и в ночной тиши, без суда, в застенках, за „контрреволюционные“ выступления, за „кулацкие“ восстания, при которых села, до 15 тысяч человек, сплошь встают стеной, учесть невозможно. Приблизительные цифры перешли давно суммы жертв усмирений 1905–1906 гг.» (72, 49–51).

Было бы просто неискренне воскликнуть, что от этих злодеяний кровь стынет в жилах. После всего, что мы узнали и узнаем о нашей истории, кровь почему-то не застывает. Скорее, она как-то безвольно разжижается, ибо разнузданность зла и произвол проникли в повседневность нашей жизни, и уже несколько поколений граждан России фаталистически воспринимает это как неизбежность. Другие склонны видеть причину зла в особой породе людей, имя которым – большевики. Но это самообман. Рядовые исполнители декретов кремлевской власти не были какими-то особенными злодеями и садистами, явившимися, чтобы мучить свой народ. Но те, кто придумывал декреты, дали слугам своим санкцию на произвол – и получили и злодеев, и садистов. Тут поистине удивительно, как удивительно это в истории Французской революции, фашистской Германии или полпотовской Камбоджи, насколько быстро дозволенность зла претворяется в реальное зло, которое целиком завладевает людьми. Насколько быстро душа человека, освободившись от скреп культуры, теряет образ и превращается во что-то

бесформенное, подчиненное самым низменным страстям. Отсюда – такое упоение злом в сталинских и фашистских палачах, его патологическая извращенность, разнузданность, поистине дьявольская невероятность зла в человеке…

Интеллигентка пишет Спиридоновой: «Грабили, пороли, насильничали, отбирали все. Всегда вооруженные, пьяные, с пулеметами. При мне грабили баб, наведя на них пулеметы, на станции… Лапали их… Один товарищ и я вмешались, нас чуть не расстреляли. Комиссара станции чуть не избили, погрозив бумажкой, которая, как они кричали, дает им право „все что угодно делать“. Бумажка была подписана Цюрупой и еще кем-то, чуть ли не самим Лениным… Характерно, что они при всех этих безобразиях нечленораздельно ревели: „Что!!! Контрреволюцию завели… нет, шалишь… мы всех вас, кулаков… во-о как, к стенке… и готово…“» (72, 50).

Здесь все значимо, все символично: пьянство, лапанье баб, пугание пулеметами, бумажка, подписанная наркомом продовольствия Цюрупой… Говорят, сам Цюрупа был настолько щепетилен, что недоедал, стыдясь своего привилегированного положения в голодной Москве. Но, увы, политик отвечает не только за свой суточный рацион, но и за последствия принятых им государственных решений. А последствия…

Читая письмо Спиридоновой или книгу Штейнберга, пытаясь быть беспристрастным, как подобает историку, и даже временами достигая этого состояния, неумолимо наливаешься холодной уверенностью, что вышеописанные беззакония и насилия – только один шаг истории, только один мах маятника. Должен быть и другой: возмездие. Такое же слепое и беспощадное, как причиненное зло. И возмездие это, как легко понять, должно было прийти не со стороны Деникина или Колчака, а со стороны самого униженного и изнасилованного народа. Не могло не прийти: слишком вопиюща была неправда:

«В Ветлужском и Варнавском уезде (Костромской) губернии бывало так, что начальство, приехав по делу в деревню, целиком ставило сход на колени, чтобы крестьяне чувствовали почтение к „советской власти“…» (86, 58).

«В Котельничах, например, убили только за левоэсерство… Махнева и Мисуно… Мы гордились ими. Они были настоящими детьми теперешней народной революции, выпрямлялись и работали так, что о Мисуно по всему краю, где он являлся, ходили легенды… Мисуно дорого поплатился перед смертной казнью за свой отказ… рыть себе своими руками могилу. Махнев согласился рыть себе могилу при условии, что ему дадут говорить перед смертью… Его последние слова были: „Да здравствует

мировая социалистическая революция…“» (72, 60–61).

«В Калужской губ., в Медынском уезде расстреляно 170 чел. (были невероятные реквизиции хлеба и скота в голодной губернии). Расстреляны 4 учительницы, которые кричали, умирая под пулями: да здравствует чистота Советской власти!» (86, 61).

Чистота советской власти, самоуправление и свобода! Лозунг «Вся власть Советам» в России стал все громче звучать с осени 1918 года, только теперь он означал совсем не то, что в 1917-м, когда за этим лозунгом, как за щитом, шла к власти партия Ленина. Окончательную формулировку дал Кронштадт: «За Советы без коммунистов». На Украине григорьевское восстание стало первой, еще неосознанной реакцией насилия на насилие. Осознанной реакцией стало махновское движение за «вольные советы». И хотя Махно, вероятно, так и войдет в историю, как гениальный партизан и неуловимый мститель, нам нельзя обойти молчанием предпринятую махновцами задолго до Кронштадта одну из самых значительных в истории революции попыток освободить советы от партийных оков и вернуть им достоинство народных самоуправлений.

Возможно, что борьба за «вольные советы» стала наиболее важной главой анархического движения в революции. Во всяком случае, в партизанском районе Махно и в Кронштадте анархистам принадлежала ведущая роль. Именно они смогли вдохнуть революционный дух в изверившийся и отчаявшийся народ. И представители других социалистических партий, прежде свысока подсмеивающиеся над ними за их «фантазерство» и кружковщину, теперь вынуждены были считаться с ними и признавать их моральный авторитет, не так сильно, как у левых эсеров, запятнанный соглашательством с большевиками, и не так сильно, как у меньшевиков, скомпрометированный сотрудничеством с буржуазией…

Сразу после взятия Александровска Реввоенсовет Повстанческой армии разъяснял в одной из листовок: «Ваш город занят революционной повстанческой армией махновцев. Эта армия не служит никакой политической партии, никакой власти, никакой диктатуре. Напротив, она стремится освободить район от всякой политической власти, от всякой диктатуры. Ее задача – охранять свободу действий, свободную жизнь трудящихся от всякого неравенства и эксплуатации» (95, 598).

Началась подготовка к чрезвычайному районному съезду Советов, на котором Махно и Волин собирались изложить делегатам концепцию «вольного советского строя», надеясь, что, как и во времена гуляйпольских съездов, она будет одобрена. Это означало бы, что будет сформулирована некая политическая

альтернатива как «белой» идее, так и советской власти большевиков. Дело, однако, столкнулось с трудностями. Во-первых, опомнившись от первого шока, начали сопротивляться меньшевики и эсеры, которые всегда видели в махновцах только деревенский сброд и не собирались уступать им сферы своего политического влияния. Дело касалось прежде всего профсоюзов, в которые махновцы, образно говоря, «вхожи» не были. Попытка созвать рабочую конференцию в первый раз закончилась для них полным провалом. Идея «самоуправления» рабочими не была принята. Аршинов оговаривается по этому поводу, что рабочие не были против, но с делом медлили, «смущенные его новизною» (2, 145).

Суть вопроса прекрасно проясняет визит к Махно рабочих железной дороги, которые пришли с просьбой выплатить им зарплату, задержанную при белых. Махно ответил, что зарплата рабочих – не дело командующего армией. В своем ответе железнодорожникам, опубликованном в газете «Путь к свободе» 15 октября, он популярно сформулировал принципы нового экономического жизнеустройства: «Исходя из принципа устроения свободной жизни самими рабочими и крестьянскими организациями и их объединениями, – предлагаю тт. железнодорожным рабочим и служащим энергично сорганизоваться и наладить самим движение, устанавливая для вознаграждения за свой труд достаточную плату с пассажиров и грузов, кроме военных, организуя свою кассу на товарищеских справедливых началах…» (40, 103). На этой платформе построил свой социализм в Югославии Иосип Броз Тито. Разумеется, сталинским режимом он воспринимался, как прямое кощунство: как же, сохраняются товарно-денежные отношения, конкуренция, сами рабочие владеют своими предприятиями и решают, что и как им производить. Но где же тогда роль партии – то, на чем держались вся советская политика, экономика и индивидуальная мысль каждого гражданина СССР? Нет, махновские экономические озарения большевиков вдохновить не могли.

Новизна же вопроса, смущавшая рабочих, заключалась в том, что железные дороги в России отроду были государственными, и в том, что в условиях разгромленного рынка и расчлененной страны хозрасчет едва ли был возможен, по крайней мере для таких отраслей, как металлургия и транспорт. На пике Гражданской войны анархистский лозунг «освобождение рабочих – дело рук самих рабочих» зазвучал пародийно: это уловили Ильф и Петров в своей издевательской перефразировке о спасении утопающих. Однако железнодорожникам, по-видимому, действительно ничего не оставалось делать, как спасать себя и

наладить-таки движение поездов, чтобы кормить себя и свои семьи. Вполне хозрасчет устраивал только рабочих, занятых в отраслях легкой промышленности: пищевиков, обувщиков, портных. У них профсоюзная жизнь, задавленная при деникинцах, оживилась. Рабочие табачной фабрики Джигита потребовали от владельца заключения коллективного договора. Тот без промедления согласился. Все это каким-то образом повлияло и на настроение в городе. Во всяком случае, собранная 20 октября вторая рабочая конференция согласилась направить на предстоящий съезд своих депутатов и делегировала в Реввоенсовет Повстанческой армии портного Семена Новицкого и большевика Максимова.

В тот же день Реввоенсовет махновцев выпустил декларацию: «Развертывающееся ныне народное повстанческое движение на Украине (махновщина) является началом великой третьей революции, стремящейся к окончательному раскрепощению трудящихся масс от всякого гнета и власти капитала, как частного, так и государственного… Решительное столкновение между идеей вольной, безвластной организации и идеей государственной власти – монархической ли, коммунистической или буржуазно-демократической – становится, таким образом, неизбежным» (85,36). Концепция «третьей революции», или «второго Октября», приписывается обычно теоретикам «Набата». Все это не совсем так: «третья революция» была бродячим образом, будоражившим воображение революционеров левоэсеровского и анархистского толка начиная с середины 1918 года. Показательно, что 7 июля, в день вооруженного столкновения левых эсеров с большевиками в Москве, член левоэсеровского ЦК Донат Черепанов, нервно улыбаясь, сказал арестованному председателю Моссовета П. Г. Смидовичу: «Что, разве не похоже на октябрьские дни?» Черепанов после разгрома партии левых эсеров оказался связанным с «анархистами подполья», которые возврат к принципам Октября и новую мировую революцию в своей фанатической декларации возвели в ранг программных требований. Среди «анархистов подполья» было два бывших махновца и несколько человек, непосредственно связанных с «Набатом». История вся прошита сквозными нитями. Через две недели после декларации Реввоенсовета Повстанческой армии организация «анархистов подполья» в Москве была провалена ЧК. Отныне все надежды наиболее ярых анархистов были на Махно.

Махно не хотел повторять ошибок зимы 1918 года, когда после взятия Екатеринослава он был вовлечен левыми эсерами и большевиками в дележ власти. Как командующий армией, он мог

пресечь любые попытки захватить власть от имени народа. Известно, что по крайней мере один раз он сделал это. Когда к нему пришли большевики из подпольного ревкома и предложили разделить сферы влияния, Махно «посоветовал им идти и заниматься честным трудом и пригрозил казнить весь ревком, если он проявит какие-нибудь властнические меры в отношении трудящихся» (2, 151). Позднее он вообще запретил создавать ревкомы (временные чрезвычайные органы советской власти – так раскрывает это понятие энциклопедия), определив их как «якобинские организации». Думаю, что Махно был ближе к истине, чем авторы энциклопедии: «временные чрезвычайные органы советской власти» не могли быть не чем иным, как властью заговорщиков, и уже поэтому не имели к идее народного самоуправления ни малейшего касательства. Махно не избавился от подполья: оно точило его армию денно и нощно, готовя ее раскол и переход наиболее боеспособных частей к красным. Но это – отдельная, полная трагизма история, которую нам еще предстоит рассказать. В конце октября противостояние еще не было явным: похоже, что и Махно, и Волину, которому приходилось иметь дело с революционерами самых разных исповеданий, действительно казалось, что, увидев съезд, почувствовав живое дыхание народной жизни, творческий порыв народа, их политические оппоненты, по крайней мере большевики и левые эсеры, признают правоту анархического учения и станут, наконец, работать с махновцами рука об руку.

Как о большой победе анархистов Волин, например, пишет о том, что при подготовке съезда «вольных советов» всякая предвыборная агитация была запрещена. Его радость не всем понятна: избирательная кампания – традиционный инструмент демократии, и отмена ее означает нарушение демократических свобод. Но Волин – анархист, и для него все выглядит совершенно иначе: избирательная кампания – способ манипулировать народом, подсунуть ему партийных выдвиженцев вместо тех, кого народ действительно хотел бы выбрать. Зачем тогда она нужна? Все волости, все уезды оповещены о том, что съезд состоится. Пусть сами разберут, кого послать. Если это будут беспартийные крестьяне – прекрасно; если большевики и эсеры – тоже хорошо, потому что это будут, по крайней мере, те большевики и эсеры, которые пользуются реальным доверием крестьян, а не ставленники подпольного ревкома.

Съезд показал, что влияние партийных идеологий на крестьян крайне невелико. Потому естественно, что ни в советской исторической литературе, ни в меньшевистско-эсеровской мемуаристике он не удостоен иных оценок, кроме

пренебрежительных или ругательных. Между тем это был интереснейший социологический и психологический эксперимент, который к тому же дал в целом положительные результаты. Нам не лишне немного рассказать о нем.

Незадолго до открытия съезда к Волину в номер гостиницы зашел товарищ Лубим от левых эсеров. Несмотря на поздний час, он был очень возбужден:

– Извините меня за эмоции, но я должен предупредить вас о страшной опасности. Вы в ней себе не отдаете отчета. А между тем нельзя терять ни минуты…

Волин поинтересовался, в чем дело.

– Вы созываете съезд рабочих и крестьян. Он будет иметь огромное значение. Но что вы делаете? Ни объяснения, ни пропаганды, ни списка кандидатов! А что будет, если крестьянство направит к вам реакционных депутатов, которые потребуют созвать Учредительное собрание? Что вы будете делать, если контрреволюционеры провалят ваш съезд?

Волин почувствовал ответственность момента:

– Если сегодня, в разгар революции, после всего, что произошло, крестьяне направят на съезд контрреволюционеров и монархистов, тогда – слышите – дело всей моей жизни было сплошной ошибкой. И мне ничего не останется, как вышибить себе мозги из револьвера, который вы видите на столе!

– Я серьезно… – начал было Лубим.

– И я серьезно, – закончил Волин. – Мы поступим так, как решили. Если съезд будет контрреволюционным, я покончу с собой. И потом – не я созывал съезд. Это дело всех наших товарищей. И я не хочу ничего менять, потому что согласен с ними… (95, 606–607).

Сегодня трудно понять, почему резолюция в поддержку Учредительного собрания вынудила бы Волина покончить с собой. Острота проблем стерлась, прежние разногласия не кажутся нам столь существенными. Но Волин оказался прав в другом – Учредительное собрание не было съездом, кажется, даже вспомянуто. Съезд открылся 27 октября. Председательствовавший Волин объяснил делегатам, что Реввоенсовет Повстанческой армии взял на себя ответственность созыва этого съезда и выступает гарантом его безопасности. Он объяснил, что махновцы – не власть, а только военный отряд, защищающий интересы народа и те органы власти, которые будут избраны на съезде. Изложив предполагаемую повестку дня, он сделал несколько неожиданное заявление, сказав, что председателя на съезде не будет и что вот с этой минуты собравшиеся вольны поступать и решать все так, как им заблагорассудится. «Если товарищи не

против, – добавил он, – то я возьму на себя функции секретаря…»

Поначалу депутаты настороженно отмалчивались. За два года войны у них выработалось неопровержимо скептическое отношение к любым нововведениям и обещаниям. Их молчание по-своему истолковали приглашенные на съезд меньшевики и эсеры:

– Товарищи делегаты, мы, социалисты, должны предупредить вас, что здесь разыгрывается гнусная комедия. Вам ничего не навязывают… Но вам вполне квалифицированно подсунули председателя-анархиста и вы продолжаете руководствоваться мнением этих людей! (95, 611).

Вышла склока. Махно, не стерпев такой черной неблагодарности, как был, в гимнастерке и в портупее, выбежал на трибуну и, облаяв эсеров и меньшевиков, назвал их «ублюдками буржуазии», посоветовав работе съезда не мешать, а лучше убраться на все четыре стороны… Махно был оратор не слабый, но, скорее, предназначенный для митингования на майдане или перед строем бойцов, так что можно представить себе, в каких выражениях он разделал противников.

Меньшевики и эсеры продемонстрировали обычный прием малодушной оппозиции и покинули съезд. С ними ушло несколько представителей рабочей делегации, в которой из 17 человек 15 были меньшевиками.

Инициативу попытались перехватить левые эсеры, потребовав все же избрать председателя съезда, чем спровоцировали совершенно неожиданную реакцию «депутатов»:

– Хватит нам начальников! Везде эти головы! Хоть раз без них поработаем спокойно! Товарищ Волин нам сказал, что технические вопросы уладит – и довольно… (95, 611).

Если доверять свидетельству Волина, съезд в дальнейшем проходил в «исключительной» атмосфере. И не только в смысле работоспособности, но и в смысле общего настроя. Крестьянские делегаты, среди которых были и старики, признавались Волину, что это был первый съезд, на котором они не только ощущали себя свободными, но еще чувствовали себя братьями (95, 613). Фигура председательствующего с наганом в руке больше не тяготела над ними. Вряд ли все было так ладно, как пишет Волин (остатки рабочей делегации, например, заняли глухую оборону, хотя существенно повлиять на решения собрания они не могли). Но съезд действительно наметил решения ряда принципиальных вопросов. Была санкционирована «добровольная мобилизация»[15] в Повстанческую армию двадцати мужских возрастов (с 19 до 39 лет). Была, несмотря на сопротивление рабочей части съезда, одобрена идея «вольных советов». Почему сопротивлялись

рабочие, понятно. Идея децентрализации, явно заложенная в фундамент «вольного советского строя», казалась губительной для сложившегося в бывшей империи механизма промышленности. Рабочие чувствовали это. В то же время понятно, почему «вольные советы» были так радостно восприняты крестьянами: для них центральная власть всегда ассоциировалась прежде всего с поборами. А большевистская власть довела эти поборы до максимума – по заявлению Цюрупы, нэповский продналог составлял 339 процентов довоенного прямого налога, а продналог был мягче мягкого по сравнению с продразверсткой 1919–1920 годов (40, 97).

Но, пожалуй, самые неожиданные события произошли на съезде в день его закрытия, 2 ноября. Несколько делегатов осмелились под конец поднять вопросы, не предусмотренные повесткой дня. Самым щепетильным был вопрос о махновской контрразведке, которая, по слухам, существует в армии и чинит расправы на манер Чека. Волин, конечно, прекрасно знал про армейскую разведку Голика и корпусную разведку Задова. Но он боялся Махно и на съезде притворился несведущим. Делегаты решили создать комиссию для расследования деятельности контрразведки. Волин не возражал. Надеялся ли он приструнить военную верхушку при помощи народных избранников? Возможно. Между Реввоенсоветом и штабом Повстанческой армии всегда были трения, но попытки «гражданских» повлиять на штаб неизменно заканчивались провалом. Съезд, казалось, мог изменить расстановку сил. Один из делегатов высказал претензии в адрес армии и, в частности, заметил, что комендант Александровска т. Клейн (сменивший на этом посту Каретника), выпустивший воззвание против пьянства, на недавнем вечере отдыха сам надрался так, что его едва живого доставили домой на извозчике, чему был свидетелем весь город.

Зал выслушал историю с добродушной иронией, однако же потребовал Клейна на съезд. Клейн считался одним из лучших командиров Повстанческой армии. Как это ни странно, происходил он из семьи немецких колонистов, нелюбимых махновцами, но по бедности нелюбви избежал. Был он почти необразован, бесстрашен, многажды ранен и закален в боях и беспечно весел. Однако приглашение на съезд и необходимость держать ответ перед народом смутили его.

Праведный депутат начал без обиняков и спросил, верно ли, что Клейн собственноручно подписал указ против пьянства.

Клейн подтвердил.

– Скажите, товарищ Клейн: как гражданин нашего города и его военный комендант, считаете ли вы необходимым следовать

вашим собственным распоряжениям или полагаете это необязательным?

Клейн понял, куда клонит дотошливый депутат, и, смутившись, приблизился к краю сцены:

– Товарищи делегаты, я неправ, я знаю. Я совершил ошибку, напившись третьего дня. Но поймите меня: я не знаю, почему меня назначили комендантом города. Я военный человек, я солдат… А я целый день сижу за столом и подписываю бумажки! Мне нужно действовать, мне нужен воздух, фронт, мои товарищи. Я скучаю здесь смертельно! Вот почему я напился позавчера вечером. Я готов исправить ошибку. Для этого вам нужно только попросить, чтобы меня отправили на фронт. Там я буду полезен. А здесь, на этом проклятом посту коменданта, я вам ничего не обещаю… Простите меня, товарищи, пусть меня отправят на фронт… (95, 619).

Описывая этот эпизод, Волин пытается теоретизировать: понимал ли Клейн, что съезд выше его? Понимал ли, несмотря на все свои раны и заслуги, свою ответственность перед народом?

Да ничего не понимал товарищ Клейн, кроме того, что комендантство ему постыло и нужен ему вольный воздух фронта! Здесь – трагедия всех фронтовиков послевоенных лет, и уж тем более – «бунтующего человека». Повстанческое движение возглавили люди, созданные для войны, люди боя, для которых возвращение к нормальной человеческой жизни было, наверное, невозможно. В свое время был широко распропагандирован факт, что один из махновских командиров, Иван Лепетченко, сдавшись по амнистии, в годы нэпа мирно торговал мороженым (69, 60). Но, во-первых, это была ложь: Лепетченко, будучи телохранителем Махно, в 1921 году не сдался, а ушел вместе с батькой в Румынию, потом в Польшу, и обратился в консульство СССР с просьбой о возвращении на родину лишь в 1924 году, когда Махно удалось перебраться в Берлин, а сам верный батькин телохранитель остался на чужбине не у дел. Просьба Ивана Лепетченко была удовлетворена – о чем в своем месте будет рассказано, – но к тому времени, когда он надел лоток мороженщика, большинства его близких товарищей уже не было в живых. ГПУ, естественно, пыталось привлечь Лепетченко к сотрудничеству, но он никого не выдал и до конца жизни питал ненависть к большевикам, в каких бы мероприятиях ни выражалась их деятельность в деревне, причем неприятие свое выражал открыто, что и было ему вменено в вину перед расстрелом в 1937-м. Раскаивались идейные анархисты, возвращались к земле крестьяне-повстанцы, но из тех, кто возглавлял их, чьи молодые силы целиком сожгло пламя

восстания, не смирился никто. Война, вознесшая их, их же и успокоила. Никто из них не дожил ни до победы, ни до поражения. Все они были убиты, как и подобает воинам.

Александровский съезд понял Клейна и принял решение отправить его на фронт. На этом заседания закончились. Захлопнулась одна из самых ярких страниц в истории махновщины. Никто не знал, что в эти дни движение переживает свой пик – казалось, оно только набирает силы. 28 октября повстанческие части ворвались в Екатеринослав, были выбиты, но в начале ноября к городу подошел Махно с основными силами и после двухдневного боя овладел им. В Екатеринославе Махно намеревался устроить столицу своей республички, хотя с той стороны Днепра город беспрерывно обстреливали белые бронепоезда, и мирная жизнь в нем никак не налаживалась.

В Александровске тоже было неспокойно. Съезд не решил проблемы консолидации сил. Идея «вольного советского строя» не вдохновила большевиков. И хотя в Реввоенсовете, который фактически был временным коалиционным правительством на территории партизанской республики, были представители партии, нелегальная работа коммунистов не прекращалась.

Е. П. Орлов вспоминает: «Я уже говорил, что мы решили сохранить явку в гостинице „Париж“. И вот как-то однажды наша девушка, Клава, говорит: приходи туда сегодня вечером. То есть в „Париж“, на конспиративную явку. Случай чрезвычайный. Я пришел. Были коммунисты и я, комсомолец. Ждем кого-то. И вдруг входит Полонский: красавец, русый чуб, красная черкеска, белый башлык. От неожиданности я даже за пистолет схватился – ведь я же не знал еще, что он большевик, думал, махновец, начальник гарнизона. Меня ребята – хвать: „Потише Женя, потише…“ И вот он нам сделал двухчасовой доклад о Повстанческой армии, о положении на фронтах. Поставил задачу: внедряться в махновские части. Узнавать, чем они живут, какие настроения у них. В каких частях больше процент красноармейцев? Расчленять армейскую массу…»

Большевики, верные своим принципам, готовили военный заговор.

Меньшевики действовали обычным путем интриг: несколько делегатов, ушедших со съезда, выразили протест против «унижения рабочего класса». Была созвана конференция – явно в пику махновскому съезду – и поддержала протест, заявив к тому же, что раз оскорбляют рабочий класс, решения съезда не будут иметь для рабочих никакого авторитета. Представители 18 крупных заводов поставили свои подписи. Махно встревожился, отписал рабочим страстное открытое письмо в газету, в котором с

присущей прямотой вопрошал: «Правда ли, что вы, заслушав на экстренной конференции меньшевиков и эсеров бежавших, как гнусные воры и трусы, от справедливости произнесенного мною перед делегатами съезда, постановили протестовать против справедливости? Правда ли, что эти ублюдки буржуазии вами уполномочены?..» (40, 106).

Махно был явно обижен. Ему, как военному человеку, не хватало выдержки для ведения нудных политических споров. Он хотел, чтобы идея «вольных советов» была воплощена в жизнь. Он думал, все поддержат ее, все возрадуются… Еще бы чуть-чуть – и горькое разочарование благодетеля человечества, столкнувшегося с неблагодарностью подданных, коснулось бы души его. Но не успел он разочароваться.

Обстановка накалялась с каждым днем. У Александровска стали появляться белые разъезды. Оттянув все силы на Екатеринослав, махновцы не могли защитить Александровск. Решено было уходить на правый берег, отгородиться от белых Днепром. Полонский как-то пришел в «Париж» – там было только бюро городской парторганизации, – сказал, что Махно назначил его начальником никопольского боевого участка, и его «железный полк» вместе с приданной частью корпуса Удовиченко уходит на правый берег. Будет держать оборону там.

Е. П. Орлов: «Мы тоже решили уходить с махновцами. Я и Семен Новицкий пошли к Волину: нам нужны были подводы, потому что у нас две девушки, Вера Шапошникова и Аня-махновка (она у махновцев медсестрой работала), заболели тифом. Нам дали пару телег. Часть наших должна была идти в Екатеринослав, часть – в Никополь, к Полонскому. Через несколько дней мы тронулись. Человек 15–20 нас было, вооруженных очень мало – пешком через Кичкасский мост…

Вечером пришли в немецкую колонию Николайполе. Ни одного колониста не было там, все ушли. Сметана на столах стояла, а люди ушли. Боялись. Мы переночевали там. После Николайполя разделились. Несколько человек должно было к Полонскому в Никополь идти: Гришута, Кац, товарищ Борис (он был то Борис, то товарищ Теодор), жена Шоя Андриенко и я…

Ноябрь. Чернозем. Дождь. Грязь – колесам по ступицу. Холод. По дороге и без дорог, прямо по стерне, двигались толпы людей. Уходили от белых. Вечером следующего дня снова дошли до какого-то хутора, остались ночевать. Ночью ворвался какой-то отряд. Кто – неясно. Рубят всех подряд… Мы в лес побежали, нашли друг друга только на рассвете…

Наконец, дошли до Нижней Хортицы, где стоял корпус Удовиченко. Народу было везде набито – что-то неописуемое…

Болеют все, тифозные… Документа у меня никакого не было, одет подозрительно: курточка, переделанная из гимназической шинели, фуражка-керенка. И тут я узнаю, что здесь находится штаб Зинченко, начальника снабжения махновской армии. Пошел к нему. „Вы, – говорю, – меня помните?“ – „А кто ты такой, что я помнить должен?“ – „Так и так, – говорю, – был у вас от союза молодежи по борьбе с контрреволюцией. Вы нам клуб дали“. – „А, да-да-да, – говорит. – А ну там, пошукайте, где та книга, где я кодысь написал…“ И что вы думаете? Нашли в архиве махновской армии мое письмо с просьбой дать нам клуб. И мне дали удостоверение, что я действительно такой-то.



Нестор Махно в 1921 году.



Временные союзники – Махно и командир Заднепровской дивизии крастных Павел Дыбенко.



Махно среди своих командиров. 1919 год.



Генерал А. И. Деникин.



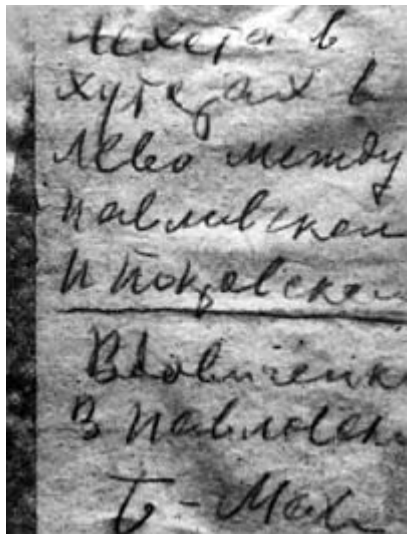
„Черный барон“ Петр Врангель.



Ворошилов и Буденный слушают рапорт подчиненных.



Штаб Махно в 1919 году.



Автограф Махно. Конец 1919 года.



У штаба Красной армии по борьбе с махновщиной. 1921 год.



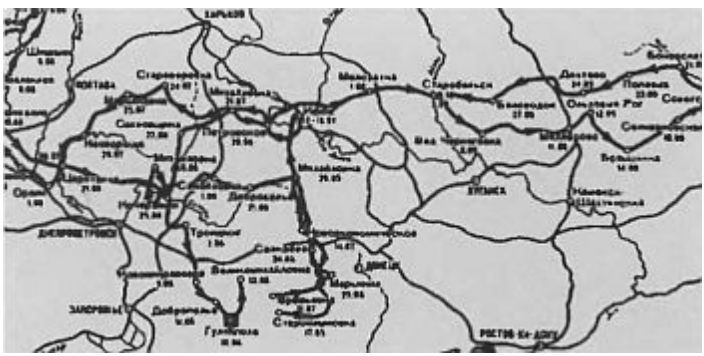
Такими видели махновцев советские карикатуристы.



Атаман Григорьев с красным комиссаром В. А. Антоновым-Овсеенко.



Знаменитая анархистка Маруся Никифорова.



Карта боевых действий повстанческой армии Махно.



Махновцы вступают в Бердянск.



Нестор Махно в 1919 году.



Жена батьки – Галина Кузьменко.



Командиры махновцев. Слева направо: С. Каретников, П. Петренко, Н. Махно, медсестра, В. Куриленко, Г. Василевский.



Махно в госпитале после ранения. Старобельск. 1920 год.



Н. Махно и Г. Кузьменко среди интернированных махновцев в Польше.



Махновские деньги.



Махно в 1932 году.



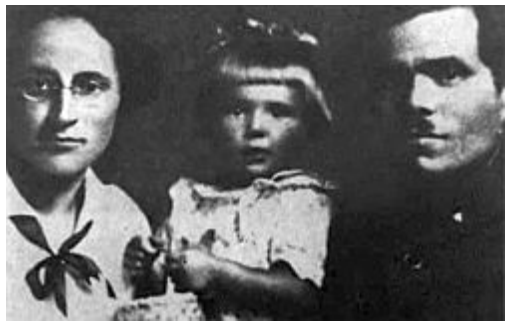
Всеволод Волин.



Петр Аршинов.



Махно и анархист Беркман. Париж. 1934 год.



Махно с женой и дочерью Люсей. 1925 год.



Махно с дочерью. 1928 год.



Надгробие Махно на парижском кладбище Пер-Лашез.



Мемориальная доска на штабе Махно в Гуляйполе.



Жена и дочь Махно в Германии, откуда они попали в советские лагеря.

Ну, вышел с удостоверением. Однако кушать же надо? Там немецкие колонисты – господи! – ни слова, кормят всех. Но я не могу же сразу: „Есть давай!“ Хожу не евши. Какой-то боец подходит ко мне, разговорился. Я ему объяснил. „Давай, – говорит, – идем до батька Удовиченка“. Крупный был командир махновский, любили его. Здоровенный мужик, силач. Выслушал меня, говорит: „Хай вин иде вон в ту хату, скажет, чтобы зачислили его…“

Захожу. В парадной половине лежит на полу огромная корова ободранная. В хате почему-то. Один ее режет. Во дворе котлы, мясо варят. Над огнем одежда висит, прокаливается. Вшивые все были страшно. Никаких же санитарных, банно-прачечных отрядов не было у махновцев. В то время парикмахеры за хорошие деньги стригли машинкой. Так из-за вшей, извиняюсь, вся машинка бывала в крови…

Раз мимо парикмахерской как раз иду. Гляжу, стоит Чурилин. Наш подпольщик, коммунист. „Женя, ты куда?“ – „Да мне, – говорю, – в Никополь надо“. А Никополь сто километров оттуда. Переночевал у него, он мне продуктов немножко дал в дорогу. Пошел пешком. Ночевал, где придется. Однажды на хутор зашел – а там махновцы и, как назло, пьяные все. „Э, э, э! – говорят. – Арестован. Утром будем разбираться с тобой“. Утром хозяин говорит: „Ступай с богом, они пьяные были, не вспомнят ничего“.

Я дальше пошел, по шпалам. Потом поезд какой-то… Так я в Никополь и попал… Полонского сразу нашел: городок маленький, начальника боевого участка всякий знает. И вот познакомился там с его женой Татьяной и с сыном ее, Юрочкой. Шесть лет ему было…

И наших там же нашел: Гришуту, Бориса. Гришута – его настоящая фамилия Конивец была, он в истории фигурирует,[16] – мне сказал: никакой самодеятельности. Изучать настроение в армии, но аккуратно. Потому что Полонский ему сказал, что махновская армия в том виде, в котором она существует, будет разгромлена, конечно. Надо до разгрома выяснить, какие части можно сагитировать в Красную армию. Надо сказать, что Полонского самого дома почти не бывало: никопольский боевой участок очень обширный был – от Никополя до Хортицы, до самого Днепростроя сейчас. Полонский – он уже не в своей знаменитой красной черкеске ходил, а в кожаной тужурке, – постоянно объезжал фронт. То на тачанке, то верхом. Татьяна жаловалась – что ей трудно жить. Что он… грубоват с ней, что ли. Ведь в Повстанческой армии командир полка – это колоссальная должность была, колоссальная власть у человека. В Красной Армии еще комиссар был, партийная организация – командир под контролем. А здесь батька – царь и бог. Хочешь самогон – пожалуйста, пей. Женщин хочешь – пожалуйста. Я не хочу сказать, что Полонский злоупотреблял в этом отношении. Просто такое всевластие, оно невольно воспитывало крутость в человеке. И ей это было тяжело. Она необычайной красоты была женщина, высокая брюнетка, чем-то похожая на Веру Холодную. Муж у нее был белый офицер, и, когда Полонский со своим полком брал Крым летом 1919-го, он нашел ее. И вот… Мне показалось… Конечно, это только мое субъективное впечатление… Мне показалось, что между нею и Борисом какие-то особые отношения начинают складываться. Он потоньше, студент, красавец. Ходил в студенческой фуражке. Что-то такое было в нем, чего ей, может, так не хватало…

Потом Полонский меня вызвал: „Знаете, Женя, – говорит. – Меня вызывают в Екатеринослав. Я скоро уеду отсюда. А сейчас хочу отправить жену и ее сына. Дам вам две тачанки и кучера. Поедешь с ними“.

Я, конечно, очень хотел в Екатеринослав. Там большой город, много наших, там все. И мы поехали с ними. Что-то около двухсот километров нам проехать нужно было… Медленно ехали, грязь жуткая. Но встречали и кормили нас везде очень хорошо крестьяне: командирская жена с ординарцем едет…

Чуть-чуть я их до Екатеринослава не довез. Помню: Сурско-

Литовск, километров двадцать от города. Выпал снег. Что-то меня зазнобило, голова стала болеть… Когда подъехали к Екатеринославу, остановились возле какого-то домика на окраине. Я был уже почти без сознания. Тиф. Видимо, в этом домике оставили меня. Я иногда просыпался: где они? Ничего не знаю… Потом пришла какая-то женщина, сказала, что она от партийной организации. Не знаю, как разыскали меня. В следующий раз очнулся – уже в больнице…»

Евгений Петрович Орлов, свалившись с тифом, так тогда и не узнал, что сталось с Полонским и его женой…

Махно вызвал Полонского на совещание командного состава армии в самом конце ноября. В середине декабря белогвардейские части Слащева пробили махновский фронт у Пятихаток и стремительно двинулись на Екатеринослав. Еще через две недели махновская республичка была смыта с политической карты Гражданской войны потоками разгромленной красными под Орлом, поспешно отходящей на юг Добровольческой армии…

РАЗГРОМ

В ноябре ольвиопольская группа белых, в свое время упустившая Махно под Уманью и ввязанная в бои с Петлюрой, завершила разгром петлюровцев. Часть из них ушла через польскую границу и влилась в грандиозную, никогда не бывалую в Польше армию Пилсудского, снаряжаемую французами и англичанами для войны с красной Россией. Другая часть ушла в подземное русло бандитизма, который был жесточайшим бичом всех без исключения властей, сменявшихся на Украине с 1917 по 1920 год. Так или иначе, у белых высвободились, наконец, руки для спешного оперирования глубоко укоренившейся заразы – республики Махно. Болезнь пустила повсеместные метастазы: не только в «махновских» губерниях было неспокойно, но и под Херсоном и Елисаветградом, где всего несколько месяцев назад бушевало григорьевское восстание против большевиков, вновь поднялись крестьяне. Размах движения был таков, что давал повод белому командованию говорить о «восставших республиках» в этих губерниях.

Возглавить операции против Махно вновь должен был Слащев, назначенный командиром специально сформированного третьего армейского корпуса силою в десять тысяч человек. С востока, со стороны Александровска, надежно сковывали действия партизан части Синельниковской группы – 5 тысяч человек. У Махно людей было несравненно больше, но, как бы ни странным казалось это, в момент наибольшего могущества махновщины вдруг стала замечаться в ней какая-то болезненная немочь. Махно стал вял, нерешителен. Целый месяц деникинские бронепоезда из-за Днепра обстреливали махновскую столицу Екатеринослав, и махновцы, проявлявшие неимоверную изобретательность в партизанских авантюрах, так и не смогли выдумать ничего, чтобы прекратить этот назойливый обстрел, который ужасно затруднял жизнь в городе.

Какова была численность махновской армии в последние месяцы 1919 года, в точности неизвестно. Мелькающая в литературе цифра в 80 тысяч человек является явным преувеличением. Французский историк Александр Скирда дает более скромную статистику – 28 тысяч человек при 50 орудиях и 200 пулеметах. Наиболее дотошный из советских историков махновщины М. Кубанин пишет, что у Махно было 40 тысяч пехоты и 15 тысяч конницы, то есть поболе народу, чем в «штатной» большевистской армии (40, 173).

Все это, однако, нисколько не смущало Слащева. Он оценивал

«ядро» Махно в 15 тысяч человек и в дальнейшем, казалось, совсем не принимал в расчет отмобилизованные по решению александровского съезда 40 тысяч махновской пехоты.

Чтобы разбить партизан, нужна была стратегия. Возможно, среди высших чинов белого командования только Слащев, ранее имевший дело с Махно, понимал это. Он размышлял: «Предыдущие боевые столкновения выяснили… что Махно вовсе не боится окружения, а даже сам на него напрашивается, действуя в таких случаях своими свободными от окружения отрядами конницы на тыл противника… К моменту же тактического окружения, если ему до этого еще не удалось нанести поражение противнику, он выбирал один из подходящих отрядов окружавшего его врага и, напав на него всеми силами, прокладывал себе дорогу…» (70, № 12, 41–42).

«Окружать» республику партизан силами в 15 тысяч человек не имело никакого смысла. Махно и так, в некотором смысле слова, находясь в белом тылу, был «окружен». Нужно было найти способ его уничтожить. Слащев не упустил из внимания поразительную для Махно пассивность. Из этого он совершенно верно выводил, что Махно оказался в абсолютно для себя непривычной ситуации: прикован к территории, связан «столицей» и почти регулярной армией, для жизнеобеспечения которой нужны были нормально работающие железные дороги и мастерские, которые едва теплились, госпитали, для работы которых не было ни персонала, ни лекарств… Слащев понял: самый верткий противник его утратил подвижность.

Белый генерал, понятно, не мог вполне знать, насколько тяжело положение Повстанческой армии. Привыкшая жить на подножном корму, армия быстро выжрала все в прифронтовой полосе и заголодала. Немедленно упала дисциплина. Пошли дожди – и вспыхнул неостановимый, как степной пожар, тиф. Я упоминал уже о страшной эпидемии 1919 года, скосившей в России и на Украине больше людей, чем война. Лекарств не было. Медперсонала не хватало даже в городах. Еще в октябре, на александровском съезде Советов, кто-то из делегатов возмущался тем, в каких ужасающих условиях пребывают раненые бойцы: «Раненые повстанцы совершенно лишены медицинского обслуживания, еды, нет даже одеял и подушек, даже соломы, – люди лежат на голом полу и умирают подчас только из-за недостаточного за ними ухода» (95, 615). Но чем дальше в зиму, тем положение делалось хуже – достаточно сказать, что к моменту встречи махновцев с красными как минимум десять тысяч солдат Повстанческой армии валялось в тифу.

К этому добавлялось и еще кое-что, по-видимому, не

оставшееся тайной для белого командования. Махновский штаб ощущал растущую неизбежность встречи с Красной армией. Какова будет эта встреча, понять было трудно, потому что, с одной стороны, она знаменовала бы победу над общим врагом, но, с другой – потребовала бы, мягко говоря, объяснения, на каком основании товарищ Махно дерзил товарищу Троцкому в июне 1919 года, и готов ли прославленный батька отказаться от бесчисленных своих самовольств и от ереси «вольного советского строя»?

В махновских «верхах» это вызывало нервозность. И если для мобилизованных крестьян было, наверное, мало разницы в тот момент, у красных или у Махно придется им служить, то для мятежных частей «ядра», переметнувшихся к Махно в Новом Буге, это был не праздный вопрос и уж тем более он был не праздный для командиров этих частей и некоторых членов штаба (Попов, если помним, так и ходил, заочно приговоренный к расстрелу после левоэсеровского мятежа). Несмотря на то, что в Реввоенсовете махновцев было в это время два коммуниста, были и командиры-большевики, невидимая грань все же разделяла махновское войско. Слащев должен был если не знать, то хотя бы догадываться о том, что в махновском «орешке» есть глубокая червоточина. Еще 21 ноября газета «Путь к свободе» предупреждала, что в случае встречи с красными частями Повстанческой армии нужно быть готовой ко всему, в том числе и «к возможному столкновению с приближающейся большевистской властью» (69, 51). Предусматривалось строго следить за ненадежными командирами, чтобы воспрепятствовать их переходу на сторону большевиков… Было совершенно очевидно, что армия, сохраняющая единство только перед лицом внешнего врага, не вполне боеспособна.

Белые учитывали это. Им должна была стать известной трагическая история Михаила Полонского, в которой обнаружилась вдруг изнанка махновского режима, – и вольнолюбивые декларации Реввоенсовета не только оказались запятнанными кровью, но и в одночасье были обесценены ложью – самой отвратительной ложью власти, пытающейся спрятать совершенное ею преступление…

…Как много времени минуло с тех пор, как в октябре семнадцатого года кучеров сын Михаил Полонский впервые заспорил на митинге в Гуляй-Поле с кучеровым сыном Нестором Махно! Как странно метала и трепала их судьба, как далеко разводила и как сводила вновь! Тут чудесное плетение узора жизни! Знаменитый красный командир в сентябре 1919 года вернулся в местечко Молочанск, где проживала его семья,

командиром партизанской армии, возглавляемой его давнишним противником Нестором Махно, взбаламутив тихую придонную жизнь глубинки, над которой волны Гражданской войны проходили почти незаметно… Он взял с собой в Александровск семью: отца, мать, сестер. Он показал им жену, добытую в походах. Семья совсем не знала ее и, вероятно, чуралась – но что поделаешь, сын вышел в «батьки», никто ему был не указ. Позже сестра Полонского, Екатерина Лаврентьевна, в письме писателю А. П. Смирнову, интересовавшемуся судьбой ее брата, сообщала: «Звали ее Татьяна. Отчество жены Михаила я, к своему стыду, забыла. Где Михаил на ней женился, я не помню, так как, по-моему, в нашей семье этот вопрос не возникал во время довольно коротких приездов Михаила к нам…» Видно, нелепым казался семье этот союз, но что значило родительское слово? Война шла, и уж если сынок прихватил барыньку – на то его право и сила. Вряд ли родители знали хоть что-либо о той подпольной работе, которую вел Михаил Полонский в махновской армии.

После оставления Александровска, в Никополе, Полонский сохранил обаяние «бывшего красного» командира, и к нему якобы даже перебегали «целые группы» махновцев, ибо было известно, что его полк, почти целиком состоявший из красноармейцев, будет единственной частью Повстанческой армии, которая безболезненно соприкоснется с красными. Вряд ли Махно всерьез подозревал Полонского: он, правда, поставил его командовать на заднем дворе (а в Никополь красные должны были попасть в последнюю очередь), но, думаю, о тайных собраниях, подобных тому, о котором рассказал Е. П. Орлов, Махно не подозревал. В конце ноября батька вызвал Полонского в штаб на совещание командного состава армии. Нужно было что-то решать: голодный фронт в мокрых окопах еле держался и сам по себе, а со дня на день можно было ожидать удара отступающих с севера белых частей и вслед за тем – роковой встречи с братьями по оружию… В то же время действия одного из командиров, Володина, успешно рейдирующего в сторону Крыма в практически пустых, никакими войсками не охраняемых областях Северной Таврии, у многих атаманов возродили партизанские вожделения: пока не поздно, плюнуть на проклятые города да и податься в Крым, чтобы водрузить над ним черное знамя! Но Махно на прекраснодушные мечтания размениваться не мог: он не мог бросить армию, он не мог бросить свою столицу, он день за днем созидал «анархистское государство», чтобы доказать большевикам, что они имеют дело с огромной народною силой, которую игнорировать невозможно. И все-таки опасные настроения надо было как-то обсудить: потому и созывалось

совещание. Приехав в Екатеринослав, Полонский повел себя неосторожно и в некотором смысле вызывающе. Первым делом он явился на заседание подпольного большевистского губкома и прочитал доклад о коммунистической работе в армии. «Были отмечены большие успехи в смысле укомплектования командного состава большевиками…»

На заседании присутствовал незнакомый человек, на которого падают подозрения в том, что именно он доложил Махно о роли, которую сколь скрытно, столь и талантливо играл Полонский в Повстанческой армии. Уже известный нам большевик Гришута, присутствовавший на этом заседании, в своих воспоминаниях писал потом, что посторонний назвался представителем ЦК КП(б)У Захаровым и предъявил мандат, удостоверяющий, что партией ему доверено руководство всеми вооруженными отрядами в белом тылу. «Мы его ввели в курс наших дел, – пишет Гришута, – так как с этого дня задача наша сводилась, главным образом, к подготовке наибольшего количества махновских частей к переводу в ряды Красной Армии» (35, 86). Если «Захаров» действительно был из махновской контрразведки, становится понятным, почему в ночь после заседания Полонский был убит. Батьке не нужен был популярный командир, вынашивающий такого рода замыслы. Мы не знаем доподлинно, как произошло убийство. Согласно воспоминаниям Гришуты, Полонский был приглашен с женой на вечеринку, в конце которой он был убит, а она арестована. По неопровергнутой, но и недоказанной версии Гришуты, где-то в час ночи Каретников, Чубенко и Василевский вывели Полонского из дома, где шло гулянье, к Днепру. Первым выстрелил в спину Полонскому Каретников, затем Чубенко. Полонский упал. Затем, по версии Гришуты, приподнявшись на локте, крикнул: «Добейте, бандиты!» Его добили. Жена Полонского Татьяна была арестована как сообщница мужа.

По этому поводу Е. П. Орлов высказал только одно соображение: «Вряд ли ее просто так арестовали, не попользовались ею…»

Французский историк Александр Скирда предлагает нам совершенно иную, хотя тоже достаточно широко известную версию событий, согласно которой Полонскому было поручено отравить Махно. Он пишет, что не Махно Полонского, а Полонский с группой заговорщиков из числа подпольщиков-большевиков пригласил Махно на вечеринку, где предполагалось поднести ему отравленное зелье. «Махновская контрразведка, введенная в курс дела одним из своих агентов, внедренных в сеть заговорщиков, арестовала их и, после короткого судебного

разбирательства, расстреляла его и его любовницу – актрису, которая должна была сыграть роль отравительницы, а также Вайнера, бывшего председателя ревтрибунала Красной армии, прославившегося своей жестокостью и одного из статистов этого спектакля…» (94, 205–206).

Несмотря на то, что начиная с 1920 года ЧК предпринимала неоднократные попытки «убрать» Махно, эта версия вызывает сомнения. Во-первых, потому, что она ровным счетом ничего не добавляет к тем расплывчатым словам об отравлении, которые Махно как-то произнес по поводу убийства Полонского. Расследования историка тут нет. А. Скирда даже не задается вопросом – с какой бы это стати Махно пошел к Полонскому выпивать в столь сомнительной компании?

С другой стороны, у Полонского были причины, по которым он мог желать устранения Махно. Без батьки Повстанческая армия развалилась бы легче: ведь бойцы любили Махно и верили в него, его фантастическая храбрость вдыхала в них волю в самые безнадежные минуты. Волин в своей книге писал, что у анархистов из Культпросветотдела иной раз возникала мысль о замене Махно кем-нибудь из равноталантливых командиров (звучит смешно, особенно если принять во внимание реальное отношение Махно и его штаба к «теоретикам» из Культпросветотдела. – В. Г.), однако им неизменно отвечали, что «Махно больше любят, больше уважают; его лучше знают, с ним сроднились, ему полностью доверяют, что очень важно для движения, он более „простой“, более „компанейский“» (95, 680). Устранение Махно помогло бы Полонскому добиться своей цели. И кто знает, не вынашивал ли он честолюбивых замыслов – после встречи с Красной армией принять бывшую Повстанческую под свое руководство? Так или иначе, ни доказать, ни опровергнуть версию отравления нельзя, как и версию Гришуты, который ведь тоже не стоял над телом Полонского и не слышал его предсмертной мольбы.

Покинем, однако, область предположений. Чем бы ни было вызвано убийство Полонского, за него предстояло держать ответ: такого масштаба фигура не могла исчезнуть бесследно. Поразительно, что болезненно, по-мальчишески остро ощущавший несправедливость в отношении себя, Махно совершенно по-мальчишески же бестолково и оголтело врал и путался, пытаясь оправдаться. За день слухи об убийстве и арестах расползлись по городу. Вечером на заседании Революционного военного совета Семен Новицкий спросил Махно, что случилось с Полонским. Тут Махно и ответил, что Полонский убит, потому что пытался отравить его. В тот же день

на совещании командного состава – замечает по этому поводу Гришута – Махно потребовал от командиров санкции на расстрел Полонского, словно бы тот был еще жив. Обвинял же он Полонского не в отравлении, а в измене и сотрудничестве с белыми. Собрание не поверило, что Полонский стакнулся с белыми, и в целом более чем сдержанно отнеслось к словам Махно.

В тот же день, 3 декабря, у Махно была еще одна встреча. Все те же Семен Новицкий и Гришута – старые знакомые махновцев по Александровску – отправились в штаб, чтобы узнать об участи арестованных большевиков. Им удалось через Волина и Уралова договориться о встрече с Махно. К батьке была отправлена делегация из трех человек. Махно принял их и выслушал претензии. Махно сказал, что «коммунистов он не трогает, но ревкомы и вообще органы власти, поставленные коммунистами, будет расстреливать». Делегаты возразили, что они представители рабочих Екатеринослава, и, если их товарищей-рабочих не освободят, они вынуждены будут принять ответные меры. Махно спокойно сказал: «Что ж, будем расстреливать и рабочих» (35, 87).

Тут уместно сказать, что среди арестованных собственно рабочих не было ни одного человека, все это были профессиональные подпольщики из военной и партийной верхушки. Однако большевики не были бы самими собой, если бы не попытались разыграть карту рабочего класса. Делегаты потребовали открытого суда над Полонским, коль скоро он изменник. Махно вынужден был врать, что этот вопрос будет рассмотрен…

Вообще, в каком-то смысле убийство Полонского оказалось для Махно роковым. На мирную встречу с красными теперь не приходилось рассчитывать. Большевики ушли в подполье и начали газетную травлю махновцев. Реввоенсовет – высший орган махновской власти – становился и опасным, и обременительным, ибо ничего уже не решал, но усилиями Семена Новицкого беспрерывно муссировал вопрос о гибели Полонского. Для выяснения обстоятельств его убийства была создана комиссия из трех наиболее беспристрастных деятелей движения – Уралова, Волина и Белаша. Вряд ли комиссия реально могла что-нибудь выяснить. Волин, например, узнав, что случилось, ограничился единственным вопросом: а было ли это согласовано с батькой? Услышав положительный ответ, он сказал, что не хочет даже вмешиваться в это дело. «Вышло так, что в этот момент Махно находился в соседней комнате в полупьяном состоянии. Услышав разговор, он зашел в комнату, где находился Волин, и сказал: вот

как, ты, значит, согласен, что человека расстреляли, даже не спрашивая, по какой причине? А даже если с батькой согласовано, так что он, по-твоему, и ошибиться не мог? А может, он пьян был, когда дал приказ расстрелять?» (56, 4). Волин не осмелился сказать ни слова в ответ. И позже в своей книге «Неизвестная революция» он оправдывал Махно, обвиняя Полонского в заговорщицких действиях.

Нет сомнения, что случись в Красной армии командир, который бы повел анархистскую пропаганду в частях и стал бы укомплектовывать их своими людьми, – он был бы без промедления расстрелян. Думаю, что Полонский на этот счет не обольщался: он знал правила игры. Поэтому и Махно бессмысленно упрекать в каком-то особенном вероломстве. Худо, что казнь Полонского совершилась как тайное ночное убийство, которое нужно было прятать, завирать, замазывать… На Махно пала тень некрасивого поступка, которая стала угрожать его авторитету. Сразу возникли трения между штабом и Реввоенсоветом. Волин вспоминает, что однажды Махно явился на заседание Реввоенсовета совершенно пьяным, «достал револьвер, навел на собравшихся и, поводя дулом из стороны в сторону, громко выругался, обложил Совет и безо всяких объяснений вышел» (95, 683).

Махно начинал пить, когда переставал чувствовать и контролировать ситуацию. А ситуация явно вырывалась из рук, «вольный советский строй» не раем земным оказывался… 5 декабря были расстреляны содержавшиеся в тюрьме адъютант Полонского, его жена, председатель трибунала Вайнер и инспектор артиллерии РККА Бродский. На настроениях в городе это сказалось чудовищным образом. Фронт трещал, и в патетических обращениях к командирам голос Махно срывался, в нем прорезывались ноты отчаяния. «Видите ли вы, – писал он в специальном приказе по армии 13 декабря, – что армия разлагается, и что чем дальше будет царить халатность командиров к своему делу… тем скорее армия себя разложит и умертвит… Революция погибнет…» (40, 183).

Армия пила, несмотря на запрещение пить под угрозой расстрела. Сам батька порою делал распоряжения, на которые способен человек лишь в пьяном состоянии. Например, начальнику Екатеринославского гарнизона Махно выписал мандат следующего содержания: «Знаю Скальдицкого как честного человека. Всякий, кто ему не верит, – подлец. Батько Махно» (35, 50).

Батька Махно попал в ловушку, которой стала для него неподвижность. В этой ловушке и поразил его генерал Слащев.

Слащев решил не распылять сил и не отвлекаться на «восставшие республики» под Елисаветградом и Херсоном, а бить в самое сердце махновщины, в Екатеринослав. Фронт махновцев, выстроившийся по линии Пятихатки—Кривой Рог—Архангельское, к началу декабря окончательно утонул в грязи и лишь изредка беспокоил белых налетавшей из-за него конницей.

Слащев рассчитал, что быстрый и мощный удар на узком участке фронта Махно не выдержит и, более того, из-за распутицы не успеет перебросить свои войска к месту прорыва. Направление главного удара было определено вдоль железной дороги Пятихатки—Екатеринослав. Впереди должны были идти два бронепоезда, затем – несколько составов с войсками, прикрываемые с флангов частями 13-й дивизии белых. «Получался очень узкий, но эшелонированный в глубину боевой порядок», чем-то очень напоминавший знаменитый «клин» тевтонских рыцарей.

В середине декабря Слащев нанес удар. Части третьего корпуса белых без труда пробили гнилое рядно махновского фронта у Пятихаток и стремительно двинулись на Екатеринослав. Закрепиться и сдержать продвижение белых частей на линии реки Мокрая Сурава, как того опасался Слащев, Махно не смог. 4 декабря по старому стилю (17-го по новому) белые атаковали Верхнеднепровск, откуда в свое время ударил на Екатеринослав Махно, – «и на плечах махновцев ворвались в тыл их расположения по р. Мокрой Сураве: мелкие железнодорожные мосты этого района были только слабо испорчены махновцами, и к рассвету 5 (18) декабря они уже были исправлены», пишет Слащев (70, № 12, 43).

На рассвете 21 декабря началась общая атака Екатеринослава: 1-й кавказский стрелковый полк устремился напрямик через Днепровский мост, сильный кулак нанес удар вдоль правого берега Днепра. «Во главе всех частей в 10 часов утра в город ворвалась 13 п. дивизия со своим начдивом, и махновцы, потеряв два бронепоезда, три броневика, 4 орудия и около 3000 пленных, бежали из города…» (70, № 12, 44).

Вероятно, нет никакого смысла в том, чтобы в описываемых событиях пытаться увидеть некую параллель тому, что происходило в Екатеринославе ровно за год до этого, когда махновцы впервые брали город. Но если бы кто-то невидимый и беспристрастный наблюдал за этой частью земной поверхности, он бы, наверное, подумал о некотором однообразии и истощении вымысла в историческом театре. В тех же декорациях металлических ферм моста, в том же освещении позднего декабря вновь, стреляя друг в друга, бежали к тому же городу люди, и

вновь атаковавшим способствовал успех, и вновь оборонявшиеся не желали сдаваться, вновь и вновь пытаясь отбить город, оставляя зиме новых мертвых, и вновь из-за дальнего горизонта, оповещая о себе вспышками артиллерийских зарниц, надвигалась сила, которая все переделывала по-своему и делала ненужными битвы и мертвецов декабря.

Е. П. Орлов вспоминает: «Я был в больнице, в тифу, когда город взяли. Слышали стрельбу, потом дверь открывается. Входят белые, шкуровцы. В папахах черных. В палате, наверное, человек тридцать лежало. Помню, как сейчас, подходят к одному больному: „Ты что, махновец? Туда-растуда…“ Тот приподнимается: „А ты что, кадюк?!“ А сестра милосердия кричит: „Господин офицер, это все махновцы, их нужно подушками душить!“ И тут же забирают этих махновцев подряд – и во двор, под пулемет…

Я обращаюсь к другой сестре, говорю: „Сестрица, я умру сейчас. Скажите моему отцу… Вот, фамилия его такая-то…“ Она спрашивает: „А у вас сестры нет?“ – „Есть, – говорю, – сестры. Оля и Валя“. Оказалось, что они с Валей в одном классе гимназии учились. И она быстро взяла носилки и меня отнесла в уборную. И там заперла. Так я в живых остался…»

22 декабря белые праздновали победу. После утренней разведки махновцев, которая не внушила опасений, назначенный по городу сторожевой наряд был отменен. Предполагался «георгиевский праздник» с раздачей георгиевских наград солдатам. В 12 часов дня генерал Слащев сам отправился на позиции поздравлять свои части, но в это время по фронту внезапно началась беспорядочная ружейная стрельба, вслед за которой раздались удары орудий. Подъехав с конвоем к месту боя, Слащев увидел «целиком бегущий 1-й стрелковый кавказский полк и уже ворвавшихся в город махновцев». Махновцы устремлялись «вслед за бегущими к вокзалу и железнодорожному мосту, одновременно расширяя свой прорыв в стороны, с тем, чтобы окончательно отрезать левый фланг, т. е. 13 дивизию, и отбросить остальную часть корпуса к северу, тоже прижимая к реке, одновременно запирая мост и тем прекращая переправу подкреплений…» (70, № 12, 50).

Повстанцам, несмотря на всю их решимость, добиться успеха не удалось. Перегруппировав свои части, Слащев отрезал прорвавшихся в город махновцев и блокировал прорыв на фронте. К четырем часам вечера уличный бой затих: израсходовав патроны, оказавшиеся в ловушке махновцы вынуждены были сдаться. Слащев пишет, что в плен было взято около двух тысяч человек, но ни слова не говорит о их судьбе. Зная отношение

белых к партизанам, резонно предположить, что все они, подобно больным в госпитале, были безжалостно расстреляны.

Махно, однако, не оставлял надежды отбить город: к этому побуждало его не только нежелание смириться с неудачей, но и соображения более общего свойства. Со дня на день близилась роковая встреча – и, конечно, одно было дело предстать перед большевиками хозяином партизанской республики со столицей в крупнейшем городе Восточной Украины, а совсем другое – командиром когда-то огромного партизанского отряда, не представляющего более ни власти, ни силы. Конечно, Махно не мог допустить этого! Он тщательно готовил «политическую часть» встречи: на конец декабря в Екатеринославе назначен был очередной районный съезд Советов, который еще раз должен был провозгласить «вольный советский строй» на всей территории республики. И вдруг – все эти замыслы ломались…

Под покровом темноты махновцы в 11 часов вечера 22 декабря вновь атаковали город: белые отвечали сосредоточенным огнем, атака не набрала силы и захлебнулась. Слащев перехитрил Махно, угнездившись с сильным гарнизоном в самом центре махновской республики, заставляя партизан атаковать в явно невыигрышных для них условиях. Имея перевес в силах, Махно мог бы, вероятно, добиться успеха, но для этого надо было действовать хладнокровно и не торопясь. Махно же, что нечасто случалось с ним, потерял самообладание. Военный гений на этот раз оставил его. Весь день 23 декабря он в каком-то ослеплении пачками бросал в атаку подкрепления, пробившиеся к городу по грязи, но поскольку атаки были организованы стереотипно и проводились малыми силами, они ни к чему не привели.

23 декабря Махно произвел на позиции белых шесть бесплодных атак. «Но если он верил в успех, – комментирует Слащев, – или действовал под влиянием раздражения и бешенства отчаяния, то войска его шли в атаку все хуже и хуже и, видимо, ни в какой успех уже не верили» (70, № 12, 51).

На рассвете 24 декабря Махно вновь приказал своим частям атаковать, но атака шла так вяло, что захлебнулась в двух верстах от позиции белых… Махновцы выдохлись. Почувствовав это, хладнокровный Слащев бросил вперед свои силы: сильный контрудар, разметавший остатки собранных Махно сил, лишил его последней надежды на овладение городом.

Позже, рассказывая красному офицерству о своей борьбе с махновщиной, Слащев отмечал, что Махно был плохим стратегом. По-видимому, основания для такого суждения у него были. Батька не смог создать боеспособного фронта. Не смог использовать свое превосходство в силах. И даже личное

бесстрашие его и «ярость» (отмечаемая Слащевым), которые были допингом для его бойцов в локальном бою, под Екатеринославом оказались слабым аргументом против выверенного военного расчета Слащева.

Белым, однако, недолго оставалось торжествовать победу: 1 января Екатеринослав заняли части регулярной Красной армии.

Советские историки по этому поводу обычно замечают, что именно большевики спасли махновцев от полного разгрома. Возможно, это и так. Но можно взглянуть на дело иначе: махновцы подготовили триумф большевиков, изглодав белый тыл. Вряд ли, однако, нас к чему-либо приведет оценочная эквилибристика. Факты же таковы: отбросив махновцев от Екатеринослава, Слащев не преследовал их. Для этого у белых не было сил. К тому же на руку партизанам оказалась распутица, которая делала маневры белых просто невозможными вне железных дорог. Фронт, проткнутый Слащевым у Пятихаток, постепенно распадался: во-первых, с падением Екатеринослава он уже ничего не прикрывал, а во-вторых, штаб Повстанческой армии просто, по-видимому, потерял связь со своими частями и ничем не мог помочь им. Махно с ядром в несколько тысяч человек ушел в бездорожные пространства Никопольского уезда. Остальные части выжидали, отогреваясь по хуторам: нужно было продержаться неделю-другую и только не пропустить момент, когда покатятся на юг отступающие белые. А уж тут не мешкать – либо отскочить с дороги, либо подрезать поджилки. А вслед за тем – здравствуй, Красная армия…

Не принимая боя, в самом конце декабря корпус генерала Слащева оставил Екатеринослав и двинулся к Крыму, где впоследствии стал ядром последнего оплота белого движения – армии генерала Врангеля. Красная армия продвигалась по партизанским районам, как бы гуляя. Противник не сопротивлялся. Противника… не было. Красные встречали разъезды партизан, изможденных людей в полушубках, подпоясанных кушаками, с винтовками и обрезами, с диким, то ли голодным, то ли больным, блеском в глазах. Имя батьки Махно было у всех на устах. Однако для самого Махно это был крах. Перед красными батька предстал не главой анархистской республики, с которым следовало бы говорить на почтительном и благодарном языке, как и подобает говорить с победителем, позабыв все обиды. Нет! Он снова оказывался лишь вождем большого, известного своей своенравностью партизанского отряда, с которым следовало поступить по целесообразности военного времени.

Наступил 1920 год, роковой для махновщины. Правда,

историки всех направлений единодушны в одном: первые встречи красноармейцев и бойцов Повстанческой армии проходили в духе приподнятости и братства, того особого братства, которое объединяет людей, одолевших общего врага. Наверно, красноармейцы удивлялись подвигу партизан, не сложивших оружия во вражеском тылу и тем самым подготовивших их общую победу. Может быть, были и такие, кого мучила совесть, что в свое время они покинули Украину так поспешно. На людей, по убеждению вставших на службу революции, не могла не повлиять героика партизанского движения, напоминавшая о порывах 1917 года, и слегка отдающая крамолой, но близкая сердцам миллионов крестьян идея «вольных советов»…

А у красных было сытнее, надежнее. У красных медикаменты, махорка. Зато у махновцев была горилка, которой не было у красных. Так что было чем поделиться, было что рассказать, было, наверно, о чем поплакать вместе землякам, узнав о гибели родных и сожженных селах. Как бы ни старались наши историки замазать этот нежелательный факт – была, была она, одна эйфорическая неделя, когда красноармейца с махновцем не разделяло, по сути, ничего, когда белые бежали, когда смерть перестала ежечасно кружить над головами и можно было отдаться позабытым чувствам товарищества и веселья, когда верилось, что все плохое позади, и после неистового напряжения борьбы в мире больше не может быть мелкой человеческой подлости и несправедливости, и мертвецы декабря – это последняя жертва угрюмому богу Гражданской войны. Красные части, которым временно пришлось сражаться в частях Повстанческой армии, чтобы избежать полного разгрома и уничтожения, перешли к своим, часть красных хотела к махновцам. Присоединился к ним, например, партизанский отряд Огаркова, принимавший участие во взятии Орла. Был случай, когда команда бронепоезда передала повстанцам три тысячи снарядов.

Пока шло братание, в Екатеринославе и Александровске – где махновцы вновь встретились с частями 14-й армии, – прошли душещипательные митинги. Правда, чуткое ухо уловило бы в интонациях ораторов встревоженные и озабоченные нотки, однако вряд ли кто из рядовых бойцов всерьез воспринимал их. В Екатеринославе митинг 1 января закончился голосованием резолюции: «Да здравствует всемирная коммунистическая партия большевиков! Да здравствует третий коммунистический интернационал! Долой анархию!» (94, 211). Партизан заставляли повторять большевистский символ веры: началось постепенное вовлечение махновских частей в Красную армию. Окончательное

размежевание произошло потом, когда Махно опять был объявлен вне закона: тогда много махновцев вступило в формирующуюся бригаду Г. И. Котовского, который привлекал неординарностью своей натуры и – при всем различии комплекции – неуловимой похожестью на «блистательного партизана» Махно…

Штаб махновцев близко не сносился с большевистскими частями. Расположившись в районе Гуляй – Поля—Александровска, махновцы заняли наблюдательную позицию. Наблюдения скоро выявили, что в повадках борьбы за власть большевики нисколько не изменились с лета 1919 года. Не изменились потому уже, что претендовали на власть целиком, ни с кем не собираясь делить ее. В первых числах января член Реввоенсовета 14-й армии Серго Орджоникидзе отстучал в ЦК РКП(б) и в редакции крупнейших столичных газет озабоченную телеграмму: «В центральной печати, особенно в „Бедноте“ подчеркивается роль Махно в восстании масс на Украине против Деникина. Считаем необходимым сказать, что такая популяризация имени Махно, который по-прежнему враждебно настроен против советской власти, влечет за собой в рядах армии нежелательные симпатии к Махно. Особенно опасна такая популяризация при нашем продвижении в повстанческий район. Фактически – Махно не руководитель восстания; народные массы в целом восстают против Деникина за советскую власть» (59, 181).

Телеграмма носила явно директивный характер. Обвинение Махно во враждебном отношении к советской власти (как власти Советов, а не большевиков) по крайней мере смешно. Какую роль играл он в крестьянском восстании, показал потом большевикам 1920 год. Но это на самом деле и не имело для них значения. Деникин достаточно ожесточил и напугал крестьян, чтобы они восприняли большевиков как «освободителей».

Еще в декабре 1919 года на VIII конференции РКП(б) видный деятель украинского ЦК партии Я. А. Яковлев наметил контуры стратегического подхода к «союзникам» типа Махно: ликвидировать. «Ликвидировать все банды и те повстанческие организации, которые сегодня бьют Деникина и которые завтра будут гораздо опаснее для нас. Никакого чувства благодарности по отношению к ним быть не может. Здесь один путь, путь беспощадности, самой решительной ликвидации этих отрядов…» (12, 145). Тут даже нечего добавить, кроме, разве, того, что Сталин знал, кого назначить наркомом-коллективизатором…

4 января командарм—14 Уборевич издал секретный приказ, предписывающий «принять все меры к разоружению населения и уничтожению банд Махно» (94, 212). Как видим, политически,

терминологически даже, все уже было готово для наступления на повстанчество. Однако приказ некоторое время сохранялся в секрете: для начала открытых боевых действий против Махно нужен был предлог. Его не пришлось ждать слишком долго.

7 января Реввоенсовет Повстанческой армии выпустил декларацию, которую большевики не могли воспринять иначе как попытку вырвать у них политическую инициативу и провозгласить собственные принципы обустройства жизни на освобожденной от деникинцев Украине. Это была, конечно, колоссальная дерзость. Одного лишь обращения – «ко всем рабочим и крестьянам Украины» – с предписанием прочесть воззвание во всех уездах, на всех заводах и фабриках и, так или иначе, довести его до сведения каждого человека – было достаточно для того, чтобы вызвать гневный столбняк у партии большевиков. По существу, за год до Кронштадта в декларации были сформулированы все основные постулаты ненавистной большевикам ереси – «за Советы без коммунистов», – о которой даже между своими позволительно было говорить лишь при закрытых дверях… А махновцы силились выкрикнуть еретические положения на всю Украину, более того: обращались непосредственно к грядущему Всеукраинскому съезду Советов, выражая надежду, что он не наденет народу на шею новое ярмо большевистской власти, а будет руководствоваться принципами свободы и здравомыслия. Что же содержалось в декларации Реввоенсовета Повстанческой армии: все распоряжения деникинских властей и распоряжения большевистских властей, противоречащие «интересам народа», объявлялись отмененными; земля и инвентарь крупных землевладельцев и кулаков должны были перейти в руки крестьян, живущих своим трудом; размеры наделов и сроки наделения землей должны были определяться на местах самими крестьянами; шахты, заводы, фабрики, рудники объявлялись собственностью рабочего класса, «который при посредстве профсоюзов берет в руки все производство, организует общественное разделение труда» (94, 209);

в политическую структуру закладывались «вольные советы», которые махновцам виделись прежде всего беспартийными: в эти советы они предлагали избирать собственно трудящихся, а не партийных выдвиженцев, чтобы «советы рабочих и крестьян» не превратились в «советы депутатов партий»;

существование чрезвычаек, ревкомов и других репрессивных органов объявлялось недопустимым при строе «вольных советов»;

право трудящихся на свободу собраний, слова и организаций полагалось их естественным правом, а нарушение этого права – контрреволюцией;

также объявлялось, что все, кто будет препятствовать распространению воззвания, будут считаться контрреволюционерами.

Надо сразу сказать, что широкого распространения воззвание не получило – ни в 1919 году, ни позже. Из всех книг по махновщине оно упоминается только в книге А. Скирда, который знакомился с оригиналом декларации в Международном институте общественной истории в Амстердаме. У махновцев не было способов широко оповестить население о своей программе. В этом смысле они проиграли еще одну войну – информационную.

Однако в любом случае попытка выступить с программой, подобным образом «корректирующей» представления большевистских вождей о революции и народовластии, так просто с рук сойти не могла. Ярость, которую вызвала у большевиков записка, объяснима: ничто так не раздражает ортодокса, как самонадеянность другого самостоятельно трактовать священные письмена революции.

Ответные меры должны были последовать незамедлительно. Они и последовали. Никто из большевистских иерархов, естественно, не опустился до политических переговоров с руководителями повстанцев. Зато на следующий же день после выхода декларации, 8 января, штаб махновцев в Александровске получил из Екатеринослава приказ командования 14-й армии: немедленно двинуть Повстанческую армию на польский фронт по маршруту Александрия—Чернигов—Ковель.

Крупномасштабные боевые действия против поляков, втихую отхвативших себе в 1919 году целые области Украины и Белоруссии, не могли не начаться: поляков натравливали французы, а большевикам Польша казалась пучком соломы, при помощи которого можно запалить огнем революции всю Европу. Вялая война тлела уже давно, и теперь обе стороны хотели довести ее до конца.

Естественно, что для махновцев приказ командарма Уборевича был неожиданным и оскорбительным. Ни Уборевичу, ни любому другому красному командарму формирования махновцев не подчинялись ни формально, ни фактически. Кроме того, красное командование должно было знать, что остатки армии, измученные боями и эпидемиями, нуждаются хотя бы в отдыхе. Ясно было, что партизан хотят во что бы то ни стало оторвать от своего района и бросить на поляков, а не, скажем, на Крым или на Кавказ. Естественно было предположить, что приказ является не более чем провокацией: в случае исполнения его махновцы, признав над собою власть красного командования,

превращались в штатную боевую единицу РККА, ни к какой «политике» более не причастную. В случае неисполнения – должны были последовать какие-то меры. Нет сомнения, что махновцы понимали это. Однако после полугода боев под черным знаменем, ведущихся на свой страх и риск за свое дело, принять приказ в такой форме они не могли.

Большевики также знали это. Командарм—14 Уборевич, объясняя смысл приказа И. Э. Якиру, в разговоре по прямому проводу намекнул: «Соответствующее отношение Махно к этому приказу даст нам возможность иметь определенный материал для нашего дальнейшего поведения». Якир, под командой которого в свое время была взбунтовавшаяся летом 58-я дивизия, переметнувшаяся к Махно, прямодушно ответил: «Я лично, зная Махно, полагаю, что он ни в коем случае не согласится». Уборевич разъяснил: «Приказ является известным политическим маневром, и только, мы меньше всего рассчитываем на положительные результаты в смысле его выполнения Махно…» (69, 52). Совершенно ясно, что приказ не был частной инициативой командарма Уборевича, а являлся замыслом более высокопоставленного провокатора. Кто он – един или во многих лицах? – мы не знаем. Ясно лишь, что провокатор этот ясно отдавал себе отчет в том, что есть вещи более могущественные, нежели логика и здравый смысл, – есть тайное достоинство воина и психология независимого борца, которая не позволит махновцам принять эту оскорбительную директиву.

На приказ Уборевича Реввоенсовет махновцев ответил незамедлительно. В ответе указывалось, что Повстанческая армия оперативно не подчиняется командованию 14-й армии, но революционность свою доказала в ходе многомесячных боев с Деникиным. Выступление на польский фронт невозможно, ибо «50 % бойцов, весь штаб и командующий армией больны тифом» (2, 157–158). В конце содержался призыв к солдатам Красной армии не поддаваться на провокации командного состава и не начинать братоубийственной войны.

Ответ полностью удовлетворил большевиков. Во-первых, он давал повод обвинить Махно в непокорстве, а во-вторых, из него как будто явствовало, что крупное партизанское соединение в 9 тысяч человек, сосредоточившееся, по слухам, в районе Александровска, фактически небоеспособно.

9 января в переговорах с махновцами была поставлена точка: Всеукраинский ревком в лице Г. И. Петровского, Д. З. Мануильского, В. П. Затонского, Г. Ф. Гринько и других объявил Махно и махновцев вне закона. Начиналось воззвание с откровенной лжи, заканчивалось откровенной гнусностью.

«Товарищи! Наконец, после невероятных тяжелых жертв нашей доблестной Красной Армии удалось разбить помещиков и капиталистов и их приказчика Деникина. Но главный враг украинского народа – польские паны – еще не разбиты…»

Далее – в том же духе до слов: «Но Махно не подчинился воле Красной Армии, отказался выступить против поляков, объявив войну нашей освободительнице Рабоче-Крестьянской Красной Армии…» Поистине, судьба издевалась над неудавшимся физиком В. П. Затонским, ставшим волею случая государственным деятелем: в который раз уже он прилагал полномочное усилие к уничтожению человека, которого когда-то лично снабдил подложным паспортом для нелегального проникновения на Украину! В 1938 году и сам Владимир Петрович познал горечь предательства и неотступности смерти, появляющейся сначала в виде невинного росчерка на бумаге. Вспоминал ли он тех, кому вот так же, в обтекаемых формулах, подписывал de facto смертный приговор?

Бессмысленный, риторический вопрос. Но, действительно, порой хотелось бы знать…

«…Махно и его группа предали украинский народ польским панам подобно Григорьеву, Петлюре и другим предателям Украинского Народа.

Поэтому Всеукраинский Революционный Комитет постановляет:

1. Махно со своей группой объявляются вне закона как дезертиры и предатели.

2. Все, поддерживающие и укрывающие этих изменников украинского народа, будут беспощадно истреблены.

3. Трудовое население Украины обязуется всячески поддерживать Красную Армию в деле уничтожения предателей махновцев…» (12, 236).

Это был большевистский ответ по существу дела на декларацию Реввоенсовета Повстанческой армии. В тот же день, 9 января, бригада Ф. Левензона и войска 41-й дивизии, совместно с махновцами занимавшие Александровск, сделали попытку захватить штаб Махно, расположившийся в лучшей гостинице города, и внезапным налетом разгромить части, расквартированные в пригороде. Махновцы не ждали удара. За несколько дней до этого состоялось совместное совещание повстанческого штаба с командирами Красной армии, и, хотя политические разногласия неизбежно вылезли, Семен Каретников прямо говорил Левензону, что повстанцы готовы вместе с красными ударить на белых на подходящем боевом участке, но только не под Ковелем. При чем тут поляки? Беседа казалась

дружеской. Каретников не знал, что после совещания значительная часть красных командиров предложила попросту перебить махновскую верхушку, но осторожный комдив Якир приказал обождать, предпочитая, чтобы прозвучало внятное указание сверху. Когда же приказание прозвучало, захватить махновцев все-таки не удалось: повстанческие части были рассеяны неожиданной атакой, но никто из руководителей не был схвачен. Штаб прорубился из города вместе с «батькиной сотней», а сам Махно выехал из города на телеге, переодевшись в крестьянское платье, никем не заподозренный…

Ф. Левензон отрапортовал, что вместе с Махно ушло в район Гуляй-Поля ничтожное число людей – всего около 300 человек. Повстанческой армии больше не существовало.

В середине января в Кривом Роге был арестован заболевший тифом Волин.

31 января оперсводка 13А информировала о ликвидации последних махновцев в районе Гуляй-Поля. Сообщалось о трофеях: 13 орудий, 8 пулеметов, 120 винтовок, 60 лошадей, 50 седел, полевой телефон, 100 сабель, 4 пишущие машинки и 300 пленных. Это было все, что осталось от махновской армии, не угодной ни белым, ни большевикам…

Любопытства ради я посмотрел, что делал в эти дни Ленин – 7, 8, 9 января или, к примеру, 31-го. Ведь должны же ему были что-то доложить о Махно, тот все-таки достаточно тревожащей был фигурой… Но тревоги Ленина ничто не выявляло: он проворачивает кучу государственных дел, получает новый партбилет, ездит в Горки, реагирует на жалобы Затонского о злокозненных действиях украинских левых эсеров, читает политсводки РВС республики, интересуется донесениями Сталина об обнаруженных в Донбассе запасах угля – но махновщина абсолютно вне сферы его внимания. Крестьянские брожения отданы на откуп деятелям иного партийного ранга – Х. Раковскому, В. Затонскому, Я. Яковлеву. Не думаю, что это случайность: вообще, шевелениям крестьянства Ленин не придавал большого значения, для него это класс, которому в истории Нового времени отведена лишь страдательная роль. Забеспокоился он, пожалуй, лишь в середине 1920 года, когда безжалостные крестьянские войны стали угрожать самому существованию советской государственности. Пока же исторический процесс протекал целесообразно и закономерно. Беспокоиться было не о чем. С махновщиной было покончено навсегда: оставалась лишь доводка, скучная и грязная отделочная работа после мастерски разыгранной политической партии. Настала очередь карательных отрядов, ЧК. Террор уже был

отлаженной машиной, полностью регулирующей жизнь тыла. Да и армии тоже. С 1917 года Красная армия очень изменилась. Время революционного романтизма безвозвратно прошло. К 1920 году армия была уже достаточно сложным военно-бюрократическим механизмом, в котором перемалывалась и ломалась индивидуальная воля миллионов мобилизованных или пришедших служить добровольно, выпихнутых в войну безнадежностью и нищетой. Эту махину надо было удержать в узде, заставить драться против нужного врага, не дать развиваться самовольству…

Вторжение в партизанский район чревато было разными неприятностями и самовольством в первую голову. Поэтому приняты были превентивные меры: до того вплоть, что запрещено было принимать в Красную армию добровольцев – в одиночку и группами. А желающие послужить делу революции должны были сначала отстояться в тыловых частях, пройти переформирование, смешаться в равной пропорции с мужиками из разных губерний и уж затем – пущены в дело. В отношении же самостоятельных формирований наркомвоенмор Троцкий дал разъяснение, что за неподчинение и своеволие они должны быть подвергнуты расправе.

Слово «расправа», словно бы извлеченное из бумаг судебного приказа допетровского времени, странновато звучит в устах пламенного революционера XX века тов. Троцкого. Однако именно эта мертвечина в языке, эта неспародированная серьезность кафкианского бюрократа дают нам пищу для новых размышлений о личности тов. Троцкого (в частности) и о настроениях в верхних эшелонах власти (вообще). Цитирую: «Причины расправы должны быть понятны каждому рабочему, крестьянину или красноармейцу. Соответствующий приказ разъяснительного характера должен быть заранее своевременно отпечатан в соответствующем количестве экземпляров. Для учинения расправы должны быть назначены вполне и безусловно надежные части. Разоружение, следствие и расправа должны совершаться в кратчайший срок, по возможности не дольше 24 часов. Самой строгой каре подвергать командный состав и кулацкие верхи отряда…» (12, 146). Все делово, серьезно, как у Угрюм-Бурчеева. С той лишь разницей, что это не литература. И с той оговоркой, что прикрытие пролетарской идеей – против кулаков – не может скрыть чисто карательного, «на уничтожение», направления приказа. «Бей всех, кто не согнулся в три погибели» – вот смысл пожелания тов. Троцкого, высказанного в приемлемой для государственного человека форме. Однако верноподданные поняли тайную мысль вождя.

В анонимном свидетельстве «старого большевика-ленинца», изданном в Париже в 1970 году, рассказан потрясающий эпизод о том, как один из карателей, Жлоба – бывший донецкий шахтер, ставший партийным активистом, взял в Синельникове сто заложников из числа чуждого рабочему классу элемента: священников, богатых крестьян, торговцев. Будучи препровожденными в ЧК, заложники узнали, что они обязаны указать, где скрываются руководители банды, в противном случае 25 из них будут немедленно расстреляны. Не привыкшие к столь крутой постановке вопроса, заложники молчали, ибо никто из них ничего не знал ни о банде, ни о ее руководителях. Первые по списку 25 человек были названы пофамильно и расстреляны на глазах у остальных.

Трупы убитых – широкий жест! – были без проволочек выданы родственникам. На второй и на третий день допрос продолжался с тем же результатом. Наконец, на четвертый день оставшиеся в живых последние двадцать пять заложников на тупо повторенный вопрос, известны ли им агенты махновцев, наперебой загомонили, что таковые им известны в органах советской власти и в руководстве партии: в частности, это председатель городского Совета, секретарь городского комитета партии и сплотившиеся вокруг них враги советской власти… Неизвестно, остались ли в живых заложники, но названные руководители, по воспоминаниям «старого большевика-ленинца», были расстреляны как махновские агенты (94, 127).

Возможно, Сталин еще не знал, что машина террора отлажена для него, как часовой механизм. Но об этом уже знал Жлоба, буревестник большого террора.

ДВАДЦАТЫЙ ГОД

Зимой 1920 года Лева Задов вместе с братом Данькой из опустевшего повстанческого района тихонечко двинул в выстуженный, мертвый, охолоделый город Юзовка (Донецк), чтобы там, посовещавшись с родней, решить, как жить по-новому. Ибо казалось тогда – самому Левке Задову казалось, – что махновщина иссякла, и, что бы там ни было в прошлом, надо опять пристраиваться к жизни и искать, пожалуй, путь возвращения в Красную армию… В середине февраля Махно сломал сыпной тиф. Его увезли в Дибривку, оттуда – на хутор Белый, отстоящий от нее в пяти верстах. При нем оставалось лишь несколько человек охраны. Десять дней батька был без сознания. Никто не знал, где он. Вряд ли и он сам осознавал, где он. Вновь поползли слухи о его смерти…

Почему он выжил? Вернее так: для чего? Вся штука в том, что в принципе Махно был обречен на гибель, на смерть – от пули, от подосланного убийцы, от болезни. Все это было в его биографии. Но История его сохранила. Он один среди предводителей крупных антибольшевистских мятежей остался в живых. Что хотела сказать беспощадная насмешница История, возвращая изорванного тифом батьку на сцену Гражданской войны? Почему не дала ему тихо умереть на хуторе Белом, а вновь выволокла из-за кулис и вывалила на сцену, на арену, как умирающего гладиатора? Как римский центурион, знающий толк в военном деле, хладнокровно следит она за боем и, лишь когда трупы убитых замирают на арене и последний оставшийся в живых раб, израненный и забрызганный кровью, невидящими глазами обводит амфитеатр, чтобы узнать приговор поверженному врагу, она произносит: «Кто бы он ни был – добей его!» История не знает жалости. Гражданская война, начинаясь как драматическая битва за правое дело (всеми без исключения сторонами), доводит сражающихся до таких пределов жестокости, предательства и опустошения, что, возможно, и прекращается потому лишь, что долгое существование в поле раскаленной ненависти невозможно для человека. Но именно туда, в полымя ненависти и гибели, готовилась вернуть История выздоравливающего Махно. Еще должен был состояться последний бой. Лишь после него энергия войны иссякает, как энергия вулканического извержения, и на конусе огнедышащего вулкана вновь вырастают кустарники и травы.

Для этого нужно только время. Мне врезалась в память одна фотография 1921 года: на фоне обугливших остатков дома –

крестьянская семья. На первом плане, почти во всю длину снимка, распростерто тело умирающего или уже мертвого мужика в холщовых штанах и рубахе. Голые ноги и кисти больших рук его неимоверно худы, лицо бескровно и сурово, как иконописный лик псковского письма. Глаза закрыты. Над ним жена и дети – в позах, выражающих полное отчаяние.

Это и есть конец Гражданской войны. Конец всех иллюзий, конец веры во все слова, во все лозунги, конец любви, семьи, быта, крова – и конец ненависти, ибо ненависть больше ни к чему, ничего ею нельзя поправить. Двадцатый год еще не истощил до конца великую страну. В ней еще жила страсть – колючий, неистовый, разрушающий дух борьбы каждого за свое право.

Когда-то, задолго до революции, Кропоткин в книге «Идеалы и действительность в русской литературе» пытался осмыслить загадку истории, над которой размышлял и Толстой – устами своего любимого героя, Платона Каратаева. Кропоткин пишет: «Он (Каратаев) прекрасно знает, что бывают такие естественные несчастья, которые… являются неизбежными последствиями гораздо более великого события, т. е. вооруженного столкновения народов, которое, раз начавшись, должно развиваться со всеми возмутительными и вместе с тем совершенно неизбежными своими последствиями» (39, 420). В 1920-м клубок возмутительных и неизбежных последствий 1917-го еще не размотался до конца: процессы, которые в обычное время занимали бы десятилетия, в спрессованном времени революции шли с колоссальными, брызжущими кровью перегрузками. Что же происходило?

Чтобы понять, почувствовать этот неуловимый, ускользающий, промежуточный год, когда смыслы прошлого почти уже иссякли, а смыслы будущего еще не набрали силы, можно попробовать рассечь его в нескольких плоскостях и, вглядываясь в рисунки тонких срезов времени, попытаться различить какие-то важные его черты в сопоставлении событий или в перипетиях отдельных человеческих судеб.

С точки зрения военной двадцатый год был очень динамичен. Крах Колчака, крах Деникина, начало и конец врангелевской эпопеи, начало и конец советско-польской войны – все это укладывается в этот короткий промежуток времени. Формируется советская военная элита. Из пятерки первых красных маршалов Егоров в 1920 году уже выдвинулся в первые ряды (командующий фронтом), Тухачевский тоже командовал фронтом, Блюхер еще не вызрел – в 1920-м командовал еще только Перекопской ударной группой, Буденный предводительствовал Первой конной,

Ворошилов был у него в Реввоенсовете. Последние двое оказались первыми уже в тридцатые годы, в двадцатом их имена значили, в общем, не больше, чем имена прочих командармов, отличившихся при сокрушении белых. 1920 год – звездный час главкома С. С. Каменева и М. В. Фрунзе, который из далекого Туркестана был вызван в центр, чтобы принять Южный фронт, возглавив операции против главного врага Страны Советов – генерала Врангеля. В подчинении Фрунзе безусловные военные таланты – командармы А. Корк и Р. Эйдеман, у Фрунзе – 2-я Конная опального командарма Ф. Миронова, который, несмотря на свое романтическое бунтарство, больше подходящее для 1917 года, все же продержался на командных должностях до 1921-го… Из тех, кто не был репрессирован в 1937-м и дожил до мировой войны, уже заметен был будущий маршал Тимошенко (в 1920 году командовал кавалерийской дивизией против Врангеля). Маршал Конев, напротив, совершенно неизвестен, будучи военкомом дивизии, которая где-то на востоке Сибири гонялась за белыми партизанами – Семеновым и Дитерихсом. В тех же глухих местах оперировал комкавполка Рокоссовский. Г. К. Жуков в 1920-м окончил кавалерийские курсы, командовал сначала взводом, потом эскадроном – на Южном фронте. Вполне могло случиться, что судьба столкнула бы его с Махно. Но вышло иначе: эскадрон Жукова был брошен против Антонова… Но если для одних 1920 год был годом начала, годом, когда формировался стержень жизненной биографии, то для других, с неменьшим основанием – это год конца, год распада, год догнивания последних надежд, последних помыслов. Год скитальчества, отчаяния, исхода – таким предстает 1920-й в книге В.В.Шульгина, которая так и названа: «1920».

Третий год голода.

Второй год тифа.

Засуха.

Летом по всей России в довершение к прочим бедам, причиненным войной, пошли лютые пожары. Горели Вязьма, Курск, Кострома. Страшный пожар был в Саратове. «В течение 6–8 часов сгорело 36 кварталов, пострадало от пожаров 25 тысяч жителей, много скота, много было человеческих жертв», – читаем в частном письме того времени. Горело всюду: изучая географию пожаров 1920 года, я поймал себя на том, что склонен приписывать разыгравшейся стихии огня какой-то мистический смысл. Будто природе надоело безобразничание людей, и она, в свою очередь, разнуздала стихии, своими средствами доводя до крайности, до абсурда, картину учиненного людьми разрушения. Язычники верили, что происходящее в душе человека связано с

тем, что происходит в природе. Может быть, в этом больше смысла, чем мы привыкли думать. И вполне может статься, что люди 1920 года чувствовали это. Какая-то неизъяснимая горечь слышится в словах простых людей, которым эти пожары рушили всю привычную жизнь. Бельск, август 1920-го: «У нас пожары все лето, сгорели все леса, и ветер дул на нашу деревню, она вся сгорела, ужасный пожар, такого еще никто не видел». Костромская губерния, тот же август: «Юрьевец кругом в пожарах. Сгорели леса, поля и хлеб. Крестьяне остались без хлеба». Курск, сентябрь: «Был очень большой пожар, сгорело около 100 домов и казенный дом, где было много скота. Отчего произошел пожар, никто не знает» (78, оп. 1, д. 16, л. 6).

«Такого никто не видел», «никто не знает» – какое-то наивное удивление испытывает человек пред этой чрезмерностью ужасного, по сравнению с которой все политические обольщения прошлых лет и порожденные ими политические катаклизмы выглядят сущим мельтешением… Уже в этих строчках прочитывается «довольно, хватит», но еще слишком тихо звучат эти голоса, еще не набрали они силы.

Летом – эпидемия холеры.

Массовое дезертирство из армии.

Почти первобытное запустение: в Петрограде Блок по две недели не может писать из-за отсутствия света. Нет ни электричества, ни свечей, ни керосина. Впрочем, Блок и не пишет, он потихонечку сходит с ума, ему все тягостнее окружающее, он все глубже, все внимательнее всматривается в колодец смерти. Но о Блоке потом, отдельно. Еще надо просмотреть главные работы Ленина, пролистать бесконечное количество записочек, которые вождь мировой революции писал то одному, то другому своему соратнику, требуя радикально разобраться с неубывающими в советской республике беспорядками. В записочках можно обнаружить то, что не видно в больших работах: гневливую раздражительность этим нерационально большим количеством сбоев в планомерных государственных делах. И, вместе с тем, – совершенную уверенность в том, что Историей можно управлять, как автомобилем, была бы только тверда рука, держащая руль… Именно в 1920-м с Лениным встретился знаменитый писатель-фантаст Герберт Уэллс, после этой встречи написавший очерк «Россия во мгле», где Ленин задиристо, но как-то чрезвычайно поверхностно поименован «кремлевским мечтателем». Интересно, что либерал Уэллс, побывав в красной России, не разглядел кровавой и растлевающей сути большевистской диктатуры, что Ленин для него – лишь прекраснодушный «мечтатель», что наиболее трудновыполнимой кажется английскому писателю

именно прикладная, техническая задача: осветить эту нищую, темную, как тайга, страну. Ленин, как известно, рассказывал Уэллсу о плане ГОЭЛРО.

План электрификации России в 1920 году был не более чем планом, но он существовал и был утвержден как правительственная программа. Именно в этом году И. Г. Александров предложил построить гигантскую электростанцию на Днепре, в районе днепровских порогов, возле селения Кичкас, тогда находившегося в самом пекле махновщины. Тогда большая стройка в самом деле казалась фантастической. Однако, когда Уэллс через 14 лет приехал в Россию, Днепрогэс уже был построен, что, казалось, красноречивее всяких слов опровергало аргументы англичанина в давнишнем споре с Лениным.

В 1920 году Ленину исполнилось 50 лет. Маяковский посвятил юбилею стихотворение «Владимир Ильич!», прочитанное им публично в Московском доме печати. Поэт, однако, увидел в Ленине совсем не то, что увидел Уэллс. Стихотворение Маяковского глубоко и искренне восторженно, как и многое из того, что им создано. Для него рождение Ленина – событие планетарного масштаба, как бы приращение головы к телу бессмысленной, хаотически дергающейся человеческой материи. Является Ленин – и планеты садятся на оси. Появляется целесообразность. Теперь все ясно: мети!

…Ноги знают
чьими
трупами
им идти…

И руки знают, кого им «крыть смертельным дождем». Но если команды топтать трупы и крыть из пулемета отдает голова, то это голова не убийцы ли? В целом Маяковский не рефлексирует по этому поводу. Война – значит, убивать нужно. Важно лишь знать – кого. Ленин указывает врага, которого поэт потом окарикатуривает и выставляет в окнах телеграфного агентства народу на оплевание. Ленин – не мечтатель, Ленин – бомба, снаряд со смертельной начинкой:

…Пожарами землю дымя,
Везде,
где народ испленен,
взрывается
бомбой
имя:

Ленин!
Ленин!
Ленин!

Маяковский упивается мрачной романтикой классовых битв настолько, что, кажется, не понимает, что его стихи по-настоящему страшны. В них кровь, в них ужас 1919 года, доведенное до бесчувственности ожесточение войны, заложники, зверства ЧК… В 1920 году Дзержинский отменил бессудные расстрелы в ВЧК. Не в том дело, что мера эта недолго продержалась и на местах не переставала оставаться словесной декларацией – уже в феврале 1920-го на Украине в «махновском» районе практиковались массовые расстрелы, – а в том, что голос возмущения все-таки прозвучал, что было поползновение к некоторому смягчению режима.

Кстати, именно на двадцатый год приходится наибольшая активность группы «демократического централизма» – одной из самых интересных, хотя и мало известных «оппозиций» в РКП(б). Лидер «децистов» Тимофей Сапронов был выходцем из самых низов, из какой-то полукрестьянской семьи, но он реальный был рабочий, строитель, а не партиец-профессионал, вышколенный на бесконечных съездах, поэтому, когда партия избрала курс беспощадства и воинской рутинной дисциплины, он забрыкался и понес общеизвестную крамолу: «борьба против главкистского бюрократизма», свобода фракций, власть – Советам. Сапроновцев осудил IX партийный съезд, но они упрямствовали, примкнули к «Рабочей оппозиции», которая выдвинула, по сути, те же лозунги, которые сторонниками генеральной линии на следующем, X съезде РКП(б) в 1921 году были безошибочно квалифицированы как мелкобуржуазные, ибо они исходили не из логики классовой борьбы, а из интуитивного ощущения, что нельзя больше жить в такой душиловке и ожесточении. «Рабочую оппозицию» на съезде, как известно, забаллотировали, специальной резолюцией фракции в партии были запрещены навсегда, а группа Сапронова – исключена из рядов как антипартийная и неисправимая. Потом все, как водится, утряслось, и Сапронова не забыли, восстановили, перемололи на партийной мельнице (чтобы затем, как и положено, расстрелять в 1937 году), но в 1920-м какое-то еще оставалось внутрипартийное свободомыслие, еще могла возникнуть идейная борьба, какие-то, пусть небогатые, варианты оставались у Истории, несмотря на все попытки загнать ее в искусственное русло.

В 1920-м все-таки были надежды, что, вот, кончится война – и

не нужно будет больше крови и жестокости, все образуется по-человечески.

Кто-то раньше других ощутил, что этого не будет. Именно тогда уехали за границу И. Бунин, Д. Мережковский, З. Гиппиус. Деление по принципу «красные» – «белые» давно закончилось. Начиналось все более тонкое расщепление на «своих» и «чужих» меж теми, кто остался в красном стане. Не столько по классовому признаку даже, сколько по складу ума, по стилю жизни. Еще не дошло до «парохода философов», насильно высланных в 1922 году. Но дошло, например, до церкви. В 1920 году декретом СНК была национализирована Троице-Сергиева лавра. Патриарх Тихон просил о свидании с Лениным, надеясь разъяснить, почему нельзя и невозможно так делать. Ему ответили, что председатель Совета народных комиссаров ни сейчас, ни впредь не будет иметь времени для встречи с ним вследствие занятости более важными делами…

Наступало время «лишних» людей, которые с их излишними заботами должны были либо исчезнуть, либо перестроиться и присягнуть. Лишним в новой России оказался В. В. Розанов – он умер от истощения в 1919 году. Многие поняли, что «лишний» – значит «обреченный», и попытались спастись. Пробрался на юг, к черноморским портам, крупнейший ученый, академик В. И. Вернадский. Он пробыл за границей очень недолго, уже в 1921-м вернулся в Россию, а вот сопровождавший его в скитаниях украинский сопроматчик С. П. Тимошенко добрался до США и основал там собственную школу. Отец физиологии И. П. Павлов тоже хотел эмигрировать, написал об этом Ленину. Нобелевский комитет, в свою очередь, подтвердил, что готов должным образом обеспечить работу нобелевского лауреата за границей.

Запахло, в некотором смысле, скандалом. Ленин распорядился удвоить Павлову академический паек и выделить средства на содержание института. Академик остался. Тогда в Петрограде родилась знаменитая шуточка о том, как кто-то из собратьев по науке встретил Павлова на улице и попросил: Иван Петрович, возьмите меня к себе в институт…

– Кем?

– Да хоть собакой…

В Петрограде было хуже, чем в Москве. Он был выстужен, как железная бочка. Абрам Федорович Иоффе, директор Политехнического, избранный в 1920 году академиком, не мог, несмотря даже на это, предохранить своих сотрудников от ужасов окружающего. У Петра Леонидовича Капицы, двадцатишестилетнего гения, крысы съели сына в родильном доме. Сосновый лес, окружавший Политехнический институт, был

вырублен на дрова еще минувшей зимой. Трудно поверить, что в этих условиях ставились эксперименты, подобные тому, о результатах которого А. Ф. Иоффе писал в июле 1920 года физику Паулю Эренфесту в Голландию: «С Капицей мы наблюдаем явление Эйнштейна и де Гаазе в пустоте без всякого поля при размагничивании никеля (при 350 °С). Сейчас изучаем скорости молекул по методу Физо в пустоте… Любопытные результаты дают рентгенограммы металлов…»

Июль 1920-го, когда писалось письмо, – это разгар польской войны, отчаянные попытки врангелевцев развить наступление из Крыма, рейды Махно в тылу Красной армии. А тут – изучение скорости молекул по методу Физо… Трудно поверить, что это – одновременно.

В московском ЦАГИ у Жуковского построена аэродинамическая труба. Сам Жуковский доживал последний год жизни и делать практически ничего уже не мог. Но у Жуковского работал Фридрих Цандер, который потом построил первую настоящую ракету… Сохранилась фотография Цандера 1920 года – он сидит за рабочим столом на стуле. Нога на ногу. Светлые носки съехали вниз гармошкой, парусиновые туфли, аккуратный, но сильно поношенный костюм, белый воротничок рубахи. И лицо. Повернутый к нам ясный, спокойный лик человека, глубоко погруженного в свои раздумья. В руках – книга. В марте 1920-го в чертежах Цандера появляются две схемы крылатых ракет…

В выкладываемой нами мозаике года много несостыковок, противоречий – и это неизбежно: извержение исторического времени происходило неравномерно, с разной скоростью текли его потоки. Возможно, что Цандер и Махно вообще существовали в разном времени, произвольно объединенном хронологией 1920 года.

А Блок? А Есенин? А Маяковский? Ими «пограничность», «край» времени должны были, наверное, ощущаться особенно остро?

Конечно.

Для Блока в 1920 году время иссякло, для Маяковского – бурлило и билось, как молодая пенная кровь. Блок спрашивал молодого Корнея Чуковского, быть может, втайне надеясь, что тот опровергнет его:

– Все звуки кончились. Разве вы не слышите, что никаких звуков нет?

Чуковский, кажется, промолчал. Он носился из редакции в редакцию, чтобы заработать на еду. А Маяковский делал сотни подписей и картинок для «Окон РОСТА», он работал как машина, все вокруг него гремело артиллерийским гулом и орало трубным

гласом кустодиевского большевика: «Гражданин! Красноармейцу холодно…» «Товарищ! Голодает зачастую твой защитник…» По агиткам Маяковского можно узнать, как шли дела на польском фронте, и как на врангелевском, и как заворачивалась хлебная кампания, и про дезертирство, и про заготовку башмаков у населения, и про то даже, что «всего у нас 38 тысяч телефонных аппаратов». Думаю, Маяковскому можно верить – в конце концов, это официальная статистика.

А еще было античное коктебельское время Волошина, который в нем, в этом времени, пытался спрятать своих друзей 1920 года.

И нервное – на краю гигантской истерики – время Есенина.

И хотя слишком пространные отступления все дальше уводят нас от темы, мозаика 1920 года будет зиять чудовищными дырами, если не обмолвиться хотя бы кратко о нескольких именах. Имена эти выбраны произвольно, по принципу личного предпочтения: мне кажется, что в судьбах упомянутых мною людей как-то особенно преломляется свет года. Это субъективное видение, но иного у меня нет.

Велимир Хлебников: как и Маяковский, работает в «Окнах РОСТА», только в Пятигорске, а потом в Баку. В своей серьезной (возведенной в принцип) беспечности гения дрейфует на юг, где-то на берегу Каспия выдирая из знаменитого гроссбуха со стихами несколько страниц, помогает рыбакам разжечь костер… Пред ним первобытная земля, первобытная, живая, клокочущая история, покачнувшая целый мир, первобытная усталость.

> …В бреду – холод цыганский,
> А я куда-то бреду и бреду
> Канта учить по-табасарански…

Соприкосновение Канта и табасаранцев – маленького южнодагестанского народа – для него поэтическая и историческая метафора колоссальной силы, едва ли не магический знак. Как прозвучит по-табасарански категорический императив Канта? Как «мир вашему дому»? Как магометанская молитва? Как выстрел?

Изгой империи и юродивый культуры, он вдруг становится соучастником и сотворцом грозных событий:

> …Пали цари, но гордо стояли утесы войны…

Война, текучесть и неустойчивость мира, романтические надежды, обнажение естественного (и доброго, и злого – но

невыдуманного) в человеке – его стихия. Как только мир остановится, он умрет, так не увидев своего «Солнцестана». Да и вряд ли его бродячая душа смогла бы обрести в нем покой…

Еще один утопист двадцатого года – Андрей Платонов. Он только еще зарождался как писатель в родном Воронеже, ему всего 21 год, он еще называется «рабочим», хотя уже заведует отделом писем в газете… Его очерки того времени поражают: они написаны, безусловно, Платоновым, но как бы с чужого голоса, с чужого ума. Во всяком случае, совсем не тем человеком, который благодаря своей сверхъестественной интуиции каким-то священным пророческим языком набормотал «Котлован» и «Чевенгур».

Он полон ясного ожидания светлого будущего. Он, вообще, доверчив. «Ленин – это редкий, быть может, единственный человек в мире, – пишет он в 1920 году в очерке „Ленин“. – … Главное в Ленине (за что и полюбили мы его так, когда поближе узнали) это – что он вперед понимал и высказал тайную, еще не родившуюся мысль, сокровенное желание миллионов трудового народа и вынес в свет общего сознания то, чего все хотят, чего всем нужно…»

Чего же всем нужно? Движения жизни, правды, теплой, братской коллективности труда… Молодому Платонову хотелось именно это видеть в происходящем вокруг – и он это видел. Когда же ракурс его видения изменился, он увидел «Котлован». Для этого нужно было, чтобы прошло время и чтобы за это время не разложилась гордостью или самодовольством глаголющая человеческая душа.

Удивительнее всего в Платонове 1920 года то, что иногда этот почти мальчик, пишущий сознательным языком пролетария, начинает изъясняться от себя – не вполне прозрачным слогом, достойным средневековых мистиков, и тогда обнажается его не поддающаяся порче золотая душа:

«Безмолвие любви – последнее познание двух душ, что одно…»

«Женщина – тогда женщина, когда в ней живет вся совесть темного мира, его надежда стать совершенным, его смертная тоска…»

Откуда двадцатилетний мальчик узнал о «смертной тоске» мира?

Еще один срез времени: Марина Цветаева. В письме к сестре 1920 года о жизни своей так: «В феврале этого года умерла Ирина – от голоду – в приюте, за Москвой. Аля была сильно больна, но я ее отстояла… Ирине было почти три года – почти не говорила, производила тяжелое впечатление, все время раскачивалась и

пела. Слух и голос были изумительные. – Если найдется след С. – пиши, что от воспаления легких… Мы с Алей живем все там же, в столовой. (Остальное занято.) Дом разграблен и разгромлен. – Трущоба. Топим мебелью. – Пишу. – Не служу, ибо после смерти Ирины мне выхлопотали паек, дающий возможность жить. Служила когда-то 5½ мес. (в 1918 г.) – ушла, не смогла. – Лучше повеситься».

Когда сестра Цветаевой, Анастасия Ивановна, приехала в Москву в мае 1921 года, она Марину не узнала: та постарела, стала независимей (и уязвимей?): «Я очень очерствела – и не жалею». Цветаева жила в своей запустелой (и запущенной) квартире с жильцами-самогонщиками. С прошлым было покончено: семейное гнездо разорено, тарусский рояль продан за пуд черной муки, о муже она ничего не знала. Ей нравилось так жить, нравились и неприкаянность, и свобода, и ненужность прошлого, и любовная тоска – все то, что рождало фантастические, небывалые в русской литературе стихи, в которых яд, и мудрость, и мука женской любви, и неизъяснимая грусть свободы, иногда выпадающей на человеческую долю, – предельное, хирургическое какое-то обнажение сердца… Когда Анастасия Ивановна попыталась чуть-чуть изменить мир сестры, убрать хотя бы неустройство, выстирать рубашки и наволочки, вымыть посуду и паркет, Марина обиделась:

– Мне это совершенно не нужно…

Она охраняла свой мир, сад своих стихов, столь дивно плодоносящий на запустении 1920 года. Она и в этом противопоставляла себя устроившимся или откровенно, как Брюсов, продавшимся за пьедестал, за паек, за морфий. Она хранила, берегла запустение.

Это понятно. Но – ребенок?

Нам никогда не разгадать этой тайны до конца. Цветаева мучилась и искала себе оправдания. Находила: «Никто не помог! Когда умирала Ирина, бывшие друзья катались в колясках со своими дельцами… Была одна мороженая капуста. Чтобы детей взяли в красноармейский приют, я должна была подписать бумагу, что это беженские дети, что я их нашла у своей квартиры. Взяли, и там их кормили. Но Ирине уже было поздно…» (Из письма сестре.)

«Няня увозила два раза Ирину к себе в деревню, она оживала на хлебе, лепешках, на каком-то деревенском вареве, начинала ходить, говорить… Но долго она не могла держать ее там, возвращалась и привозила ее, и снова Ирина переставала ходить и говорить, сидя в коляске, и пела – у нее был удивительный слух… В приюте за Москвой я их навещала. Но когда Аля

заболела сразу тремя болезнями, мне пришлось ее взять… Спасти обеих я не могла – нечем было кормить, я выбрала старшую, более сильную, помочь ей выжить… В последний раз я видела Ирину в той большой, как сарай, комнате, она шла, покачиваясь, в длинном халате, горела лучина… В Москве я лечила Алю, топила буржуйку креслами красного дерева, она начала поправляться. И однажды в очереди за содой – мыла в Москве не было, я узнала от бабы, что Ирину накануне похоронили…» (Из письма сестре.)

Этот предсмертно поющий ребенок Цветаевой – тоже символ 1920 года.

Иногда мне в Цветаевой чудится что-то воистину зловещее. Вот словно дочка ее умерла, чтоб она могла написать:

Светлая – на шейке тоненькой —
Одуванчик на стебле!
Мной еще совсем не понято,
Что дитя мое в земле…

Одно стихотворение. А затем – каскад утонченнейшей любовной лирики… Понимаю, что кощунствую, но почему же (прости, Господи!) не уехала с детьми в деревню совсем, почему не устроилась как-нибудь?!

«Не смогла». Не могла жить, пригибаясь. Не умела. Не нам судить.

…Долг плясуна – не дрогнуть вдоль каната…

Цветаева не смогла служить, а Блок не смог жить. Если б его выпустили в начале двадцатого – ну, хотя бы «в Финляндию на лечение», как просили за него, – он бы выправился, наверное. Но ему не дали уехать: все-таки «Двенадцать» написал, неловко будет, если останется… Двадцатый год для Блока начинался вполне даже неплохо: в издательстве «Всемирная литература» он начал редактировать сочинения Лермонтова, написал предисловие к изданию, но предисловие вдруг отвергли. Блока восхищал Лермонтов-мистик, Лермонтов – первооткрыватель красок, символов и мятежного духа Кавказа, а у Блока попросили, соответственно новым веяниям, Лермонтова-обличителя, Лермонтова-Белинского. Блок замкнулся. С 1918 года он становился все более и более раздражительным (доходило до дневниковой мольбы к Богу избавить его от ненависти к соседу-буржуа). Теперь раздражение стали вызывать даже люди из

ближайшего окружения. На заседаниях редколлегии «Всемирки» он глухо молчал. Разговаривал только с Гумилевым. Об уехавших за границу соотечественниках говорил, не умея скрыть брезгливости…

В своих воспоминаниях К. И. Чуковский отмечает, что в 1920 году нервная чувствительность у Блока настолько обострилась, что присутствие нелюбимых людей вызывало у него физическую боль. Стоило кому-либо из таких людей войти—и на лицо Блока ложились «смертные тени» или оно начинало дрожать. Нелюбимых становилось все больше… Новое время беспощадно выпихивало его, последнего поэта-дворянина. Куда? В смерть. Блок знал, что революция будет. Пожалуй, что он даже ждал ее – в старом мире ему было невыносимо скучно. Он также чувствовал, что скорее всего погибнет, сгорит в ее огне. Ему виделись мрак, гибель, падающий демон с огненными крылами. Он не знал, что ему придется медленно доходить от сырости, холода, темноты, тупости, хамства. К гибели он был готов, к этому – нет.

Он впал в глубочайшую депрессию. Сам ничего не сочинял, редактировал переводы из Гейне, составлял каталоги для издательства Гржебина, писал рецензии на каких-то мельчайших поэтов… Надеялись, что поездка в Москву с публичным чтением стихов приободрит его, – но Москва, до безмозглости продутая «новыми веяниями», поэтически лязгающая и кричащая (футуризм), его добила. Ему не нужно было появляться перед большой аудиторией. Он появился.

Вероятно, на Блока пришли те, кто любил Блока. Но пришли и другие, имеющие кумиром «агитатора, горлана, главаря». Он лицом к лицу столкнулся с хамством – не поэтизированным хамством «двенадцати», а хамством настоящим, властным, всепроникающим, – и вновь не выдержал. Чуковский вспоминает два случая, которые подействовали на Блока, как нокаутирующие удары. Оба они известны, но от этого не становятся менее трагичными.

Однажды на выступлении Блока в Доме печати кто-то из зала выкрикнул:

– Что вы слушаете? Это стихи мертвеца!

Публика зароптала, но Блок был ранен в самое сердце. После выступления он наклонился к Чуковскому и тихо сказал:

– Он говорит правду: я умер…

Он чувствовал свою причастность к старому миру, нестыковку с новым, какую-то принципиальную разницу в способе прочтения мира между ним и аудиторией. Возможно, они попросту говорили на разных языках. Однажды он намеренно

подчеркнул это. Все восприняли как странность или как причуду. Но, кажется, это был бунт.

Последний бунт последнего поэта-дворянина.

Блок читал стихи, как вдруг лицо его стало подергиваться, и он прервал выступление и, ничего не объясняя, вышел за кулисы. Оказалось, что в зале – человек с шапкой в руках, вид которого просто растерзал Блока. Его стали уговаривать продолжить выступление, он отказывался. Чуковский пытался урезонить: ведь всего один человек…

Блок взглянул на него:

– Да там все они… в шапках.

В конце концов Блок все-таки появился на трибуне, но, к удивлению собравшихся, неожиданно стал читать по-латыни стихи Полициано. Он не желал более принадлежать современности…

В Москве уже стали случаться с Блоком странности: провалы в памяти, путаница в хронологии. Он явно выходил за рамки установившегося по календарю 1920 года, творил со временем что-то свое. Иногда лицо его безжизненно застывало, как маска. После Москвы он так и не оправился, постепенно уходя в смерть, в столь ненавистное и столь драгоценное прошлое…

Кажется, мы сказали достаточно о 1920 годе, чтобы немного почувствовать его. И в то же время мы сказали непростительно мало, обойдя вниманием десятки событий, документов, имен. Одно сказать – ни слова о Горьком, ни слова о Гумилеве и Ахматовой, ни слова о Булгакове, Ходасевиче, Короленко, ни слова о Петрове-Водкине и Филонове. Философов вообще забыли… Нам придется смириться с этим. Чтобы вернуться к нашей теме, нам остается сделать только одно обязательное отступление в 1920 год. В 1920 год Сергея Есенина.

Это последний год есенинской силы. Он ощущал себя главой новой поэтической школы, возвышающейся над профанным футуризмом. Он поразительно мало писал, но все написанное им было поистине пронзительно. Он пронзен тонкой жалобной нотой сорокоуста – сорокадневной поминальной молитвы по умершему.

Что же умерло? Для него – умирает весь его мир, вернее то, из чего он черпает поэтическое вдохновение, – мир деревни. Его начинает не на шутку двоить: горожанин и сноб задыхается без необходимого ему деревенского воздуха. В 1920 году Есенин съездил на родину, в Константиново. Ему там очень не понравилось. Циник Мариенгоф в «Романе без вранья» утверждает, что в деревне стало Есенину просто непроходимо скучно. Если бы просто скучно, то не вывез бы он с родины отчаянного чувства, что случилось или вот-вот случится что-то,

что разрушит собранную им хрупкую сферу смыслов, – и убьет его. Его образы, все, что им любимо, – исчезнет, потеряет поэтическое очарование, сделается никому не нужным. Он тоже постепенно начинает не совпадать со временем.

Все его попытки приладиться к советской власти, в общем-то, не удаются. Есенинское благополучие 1919–1920 годов – следствие исключительно блефа, обмана и необыкновенного личного его обаяния. «Своим», как Маяковский, он себя в большевистской России никогда не чувствовал. Есенин – частное лицо, поэт, пережиток романтической эпохи. Маяковский – власть, судия, работник революции. Он пишет сатиру на дезертира, клеймит позором запечную рябую харю с «козьей ножкой» в зубах и не желает слышать голосов усталости и зовов материнской жалости: «Возвращайся, сыночек, было бы за что помирать». Интересно эти маяковские сатиры подсветить материалами из дезертирских сводок – тогда сразу обнаружится объем проблемы, ее человеческое измерение, а не одна только жестяная плоскость агитки. «Постарайся перевестись в Саратов, – читаем в перехваченном письме. – Послужил, и довольно, приезжай хоть за теплым бельем, а там посмотрим…» «Нам очень обидно, вся молодежь дома, нет только вас четверых. Тимошку поймали и посадили в Калуге в тюрьму, остальные кто на вокзале, кто где…» «Твоего брата Ефима расстреляли, приняли за дезертира, а он был отпущен комиссией на шесть недель в отпуск. Кто-то сказал, что у него фальшивые документы, и его, не разобравши дела, расстреляли…» «Пока живу дезертиром, но придется идти, а то деревня понесет кару…» «У нас дезертиров расстреливают…» Голоса, голоса, по всей стране голоса. Вот это-то голоса и слышит, ими болеет Есенин. А Маяковский не слышит. И не слушает. Ему ближе торжественный, убедительный тон резолюций. Он – государственный человек.

Даже портсигар Маяковского самодовольно блестит в траве, взирая на окружающее с презрением: «Эх ты, мол, природа!» Вот это самое надменное отношение к себе грядущего металлического мира Есенин чувствует совершенно отчетливо. В порыве откровенности, выдающей его тайное одиночество, он пишет Е. Лившиц, студентке, с которой познакомился во время поездки в Харьков весной двадцатого года: «Мне очень грустно сейчас, что история переживает тяжелую эпоху умерщвления личности, как живого, ведь идет совершенно не тот социализм, о котором я думал… Тесно в нем живому». В другом месте того же письма: «Грусть за уходящее родное звериное и незыблемая сила мертвого, механического».

В 1920-м им написаны «Хулиган» и «Исповедь хулигана» –

стихотворения глубоко печальные, но еще не надрывные, как два-три года спустя – стихи о нежном поэте в беспощадное время.

…Я люблю родину, я очень люблю родину!
Я нежно болен воспоминаньем детства…
Мне хочется вам нежное сказать…

Все это Есенин говорит совершенно искренне. При чем тут хулиганство? При том, что «нежное» – не нужно. У обреченного два выхода – в меланхолию или в бунт. Так вдруг в стихах, переполненных вариациями на тему «скоро мне без листвы холодеть…», появляется упрямая, как у Маяковского, фраза:

Мне бы ночь в голубой степи
Где-нибудь с кистенем стоять…

В общем политическом контексте 1920 года настроение Есенина было учтено, и осенью его слегка охолодили, засунув в тюрьму ВЧК, откуда его, правда, скоро вызволили товарищи. Что раздражило чекистов – «хулиганские» стихи или маленькая поэма «Сорокоуст», – мы не знаем. «Сорокоуст», конечно, и безнадежнее, и злее. Случай, послуживший поводом к написанию поэмы, – соревнование жеребенка с поездом, – слишком хорошо известен, чтобы подробно разбирать его. То, что Есенин ехал этим самым поездом в отдельном вагоне, не помешало ему воспринять случившееся в остро драматическом ключе. Так выстраивается метафорический ряд: железное – механическое – мертвое – враг. Последний элемент этого ряда более всего необычен. Слово «враг» редко встретишь у Есенина. Если «враг» – значит, допекло. И правда, не в пьяном чаду, а в трезвости, с глубокой тоской, именно с сердцем говорит он будущему:

Черт бы драл тебя, скверный гость!
Наша песня с тобой не сживется.
Жаль, что в детстве тебя не пришлось
Утопить как ведро в колодце…

Редко когда Есенин с такой откровенной прямотой противопоставлял себя времени. Но в 1920-м силы у него нашлись. Потом были цилиндры, Париж, Америка, феерическое пьянство, диагноз Ганнушкина о невменяемости, побег из клиники, конец. Все это тоже – совершенно искренний протест.

Но бессильный. В 1920-м у Есенина еще хватало сил противостоять окружающему, не проваливаясь в алкоголь и безумие. В письме к Е. Лившиц мы обнаруживаем важное для нас пояснение к поэме: «Конь стальной победил коня живого. Этот маленький жеребенок был для меня наглядным дорогим образом вымирающей деревни и ликом Махно…»

Что же, поэт сочувствует Махно?

Сочувствует. «С кистенем в степи» – это настроеньице вполне махновское.

А как же «лик Махно»? Махно – жеребенок? Он что, не знал, не чувствовал, что стоит за этим именем? Да догадывался, наверное. Но он и о жизни красной столицы знал предостаточно, за что презирал и ненавидел ее, несмотря на то, что своячком входил к Каменеву, а то и к Бухарину с Луначарским. За что потом, вернувшись из Америки, любимую свою Россию увидел «страной негодяев».[17]

Поразительным, сверхъестественным чутьем поэта Есенин почувствовал жуткую, но неживую, железную силу грядущего порядка. Поэтому и Махно ему мил несмотря ни на что: «Она (деревня) и он в революции нашей страшно походят на этого жеребенка тягательством живой силы с железной».

И он понял, что в этом тягательстве живое погибнет. За грозной славой Махно он безошибочно угадал его слабость.

НЕИЗВЕСТНАЯ ВОЙНА

Есенин, конечно, зря романтизировал Махно. Поздняя махновщина, несмотря на ряд блистательных военных операций, «дипломатическую миссию» в Харькове и причастность к разгрому Врангеля, более чем когда-либо лишена романтики. Разве сравнишь пламенный 1918 год с 1920-м? Тогда в каждой фразе, выкрикнутой на митинге, трепетало будущее. Теперь уж не митинговали. Шла черная тяжелая работа: громили коммунистические учреждения. В одном селе, в другом, в третьем. День за днем. Тачанки, листовки, кровь. Безостановочное, многомесячное движение… Кающийся анархист Иосиф Тепер, стараясь выслужить прощение, назвал махновщину 1920 года «гигантской садистской организацией». Такова уж доля ренегата – обливать грязью то, чему раньше служил. И Тепер написал выдающуюся по подлости книгу.

Но сколько бы лжи он ни вложил в бумагу, правда от этого не становится менее драматичной. В сущей тьме начал Махно 1920 год. Впереди – ни просвета, ни надежды. Но в его борьбе есть одна несомненная правда – правда не желающего быть пригнутым и поверженным на землю сильного дерева. Дереву нельзя объяснить, что сопротивление бесполезно, что оно так или иначе будет сломлено, спилено и использовано для изготовления гробовой доски, багета или сидений для нужников. Дерево обречено сопротивляться – тросу, пиле, динамиту. Сопротивление неизбежно.

Так же неизбежно было возобновление махновщины, крестьянский взрыв в 1920–1921 годах. Виктор Белаш в своих показаниях ЧК говорил, что если бы не красный террор в деревнях, махновщина в 1920 году не возобновилась бы. Однако сам террор был следствием процесса куда более масштабного. Я бы назвал его чиновничьим унижением единоличного крестьянства, превращением его во вспомогательный государственный класс. Крестьяне сделали свое дело в революции, придав ей колоссальную разрушительную стихийную мощь. Теперь их нужно было обуздать, а для этого, говоря языком блатных, – «опустить», то есть так унизить, запугать, измарать в грязи, чтобы они забыли мечту о своем крестьянском рае, более того, забыли человеческое достоинство свое, всякое свое «право».

О том, что так следует поступать, ни у одного из большевистских теоретиков впрямую не написано. Но так получилось. Почему глава Совнаркома, Ленин, так не любил единоличников, непонятно. Но он их действительно не любил.

Его раздражали стихия, рынок, неуправляемость. Своеволие единоличника раздражало. Он называл это «мелкобуржуазностью». В крестьянстве была некая независимая от большевиков сила. Ленин не мог этого стерпеть.

Махновщину 1920 года, как и все крестьянские выступления того времени, принято называть кулацким движением. Это неверно. Кулаков, деревенских «буржуев», нанимателей рабочей силы, революция за два года перемолола – и сами же махновцы в этом немало поусердствовали еще в 1918-м. В деревне к двадцатому году остались середняки, «крестьяне». Патология ленинизма в том и заключалась, что и их большевики мечтали «опустить» до уровня сельскохозяйственного пролетариата. Ленин надеялся сделать это при помощи комитетов бедноты и специально вымуштрованных отрядов.

Крестьянство не могло не сопротивляться этой политике. Оно было, несмотря на все бедствия и потери Гражданской войны, еще слишком сильно, слишком независимо. Оно отстаивало перед белыми свои права с оружием в руках. Оно было огромно и сознавало свою огромность.

«Умереть или победить – вот что стоит перед крестьянством Украины… Но все умереть мы не можем, нас слишком много, мы – человечество; следовательно, мы победим, – так переживал это чувство огромности Махно. – Победим не затем, чтобы, по примеру прошлых лет, передать судьбу свою новому начальству, а затем, чтобы взять ее в свои руки и строить жизнь свою своей волей, своей правдой» (2, 56). Была для достоинства трудящегося на земле человека какая-то издевательская оскорбительность в том, как городские чиновники ничтоже сумняшеся распоряжаются плодами труда его, не признавая даже человеческого языка в общении с ним, а непременно суя в деревню штык продотряда. Была чудовищная несправедливость в том, что подметил Аршинов: «Многомиллионное крестьянство любой губернии, положенное на чашку политических весов, будет перетянуто любым губернским комитетом партии…» (2, 71).

В силу этих причин с весны 1920 года пошла сначала тлеть, а потом полыхать по России и Украине новая война – последняя война крестьянства за свои права. Крестьяне проиграли ее. Проиграли на полях решающих сражений 1921 года, проиграли и политически. И хотя нэп – своеобразный мирный договор, знаменующий конец этой войны, был как будто заключен с учетом интересов обеих сторон, в 1929 году, когда у крестьян стали обратно забирать землю под колхозы, выяснилось, что тогда, в 1920-м, они проиграли-таки окончательно: отстаивать их права перед правительством СССР оказалось некому, да и сама

деревня была не та уж, что десять лет назад. Десять лет государственного издевательства над «кулаком» миновали недаром, сталинское «раскулачивание» прошло как по маслу, ни одного настоящего восстания не поднялось, хотя в первый же год «сплошной коллективизации» триста пятьдесят тысяч семей (порядка 1,8 миллиона человек) вырвали из земли с корнем, все отбирая у них, и погнали в Сибирь с прицелом на гибель после производственного употребления «в лесной и горнодобывающей промышленности». Уже деревня растлена была завистью, предательством, страхом, халявой экспроприации. Единицы только сопротивлялись.

Но восстания Сталин опасался, конечно, всерьез.

Как-то мне попалось в руки охотничье ружье тульского оружейного завода с клеймом 1926 года. Странное это было ружье, капсюльное, заряжающееся с дула, причем одностволка: чтобы перезарядить такое ружье, даже при наличии отмеренных пороховых зарядов, потребна, наверно, минута. Для охотника это – бесконечно долгое время. Почему завод не выпустил оружие посовременнее? Решительно никакого объяснения не мог найти я этому факту, пока не подумал: нарочно. Было, видимо, дано заводу указание. Чтоб не гуляли по стране скорострельные ружья, нарезные стволы, двух-стволочки… Свеж, свеж был в памяти 1920 год…

Начинался он, однако, с затишья, последовавшего после разгрома Деникина и Колчака. Махно болел тифом. Будущий предводитель антоновщины – крестьянской войны в Тамбовской и Воронежской губерниях, – эсер Александр Антонов в феврале 1920 года оказался прямо-таки в нелепом положении: пусть он со своей «дружиной» в 150 человек и оказался неуловим для спецотряда, прибывшего из Саратова, но особой нужды в нем в народе тоже не ощущалось. Да в довершение ко всему ЧК, отчаявшись уничтожить Антонова, стала распространять о нем порочащие слухи и, в конце концов, умудрилась глубоко обидеть его, сравнив бывшего начальника уездной милиции (а Антонов знал свое дело, будучи на этом посту) с бандитом-уголовником Колькой Бербешкиным. Этого оскорбления стерпеть Антонов не мог. Рассвирепев, антоновцы выследили банду Бербешкина и беспощадно истребили ее до последнего человека, о чем Антонов специальным письмом уведомил своего преемника, начальника кирсановской уездной милиции, подчеркнув, что он политический противник большевиков, а не уголовник. Антонов оправдывался перед коммунистами?! Да, был такой эпизод. Время для политического противления еще не приспело – весной 1920-го Антонов исчезает, растворяется, как Махно в начале зимы. Его

не могут обнаружить. Выездная сессия Губчека, созданная для его поимки или уничтожения, потеряв следы его отряда, уезжает обратно в Тамбов…

Медленно, медленно пожар разгорается. Первые вспышки на средней Волге – «вилочный мятеж»: 50 тысяч восставших в трех губерниях. Затем – Украина. В самом конце февраля, едва оправившись от тифа, поднимает голову Махно. 26 февраля на кратком митинге в Святодуховке он призывает начать с большевиками такую же беспощадную борьбу, как против гетмана и австрогерманцев в 1918-м. На что он рассчитывает, когда крестьянство освобождено от власти Деникина и, по всякому расчету, не должно бы поддержать выступление? Это важно понять, иначе вся картина искажается и выходит, что семьдесят человек закоренелых головорезов своей волей подняли войну на всей Левобережной Украине. Но так не бывает в истории. Для войны нужны причины поважнее.

Одну из них мы упоминали уже – террор. Масштабы его трудно представить. Этот вопрос нуждается в специальном исследовании. В нашем распоряжении лишь ряд подходящих к месту цитат о конфискациях оружия под угрозой расстрела заложников, о расстрелах заложников, активистов махновского движения и «вольных советов»…

В мемуарах советского генерала Петра Григоренко, изданных в Париже в 1980 году, автор, в 1920 году бывший молодым красным командиром, вспоминает, что долго не мог поверить в рассказы о зверствах чекистов, творимых за спиною армии, только что мирно прошедшей через партизанский район. Слухи о массовых расстрелах в Новоспасовке поразили его. «Я упорно не верил этим слухам, – пишет он. – В 1918 году Новоспасовка восстала против белых и героически оборонялась от них до тех пор, пока армия Махно не высвободила ее из окружения. Тогда деревня, в знак признательности батьке, снарядила ему на фронт два полка пехоты… Я не мог поверить в то, что революционная власть способна истреблять людей, которые так храбро сражались за революцию. Однако, как я впоследствии узнал, свидетели говорили правду: в Новоспасовке каждый второй мужчина, способный носить оружие, был расстрелян чека. Вчера восстали против белых – завтра восстанут против нас – так, по-видимому, рассуждали наши вожди. И, надо сказать, своими злодеяниями они весьма приблизили этот момент…» (94, 216).

Конечно, всякие цифры нуждаются в уточнении. Но совершенно ясно одно: вылазки Махно в феврале—марте 1920 года были реакцией на какую-то очень острую боль в деревне. К апрелю Махно окреп. Начинаются регулярные налеты его отрядов

на расквартированные в селах советские учреждения и подходящие с востока на открывшийся польский фронт красноармейские части. Проход частей Первой конной с Северного Кавказа в район Ковеля вызвал свирепую вспышку бандитизма: армия безжалостно реквизировала лошадей и фураж. Батькины силы быстро возрастали. Когда 28 апреля кавдивизия Пархоменко атаковала Махно в Гуляй-Поле, у него было уже две тысячи человек и три орудия. Махновцы будто бы боя не выдержали и отступили. 6 мая екатеринославские «Известия» опубликовали даже заметку о пленении Махно и его штаба частями Первой конной, то есть пархоменковской же дивизией – но это была ложь. Или даже дезинформация: Пархоменко очень нуждался в рекламе. Ему нужно было срочно отмыться от тяжелейшего обвинения в организации еврейского погрома в Ростове-на-Дону, когда Первая конная проходила Ростов, а он, как назло, оказался комендантом города и не сдержал разгорячившихся бойцов. Ворошилов настоял на том, чтобы отдать Пархоменко под трибунал, который приговорил его к расстрелу. Спасся Пархоменко только благодаря вмешательству Сталина и Орджоникидзе, так что ему просто необходимо было срочно набрать очки и вернуть славу боевого командира.

Как бы то ни было, через четыре дня после сообщения о его пленении Махно со своей армией тронулся на север – в Полтавскую и Харьковскую губернии – и на протяжении двух месяцев кромсал красный тыл в самый разгар польской войны и врангелевского наступления… В июле 1920-го вспыхнул мятеж в Саратовской губернии. Возглавил его левый эсер Сапожков, командир девятой кавдивизии, часть которой заявила о неподчинении верховному командованию и своем преобразовании в «Красную армию правды», выдвинувшую лозунги свободы Советов и свободы торговли. Повстанцы взяли город Бузулук, повели бои за Новоузенск и Уральск. Сапожковский мятеж продолжался недолго, подавляли его решительно и жестоко – впервые, быть может, за всю историю Гражданской войны карательные части устраивали расправы в селах, которые еще не присоединились, но могли бы присоединиться к Сапожкову на пути следования его «армии правды». 6 сентября в бою с курсантами Борисоглебских кавалерийских курсов у озера Бак-Баул Сапожков был убит, а его отряды разгромлены. Отдельные их клочки в качестве уже чисто бандитском прозлодействовали до 1922 года. Однако эта вспышка в виде каких-то фантастических отсветов достигла белого стана в Крыму, и в разведсводках врангелевской армии появилось сообщение перебежчика о мятеже целой армии

«зеленых» на Волге, о «фронте» повстанцев, простершемся будто бы от Казани до Царицына и, одновременно, о восстании буденновцев и жлобинцев против коммунистов (80, оп. 1, д. 23, л. д. 356).

Белым хотелось верить, что в красном тылу непорядки, поэтому и верилось преувеличениям, и явной небывальщине верилось. Махно приписывали сорокатысячную армию, к осени 1920 года в России ждали какого-то небывалого, всепожирающего крестьянского восстания, в котором должна была сгинуть ненавистная большевистская власть.

Надо сказать, что, помимо эмоций, основания для надежд подобного рода были: сами крестьяне с тяжелым сердцем чувствовали, что не миновать. Эта обреченность легко улавливается в строчках писем: «Мы ожидаем реквизицию хлеба. Вот тогда начнется истинная крестьянская война». Из Тамбовской губернии определенно тянет паленым: «У нас было восстание народное, много пострадало от этого, пожгли же и побили, в селе сгорело около сотни домов». Другое письмо, оттуда же: «У нас восстание… Деревня Пузити в 20 верстах от Тамбова – идет на Тамбов». Опять оттуда: «В Погалуково взбунтовались мужики, и для усмирения послали из города Егора с отрядом. Он побил всех бунтовщиков и сам убит». Обрывочные фразы, сохранившиеся благодаря старательности цензоров 4-й армии, составлявших на основании писем, получаемых красноармейцами, сводки о настроениях в тылу, рисуют нам начало того, что позже стало именоваться «антоновщиной» (78, оп. 1, д. 16, л. д. 6).

Восстание началось в августе, когда стали известны невыполнимые объемы продразверстки, определенные для Тамбовской губернии. В Кирсановском, Борисоглебском и в Тамбовском уездах в довершение ко всему была засуха и неурожай, отдать хлеб означало помереть с голоду. 21 августа пришедший в село Каменка продотряд был разгромлен крестьянами, а вслед за ним – и пытавшийся прийти ему на помощь отряд по борьбе с дезертирством. Поднялись соседние села. Однако в три дня их «пожгли же и побили» разного рода спецчасти, направляемые в деревню на время хлебозаготовок. Когда же к исходу 24 августа Александр Антонов со своей дружиной подоспел в окрестности Каменки, село было занято сильным красным гарнизоном, а восставшие разбиты и распылены по окрестностям. Антонов собрал их и увел в Кирсановский уезд, где и вооружил хорошенько винтовками из тайников, устроенных им и его сподвижниками еще в 1918 году в лесах и болотах по берегам реки Вороны. Осенью в армии Антонова было уже двадцать тысяч человек. В январе 1921 года,

когда «на борьбу с антоновщиной» в очередной раз собирались лучшие военные и партийные силы, – пятьдесят тысяч. Восстанием была охвачена территория, равная вместе взятым Бельгии и Голландии.

В конце 1920-го большие и малые мятежи горели по всей стране. Все интервенты, все белые были разгромлены, но сотни тысяч красноармейцев были вовлечены в борьбу с «внутренним» врагом. Пика своего эта борьба достигла уже за пределами года: в январе 1921-го на площади, равной чуть ли не половине Европы, вспыхнул и на месяц разорвал страну пополам так называемый Западносибирский мятеж (Тюменская, Омская, Оренбургская, часть Челябинской и других прилежащих губерний). Восставших было не менее ста тысяч, они сформировали четыре армии, командовал которыми поручик колчаковской армии эсер Родин. Сбить пламя восстания удалось только отменой продразверстки, но истощилась энергия мятежа только к лету.

Ни в 1920-м, ни в 1921-м Ленин отнюдь не был сторонником «смягчения» партийной линии по отношению к крестьянству. Продразверстка – перманентная экспроприация мелкой буржуазии – его, по-видимому, вполне устраивала. Есть факты, впрямую свидетельствующие о том, что в самый момент Кронштадтского мятежа он все еще отдает предпочтение мерам сурового принуждения крестьянства, не думая об экономическом компромиссе. Неизбежность кровопролития Ленина, очевидно, не смущала: до некоторых пор он просто был убежден, что созданные в деревне «комитеты бедноты» плюс Красная армия осилят сопротивление «кулачья». Вот пример достаточно красноречивый: 1 марта 1921 года начался Кронштадтский мятеж. На Якорной площади Кронштадта команды мятежных кораблей Балтфлота голосуют резолюции с требованиями перевыборов Советов, свободы торговли и свободы деятельности всех левых социалистических партий. 2 марта – создан Кронштадтский ревком. В тот же день Ленину становится известно о телеграмме, присланной в Наркомпрод с Украины, в которой прямо указывалось, что снабжение Красной армии становится «почти неразрешимой задачей» из-за налетов банд Махно и что надо бы от налогов отказаться, чтобы крестьяне поуспокоились. И что же? На следующий день Ленин эту телеграмму пересылает Троцкому с необыкновенно для нас важной ремаркой: «Очень интересные вещи. По-моему, украинские коммунисты не правы. Вывод из фактов не против налога, а за усиление военных мер к полному уничтожению Махно и т. п.» (46, т. 52, 88). Характерно пренебрежительное «и т. п.». И т. п. – это сотни тысяч человек, восставших по всей

стране. Ленин требует их полного уничтожения. Совершенно очевидно, что он не представляет себе масштабов резни, формулируя, по своему обыкновению, вопрос чисто рационалистически. Нужно было что-то воистину ошеломляющее, чтобы вразумить вождя мировой революции.

Вразумляющим фактором стали, по-видимому, открывшиеся ему подробности Кронштадтского восстания, хотя из всех мятежей оно было самым бескровным, скорее напоминающим вооруженную демонстрацию. Но, во-первых, восстали части регулярной армии. Во-вторых, восстали организованно, дружно: в ревкоме были и анархисты, и меньшевики, и эсеры. Были сформулированы четкие лозунги. В руках у матросов были линкоры, а не вилы. И они могли не только разгромить, разбить из двенадцатидюймовых орудий какой-нибудь уездный городишко – они могли взять власть. Ведь в двух шагах был Питер, Питер!

Ленин испугался. Испугался, когда узнал о неудачной попытке с ходу подавить мятеж. Она провалилась в тот самый момент, когда в Москве шел X съезд РКП(б). И Ленин изменил точку зрения. Он призвал к новой политике. Он убеждает партийный форум, что кое-какими принципами придется все-таки поступиться. Ибо «мы оказываемся втянутыми в новую форму войны, в новый вид ее, который можно объединить одним словом: бандитизм… Эта мелкобуржуазная контрреволюция, несомненно, более опасна, чем Деникин, Юденич и Колчак, вместе взятые, потому что мы имеем дело со страной, где пролетариат составляет меньшинство…» (46, т. 43, 10–24). Смысл высказываний Ленина прост: сила силу ломит, не выйдет напролом, придется в обход…

Однако это признание и провозглашенную затем политику нэпа от описываемых нами событий отделяет целый год той самой войны, которая для большевистской власти оказалась страшнее всех белых генералов, вместе взятых. Мы очень мало знаем о ней. Вряд ли многое вообще можно узнать: она оставила слишком мало материала, из которого пишется книжная история. Ни документов, ни фотографий, ни воспоминаний почти нет. Не то что у белых: горы мемуаров, тонны архивных документов, статьи, эссе, книги. А тут – ничего. Сырая порода. Кое-что вылавливается из советских архивов, но эти сведения разрозненны. Но даже еели и свести их воедино, цельной картины не сложится. Это не история, а какой-то кровоточащий хаос, бесконечный перечень жестокостей и кровопролитий. Какое-то бессмысленное мельтешение, как бы остановка исторического времени. Поток революции уперся в неразрешимую проблему. Но

время-то идет! Растет напряжение. Когда оно сделается непереносимым, время найдет слабое место и хлынет в промоину…

Но целый год до этого – подспудное, тайное брожение, тайная война без гениальных полководцев и решающих битв… Кое-какие напоминания об этой войне все-таки сохранились: на юге Воронежской и в Тамбовской областях встречается род плоских курганов, похожих на братские могилы Пискаревского кладбища. Старики знают, что курганы эти насыпаны на полях брани – где войска Тухачевского сшибались с «армиями» Антонова. Но курганы немы… Именно «немота» этой войны, неуловимость голосов из прошлого как-то особенно потрясают исследователя. В сущности, здесь-то и начинаешь по-настоящему понимать, что история – это не резолюции съездов и не законы, тогда-то и тогда-то принятые правительством. История – это незаметное движение миллионов. Им нет числа, нет имени. Но они были. И был бунт, и были каратели. Мужики ушли в лес и стали бандой. Ночью, отогреваясь от октябрьских заморозков, мужики жгли костер. Ночью же совершали убийства, тяжело дыша и удушливо матерясь. Через год бандитов, озверевших и потерявших человеческий облик от лесной волчьей жизни, выследили молодые симпатичные курсанты из Питера. У бандитов остались в наполовину сожженной деревне вдовы и дети-сироты.

Для чего это совершилось?

Дерево сопротивлялось. Оно сдерживало напор истории до тех пор, пока та не изнемогла и не отступилась…

Вдруг из этой немоты прорезывается голос. Совершенно неожиданный. Благодаря этому голосу оживает, нарисовывается кусочек прежней жизни. В конце марта 1920 года на одной из бесчисленных, разбитых копытами дорог Украины красноармейский разъезд остановил подводу, в которой ехали две молодые женщины в крестьянских кожухах. Красный командир поглядел на смирных бабонек и велел выпрягать коней.

Выпрягли коней.

Бойцы отряда еще пошарили в телеге – не сыщется ли что-нибудь этакое? Ничего подозрительного не нашли, но прихватили женские пожитки. Когда стали делить захваченное, на дне фанерного чемоданчика обнаружилась тетрадь в черной клеенчатой обложке. Дневник. Начинался он с записи:

«19 февраля (по новому стилю) 1920 года. Сегодня утром выехали из с. Гусарки. Часов в 11 утра приехали в с. Конские Раздоры. Тут наши хлопцы разоружили человек 40 „красных“. Из этого же села к нашему отряду присоединилось несколько

хлопцев. Стояли здесь недолго, часа три, после чего поехали в Федоровку…»

Вот тут, насколько я себе это представляю, у читавшего должно было екнуть сердце, он должен был сильно сглотнуть, прежде чем прочитать потом далее:

«…Красноармейцы не очень сильно протестовали и быстро сдавали оружие, начальники же защищались до последнего, пока их не убили на месте…»

Тут уж у меня не хватает фантазии представить, что происходило с читавшим, ибо должна была впиться в душу ему тоска приближающейся догадки:

«…Замерзли и устали наши хлопцы, пока завершили это дело, однако наградою за этот труд и муки у каждого повстанца было сознание того, что и маленькая группа людей, слабых физически, но вдохновленных одной великой Идеей, может делать большие дела. Таким образом, 70–75 наших хлопцев за несколько часов одолели 400–450 врагов, убили почти всех командиров, забрали много винтовок, патронов, пулеметов, двуколок, лошадей и так далее. Завершив дело, хлопцы разошлись кто куда. Кто пошел спать, кто домой, кто – к знакомым. Мы с Нестором тоже поехали к центру. Кое-что купили, кое-кого навестили и вернулись на свою квартиру…» (41, 1).

«Мы с Нестором…»

Не знаю, что случилось с красноармейцами, когда они поняли, кого упустили. Жену Махно, «матушку Галину»! Была снаряжена погоня. Но женщин не нашли. Позже дневник попал в руки ЧК. Для того чтобы не афишировать некоторые двусмысленные подробности этого злосчастного случая, была придумана романтическая история о том, что бойцы подобрали тетрадь на поле боя, возле трупа убитой батькиной полюбовницы.

Это было вранье. Вообще, зарубежным историкам и многим критически мыслящим советским исследователям «дневник жены Махно» долгое время казался фальсификацией. В литературе двадцатых годов из него цитировалось буквально считаное количество фраз, всегда одних и тех же, представляющих батьку в обличье, для красной пропаганды чрезвычайно выгодном:

«…Еще с Новоселки батька начал пить. В Варваровке совсем напился как он, так и его помощник Каретник. Еще в Шагрово батька начал уже дурить – бессовестно ругался на всю улицу, верещал, как ненормальный, ругался и в хате при малых детях и при женщинах. Наконец, сел верхом на лошадку и поехал верхом в Гуляй-Поле. По дороге чуть не упал в грязь. Каретник же начал дурить по-своему – пришел к пулеметам и начал стрелять то с

одного пулемета, то с другого…» (40, 7).

Да если б и не было такого дневника, ради этой сцены его надо было бы выдумать большевистским переписчикам истории! Махно, кстати, тоже отрицал существование этого дневника, который выставлял его далеко не в розовом свете. Дневник, однако, существовал. Он писался урывками всего 40 дней, часть записей сделана явно в отсутствие батьки, так что о документе такого рода он мог и не знать. Уже в старости Галина Андреевна подтвердила его существование в письме гуляйпольскому краеведу Кузьменко: «Дневники я вела, и один из них действительно был взят красноармейцами вместе с моим чемоданчиком. Писался дневник в общей тетрадке, сверху покрытой черной клеенкой и подписанной рукой Фени Гаенко. Это была ее тетрадь… Интересно, где она теперь хранится, я ее с интересом прочла бы» (42).

В начале 1990-х годов дневник был разыскан в тогдашнем ЦГАОРе (ныне – Государственный архив Российской Федерации), заново переведен с украинского на русский язык и опубликован. Дневник охватывает совсем небольшой промежуток времени – с 19 февраля по 27 марта 1920 года, – открывающийся первым удачным налетом махновцев на Гуляй-Поле и завершающийся тревожным мартом, когда вокруг Махно постепенно стягивается сила большого отряда. Записи не претендуют на обобщения, но в этом есть прелесть. Нам бы никогда не увидеть пьяного и жалкого Махно, если бы не дневник «матушки Галины». Но нам бы никогда и не узнать без этого дневника, что запил батька после того, как узнал, что в Гуляй-Поле во время неожиданного ночного налета красных схвачен и убит брат его Савелий. Скорбел о брате и мучился неразрешимою тоской, плакал о чистоте повстанческой идеи – и мстил, и рубил, и, может быть («равнодушие», «пустота», поминаемые в дневнике), втайне проклинал революцию, сделавшую его врагом всему человеческому?

Запись от 7 марта: «Приехали в Гуляй-Поле. Тут под пьяную команду батьки начали вытворять нечто невозможное: кавалеристы начали бить нагайками и прикладами всех бывших партизан, каких только встречали на улице… Все вышли, смотрят на приехавших, а приехавшие, как дикая орда, несутся на конях, ни с того, ни с сего начинают бить, приговаривая: „Это тебе за то, что не берешь винтовку“. Двум хлопцам разбили головы, загнали по плечи одного хлопца в речку, в которой еще плавал лед…» (41, 7).

13 марта: «Батька и сегодня выпил. Разговаривает очень много. Бродит пьяный по улице с гармошкой и танцует. Очень привлекательная картина. После каждого слова матерится.

Наговорившись и натанцевавшись, заснул…» (41, 8).

Уже в Париже, прочтя отрывки из дневника жены в книге М. Кубанина, Махно специально останавливается на этой записи, чтобы доказать, что весь дневник – подделка. Ведь он, по собственному признанию, не играл на гармони. Трезвый. А пьяный? Теперь уж сам черт не скажет нам ничего наверняка. Так или иначе, то, что казалось злобной карикатурой на Махно, должно соотнести с записями иного рода:

«…Проезжая через Федоровку, узнали, что сегодня там были 6 кавалеристов, которые просили приготовить 50 пудов ячменя и несколько печеных караваев…» (41, 5).

«Прибывши в Раздоры, узнали, что тут красные отомстили невинным раздорцам за то, что нами было убито тут пять коммунистов, – они расстреляли председателя, старосту, писаря и трех партизанов…» (41, 6).

«В Павловке стоят коммунисты, которые забирают у селян хлеб и прочее. Янисельцы и времьевцы очень встревожены и напуганы этим известием. Не сегодня-завтра и сюда ждать страшных гостей, которые придут грабить добытое тяжелым трудом крестьянское добро. Павловцы послали двух мужичков в погоню за батькой Махно, чтобы пришел со своим отрядом и помог селянам…» (41, 14).

Эти записи не нуждаются, собственно, в толковании. После сказанного ясно, что как бы ни пил и ни дурил Махно в то время, именно за ним пошлют крестьяне в случае беды: должен, должен был совершиться еще один обратный мах исторического маятника. Око за око, зуб за зуб…

22 февраля в Дибривке к батьке присоединился бывший повстанческий командир Петренко, «который уже начал со своими хлопцами работу, хватая комиссаров и разоружая небольшие части… Встреча была радостная…» (41, 2).

25 февраля: «Все выжидают, пока коммунисты сильно допекут» (41, 3).

28 февраля: «Сегодня приехали к нам Данилов, Зеленский и еще несколько наших старых хлопцев…» (41, 4).

2 марта: «Вчера с гуляйпольского лазарета вышло хлопцев 8 и поехали с нами. Сестры милосердия тоже покинули лазарет, где оставались только красные, и тоже стали просить, чтобы мы их взяли с собой. Хлопцы взяли их. Ночью хлопцы взяли миллиона два денег, и сегодня всем выдано по 1000 рублей» (41, 5).

12 марта в Гуляй-Поле приехали любимец Махно Тарановский и 35 хлопцев с лошадьми, «только седла есть не у всех».

Медленно, по человечку собирается отряд. Но уже вновь – в

результате ряда налетов и разоружения расквартированного в Гуляй-Поле 6-го полка, командир которого был убит, а бойцы распущены с предписанием в третий раз в плен не попадаться, – Махно становится хозяином в гуляйпольском районе. Остается объединить партизанские районы, связаться с Удовиченко под Бердянском, с Куриленко под Новоспасовкой…

Не все «хлопцы» выдержали испытание поражением. В греческом селе Большой Янисель радостная встреча с одним из видных махновских командиров Дашкевичем (полк которого в ноябре 1919 года первым ворвался в Екатеринослав) закончилась весьма печально. Оказалось, что Пашкевич растратил 4,5 миллиона денег, доверенных ему: устраивал балы, делал дорогие подарки любовницам, платил им по двести тысяч за визит… Партизаны-греки сказали, что с такими командирами воевать не будут. Этим участь Дашкевича была предрешена. Напрасно кормил он батьку чебуреками, напрасно, как встарь, выпивал с ним. На следующий день на митинге в селе Времьевка ждала его смерть. Он как будто не хотел верить в это, заговаривал то с рядовыми повстанцами, то с командирами. Галина Андреевна пишет с бесстрастием: «Он вежливо извинился и отошел от нас. Собрался идти домой. Его позвал Василевский, взял под руку, повел. Его арестовали и приставили патруль. Скоро приехал батька и прочие. В центре собрались люди. Дашкевичу связали руки и повели на площадь расстреливать. Гаврик, сказавший ему, за что, прицелился и взвел курок. Осечка. Второй раз – опять осечка. Дашкевич бросился удирать. Стоявшие тут же повстанцы дали по нему залп, второй. Он бежит. Тогда погнался за ним Лепетченко и пулями из нагана сбил его. Когда он упал, а т. Лепетченко подошел, чтобы пустить ему последнюю пулю в голову, он повел глазами и сказал: „зато пожил…“» (41, 13).

Эти беспощадные картины перемежаются зарисовками, в которых – вдруг – проглядывает живая человеческая душа, бесплодно томящаяся в пустоте и грусти, питаемой одной только ненавистью борьбы:

«…Снег почти уже растаял – остался только по балкам и по лощинам, а на пригорках уже просохло и выбивается из земли молоденькая травка. Озимые в степи начинают зеленеть. Вчера видела на поле мышь…» (41, 6).

В другом месте: «Из-под прошлогодних листьев пробился и расцвел голубенький цветочек, а там второй, третий. Мы начали собирать эти первые весенние цветочки (у нас их называют брандушами) – предвестники скорого тепла и солнышка. Сразу сделалось как-то легче на душе и веселее на сердце…» (41, 13).

И совсем уже пронзительно звучит ярко и с чувством

написанный отрывок о том, как спасали оборвавшуюся с мостка в холодную весеннюю воду лошадь: «Долго возились вокруг нее… подтянули под берег, зовем ее „Воля! Воля!“ – а она лежит как-то боком, голову поднимает над водою, болтает временами ногами, стонет жалобно-жалобно, как человек, и поводит назад перепуганными глазами, которые налились кровью и словно умоляют о помощи. Полежала немного тихо, перестала барахтаться и замолчала. Снова стали ее тянуть и сгонять. Она застонала, встрепенулась, стала подниматься и снова упала. Через полминуты снова забила ногами, сделала сильное движение, встала на ноги и, глубоко погружаясь в тину, быстро пошла к противоположному берегу, возле которого был лед. Мы стали звать ее сюда. Она сделала в речке полукруг и вышла на этот берег. Ее сразу стали гонять, чтоб не остыла…» (41, И).

Если бы можно было монтировать книгу, как фильм, я одновременно с этим рассказом запустил бы параллельный звукоряд – бесстрастным голосом прочитываемый перечень:

«…Поймали трех агентов по сбору хлеба и прочего. Их расстреляли…»

«…Сегодня переехали в Большую Михайловку. Убили тут одного коммуниста…»

«…Выезжая с хутора, в степи в бурьяне нашли двоих, которые прятались тут с винтовками. Их порубали…»

«…Когда они разделись, им приказали завязывать друг другу руки. Все они были великороссы, молодые здоровые парни… Селяне смотрели, как сначала пленных раздевали, а потом стали выводить по одному и расстреливать. Расстреляв таким образом нескольких, остальных выставили в ряд и резанули в них из пулемета. Один бросился бежать. Его догнали и зарубили. Селяне стояли и смотрели. Смотрели и радовались. Они рассказывали, как эти дни отряд хозяйничал в селе. Пьяные разъезжают по селу, бьют нагайками селян, бьют и говорить не дают…»

«…Пообедав, наши все пошли гулять к реке. На берегу лежал убитый. Возле него собралось много людей. Когда мы появились на берегу, внимание людей было обращено на нас… Мы сели в лодку и переправились на тот берег. Постояв там немного, вернулись назад. Под берегом подурили немного, обрызгали кое-кого водой…»

«…Убили влесу Михайловского повстанцазаграбежи и насилия, которые он творил в своем селе…»

«…Наломали в садике зеленых веточек, нашли в одном хлеве пару голубиных гнездышек…»

«…Убито двое…»

Убито двое – это словно запись в реестровой книге. Никакого

чувства за нею не стоит – ни ненависти, ни сожаления. Это в начале антоновского восстания была ярость – всесокрушающая, слепая, бесформенная. Избыточность взрыва. А в махновщине 1920 года чувствуется привычка, какой-то холод крови. Полное равнодушие. Сама махновская армия в начале двадцатого года – это воплощенная смерть, отлаженная, как часовой механизм.

Попал в механизм белый офицер, «кадет» – смерть.

Комиссар – смерть.

Продагент – смерть.

Чекист – смерть безусловная.

Красный командир – тоже смерть, если только за него специально не просили бойцы.

Махновцы щадили многих, понимая, что избыточная жестокость не принесет им славы в войне. Но все-таки на какое-то время отряды Махно стали как бы карателями навыворот, уничтожавшими всех, кто от имени советской власти приходил в деревню с новыми порядками. Ибо порядки менялись.

5 февраля 1920 года вышел декрет Всеукраинского ревкома о земле – позднее большевикам пришлось признать, что он не был ни понят, ни поддержан украинским крестьянством. Теперь, в отличие от 1919-го, когда упор делался на совхозное землевладение, все бывшие помещичьи, казенные, монастырские и прочие подлежащие дележу земли, за исключением крупных свекловодческих и овощеводческих хозяйств, отдавались крестьянству. Но большевики не были бы большевиками, если бы уже в первоначальной редакции декрета не была заложена мина, направленная против собственника: первым делом – написано было в декрете – удовлетворяется нужда в земле «безземельных и малоземельных крестьян и земледельческих рабочих» (40, 131). Своеобразной данью за право пользоваться землей была продразверстка.

В конце марта вышел еще разъяснительный циркуляр: чтобы землей наделять по трудовой норме на едока, а у кого больше, хоть бы он и не применял наемного труда, – отрезать в пользу общества.

Но самое важное: большевики поняли, что сами они воспринимаются в деревне как пришельцы и что своими силами им не решить даже самой ближайшей задачи – не изъять хлеб у крестьян, не накормить армию. Значит, нужно было деревню расколоть и заставить одну часть деревенского населения обирать и грабить другую. А для этого был только один путь – путь соблазнения бедноты. Соблазнить в 1920 году можно было только двумя вещами – властью и хлебом.

В мае 1920-го правительство Советской Украины издало

декрет о «комитетах незаможных крестьян» (соответствующий декрету 1918 года о комбедах в России), согласно которому сплотившаяся вокруг партии беднота получала первоочередное право в наделении землей и долю от конфискованного у односельчан хлеба (от 10 до 25 процентов). Премьер украинского правительства Христиан Раковский назвал эту меру «одной из важнейших» на Украине. Действительно, провокация удалась. М. Кубанин в своей книге пишет, что к концу 1920 года в комнезамах Украины было 828 тысяч человек – почти миллион добровольных помощников партии! О таком успехе большевики прежде не могли и мечтать. Комитеты бедноты бескомпромиссно потрошили кулаков, реквизируя и перераспределяя скот, лошадей, зерно, сено, табак, сельхозмашины, землю.

Деревня на этот раз была разорвана, расколота непримиримой враждой. В резолюции I съезда комитетов незаможного селянства Украины, состоявшегося в конце 1920 года, сквозит совершенно разбойничий дух: «Кулацкое хозяйство должно быть ликвидировано так же, как и помещичье. Земля у кулака вся должна быть отобрана, его дом использован для общественных нужд, его мертвый инвентарь передан на прокатный пункт, его племенной скот сведен на случной пункт, а сам кулак должен быть изгнан из деревни, как помещик изгнан из своего поместья…» (40, 141).

Позвольте, но ведь это же никакая не экономическая политика… Это война на полное уничтожение!

Именно так. Именно. Классовая борьба тоже имеет свою абсурдную логику, свою мистику. Не могло крестьянство, трижды или четырежды ограбленное уже в ходе войны, не сопротивляться всему этому маразму. Почти неправдоподобно, что защитником самых сильных, самых богатых в деревне стал Махно – лютый экспроприатор и налетчик 1918 года, гроза помещиков и кулаков, каторжник, огнепускатель. Но в 1918-м грабили «чужих» – помещиков, настоящих кулаков, немцев-хуторян, которых он и его парни ненавидели. А в 1920 году должно было начаться нечто неправдоподобное – свои должны были ополчиться на своих, перетаскивать из хаты в хату добро друг друга, завидовать, предавать… Впервые, быть может, почувствовал Нестор Махно, что и его анархистской душе революция слишком просторна, что по-человечески нельзя так, надо остановиться, наконец, прекратить делить, грабить, делом пора заняться… Впервые в 1920 году, продолжая аргументировать именем анархии, он выступает как противник «революционных» преобразований большевиков в деревне, как охранитель. Вся махновщина того времени – это попытка охранить деревню от «новых веяний», не

пустить туда то, что надумали, что несли с собою большевики.

Прежде всего – разврат комнезамов.

Председателю комитета в селе Доброволье Махно послал записочку, поразительную по краткости и убедительности содержания:

«Рекомендую немедленно упразднить комитеты незаможных селян, ибо это есть грязь» (40, 143).

Комнезаможи боялись Махно. Был случай в деревне Кушун, когда на сторону махновцев целиком перешел отряд комнезаможников «в количестве 30 сабель с 50 лошадьми» (44, 25). Это, конечно, исключение. Все, что проникало в деревню от большевиков, было глубоко ненавистно махновцам. Наталья Сухогорская пишет, в частности, что положение сорганизованного под руководством большевиков гуляйпольского исполкома было прямо трагичным: опасаясь неминуемой смерти, члены его, закончив работу в селе, ночь проводили в бронепоезде, стоявшем на станции Гуляй-Поле (74, 61). Впрочем, и исполком, и бронепоезд не могли появиться в Гуляй-Поле раньше 1921 года, в двадцатом и бронепоезд бы не спас, еще слишком сильны были махновцы. Но уже не настолько сильны, чтобы побороть большевистские искушения. Большевики все-таки добились своего – деревня была расколота. Начиналось в ней нечто неописуемое: «В Ряжской волости Константиноградского уезда, Полтавской губернии 30 комнезаможников были вырезаны кулаками за одну ночь. Оставшиеся незаможники в другую ночь вырезали 50 кулаков» (40, 143).

Весна двадцатого – конечно, самый мрачный период махновщины. Должно быть, Махно и сам понимал, что из героического партизана мало-помалу превращается в какую-то мрачную, угрюмую фигуру, какую-то мясорубку на тачанке.

Он пил (жестокость террора многих, надо сказать, приохотила к спирту) и в опьянении то умилялся яблоневой весной повстанчества, то вдруг низвергался в самую черную злобу. Если верить Н. Сухогорской, однажды, напившись, он ночью в неистовстве изрубил тринадцать пленных красноармейцев, которых по всем правилам следовало бы отпустить: махновцы ведь рядовых не убивали…

Возможно, он и сам тяготился ролью, которая пала на него, ролью карателя, которая низводила его с высот идеализма в ряды проклятых революцией. Единоверцы-анархисты предали его.

В январе, когда армия развалилась, а Махно был объявлен вне закона, окружавшие его штаб анархисты-набатовцы были частью арестованы, частью разъехались по городам. В феврале конференция «Набата» в Харькове приняла резолюцию о том, что

Махно был в целом негодным руководителем движения, – и отмежевалась от него. Это было обычное политическое малодушие: в феврале Махно казался окончательно раздавленным, большевики же были в большой победной силе. Чтобы функционировать легально, «Набату» требовалось сделать ряд реверансов перед новой властью. Одним из таких реверансов было отмежевание от Махно, защитить которого на конференции было некому. С махновщиной крепко было связано не так уж много людей, большинство из которых, к тому же, сидело в тюрьме, как Волин. Для других набатовцев мужицкое движение, которым, по сути, всегда была махновщина, никогда не было близким. Они легко пожертвовали повергнутым Махно в угоду своим кружковым интересам. Большевиков такое положение вещей, по-видимому, вполне устраивало. Партизанское формирование в 100–200 сабель было для них куда опаснее, чем еще одна «федерация презренных пустомель» (выражение Ленина), на которую, к тому же, легко можно было в любой момент наложить лапу – о чем свидетельствовал опыт длительной дрессировки анархистов, оставленных на легальном положении в Москве и Петрограде после разгрома анархистских боевых дружин в апреле 1918 года. Однако ж весной 1920-го взоры набатовцев вновь устремились на Махно. С одной стороны, выяснилось, что славный батька жив и с каждым днем набирает силу. С другой стороны, стало очевидным, что все политические разработки «Набата» остаются простым колебанием воздуха в прокуренных анархистских клубах и ни в грош не ставятся большевиками, которые терпели анархистов лишь в качестве декораций, но реально не допускали даже до выборов в низовые советы.

Как же тогда создать «истинную» советскую власть? Кто будет проводить в жизнь земельную программу «Набата»?

Кто вообще заставит большевистскую власть прислушаться к его надтреснутому голосу?

Апрельское совещание «Набата» (как будто не было февраля) постановляет: поддержать Махно. Задачу его отрядов анархисты видят в том, чтобы завоевать территорию, «на которой должны начаться эксперименты строительства бесклассового общества» (75, 13). На себя они готовы взять идейное руководство движением.

Махно ничего не знал про эти исторические решения.

10 мая, как мы отмечали уже, он начинает поход в Полтавскую и Харьковскую губернии, потом в Донбасс (одновременно отдельными отрядами оперируя в исконных своих районах) с единственной целью – выдрать из земли корни,

которые успели пустить большевики. Должно быть, эта грандиозная карательная операция была поистине страшна: сил для организованной борьбы с Махно у красного командования в это время действительно не было, и батька со своими отрядами хозяйничал в деревнях, как хотел. 6 мая стало большевикам лихо: поляки взяли Киев, и до июля, когда наметился перелом в польской войне, напряжение боев на западе не спадало. В июне же начался выход врангелевцев из Крыма: как-то поразительно легко откупорилась перекопская пробка, и, хотя потом сразу пошли очень тяжелые бои, в которых белые так и не узнали продыху, 17 июня, так или иначе, Врангель уже выступал в «освобожденном» Мелитополе. Из числа красных частей сталкивались с Махно лишь части внутренней службы, чоновцы, да проходящие на фронт. Ни тех ни других он не боялся. Летом 1920 года у Махно было 5 тысяч человек – всадники и посаженная на тачанки с пулеметами «пехота». Армия была необыкновенно мобильна, хорошо вооружена, подчинена жесткой, расстрельной дисциплине. Карались грабежи и самовольные «реквизиции» у крестьян – благодаря чему Махно удалось добиться того, что по всей Восточной Украине в большинстве сел он мог, выслав вперед гонцов, оповещающих о его приближении, мгновенно поменять лошадей, получить фураж, людей, оружие.

Много размышлявший над загадкой фантастически быстрых «бросков» Махно командарм Роберт Эйдеман в конце концов вычислил все села, которые были постоянными конными «депо» Махно и делали его неуловимым для красной кавалерии, вынужденной гоняться за ним на усталых лошадях. Разведка была поставлена великолепно: благодаря своим агентам в деревнях махновцы знали все. Кроме того, той «светскости», которую армия приобрела было в период анархистской республики 1919 года, теперь в ней не было. Все решал штаб. Выборность старших командиров хоть и не была отменена официально, но больше не практиковалась. Реввоенсовет армии, когда-то признанный высшим авторитетом в республичке «вольных советов», продолжал существовать, но явно в роли какого-то рудимента: с тех пор как Виктор Попов сменил на посту арестованного Волина, – сложновато взять в толк, чем, собственно, Реввоенсовет занимался. Ибо Попов, конечно, был не из рода теоретиков. Так, перебивались по части культработы: листовки, несколько номеров газеты, спектакли в деревнях давали пару раз…

Зато штаб… Сохранилась фотография, запечатлевшая махновских командиров осенью 1920 года. Снимались без Махно, который в это время лежал раненый: Куриленко, Белаш, Щусь, Марченко, Каретников, Василевский. Ни следа «анархистской»

бутафории 1918 года, никаких алых одеяний и голубых офицерских трофейных шинелей. Все скромно, по-военному. Хорошо подогнанная амуниция. Френчи. Галифе. Военная выправка. От красных – не отличить. На Белаше, правда, рабочий картузик. Франтоватого Щуся выделяет богатая портупея. Но в целом видно – бойцы. Поэтому, конечно, наивно было надеяться, что какая-нибудь проходящая часть случайно «накроет» Махно. Всех «случайных» Махно оглядывал, ощупывал – потом налетал и бил. Интересно наблюдение Н. Сухогорской – как в самом еще начале весны Махно разделался с отрядом курсантов, явившимся «ловить» его в Гуляй-Поле: «Мы им рассказывали, каков Махно по силе и по хитрости и что пеший конному не противник. Они только смеялись по неопытности… Было их человек 160. Махно нарочно подошел к ним поближе, затем заставил их погоняться за собой верст 40 и тогда только принял бой. Вернулось курсантов в село человек 30, не больше…» (74, 50).

То же самое повторялось потом в масштабах все более возрастающих: все лето 1920-го махновцы беспрерывно подкарауливают и разоружают какие-то части – две тысячи убитых, тридцать тысяч взятых в плен, – расстреливают комиссаров и командиров (94, 229). Если с расстрелянными все ясно, то с пленными бывало по-разному. Обычно, налетая на красноармейскую часть, махновцы солдат не убивали, а предлагали служить у себя или, разоружив, отпускали на все четыре стороны. Можно было побывать в плену у Махно дважды, трижды даже. Какая-то была в этом вязкая безнадежность: махновцы устраивали митинги, взывая к разуму и сердцу солдат, крестьян и крестьянских детей. Ничего не помогало. Против него работала огромная машина военизированной республики Советов, которая вновь собирала отпущенных «на все четыре стороны» людей, комплектовала их, вооружала и вновь отправляла на войну. Махно требовал от людей выбора, он сам был человек выбора, сделанного еще в юности, – но почему-то ему не приходило в голову, что для большинства выбор – непосильное, страшное бремя, что большинство людей из здравого чувства самосохранения предпочитают существовать заодно с другими, не думая ни о каком выборе, не помня о нем. Махно срывался. Однажды в бою у села Голубовки он захватил в плен 75 красноармейцев, которые до этого уже были однажды им пленены, согласились служить у него, но в следующем же бою опять перебежали к красным. Узнав, что пленники из карательного отряда по борьбе с бандитизмом, Махно рассвирепел: «Вам все равно, служить у меня или у красных. Расстрелять!» (12, 161).

Особенную злость у махновцев вызывало, если вдруг случалось непокорство или неблагодарность крестьян: по разведсводкам 13-й армии, после неудачной попытки навербовать добровольцев в селе Рождественское махновцы подожгли село и открыли по нему пулеметный огонь (12, 159). Тут надо оговориться: разведсводкам не всегда можно верить, тем более что в отношении Махно и у красных, и у белых по каналам разведки текла чистая небывальщина. Но нельзя отрицать и того, что в двадцатом году уже появились «большевистские» села, которые надеялись за счет подчинения властям снискать себе мир и процветание. Нельзя отрицать и другого: что в махновщине 1920 года, как, впрочем, и в белом движении, и в большевизме той поры, все более сказывался какой-то трудноопределимый маразм – маразм предельного ожесточения и предельной усталости.

Явственнее всего он проявился в случае расстрела Феди Глущенко, хлопца из махновской контрразведки, который был зимой 1920 года во время развала армии захвачен в плен и, чтобы спасти себе жизнь, согласился служить ЧК. Летом вместе с напарником-чекистом его отправили в ряды повстанцев, чтобы «убрать» Махно. Однако, оказавшись среди своих, Федя немедленно изобличил напарника и чистосердечно рассказал, с какою миссией они были посланы. Махно выслушал его… и велел расстрелять. Дальнейшее Аршинов описывает так: «Перед смертью Федя… попросил передать товарищам-махновцам, что он умирает не как подлец, а как верный друг повстанцев, поступивший в ЧеКа для того лишь, чтобы своею смертью спасти жизнь батьки Махно. „Боже вам помоги“ – были его последние слова…» (2, 164).

Конечно, Махно мог бы остановить казнь. Он этого не сделал: значит, не доверял никому и хотел, чтобы другие боялись. И боялся сам. Вот в этом-то и ощущается маразм: в жестокости от боязни, от бессилия. Если со своим так расправились, то что же с чужими-то делали?

Понятно, что Махно не просто так боялся смерти, подосланных убийц. Наверняка ему было известно воззвание к крестьянам Екатеринославской губернии, подписанное Х. Раковским и Ф. Дзержинским, в котором они под вполне благовидным предлогом – отнюдь не за презренные полмиллиона, как Деникин! – предлагали его прикончить: «В прошлом году Махно, боясь конкуренции Григорьева, распорядился, чтобы его убили. Разве не найдется среди вас достаточно честного и мужественного революционера, который… не приложит к нему ту же кару?» (12, 162).

Время разными голосами, под разными предлогами просило крови – и лилась кровь, как по наговору.

12 июля рейдирующие отряды Махно вошли в село Успеновку. Здесь батьку ждала неожиданная, но приятная встреча. Его ожидали старые знакомые из «Набата»: Петр Аршинов, Яков Суховольский (Алый), Иосиф Тепер, Арон Барон. Анархисты поведали Махно о сущности своих апрельских решений и о той роли, которой наделяет его история. Махно выслушал их. «Набатовцы» в очередной раз делали на него ставку. Это было все же лучше, чем полная изоляция. Заработала секция пропаганды, опять, хоть и нерегулярно, стала выходить газета «Голос махновца».

Одно за другим печатаются воззвания: «Остановись, прочти, подумай!», «Товарищи красноармейцы фронта и тыла!», «Слово махновцев трудовому казачеству Дона и Кубани», «Товарищи красные солдаты!».

Пропаганда эта имела частичный успех. Александр Скирда в своей книге опубликовал редкий документ – листовку красноармейцев 522-го полка, перешедших на сторону махновцев, о чем наши исследователи не упоминают (Кубанин пишет о «пленении» полка, умалчивая о листовке, которая впоследствии была перепечатана в анархистской газете «Волна», выходившей в 1920-е годы в Детройте). Листовка, меж тем, заслуживает внимания:

«Мы, красноармейцы 522-го полка, 25 июня 1920 без сопротивления и добровольно, со всей амуницией и вооружением перешли на сторону махновских повстанцев. Коммунисты… объясняют наш переход… разнузданностью и склонностью к бандитизму. Все это низкая и подлая ложь комиссаров, которые до сих пор использовали нас, как пушечное мясо. За время двухлетней службы в рядах Красной армии мы пришли к заключению, что всякий социальный режим в наше время опирается лишь на господство комиссаров, что в конце концов приведет нас к такому рабству, которого до сих пор не знала история…» (94, 232).

Воззвание заканчивается подписью: «Красноармейцы 522 полка, ныне махновцы».

В этих словах есть наивная жестокая правда. И все-таки этот случай – редкость. Интересно понять, почему во время крестьянских «войн» части Красной армии, в основном состоящие именно из крестьян, почти никогда не переходили на сторону повстанцев. Можно, конечно, все объяснить тем, что на подавление восстаний отправляли части особого рода: курсантов, «интернационалистов», проверенные и спаянные в боях части

Красной армии, карательные отряды ЧОН и ВНУС. Но это очень пристрастное объяснение. От перехода на сторону повстанцев удерживал, конечно, страх: человеку со стороны, не вовлеченному в мятеж, не связанному с мятежниками узами крови и ненависти, обреченность восставших была, наверно, очень чутко ощутима. Все-таки вовлеченные в противоборство силы никогда не были равны – ни по количеству людей, ни по вооружению, ни по качеству питающих движение смыслов. Вот именно здесь нащупывается что-то очень важное, а именно: дух угрюмой безнадежности, который реял над повстанческими отрядами и отпугивал их потенциальных единомышленников. Их какая-то идейная скудость, возмещали которую только ненависть и жестокость. Но ненавистью спаять можно только ограниченное число людей, другим нужны более широкие, более просторные смыслы. Потому-то Ленин и устрашился Кронштадта, что там совершенно явно формулировалась внятная политическая идея многопартийной советской демократии и этическая идея отказа от диктатуры, идея человеческого братства, которой можно было объединить миллионы людей. Махновщина недотягивала до Кронштадта по уровню обобщения, хотя и стояла на голову выше других крестьянских движений, способных сформулировать лишь частные, а подчас откровенно погромные лозунги.

12 июля махновцы ворвались в городок Зеньков: первым делом убито 27 коммунистов, затем разграблены и разбиты продовольственные склады с запасами муки, соли, круп, сахара. В августе Миргород – то же самое, расстрелы и грабеж, вернее даже не грабеж, а какое-то бессмысленное уничтожение всего накопленного большевистской властью. Но не могло в голодном 1920 году такое глумление над хлебом насущным пройти за просто так, должно было аукнуться! Разрушая, махновщина несла в себе зерно саморазрушения. В этом смысле она была обречена. Если бы махновцам позволили строить свои «вольные советы», они, можно не сомневаться, вошли бы в историю совсем другим образом, с другим выражением лица – например, как странная революционная секта трудолюбивых восточноукраинских крестьян. Но этого не случилось. Вся энергия махновщины пережглась в ненависти…

Самый большой позор Махно 1920 года – «успеновская авантюра» – случился в августе, когда уже наступление белых стало угрожать территории махновского района. Тогда штаб Повстанческой решил не ограничиваться декларациями о своей революционности, а заслать в тыл врангелевцам рейдовую группу в 800 человек. Группа собралась в тылу красной 13-й армии возле все той же Успеновки, где махновцы повстречались с посланцами

«Набата», но тут выяснилось, что в селе находится красноармейская часть и полевые кассы с крупными суммами денег. Поход в тыл Врангеля был отменен, махновцы налетели на Успеновку и, прихватив красноармейское жалованье, стали отходить, отстреливаясь из пулеметов. Ускользающие денежки придали задору красноармейцам, которые, крупными силами бросившись махновцам наперерез, истребили значительную часть отряда и чуть не захватили в плен самого Махно.

Анархисты из Реввоенсовета и секции пропаганды были возмущены батькиной авантюрой. Вновь, как и в девятнадцатом году, между идейным центром махновской армии и ее штабом стал назревать конфликт. Но если в 1919 году Волин не осмеливался, да и не желал, видимо, делать поползновения к замене Махно другим командиром, то возглавлявший Реввоенсовет в 1920-м Арон Барон такую попытку предпринял.

В самом конце августа в бою возле Изюма Махно был ранен в ногу, у него была раздроблена лодыжка. Несколько дней отряд вез раненого батьку на тачанке, пока, наконец, махновцы не вошли в Старобельск, где 3 сентября местный хирург прооперировал Махно и Василия Куриленко, тоже раненного в ногу. Врач сказал, что опасности для жизни раны не представляют, но болеть командиры будут долго и, по-видимому, не скоро сядут в седло (12, 167).

Арон Барон решил использовать этот шанс и потребовал от штаба повстанцев, чтобы боевые операции армии впредь согласовывались с председателем Реввоенсовета и другими представителями «Набата». У махновских командиров это вызвало шок: они всегда воспринимали набатовцев как своего рода прилепок к армии, делателей листовок и газет – но чтобы эти люди решали боевые вопросы?! Были недовольны и рядовые махновцы, которые тоже не слишком серьезно относились к «идейным» городским анархистам и, доверяя только своим «батькам», конечно, не потерпели бы, чтобы ими командовал совершенно им чуждый человек, какими бы революционными заслугами он ни обладал.[18]

Почувствовав неудачу своей антимахновской эскапады, Барон вынужден был заявить о своем уходе с поста председателя Реввоенсовета армии и уехать в Харьков, бросив знаменитую фразу:

– Лучше сидеть в советской тюрьме, чем прозябать в этой пресловутой анархистской обстановке… (75, 99).

В Харькове в начале сентября как раз проходила конференция «Набата», и Барон подоспел как раз к сроку, чтобы наговорить о Махно множество неприятных вещей и склонить своих товарищей

к принятию весьма горькой резолюции: «Конференция считает нужным подчеркнуть, что крестьянские восстания последнего времени не революция, а бунт, и никаких изменений в общественных формах они не несут…» (40, 210).

«Набат» отрекся от Махно: «Два года борьбы против разных властей под руководством анархиста Махно выработали внутри (повстанческой армии. – В. Г.) некое ядро, которое усвоило лозунги безвластия и вольного советского строя. Это ядро составляет тип промежуточный между обычным бунтарем, инстинктивным искателем справедливости, и сознательным революционером-профессионалом. Работая в согласии с анархистскими организациями, это ядро могло бы стать одним из активных отрядов пропаганды анархистских идей. Этому мешает, однако, то обстоятельство, что стоящий во главе махновщины „батько“ Махно, обладающий многими ценными для революционера качествами, принадлежит, к сожалению, к тому типу людей, которые свои личные капризы не всегда могут подчинить интересам дела…» (40, 211).

Черт возьми, а прав оказался Ленин, прозывавший анархистов «пустомелями»!

Крестьян же, которые поставляли рекрутов в махновскую армию, анархистские резолюции нимало не трогали: они воевали за хлеб и за землю и в 1920 году еще не проиграли этой войны. Махно – не вопреки, а благодаря своей жестокости – оказался неплохим охранителем. Есть две впечатляющие цифры. Если в среднем по Украине процент изъятия хлеба у крестьян составлял около одной трети задания, то в «махновской» Александровской губернии он был ничтожно мал – всего 3,1 %. Практически здесь продразверстка была парализована, изъять не удалось ничего. Да и некому было особенно изымать: в той же Александровской губернии к ноябрю 1920 года удалось организовать всего 54 комитета незаможных селян, тогда как в Киевской их было 1274. Махно все еще оставался хозяином в своем районе…

Махновцы простояли в Старобельске по своим меркам очень долго, почти месяц, никого не беспокоя: им нужен был отдых, нужно было подлечить батьку. В Старобельске-то и сыскался фотограф, который запечатлел махновский штаб, раненого Махно в госпитале, раненых Махно и Куриленко в компании друзей, с сестрой милосердия на первом плане…

Опять была осень, облетающая листва. Время тянулось, нужно было что-то решать. Поляки были отброшены назад, в Польшу. Красные перебрасывали все силы на Южный фронт. В сентябре врангелевцы занимали уже Синельниково, Александровск, Гуляй-Поле…

Махно был неглуп и, конечно, сознавал, что Барон во многом прав и, сколько ни жги, ни режь, – крестьянской проблемы так не решить. Он чувствовал, что решение ее возможно лишь на политическом уровне. В этом смысле то, что «Набат» отвернулся от него, конечно, травмировало Махно. «Своего» проводника в высших сферах политики у него не было. Махновщина была паровой машиной без привода: пар клокотал в ней, но не совершал никакой полезной работы. Нужно было найти способ эту клокочущую энергию как-то направить в механизм действующей политики.

Внезапное событие вдруг приоткрыло надежду на эту возможность. 20 сентября в Старобельск приехал уполномоченный РВС Южфронта с предложением начать переговоры о заключении союза против Врангеля.

ПРОТИВ ВРАНГЕЛЯ

8 ноября 1920 года курсант роты связи Петроградской военно-инженерной школы Иван Мишин сидел с напарником возле катушки телефонного кабеля в стогу сена и, покуривая, с вниманием прислушивался к звуку снарядов: красноармейские, посвистывая, уходили через Сиваш на крымскую сторону, а оттуда, пролетая над головами курсантов и разрываясь где-то позади, белогвардейские летели на таврическую. Постепенно, однако, все меньше разрывов слышалось за спинами курсантов, а это значило, что пущенные вброд через гнилое море Сиваш конный корпус махновцев и части 12-й и 52-й дивизий сделали свое дело и достигли белого берега, по ним бьют сейчас пушки в упор. Но скоро смолкнут и они, где-то на крымской стороне пойдет смертельный рукопашный бой, в котором пушки – уже не подмога.

Сколько продлится битва с Врангелем, знать курсанты не могли: может, неделю, может, месяц, а может быть, даже два. Наступление, начатое в конце 1920 года, показало силу Красной армии, но в то же время было ясно, что противник тоже и силен, и опытен. «Отрезать» белых от Крыма, заперев их в Таврии, не удалось – все лучшие силы ушли в Крым вполне боеспособными, нанеся напоследок несколько неожиданно тяжких ударов красным частям, дав своим в порядке отойти в Крым и взорвать за собою мосты на переправах. Атака Турецкого вала 30 октября частями 13-й армии также была неудачна: еще до рассвета началось наступление пехоты, сдерживаемое сильным артиллерийским и пулеметным огнем. С появлением бронемашин в середине дня удалось захватить городок Перекоп у самого подножия белых укреплений, но дальше продвинуться части ударной группы не смогли, поливаемые смертельным огнем. И хотя им удалось удержать Перекоп, и хотя на следующий день была даже отражена атака белых из-за вала, в действительности совершенно неясно было, что за орешек Крым и как быстро удастся его расколоть.

Начдив—51 Блюхер в таких выражениях докладывал своему командарму Корку о неудаче приступа 30 октября: «Тактически позиция у противника неоценимая: все преимущества и выгоды на его стороне… Продвигающиеся наши части заметны и обстреливаются дальнобойной артиллерией за верст 8—10 не доходя Перекопа. Артиллерия и самые позиции противника закрыты за валом и находятся если и (в) поражаемом пространстве артиллерии, то во всяком случае без наблюдения…

8 рядов проволочных заграждений, около 100 пулеметных гнезд и могучая артиллерия заставила наши части залечь около самого вала…» Во время третьей атаки части прошли две укрепленные полосы, но отступили, ибо невозможно взять крепость «одними штыками, плюс к этому не имея точных данных о состоянии позиции» (79, оп. 3, д. 129, л. д. 339–343).

К Перекопу необходимо было спешно перебрасывать тяжелые орудия, аэропланы, другую технику, но все это надо было собирать по крохам, доставлять и, следовательно, терять время… 31 октября в Бериславль, находящийся километрах в восьмидесяти от передовой, прибыл 1-й красноармейский танковый отряд «в количестве одного исправного танка». В рапорте командира бронечастей 6-й армии командарму Корку указывалось, что «второй танк стал в 14 верстах от Бериславля, третий в 30. Оба последних неисправны: лопнули трубки радиаторов вследствие холода и отсутствия спирта» (79, оп. 3, д. 129, л. д. 300). Образы потерявших подвижность танков, обледеневших в пустой степи на подступах к Крыму, грозили стать мрачной метафорой всей зимней кампании 1920 года. К позиционной войне Красная армия была не готова. В течение нескольких дней нужно было выдумать что-то, что позволило бы избежать затяжной войны и ворваться в Крым до того, как приостановка боевых действий повлечет за собой упадок настроения в частях и потерю боеспособности войск…

Фрунзе было известно, что «вскрыть» перекопскую позицию можно, выйдя в тыл ей, форсировав Сиваш, который в октябре еще начал необыкновенно сильно мелеть, о чем неоднократно сообщали красным перебежчики. Залив с песчаным дном в период высыхания шириною не превышал версты, а глубиною – поларшина, и хотя в ту осень такого роскошества не было, все равно, пройти могла и пехота, и кавалерия. На том берегу, в районе Литовского полуострова, была одна укрепленная линия взводных окопов полного профиля, соединенных ходами сообщения, блиндажи с накатом в три вершка – но, конечно, все это не шло ни в какое сравнение с тою поистине редко встречавшейся в истории фортификации позицией, которую представлял собой Турецкий вал – десятиметровая земляная стена, перекрывающая весь крымский перешеек, о которую должны были разбиться и красные пехотные цепи, и волны кавалерии – словно волны степных кочевников о Великую китайскую стену.

Традиционные переправы через Сиваш – в районе Чонгарского полуострова и в других местах, – бдительно охранялись, ночью с прожекторами – белая артиллерия не жалела

французских снарядов и открывала огонь даже по отдельному человеку. Но тут Сиваш обмелел, всю воду из него сдуло ветром. Этот случай белые тоже предвидели, но заминировать дно залива толком не успели. Нужно было не упустить момент. Фрунзе не упустил.

Как известно, в ночь на 8 ноября части 6-й армии Корка, имея в авангарде конный корпус махновцев, перешли Сиваш и бросились на позиции белых на Литовском полуострове. Одновременно начался фронтальный штурм Турецкого вала и атаки во всех местах возможных переправ…

Ни восьмого, ни девятого ноября ни курсантам, сидящим в стогу сена с катушкой телефонного кабеля, ни командармам трех основных армий, бравших Крым, ни даже самому Фрунзе не могло быть ясно, чем закончится все это, и окажется ли предпринятое наступление просто вылазкой в Крым или в самом деле даст возможность закрепиться и, набравшись сил, развивать успех далее до полной победы. Но то, что победа так близка, не ожидал никто. После летних и осенних ожесточенных боев трудно было предположить, что белая сила будет сломлена в три дня. После 11 ноября врангелевцы практически уже не сопротивлялись, поспешно отступая к черноморским портам. Враг бежал. Война закончилась.

Для курсанта Ивана Мишина окончание боевых действий означало прежде всего прекращение бесчисленных мытарств, связанных с войною, и возвращение в Петроград, в любимые классы Павловского замка для занятий военной наукой. Ни рядовые курсанты, ни командиры бригады не могли, конечно, и помыслить в этот момент, что дух Гражданской войны еще не утолил своей жажды и что многие из них так и не вырвутся живыми из проклятых заколдованных пространств заснеженной степи. Казалось, напротив, что на этот раз – решительно конец. Был дан приказ: пешим порядком двигаться в Мелитополь для погрузки в вагоны и отправки в Петроград. Приказ был выполнен. Они отшагали сто верст, с торжеством победителей, исполнивших свой долг. Потом погрузка в вагоны была приостановлена. Возможно, им велели выйти из вагонов. Возможно – подняться с полу вокзальчика, где они спали вповалку со своими вещмешками и винтовками, и выстроиться на платформе. Приехал человек из Реввоенсовета Южфронта. С бумагой. Он зачитал бумагу перед строем курсантов. Из нее явствовало, что Махно, с партизанами которого они вполне сжились, воюя вместе против последнего врага, отказался выполнить приказ командующего фронтом и объявлен вне закона, а также, что крымские части его прорвались с полуострова на материк, и

теперь задача курсантов – помочь уничтожить их…

Этим приказом, зачитанным на перроне Мелитопольского вокзала курсантам и точно так же зачитанным в других пехотных и кавалерийских частях командам бронепоездов и летчикам авиаотрядов, открывалось последнее действие разыгравшегося на Украине исторического спектакля.

В истории махновщины последнее соглашение с большевиками в октябре 1920 года о совместных действиях против Врангеля и последовавший сразу вслед за разгромом Врангеля разрыв этого соглашения – несомненно, один из самых загадочных моментов. В свое время он был затемнен умышленно. Скажем, участие махновцев в героическом форсировании Сиваша в более или менее серьезной исторической литературе лишь иногда признавалось открыто. В общедоступных книгах, в кино, в школьных учебниках – которые, собственно, и формируют общепризнанную картину прошлого, – оно даже не упоминалось. Сейчас, с открытием «спецхранов» и многих архивных документов, легко отделаться от пропагандистских мифов прошлого.

Труднее проследить за боевыми действиями конкретных махновских частей в составе Красной армии, оценить их роль в разгроме врангелевцев: здесь очень много сырого архивного материала, который нуждается в элементарной систематизации. Но в конце концов эта задача будет, конечно, выполнена историками. Наиболее таинственна в этой истории та ее часть, которая касается «политических переговоров» махновской делегации с большевистскими руководителями в Харькове. Тут не вполне ясна роль Москвы, конкретные роли высших партийных и государственных чинов. Кто предложил инсценировать переговоры с повстанцами? От кого затем исходил приказ об аресте их делегации и разгроме частей? Почему и на этот раз большевики не продемонстрировали способности к компромиссу и предпочли действовать по старой схеме: обвинить Махно в неповиновении – объявить вне закона – уничтожить? И почему, наконец, сам Махно, зная методы политической борьбы большевиков, поверил в серьезность союза? Почему он уверился, что ему простится то, что ни одному мятежнику не прощалось? Самовольств девятнадцатого года с избытком хватило бы, чтобы его убрать с дороги, а тут еще – восемь месяцев резни 1920-го! На что он мог рассчитывать? Почему, действительно, было ему не сделаться союзником генерала Врангеля, самого либерального из всех белых военачальников, который сам предлагал Махно сотрудничество? Где логика?

Вот эту логику и надо понять, чтобы разгадать тайную

подоплеку союза махновцев с Красной армией. Но тогда придется, несомненно, вернуться нам немного назад, в то время, когда Крым еще казался последней неприступной твердыней белого дела и действительным средоточием всех глубоко мыслящих и глубоко чувствующих людей России. Только потом выяснилось, что это иллюзия, что действительно думающих, неравнодушных и деятельных было чрезвычайно мало, но до ужаса, до удушья много было людей бывших – бывших журналистов, бывших министров, полицеймейстеров, священников без приходов, помещиков без земли и фабрикантов без богатства, – отчего, однако, амбиции этих людей нисколько не уменьшались, а может быть, даже возрастали – в преувеличенно-патетических требованиях у военных властей денег, должностей, бумаги для газет и помещений для учреждений… Крым не мог не пасть: слишком размягченная собралась здесь публика, слишком много было собственно «публики» – тогда как против красных легионов нужны были солдаты, офицеры, граждане… Но это видно сейчас, это стало видно, когда Крым пал.

А в начале 1920 года все виделось иначе.

В конце марта с прибытием марковской дивизии из Новороссийска в Севастополь эвакуация остатков деникинской армии в Крым была завершена. Армию удалось спасти. Казалось, можно спасти еще и белое дело.

Первым шагом на этом пути представлялась замена главнокомандующего. Ультиматум А. И. Деникину предъявил генерал Кутепов, заявивший, что после всего происшедшего в Новороссийске, после бегства и малодушного отступления перед партизанскими бандами «зеленых» Добровольческий корпус уже не доверяет ему так, как раньше.

Деникин понимал, что означают эти слова. Армии нужен был новый вождь. Под него давно копал Врангель, рвался к власти честолюбивый Слащев. Новороссийский разгром совершенно деморализовал войска: это уже по тому было видно, с каким трудом удавалось пресечь бесчинства переправленных в Крым частей. Сам генерал Кутепов так усердствовал в наведении дисциплины, что вызвал даже протест симферопольского земства: «Население лишено возможности посылать своих детей в школы из-за болтающихся на фонарях висельников» (9, 90). Ясно было, что такими мерами нельзя ни спасти армию, ни добиться победы. Во главе войск должен был стать другой военачальник, способный выдвигать новые идеи.

Главных претендентов на этот пост было, как уже ясно, два. Первый – генерал Яков Слащев-Крымский, отвоевавший для белых Крым, первым сообразивший – когда еще Доброармия вяло

стекала на Дон, – что спрятаться можно будет только на полуострове, и первый замкнувший крымские перешейки силами своего корпуса. Слащев был человек необыкновенного военного дарования, даже пристрастие к кокаину не притупляло его талант, а только, может быть, делало его парадоксальнее и злее. Вторым был генерал Петр Врангель, политический оппонент Деникина, тайно интриговавший за его спиной и несколько раз пытавшийся угрозами отставки подтолкнуть главнокомандующего к более решительным внутренним реформам.

У Врангеля были сторонники, считавшие, что крушение белого дела обусловлено прежде всего бездарным промедлением решения вопроса о земле. Деникин знал эти настроения, наиболее отчетливо формулируемые в «особых мнениях» по пересмотру проекта земельного уложения и в разного рода предупредительных записках, присылаемых в Особое совещание при главнокомандующем. В одной из них профессор Харьковского университета М. М. Соболев договаривался до прямого эсерства, предупреждая, что крестьянство может быть умиротворено только при условии наделения малоземельных землею – ему даже казалась небезопасной ставка на свободного покупателя земли, ибо так «не будет решена земельная проблема, как ее понимает крестьянская масса» (71). Но Деникин и не желал быть вождем масс, в понимании которых наилучшим решением земельного вопроса был революционный грабеж. Он защищал даже не помещиков, а незыблемость Закона: ибо, если упраздняется Закон, у страны не может быть иного выхода, кроме как в хаос и распад. С другой стороны, нельзя было отрицать, что, следуя букве закона, он хаоса и распада не избег, что растяжение «подготовительного этапа» реформы на два года имело результатом колоссальный социальный взрыв, испепеливший тыл его армии. Деникин не знал, как найти выход из этого противоречия. Расположившись в феодосийской гостинице «Астория», он ждал, какое решение примет генералитет Добровольческой армии. Он был готов к отставке.

3 апреля генерал Слащев в Джанкое «от имени войск и своего» приветствовал прибывшие на позиции славные части Дроздове кой, марковской и алексеевской дивизий и выразил уверенность, что, оправившись, войска выступят на фронт, чтобы «с новыми силами идти к Москве» (80, оп. 1, д. 20, л. д. 43). Пока прославленный боевой генерал ораторствовал перед частями, в Севастополе начался военный совет, посвященный выбору кандидатуры нового главнокомандующего. Совет длился целый день. Лишь ночью четвертого по прямому проводу в Феодосию

было сообщено: Врангель. Деникин не замедлил с ответом, немедленно подписав приказ о назначении последнего главнокомандующим Вооруженными силами Юга России. Пятого апреля Антон Иванович Деникин, после официального прощания со штабом и офицерской ротой охраны, одетый в матерчатый английский плащ, вышел из своего номера в гостинице «Астория» и, поднявшись на борт стоявшего под парами английского миноносца, навеки оставил землю России.

Оказавшись во главе белого движения, Петр Николаевич Врангель отверг советы английских дипломатов ограничиться обороной Крыма, понимая, что отсидеться за перекопской позицией долго не удастся – любой мир с большевиками будет лишь тактической уверткой – и начал готовиться к новому широкомасштабному походу на красных. Однако он решил не повторять ошибок предшественников, не довольствоваться англо-французской военной помощью, а воодушевить поход новой политической программой, придать ему соответствующее идеологическое обеспечение. Нужно было привлечь на свою сторону крестьянство. Нужно было нейтрализовать, а лучше – привлечь на свою сторону силы, прежде объединенные петлюровским движением на Украине, не отпугнув их образом «единой и неделимой» России. Нужно было вновь залучить на свою сторону разочарованных белым движением донских и кубанских казаков, а также кавказских горцев. Нужно было сформулировать привлекательные лозунги для рабочих – чтобы, выступив из Крыма, гарантировать себе успешные мобилизации.

Время торопило. 25 апреля началась советско-польская война, и, хотя с правительством Пилсудского у Русской армии единых целей быть не могло, не использовать момент было преступно. 26 апреля поляки взяли уже Житомир и Коростень, а у Перекопа все еще только звучал «редкий артиллерийский огонь» – белые войска не были готовы к выступлению.

Хотя постфактум многие утверждали, что именно болезненная расслабленность внутренней жизни белого Крыма, яд «неизменной лести, прислужничества» и одурманивания рассудка «явно бессовестными измышлениями о соотношении сил своих и противника» (9, 8) и погубили врангелевский режим, следует все же признать, что ни одно правительство времен Гражданской войны, за исключением разве что большевистского, не обнаружило способности в столь короткие сроки формулировать и утверждать законы такой важности, какие были приняты правительством Юга России. Принятый за два только месяца пакет законов (декларация по национальному вопросу, закон о земле, закон о волостных земствах и сельских общинах)

сделал бы честь любому режиму, вступившему на путь реформаторства, и, безусловно, в мирное время стал бы для страны целительным лекарством, уникальной возможностью излечить застарелые, вечно обостряющиеся болезни.

Приближался час начала решительных действий. 13 мая 1920 года Врангель в секретном приказе по войскам, указывая на вероятность встречи с махновскими и петлюровскими отрядами, предписывает командирам «сообразовывать свои действия с действиями войск этих групп, имея в виду основную задачу свергнуть коммунизм и помочь русскому народу воссоздать свое великое отечество» (40, 149).

За десять дней до приказа о начале наступления – опубликован принятый правительственным Сенатом закон о земле, отличающийся совершенно не свойственной для российских законов решительностью. После опубликования закона главнокомандующий в разговоре с одним из генералов вынужден был выслушать попреки, что помещики не вполне довольны новым законом. Врангель резко оборвал скулеж:

– Я сам помещик, и у меня первого придется делить землю… (9, 15).

Именно делить, отдавать в собственность «вечную, наследственную, нерушимую». На чувстве собственника, которым мог стать любой крестьянин, Врангель и хотел сыграть, зная, что крестьян не устраивает большевистская национализация земли. Если бы такой закон был принят в 1906 году, когда по всей стране заради земли рвались эсеровские бомбы, в России больше никогда не было бы революции, она давно была бы страной с развитым фермерским хозяйством. По сравнению с реформами Столыпина врангелевский закон был просто революционным – не какие-то отдаленные сибирские земли отдавались крестьянам, а все: казенные, банковские, городские, помещичьи, частновладельческие – то есть буквально все, на которые когда-либо поднималась рука русских революционеров с требованием равенства и справедливости. Помещикам оставлялись только усадьбы «с садами и огородами и небольшими участками полевой земли», что было, в общем, гуманно. Де-факто признавался революционный передел земли: каждый, сумевший по весне обработать и засеять землю, объявлялся ее хозяином. Выкуп за землю назначался сравнительно небольшой: пятая часть урожая ржи или пшеницы на протяжении двадцати пяти лет. В целом в законе просматривался, конечно, «кулацкий» уклон, ориентация на крупные фермерские хозяйства, но стартовые возможности у всех были одинаковы, отстранялись законом от ведения земельных дел только коммунисты да явные лоботрясы,

оставившие землю необработанной. Были, как и во всяком законе, еще мелкие закорючки, но, повторяю, столь радикального земельного закона Россия не знала, и если б на дворе был 1906 год, то, вероятно, вся страна вздохнула бы одним общим вздохом облегчения: и крестьяне, что ждали эту землю, и революционеры, что за право земли и воли становились динамитчиками. Врангель опоздал всего лишь лет на пятнадцать – и никто не вздохнул с облегчением, никто не возрадовался.

Ушло время. А. Валентинов в своих воспоминаниях объясняет это тем, что закон очень медленно доходил до сведения населения: первоначальные экземпляры его распространялись только за деньги, газеты белые стоили в тридцать раз дороже большевистских. К тому же выходили они в ничтожном количестве экземпляров, да и те разворовывались. Да, разворовывались! Для самых что ни на есть бытовых нужд! Одно дело, если б судьба Крыма была целиком в руках радикально настроенных военных и политиков… Но идеалистов было ничтожное меньшинство, новую Россию нужно было строить из старого человеческого материала, а материал местами был добрый, местами совсем гнилой. И так же, как невозможно было из Русской армии Врангеля вытравить ставший под конец совсем уж фальшивым пафос Добровольческой армии Деникина, так невозможно было из врангелевских учреждений вытравить тот дух волокиты, низкопоклонства и мздоимства, который волочился за российскими чиновниками еще с гоголевских, с щедринских времен. За всем этим – тоже какая-то горькая ирония истории. А главное – безнадежность: в то, что белые возвращаются под знаменами революционных реформ, уже никто не верил. Доброармия оставила повсеместно о себе весьма неприятные воспоминания, а у врангелевцев все: и форма с погонами, и манеры, и даже язык были те же. Вот тут, я думаю, и кроется весьма субъективное, но чрезвычайно существенное обстоятельство—что после 1919 года народ ничего уже хорошего от белых не ждал. С чем бы они ни шли, они были белые, золотопогонники, господа. В этом все дело. Больше ни в чем. Но этого оказалось достаточно, чтобы обречь белое дело на погибель. По этой же причине Махно не мог быть союзником Врангеля. Хотя если рассуждать отвлеченно, то почему бы ему не принять врангелевский принцип: «советы земельных собственников» против «комитетов бедноты»? Что, в самом деле, мешало?

Серьезного – ничего. Так, неуловимое что-то: запах какой-то другой. Мыло. Одеколон. Выражения лиц. Но именно через эти мелочи – полная несостыковка и неизбежность отталкивания.

Но и это все выяснилось не сразу: прошло несколько месяцев

надежд и самообманов, прежде чем белые начали понимать, что изнасилованная большевиками страна их тоже не ждет. Уже не ждет. А поначалу надежды были самые радужные. 6 июня начался выход войск из Крыма. Перекопскую пробку вышибли с кровью, но быстро: латышские части, сторожившие перешеек, отстреливались в упор не только из винтовок, но и из орудий. Везде, по всему фронту, белым приходилось преодолевать колоссальное сопротивление, но в конечном счете им везде сопутствовала удача.

Врангель был воодушевлен и взбудоражен успехом. 7 июня, узнав, что красные отступают от Перекопа на север, он, сидя в вагоне штабного поезда в Джанкое, азартно воскликнул:

– А не дернуть ли мне сейчас туда на аэроплане? (9, 13).

Вечером седьмого же – первое награждение новым орденом святого Николая Чудотворца. Кавалер – поручик Любич-Ярмолович, танкист, своим танком проломил четыре ряда проволочных заграждений и захватил одно орудие. В его честь в вагоне главнокомандующего пили шампанское…

В результате двухнедельных боев возглавляемая Врангелем Русская армия завершила практически невыполнимую задачу, вырвавшись на оперативный простор из плотно запечатанного крымского горлышка. Но здесь же и начался ужас, который преследовал белое движение до самого конца: равнодушие. Была объявлена мобилизация, но никто не спешил под белые знамена. Потери в частях восполнялись на 80 % пленными, которым было абсолютно все равно, на чьей стороне воевать. Потери же были огромны, причем гибли лучшие, старые части: рассказывали о резервной роте марковской дивизии, целиком уничтоженной тяжелым снарядом в сарае, на месте которого образовалась огромная воронка. Забравшаяся в воронку собака вылезла алого цвета от человеческой крови, отряхиваясь, словно после купания… (9, 19).

Еще хуже, что на фоне совершенно равнодушного отношения к освободителям основной части народа всякий успех Русской армии сопровождался благотворительно-патриотическими обедами, которые, как правило, сопровождались грандиозной попойкой – на нее сбегались устроители-буржуа и многочисленные прихлебатели режима. Для этого людей всегда было предостаточно. Для дела – нет. А. Валентинов вспоминает, как Врангель, узнав, до какой степени бездарно проводится в жизнь его главный внутриполитический козырь – земельный закон, – в отчаянии закричал:

– Где же мне взять честных, толковых людей?.. Где их, наконец, найти!.. Где?! (9, 27).

В конце июня красные предприняли попытку контрнаступления. Спазм кровопролитнейших боев продолжался две недели: на правом фланге кавалерийская группа Жлобы чуть не отрезала и не захватила в плен ставку главнокомандующего в Мелитополе. Окружение и ликвидацию жлобинской кавалерии силами почти одной пехоты Врангель считал случаем беспрецедентным в истории тактики. Позже красное командование придумало подходящее оправдание этой неудаче, заявив, что наступление Жлобы было не более чем демонстрацией, призванной отвлечь внимание белых от выполнения стратегически важной задачи – захвата плацдарма на левом берегу Днепра, возле Каховки. Потери Жлобы – 11,5 тысячи пленных, 60 орудий – заставляли как будто сомневаться, что «демонстрации» можно проводить столь дорогой ценой, но, с другой стороны, на левом фланге белого фронта красным действительно удалось переправиться через Днепр у Каховки и закрепиться на клочке земли, откуда несколько месяцев спустя они и нанесли сокрушающий удар врангелевской армии.

Июль и август – новый приступ войны, закончившийся значительным расширением территории, контролируемой Врангелем, и почти полным истощением сил его армии. Все это время Махно вел себя по отношению к врангелевцам совершенно индифферентно. Он действует так, как будто белых не существует. Более того, если мы проследим за рейдами Махно летом 1920 года, то убедимся, что оперировал он на значительном удалении от линии фронта, в глубоком красном тылу, красным фронтом как бы прикрываясь от белых и непосредственно фронту, собственно, даже и не вредя, чтоб не ослабить реально дерущиеся на фронтах красные части. Другое дело тыл – здесь он желал чувствовать себя хозяином, и если кто приходил заводить свои порядки, бил и резал без пощады. С началом наступления белых он направляется со своими отрядами на север – подальше от района боевых действий. Белым он не сочувствовал. Красным тоже. Ему было важно одно – удержать за собой деревню.

Врангель, разыгрывая во внутренней политике «крестьянскую карту», не оставлял надежды привлечь махновцев на свою сторону. А. Валентинов – журналист, близкий к ставке главнокомандующего, – вспоминает, что в июне, после перенесения ставки в Мелитополь, к Врангелю зачастили «камышовые батьки» в кожаных тужурках, обвешанные револьверами и бомбами. Здесь были и бывшие петлюровские атаманы, и просто закоренелые бандиты, которым надоело сидеть в тростниках. Но Махно не было. Махно никого не прислал.

Одновременно выяснилось, что, несмотря на намерение сплотить вокруг белого движения все возможные силы, реально установить контакты с первыми же посланцами партизан в белый стан по чисто психологическим причинам невозможно. «Камышовые батьки» поражали и видом своим, и повадками: доставляемые с вокзала на автомобиле, они не открывали дверцы, а просто перешагивали через них, как через борт телеги. Чины штаба мучились вопросом: «подавать ли им руки?» Естественно, при таких настроениях ничего путного из этих переговоров получиться не могло. Стороны слишком не доверяли друг другу.

Что-то было фатальное в разделении на черную кость и белую косточку: вроде бы врангелевцы и поняли, что спасти белое движение можно только найдя опору в «народе», – но при встрече с «народом» непреодолимейшая брезгливость возникала… В конце концов белым удалось наладить поставки оружия партизанам петлюровского толка, но о совместных действиях мечтать уже не приходилось.

Самой большой удачей белых был Володин – действительно бывший махновский командир, называвший себя анархистом, простолюдин, самою фигурой своей символизирующий единение белой власти с народом. Из Володина пытались сделать подлинно народного вождя, а из его отряда сформировать соединение с многозначительным названием «дивизия имени батьки Махно». Володин к белым примкнул добровольно – и все равно его все время подозревали в сочувствии большевикам и в конце концов расстреляли, после чего вскоре дивизия снова переметнулась к махновцам. Так что не состыковывалось черное с белым. Принципиально. С тою же неизбежностью, с какой военная переписка Русской армии велась на белой бумаге, а красноармейская – на чистой стороне разорванных конторских книг царского времени: телеграфные ленты наклеивали даже и на исписанную поверхность.[19] И дело тут совсем не в том, что у белых чистой бумаги было больше, а в принципиальной разнице культур, которая, на самом деле, сказывалась в каждой мелочи.

Прежде чем эта невозможность выяснилась вполне, прошло довольно много времени. И белое командование, и Сенат, и «публика» все-таки хотели верить, что «народ» поймет, присягнет, поклонится. Имя Махно белой печатью повторялось, как заклинание. Нет сомнения, что для врангелевских пропагандистов Махно был совершенно литературным персонажем, некоей интеллигентской мечтой о народном герое в образе самого сильного и неуловимого партизана Украины. Нет также сомнения в том, что реальный Махно пропагандистов ужаснул бы куда больше, чем «камышовые батьки», приезжавшие

на поклон к Врангелю. Но до встречи с махновцами самообманы белых в отношении Махно и его отрядов достигли поистине степени душевного расстройства. А. Валентинов вспоминает: «Верхом чьего-то усердия и чьей-то наглости были явно вымышленные сводки штаба Махно, усердно печатавшиеся всей усердной прессой. В „сводках“ сообщалось о занятии Махно Екатеринослава, Синельникова, Лозовой, Кременчуга и чуть ли не Харькова. Сводки демонстрировались в Севастополе на Нахимовском с экрана, собирая целые толпы бессовестно околпачиваемого люда. Излишне, само собой, говорить, что никакой связи с мифическим штабом Махно у нас не существовало… Так завязывался с каждым днем все туже и туже узел лжи, лести, самообмана…» (9, 33). Но этот самообман в таком случае был частью внутренней политики: ведь и Врангель заявлял в одном из своих интервью, что рассматривает партизанский отряд Махно как свою рейдовую группу в тылу врага, и появлялись на улицах южных городов приказы за подписью трех генералов: Деникина, Врангеля, Махно (12, 164). Последняя фальшивка особенно интересна. Вряд ли это обычная попытка обмануть население. За нею стоит большее, целый клубок представлений пропагандистов белого дела, который можно попытаться расплести так: с одной стороны, Махно оказана честь («генерал»), этим сразу определяется и ранг его в случае перехода в белый стан, и соответствующая генеральскому чину субординация; с другой стороны, этим «генералом» Махно как бы окончательно компрометировался в глазах красных и силком «выпихивался» навстречу белым.

Махно, несомненно, кое-что знал обо всей этой возне. Она не могла не раздражать его: белых он ненавидел отчетливой ненавистью плебея и революционера. Нужно было как-то обозначить свою позицию.

В июле, когда Повстанческая армия завершила первый свой кровавый «круг» по Украине и вернулась в родные места, штаб Махно впервые оказался для белых в пределах досягаемости. 9 июля, пробравшись через линию фронта, к Махно в село Времьевка прибыл капитан Русской армии, который по поручению штаба должен был передать на словах, что вся земля без выкупа переходит крестьянам, а местные самоуправления получают самую широкую демократическую автономию. Кроме того, смельчак доставил пакет.

Внутри содержалось послание:

> «Атаману Повстанческих войск Махно.
> Русская армия идет исключительно против

коммунистов, с целью помочь народу избавиться от коммуны и комиссаров и закрепить за трудовым крестьянством земли государственные, помещичьи и другие частновладельческие. Последнее уже проводится в жизнь…

…Теперь усильте работу по борьбе с коммунистами, нападая на их тыл, разрушая транспорт и всемерно содействуя нам в разгроме войск Троцкого. Главное командование будет посильно помогать Вам вооружением, снаряжением, а также специалистами. Пришлите своего доверенного со сведениями в штаб, что вам особенно необходимо…» (17, 135).

Махно распорядился посланца немедленно и публично казнить. Причем не расстрелять – а повесить. Этим подчеркивалась особенная значительность события. Этим должно было быть что-то выражено. Что? К трупу несчастного капитана прикололи записку: «Никогда никакого союза у Махно с белогвардейцами не было и не может быть, и если еще кто-то из белогвардейского стана попытается прислать делегата, его постигнет участь, какая постигла первого» (40, 151).

Но почему?! Разве Махно без предложения врангелевцев не разрушал красный тыл, не сдирал с полотна рельсы упряжками волов, не разорял склады, не истреблял партийных активистов? Разве он не нуждался в вооружении? Нуждался. Может быть, некая интонация долженствования смутила его в письме или подпись – «генерального штаба генерал-лейтенант Шатилов»?

Да-да, что-нибудь в этом роде и смутило: слишком много «генералов» в одной строке. Махно ведь был революционер. У него было мировосприятие революционера, язык революционера – и в этом смысле даже любезное «Вам» с большой буквы должно было раздражать его. Любезности и «генералы» не вписывались в картину мира революционера точно так же, как не вписывались в картину мира белого офицера «товарищи», Советы, Реввоенсоветы и прочие химеры революции. Почему Врангель не выбросил лозунг «Советы без коммунистов!», а издал закон о земских самоуправлениях? Не мог. Не владел этим языком. Не понимал, что выражают эти слова. Для него значительными, исполненными смысла словами были совсем другие: Родина, Русь, Вера, Собственность, Мирный Труд, Право.

В приказе по войскам, опубликованном накануне выхода из Крыма, Врангель обещал прощение «заблудшим, которые вернутся к нам» (9, 11). Махно дал понять, что не нуждается в прощении. Труп повешенного капитана в селе Времьевка был

единственным ответом, которого удостоилось белое командование на предложение о сотрудничестве.

В середине июля махновцы вновь покидают прифронтовую полосу и устремляются на север, по второму кругу инспектировать свои владения. В конце июля на красно-белом фронте опять начинаются тяжелейшие бои – до конца августа. Начавшиеся 17 августа переговоры Советского правительства о мире с Польшей позволили часть войск, дравшихся на польском фронте, перебросить против Врангеля. Неожиданно появляются у красных бронепоезда и большие массы конницы. Белые все еще пытались пробиться на север, но силы их иссякали. В журнале военных действий марковской пехотной дивизии события на фронте характеризуются вполне драматически: «3-й марковский полк, отбив ряд жестоких атак красной пехоты, перешел в контратаку и погнал пехоту красных, но, будучи обойденным прорвавшейся конницей красных… принужден был отходить на ст. Бурчатск. Бронеавтомобили „Генерал Слащев“ и „Редкий“ были брошены на правый фланг 2-го полка и сдерживали конницу противника. Около 10 час. с криком „ура“ конница красных бросилась в атаку на отходящие наши цепи. Дружные залпы и огонь всех пулеметов героев-марковцев встретили красную лавину… В 10 ч. 15 м. из лощины внезапно выскочили 5 автоброневиков красных и врезались в цепи 2 полка. Произошло замешательство, и красная конница замкнула кольцо, отрезав два батальона… Погибли герои, будучи частью изрублены, частью в упор расстреляны из пулеметов автоброневиков…» (80, оп. 1, д. 25, л. д. 12–13).

Бои такого накала не спадали несколько недель. «Черный август» белого наступления – как прозвали его красные – для самих белогвардейцев тоже был окрашен в траурные тона: стольких жертв это наступление стоило.

Махно действовал с полным безразличием к последним надрывам врангелевского наступления: Повстанческая армия проходит с запада на восток в 100–150 километрах от линии фронта в совсем тихие, пограничные с Россией районы Харьковской губернии, где в конце концов и замирает, заняв Старобельск. И хотя в справке военного комитета Антанты со ссылкой на «лиц, близких к генералу Врангелю», и сообщалось, что главнокомандующий заключил соглашение с Махно, который «координирует свои действия с ним» (69, 55), это был двойной обман: с одной стороны, французов, которые искали подтверждение целесообразности своих военных инвестиций, а с другой стороны – самих себя. В августе Махно действительно начал искать способ заключить союз. Но – с красными.

Из далека времени это кажется почти невероятным. После всего случившегося в 1919 и 1920 годах как могли большевики и махновцы в принципе о чем-либо договариваться?! Разве кровь порубанных и расстрелянных товарищей не разделяла их? Разве махновцы на собственном опыте не убедились – дважды причем, – что все соглашения с большевиками заканчиваются для них одинаково? И все-таки договор был подписан. Причем не просто договор. В октябре 1920-го соглашению между Повстанческой армией и властями Советской Украины был придан статус правительственного постановления. Мог ли Махно мечтать об этом? Не знаю. Здесь – пик, высшая точка какой-то хитрой политической игры, начиналась которая еще летом.

Официально с февраля Махно был большевиками объявлен врагом, предателем, пособником и союзником Врангеля. Однако, убедившись в невозможности истребить его отряды и видя, что они с каждым днем набирают силу, большевики предпринимают ряд попыток совсем иного свойства. За две недели до того, как посланник белых появился в повстанческом штабе во Времьевке, у Махно побывал еще один делегат. Делегатом этим был представитель александровской организации левых эсеров (меньшинства),[20] который довольно недвусмысленно намекнул, что перед лицом Врангеля истинным революционерам следовало бы забыть все разногласия и, навалившись дружной силой…

Махновцы довольно быстро поняли, что посланец выборматывает не частное мнение левоэсеровской организации города Александровска, а предложение, сформулированное в верхах большевистской партии. Посланец подтвердил это, не прояснив, правда, от кого исходит предложение и каковы его полномочия. Однако заверил, что, если махновцы сочтут необходимым послать в Александровск делегацию для переговоров, им будет гарантирована полная безопасность.

23 июня состоялось заседание Реввоенсовета армии.

Виктор Попов, вероятно, особенно предвзято отнесшийся к посланцу уже в силу того, что над ним с июля 1918 года, как дамоклов меч, висел смертный приговор Ревтрибунала за участие в «левоэсеровском мятеже», прямо сказал, что большевики всегда все делали только для своей выгоды, и, если они предлагают союз, – значит, это ловушка. Махновцы против Врангеля, это само собой. Но что общего может быть у них с революционерами, которые посылают карательные экспедиции в деревни?

Попова поддержал Василий Куриленко, сказав, что отказ должен быть четким и недвусмысленным, чтобы слухи о том, что махновцы потихоньку шушукаются с большевиками, не сказались на престиже движения. Виктор Белаш, самый «красный» среди

махновцев, подумав, рассудил, что надо все-таки продолжать борьбу с большевиками. Нельзя не продолжать. В этом же ключе высказались и все остальные: Марченко, Дерменджи, Огарков.

Махно слушал. Потом сказал, что хотел бы обратить сугубое внимание собравшихся на то, что этот визит, конечно, целиком инспирирован большевиками, которые, вне сомнения, имеют совершенно определенные намерения. Сказано очень расплывчато. Больше, если судить по стенограмме заседания, батька не обронил ни слова. Что же он хотел сказать? Возможно, совсем не то, что в контексте других выступлений звучит как предупреждение о коварстве большевиков. Возможно, он хотел, чтобы помимо письменного ответа посланец передал своим покровителям собственные слова Махно, которые ведь могут быть прочтены и так: намек понял. Да, левоэсеровский посланец не только был отпущен с миром, но и увез письменный ответ о том, что, имея коренные разногласия с большевиками, махновцы, конечно, выступят против Врангеля – но в качестве самостоятельного революционного отряда.

Примечательно, что все эти события разворачивались через два дня после того, как был трагически расстрелян Федя Глущенко, признавшийся старым товарищам, что подослан чекистами. Так что «вариант Махно» большевиками прорабатывался сразу несколькими способами. Какой из них сработает – было не ясно. Махно все это прекрасно понимал, но, пока ситуация была неблагоприятна для него, он занимал двусмысленную позицию. Ему надо было как-то исхитриться и вывернуться, сыграть свою игру.

Пока же карта не шла, он придерживался строгой линии жесточайшего аграрного террора. Он не боялся жестокости. Террор ведь тоже был аргументом в этом затянувшемся политическом диалоге. Махно давал понять, что разговорчиками на этот раз не отделаться – нашла коса на камень. Что если уж переговоры – то всерьез, с печатями, оглаской и гарантиями.

Как ни странно, но именно в этом расчет его оказался верен: большевики всегда считались только с силой, и пошли на переговоры с Повстанческой армией лишь потому, что та все лето громила и жгла их тылы, болтаясь там, подобно раскаленному ядру. Страх, что в момент контрнаступления на Врангеля это ядро опять стронется с места и опять спутает все карты, принудил большевиков к переговорам. «Черный барон» был слишком серьезным противником, чтоб рисковать. Им нужно было обезопасить тыл.

Махно тоже нужно было соглашение. Во-первых, после августовского наступления белые вновь заняли основную

территорию его района: Александровск, Мариуполь, Бердянск, Гуляй-Поле. Отношение крестьян к ним было, если верить формулировке Кубанина, «абсолютно отрицательным». Если же верить «Сведениям об осуществлении земельного закона», собранным врангелевским управлением земледелия и землеустройства, то беспокойство Махно, несомненно, должно было вызвать то, что кое-какой отклик у замордованных войной крестьян врангелевский закон о земле все же нашел: к осени реально началась разверстка земли. Реально было создано 83 волостных совета, в основном в Мелитопольском, Бердянском и Днепровском уездах – которые взяли на себя вопросы землеустройства. В самом сердце своего владычества Махно терял влияние – и из-за кого? Из-за золотопогонников?! Ему нужно было срочно вернуть себе статус хозяина положения, а для этого – сыграть на революционных настроениях крестьян, пока еще не распропагандированных белыми, – а значит, выступить вместе с красными против Врангеля и повысить свои акции непримиримого борца за крестьянское дело.

Из дальней исторической перспективы очевидна трагедия. Несомненно, и для России, и для Украины в целом, как и для крестьян России и Украины, было бы лучше, если бы в 1920 году победу одержала белая «демократическая диктатура» вроде врангелевской. Но в то время крестьяне и белые уже не могли друг друга понять. Крестьяне приняли революцию – а значит, захват земли без какого бы то ни было выкупа, грабеж, «красного петуха». Врангелевский путь реформ был глубоко чужд им.

Махно не мог не отдавать себе отчет в том, что, несмотря на все беспощадство, проявленное им в борьбе против коммунистов, политически решение крестьянского вопроса в Советской Украине не продвинулось ни на йоту. «Вольные советы» повсеместно были разогнаны, отсортированный большевиками ВЦИК Советов работал так, как будто не было в деревне мощного противобольшевистского движения. Можно было бандитствовать еще два, три месяца – ситуация не изменилась бы. После того как вслед за А. Бароном штаб покинула верхушка «Набата», нужно было вновь выводить махновщину из-под спуда листовок и ночных налетов на уровень политической организации, выступающей от имени крестьян. Еще и поэтому Махно нуждался в соглашении с большевиками.

Махновцы, по-видимому, после визита к ним левоэсеровского делегата пару раз делали намеки большевикам о том, что согласны обсудить условия возможного союза. Аршинов (без документального подтверждения) упоминает о двух телеграммах в Москву и в Харьков, которые остались без ответа (2, 171). Если

это так, то совершенно очевидно, что никакие условия большевикам не хотелось обсуждать: они надеялись, по-видимому, что ситуация как-нибудь рассосется сама собой и можно будет не идти на уступки. Ситуация, однако, не рассасывалась. Напротив, с каждым днем она становилась все тяжелее и для красных, и для Махно. В августе, в разгар белого наступления, Махно решил, что время приспело чуть-чуть подтолкнуть события. Иосиф Тепер, работавший тогда в махновской секции пропаганды, вспоминает, что собственноручно сверстал номер газеты «Голос махновца», в которой предлагались большевикам совместные действия. Но Дмитрий Попов напоил Махно и убедил его рассыпать набор. Попов, как собака беду, чуял, где таится его погибель. Не в том даже дело, что 6 июля 1918 года он оказался участником левоэсеровского «мятежа» в Москве (Блюмкин тоже был участником, и ничего – покаялся немножко и стал секретарем Троцкого). Попов не покаялся. Попов убивал. Лично. Как пишет (или врет) И. Тепер, он поставил себе цель – зарубить триста коммунистов. Зарубил сто девяносто. И совершенно небезосновательно чуял, что такое не простится ему, что какие бы теории и основания ни подводились под соглашение, лично для него это дело добром не кончится.

Махно не стал переделывать газету, но анархистов, уезжавших вслед за А. Бароном в Харьков, просил, чтобы «Набат» склонил большевиков к соглашению. Анархисты не стали хлопотать перед большевиками, но те, по-видимому, чутко следили за настроениями в штабе Повстанческой армии, потому что, когда пришла нужда, украинский ЦК большевиков, уже не маскируясь под левых эсеров, отправил в Старобельск делегацию во главе с уполномоченным РВС Южфронта В. Ивановым.

Дело было слажено на удивление быстро, что лишний раз доказывает, что обе стороны имели в виду этот «запасной вариант». Иванов прибыл в Старобельск 20 сентября. Вновь состоялось заседание Реввоенсовета армии, на котором за соглашение с большевиками высказалось уже абсолютное большинство. Против – В. Попов и С. Каретников.

24-го дело чуть не сорвалось: не будучи в курсе политических игр, затеваемых партийным руководством, главком Красной армии С. Каменев простодушно отдал войскам приказ «окончательно ликвидировать банды Махно» (94, 246). В тот же день председатель РВС 13-й армии Н. Горбунов в секретном приказе разъяснил бойцам, что махновщина умышленно организована белыми, и, как только Врангель исчезнет, Махно исчезнет вместе с ним. К счастью или к несчастью, но до Махно эти приказы не дошли.

27 сентября В. Белаш по телеграфу связался с Харьковом и доложил о решении Реввоенсовета Повстанческой армии начальнику особого отдела Южфронта В. Манцеву.

29-го ЦК КП(б)У в лице Раковского, Косиора, Чубаря, Иванова, Яковлева и других решает идти на соглашение с Махно. По-видимому, рассказ Иванова об увиденном в Старобельске произвел на собравшихся достаточно серьезное впечатление.

Махно ждал. В два часа ночи 30 сентября из Харькова пришел ответ, что вопрос о соглашении решен положительно. Махно немедленно продиктовал приказ о прекращении всяких враждебных действий против частей Красной армии и советских учреждений. Затем, обойдя вокруг стола, за которым сидели члены штаба, батька будто бы сказал, что махновцам все равно необходимо сохранять полную боевую готовность и зорко следить за всяким движением красноармейских частей (12, 169).

Махно неплохо знал большевиков. Не хуже, чем они его. И все-таки он надеялся, что на этот раз – дожал. Что с ним вынуждены будут считаться, хотя бы перед лицом Врангеля. Кто знал, что «черный барон» будет разбит так скоро? Никто не знал. Если бы большевики могли предположить, что врангелевский режим продержится всего только полтора месяца, вряд ли они стали бы и затеваться с этими переговорами – а надо сказать, что обеими сторонами было в них проявлено немало усердия и, хотя бы по видимости, взаимного расположения. Даже Л. Троцкий, давний враг Махно, поусердствовал и выпустил специальную брошюру – «Что означает переход Махно на сторону Советской власти?» – в которой в выражениях, ему совершенно не свойственных, отзывался о повстанцах: «Мы, конечно, можем только приветствовать тот факт, что махновцы хотят отныне бороться… вместе с нами против Врангеля… Только таким путем мы получим в лице лучших махновцев действительных друзей. Не нужно, конечно, преувеличивать силы Махно, как это делает обыватель. На самом деле махновцы представляют собой очень небольшой отряд. Но в борьбе против бесчисленных врагов рабочий класс дорожит даже небольшой помощью. Нужно только, чтобы союзник, который ее предлагает, был действительно честным и надежным союзником…» (77, 6). На такие софизмы товарища Троцкого могла подвигнуть только чрезвычайная необходимость: видимо, большевики действительно очень боялись какого-нибудь непредвиденного срыва во время наступления на Врангеля. И Врангеля с его реформами тоже боялись. Тут уж было не до амбиций. Ленин в докладе московским коммунистам 9 октября счел необходимым упомянуть: «По словам т. Троцкого вопрос о Махно обсуждался

весьма серьезно в военных кругах, и выяснилось, что ничего, кроме выигрыша, здесь ожидать нельзя… Договор наш с Махно обставлен гарантиями, что против нас он не пойдет» (46, т. 41, 340).

Махно прекрасно знал, зачем он большевикам. Он понимал, что к переговорам с ним их подталкивает не добрая воля, а неуверенность в собственных силах. И он спешил воспользоваться моментом, чтобы вытребовать у красных такие условия договора, которые не позволили бы им, в случае чего, просто уничтожить его.

1 октября Реввоенсовет махновцев выпустил обращение к повстанцам, объясняющее причины союза с большевиками. Обращение было исполнено в предельно патетических тонах: «Неудержимо врезается все глубже и глубже в сердце Украины душитель народа немецкий барон Врангель. Зарвавшиеся было коммунисты и комиссары получили снова хороший урок… Учитывая вышесказанное, Совет Революционно-Повстанческой армии Украины (махновцев) принял решение временно до разгрома наседающих внешних врагов и царских наймитов идти в союзе и рука об руку с советской Красной Армией» (12, 169).

2 октября соглашение было подписано. Политическую часть от имени Советского правительства Украины подписал Я. Яковлев, военную – М. Фрунзе. От махновцев – В. Куриленко и Д. Попов.

В истории революции, да и вообще в истории большевизма, это было поистине беспрецедентное соглашение. После 1918 года, когда большевики вошли в силу, никому, ни одной партии, ни одному движению, не удавалось истребовать у большевиков больше, чем истребовали махновцы. Беспрецедентной была сама формула согласия, заключенного между Повстанческой армией и советским правительством.

Подчиняясь в оперативном смысле командованию Красной армии, Повстанческая армия сохраняла полную внутреннюю самостоятельность и принципы своей организации; разрешались мобилизации в Повстанческую армию в освобожденных районах; семьи махновцев в льготах приравнивались к семьям красноармейцев, о чем должны были получить бумагу от правительства.

Гарантировать выполнение военной части соглашения должна была политическая его часть. В составлении ее Махно, в буквальном смысле слова, некому было помочь, и, значит, он составлял ее сам. Поражает точность и определенность суждений.

Первый пункт: немедленное освобождение и прекращение преследований в дальнейшем всех махновцев и анархистов, за

исключением вооруженно выступающих против Советского правительства.

Второй: свобода устной и печатной анархистской пропаганды.

Третий, наиболее важный: свободное участие в выборах в советы, участие махновцев и анархистов в подготовке V Всеукраинского съезда Советов в декабре 1920 года.

Все эти пункты соглашения представитель правительства Советской Украины Яков Яковлев подписал. За гранью соглашения остался только один, четвертый пункт, включить который в текст договора Махно особенно настаивал: об организации в районах действия Повстанческой армии «свободных советов», политически и экономически самоуправляющихся организаций, связанных с правительственными органами Советских республик договорными отношениями. Махно хотел воссоздать «вольный советский строй» хотя бы в виде заповедника в стране большевиков. Понимал ли он, что это невозможно?!

Яковлев заявил, что вопросы такой степени важности решать не полномочен. Они требуют отдельного обсуждения, консультаций с Москвой. Махно обнадежился, послал для продолжения переговоров в Харьков делегацию – все того же Попова, Буданова и Куриленко.

Все это по-настоящему поразительно. Неужели Махно в самом деле полагал, что все это всерьез? Выходит так, больше ему ничего не оставалось делать. Махновцы, как и все революционеры, когда-либо доверявшиеся большевикам, исходили из простого подобия: мы революционеры – и они революционеры, мы за Советы – и они за Советы… Другое дело, что большевики заблуждаются, они ожесточились, но они поймут… Поймут, что без пространства экономической и духовной свободы бессмысленна сама революция… Невозможно было осознать в то время, что за годы Гражданской войны партия большевиков превратилась в совершенно особую структуру, которая неизбежно и вне зависимости от воли отдельных ее вождей эволюционировала в сторону самого тяжкого, параноидального тоталитаризма, сравнимого только с фашизмом… Чтобы увидеть это воочию, нужно было подождать лет десять или хотя бы два года – когда для бывших собратьев по революции распахнулись ворота Соловецкого лагеря особого назначения. Махно даром предвидения не обладал. И потом, он действительно был ослеплен результатами своей победы. После восьми месяцев проклятого бандитства настал долгожданный покой. С ним, гонимым и проклинаемым всеми, преданным даже

единомышленниками, велись переговоры на правительственном уровне! С него печатно сняли обвинение в контрреволюции и пособничестве Врангелю. Его рану заживляли московские доктора (94, 254), его бойцы лечились в красноармейских госпиталях!

И потом, ничто как будто не заставляло всерьез беспокоиться за судьбу договора. Все развивалось как надо. После публикации в газетах военной части соглашения Повстанческая армия вступила в бои с белыми на отведенном участке фронта. После этого, правда, долго не публиковали основную, политическую часть – и сразу обнаружилась в ведении дел не свойственная им прежде вязкость. Переговоры по четвертому пункту все откладывались. Анархистов из тюрем выпускали «по капле». Не выдержав, Махно телеграммой потребовал немедленного освобождения арестованных в 1919 году Чубенко и Волина. Их освободили. Волин тут же помчался в Харьков помогать «делегации», которая, конечно, к ведению тонких политических дел была не подготовлена и, отчаиваясь, предавалась излишествам. Хозяйка квартиры, у которой останавливался Д. Попов, в ГПУ показала, что у того «день начинался с пьянства, ругани и стрельбы в квартирные лампы» (40, 185). Не знаю, насколько можно верить показаниям квартирной хозяйки, но то, что Попову могло быть желательно залить самогонкой подступившую к горлу смертную тоску, – несомненно. Ибо чуткое ухо должно было уловить некие смутные ноты, в которых звучала неясная тревога: то вдруг появлялась в газетах публикация, обливающая махновцев грязью с головы до ног, то неосторожное слово срывалось с языка…

А. Скирда в своей книге о Махно опубликовал редкий текст Марселя Олливье, оказавшегося в качестве гостя в самом центре занимающих нас событий. Олливье был одним из основателей Коминтерна (с французской стороны), переводчиком Розы Люксембург, да и вообще надежнейшим товарищем, каких немного было в мягкотелой и рефлексирующей Европе. После состоявшегося в Москве II Конгресса Коминтерна он был вместе с Жаком Садулем и Анри Барбюсом приглашен посмотреть на «разгром Врангеля». Возможно, что именно здесь, на Украине, Олливье впервые стал свидетелем событий, которые в тридцатые годы вынудили его внезапно порвать с коммунистическим движением, а впоследствии написать книгу «Опасный большевик», отрывки из рукописи которой удалось опубликовать А. Скирда. Заинтересованный взгляд пристрастного наблюдателя позволил французскому гостю сразу заметить то, чего, быть может, замечать ему и не следовало бы. Так, уже в разгар наступления на белых, на одной из вечеринок в Мелитополе, где

размещался штаб 13-й армии, Олливье замечает «группу оживленно дискутирующих офицеров. В кругу их находился юноша лет двадцати пяти, которого окружающие явно осаждали, вследствие чего он с особой горячностью отвечал на вопросы и возражения своих собеседников. Я спросил у Виктора Таратуты (сопровождающего, свободно говорившего по-французски), о чем они спорят. Он объяснил мне, что это командир из дивизии Махно, незадолго до того влившейся в Красную армию, который пытается отстаивать перед остальными свои анархистские убеждения. Когда я заметил, что он очень возбужден дискуссией, Таратута сказал буквально следующее: „Как только с Врангелем будет покончено, мы его расстреляем…“ По правде сказать, я не принял всерьез его слов. Подумал – вырвалось для красного словца. Расстрелять человека, сражающегося в ваших рядах… только за то, что его убеждения не соответствуют вашим, – это была такая гнусность, на которую, как я думал тогда, большевики не способны. В чем, как выяснилось потом, ошибался…» (94, 280–281).

КАПКАН

На что рассчитывал Махно? На то, что за время соглашения успеют произойти изменения, которые не позволят большевикам его уничтожить: пополнится мобилизациями и окрепнет в боях с врангелевцами Повстанческая армия, вновь будут избраны местные «вольные советы», а вслед за ними – делегаты на Съезд советов Украины, где махновцы и анархисты «Набата» рассчитывали получить солидную квоту мест и интегрироваться, таким образом, в политическую систему Страны Советов. Это казалось вполне возможным. Они не видели в большевиках, с которыми имели дело, каких-то злодеев. Как правило, это были люди военные, а как военные, красные и махновцы уважали друг друга. В том числе и за удары, наносимые друг другу прежде. А во время совместного наступления не могла не родиться промеж них необходимая воинская солидарность – ибо им приходилось участвовать в жесточайших боях, «вытянуть» которые невозможно без братской помощи и самопожертвования. Наверно, в тылу все было иначе, чем на фронте. И все же доподлинно знать о скором разрыве соглашения могли только люди особо доверенные, представлявшие в Красной армии высшие партийные круги. Кто именно – мы не знаем. Не вполне ясна даже роль М. В. Фрунзе: был ли он заранее введен в курс дел или вынужден был играть ту же двусмысленную роль исполнителя политического приговора, которую в свое время сыграл латыш Иоаким Вацетис во время левоэсеровского мятежа, в сути которого Вацетис не стал разбираться, за что, собственно, и был обласкан партией.

Впрочем, мы не имеем права утверждать, что истребление махновцев было предрешено с самого начала. Для этого у нас нет никаких доказательств. Не найден еще ни один документ, впрямую подтверждающий это. И в то же время по бесчисленным аналогиям и параллелям времен Гражданской войны ясно, что ничем иным соглашение закончиться не могло. Анархисты, возможно, раньше других почувствовали убийственную, смертельную тяжесть Власти, сосредоточенной в руках большевиков, но все-таки даже и они, похоже, не могли представить себе, что имеют дело с Властью совершенно иного порядка, чем все, существовавшие до этого на памяти российских революционеров. Что подавление всякого инакомыслия входит в принцип этой власти, и уже по одному этому они с неизбежностью будут раздавлены. И именно поэтому может статься, что никакого изначального плана изничтожения махновцев у большевиков не было. Просто так должно было быть.

Когда Врангель был разбит, принцип уничтожения сработал. Сам собой. Сработал он в Москве и в Харькове, оформился в виде записочки, затем – побежал по телеграфу в виде директив и приказов… Повинуясь ему, двинулись войска, пешим и конным ходом тронулись тысячи людей, не подозревавших о том, что они идут утверждать незыблемость принципа. Зазвенели клинки, ударили орудия… Это нельзя доказать. Но можно почувствовать.

Летом 1920 года, когда махновцы еще кружили по Украине, а Всеволод Волин сидел в московской тюрьме, в Москве с большой помпой собрался II Конгресс Коминтерна, который должен был знаменовать скорое торжество коммунизма в Европе. Фотографии с этого конгресса потом подарил Махно Бела Кун, чем необыкновенно расположил к себе батьку: во-первых, он был «шишка», представитель «фронта», а во-вторых, уважил – как товарищ товарищу привез ему фотографии из Москвы. В Москве меж тем дело прошло вовсе не до такой степени гладко, как хотелось бы устроителям. Несмотря на дружные залпы газет по поводу мирового съезда большевиков, среди приехавших делегатов далеко не все оказались единомышленниками. Кое-кому удалось все же разглядеть жуткие детали за кулисами большевистского режима. Переполненные тюрьмы, отсутствие свободы слова, омертвение профсоюзов и полное подчинение их воле большевиков, военная диктатура вместо власти советов, фактическая однопартийность – для многих из тех, кто всю жизнь посвятил борьбе за свободу, такие порождения большевистской революции были абсолютно неприемлемы. Во французской делегации оказалось три диссидента: левый социалист Раймон Лефевр и два анархо-синдикалиста – Вержа и Лепти. Лефевр, как и подобало человеку, сделавшему выбор в пользу коммунизма, мужественно убеждал соратников в том, что избранный большевиками путь – ложен. Вержа и Лепти, не связанные партийными узами с большевиками, избрали более откровенный обличительный тон, хотя в глубине души необыкновенно сокрушались о том, что им говорить по возвращении товарищам о жизни в Советской республике. Несмотря на понятные колебания, они решили все же донести до товарищей правду об увиденном. Собрали целый архив документов. На просьбу властей ознакомиться с их досье они ответили отказом. После этого начались странные вещи: во Францию, вместе с основной группой делегатов, предводительствуемых Марселем Кашеном, их не отправили. Решено было, что они поедут позже. Потом выяснилось, что их отправят через Север. В поезде Москва—Мурманск было очень холодно, и они попросили сопровождавших их сотрудников ЧК выдать делегатам Конгресса теплую одежду.

Чекисты ответили, что о наличии в поезде делегатов им ничего не известно. Вержа, Лепти и Лефевр спросили: «Кто же мы?» Сотрудники ЧК ответили: «Не знаем».

В этой истории много темного, много непонятного. Кто встретил их в Мурманске? Почему они не могли уехать обратно в Москву? Неизвестно. Известно как будто, что Лефевр написал в Москву несколько писем, требуя объяснить, почему их не посадят на корабль и не отправят в Швецию. Но неясно, откуда известно об этих письмах. В последнем из них Лефевр вроде бы писал о намерении купить у рыбаков лодку и добираться до Швеции самостоятельно. Несмотря на предостережения рыбаков, революционеры, купив лодку, отчалили от берегов страны победившего социализма и исчезли навсегда. Эта история не просто загадочна, она глубоко мистична. Кто погубил несчастных французов? Большевики? ЧК? Да нет, ведь они их и пальцем не тронули. Они просто отправили их на Север, где французы своими руками довершили то, чего большевикам только смутно желалось бы: они погибли.

Потому, что инакомыслящие должны были погибнуть. А Марсель Кашен и другие депутаты-коммунисты спокойно добрались до Франции, чтобы на Турском съезде повторить урок, усвоенный в Москве, и, отколов от соцпартии коммунистическое крыло, повести его за собой в лютые битвы за светлое будущее.

Эта весьма загадочная история рассказана В. Волиным в книге «Неизвестная революция» (95). Разглядывая подаренные Белой Куном фотографии улыбающихся коминтерновцев, Махно ничего не знал о ней. И Волин, когда он по требованию Махно в 1920 году был освобожден из тюрьмы, тоже еще не знал. Не мог разгадать символа, в ней заключенного. Да и вряд ли имел время разгадывать: ему срочно пришлось ехать в Харьков на помощь махновской делегации.

После заключения соглашения между Повстанческой армией и правительством Украины авторитет Махно среди анархистов необычайно возрос. В Харькове вышло несколько номеров газет «Путь к свободе» и «Голос Махновца», пошла подготовка к всеукраинскому съезду анархистов, кого-то выпустили из заключения – все это были невиданные прежде достижения, которых мирным путем, пропагандой достигнуть было нельзя. Но Махно был недоволен ходом переговоров. Вопрос о четвертом пункте – о «вольном советском строе» в махновском районе – не продвигался. Попов пил и вообще вел себя бестолково. Махно не стерпел и выговорил ему в письме: «Возложенная на вас работа политического и военного представительства является крайне ответственной, и вы, будучи в Харькове, должны отдать ей все

время, стараясь принести максимум пользы нашему движению со всех его сторон: военной, политической и культурно-просветительной. Совершенно недопустимо вторично слышать о вашем нерадивом отношении к делу, порученному вам армией. Я надеюсь, что следующие сообщения о вашей работе будут иные, более отрадные для всех нас…» (12, 173). В помощь харьковской делегации Махно послал Ольгу Таратуту – старую анархистку, прошедшую сквозь огонь двух революций и каторжный тюремный режим.

Время нещадно подгоняло. Махно прекрасно сознавал, что политически добился весьма относительных успехов, в то время как выпустил из рук и ввел в игру свой главный козырь – армию. На фронт были посланы лучшие силы – специально сформированный корпус под командованием С. Каретникова.

В. В. Белоусов, механик связи 125-й бригады 42-й дивизии, в возрасте девяноста двух лет так описывал появление махновцев на подступах к фронту в селе Христофоровка: «Вышел я на улицу. К моему удивлению, в сторону позиции движутся тачанки, на каждой тачанке 4–5 человек и пулемет. По неофициальным данным, 10 тысяч при 500 пулеметах и четыре пушки. Я начал считать и надоело – тачанки идут и идут. У махновцев одежда разнообразная: хорошие богатые пальта, украинские свитки, солдатские шинели. На шапках красный бант. Махновская армия заняла участок нашей 125-й бригады…» (8).

Общее наступление красных должно было начаться в последней декаде октября. 19–20 октября у Фрунзе состоялось несколько серьезных разговоров с главкомом С. Каменевым по поводу перспектив прорыва. Говорили по телефону. Фрунзе сказал, что опасается, как бы белые не начали отход на юг, на мелитопольские позиции (что дало бы им возможность значительно сократить и уплотнить линию фронта), до начала наступления. Фрунзе считал это худшей вероятностью из всех возможных.

Каменев предположил, что Врангель вряд ли уйдет на юг, «не померившись с нами силами в районе между Днепром и мелитопольскими позициями», но возможности такой не исключал. Стратегический план Фрунзе был ударами конницы прорвать белый фронт и отрезать основные силы белых от Крыма. Не дать им уйти туда. Несмотря на то, что силы Красной армии превосходили белых численно как минимум вдвое (133 тысячи красноармейцев против 58 тысяч врангелевцев), была существенная опасность, что удар выйдет недостаточно сильным и все смажется. Командарм 2-й конной Миронов жаловался, что в армии нет ни дисциплины, ни комсостава, ни снабжения, а в

отдельных частях «абсолютный развал», в связи с чем выражал опасение, что задачу форсирования Днепра у Никополя армия выполнить не сможет.

Фрунзе и Каменев обсудили возможность часть мироновских сил передать Первой конной Буденного, которая стояла ниже по Днепру и, вырвавшись с каховского плацдарма, могла бы срезать белых под самый корень, но тут уж Каменеву пришлось признать, что с такими массами кавалерии (7 конных дивизий) Буденному не совладать (82, оп. 1, д. 146 с, л. 3–4).

К тому же после разгрома под Варшавой знаменитая Конармия Буденного была, пожалуй, даже в худшем положении, чем мироновцы: неудача похода расстроила ее, переброска с польского фронта на врангелевский – разложила. По пути следования армии повсюду отмечались грабежи мирного населения. Бойцы явно потеряли смысл, ввергнувший их в водоворот войны, и открыто начинали дурить. Еще 6 октября в докладе Ленину о положении на фронте Фрунзе отмечал, что Первая конная «будет представлять угрозу для нашего спокойствия в ближайшем будущем» (12, 179), и просил прислать в армию агитатором товарища Калинина. Калинин приехал, когда нужно было уже не агитировать, а карать: при попытке остановить мародеров был убит конармейцами комиссар 6-й кавдивизии Шепелев. Москва отдала беспрецедентный в истории Красной армии приказ: судить всю дивизию. Под предлогом приезда в часть товарища Калинина дивизия была выведена на смотр. Плац для смотра был найден вблизи железной дороги. Когда построение закончилось, на пути стало два бронепоезда. Под дулами орудий и пулеметов Ворошилов объявил смутьянам, что дивизия будет прощена, если сама выдаст мародеров. Выдано и расстреляно было больше ста человек. Так что и на Первую конную полагаться вполне было тоже нельзя…

Если бы белые продолжали незыблемо держать фронт, можно было бы стянуть к началу наступления свежие силы и перегруппировать старые, но так как врангелевцы могли в любой момент начать, как улитка, втягиваться в свою крымскую «раковину», приходилось быть готовыми к наступлению с весьма неясными перспективами. Вряд ли Фрунзе ожидал, в частности, что первыми прорвут белый фронт части Александровской группы, ядро которых составляла Повстанческая армия Махно.

Еще 17 октября командарм—13 И. П. Уборевич связался с Фрунзе и доложил, что Повстанческая армия могла бы сыграть огромную роль, обеспечивая стык его с соседней 4-й армией. Уборевич предложил во время наступления бросить махновцев в район Гуляй-Поле—Орехов – и тем самым рассечь надвое 2-ю

белогвардейскую армию генерала Абрамова. Фрунзе признал соображения мудрыми, понимая, что прежде всего повстанцы постараются освободить свою «столицу» и свой район, и подчинил корпус Каретникова Уборевичу. Дождаться приказа об общем наступлении частям Александровской группы, однако, не пришлось. Двадцать первого октября Фрунзе получил какие-то сведения, подтверждающие его опасения относительно отхода белых на юг под прикрытием арьергардов и, в частности, об отводе в городок Армянский базар, за Перекопский вал, танков, бронемашин и тяжелой артиллерии. Он немедленно реагирует приказом: «…путем выдвижения вперед авангардных частей и глубокими поисками проверить вышеуказанные сведения, разбивая арьергарды противника, воспрепятствовать проводимой им перегруппировке сил, для чего… командарму Повстанческой в ночь с 21 на 22/X выступить из района сосредоточения и, двигаясь форсированным маршем, обойти вышеуказанную группу с востока… отрезать бронепоезда противника и ударом с тыла их разгромить» (82, оп. 1, д. 146с, л. 24–26).

Несмотря на присутствие перед фронтом 13-й армии «всех частей Донкорпуса противника», считавшегося в числе лучших врангелевских соединений, махновцам и частям 23-й дивизии удалось не только выполнить приказ Фрунзе, но и нанести тяжелое поражение Дроздовской дивизии, взять четыре тысячи пленных и в буквальном смысле слова разорвать фронт, чем Фрунзе немедленно и воспользовался.[21] 23 октября красные вместе с махновцами взяли Александровск, 25-го – Гуляй-Поле. В тот же день корпус Каретникова получил от командующего фронтом новый приказ: «Двигаясь в направлении Орехов, Б. Токмак, Мелитополь и далее, громить тылы противника (штабы, обозы, связь, жел. дороги). Разрушить жел. дорогу на участке Мелитополь – ст. Сальково и по возможности не позднее 29/X овладеть перекопскими перешейками» (82, оп. 1, д. 146с, л. 30).

Это свидетельство для нас необыкновенно важно, ибо советские историки Гражданской войны «контрнаступление Южного фронта» отсчитывают с 28 октября. А что же, в таком случае, происходило целую неделю до этого?! Еще Вторая конная не навела переправы через Днепр, еще не получили приказа о выступлении буденновцы, которым, по замыслу, отводилась во всей операции главная роль, а Повстанческой армии уже предписывалось «овладеть перешейками!». Конечно, это была своего рода военная игра: а вдруг выгорит? Первая конная к выступлению была не готова, а Повстанческой армией можно было и рискнуть, черт бы с ней, если б сгинула, – зато в случае успеха это была бы просто невероятная удача! Позже, в одном из

блокнотов, куда Фрунзе записывал к осмыслению – то ли своему, то ли будущих историков – ключевые моменты операций против Врангеля, он отметил, что издал этот приказ потому, что представители махновцев в Харькове уверяли, что задача овладения перешейками легко может быть выполнена Повстанческой армией.

Семен Каретников, руководивший операциями махновцев, однако, размышлял по-своему. Он понимал, что так для Повстанческой армии дело, пожалуй что, добром не кончится: даже если она и пронзит белый тыл и захватит перешейки, она все равно будет стерта в порошок отступающими белыми. Белые еще слишком сильны, а Фрунзе готов пожертвовать его корпусом, как дальнобойной фигурой в шахматной игре. Каретников заартачился.

В этой связи интересен эпизод, рассказанный уже упоминавшимся нами связистом Василием Белоусовым. Как раз в эти дни, 25–26 октября, он нес дежурство на телефонной станции. Было раннее утро. Внезапно к дому подъехали три кавалериста. Один спешился и вошел в залу. Увидев дежурного, сказал, что он, уполномоченный войск группы Махно Каретников, желал бы соединиться со штабом Южного фронта. 42-я дивизия, в которой служил Белоусов, воевала против махновцев с 1919 года, так что надо понять, что доверия к гостям у двадцатитрехлетнего механика связи не было никакого. Он соединился со штабом бригады, в которой служил. Пришел комбриг, пожал Каретникову руку, с интересом разглядывая его, после чего дал разрешение на связь и удалился. Связывались многоступенчато: сначала вызвали телеграфом штаб 42-й, дивизия связалась с армией, армия – с фронтом. Каретников продиктовал такой текст: «В назначенное вами время группа Махно перешла в наступление на белогвардейцев, понесла потери в живой силе. Мы просим командование Южного фронта выступить и, двигаясь своим маршрутом, придти к намеченной вами цели. В случае отказа от наших требований мы окопаемся и будем стоять на месте» (8). Ответа из штаба фронта долго не было. Каретников поглядывал в окно – «не окружают ли станцию». Наконец телеграф отстучал ответ Фрунзе: «Штаб Южного фронта дал согласие на вашу просьбу». Каретников поблагодарил связистов и вышел. Дня через два, вспоминает В. Белоусов, действительно началось наступление. «Махновцы передают пленных белогвардейцев, а наши части сопровождают в тыл. Фронт так быстро двигался, что пехота не успевала подходить» (8).

Это частное свидетельство чрезвычайно важно, ибо оно совершенно в ином свете выставляет конфликт между

Южфронтом и командующим группой войск Махно Каретниковым. Историки и по сей деяь повторяют, что как только было занято Гуляй-Поле, махновцев неудержимо потянуло домой, и Каретников запросил 4–5 дней отдыха своим частям. Фрунзе отказал. Вероятно, повстанцев действительно тянуло домой, только Каретниковым все же руководило совсем иное чувство, нежели тоска по теплой хате и по галушкам в сметане, – а именно нежелание со своим корпусом лезть на рожон, когда по всему фронту красные части еще стояли без движения.

Двадцать восьмого же, когда наступление действительно началось, штаб махновцев получил от Фрунзе приказ, похожий на ультиматум: если махновцы будут по-прежнему оставаться в Гуляй-Поле, а не приступят немедленно к выполнению поставленной фронтом боевой задачи, он будет считать их самоустранившимися от боевых действий по разгрому Врангеля (12, 176). Зачем Фрунзе понадобилось формулировать приказ в столь резкой форме, не совсем понятно: махновцы вовсе не прятались в Гуляй-Поле, просто в нескольких километрах южнее села проходила линия фронта; к тому же гуляйпольское направление Повстанческой армии было определено самим Фрунзе… Вероятно, командующему фронтом просто хотелось вкатить Каретникову и Махно профилактическую зуботычину, чтобы сразу дать им понять, что он никакой «самодеятельности» не потерпит. Однако в целом в «таврический» период военных действий отношения между махновцами и большевиками складывались нормально. Курсант Петроградской военно-инженерной школы Иван Мишин, который через две недели будет сидеть в стогу сена на берегу Сиваша, вспоминая октябрь 1920-го, рассказывал: «Совершая марши, наша бригада нередко останавливалась в одних населенных пунктах вместе с махновцами. За весь период наступления наших армий не наблюдалось какого-либо антагонизма между курсантами и махновцами. Махновцы называли нас „курсаками“, приглашали к себе для проведения свободного времени. Что ж, говорили, вы, курсаки, так скучно живете? Песен не поете, горилку не пьете? То ли дело у нас! Однако никакого разобщения между курсантами и махновцами не чувствовалось и в выполнении поставленных командованием Красной армии боевых задач» (57).

Правда, после разгрома Дроздовской дивизии к махновцам, стяжавшим себе славу, переметнулось несколько менее стойких, чем столичные курсанты, пулеметных команд, прельщенных «вольным духом» Повстанческой армии. В военной части соглашения была оговорка: части друг у друга не переманивать. 22 октября в повстанческий штаб приехал из Реввоенсовета

Южфронта Бела Кун – заминать инцидент. Почему-то позднейшие биографы венгерского коммуниста усматривали в этом факт беспримерного героизма, хотя дело было совершенно заурядное. Жена Куна в воспоминаниях о муже договаривается до того, что махновцы могли убить его за одно неосторожное слово и только искали повод для провокации… Зачем?! Все это плод неведения и горячечной патетики… Махновцам нужно было соглашение, и они не пытались его нарушать, более всего озабоченные тем, чтобы выполнять пункты договора с буквальной точностью.

28 октября – день начала контрнаступления Южного фронта – стал для белых роковым. Вторая конная все-таки переправилась через Днепр и удержала удар Донского корпуса белых, пытавшегося столкнуть ее обратно в реку. Фрунзе записал: «лучший из конных корпусов Врангеля разбился о 2 Конную армию» (82, оп. 1, д. 146с, л. 31). Это было не так, но все-таки фронт белых был прорван, и стало ясно, что залатать его не удастся. Ночью 28 октября на левом фланге части 42-й дивизии сделали еще один прорыв во фронте и взяли Большой Токмак. На рассвете 29-го махновцы, выступившие на фронт в соответствии с приказом Фрунзе, обошли городок с тыла и штурмом овладели окопами противника, захватив пленных и трофеи. Тридцатого с опозданием выстрелила, наконец, Первая конная, пытаясь фланговым ударом закрыть белым проход в Крым, но белые ее отбросили сильным встречным ударом. Тридцатого же с тяжелыми боями части 13-й армии Уборевича вместе с махновцами неудержимо двинулись на юг, захватили Мелитополь, на следующий день – Акимовку, вплотную подбираясь к Крыму. На очень небольшом пространстве, все более сужающемся к Перекопскому перешейку, в эти дни, смешавшись, дрались огромные массы войск: пять советских армий Южфронта и отходящие белые. Красное командование все еще надеялось, что, несмотря на опоздание Первой конной и колоссальную неразбериху, хотя бы часть белых удастся отрезать от Крыма и уничтожить.

3 ноября стало ясно, что эту задачу выполнить не удалось. Врангель в беседе с представителями печати удовлетворенно констатировал: «На рассвете 18(31) октября наши части атаковали красных, прижав их к Сивашу. Одновременно ударом с севера и северо-запада конница Буденного была разбита, причем нами захвачено 17 орудий и более 100 пулеметов и целиком уничтожена латышская бригада. В то же время Донской корпус разбил части 2-й Конной армии и 13-й армии… До полудня 19 октября (то есть 1 ноября по новому стилю. – В. Г.) конница эта не решалась нас атаковать. После полудня… противник повел атаку

по всему фронту… 19–20 и 21 числа (соответственно, 1, 2 и 3 ноября. – В. Г.) эвакуация продолжалась, и лишь после последнего поезда, проследовавшего через Сивашский мост, наши части отошли, взорвав его. Наши войска стали занимать укрепленные позиции… Противник, особенно конница Буденного, понес в последних боях громадные потери… У нас, благодаря планомерному отходу и содействию тяжелой артиллерии, а также бронепоездов, потери незначительны…» (79, оп. 3, д. 316, л. 4).

3 ноября белые заперлись в Крыму. На фронте наступило несколько дней затишья. Того же числа Ленин в одной из своих директивных записок потребовал от т. Гольцмана (главодежда) пошить в срок 20 тысяч охотничьих сапог для армии. Что происходит на Южном фронте, Ленин толком не понимал. Врали ему, по-видимому, все. Еще в самом начале контрнаступления С. Каменев и М. Фрунзе составили ему страховочную телеграмму, что в случае ухода врангелевцев в Крым, за Турецкий вал, шанс их успешного разгрома – один из ста. На самом деле оба были уверены, что разбить белых удастся еще до Крыма, и осторожную телеграмму отправили просто на всякий случай, который, как назло, и приключился. Ленин был разозлен.

Того же 3 ноября, выступая на Всероссийском совещании политпросветов губернских и уездных отделов народного образования, Ленин потребовал от пропагандистов решительно и повсеместно вбуравливать в головы мысль, что пришло время каждому человеку «стать или по эту, нашу, сторону, или по другую» и строго осознать «главенство политики коммунистической партии», которая «все исправляет, назначает и строит по одному принципу». К слову сказать, Махно в этой речи был помянут в числе «разнообразных форм контрреволюции», среди Юденичей, Колчаков, Петлюр и т. д. (46, т. 41, с. 401–403). Знай Махно об этой речи, у него был бы повод крепчайшим образом призадуматься. Совершенно ясно, что Ильич ни на йоту не изменил свою точку зрения, принцип диктатуры пролетариата оставался для него незыблемым, и столь же бессомнительным казалось то, что воплощается диктатура через повсеместное господство одной, коммунистической партии, несогласие или даже непринадлежность к которой уже есть контрреволюция.

Но Махно не знал об этой речи. Он переживал последний взлет, последнюю эйфорию. После взятия повстанцами Гуляй-Поля Махно смог, наконец, перебраться в родное местечко из Старобельска, где его хоть и лечили, но держали, по специальному решению Екатеринославского губкома, в строгой изоляции от красных частей. Гуляй-Поле немного ожило, хотя оно было до полного уже изнеможения истерзано войной. Польский

анархист Казимир Теслар, побывав в это время в Гуляй-Поле, потом писал: «Я был в Гуляй-Поле зимой. Окрестности и городок были густо засыпаны снегом. В каждом дворе стояла знаменитая „тачанка“ – знак того, что в каждом доме нашли приют повстанцы… Еще при въезде в городок я заметил окружавшие его заброшенные окопы. Когда же мы въехали в центр, я был поражен жестокостью войны, которая, прокатившись по этим местам, оставила глубокие следы повсюду. Лучшие дома были разрушены. Другие – и таких очень много, – сильно повреждены… Повсюду видны воронки и следы огня…» (94, 268–269).

Вслед за Аршиновым историки, желающие казаться объективными, повторяют слова о «райской» жизни в Гуляй-Поле в ноябре 1920 года, обязательно поминая при этом ликбез, несколько театральных постановок «из жизни повстанцев», независимую школу имени испанского революционера Франсиско Феррера, где преподавались в числе прочих наук теория и практика анархизма, история французской революции (по Кропоткину) и история русской революции. Но все это, конечно, были лишь слабенькие завязи нормальной жизни посреди опустошения, произведенного Гражданской войной.

Война давила. Война продолжала определять весь ритм гуляйпольской жизни и настроения людей, которые, если судить по отрывку из дневника (датированному все тем же 3 ноября) одного из работников махновского Культпросветотдела, были очень далеки от райской безмятежности.

«…Скучно и грустно, – пишет неизвестный, записки которого много лет спустя обнаружил в партархиве Украины историк В. Волковинский. – Терзает и не дает покоя мысль – „а что дальше будет?“ Белогвардейщина будет раздавлена, и что дальше будет с повстанческой армией. В комсоставе чувствуется усталость. Сам Махно дышит усталостью, нет никакой намеченной цели в армии и определенного плана, а также нет культурных работников. Боюсь, что коммунисты объявят нас вне закона, и тогда начнется пролитие снова трудовой крови. Эти головотяпы не могут понять, что у них разлагается Красная Армия и перейдет на нашу сторону. Но весь наш трагизм состоит в отсутствии культурных сил. Махно тоже воздерживается от работы. Я чувствую, что он устал» (12, 174).

Предчувствия, предчувствия…

Многим глубоким предчувствиям открывается душа, когда вечером у керосиновой лампы человек остается один на один со своими мыслями и чистым листом бумаги…

4 ноября по красным частям на фронте проходит как бы трепетание: войска вплотную подтягиваются к берегу моря.

Зачем-то «крымский корпус» Каретникова на один день переходит в подчинение командования 4-й армии В. С. Лазаревича и получает от Фрунзе приказ сосредоточиться вместе с 7-й кавдивизией «в районе Петровка – оз. Соленое, что в 5 вер. южнее Громовки, с целью форсировать Сиваш и ворваться в Крым…» (82, оп. 1, д. 146 с, л. 7).

В целом, было совершенно ясно – особенно после неудачных атак Турецкого вала с фронта, – что «взламывать» Крым нужно как можно скорее и именно через Сиваш; спешке способствовало и то, что, вне сомнения, и главком С. Каменев, и командующий Южным фронтом М. Фрунзе получали поощрительные нагоняи и из Харькова, где находился Троцкий, и из Москвы. Единственное, что 4 ноября еще невозможно было собрать разметанные во время последних боев части и двинуть их в наступление.

5 ноября корпус Каретникова был переподчинен командованию 6-й армии А. И. Корка. Днем спешно производилась разведка бродов. Донесения были, в общем, утешительные: «От мыса Кураван броды проходимы только для пехоты, в районе острова Чурюк-Тюп сейчас непроходимы по случаю глубокой воды, от с. Ивановка по направлению Армянского базара два брода проходимы для подвод» (82, оп. 1, д. 146с, л. 8). В тот же день Корк в Новониколаевке лично передал С. Каретникову приказ Фрунзе о форсировании Сиваша. «Отношение махновцев к Красной Армии не было достаточно ясно, – туманно писал позднее Корк, – …поэтому командующий войсками фронта поставил задачу – отряд Каретникова выдвинуть вперед»[22] (36, 443).

За то, что случилось далее, красное командование, несомненно, должно быть благодарно Семену Каретникову: «Отряд Каретника двинулся через Сиваш, но, не доходя до Литовского полуострова, вернулся, и начальник отряда донес, что местность настолько болотиста, что о прохождении Сиваша говорить не приходится» (36, 443). Таким образом, белые прежде времени не узнали, где планирует нанести решающий удар Фрунзе. Именно поэтому атака белогвардейских позиций в вочь с 7 на 8 ноября была неожиданна и увенчалась успехом. Теперь попытаемся объяснить то, что произошло, отбросив расхожие обвинения махновцев в трусости.

Семен Каретников был против союза с большевиками, когда решался вопрос о соглашении с ними. Он им не верил. Однако, став фактическим командиром Повстанческой армии в боях против Врангеля, он, по условиям договора, оперативные приказы красного командования обязан был выполнять. И он выполнял их, «притормаживая» исполнение только тогда, когда ему всерьез

начинало казаться, что красное командование готово «рискнуть» Повстанческой армией и увлечь ее в сомнительное и авантюрное дело: так было с приказом Фрунзе от 25 октября об овладении перешейками, так же обстояло дело и с приказом Корка о форсировании Сиваша в ночь на шестое. Какими бы ни были силы крымского корпуса махновцев, Каретников был все же достаточно опытным командиром, чтобы совершенно ясно осознавать: кавалерией и тачанками позиций белых на Литовском полуострове не взять и уж, во всяком случае, не удержать; наступление в целом не готово; следовательно, корпус опять суют в огонь только потому, что у большевистского начальства то ли нервный зуд, то ли истерика. Вот он и придумал, что Сиваш непроходим.

Пока 6 ноября проверяли и промеряли, проходим или нет, прощупывали дно – подошла пехота: 52-я и 15-я стрелковые дивизии. Вот теперь заваривалось что-то похожее на серьезное дело, на штурм. Теперь не только махновцы подставлялись под пули, но и две лучшие красные дивизии – а Каретников твердо был уверен, что в соглашении с большевиками только пролитая на равных паях кровь и скрепляет дело. И не приведи бог Повстанческой армии где-нибудь подставиться под смертельный удар – махновцы сразу станут не нужны своим союзникам…

7 ноября окончательно выстроился план операции. Отомкнуть Перекопский перешеек должна была ударная группа 6-й армии, причем дело мыслилось так: покуда 51-я дивизия, по всей вероятности, безрезультатно, будет с фронта биться в стену Турецкого вала, в тыл белой крепости через Сиваш выйдут махновцы и части 15-й и 52-й дивизий. 52-я сразу повернет на север, к Перекопу, и нанесет удар в спину белым, а 15-я развернется на юг, чтобы предохранить десант от возможной контратаки (ибо части, которые должны были овладеть Литовским полуостровом, оказывались, с одной стороны, в тылу главной врангелевской твердыни, но, с другой стороны, перед фронтом второй, юшуньской линии обороны, отстоящей от первой всего лишь километров на пятнадцать). Действуя хладнокровно, между двумя укрепленными позициями десант можно было бы и раздавить. Чтобы не дать белым опомниться, одновременно – в шестидесяти километрах к востоку от Перекопа – начиналось форсирование Сиваша и штурм врангелевских позиций на Чонгарском полуострове силами 4-й армии – который в случае успеха открывал дорогу кавалерии в глубокий тыл белых. Вся кавалерия – и 1-я, и 2-я конные армии, и 3-й конный корпус Каширина – стояла на второй линии и должна была вступить в дело не раньше, чем в белом фронте обнаружится

пробоина.[23]

Возможно, для окончательного приведения в порядок частей нужны были бы еще сутки, но 7 ноября поступили сведения, что с восточным ветром стала прибывать вода в Сиваше, и Фрунзе отдал приказ о наступлении. В десять часов вечера махновцы, а вслед за ними красная пехота двинулись через залив в Крым.

То, что происходило той ночью и последующим днем, мы не можем себе вообразить. Ибо, честно говоря, не представляю себе, какой силы ярость должна была питать атаку после того, как люди четыре часа брели в ледяной воде при морозе в двенадцать градусов. В два часа ночи красные с махновцами достигли крымской суши и бросились на позиции врага. В темноте, раздираемой лишь лезвиями прожекторов, закипел кровавый бой. Самое главное, что не только красные с махновцами, в прямом смысле слова перенесшие адскую пытку холодом, но и белые тоже понимали, что назад – нельзя. Назад – смерть. Конец. Бой был действительно страшен. Несмотря на ярость атаки и солидную силу, к рассвету красные и махновцы еще не овладели полуостровом: до двух часов пополудни кипел бой, пока не выдохся, – белые отступили, оставив десанту клочок плоской суши длиною в семь, шириною – в три километра.

Утром следующего дня, 9 ноября, 52-я дивизия, чуть оправившись от смертельной усталости, бросилась сзади на перекопскую позицию белых, а 15-я, как и предусматривалось планом, стала потихонечку расковыривать вторую линию обороны, путь на юг. Поняв, что уже не в переносном, а в самом что ни на есть прямом смысле настал час «последнего и решительного боя» из всемирного гимна пролетариев, белые дрались ожесточенно. В середине дня левый фланг 15-й дивизии был опрокинут налетевшей из-за врангелевских окопов кавалерией генерала Барбовича и стал отходить. Белые бросали в бой последние резервы, лучшие части.

В данных разведки о боеспособности корпуса Барбовича говорилось совершенно недвусмысленно: «группа очень боеспособна, стойка и спаянна. Комсостав опытен и энергичен» (79, оп. 3, д. 300, л. 35). Нет ничего удивительного, что под ударами почти 3,5 тысячи отборной конницы красная пехота не устояла в голой степи между Сивашом и соленым озером Красное, где значатся на военных картах лишь придорожный трактир и два колодца, и стала отступать. Навстречу коннице Барбовича был брошен корпус С. Каретникова: вылетев навстречу белогвардейцам лавой, махновцы сымитировали неизбежность рубки и лишь в последний момент, разделившись, ушли в две стороны, оставив на пути белых 200 хлещущих огнем пулеметных

тачанок.

Такой плотности огня даже лучшие офицерские части выдержать не могли. Корк в своих воспоминаниях о взятии Крыма признал, что 15-й дивизии «оказал поддержку отряд Каретника, который быстро развернулся и встретил конницу противника убийственным пулеметным огнем. Конница бросилась назад… левый фланг 15-й дивизии был быстро приведен в порядок» (36, 447).

Ночью с 9 на 10 ноября генерал Барбович дал своим войскам приказ перейти к самой упорной обороне, указывая, «что ни один шаг назад быть не может, это недопустимо при общей обстановке, мы должны умирать, но не отходить». Приказ предписывал «на ночь выставить все пулеметы, приготовить артиллерию к ночной стрельбе, часть дивизии спешить и держать в цепи, имея впереди секреты. Остальным дать надежный отдых» (79, оп. 3, д. 316). Впрочем, решающего значения эти приказания уже не имели: за эти дни 30-я дивизия прорвала оборону белых на Чонгарском полуострове и открыла Красной армии второй проход в Крым. Пал Турецкий вал. 11 ноября и вторая линия обороны врангелевцев была прорвана. Фрунзе ввел в бой конные резервы. Началось стремительное, уже без боя, отступление белых к черноморским портам…

Покуда армия Каретникова сражалась в Крыму, в Гуляй-Поле, при штабе Махно, жизнь тоже не стояла на месте: как раз 9 ноября, в самый разгар боев с белыми, на совете Повстанческой армии был выслушан отчет вернувшихся из Харькова Куриленко и Буданова о ходе переговоров с Совнаркомом Украины. Махно продолжал настаивать, что первостепенная задача делегации – добиться от правительства выделения территории под экспериментальное строительство «вольного советского строя». Трудно сегодня представить себе, что он верил в этот пункт соглашения, как будто месяц бесплодной волокиты не говорил уже сам по себе, что дело тухлое и тянется только для виду. Нет! Махно здесь впал в какой-то (вполне, впрочем, объяснимый) самообман: не мог поверить, что заключенное им соглашение – не более чем декорация для спектакля куда как более драматичного, чем гуляйпольская постановка «Жизнь махновцев».

А впрочем – о чем говорить?! Кому в эти дни не верилось, что с победой все образуется, все обернется к лучшему, станет по-человечески? Всем, кажется, верилось: до того опротивела эта война, до того обрыдли жестокость, кровь и убийства! И почему бы не поверить в это махновцам, если сами красные верили в это? Если даже белые поверили?

Лишь только стало ясно, что воля Русской армии к

сопротивлению сломлена, Фрунзе 11 ноября издал знаменитое обращение к врангелевцам, в котором белым предлагалось прекратить боевые действия с гарантией прощения: «Сдающимся, включительно до лиц высшего комсостава, полное прощение в отношении всех поступков, связанных с гражданской борьбой». Всем желающим покинуть Россию гарантировалась возможность «беспрепятственного выезда за границу при условии отказа на честном слове от дальнейшей борьбы против рабоче-крестьянской России и Советской власти», а желающим остаться – возможность трудиться на благо Родины (83, 439).

Фрунзе был известен решительностью действий в отношении врагов и благородной снисходительностью к побежденным. Нет сомнения, что решающую победу над силами контрреволюции командующий Южным фронтом хотел увенчать благородным актом прощения. Это было и по-человечески, и политически понятно и хорошо: страна должна была, наконец, сойти с круга ненависти и резни, люди должны были впервые за много лет обратиться друг к другу лицом, чтобы перестать друг друга расстреливать только за различия в военной форме, должны были поглядеть в глаза друг другу, чтобы попытаться понять: что произошло? Что сделали со страной, друг с другом? И простить. Важнее всего то, что простить.

Психологически обращение Фрунзе было составлено очень тонко. Такого тона давно ждали от железных большевиков – может быть, именно такого и ждали от них, чтобы им поверить. В. В. Вересаев вспоминает, что слова о примирении во имя Родины были с глубоким сочувствием восприняты белым офицерством: «Молодое белое офицерство, состоящее преимущественно из студенчества, отнюдь не черносотенное, логикой вещей загнанное в борьбу с большевиками, за которыми они не сумели разглядеть широчайших народных и трудовых масс, давно уже тяготилось своей ролью и с отчаянием чувствовало, что пошло по ложной дороге, что выхода на другую дорогу ему нет» (10, 30). Обращение Фрунзе, ставшее широко известным благодаря передаче его по телеграфу – и, соответственно, принимаемое радистами повсюду в белом тылу, – казалось, приоткрывает возможность перейти на другой путь: побеждены, но прощены во светлое имя России!

Попробуем разделить, попробуем понять это чувство надежды и мы, чтобы острее почувствовать остроту разочарования. Ибо далее открывается одна из самых позорных, самых мрачных страниц Гражданской войны. Уничтожение крымского корпуса махновцев, конечно, можно рассматривать в отрыве от всего того зверства, которое началось в Крыму вскоре после победы над

Врангелем. Но тогда нам не понять, что все, что происходило – считая и махновцев, и белых солдат и офицеров, которых, со связанными руками и ногами, расстреливали из пулеметов в шаландах, выведенных в море, и красноармейцев, расстрелянных ради профилактики разбродов и шатаний в Красной армии, – все это произросло из одного корня, после того как интонация воззвания Фрунзе – интонация праздника и спасения – сменилась интонацией беспощадства и духом пыточной камеры.

На следующий после воззвания день, 12 ноября, Фрунзе получил шифрограмму из Москвы (копия – Троцкому в Харьков): «Только что узнал о вашем предложении Врангелю сдаться. Крайне удивлен непомерной уступчивостью условий. Если противник примет их, то надо реально обеспечить взятие флота и невыпуск ни одного судна, если же противник не примет этих условий, – то, по-моему, нельзя повторять их, и нужно расправиться беспощадно. Ленин» (46, т. 52, 6).

12 ноября Ленин написал пять указующих записок. В принципе, эта записка (на деле означающая новый виток Гражданской войны, неизбежные репрессии, связанные с ними социальные и психологические травмы всей нации и другие, не менее важные последствия) ничем не выделялась из числа других, написанных так же деловито и бодро.

Не знаю, что должен был испытать Фрунзе, получив послание вождя. Наверно, отчаяние. Ленин ничего не понял. Не понял, что великодушие важнее кораблей. Не понял, что нельзя, не будучи провокатором, ставить перед бегущей армией невыполнимые условия («невыпуск ни одного судна»). Не понял, что командующий фронтом обращался к каждому солдату, к каждому белому офицеру лично, а не к командованию Русской армии с предложением о капитуляции на таких-то условиях… Зато для Фрунзе после этой шифровки должно было стать ясно, что своей партии в этой победной музыке ему сыграть не удастся, что ему, умудрившемуся до сих пор сохранить незапятнанной репутацию военного, на этот раз, скорее всего, придется позамараться, выступив в роли обманщика и палача: чтоб не пылало шибко сердце да не заносилась голова…

Входя как командующий победоносным фронтом в большевистский пантеон, он тоже должен был быть повязан с заглавными его фигурами предательством и кровью. В самый момент триумфа партийная верхушка большевиков принялась Фрунзе ломать, испытывая на «свойскость» по закону банды. В общем, он этого испытания не выдержал. Хоть и хотел. Какой силы давление осуществлялось на командующего фронтом, можно судить, в частности, на основании приказа, подписанного

им 15 ноября, внутренний смысл которого полностью противоречит духу его воззвания к врангелевцам: «Радио определенно указывает о затруднительном положении судов противника, вышедших в море и оказавшихся без запаса угля, воды и сильно перегруженными… Приказываю развить самую энергичную работу подводных лодок и ликвидировать попытки противника морем ускользнуть из-под ударов наших армий» (87, 134).

Через четыре дня после обещания прощения – приказ беспощадно топить беспомощные, перегруженные людьми (в том числе и штатскими) транспорты! Возможно ли это?! Ведь приказы такого рода отдавали, пожалуй, лишь гитлеровцы во время тотальной войны на море. И тем не менее…

Нет сомнения: «ломка» Фрунзе была прямым прологом к крымской резне…

Со стороны ничего не изменилось, хотя история уже потекла в другое русло… После прорыва Юшуньских позиций настало время триумфов. Одна за другой красные части без боя занимали города, соревнуясь за право первыми прошествовать по главной улице. 13 ноября Вторая конная армия и махновцы вошли в Симферополь, 15 ноября – Первая конная и отряды крымских партизан – в Севастополь. 16-го красные заняли Керчь, 17-го – Ялту. Крым пал.

За эти пять дней произошли невидимые, не сопровождавшиеся ни выстрелами, ни торжествами события, которыми, однако, многое определилось. Предчувствия каких-то серьезных изменений в эти дни, конечно, снедали многих, хотя никто в точности не знал, что происходит. Но факт, что, когда 13 ноября в Гуляй-Поле от Каретникова пришла телеграмма, что Турецкий вал пал и крымский корпус вместе с красными идет на Симферополь, Григорий Василевский, зная о всех самообольщениях батьки по поводу переговоров, все-таки не удержался и воскликнул: «Конец соглашению! Ручаюсь чем угодно, что через неделю большевики будут громить нас!» (2, 180).

Василевский, друг Махно и участник всех его предприятий с 1918 года, эту фразу выкрикнул, конечно, в сердцах, но он даже не подозревал, насколько он близок к истине. Уже 13 ноября, разговаривая по телефону с главкомом С. С. Каменевым, М. В. Фрунзе сказал, что «повстанческая армия в последних боях вела себя неважно и явно отклонялась от задач, связанных с риском серьезных потерь» (12, 179). Совершенно непонятно, что хотел этим сказать Фрунзе – после форсирования махновцами Сиваша?! Но также очевидно, что Каменев зачем-то специально задал ему

вопрос по поводу махновцев. Возможно, предреввоенсовета республики Л. Д. Троцкий попросил главкома начать поиск компромата на «союзников»? Не исключено. 14 ноября в Харькове состоялось заседание ЦК большевиков Украины с участием от российского ЦК Троцкого и Л. Серебрякова, на котором по-большевистски делово и прямолинейно был обсужден вопрос о Махно, и решено было поручить Я. Яковлеву, Х. Раковскому и С. Минину поддерживать связь с Реввоенсоветом, чтобы «обсудить предстоящие боевые действия против Махно» (12, 180).

Это фантастично! Это поистине гениально! Махно еще пальцем не шевельнул против большевиков. Всего пять дней назад махновцы вместе с красноармейцами выдрали из рук у белых перекопскую победу. И вот тому самому Якову Яковлеву, который подписывал соглашение с Повстанческой армией от имени правительства Украины, партия поручает обдумать, как уничтожить союзников. Не договориться с ними, а именно уничтожить. Причина не важна, ибо сработал принцип, ибо задана интонация, сказано слово – «расправиться беспощадно».

О заседании ЦК махновцам, естественно, ничего известно не было. Харьковская делегация продолжала обихаживать Х. Раковского, от которого ждали решения вопроса о «четвертом пункте». В Крыму тоже как будто ничего не внушало особых опасений: после взятия Симферополя крымский корпус Каретникова был отведен в пустоватый район степного Крыма южнее Евпатории, возле озера Саки. Триумфальной славы ему не полагалось. Но, наверно, махновцы особенно на это и не рассчитывали.

Пятнадцатого почему-то оборвалась связь между крымскими частями и Гуляй-Полем. Вот это уже могло бы послужить серьезным предостережением и Каретникову, и Махно. И наверняка даже они обеспокоились, но для объяснения, конечно, сыскалась подходящая техническая причина. Может быть даже, в нее не поверили, но, с другой стороны, – что было делать? Рвать соглашение? Начинать боевые действия против большевиков? На это махновцы были совершенно не способны психологически. Махно довольно попартизанил, ему хотелось определиться посолиднее, поэтому он и держался за соглашение до последнего.

А держаться ему было трудно, потому что тыл – это был тыл, здесь фронтовые чувства не действовали – а по-прежнему остро, как зимой, как весной и летом, свербели проклятые вопросы крестьянской жизни, по-прежнему не принимаемые большевиками в расчет. И пока батька все пытался в обмен на свою подмогу выпросить у большевиков кусок земли для устройства крестьянского рая, тихо тлела в тылу тайная война,

положить конец которой мог, конечно, только экономический компромисс с крестьянством. Нэп – в ноябре 1920 года.

Но никакого нэпа тогда не ввели. И в красные штабы, и в Гуляй-Поле постоянно поступали сведения об убийствах в махновском районе отдельных красноармейцев, о невыполнении продразверстки, о грабежах. Докладывали, что в некоторых районах «нельзя было передвигать обозы без сопровождения сильной кавалерийской части» (24, 212). Иначе грабили.

ЧК бдительно следила за Махно. Повсеместно были внедрены агенты. В штаб 4-й армии один из них сообщал: «Настроение махновских частей, расположенных в с. Песчаном, резко враждебно по отношению к коммунистам. Публика эта определенно говорит о предстоящей вооруженной борьбе с нами. Усиленно муссируются слухи, что все буденновцы соединятся с Махно и пойдут против нас, причем об этом говорят не только сами махновцы, но и крестьяне всего уезда…» (78, оп. 3, д. 589, л. 1). В том же ключе следует воспринимать жалобы продкомиссара Владимирова члену реввоенсовета 4-й армии Грюнштейну: «Получил сообщение из Александровска, что волости отказываются от выполнения разверстки, ссылаясь на необходимость предварительного разрешения Повстанческой армии. Никто не выполняет разверстку…» (там же, л. 4).

Конфликт был стар, как сама революция, но тут еще приобрел звенящую остроту из-за того, что крестьяне, из которых формировались отряды Махно, получили в руки оружие. Действительно, в тылу свежесформированные части Повстанческой армии в отношении красноармейских частей вели себя все более задиристо. Замечательно в этом отношении письмо старого атамана-потемкинца Дерменджи, который встревожился воровским поведением своих хлопцев и отписал начальнику махновского штаба В. Белашу: «Т. Белаш, нужно сделать распоряжение и приказ по полкам, чтобы проходящие части ни в коем случае не раздевали. Началась полная грабиловка, насилие и убийство» (78, оп. 3, д. 589, л. 25). Командир третьего повстанческого полка Клерфман, напротив, сообщал в Гуляй-Поле, что под видом махновцев грабежи совершают красноармейцы и местная милиция (там же, л. 24). Это, кстати, подтверждается сообщением в штаб 4-й армии из мелитопольского комиссариата по военным делам: «В районе Веселовской волости ночью… красноармейцы 20 кавполка 4 дивизии 1 (конной) армии избили начальника уголовного розыскного отдела, ограблена в с. Гавриловка гражд. Крахмаль, взяты лошади, бричка, 52 аршина сукна…» (там же, л. 20). Красноармейцы, видно, украли сукно, чтобы вывезти домой в

качестве военного трофея по случаю победы. Но вообще разобрать в этой «грабиловке», кто, что и зачем украл, было совершенно невозможно, ибо после окончания военных действий прекратить эксцессы, неизбежные при наличии оружия у сотен тысяч людей и нерешенности крестьянской проблемы, можно было, лишь осуществив две меры: компромисс с крестьянством (хотя бы в виде, предлагаемом Махно) и демобилизацию армии.

Иначе – новая война.

12 ноября в Гуляй-Поле приехал уполномоченный александровского ревкома Н. Гоппе: партия поручила ему выяснить, что происходит в столице Махно, каково влияние махновцев в деревне, организуются ли комитеты незаможных селян. Получив отрицательные ответы на поставленные вопросы, товарищ Гоппе стукнул своим: «Власти Советской в уезде нет, сплошь ревкомы существуют для приезжающих инструкторов и частей Красной Армии» (12, 174). Между тем товарищ Гоппе сообщал сущую неправду: советская власть в уезде была, только не большевистская. Именно Советы постановили не сдавать продразверстку. С этим никто считаться не собирался. Сами вопросы, которые надлежало выяснить Гоппе, говорят о том, что большевики, действительно, ни во что не ставили «политическую часть» соглашения с Повстанческой армией и были бы довольны только в том случае, если бы батька Махно стал коммунистом, издал бы приказ о создании комнезамов, призвал бы со всей Украины большевиков и лично, рубя головы, ездил бы во главе продотряда, ссыпая крестьянское зерно на подводы.

Товарищ Гоппе просидел в Гуляй-Поле три дня, собирая сведения. Его обихаживали В. Белаш и сам Махно. Белаш намекнул, что тыловые эксцессы неизбежны, пока не подписан пункт соглашения о «вольном советском строе». Махно слегка смягчил нажим своего начштаба и сумел убедить Гоппе, что разделяет его тревоги и будет неукоснительно выполнять условия договора с правительством, тем более что в нем ни полслова не было ни о нормах продразверстки, ни о комитетах бедноты. Советские историки пишут обычно, что Махно просто тянул время. Я настаиваю, что Махно действительно надеялся на «дипломатический» исход своей борьбы до конца, до тех пор пока утром 26 ноября не начался артиллерийский обстрел Гуляй-Поля.

Ждать, впрочем, оставалось недолго. Напряжение в тылу, планируемый съезд анархистов в Харькове, вызывавший злобное раздражение большевистских властей, наличие на Украине довольно-таки значительных вооруженных отрядов, подчиненных Махно, – все это подталкивало события к скорейшей и однозначной развязке.

17 ноября крымский корпус Каретникова был переподчинен командованию 4-й армии В. С. Лазаревича. В тот же день командарму—4 была подчинена действовавшая при Врангеле в крымских горах повстанческая армия А. В. Мокроусова. Мокроусов был анархист, но из числа идейно смирившихся и давно отдавших свои военные дарования на службу большевистскому делу. Его отряды влились в Красную армию без всяких эксцессов. С Каретниковым, как легко было предположить, все будет далеко не так просто.

18 ноября по секретной связи, от Фрунзе в штабы армий, проходит ряд странных приказов, отменяющих какие-то прежние его предписания. В тот же день Фрунзе отменяет предполагавшуюся командировку Корка. Начинается постепенное «обставление» красными частями крымского корпуса Каретникова, расположившегося в деревне Замрук южнее Евпатории. Подходят и располагаются вокруг три пехотные и три кавалерийские дивизии, артбригада. Одновременно в Таврии начинаются аналогичные операции по тихому окружению вновь сформированных полков Повстанческой армии в Воскресенке, Цареконстантиновке, Малой Токмачке и в других местах.

В марте 1921 года, когда события еще были свежи в памяти и не требовалось вуалей, чтобы придать им более благопристойный вид, Н. Ефимов, анализируя ситуацию, прямодушно писал: «Был составлен приказ окружения Махно и двух его групп: Крымской и тыловой… Конечно, план окружения мог удаться только при наличии внезапности, активности и большой инициативы со стороны Красной Армии. В свою очередь, активность и инициатива могли быть проявлены лишь после тщательной подготовки красноармейских частей. Особенно требовалась солидная политическая подготовка. Надо было хорошенько разъяснить, почему Красная Армия после достигнутого соглашения все-таки принуждена уничтожить махновцев…» (24, 212–213).

Для начала открытых боевых действий нужно было только время.

20 ноября, когда, по-видимому, вокруг крымского корпуса махновцев были выставлены все номера для предстоящей охоты, Фрунзе отдал Каретникову приказ № 00119: частям корпуса, войдя в состав 4-й армии, выступить на Кавказ для ликвидации остатков сил контрреволюции (84,181).

Когда советские историки утверждают, что это была попытка командующего Южфронтом «мирным путем» ликвидировать махновщину, хочется рассмеяться. В лучшем случае, это было серьезное, хотя и жестокое, предложение: либо вы сдаетесь,

сдаете мне – армию, Троцкому – Махно, коммунистам – «вольные советы» и весь свой анархо-крестьянский бред, либо – сами знаете что…

Связаться с Гуляй-Полем Каретников не мог из-за отсутствия связи. Что дело плохо, он, конечно, почуял давно, но не мог уяснить себе общей картины. Приказ Фрунзе практически отменял соглашение между Повстанческой армией и Совнаркомом Украины. В самом ли деле соглашение расторгнуто – или его провоцируют? Он не знал.

Вечером 20 ноября в колонии Булганак состоялся митинг частей крымского корпуса. Открыл собрание Каретников, обнародовавший приказ командующего фронтом. Собрание выслушало. Собрание составило необыкновенно дипломатичный ответ красному командованию. В нем говорилось: «Революционное повстанчество всегда стояло на страже революции и охраняло ее интересы. Незыблемо будет беречь и охранять свои социалистические основы и традиции построения повстанческой армии. Будет подчиняться согласно договора, заключенного с правительством Украины, какое является для обеих сторон нерушимым…

…Поэтому еще раз напоминаем командованию Красной Армии дать нам распоряжение, не нарушая основ соглашения…

…Были случаи, что военными и гражданскими представителями Советской власти запрещалось печатание наших газет и листовок, а также вооруженной силой разгонялись митинги до их открытия, арестовывали и избивали наших представителей. Это прямое нарушение основ соглашения и явление недопустимое в свободной революционной стране. Требуем выполнения всех пунктов соглашения и широкой его публикации…» (78, оп. 3, д. 589, л. 32).

Протокол собрания был направлен в полевой штаб Южфронта Фрунзе.

Михаил Васильевич, который сам военную часть соглашения подписывал, прекрасно понимал, что имеют в виду махновцы, однако, понукаемый, по-видимому, по партийной линии, он уже не отступал от намеченного плана.

23 ноября С. Каретникову был предъявлен новый приказ, в котором его частям предлагалось немедленно приступить к сдаче оружия и переформированию повстанческих войск в регулярные части Красной армии. Были приведены аргументы, диктующие необходимость такого преобразования. Не совсем понятно, кому они предназначались. Как ни крути, а можно считать установленным, что в Гуляй-Поле об этих приказах не знали и Махно впервые прочитал в газетах их текст только в декабре.

Значит, Фрунзе, отдавая эти приказы, хотел, по сути, только одного: разагитировать и разоружить корпус Каретникова в Крыму и лишить Махно лучшей кавалерии.

24 ноября – новые приказы по частям фронта, выдержанные в откровенно-истерическом ключе, должно быть, для «подогрева» красноармейцев, которым предстояло принять участие в войне против вчерашних союзников. Поражает ложь, на которой командующий фронтом выстраивает весь свой пафос негодования: «Махно и его штаб, послав для очистки совести против Врангеля ничтожную кучку своих приверженцев, предпочли в каких-то особых видах остаться с остальными бандами во фронтовом тылу. Махно спешно организует и вооружает за счет нашего трофейного имущества новые отряды…» (85, 25). «С махновщиной надо покончить в три счета. Всем частям действовать смело, решительно и беспощадно. В кратчайший срок все бандитские шайки должны быть уничтожены, а все оружие из рук кулаков изъято и сдано в гос. склады… До 26 ноября я буду ждать ответа на вышеизложенный приказ. В случае неполучения такового, что представляется наиболее вероятным… красные полки фронта… заговорят с махновскими молодцами другим языком» (12, 182).

Об этих «внутренних» приказах по красным полкам фронта махновцы ничего не знали. «Несмотря на то, что оба приказа М. В. Фрунзе были изданы в непосредственной близости от Гуляй-Поля, перехватить их махновцам не удалось», – замечает по этому поводу историк В. Волковинский. Это отчасти проясняет для нас тот достойный удивления факт, что когда 25 ноября С. Каретников через красное командование получил от Махно «вызов» на совещание в Гуляй-Поле, он этому сообщению поверил и с небольшим эскортом стремглав пустился на встречу с батькой, чтобы, наконец, избавиться от проклятой неизвестности и уяснить, что делать…

Для него это избавление настало раньше, чем он ожидал. Мы не знаем точно, где и когда Каретников был перехвачен в пути. Расстреляли его на другой день в Мелитополе. Части сопровождавших его людей удалось вырваться из устроенной засады, потому что они были арестованы только в ночь на 27 ноября в Джанкое. Завразведкой 2-й стрелковой дивизии сообщал в штаб 4-й армии: «Вместе с сим препровождается в ваше распоряжение 24 махновца, следовавшие с командиром Повстанческой и арестованные в ночь на 27.X1 в Джанкое. Приложение: список»[24] (78, оп. 3, д. 589, л. д. 7).

Если бы Каретников не так торопился увидеться с батькой, он бы, быть может, остался в живых. Днем 25 ноября кто-то из

красноармейцев передал махновцам, что выступление против них назначено на 2 часа ночи 26 ноября. Таков приказ комфронтом.

Думаю, что красноармейцы не только выдали махновцам планы командования, но и пообмыслили совместно, как тем нужно уходить. В принципе, махновцев окружали те самые части, с которыми они бок о бок дрались против врангелевцев, но были среди них более твердые, вроде 15-й, бывшей латышской, дивизии, и более мягкие, более сочувственно настроенные к ним, вроде кавалерии Первой и Второй конных армий. Во всяком случае, никакого «прорыва», в настоящем значении этого слова, а уж тем более прорыва штурмового, рисующегося воображению некоторых историков, когда проклятое кулачье, врубив все свои 200 пулеметов, прожгло кольцо блокады, не было. С наступлением темноты оставшаяся без командующего группа Каретникова «собралась и направилась к шоссе Симферополь—Перекоп. По дороге, встретив 7-ю кавдивизию, махновцы ее разбили и свободно прошли к деревне Джума-Аблам» (24, 213). Хоть автор этих строк, Н. Ефимов, писал их и по свежим следам событий, тут интересно бы выяснить – а в самом ли деле был бой? Части Каретникова и 7-й кавдивизии вместе стояли в селе Петровка накануне форсирования Сиваша и прекрасно друг друга поняли как сорвиголовы и профессиональные рубаки. Зимой 1921 года 7-я кавдивизия проявляла в боях с махновцами так мало рьяности, дезертирствуя и, в общем-то, просто слоняясь в районе боевых действий, что ее обвиняли в промахновских настроениях и чуть не расформировали. Вполне возможно, что бойцы дивизии пропустили махновцев через свое расположение, просто сымитировав бой, а еще того скорей – именно они и предупредили махновцев о готовящемся нападении. Во всяком случае, прорвавшийся корпус Каретникова никто не преследовал.

Н. Ефимов пишет, правда, что «после обнаружения прорыва немедленно вслед уходящим махновцам был брошен 3-й конный корпус и части 52-й дивизии» (24, 214). Но это, на самом деле, значит только то, что красные части получили приказ о преследовании. Но даже советские историки признают, что выполнять они его не спешили, не понимая, видимо, в чем дело. Уставшие, решительно настроившиеся отдыхать и возвращаться домой войска охватило какое-то полное безволие. Командир 3-го кавалерийского корпуса Каширин вообще заявил, например, что корпус «совершенно не в состоянии двигаться и нуждается в трехнедельном отдыхе» (78, оп. 3, д. 35, л. 77).

А. И. Корк, получая в Симферополе данные разведки, беспокоился: «27 ноября в 16 ч. 50 м. отряд махновцев в районе Юшуни проскочил колонной глубиной до трех верст через

расположение 52 див. в северовосточном направлении и, очевидно, форсированным маршем будет продолжать двигаться на Перекоп и Литовский полуостров… Конгруппа и 52 дивизия получила задачу от командарма—4 преследовать махновцев в направлении на Перекоп. Приказываю начдиву—1 немедленно приступить к выполнению задачи, поставленной моей телеграммой нр 111/к… Действовать быстро, решительно…» (78, оп. 3, д. 35, л. 71).

В приказе командующему латышской дивизией Корк как-то флегматично констатировал: «По непроверенным сведениям кавдивизия вчера у Юшуни имела бой с махновцами, и, видимо, сегодня махновцы пройдут через Перекоп или Сиваш…» (там же, л. 74).

Эти свидетельства для нас чрезвычайно важны, потому что по одной из расхожих версий махновцы вырвались из Крыма тайным путем, нежданно-негаданно явившись перед Перекопом и назвав верный пароль, чем как будто ввели в заблуждение охранявшие Турецкий вал части 1-й стрелковой дивизии, даже не вызвав у них подозрений. Все это – что совершенно ясно становится из приказов Корка – нимало не соответствует действительности. Красные знали обо всех передвижениях махновцев, но ровным счетом ничего не предпринимали. Якобы было столкновение с частями 52-й дивизии, но в это верится с трудом: еще и трех недель не прошло, как они вместе форсировали Сиваш. Как было драться братьям по оружию? В этом смысле весь план «замкнуть» махновцев в Крыму имел колоссальный изначальный изъян: разгром повстанцев должны были осуществить те самые части, которые вместе с ними сражались против белых. Предполагалось, очевидно, что тысячи простых солдат проявят большевистскую сознательность и совершат предательство с тою же легкостью, с какой повернулся политический рычажок в мозгах Ленина и Троцкого. Этого не произошло. «Следствием чего, – читаем у Н. Ефимова, – махновцы спокойно дошли до Армянского базара к вечеру 27 ноября» (24, 214). Здесь они разделились: одна группа двинулась на Литовский полуостров, возможно, еще усеянный телами убитых, которых некому было схоронить в ледяной степи, и ушла из Крыма через сивашский брод. Воистину, было что-то зловещее в этом ночном бегстве махновцев вспять – по следам своей величайшей победы! Вторая группа, может быть, и назвав какой-то пароль, «прошла у Перекопа мимо незначительных и небоеспособных частей первой стрелковой дивизии», которая, несомненно, поняла, кто перед нею, но решила боя не принимать (24, 214). Утром 28 ноября обе группы соединились в деревне Строгановка на Таврическом побережье. Казалось, им удалось

вырваться из крымской западни. Однако радоваться было рано: именно здесь, в Таврии, ждали их части, которые не питали к ним никаких чувств и гораздо лучше были психологически подготовлены к операциям против них.[25]

В Харькове, где тщетно продолжали свою дипломатическую работу члены махновской делегации с Волиным во главе, развязка наступила значительно быстрее. Понятно, что приказов Фрунзе с ультиматумом повстанческим частям до сведения махновских представителей никто не довел. Правда, Волин утверждал, что в середине ноября один сочувствующий анархистам телеграфист предупредил его о двух секретных телеграммах Ленина Раковскому, в которых будто бы предписывалось вести за анархистами наблюдение и начать готовить на них компромат «по возможности уголовного характера» (95, 284). Все это по духу весьма похоже на правду, но, увы, подтвердить сообщения «одного телеграфиста» документальными материалами мы не можем.

Показательно, что накануне рокового дня 26 ноября (и через 11 дней после заседания ЦК КП(б)У, на котором было предрешено уничтожение махновщины) Волина «сердечно» принял в своем кабинете Христиан Раковский и вновь сочувственно поведал ему, что вопрос о выделении территории для «вольного советского строя» обсуждается в инстанциях в Москве и, скорее всего, со дня на день следует ждать положительного ответа оттуда.

Поздно вечером, после выступления на митинге в Харьковском сельскохозяйственном институте, Волин вернулся в номер гостиницы и еще некоторое время работал над статьей для газеты. В половине третьего, когда он улегся наконец в постель, по лестнице загрохотали сапоги, грохнул выстрел, и после нескольких крепких ударов в дверь он услышал: «Открывай, иначе высадим дверь!» Зная по опыту, что это значит, Волин быстро собрался, после чего и был препровожден в какой-то подвал, куда на протяжении всей ночи свозили арестованных анархистов.

Так главный пункт политической части соглашения дождался своего «благополучного решения» – не удержался Волин от саркастического замечания по этому поводу (95, 644). После вынужденного и, в некотором смысле, неестественного для большевиков попустительства политическим оппонентам настал сладостный час расправы. Забирали всех, пишет Волин, вплоть до 14—16-летних мальчиков, будто речь шла «об уничтожении грязной расы анархистов до третьего колена» (95, 284). Всего в последнюю неделю ноября в Харькове было арестовано 346 анархистов (94, 274). Представлявшие махновскую делегацию

Попов, Буданов и Хохотва были отправлены в Москву и расстреляны. Запоздалый выстрел, уготовленный Попову приговором Ревтрибунала еще в июле 1918 года, все-таки прозвучал. Всего в Москву из Харькова было переправлено 40 человек. Вновь возвращался в знакомые места отсидки Волин, впервые должны были увидеть настоящие застенки ЧК махновские командиры Середа, Зинченко, Колесниченко.

Надежды анархистов интегрироваться в систему советского строя рухнули.

Не менее драматически и загадочно развивались события в Гуляй-Поле. Наиболее странна неудавшаяся попытка покушения на Махно, имевшая будто бы место 20 ноября. О ней рассказал в своих показаниях ЧК Виктор Белаш и – с некоторыми отличиями в деталях – Аршинов в «Истории махновского движения». В первом случае речь идет о 40 (!) чекистах из спецгруппы по ликвидации анархобандитизма Ф. Я. Мартынова, появившихся якобы в Гуляй-Поле в середине ноября и попытавшихся во время большой пирушки, на которой собрался весь махновский штаб, забросать присутствующих бомбами. Однако махновцы опередили их и семь человек схватили. На допросе те сознались в злоумышлении и перед смертью назвали срок, когда Гуляй-Поле подвергнется атаке (12, 182). У Аршинова речь идет лишь о 9 агентах контрразведки 42-й дивизии, которые были схвачены 23 ноября и тоже, не выдержав разговора по душам, назвали сроки.

Нет никакого сомнения в том, что чекисты Мартынова страстно желали физического уничтожения Махно. Но что 40 человек посторонних могли появиться, найти себе приют и выносить злой умысел в Гуляй-Поле, где каждый чужой бросался в глаза и которое к тому же слишком многое пережило с 1917 года, представляется деталью совершенно фантастической. Зачем Белашу потребовалось такое городить на допросе, известно только ему одному. Однако жизнь он себе в результате выговорил. А ведь взяли его только осенью 1921 года, когда Махно уже ушел в Румынию…

Совершенно не укладывается в логику событий и то, что чекисты проговорились махновцам о вероломных планах красного командования. Напротив, все говорит как раз о том, что о приближающемся нападении в Гуляй-Поле ровным счетом ничего известно не было. Ну неужели, зная о дне, когда суждено совершиться предательству, Махно сидел бы на месте с охраной всего в 300 человек? Неужели он не ушел бы из села, не собрал из формировавшихся поблизости частей сильный отряд, чтобы ударить в тыл предателям и разгромить их? Можно ручаться, он проделал бы что-нибудь в этом духе. И проделал, как только на

него напали.

Может быть, самым неожиданным аргументом против присутствия несметного количества чекистов в Гуляй-Поле является то, что у красного командования не было сколько-нибудь ясного представления о том, сколько, в действительности, войск в «столице» Махно; все разведданные были многократно преувеличенными и основывались, похоже, на слухах, что в конечном счете сослужило Махно добрую службу. Одно из донесений сообщало, например, что «армия Махно насчитывает до 9000 человек, около 2500 сабель» (12, 182), другое с той же категоричностью утверждало, что «войск в Гуляй-Поле до 1000 сабель и 3000 пехоты при 3-х орудиях…» (12, 182). Что, спрашивается, делали то ли сорок, то ли девять агентов в Гуляй-Поле, если они не смогли даже пересчитать, сколько войск состоит при штабе?

Вообще, эпизод с чекистами слишком смахивает на фрагмент из лихого киносценария: интересно, откуда он всплыл, зачем понадобился Белашу, почему устроил тех, кто его допрашивал?..

Действительные события развивались куда более прозаически. 24 ноября гуляйпольский Совет в очередной раз отказал в выдаче тысячи пудов хлеба фуражирам 42-й дивизии, которая в эти дни со всех сторон окружила местечко. За махновцами должно признать изрядную долю принципиальности. Как во время визитов большевистских бонз, так и пред лицом красноармейского командования они держались железной линии: хлеб даром не сдавать.

25 ноября Реввоенсовет махновцев предался теоретизированию и утвердил «Общее положение о вольном совете». Решительно невозможно представить себе, чтобы, зная о предстоящем наутро нападении, бывалые партизаны занялись бы вместо самообороны составлением своеобразной политической эпитафии.

Пасмурным утром 26 ноября, когда оставшийся без командира корпус Каретникова уже мчался по Крыму, чтобы вырваться из западни, а харьковская делегация сидела в подвалах чрезвычайки, из Гуляй-Поля в Харьков позвонил Петр Рыбин, анархист из секции пропаганды, и поинтересовался: как идут дела и как скоро ждать решения вопроса о «вольном советском строе»? Ему успокаивающе отвечали, что все будет улажено к полному удовлетворению махновцев, «при этом тут же сообщали, что вопрос с 4-м пунктом политического соглашения также подходит к благополучному разрешению» (2, 182).

Ровно через два часа после этого разговора Гуляй-Поле было накрыто ураганным артиллерийским и пулеметным огнем. Каким

образом Махно и Белашу удалось собрать в охваченном паникой городке, где подводы и тачанки сталкивались на улицах, где рвались снаряды и вновь выли в предчувствии лютой беды бабы, своих триста повстанцев, мы знать не можем. Но факт, что это удалось. Удалось выставить слабое заграждение вокруг села, выслать разведку. Разведка донесла: окружены повсеместно. Дальше произошло нечто похожее на чудо, которому историки пытаются найти рациональное объяснение и все-таки не находят, потому что решительно непонятно, как могла испытанная в боях с махновцами 42-я дивизия упустить Махно, весь его штаб и пропагандистов, при которых было всего сотни три бойцов. Как это ни странно, прав В. Волковинский, который пишет на первый взгляд полную несуразицу: Махно бросил своих людей в прорыв тогда, когда заметил, что «одна из кавалерийских красноармейских частей, наступавшая со стороны села Туркеновки, боясь попасть в окружение, начала отходить» (12, 185). Махно было принял это за хитрый маневр, но, видя, что иного выхода у него все равно нет, бросился вперед наудачу – и выскочил из западни!

Побойтесь Бога, воскликнет читатель, но о каком страхе окружения могла идти речь, когда у Махно было так мало людей?! Перед кем отступала красноармейская часть? И тут ответ неоднозначный, ибо красноармейцы сражались не с реальными махновцами, а с той мифической девятитысячной армией Махно, о которой доносила разведка. Это была в прямом смысле слова битва с призраком, из-за чего шевеление нескольких десятков человек на околице Гуляй-Поля было красными кавалеристами истолковано как грозный маневр, убоявшись которого, они и отступили.

Самое смешное, что красные даже не поняли, что проскочивший мимо них небольшой отряд и есть Махно со всеми его силами. Весь день Гуляй-Поле обстреливалось из орудий, медленно и планомерно сжималось кольцо блокады. Вечером в городок, совершенно случайно – выполняя какую-то свою боевую задачу – ворвалась интернациональная кавбригада под командованием Мате Залки. Не обнаружив противника, кавалеристы устроились на ночлег. Утром бой возобновился: части 42-й дивизии продолжали наступление на Гуляй-Поле и, ничего не зная о маневре дерзкого венгра, грозили уничтожить его конницу. «После перестрелки со своими и между собой недоразумение выяснилось и части… 42-й дивизии и Богучарской бригады к вечеру 27-го вошли в Гуляй-Поле» (24, 214).

Конфузия вышла первостатейная. Все это, действительно, было бы комично, если бы этим не открывалась сызнова кровь.

Когда Махно через восемь дней во главе почти трехтысячного отряда вновь отбил у красных Гуляй-Поле, ему были предъявлены единственные аргументы в затянувшемся политическом споре с большевиками: триста трупов впопыхах убитых сторонников «вольного советского строя»…

Аршинов пишет, что после вероломства 26 ноября Петр Рыбин, утром говоривший по телефону с Харьковом и выслушивавший дружелюбные заверения кого-то из чиновников Совнаркома, как-то болезненно сосредоточился на одной задаче: добраться до Харькова, вызвать по телефону Раковского и сказать ему, что он подлец. «Возможно, – продолжает Аршинов, – что он и выполнил это свое намерение, и, возможно, это привело его к гибели; через 5 дней по прибытии в Харьков он был арестован, а через месяц после этого расстрелян по постановлению чека» (2, 224).

27 ноября ЦК КП(б)У с неизбежными Х. Раковским, Я. Яковлевым и начинающим политическую карьеру В. Молотовым заслушало доклад о ликвидации махновщины. Операции 26–27 ноября можно было считать проваленными: крымский корпус ушел, Махно ушел, неудачей закончилось окружение таврической группы махновцев (удалось окружить и пленить только один свежесформированный полк). А под Бердянском вообще творился позор, оттуда поступали сведения об отряде одного из крупнейших махновских командиров Удовиченко, который свободно разъезжал по уезду, устраивая митинги совместно с представителями большевистской власти. 27 ноября отряд провел митинг в селе Арзур. Агент докладывал: «Был представитель от уездвоенкома города Мариуполя, который сам выступал. Держали себя хорошо, хотя больше всего призывали к безвластию, но приветствовали соединение с красными» (78, оп. 3, д. 589, л. 18). Бердянск был злокачественной глухоманью и провинцией. Ничего-то до него не доходило! Из такого вот попустительства и вспучивались потом крамола и измена, тайное сочувствие, которое даже хуже явного…

ЦК КП(б)У поручил Раковскому, Молотову и Яковлеву вплотную приступить к выполнению задачи «чрезвычайной важности» – уничтожению бывших революционных партизан. Но для этого надо было выправить и ужесточить размягчившийся во фронтовом содружестве партийный дух.

29 ноября Фрунзе вызвал Корка из Симферополя в свой поезд и на основании полученных инструкций устроил ему хорошенькую взбучку. Судя по всему, разговор развивался примерно в таких тонах: какого же черта вы, товарищ Корк, упустили Махно, и как долго будет продолжаться бандитская

расслабленность ваших частей?

Получив нагоняй, Корк со станции Дюрмень нижеследующим приказом взбодрил подчиненного ему командующего 3-м конным корпусом Каширина: «На основании указаний, полученных от командюжа, приказываю: 1) Комкорпуса Каширину немедленно продолжить преследование (крымской группы) махновцев с целью их уничтожения. 2) начдиву—15 к вечеру 30/X1 сосредоточить дивизию в районе Аскания-Нова—Самойловка– Каталино… выслать конную разведку и на подводах пешую для выяснения отхода махновцев» (78, оп. 3, д. 35, л. 78).

Третий конный корпус, несмотря на жалобы Каширина на загнанность частей, был волевым приказом послан вслед уходящему «крымскому корпусу». Навстречу ему двинули части 42-й дивизии, наперерез – петроградскую бригаду курсантов, которой, если читатель помнит, в последний момент не дали погрузиться в вагоны в Мелитополе.

Какая-то жестокая ирония истории заключена в том, что красные решили взять реванш и отыграться именно на тех частях Повстанческой армии, которые непосредственно помогали им во взятии Крыма. Тот самый курсант Иван Мишин, который в день решающего штурма сидел с напарником в стогу с катушкой телефонного кабеля, вспоминал: «В мое дежурство в штаб Петроградской бригады курсантов из одного полка позвонили и сообщили, что по балке перемещаются махновцы в составе до тысячи человек. Об этом событии я доложил командиру бригады. Через некоторое время в полк передали, чтобы махновцам дали втянуться в балку, после чего будет дан сигнал к наступлению – выстрел из орудия. Был открыт огонь из винтовок и пулеметов с обеих сторон балки. Оказалось, что это был только передовой отряд махновцев, который отступил, понеся значительные потери. Основные силы избежали поражения» (57).

Правда, ненадолго. Красное командование, один раз опозорившись, решило во что бы то ни стало не допустить второго позора, которым стало бы для него соединение «крымского корпуса» с группой Махно.

Вырвавшись из Гуляй-Поля, Махно прежде всего собрал разбросанные в ближайших селах свежесформированные части. Он еще не осознал всю тяжесть постигшего его поражения, но постепенно избавлялся от иллюзий. 29 ноября на совете Повстанческой армии в Константиновке Махно дал указание: «Временно по силе возможности уклоняться от боев и заняться энергично организацией армии и объединением повстанческих отрядов, а также связаться с отрядом Удовиченко и ждать возвращения крымской группы Каретникова» (12, 186).

Крымский корпус, меж тем, все-таки попал в западню: утром 1 декабря примерно в 120 километрах к северу от Крыма у села Тимошевки повстанцы столкнулись с частями Первой конной и 42-й дивизии. Махновцы пытались прорваться, используя огневую мощь своих пулеметов, пленили один полк, но были отбиты. Бой продолжался целые сутки. Будущий маршал Тимошенко, в ту пору командир 4-й кавдивизии, докладывал Буденному: «Наши части переходили несколько раз в атаку, изрубили до ста кавалеристов, захвачены лошади и несколько пулеметов. Быстрой ликвидации банды мешает обилие у нее пулеметов на хороших лошадях, а также отсутствие при наших частях автоброневиков. Бронепоезд № 63 до настоящего времени на ст. Пришиб не прибыл, а вместе с ним не прибыл и 12-й автобронеевой отряд, и местонахождение их неизвестно. Бой продолжается…» (27, 101).

Махновцы пытались вывернуться, уйти на юг – не удалось. Попытались впрямую прорубиться через кавдивизию Тимошенко, но к месту боя, на этот раз кстати, подоспела интеркавбригада Мате Залки, и махновцы дрогнули. К четырем часам вечера повстанцы расстреляли все патроны и были окружены возле села Михайловка. В половине шестого Тимошенко телеграфировал Буденному: «Банды Махно разбиты… Полностью уничтожена пехота, часть взято в плен. Много изрублено кавалеристов, захвачены лошади, тачанки с пулеметами, с упряжью и лошадьми. Остатки разделились на две группы…» (27, 102).

2 декабря интеркавбригада настигла часть махновцев у колонии Рикенау и вырубила 200 человек. Практически весь крымский корпус в ходе непрекращающихся после Перекопа стычек и этих двухдневных боев был уничтожен. Лишь 7 декабря оставшиеся в живых 250 повстанцев отыскали Махно с его отрядом. Встреча должна была произойти в селе Керменчик. Предупрежденный разведчиками, Махно с волнением ожидал возвращения лучшей своей кавалерии. Он в буквальном смысле слова не мог поверить, что от пятитысячного корпуса Каретникова уцелел один эскадрон. В воздухе заклубилась желтая морозная пыль. Батька увидел две сотни изможденных всадников. К нему подскакал Марченко с кривоватой усмешкой на лице:

– Имею честь доложить, крымская армия вернулась… (2, 189).

Махно молчал. Командиры штаба на эту мрачную иронию отреагировали столь же мрачными улыбками. Поглядев в лица товарищей, Марченко заключил:

– Да, братики, вот теперь-то мы знаем, что такое коммунисты…

ОКАЯННЫЕ

Страшна, страшна должна была быть месть Махно! Когда он понял, что его в очередной раз предали, обманули, в очередной раз использовали; что ни единое слово дружественных заверений не было искренним, а всякое выражение сочувствия обернулось иезуитством, что им просто играли, задуривая его, как малоумного, несбыточными обещаниями, – какое же опустошительное отчаяние должно было овладеть им! Какая тупая, неутолимая боль должна была поселиться в сердце, недавно еще исполненном надежд, какую клокочущую злобу должен был ощутить он в своих жилах! Опять в нем не хотели признать равного себе, опять выпихивали в нелюди, объявляли охоту на него, как на дикого зверя…

Опять вне закона, опять – «бандит»! Что ж, за все теперь должны были заплатить красные: за предательство, за погибших товарищей, за опаскуженное ложью и пытками дело революции, за волю народа, превращенную в большевистскую девку, за надругательство над памятью тех, кто пал за дело народа, – и за «бандита» тоже.[26]

Бандит – так бандит. Холодно и ясно встретил Махно декабрь 1920 года. И пока ему не сбили дыхание тяжелыми ударами в январе 1921-го, Махно успел нанести несколько хирургически точных ударов красноармейским частям, действуя с такой маневренностью, какой не демонстрировала ни одна армия времен Гражданской войны.

Когда Наполеон говорил, что высшим проявлением своего военного гения он считал не Маренго и не Аустерлиц, не Йену и не Ваграм, а операции против русских, прусских и австрийских войск в 1813 году – когда он, фехтуя пятнадцатью тысячами солдат, разбивал в три, в пять раз превосходящие его силы, – он имел в виду открывшееся ему искусство парадокса, войны вопреки правилам, новую степень свободы маневра, которой союзные армии так ничего и не смогли противопоставить, пока просто-напросто не вошли в Париж, столицу его империи, чем и принудили его сложить оружие. Махно в декабре 1920 года тоже, пожалуй, продемонстрировал лучшие образцы своего военного искусства. Сравнение его с Наполеоном более чем условно, тем более условно, что корсиканец ведь действительно возомнил себя императором французов и вне этой роли уже не чувствовал воли к сопротивлению – почему и сдался, когда пала его столица. Махно же был повстанцем – у него могло ничего не остаться, кроме степи и неба, он мог спать в тачанке или на голой земле –

и продолжать сопротивляться.

Его можно было только уничтожить…

Пока красноармейские штабы получали и сочувственно перечитывали в целом лживые рапорты о разгроме махновщины от командиров частей, принявших участие в операциях 26–29 ноября, Махно собрал уцелевшие силы и нанес первый удар: 3 декабря махновцы налетели на 370-й полк 42-й дивизии и разоружили его. В тот же день была буквально освежевана кавбригада красных киргизов, собравшаяся для выступления против повстанцев в селе Комарь. Греческое село Комарь было одним из становых махновских сел, поэтому о появлении там бригады буролицых азиатов батька, конечно, узнал сразу же. Видимо, то, что против него выслали каких-то совсем неведомых, чужих людей, которые способны много напакостить в деревне именно в силу своей полной непричастности к ней, побудило Махно в отношении гостей повести себя круто: бригада была не разоружена, как обычно, а практически полностью уничтожена.

Красные киргизы заканчивали построение на улице села, когда оно было накрыто артогнем из-за горных увалов, окружающих село, после чего на улицу, заперев ее с двух сторон, влетели тачанки с пулеметами и в упор начали расстреливать заметавшихся всадников. Еще не замолкли пулеметы, как из-за тачанок грянула конница и пошла рубить согнанных в кучу смертельным огнем киргизов, которые были так ошарашены, что уже не могли сопротивляться: «Киргизы в панике не произвели ни одного выстрела, ни один из командиров не пытался установить хоть какой-нибудь боевой порядок, чтобы дать отпор; и командир, и джигиты бросились врассыпную к реке» (12, 187). Этим участь их была предрешена: махновцы сгоняли бегущих в кучки и рубили без пощады. Меньше чем за полчаса кавбригада перестала существовать. Лишь человек сто убежали в степь и дотемна хоронились там по-звериному…

В тот же день мог попасть Махно под горячую руку еще и батальон стрелков, двигавшийся по направлению к Комарю, но батальонная разведка как-то прознала про то, что делается, и вовремя донесла, что махновцев слишком много, тысячи четыре, так что прямой был резон скомандовать ретираду. И когда на следующий день к батальону стали пробиваться распущенные пленные 370-го полка и уцелевшие киргизы, выяснилось, что действительно: махновцы хорошо вооружены, есть табак, сахар, спирт, патронов много, настроение превосходное…

Почему-то дня четыре, со 2 декабря, когда был «накрыт» и разгромлен крымский корпус, до шестого, когда стало ясно, что ничего не кончилось, что никакой «решающей» победы не

одержано, что опять надо вести войну – войну без фронта, без правил, войну неизвестно с кем и неизвестно как, – красными частями владела какая-то апатия. Не было плана. Не было общей идеи.

3 декабря на Фрунзе, вернувшегося из командировки в Москву, была возложена новая задача: учитывая опыт борьбы с басмачеством, возглавить разгром политического бандитизма на Украине. Он должен был сформулировать концепцию: как? Как ликвидировать, если три года не ликвидируется? Надо сказать, что Фрунзе выдвинул, с чисто военной точки зрения, ряд ценных идей, хотя самой должностью, в чем мы убедимся еще, тяготился.

Но чтобы эти идеи воплотить – насадить в жизненно-важных центрах махновщины сильные гарнизоны, перерезать маршруты Повстанческой армии бронепоездами, организовать постоянное преследование ее крупными силами кавалерии, – нужно было время. А пока из Крыма перебрасывались части Второй Конной, пока от Мариуполя – несмотря на приказание Фрунзе действовать «вдвое быстрее» – двигались части 3-го конного корпуса Каширина – Махно взял обратно Гуляй-Поле, словно в насмешку над всеми победами Красной армии. После этого 6 декабря Совет труда и обороны в Москве принял (а Ленин подписал) постановление, объявляющее искоренение бандитизма первоочередной государственной задачей, а для Советской Украины – «вопросом жизни и смерти». Партия, как это было принято, на решение этой очередной чрезвычайной задачи выделяла лучших работников. На этот раз в их числе вновь оказались неизменные В. Затонский, С. Косиор, Д. Мануильский, Х. Раковский и «приданные» – председатель ВЧК Дзержинский, который, впрочем, ничем особенно себя не проявил, и два талантливых военачальника, Р. Эйдеман и К. Авксентьевский, которые очень помогли Фрунзе, когда у него сдали нервы в охоте на Махно.

Но пока делались назначения и тянулась прочая бюрократия, Махно ударил еще раз. После встречи с ошметками крымского корпуса он двинул свою армию на юг, в Бердянский уезд, на соединение с отрядами Удовиченко. Батько Удовиченко, бывший корпусной махновский командир, занимался формированием отрядов Повстанческой армии на юге, у Азовского моря, и, кажется, позже всех узнал о разрыве соглашения с красными, ибо, как мы говорили уже, еще 27 ноября проводил митинг совместно с коммунистами. Партийцы города Бердянска, зная о разрыве соглашения с махновцами и бродящем поблизости их отряде, перешли на осадное положение: днем работали в учреждениях, а ночью вооружались, собирались вместе и ждали налета.

11 декабря в Новоспасовку, родное село Куриленко и Удовиченко, пришел Махно. На всякий случай бердянские коммунисты провели мобилизацию и подсчет сил: насчитали 300 членов партии, к ним надежных – отряд продармейцев и красноармейцев Чека и ненадежных – местный батальон и червонную сотню уездвоенкомата, охарактеризованных, как «полумахновский элемент» (22, 84). В Бердянск Махно, по всей логике вещей, лезть не надо было: за ним шли красные, в надежде прижать к морю и раздавить, – а Бердянск был не просто на берегу, но на берегу плоской, вдающейся в море косы: здесь кончалась идущая от Полог железнодорожная ветка, здесь обрывались три разбитые грунтовые дороги, «проходимые только для махновцев». Тупиком был Бердянск, настоящей ловушкой, откуда могли б и не вывернуться партизаны, случись им сунуться туда. Стратегически Махно был уже окружен – причем двойным кольцом – войсками 4-й армии. Если рассуждать логически, то после соединения с Удовиченко он должен был бы попытаться найти зазор в цепи обступавших его частей, чтобы прорваться из окружения, а не возиться с тридцатитысячным уездным городком, дрожащим от ужаса.

Но в тот момент Махно, видимо, нужнее был ужас. В полночь 11 декабря Бердянск получил лаконичное уведомление из Новоспасовки: «Иду на вы». Эта телеграфная пародия на Святослава опровергала все доводы рассудка и правила тактики. Махно решил взять Бердянск просто так. Из своеволия. Чтобы позлить и подразнить врагов. Он и телеграмму-то прислал нарочно – чтобы был страх. Чтобы знали: ежели батька Махно чего захочет – он это сделает всему вопреки…

Бердянские коммунисты, следовательно, о намерениях повстанцев были оповещены. Они могли бы, вероятно, попрятаться – но это было бы слишком унизительно. Они решили сопротивляться – тем более что они рассчитывали на помощь. По опыту они знали, что нападения Махно надо ждать на рассвете. Следовательно, задача – продержаться несколько часов, до того, как подоспеют избавители. Но помощь не пришла. Вероятно, командарму—4 Лазаревичу не хотелось ломать медленный поступательный ход руководимой им операции, сулившей, как казалось, верный успех. Что, в свете этого успеха, означала небольшая отсрочка и – увы – неизбежная гибель нескольких товарищей? Стратегически выгодно было бы, чтобы Махно как можно глубже вонзил зубы в Бердянск…

Но бердянские коммунисты этих соображений не знали. Они рассчитывали на подмогу. Они пытались построить баррикаду, сделали семь опорных пунктов в самых крепких домах, натаскав

туда оружия…

В шесть утра, словно по расписанию, махновцы – еще по зимней темноте, – с трех сторон ворвались в город. Обнаружив два опорных пункта на Итальянской улице – в здании почты и в здании Чека, – они открыли огонь и вскоре выгнали защитников из убежищ, заставив беспорядочно отступать. В девять утра отряд бердянцев, окруженный в предместье Лески, расстреляв патроны, был порубан до последнего человека. Взошедшее солнце осветило 82 трупа. Налет на Бердянск был чисто террористической акцией, в точном значении слова: он должен был внушить страх. Речь шла только о страхе, который, как ком в горле, должен был будить на утренней заре всех коммунистов от Луганска до Елисаветграда.

Показательно, кстати, что лишь те из оборонявшихся, кто нашел в себе силы противостоять страху, уцелели: маленький отряд в 12 человек до часу дня отстреливался в здании земотдела. Лишь когда махновцы подкатили захваченные в городе пушки и ударили по зданию с двух сторон, защитники прекратили стрельбу и залегли на полу. Но махновцам так и не удалось добраться до них – едва они сунулись на первый этаж, как с лестницы второго грянул залп и партизаны «ушли с проклятиями». Тем временем стало смеркаться, и осаждавшие дом махновцы вынуждены были присоединиться к остальным, чтобы покинуть город. В четыре часа дня Бердянск, получивший как последнюю память о батьке Махно восемьдесят покойников, был оставлен повстанцами, чтобы из мутных сумерек послать на север весть о случившемся дерзостном преступлении и предуведомить – теперь уже не спасителей, но, возможно, мстителей: он здесь, не дайте уйти…

А Махно, вскрыв большевикам жилы в Бердянске, двинулся прямо на север, откуда шли на него красные, дал своим сутки отдохнуть в станице Новоспасовке, а на следующий день смело принял бой с многократно превосходящими его силами.

Махно прекрасно знал свое положение и опасность, которая ему угрожает. У него было тысяч пять партизан, в то время как в операции против него было прямо вовлечено 2/3 всех сил, участвовавших в разгроме Врангеля, – около 60 тысяч человек.[27] Но Бердянск ему был необходим – чтобы ввести в непонимание красное командование и продемонстрировать простым красноармейцам неистовую мощь своего боевого юродства. И то и другое ему удалось. Лазаревич ждал прорыва Махно на запад или на восток, где кольцо окружения было неплотно еще примкнуто к морю, а он ударил в лоб, на север, вырываясь на оперативный простор, к непочатым партизанским резервам…

Как всегда, для прорыва было тщательно выбрано слабое

место – фронт ненавистной махновцам 42-й дивизии, измотанной сплошными переходами. Весь день махновцы «отдыхали» в Новоспасовке, водя за нос разведку. Разведка докладывала, что партизаны ведут себя пассивно и никаких действий не предпринимают. Под покровом наступившей ночи Махно незаметно двинул армию на север, к селу Андреевка, к самым позициям 42-й дивизии, оставив в станице лишь арьергард, который красным командованием упрямо принимался за ядро повстанческих сил.

Утром 14 декабря В. С. Лазаревич отдал частям приказ атаковать Новоспасовку. Сводная дивизия курсантов повела атаку на несуществующего противника. Больше того: в пять утра, когда махновцы уже бросились на позиции 42-й дивизии, командир ее получил от командования армии приказ срочно поддержать курсантов, которые атакуют станицу! Правда, с ходу прорваться махновцам не удалось. Атаки и контратаки кавалерии, пробные «выпады» Махно продолжались весь день. Кольцо окружения сжималось. К наступлению темноты махновцы заняли глухую оборону в Андреевке: печальная судьба крымского корпуса внятно замаячила перед остатками армии. В это время, перегруппировавшись, курсанты ударили на Андреевку с юга. Завязавшийся таким образом бой красные приняли за попытку нового партизанского прорыва – на юг. Думая, что у него появилось время перегруппировать силы на северной околице села, комдив—42 приказывает снять с фронта измученную боем бригаду и заменить ее свежей. Мгновенно оповещенные об этом махновцы в самый момент смены частей на позициях и неизбежной при этом неразберихи обрушили на них удар всех своих сил и, разбив обе бригады, вырвались из кольца – на север. Вырвались, когда, казалось, никакой надежды у них уже нет, когда они окружены окончательно, Но красные еще не знали Махно так, как знал его Слащев, упустивший Повстанческую армию из окружения под Уманью. Им еще предстояло узнать, что такое – партизанская война…

Неудача боя возле Андреевки, когда «при счастливейших обстоятельствах представился великолепный случай раз навсегда покончить с популярнейшим вождем украинских бандитов» (48, 114), казалась столь неправдоподобной, что стала предметом расследования военного трибунала. В самом деле – силами трех дивизий при поддержке мощной кавалерии, бронемашин, легкой и тяжелой артиллерии, не раздавить «бандитов»? Это же нонсенс – или предательство? Трибунал предательства не обнаружил, но констатировал глубокое безразличие и апатию, с которыми действующие войсковые части исполняют возложенные на них

поручения, и сделал вывод, что «подавляющий перевес в людском составе и технических средствах не обусловливает победы вообще и победы над партизанами в особенности» (48, 114).

Поистине удивительна эта повсеместно подмечаемая в красноармейских частях «усталость и апатия» и поистине неправдоподобная, какая-то юродская двужильность, которую обнаружили в тех же боях махновцы.

Можно выстроить любопытную хронологию:

Днем 11 декабря: встреча отрядов Махно и Удовиченко в Новоспасовке. Отдых полночи.

На рассвете 12-го – марш и налет на Бердянск. Вечер – марш, ночевка в Новоспасовке.

13 декабря: день – отдых. Ночной переход в Андреевку и подготовка к бою.

14 декабря: с раннего утра до вечера – бой и прорыв из окружения. Ночной отрыв.

15 декабря: дневка, отдых. Ночью – марш в направлении Гуляй-Поля.

16 декабря: в 2 часа ночи махновцы сталкиваются под Федоровкой с частями Второй Конной и северной группой Р. Эйдемана, которые и должны были, по замыслу, блокировать прорыв Махно на север. Может быть, В. Лазаревич не верил в такую возможность и выставил заслон, просто подчиняясь закодам тактики. Но Эйдеман оказался на высоте, а его части – по существу единственными, сохранившими хладнокровие и способность к маневру. Бой продолжался до наступления темноты, махновцы потеряли несколько сот убитыми, бросили черное знамя, но все-таки удержать их, загнать в лабиринт подходящих частей Эйдеману не удалось. Он не отлипал от них до 17-го, последний раз крепко прижав возле Туркеновки – и все-таки упустил!

Утром 18-го, на марше – пролет через Гуляй-Поле, занятое частями 125-й бригады 42-й дивизии и обозом Богучарской бригады. Обоз сожгли, пехоту разоружили, прихватив желающих с собой.

Механик связи Василий Белоусов, который, как нарочно, каждый раз заступал на дежурство, чтобы стать свидетелем очередных драматических событий, так описывает этот эпизод: «Ночью я подбадривал себя, чтоб не уснуть, каждые 10–15 минут делая проверку связи. Утром делаем проверку – связи нет. Надсмотрщики выскочили искать повреждение. Оказалось, что порезаны все провода связи. Тут же послышался орудийный выстрел и затрещали вокруг села пулеметы. 372-й полк, переутомленный походом, к такому внезапному нападению не

был готов. Махновцы выгоняли из квартир красноармейцев и вместе с обозом богучарской бригады погнали в сторону немецкой колонии. Несколько тысяч лаптей с богучарского обоза облили керосином и запалили. Махновцы грелись вокруг костра, пленные красноармейцы стояли кучей, понурив головы. Подъехала тачанка. Махно поднялся на костылях (был в ногу раненный) и начал свою речь, что мы воюем не против власти советов, а против коммунизма и коммунистов. Объявил выдавать своих командиров и комиссаров. Красноармейцы стоят, понурив головы. Махно опять объявил выдавать коммунистов – „а то всех расстреляю“. Красноармейцы молчат. Тогда Махно объявил: „Кто желает в мою армию – отходите в эту сторону, а кто хочет домой или в свою часть – отходите туда“ (показал костылем). Красноармейцы стоят, не шевелятся.

– Что, просить я вас буду? – сердито закричал Махно.

Начали расходиться. Кто пошел к Махно, кто куда. Большинство красноармейцев пришли в свою часть и так и не выдали ни командиров, ни коммунистов» (8).

Прошла неделя с тех пор, как Махно ввязался в непрекращающиеся бои. Как люди, то есть существа, подверженные закономерностям природы, они должны были устать. Они должны были бы, по идее, искать укрытия, отдыха. Тем не менее в ночь с 18 на 19 декабря, казалось бы, окончательно выдохшиеся махновцы совершают одну из самых фантастических операций, в буквальном смысле слова перенесясь из одной географической точки в другую к полному отчаянию преследователей.

Декабрь 1920 года на Украине был не по мере жестоким, а в ночь на 19-е еще грянула вьюга, крутя вместе с сухим снегом тучи черной пыли. В эту ночь, «когда в двух шагах люди не могли различить человека от лошади, именно в эту ночь Махно делает беспримерный 80-верстный переход, – писал один из красных командиров, – и как коршун налетает на штаб Петроградской бригады» (4, 42).

Застигнутый на хуторе Левуцком штаб бригады петроградских курсантов, стоявший отдельно от основных сил, был почти поголовно уничтожен. К нападению петроградцы совершенно не были готовы. Вода в кожухах пулеметов замерзла. Отстреляться не смогли. Тех, кто пытался сопротивляться, махновцы, не церемонясь, вышибали из хат гранатами. По рассказу Ивана Александровича Мишина, который и подумать не мог о таком повороте событий, сидя в своем стогу у Сиваша, один из штабных, адъютант, уцелел, спрятавшись в конуре, только был слегка покусан собакой. Другой штабист, накинув на плечи

зипунишко, кинулся к подводчикам – украинским крестьянам, которые перевозили командиров на тачанках, – и сел за стол вместе с ними. Подводчики не выдали его, хотя махновцы заходили и оглядывали хату.

Семь курсантов из роты охраны, забравшихся в печку, махновцы взяли в плен. Их посадили на подводу, повезли куда-то. Крестьянин-украинец, сидевший на козлах, после некоторого молчания обернулся и спросил:

– Бачили батьку Махно, чи ни?

– Ни, – ответили перепуганные курсанты.

– Ну, може побачите, – беззлобно сказал подводчик (53).

Курсантам, однако, увидеть Махно не довелось: откуда-то опять взялась кавалерия неуемного Мате Залки, и махновцам пришлось бросить обоз вместе с пленными. Залка послал одно из бесчисленных в те дни донесений, что настиг и нанес тяжелый удар. В действительности «отстрел» обоза был лишь одним из простейших приемов партизанской тактики, и военным, не склонным к самообольщениям, это было совершенно очевидно.

Павел Ашахманов, принявший после гибели комбрига Мартынова Петроградскую бригаду курсантов, писал по этому поводу: Махно «на одном месте более одного дня или ночи не остается, чтобы не быть основательно окруженным. В случае неудачи отходит врассыпную… Как образцовый партизан, не обременяет себя пленными и под Андреевкой бросает нам 1200 красноармейцев (42-й) дивизии. Так же решительно разделывается со своими хвостами-обозами и в нужную минуту бросает эту приманку нашей кавалерии, а сам тем временем уходит быстро и далеко». Ашахманов не удерживается от едкого замечания: «кавалерия лихо атаковала обозы и уклонялась от нанесения удара основному ядру (махновцев)» (4, 42–43).

23 декабря махновцы переходят на правый берег Днепра между Екатеринославом и Александровском, вторгаясь в район, занятый 6-й армией и Первой конной. Корк отдает своим частям приказ о боевой готовности. Казалось, в действиях Махно опять нет логики: на правом берегу его ждали свежие силы, а усталость его отрядов когда-нибудь да должна была бы сказаться. Но тут тоже был расчет: на Левобережье красные хоть и вымотались, но постепенно стали к нему приглядываться, в них зарождались азарт и злость, тогда как на правом берегу его еще толком не знали. Расчет был и на расслабленность частей, прочно ставших на зимние квартиры и не желавших больше воевать. Настроения эти были сильны до такой степени, что Латышская дивизия, прекрасно себя проявившая в боях с врангелевцами, вообще была расформирована из-за желания бойцов вернуться домой, в

Латвию. Но на этот раз расчет Махно оправдался лишь отчасти. Дело в том, что на его пути оказалась Первая конная, ставшая армией профессиональных рубак, в которых дух войны не угас, а только томился, как запертый в бутылку джинн.

Первая конная погнала Махно на запад, но, поскольку и буденновцы не представляли себе, с кем имеют дело, он сзади налетел на две бригады Конармии, пребывавшие в убеждении, что преследуют его, – и разгромил их.

28 декабря А. И. Корк сообщал Фрунзе: «Банды махновцев, численностью до двух с половиной тысяч пехоты и конницы, преследуемые частями 1 Конармии, достигли района Елисаветграда…» (82, оп. 3, д. 35, л. 169). На следующий день штаб Фрунзе ответил строжайшим предписанием: «Махно со своим отрядом 23/12 ускользнул от удара частей 1 Конной армии, перешел жел. дор. у ст. Помощная и направился на Запад, имея намерение, по непроверенным сведениям, идти на Умань, возможны, конечно, различные направления. Завкомандвойск Украины приказал принять все меры, дать Махно решительный отпор и при первой возможности уничтожить всю его банду» (там же, л. 174).

Все это было, как легко догадаться, чистое трепетание воздуха. Как уничтожить Махно и что вообще делать с такой огромной «бандой», никто не знал. Махно пробовал найти опору на Правобережье. Станция Помощная, Елисаветтрад – все это уже знакомые нам места, вехи летнего, 1919 года, рейда Махно по тылам Деникина. Красное командование опасалось, что Махно устремится дальше на запад, чтобы присоединить к своим отрядам «всех местных бандитов», не понимая, что местные, петлюровского толка атаманы, как раз и не присоединятся к нему. Махно знал это по собственному опыту: как и в 1919 году, здесь, в Киевской губернии, его армия обречена растаять без пополнений. Теперь, когда он избежал удара собранной против него левобережной группы войск, ему нужно было срочно вернуться обратно на восток. 28 декабря Махно возле Помощной попытался вывернуться (что было принято за попытку прорыва на запад), но неудачно.

Намерения Махно разгадал, надо сказать, не Фрунзе, а командарм—4 Лазаревич, который четко понял, что никакая Умань батьке даром не нужна и что при первой же возможности он будет прорываться назад, на левый берег. «Не исключена возможность возвращения махновских шаек на левый берег Днепра в свои прежние районы – пределы Александровской губернии, – осторожно подсказывал он. – Кроме того, при своем поспешном отходе на правый берег Днепра много махновцев

оставалось и рассеялось по населенным пунктам Александровской губернии…» (78, оп. 3, д. 441, л. 2).

С ночи 28 декабря целую неделю продолжались беспрерывные бои махновцев с превосходящими силами красной кавалерии. Впервые не удавалось им всерьез оторваться, красных было слишком много, они шли сзади, пытались перекрыть дорогу спереди, облипали со всех сторон… Махно бросил под Елисаветградом все орудия, почти все тачанки, пересадив своих хлопцев в седла для скорости хода. Спасло его только превосходное знание местности и сочувствие крестьян, благодаря которому удавалось все же менять усталых лошадей на свежих. Но до самой новогодней ночи ему не удавалось оторваться от преследователей и отделаться от мысли, что на этот раз ему все же крышка. Те из партизан, кто имел возможность, переоделись – как это и положено в час смертного исхода – в чистое нательное белье…

Новый год Махно встретил в бою с червонными казаками В. Примакова. Бой кипел всю ночь – и опять махновцам сподобилось вывернуться: однако теперь у них уже не оставалось времени даже для кратковременного отдыха. Весь день 1 января 1921 года повстанцы, немилосердно реквизируя лошадей, пытались оторваться от преследования. Второго января у деревни Сабодаш они приняли бой с 8-й кавдивизией Первого корпуса червонного казачества. Участники боя вспоминали, что махновцы действовали «с четкостью, свойственной частям регулярной армии» (18, 102). Бой продолжался до темноты и, вероятно, так и закончился бы ничем, если бы во время последней атаки красных казаков махновцы не применили свой излюбленный прием: разыграв отступление перед лавой красной кавалерии, вывели ее прямо на смертоносные «пулеметные тачанки». Но сколько тачанок оставалось у них? Сколько пулеметов? Эх, если бы столько, сколько было использовано в бою с конным корпусом генерала Барбовича в Крыму! Если бы хоть полстолька…

Червонные казаки, однако, угомонились. У Махно уже не было силы бить насмерть. Откуда сила бралась отбивать удары и увертываться? В ночь на третье января, в темноте, махновцы незамеченными прошли мимо 17-й кавдивизии Г. Котовского. Утром пошел легкий снег – слабая надежда, что заметет следы и отряд хотя бы короткое время сможет двигаться в неизвестном для преследователей направлении. Но путь к Днепру преградила 14-я кавдивизия Александра Пархоменко.

Утром Пархоменко со своим штабом выехал на рекогносцировку у деревни Бузовка. Вскоре показалась группа всадников, которая не торопясь двигалась вдоль лесопосадки и

посему была принята за своих. Меж тем это была махновская разведка с Марченко во главе. Марченко не знал, кто именно перед ним, но беспощадным оком бывалого партизана определил – начальство. По начальству после Крыма у него были свои соображения.

– Вы кто такие? – крикнул Пархоменко, когда кавалеристы подскакали ближе.

– Мы от Примака, – последовал ответ. – А вы кто?

– А я Пархоменко, – ответил Пархоменко.

Такой удачи Марченко не ждал. Махновцы порубали всех, оставив в живых только кучера, который на забрызганной кровью тачанке добрался до своих, чтобы рассказать о гибели комдива.

Убийство Пархоменко стало последним подвигом старого партизана Алексея Марченко. Через несколько дней он сам был убит в каком-то бою – нераскаявшимся и неоплаканным пал в землю, как все обреченные, чтобы весною взрасти бурьяном, будыльем, травой забвения. А на поминках Пархоменко, состоявшихся в Екатеринославе 15 января, был устроен торжественный митинг, на котором опять присягали и клялись отомстить. Клим Ворошилов попытался смерть товарища представить в надрывно-патетических тонах: «Товарищ Пархоменко, как всегда, был впереди своей части и на этот раз выехал вперед, даже без всякой личной охраны, но здесь была устроена засада и т. Пархоменко с товарищами наскочили случайно на небольшую кавалерийскую группу Махно и были ею окружены. Товарищи погибли геройски, бандиты расправились с ними самым зверским, самым позорным образом…» (12, 196).

Ворошилов, говоря по совести, человеком военным так и не стал, хоть и не расставался с гимнастеркой и портупеей до конца жизни, а как был, так и остался мелким партийным агитатором. Характерно, что ровно за месяц до этой своей речи он в статье «Новые задачи Красной Армии» тоже агитировал, что «архибандит» Махно (стиль!) «не представляет собой сколько нибудь серьезной опасности» (12, 191). С военной точки зрения гибель Пархоменко была вещь не только обычная, но даже и глупая, ибо, отдавая приказ окружить и уничтожить банду, комдив должен был бы знать, что она находится в непосредственной от него близости…

Весть о гибели Пархоменко, однако, быстро облетела штабы красноармейских частей. Вслед Махно пущен был сводный отряд Котовского, сформированный по приказу В. Примакова, имени которого, как паролю, и поверил Пархоменко. Тем не менее 7 января махновцы достигли-таки Днепра возле города Канева (почти на двести километров к северо-западу от мест своих

обычных переправ) и, набросав на лед досок и соломы, чтоб не разъезжались копыта коней, ночью перешли на левый берег.

Махно, как всегда, казался попавшим в отчаяннейшее положение, но действовал он, по-видимому, совершенно расчетливо. Красные могли сколько угодно ликовать, что оттеснили его на север, к Полтаве, и не пустили в родной Александровский уезд. Но Махно под Полтаву стремился не случайно: здесь в лесах Константиноградского уезда действовал его вербовщик и хранитель полевых магазинов Иванюк, а Махно было нужно оружие после опустошительных боев на правом берегу. Но до Иванюка тоже еще нужно было добраться: кавалерия Котовского шла от Махно с отрывом в несколько часов, а навстречу ему подтягивались превосходные и совершенно свежие силы. Но Махно опять не дал себя уничтожить.

Возле села Песчаное махновцам предстояло пересечь линию железной дороги, охраняемую бронепоездом. Котовцы висели буквально на хвосте. В этой совершенно отчаянной ситуации партизаны пустились на дерзостный шаг: к командиру бронепоезда был послан верховой с удостоверением взводного командира 42-й дивизии. Предъявив документ, махновец подвел командира бронепоезда к амбразуре и, указав на приближающихся к полотну махновцев, сказал:

– Это наша 14-я дивизия. А там, – повел он рукой в сторону, где уже видны были разъезды Первой конной, – махновцы. Начдив просит пропустить нас через полотно, потому как кони вымотаны и в атаке нам не устоять. А за переездом мы обождем подхода червонных казаков… (18, 107).

Командир бронепоезда, видно, совершенно простодушнейшим был человеком, если поверил взводному 42-й дивизии – которой и в помине не было поблизости, – отрапортовавшемуся к тому же представителем совсем другой, пархоменковской части. Добро, если бронепоезд, пропустив махновцев через железную дорогу, не открыл огонь по своим…

Оказавшись на Левобережье, махновцы тронулись не в свои родные места, чего от них, безусловно, ждали, а дальше на северо-восток, через «свои» уезды Полтавской губернии – где пополнились вооружением и людьми – в Харьковскую.

Под Харьковом Махно отпустил Аршинова – нелегалом пробраться за границу и во что бы то ни стало написать историю махновского движения. Простившись с учителем, он двинулся дальше, достигнув южных областей России. Показательно, что и в этих местах, где имя Махно разве что слышали, ядро Повстанческой армии быстро облипало народом, – в России тоже ситуация была взрывная: антоновщина бушевала вовсю, в Сибири

как раз взялось и пошло гореть, как по сухой тайге. К Махно, как к Антонову, крестьяне являлись с голыми руками в надежде, что оружие добудут в бою. На одной из сохранившихся фотографий махновцев, стоящих вдоль железнодорожного полотна, видно, что среди двух с половиной десятков повстанцев лишь у двух-трех есть ремни, на которых висят сабли. У одного имеется, похоже, что-то огнестрельное. Остальные – с голыми руками. Это обстоятельство мы тоже должны учесть, чтобы понять, какая армия сопротивлялась красным…

Меж тем, проанализировав итоги более чем месячных боев с Махно, М. Фрунзе решил, что недостаточно «передавать» его от одной части – другой. Одновременно должно осуществляться постоянное преследование достаточно сильным отрядом. Для этой цели был сформирован летучий конный корпус под командованием В. С. Нестеровича, который, начиная с 15 января, непрерывно преследовал Махно на протяжении 24 дней. Каждый день имея с ним стычки, но ни разу не накрыв его.

Сколько можно было выдерживать такое напряжение? Непонятно. Все сущее устает. Есть предел человеческим силам, тем более что существует неуловимая грань, за которой начинается психогенная усталость, подавленность, страх… А махновцы дрались! Я не случайно в самом начале главы применил к ним определение – «юродивые». Юродивый только мог это выдержать, ибо юродивый – это психологически особенный тип: без судьбы, без быта, без семьи, без собственно-личного, который в обмен на все эти атрибуты человеческой жизни и тепла получает сверхчеловеческую выносливость, невосприимчивость к лишениям, какое-то насмешливое презрение к своей судьбе. Но «юродивый», по-русски, всегда блаженный, добрый, Христа ради безумный человек. Для махновцев двадцать первого года надо бы подыскать другое определение. Они не юродивые – они юроды. Безумные, но оставленные Богом без пути, во мраке. Омраченные. Окаянные.

Юрод спит на снегу в одной холщовой рубашке – и не простужается. Или вообще не спит. Не ест. Ничего не боится. Но и не сострадает. Его смех – скорее имитация человеческой веселости, юрод глумится, а не веселится, хохочет, но не радуется. Он вне радости, вне всего человеческого.

С тех пор как Махно и повстанцы были в последний раз объявлены вне закона – а значит, оказались изверженными из человеческого стана, достойными только смерти и посмертного поношения, – все, что творили они, было сплошное юродство и окаянщина. И взятие Бердянска, и митинги, проводимые Махно, и раздача добра из разбитых складов, под визг тальяночки – когда

преследователи были на расстоянии двухчасового перехода, и бессмысленное уничтожение большевистских работников, которых под свист и улюлюканье выволакивали на майдан и, смеясь, рубали шашками, и вечное оборотничество, представление то примаковцами, то буденновцами, красное знамя, с которым, свернув черное, входили в село с каким-то мрачным восторгом вопя:

– Буденновцы мы! Всех коммунистов на сход! Митинг будет!

Залетев впервые в Россию, на юг Курской губернии в конце января 1921 года, махновцы в Корочанском уезде похитили всю литературу из Центропечати, перебили грампластинки, как могли, испортили библиотеку и музей, растворили и дали разворовать продсклады. В слободе Белой убили 8 милиционеров, жену начальника милиции изнасиловали, выпустили из-под замка пять цыган, арестованных за кражу…

Во всем этом нет никакого видимого смысла. Так не ведет себя армия, так ведет себя банда, окаянный сброд. Да.

А на что еще, кроме бандитизма, сопротивления отчаянного и озверелого мог рассчитывать большевистский режим, затыкая миллионам людей, трудящихся на земле, глотку окриком или – в кость – солдатским сапогом?! Бандитизм как политическое оружие рождается от отчаяния, от немоты. Когда нет возможности объясниться словами. Когда никто объяснений не слушает и не ждет, не считает тебя за человека. Вот тогда, чтобы все-таки быть услышанным, отверженному приходится обращаться к другому языку – языку ненависти.

После прохода Махно в уездах по нескольку недель не могла возобновиться советская работа: люди были кто убит, кто до смерти напуган, бумаги сожжены, печати похищены (11).

Это бешенство, пляска юрода, не знающего больше ни человеческих чувств, ни свойственной человеку усталости. После того как измочаленный погонями конный корпус Нестеровича сняли с преследования банды, Махно продержался еще месяц, до середины марта, прежде чем был вынужден раздробить армию на мельчайшие отрядики и в очередной раз распустить.

Сохранилось описание махновских отрядов, вторгшихся в пределы России: «8000 человек, причем из всей группы вооруженных винтовками человек 300, а остальные вооружены саблями, наганами и бомбами, имеют 55 пулеметов и одно орудие, но снарядов и патронов очень мало» (11, 4).

Наверняка восемь тысяч образовалось лишь на краткий миг сведения счетов с ненавистной властью. Бей, пока пришел батька Махно! Ушел – беги до хаты.

Какая бы ни держалась власть в государстве, эту

беспощадную, дикую, все разрушающую на своем пути орду, по всей логике власти, следовало, прежде всего, уничтожить.

В этом была правда большевиков. Но и смрадными, раскровавленными устами окаянного юрода тоже высказывалась правда, и из дрожащих, покрытых коростой губ рвался наружу надтреснутый, полный ненависти вопль:

– Не замайте, дайте жить по-своему, дайте дышать!

Вот смысл всей окаянщины, этого бесчувственного сопротивления, этой тупой жестокости. Нет необходимости вновь перечислять причины, поддерживавшие в стране неугасимый огонь крестьянской войны и до, и после провозглашения нэпа. Не только в размере наделов земли и норме подлежащего сдаче хлеба дело. Мятежники чувствовали, что за всеми деревенскими мероприятиями большевиков стоит нечто большее, чем просто государственное обирание трудящегося на земле человека. Его лишают достоинства. Его лишают права самому решать свою судьбу. Чем глубже вдохнул человек воздуха революции, тем острее он чувствовал унижение. Сильные не могли смириться с этим. Они знали, что достоинством можно и поступиться, но тогда жизнь утратит полноту и цвет, неистовую, кипучую силу свою и обернется скукой, канцелярией, неволей. Вот почему после нэпа не улеглась повсеместно и благодарно крестьянская война: мятежные духом знали, чувствовали, что нэп – это тоже кусок, брошенный псам, подачка, временное разрешение дышать одной ноздрей. А еще оставались настоящие мужики, которым этого было мало. Разрешение крестьянам жить Ленин дал в марте, а мятежники на Украине, на Тамбовщине и в Сибири резались до конца лета. Потому что в борьбе есть один закон: пригни голову – поставят на колени.

Не совсем привычные параллели безнадежным битвам русских и украинских крестьян отыщутся в Новом Свете. В 1876 году, когда, казалось, выгорела, выдохлась, закончилась навсегда индейская война в Соединенных Штатах, а индейцы были окончательно усмирены и согнаны со своих земель, восьмидесятилетний вождь запертых в мексиканскую резервацию апачей Нана вдрут совершает побег с горсткой своих людей и пускается в трехмесячный головокружительный рейд по юго-западным штатам США. Несколько сот угнанных коней и несколько десятков убитых бледнолицых были последним словом старого вождя. Он чувствовал, что перед смертью должен сказать его, и сказать достаточно убедительно: мы не сломлены. Мы грозны. Мы воины.

Его понял молодой вождь, Херонимо. Для белых он навсегда останется дикарем, так и не понявшим, какую выгоду можно

извлечь из послушания, так и не взявшим в толк, какую чудную податливость сообщает миру доллар, с помощью которого так просто извлекаются из мира вещи, прежде добываемые ценою опасностей и усилий…

У Херонимо было меньше полусотни воинов – а против него действовала пятитысячная американская армия, несколько мексиканских полков и сотни индейцев-следопытов, прельщенных благами, которые сулили им новые властители Америки. Апачи Херонимо не могли отвоевать себе древнюю родину. В последнем «рейде» их было всего одиннадцать человек, пронесшихся, подобно шальной пуле, по Нью-Мексико и Аризоне. Они пытались обрести не землю, а чувство. Очень редкое, очень дорогое – достоинство.

Те, что сохранили его, погибли, так и не смирившись с неволей. Но, погибнув, оставили последующим поколениям завет, который давал им надежду прожить жизнь с высоко поднятой головой: мы не были сломлены. Из несломленных – ныне и прежде – вяжется столп истории народа, на который потом уже навешиваются политика, курсы валют, дворцовые интриги и будуарные скандалы фельдмаршалов и министров.

Из тридцати восьми мятежных апачей, которых в конце концов выловил генерал Миллз, чтобы, заточив в товарный вагон, перегнать на пожизненное заключение в крепость в далекой, влажной, апельсиновой Флориде, шестерым удалось бежать еще до погрузки, одному – по дороге, за тысячи километров от родной степи, у города Сент-Луис, где уже звучал мотив Saint Louis Blues и вот-вот должны были появиться на свет те, кого этот мотивчик сделает звездами сцены новой Америки. «Целых два года без карты и компаса он пробирался сквозь страну, в которой уже не было места для индейца, туда, где еще недавно была свобода, – в апачские горы» (73, 343). Последний свободный индеец Соединенных Штатов принес своим соплеменникам то, чего не могли им дать все вместе взятые предатели-следопыты, поклонившиеся силе белого человека. Ибо это нельзя купить. Может быть, этим нельзя даже и поделиться. Может быть, это можно только взрастить в себе и носить внутри, как молчание, в тайной надежде, что другие все же поймут драгоценное значение этой тишины – стойкость несмирившегося борца…

Махно был обречен, как индеец. Поначалу он надеялся – ведь предательство большевиков было столь очевидным, столь явственной была неправда их, что, разбив несколько красных дивизий, он вызовет восстание в Красной армии и поставит большевиков на колени. Он не понял, что время революционного романтизма кончилось. Очень надолго. Что время взрывов

миновало, наступает время покоя. Махновцы могли зарубить Пархоменко и в придачу еще Котовского, Фрунзе, Раковского – но это ничего не изменило бы. Против них работал механизм – Система. Они смутно чувствовали это и, как могли, мешали ее работе – убивали служащих Системы, рвали провода связи Системы, разрушали ее железные дороги, – но этим могли только чуть-чуть засорить механизм, но не остановить его ход. Сила Системы – в ее установке на слабость человека и в открывающейся в связи с этим возможностью манипулировать огромными массами людей. Пусть полки Системы нерасторопны – но за свой паек они приговорены к полному послушанию.

Пусть кормители Системы недовольны – но их заставит повиноваться страх, и закрома Системы никогда не пребудут пустыми. Тех, кто не подчиняется, Система ломает. Тем, кто склоняет голову и служит, – дает надежды на рост, на достижение чинов и славы. Сила Системы не только в терроре, под нож которого с механической неотвратимостью попадает всякий несогласный, но и в положительно формулируемых ценностях. Прежде всего Система (в обмен на «излишества» свободы) дает ощущение защищенности и стабильности. Она формулирует Большой Смысл и встраивает его в человеческие души, избавляя своих чернорабочих от мучительной обязанности отыскивать смысл бытия своего, и дарует им ощущение причастности к величественным процессам преображения мира, невиданного доселе созидания нового. В этом огромная притягательная сила большевизма, колоссальное его преимущество перед махновщиной, которая с 1920 года проявляла себя исключительно как разрушительная сила. И хотя расчет Махно на индивидуальное достоинство солдат революции оказался не совсем уж пустым, хотя в феврале 1921 года – когда было, впрочем, слишком поздно – действительно восстала одна из буденновских частей, омерзившись ролью, которая была ей навязана Системой, Система оказалась сильнее.

С момента разрыва соглашения, заключенного между Повстанческой армией и Совнаркомом Украины, на территории махновского района систематически проводились мероприятия, которые мы обязаны хотя бы перечислить, если хотим понять, какой жуткой силы железная лапа накладывалась на деревню.

2 декабря 1920 года приказом № 1 начальник тылового отдела 4-й армии Гронштейн в бывшем «вольном районе» устанавливал следующий режим:

«1. Уезды Мелитопольский, Бердянский, Александровский и Мариупольский объявляю на осадном положении. 2. Появление на улице или выезд из города, села или деревни после 10-ти час.

воспрещается. 3. Лица, захваченные без надлежащего пропуска после указанного времени, будут немедленно расстреливаться без суда и следствия. 4. Уличенные в укрытии и оказании помощи махновцам подлежат немедленному РАССТРЕЛУ…» (78, оп. 1, д. 6, л. 10).

В развитие сего приказывалось немедленно под страхом расстрела: выдать всех, кто состоит (или состоял прежде) на службе у Махно, сдать оружие; сдать кавалерийское снаряжение вплоть до седел; широчайше оповестить население о содержании приказа.

Пока Махно дрался с частями 4-й армии под Бердянском и расшвыривал красных вокруг Гуляй-Поля, это суровейшее предписание не стоило и ломаного гроша. Но когда в конце декабря он ушел на правый берег, бумага вступила в силу.

Прежде всего – по селам и местечкам были расставлены крепкие гарнизоны. В секретной сводке командования 4-й армии читаем:

«7-я кавдивизия двумя кавбригадами займет Васильковский район и одной кавбригадой Болышетокмакский. Сводная дивизия 1-й харьковской бригадой займет Черниговский, Берестовскиий, Цареконстантиновский районы…» (78, оп. 3, д. 441, л. 8).

18 декабря – в тот же день, когда махновцы ушли из Гуляй-Поля, спалив обоз Богучарской бригады, здесь подоспевшими частями 42-й дивизии был организован Ревком, о чем и было доложено в штаб 4-й армии. Наконец-то и Гуляй-Поле дождалось «правильной» советской власти! Тут-то, должно быть, и возник на станции Гуляй-Поле бронепоезд, в котором члены Ревкома ночевали, покончив свои дневные дела, опасаясь, очевидно, выражений народной признательности. Но поскольку спать в бронепоезде, особенно зимой, неуютно, да и несолидно как-то для власти, власть должна была заставить уважать себя. Так с неизбежностью наступал этап «чистки»: вместо того чтобы бояться тех, кто внушал опасения, нужно было уничтожить их – и заставить остальных бояться себя.

В рапорте командованию 4-й армии помначдив сводной дивизии Ульман докладывал: «С 13 по 24 декабря успешно велась работа по очистке деревень от махновщины и отбору оружия. Для успешной работы в каждом полку созданы ревтройки во главе с комиссарами полков. За последние дни еще не поступили новые цифровые данные, но общее число расстрелянных махновцев-бандитов и активно поддерживающих их крестьян достигает приблизительно 1100 человек, среди них несколько махновских командиров, штабных работников и организаторов. Сожжено 15 домов… Работу затрудняет то, что приходится очень часто менять

место стоянок и нет возможности довести работу до конца… Более основательные чистки произведены в деревнях Андреевка, Конские Раздоры, Федоровка. Приступлено к основательной чистке Туркеновка и Пологи…» (78, оп. 1, д. 6, л. д. 103–104).

Конечно, работа предстояла непростая! Государственная предстояла работа! Когда в декабре 1920-го Чека трясла одно из опорных махновских сел, Вознесенку, «добровольная» сдача оружия принесла: 69 винтовок, 9 револьверов, 11 сабель, 65 обрезов, 18 бомб, 2300 винтовочных патронов, 336 артснарядов и 2 коробки пулеметных лент. Через несколько дней при внезапном шмоне в той же Вознесенке было обнаружено дополнительно: 41 винтовка, 35 обрезов, 1068 винтовочных патронов, 40 винтовочных стволов и 5 бомб. Еще через несколько дней обнаружено и изъято: 11 винтовок, 5 револьверов, 1 бомба, 28 обрезов и 980 винтовочных патронов (40, 145).

Конечно, искоренение бандитизма особого подхода требовало – не дурной кавалерийской нахрапистости, а подлинной дотошливой въедливости, усидчивости, приметливости, – чтобы в деревенском клубке всё терпеливо распутать и от нетерпения не оборвать ниточку, если вдруг потянется…

Надо сказать, энтузиастов такого дела у Системы нашлось немало. Государственная работа по искоренению бандитизма ведь не какой-нибудь зауряд-кампанией была, а делом первоочередной важности, в котором можно было и замеченным быть, и возвышенным. Сколько красных командиров на этом Красное Знамя себе сработали! Ну, а народец поменьше, который за орденами не гнался, имел собственный профит: не орден, так хоть местечко в губернской прокуратуре…

Временно исполняющий дела председателя ревтрибунала 9-й кавдивизии Михаил Жихарев старательно учитывал плоды своей общеполезной деятельности: «Присуждены к высшей мере наказания Провенко Александр Евдокимович, 27 лет, уроженец села Знаменка… и Никита Антон Кириллович, 47 лет, уроженец дер. Хамировки за принадлежность к бандам Махно и вооруженный грабеж». На рапорте указано время вынесения приговора – десять часов вечера. Ровно через полчаса Жихарев подписал еще одну «высшую меру» – Коху Михаилу Ивановичу «за службу добровольцем в партизанском отряде белых и расстрелы советских работников» (78, оп. 1, д. 3). Ревтрибунал 9-й кавдивизии не особенно отвлекался перекурами…

Весь декабрь и январь в махновском районе – сплошные «чистки» и расстрелы. Судили под расстрел почему-то ночью. Во всяком случае в рапортах Жихарева упрямо указывается время около 22 часов: «16 февраля 21 час. 14 мин… вынесен смертный

приговор народному судье 5 участка Александровского уезда Литвинову Александру Дмитриевичу 41 лет… за укрывательство раненого бандита шайки Махно…» (там же).

А расстреливали, по-видимому, утром, посветлу. Иван Александрович Мишин, тот самый петроградский курсант, который когда-то… Да-да, сидел в стогу сена на берегу Сиваша, после – вшивый, голодный, с вылезающими от грязи волосами – все маршем, маршем по ледяной степи в отряде курсантов-карателей, – стал свидетелем потрясающей в своей обыденности и простоте картины: «Однажды вечером в декабре 1920 года курсанты захватили за ужином в одной из хат пять махновцев. На дворе, в скирде соломы, были обнаружены пулеметы, у коновязи лошади. Судил их ротный суд, куда входил командир, комиссар и курсант в качестве секретаря, приговорил к расстрелу.

Днем я и два других курсанта роты связи сидели, греясь на солнце, и курили папиросы „Сальве“ одесской табачной фабрики. В это время к нам подошел мужчина в черном драповом пальто, в кубанке с красным верхом и хромовых сапогах, примерно тридцати лет. Его конвоировал курсант, держа винтовку наперевес. Поравнявшись с нами, мужчина попросил: „Ребята, дайте закурить в последний раз“. Мы дали ему папиросу, он ее закурил, и они пошли дальше. Когда они прошли метров сто, раздался выстрел. Мужчина упал, а когда мы подошли, он был уже мертв. Спросили курсанта, кто это. Курсант ответил: „какой-то известный командир из войска Махно“» (57).

Мы не знаем – кто. Но принял он смерть спокойно, зная, как настоящий боец, что расстрел – это еще не худшая штука, которая может приключиться с человеком на войне.

Можно было попасть на вербовку Чека или стать «ответчиком», раскроить свою душу страхом, обменять жизнь – на ежечасную возможность быть убитым… Пожалуй, институт «ответчиков» – одно из наиболее иезуитских изобретений большевиков в борьбе против Махно. М. Фрунзе так объяснял его смысл: «Ответчики назначались из числа кулацких элементов и, в отличие от заложников, оставались на свободе, несли персональную и имущественную ответственность за невыполнение возложенных на них обязательств, главнейшими из которых являлось своевременное предупреждение властей о готовящихся бандитских налетах, появляющихся бандитских агентах и т. д.» (82, оп. 1, д. 21с, л. 18). В этих строчках зашифрован смертный приговор за недонесение. В них – зародыш будущего повального доносительства и анонимочек…

Что ж, большевики черной работы, как известно, не боялись – не мытьем, так катаньем. Не получается создать комитеты

бедноты – ничего, своих натравим, «из числа кулацких элементов», потому как каждому ясно, что такое «персональная ответственность» в такое время…

Однако в конце января 1921 года кропотливая деятельность по искоренению бандитизма в бывшем вольном районе была временно прервана. Поблизости вновь появился Махно.

Он шел с севера. Из Белгородской губернии вторгся в пределы Харьковского военного округа и двинулся в родные места, чтобы таким образом замкнуть, скрепить гуляйпольским замком маршрут своего очередного рейда – как он делал всегда. Но на этот раз каждый шаг стоил ему неимоверных трудов. «Ты нашу конницу знаешь, – писал Махно Аршинову для „Истории“, – против нее без пехоты и броневиков большевики никогда не устаивали, и я, правда с большими потерями, расчищал перед собой путь, не меняя маршрут. Наша армия каждый день доказывала, что она есть подлинная народная армия. По создавшимся внешним условиям она логически должна была таять, а она росла…» (2).

Но на этот раз Махно не суждено было вернуться в Гуляй-Поле. По правде говоря, больше он не увидит его никогда. Но он не знал, что будет так. Он пытался играть на административном делении, на «несостыковке» красных воинских частей, но части стояли крепко, «отвечая» каждая за занимаемую ею территорию. Кроме того, за ним неотступно следовал Нестерович. На чью бы территорию Махно ни вступал, для его преследования немедленно создавался дополнительный мобильный отряд из кавалерийских частей. В места предполагаемого проникновения банды также посылались надежные силы для предупреждения восстания…

Если пересчитать все части, которым было поручено настичь и уничтожить Махно, их окажется так много, что невольно возникает мысль о том, что до определенного времени имя Махно действительно внушало такой ужас, что части эти как бы даже против своей воли уклонялись от прямого боя с ним. Махно нужно было быть многократно, хоть и помалу, битым, чтобы преследовавшие его войска почувствовали себя сильнее его и сами поверили в возможность победы. Это случилось не сразу. Но факт: впервые зимой 1921 года у Махно недостало сил завершить операцию так, как он хотел. Его все-таки сбили с курса, отвернули от Гуляй-Поля. Он больше не мог ходить, «не меняя маршрут». Сам батька еще не понял, что это значит. Он только с горечью заметил нарастающую плотность и смертоносность преодолеваемого пространства: «Полк потерял убитыми более 300 человек, половину своих командиров, в числе последних наш

славный милый друг юноша Гаврюша Троян. Пуля сразила его наповал. С ним же рядом Аполлон и много других верных и славных товарищей умерло…» (2).

Сбивали, постепенно сбивали красные неутомимый шаг двужильного хромого партизана. Правда, и красные не сразу это заметили, не сразу почувствовали, что он ослаб.

18 января Махно занял городок Недригайлов. Командующий Харьковским военным округом Р. Эйдеман получил от Фрунзе приказ уничтожить банду во что бы то ни стало. Эйдеман выполнил приказ – но через полгода. В конце июня 1921 года именно в бою под Недригайловом будет встречным ударом расколото ядро махновской армии, которое после этого начнет неудержимо дробиться… Но на этот раз Махно ушел.

Фрунзе очень нервничал. В январе он получил очередной нагоняй от Ленина, тем более обидный, что вождь не самолично ему выразил недовольство, а поручил взбучку заместителю Троцкого Э. М. Склянскому, послав ему телеграмму следующего содержания: «Надо ежечасно в хвост и в гриву гнать (и бить и драть) Главкома и Фрунзе, чтобы добили и поймали Антонова и Махно» (46, т. 52, 42).

Легко сказать – «добили и поймали!». Как военный, Фрунзе не мог не понимать, что то, о чем просит Ленин, – невыполнимо. Но он старался. Он очень старался. Дело в том, что с ним случилась беда, несчастье: он впал в немилость.

«В. И. Ленин неоднократно встречался с М. В. Фрунзе, интересовался ходом борьбы с махновщиной, – пишет в своей книге о Махно В. Волковинский, – давал ценные указания по дальнейшей организации ее разгрома. Напутствия вождя, как вспоминал адъютант Михаила Васильевича С. А. Сиротинский, не только помогали М. В. Фрунзе в решении сложных вопросов борьбы с контрреволюцией, но и вдохновляли его, после встреч с В. И. Лениным он ощущал небывалый подъем сил, работал с удвоенной энергией» (12, 190–191).

Все это было бы в точности так, если бы Фрунзе в это время действительно встречался с Лениным. Но в том-то и дело, что за год, на который пришелся разгар борьбы против Махно, Ленин до встречи с Фрунзе не снизошел. Он встречался с ним в сентябре 1920-го, когда Фрунзе отдавали Южный фронт, – и потом, осенью 1921-го. Может быть, действительно, вдохновлял. Но между этими двумя датами встречи не было. Это легко устанавливается документально по биографической хронике жизни Ленина, являющейся наиболее точным и документально выверенным его жизнеописанием, подтверждается также материалами выходивших в дополнение к собранию сочинений и биохронике

«ленинских сборников». И если визит неизвестного украинского анархиста в 1918 году еще мог ускользнуть от фиксации биографов – и время было сумбурное, и человечек маленький (кто ж знал, что этот парень будет батькой Махно?), то встреча с командующим Южным фронтом в 1920–1921 годах от биографов никак ускользнуть не могла бы. Так что – не было ее.

Почему – нам неведомо. Но это не была случайность. Ленин принимал сотни людей и не принять командующего победоносным фронтом «по случайности» не мог. Он сознательно лишил Фрунзе своего благорасположения: «шлифовал» характер. Очевидно, его разозлило «добренькое» обращение Фрунзе к врангелевцам. И хотя после этого он выставил его лжецом и предателем, этого ему показалось мало. Нужно было, чтобы комфронтом как следует помучился чувством вины.

28 ноября, вскоре после разгрома Врангеля и два дня спустя после «разгрома» махновцев в Крыму, в Таврии и в Гуляй-Поле, Фрунзе выехал в командировку в Москву. Наверняка он, добывший для Страны Советов решающую победу, рассчитывал на встречу с вождем. Ждал скромного, по-большевистски организованного триумфа. Все полководцы ждут триумфа.

Фрунзе не дождался. Вождь его не принял.

Вместо этого на Фрунзе взвалена была тяжелая и очень грязная военная работа – разделаться с политическим бандитизмом на Украине. И все. С этим Фрунзе уехал восвояси, так и не изведав славы победителя. Как всякий настоящий партиец, Фрунзе не роптал и рьяно принялся за отряженное ему дело. Но невниманием Ленина он был, по-видимому, глубоко удручен. Ему хотелось скорее сообщить вождю радостное известие. После боев с махновцами под Андреевкой и Федоровкой он отправил в Москву телеграмму, в которой прочувствованно сообщал, что прорвавшаяся было из «котла» семитысячная (!) армия повстанцев на четвертой линии окружения в основном разгромлена и только Махно с четырьмя сотнями всадников удалось уйти. Вместе с телеграммой Фрунзе послал в Москву просьбу позволить ему приехать на Восьмой Всероссийский съезд Советов. Он думал, что заслужил. Он хотел понравиться.

А вышло, что обманул: Махно с основными силами вырвался, что и доказал, истребив штаб петроградской бригады и совершив ряд других беспощадств. В результате Фрунзе на съезд Советов приехал, но опять во второстепенной роли. Слушал доклады Ленина, Кржижановского, Троцкого, Зиновьева. Поражался грандиозности задач мирного хозяйственного строительства, встающих перед страной (на съезде был принят план ГОЭЛРО и много было сказано слов про транспорт, промышленность и

сельское хозяйство). Но столь важной для Фрунзе личной встречи с Лениным так и не произошло (случайная, коридорная, может, и была, но даже о ней хронисты не упоминают). Фрунзе встретил в столице Новый год, а вернувшись на Украину, узнал, что махновцами убит Пархоменко. Он, как оплошавший солдат, лихорадочно принимается демонстрировать необыкновенную активность и усердие. Составляет план уничтожения махновцев. Возглавляет Центральное постоянное совещание по борьбе с бандитизмом. Но на посту председателя этого совещания он остается всего только месяц, собственно, до первого его заседания, в ходе которого он был освобожден от исполнения обязанностей, хотя и остался заместителем Раковского, ставшего председателем. Явно какая-то тень недовольства пала на него, и от этого творилось с ним что-то странное.

Фрунзе 1921 года загадочен: похоже, в нем схлестнулись потоки эмоций, с которыми он впервые в жизни не мог совладать. Впервые за все время Гражданской войны он заболел и взял бюллетень. Его мучила язва. Плохая еда – или нервы? Трудно предположить, что у главнокомандующего вооруженными силами Украины и Крыма, перемещавшегося по стране в персональном поезде, был какой-то ущерб в еде.

Значит, нервы. Одержал крупнейшую победу и на самом подъеме, на вдохе, когда он уже в грудь воздуху набрал, чтоб возвестить: «прощаю!» – был одернут. Впал в немилость. Дали грязное дело, сделали карателем (он не мог не понимать, не чувствовать, что речь идет не о ликвидации нескольких сот бандитов, как требовал думать Ленин, а о планомерной войне с крестьянами). Махно был постоянным источником его непрекращающихся невротических терзаний. Дошло до того, что летом, заслышав о приближении банды, Фрунзе совершает совершенно неадекватный поступок, бросаясь навстречу ей, на верную смерть – с тремя сопровождающими. По чистой случайности он остался в живых – кони оказались хороши. Но он не мог больше! Не мог, чтоб его «били, гнали, драли»!

Первый приступ болезни у Фрунзе случился 6 февраля, когда заместитель Троцкого Склянский получил второе «предупреждение» от Ленина. В «предупреждении» беспощадно констатировалось: «Наше военное командование позорно провалилось, выпустив Махно (несмотря на гигантский перевес сил и строгие приказы поймать), и теперь еще более позорно проваливается, не умея раздавить горстку бандитов». Ленин потребовал отчета обо всем, что происходит (включая использование аэропланов и бронепоездов), и завершил «предупреждение» суровым назиданием: «И хлеб, и дрова, все

гибнет из-за банд, а мы имеем миллионную армию. Надо подтянуть Главкома изо всех сил» (46, т. 52, 67).

После этого «подтягивания» Фрунзе и выключился на неделю. [28] И, надо сказать, в самый неподходящий момент, потому что случилось то, что могло ввергнуть Ленина в самый свирепый гнев: взбунтовалась Первая конная. Правда, почти сразу выяснилось, что взбунтовалась одна лишь 4-я дивизия, и даже не целиком, а одна кавбригада – но последствия могли быть непредсказуемыми. Вся страна тлела мятежами. Иной раз для выступления не хватало только зачинщика – а комбриг Маслаков Григорий Савельевич был весьма популярным командиром, два «Красных Знамени» имел, да и вообще, зарекомендовал себя геройски. В последнем его наградном листе говорилось, в частности, об «исключительной храбрости и мужестве», проявленных в боях против белополяков, в которых Маслаков отличился, прорвав под Львовом со своей бригадой фронт, захватив 500 пленных и в жаркой схватке с батальоном польских легионеров зарубив двадцать человек.

Что заставило опытного, далеко не молодого (44 года) красного командира, объявить себя партизаном, сторонником Махно и призвать население хутора Кочережского, где стояла бригада, к восстанию против советской власти, мы можем только гадать. Но совершенно ясно, что мятежниками должно было владеть ощущение, что существующая власть настолько жестока и неправедна и мерзость ее настолько очевидна всему народу, что надо только восстать и возвысить слово правды, чтобы она пала. К несчастью для Маслакова, это было не так. К несчастью для красного командования, действовать против него можно было только частями Первой конной, которые были поблизости, – и тут мог случиться подлинный ужас и мятеж большой силы. Но не действовать тоже было нельзя, потому что Маслаков пошел на соединение с Махно.

По 4-й армии, которая держала весь махновский район, пролетела тревожная дрожь категорических приказов нового командарма А. С. Белого:

11 февраля, 2 часа ночи: «В связи с предательством комбрига… Маслакова, сумевшего на почве пьянства и демагогии увлечь за собою на путь неповиновения Советской власти значительную часть 19 кавполка… приказываю: Первое. Известить о случившемся начдива 7 кавдивизии и комбрига Интернациональной, стоящих на пути отряда Маслакова. Второе. Задержать и разоружить отряд Маслакова, использовав предварительно меры политического воздействия…» (78, оп. 3, д. 441, л. 70). И еще: «Ввиду опасного положения, создающегося в

связи с приближением к району Гришино – Б. Михайловка отряда Махно, командукр приказал: 1) вести неотступное преследование частями Первой конной армии изменника Маслакова вплоть до его захвата… 4) особое внимание обратить на недопущение присоединения Маслакова к Махно не только из тактических, но и из политических соображений» (там же, л. 73).

Махно меж тем, обойдя с севера Луганск, все ближе подступал к своим местам. 9 февраля махновцы пересекли железную дорогу Лозовая—Славянск и, можно сказать, ступили на родную землю. Р. Эйдеман пытался загородить им путь, выставив на линии Чаплино—Гришино шесть бронепоездов, однако махновцы без труда нашли подходящую лазейку в этом бронированном заборе и двинулись дальше, по-видимому, через свою агентуру оповещенные о том, что на соединение с ними идет буденновская часть. Для Махно эта встреча была необыкновенно важна. Он все еще думал, что это – лишь первая ласточка и вслед за нею чередою пойдут красноармейские бунты, волною которых вновь вынесет его наверх.

12 февраля Фрунзе вынужден был пересилить недомогание и строжайше предписать Р. Эйдеману окружить и уничтожить Махно в районе Чаплино—Гришино, комбинируя действия войск с бронепоездами. Один за другим Фрунзе отдает приказы, имеющие целью – покончить с Махно к 20 февраля, ко дню открытия V Всеукраинекого съезда Советов. Того самого съезда, на который, согласно подписанному им самим в октябре соглашению, должны были свободно избираться делегаты от махновцев.

Теперь махновцев надлежало уничтожить. Фрунзе все хочется поспеть к круглой дате, сделать «подарок» Советской власти – и выбросить Махно, как кошмар, из головы. Казалось, все продумано: район Гуляй-Поля был немедленно занят проверенными частями. Создана еще одна маневренная группа из частей Первой конной. Проходы на восток и отход на север закрывали одиннадцать бронепоездов. Была поставлена задача частям: загнать, окружить, уничтожить. Сделаны строжайшие предупреждения: чтоб уж на этот раз…

Махно как будто издевался над Фрунзе. Семнадцатого стало известно, что накануне «банда Махно и части Маслакова численностью около 1000 человек заняли станцию Розовка, разгромили ее, порвав провода и уничтожив телеграфные аппараты, и подожгли мост на 351 версте. После двухчасового пребывания на станции бандиты, преследуемые частями интеркавбригады, направились на север… Не исключена возможность возвращения Махно в Гуляй-Польский район.

Начальник Мариупольского укрепрайона доносит, что рассеявшиеся на мелкие части бандиты (возможно – маслаковская группа) перешли линию желдороги Мариуполь—Волноваха…» (78, оп. 3, д. 441, л. 82).

Махновцы и маслаковцы, разгромив станцию Розовка, действительно разделились. Почему – не совсем понятно. Махно в письме к Аршинову писал, что отправил отряд «Маслака» в экспедицию на Кубань, но это звучит, по меньшей мере, самонадеянно и претенциозно. Маслаков подчиненным Махно не был, виделись они лишь несколько часов – какие приказы мог отдавать батька мятежному комбригу? Вполне возможно, что, обсудив ситуацию, Махно и Маслаков действительно признали положение неблагоприятным для открытых боевых действий и решили действовать самостоятельно. Маслаков, видно, был из кубанских казаков – естественно, он стремился «к себе». Через несколько месяцев, летом 1921 года, загнанный Махно сам уходил в те места и целый месяц шарил по ним, кого-то ища… Но не нашел. Еще в июне маслаковцы рейдировали в Терской области, ведя «умеренную эсеровско-меньшевистскую пропаганду» или даже агитируя за советскую власть «при хороших, честных коммунистах» (49). Но после июля сведений о Г. С. Маслакове уже нет…

После разделения с Маслаковым Махно пришлось туго. Его зажали и начали окружать. Вечером 18 февраля махновцы попали под обстрел бронепоезда № 44, который принудил их частично рассеяться, а уже утром 19-го – атакованы маневренным отрядом 42-й дивизии и 125-й бригадой и, по донесениям, «в панике бежали на Рождественское». Ввиду того, что Махно был обставлен тремя бронепоездами и со всех сторон окружен, 42-й дивизии было в очередной раз строжайше приказано добить его. Были подтянуты резервы из частей, охранявших азовское побережье, 7-я кавдивизия, интеркавбригада Мате Залки. Все старые друзья собрались добивать атамана. Тщетно!

Утром 20 февраля махновцы ударили на хутор Немецкое, где стояла 124-я бригада 42-й дивизии, разгромили ее (в очередной раз!) и небольшими отрядами ушли в разные стороны…

После этого красным командованием, в буквальном смысле слова, овладела какая-то тяжелая истерика. Начштаба 4-й армии, например, разослал по частям предписание, не имеющее, по-видимому, аналогов в Гражданской войне, требуя, чтобы «каждая… часть, о которой есть предположение, что она не наша, расстреливалась интенсивным пулеметным огнем» (78, оп. 3, д. 441, л. 93).

Штабы потеряли махновцев из виду. 24 февраля совершенно

неожиданные сведения стали поступать из Крыма. Начальник гарнизона в Джанкое докладывал нечто почти невероятное: якобы конная разведка махновцев делала попытки проникнуть в Крым, а главные силы – тысяча человек при трех орудиях – стоят северо-западнее Мелитополя. Как бы там ни обстояло дело, срочно в боевую готовность были приведены гарнизоны перекопских укреплений и Симферополя, а все подручные силы брошены к месту сосредоточения банды.

Зачем было Махно в Крым? Просто для того, чтобы отдышаться, спрятавшись в идеальном для партизан месте – Крымских горах, – а оттуда, возможно…

Что?

Ждать восстания против советской власти? Или ударить на один из черноморских портов, захватить крупнотоннажное судно и со всем отрядом бежать? Куда? Зачем? В какой стране причалил бы этот корабль под черным флагом? Уж не в Турции ли, где его, наверное, голыми руками растерзали бы врангелевцы?

Возможно, у Махно оставался один достойный выход – смерть воина. Но по горькой иронии судьбы ему, столько раз раненному, смерть не была дарована. Возможно, это была своеобразная месть провидения. Впрочем, в феврале 1921 года смерть его и с исторической точки зрения была бы явно преждевременна: он еще нужен был истории, чтобы поддерживать то немыслимое давление в котле, которое нужно было, чтобы запустился, пришел в движение механизм перемен, чтобы в железной империи большевиков открылся клапан для выброса спонтанной энергии – нэп. Он еще очень нужен был крестьянам…

Красноармеец 115-го кавполка, побывавший в плену у Махно, рассказывал, что в Покровском и Рубановке, где махновцы ночевали с 23 на 24 февраля, отношение крестьян к ним было очень дружелюбное. При обмене лошадей крестьяне ничего не просили у махновцев, а те платили большие деньги за постой. Махновцы сказали, что зимой воевать не будут, а весной поднимут восстание, ибо у них много есть людей, готовых к выступлению. Гражданские власти разбегаются при приближении Махно. Пленный рассказал также, что среди крестьян упорно циркулируют слухи, что Врангель высадился и занял уже все побережье, и Первая конная повернулась против большевиков… (78, оп. 1, д. 3). Как странно иногда совмещается в мечтах людей то, что в действительности кажется несовместимым, – и бойцы Буденного идут обок с Махно и казаками Барбовича…

Махно оставалось драться еще чуть больше двух недель. В начале марта махновцы все еще делали попытки просочиться в Крым, но потом вынуждены были уйти, потому что красные

грозили прижать их к Сивашу. О начале Кронштадтского восстания махновцы ничего не знали. Вероятно, это событие вселило бы в них надежды и новые силы. Но они не ведали, и силы таяли. Они уходил, отстреливаясь, – их снова настигали. Разделялись, ныряли в сухие камыши заледеневших озер темной ногайской степи, урывками спали на глухих хуторах, снова собирались, снова рассыпались… Опять, возле самого устья, переходили Днепр, добирались почти до Николаева – и снова возвращались обратно по хрупкому, источенному весенним теплом льду…

В этих монотонных, как мартовское небо, днях бывали дни особенно темные: в один из них, настигнутый со своими людьми, был пулей ранен в голову Удовиченко. Несколько человек из его отряда уцелели и рассказали, что командир еще был жив, когда налетели красные. Долго не знали, умрет он или раненый достанется ЧК. Удовиченко повезло – умер.

Махно тоже повезло: 14 марта он был в схватке с красной кавалерией очередной раз ранен в ногу навылет, а поскольку была погоня и перевязать его было некогда, он в тачанке «едва не сошел кровью». Но не сошел-таки, дотянул до перевязки. Вечером состоялось заседание штаба, на котором решено было расходиться. Прорываться попросту было некуда: кругом были красные.

«…Возле меня сидели все командиры групп, члены штаба во главе с Белашом. Они просили подписать приказ – разослать на 100 верст по 200 бойцов Куриленко и другим (действующим автономно. – В. Г.) командирам, чтобы они самостоятельно руководили восстанием. Подписал приказ Забудько», – писал в отчете Аршинову Махно для «Истории». На самом деле заседание штаба не было лишено, видимо, внутреннего драматизма: большой бандой действовать становилось невозможно, она притягивала к себе слишком много сил. Да и Махно, раненый, едва не теряющий сознание, становился обузой, страшно было с ним – вот каждый и просил отпустить его на волю, думая, что так вернее уцелеет.

В результате армия была разделена на три группы: Реввоенсовет, штаб армии с батькой во главе и отряд Петренко должны были прорываться на восток по-над берегом Азовского моря; Щусю предписывалось пробраться в родные места, в Дибривский лес, и затаиться там; третья группа отряжалась в Юзовский район.

Не прошло и нескольких часов после разделения армии, как на группу Махно налетела 9-я кавдивизия и гнала махновцев 13 часов, прежде чем тем удалось оторваться от преследования и в

селе Слобода накормить коней и дать им отдых. 17 марта возле Новоспасовки Махно вновь был настигнут казаками 9-й кавдивизии. Пошла жесточайшая рубка. Измочаленная многомесячными боями батькина сотня натиска красных сдержать уже не могла и чуть не поголовно легла под саблями. Спасли Махно пять пулеметчиков-«льюисистов», взявшихся держать красных до тех пор, пока остальные не оторвутся. Левка Задов на руках перенес Махно из боевой тачанки в обычные дроги. Один из пулеметчиков просил передать отцам, что они честно погибли за крестьянское дело, защищая батьку и веря в него. Когда оставшиеся в живых тронули коней, сзади раздались разрывы гранат и затрещали «льюисы». Кавалькада ударилась в галоп.

Куда неслись эти люди? Где было их место на земле? И были ли это люди еще, после трех месяцев, почти непрерывно проведенных в седлах, под пулями, на зимнем ветру? Да, это были люди – окаянные, проклятые, лишенные всего, исторгнутые из мира человеческих существ в свое окаянство…

18 марта пал мятежный Кронштадт. Среди тех, кто руководил разгромом восставших, было много старых знакомых Махно – делегатов партийного съезда: Затонский, Дыбенко, Федько, Ворошилов. Троцкий, конечно. Молодые петроградские курсанты, которых перебросили с Украины, чтобы и здесь, под Питером, ввязать в кровавое, бесчестное дело. Партия всех вязала на крови – чтоб не были белоручками…

О том, что происходило в Кронштадте, делегаты X съезда РКП(б), проходившего в Москве, узнали из закрытых (и не включенных в стенограмму съезда) докладов Троцкого, прочитанных им 12 и 13 марта.

16 марта съезд принял знаменитую резолюцию о замене продразверстки продналогом. Это не был еще, собственно, нэп. Даже слова такого еще не было, но этим решением зачиналась новая эпоха. Палеолит большевизма закончился. Наступала кратковременная эпоха бронзы, которую потом подмял под себя, раздавил железный век Сталина.

20 марта Махно с горсткой оставшихся в живых сподвижников достиг разоренной немецкой колонии возле села Заливного Александровского уезда и укрылся там, почти месяц не подавая признаков жизни…

ШАЛЬНАЯ ПУЛЯ

В конце марта в Гуляй-Поле был схвачен начальник связи Повстанческой армии. Взяли его, видимо, военные, но попал он сразу в руки Чека, что у военных рангом повыше вызвало нешуточную тревогу. Из штаба 4-й армии в штаб 3-го конного корпуса ушла телеграмма: «Говорил с помнаштакор Крутиковым, который сообщает, что начсвязи находится в ведении гуляйпольской чека, если он не расстрелян, его просят… результат сообщить мне». Некто Левченко ответствовал на эту телеграмму: «Хорошо, передам Высоцкому. Но тилько нельзялы вияснит на верное, жыв лы иче начсвязи?» (78, оп. 3, д. 439, л. 28). Приказано было, если не поздно, забрать махновца у Чека и доставить в штаб корпуса для допроса. Из Харькова спецтелеграммой от 26 марта было велено у пленного при допросе выяснить: 1) действительно ли распущена армия; 2) где находятся уцелевшие ее отряды; 3) где находится Махно и склады оружия; 4) куда Махно в принципе может скрыться?

Пока шла эта переписка, начсвязи Повстанческой армии, содержавшийся под стражей в гуляйпольской Чека, – сбежал. Обстоятельства этого невероятного побега выясняли, да так и не выяснили, потому что, найдись в этом деле виноватый, ему бы не сносить головы.

Жизнь, однако, довольно скоро предоставила ответы на все интересующие красное командование вопросы.

29 марта от командира гуляйпольского продбатальона поступили сведения о появлении в районе Новоуспеновки банды Щуся, с которым, по слухам, был сам Махно. К сведениям отнеслись недоверчиво, так как командир батальона вообще был подвержен паническим настроениям и уже дважды сообщал неподтвердившиеся факты. На всякий случай информацию все же передали в штаб Фрунзе, снабдив ее комментарием, что, скорее всего, комбат принял за отряд Щуся одну из «незначительных банд местного происхождения».

1 апреля поступили сведения из штаба Кавказского фронта, что банда махновцев под командованием Белаша заняла местечко Хомутов неподалеку от Ростова-на-Дону и оттуда двинулась в направлении на Новочеркасск.

Сколь бы фантастичными ни казались эти сведения, характерна мгновенная реакция Фрунзе, который, не медля ни секунды, потребовал от командарма 4-й армии точно выяснить местонахождение обеих банд, уничтожить их, Махно поймать.

Тут же выяснилось, что ловить бандитов некому – все

кавалерийские части после изнурительных боев с махновцами переброшены на «поправку фуражом» в район Лозовой, и командование армии располагает лишь двумя кавполками каширинского корпуса, бригадой Туркестанской кавдивизии и частью 7-й. Фрунзе был, по-видимому, в отчаянии от такого головотяпства, но он пытается не выпустить ситуацию из рук и хотя бы точно оценить обстановку. Телеграф отбивает его вопросы: сколько узбеков и туркмен в Туркказдивизии? Какова боеспособность полков конкорпуса?

Ответ из штаба 4-й армии: «Узбеков и туркмен (басмачей) во второй Туркказдивизии состоит 250 человек». Немного. Значит, дивизия боеспособна. Части третьего конного корпуса Каширина производили хорошее впечатление: «38 кавполк численностью 305 при 6 пулеметах и двух орудиях… Отряд 37 кавполка – один дивизион 102 сабли при 5 пулеметах. Обе части имели опыт борьбы с бандитами – бандами Кожа и Золотого Зуба» (78, оп. 3, д. 439, л. 48).

Однако на этот раз тревога оказалась преждевременной: проявившиеся было махновцы больше нигде не обнаруживали себя. Казалось, Украина усмирена. В разных местах еще кровоточило, продотряды боялись оставаться в деревнях из-за мелких банд, которые могли собраться на одну ночь, вырезать всех до единого, а утром – рассыпаться без следа… Из Мелитопольского уезда жаловались, что весь район наполнен бандитами, бродит банда человек в сорок крестьян, в деревне Басани ими убито 11 красноармейцев. Выступившие туда части взяли 24 человека заложников, но работать все равно нельзя: приходится один день посвящать хлебозаготовкам, а другой – срочной эвакуации хлеба. Крестьяне озлоблены. К тому же еще беда, что красноармейские гарнизоны «бесчинствуют, режут скот, птицу, без всякой санкции местной власти» (78, оп. 1, д. 3). Иногда доходило просто до негодяйства: какой-то заградотряд под Бердянском расстрелял, за попытки его приструнить, лучшего советского работника Новотроицкой волости, делегата губернского съезда советов. Протесты местных властей не дали ничего. Убоявшись распалившихся красноармейцев, весь волостной исполком бежал в Бердянск, «так как нет гарантии, что и другие совработники не будут расстреляны» (там же).

Накладок такого рода было еще предостаточно, но все-таки, казалось, пламя крестьянской войны сбито. Антоновщина еще пылала вовсю, а на Украине, куда как более уставшей от войны, наступала как будто новая эпоха. Поскольку она явилась в виде декрета о замене разверстки продналогом и прочих партийных решений, которые, не рассуждая, надлежало признать

правильными, следовало ответить на запросы нового времени конкретными делами. Была объявлена амнистия бандитам, которые сдадутся до 15 апреля. Советские историки не раз писали, что мера эта имела решающее значение для ликвидации махновщины. Но это не так. Весной бандитам было наплевать на амнистию. Поскольку большевистская власть всегда любила отчетность, мы можем судить об этом совершенно определенно. 3 апреля начопервойск Украины прислал в штаб 4-й армии запрос для Постоянного совещания по борьбе с бандитизмом, – сколько было случаев «добровольной сдачи банд и главарей нашим частям, указав где, когда и в каком числе».

Ответ был краток: «…случаев добровольной сдачи банд и главарей в районе 4А не было» (78, оп. 3, д. 439, л. 80). А 4-я армия фактически контролировала все Левобережье!

Лишь к осени, когда стало ясно, что дальше сопротивляться бесполезно, в плен сдались 2443 рядовых махновца и 30 командиров – что, надо признать, составляло ничтожную долю тех, кто принимал участие в движении.

7 апреля из кровавой немоты деревни, лишь по ночам издающей сдержанное урчание ненависти, прорезался голос Махно. С опозданием узнав о кронштадтском восстании, штабная группа махновцев на полевой радиостанции отбила телеграмму: «Приближается час соединения свободных казаков с кронштадтскими героями в борьбе против ненавистного правительства тиранов…» (12, 206). Махно не знал, что Кронштадт уже не только мертв – но и остыл. Он решил еще раз попробовать поднять деревню на дыбы: он знал, что близится время изъятия продналога – который по объему был чуть только меньше продразверстки; знал, что для изъятия посланы будут продотряды в деревню и большое будет через это недовольство…

21 апреля ь 8 часов утра в штаб 259-го стрелкового полка прискакал начальник летучего отряда, высланного накануне в район станции Гайчур. Был он ранен саблей в голову и поведал, что накануне вечером возле деревни Черемисово заметил колонну всадников. На вопрос, кто такие, получен ответ: «Мы буденновцы 31 полка, восстали и идем на присоединение к Маслакову». Летучий отряд вступил с колонной в бой, потерял 15 человек и вынужден был отступить. Командир отряда сообщил также, что в колонне было не менее 500 всадников «при невыясненном количестве пулеметов и большом обозе». Все одеты в красноармейские шлемы, имеют на груди красноармейские значки. Командир полка просил выяснить в штабе Первой конной, «действительно ли часть 31 полка повстала и пошла на соединение к Маслакову или это очередная уловка бандитов?»

(78, оп. 3, д. 439, л. 127).

Но это были не буденновцы. Это был сам Махно.

Через несколько дней начальник штаба 4-й армии докладывал в штаб фронта: «Банда… насчитывала до 400 сабель при 12 тачанках с пулеметами и, якобы, была объединенной бандой Щуся, Савонова, Петренко, Фомы, Маруси и Махно. Выяснить более подробно состав и происхождение банды в данное время не представляется возможным…» (там же, л. 143).

Бронепоезда, как назло, частью стояли в ремонте, частью же, несмотря на категорический запрет Фрунзе, использовались для охраны хлебных эшелонов. Все уже начали забывать о батьке. И тут он появился.

Позже и сам Махно, и многие историки писали, что весеннее выступление 1921 года было предпринято с целью взять Харьков и перебить большевистских вождей в самом их логове. Все это, конечно, ерунда. Махно выдумал эту «охоту на вождей» уже в Париже, в порядке, так сказать, моральной компенсации. Историки же, которые пишут об «авантюристическом наступлении на Харьков», просто, очевидно, не составили себе труда взять карту и посмотреть, где в действительности оперировал Махно и что он делал. Для того чтобы перебить большевистских вождей, не нужно было брать Харьков и уж тем более не нужно громить сахарные заводы под Полтавой, чтобы добыть сахар – валюту 1921 года. Для этого достаточно было бы заслать в город группу боевиков и совершить один или несколько террористических актов. Техника этого дела была анархистам великолепно известна.

Нет, не Харьков был целью Махно. Он шел в деревню, причем шел по старым своим следам. Скорее всего, он не рассчитывал на победу. Но не выступить тоже не мог. Это не пустой парадокс: где-то Андрей Тарковский написал, что в жизни все проявления человеческих эмоций имеют свою форму. Он писал это как режиссер, построитель актерской сцены. Но в истории тоже так, эмоции людей отливаются во что-то. Махновщина 1921 года была формой проявления очень разноречивых чувств, которые владели громадными массами людей в конце длительной, опустошительной, жестокой, братоубийственной войны. Это была форма отчаяния. Опустошенности. Злобы за перенесенные оскорбления и унижения. Желания отомстить – за убитых товарищей, за предательство. За «вне закона». За то, что люди, целиком отдавшиеся борьбе за народное дело, не только не были приглашены разделить с большевиками радость победы, не только отстранялись от обустройства нового мира, но и прямо назывались разбойниками, подлежащими истреблению, как

бешеные псы. За дьявольскую большевистскую гордыню, за то, что голос твой не слушают, потому что не хотят считать за человека, слушать не хотят. Но если так, то, может быть, выстрел из обреза будет подоходчивей слов?

Махновщина 1921 года, как антоновщина, как григорьевщина когда-то, – это чистая эмоция, никакой политической программы у нее нет. И цели нет. Даже с экономической точки зрения она нецелесообразна: продналог был обдираловкой, и взымали его, особенно в 1921 году, как и продразверстку, при помощи войск, но все равно, холодно рассуждая, воевать за такое дело, жизнь свою класть – слишком расточительно. И партизанскую армию кормить расточительно. Нерационально. Но махновщина 1921 года совершенно иррациональна. И не потому крестьяне шли в отряды Махно, что были кулаками, и не для того он был им нужен, чтобы защитить добришко, а потому, что эмоции реактивны, потому что за большой войной всегда тянется длинный хвост отчаявшихся, озлобленных, все потерявших и на все готовых людей, которым не осталось уже места в жизни.

Конечно, Махно был обречен. Он все еще блуждал где-то в 1918–1919 годах, а настал уже 1921-й. Революция победила. Победители вовсю пользовались ее плодами. Осваивались на новых должностях, примеривали новые френчи, после боевой походной жизни заводили обстановочку и обзаводились семьями. Придумывали новые дерзкие проекты. Возрождались, по мере надобности, искусства. Вплотную подступало кипучее, сумбурное, шальное время нэпа – время совершенно неожиданных творческих и научных обнаружений, время рынка и эфемерной роскоши бытия… А Махно все бандитствовал…

Я нарочно назвал эту главку «шальная пуля». Шальная пуля – дура, куда летит – не знает, бьет совсем не в того, кому предназначена была, и хоть силы в ней мало, и кувыркается на излете – может убить. Махно весной двадцать первого – как эта шальная пуля. Кругом они, шальные последние пули агонизирующей войны. Шальная пуля настигла Махно и чуть не прикончила, когда он переправлялся через Ингул. Шальная пуля и Фрунзе зацепила – чудом насмерть не ударила…

Весь май Махно петлял в своем районе, умело уклоняясь от боя и собирая свои отряды. Фрунзе тоже готовился к встрече. Против махновцев были сформированы части, состоящие из одних коммунистов и комсомольцев, отряды комнезаможников – которые не знали повстанцев по совместной борьбе с белыми, не помнили ужаса зимних боев минувшего года и видели в махновцах только лютых своих врагов, которых следовало безжалостно уничтожить. Из этих частей были сформированы

истреботряды. Вновь изготавливались к бою бронепоезда…

Перед началом рейда под Полтаву Махно издал приказ № 1 по Революционно-повстанческой армии Украины, тем самым давая понять, что трехлетняя партизанская война на Украине не закончена – есть армия, есть штаб, война продолжается. Приказом в частях вводилась железная дисциплина. Самовольные реквизиции у населения запрещались под угрозой расстрела. Запрещался выезд рядовых повстанцев из строя без ведома командира, все бойцы должны были носить при себе оружие, не расставаясь с ним. Расправы над пленными запрещались, их следовало доставлять в штаб.

Он все еще верил в свою Революцию. Он думал, что люди поддержат его и вновь, как в 1918-м, ударят в штыки за землю и волю. Но он ошибся. Люди устали. Люди больше не могли и не хотели воевать.

В самом начале июня Махно появился в пределах Полтавской губернии. Войска Фрунзе ждали его. Каждый шаг его был известен. И хотя махновцы по-прежнему проявляли необыкновенную верткость и боевое мастерство, хотя они тоже были прекрасно осведомлены о расположении красных частей, Махно больше не был хозяином положения. Это стало ясно с первого же дня боев, которые продлились почти месяц, в конце которого его отряд получил удар, от которого так и не смог оправиться…

1 июня махновцы заняли Малую Багачку неподалеку от Миргорода. Разведка 7-й стрелковой дивизии донесла, что в отряде 500 сабель, 300 человек пехоты при 15 пулеметах. Мгновенно миргородский гарнизон был приведен в боевую готовность, в Миргород переброшены два отряда общей численностью в 600 человек и выставлены на позицию два боеспособных орудия.

Одновременно против Махно сформирована ударная группа силою двух полков. Махновцы повели было бой с разведкой седьмой дивизии, но разведчики – 120 человек – отошли за линию железной дороги, а махновцев погнал прочь бронепоезд, подошедший из Миргорода. Бой продолжался до трех часов ночи, пока махновцы, почувствовав, что вокруг них стягиваются крупные силы, вдруг не ушли в сторону и, обойдя ощетинившийся Миргород, перешли железную дорогу возле станции Гоголево, где им пытались преградить дорогу бронелетучка «Красный оборонец» и небольшой заградотряд, но неудачно, ибо сами боялись банды.

2 июня махновцы заняли станцию Гоголево, отцепили от состава паровоз и, по старому партизанскому обычаю, пустили

его на «Красного оборонца», который портил им кровь, курсируя по железной дороге. Как это ни странно, на этот раз крушения не произошло: паровоз разбился о буферную платформу бронепоезда, нагруженную, вероятно, гравием или песком. Вечером два батальона 488-го полка настигают банду и ведут с ней упрямый, вязкий бой…

Все это продолжалось ежедневно, с какой-то удручающей однообразностью. Ворвались в Зеньков – выбиты – ушли, захватив с собой своих убитых и раненых, преследуются, отбились, перешли железную дорогу, разобрав пути. Нигде махновцам не удается спать больше чем полночи: теперь истреботряды первыми нападают на них. Но и это не приближает красных к победе. Махновцы словно знают, что на них нападут. Готовы к этому. Спокойно разделяются на две-три группы, уходят в разные стороны. В наблюдение за бандой пускают аэроплан – на другой день он терпит аварию. Комиссия впоследствии обнаружила остатки разбитого и ободранного населением самолета, но до причин аварии так и не докопалась. Пилот Ефимов, оставшийся в живых после крушения, утверждал, что поломка произошла из-за небрежной подготовки аэроплана к полету…

10 июня состоялся суд над тремя махновцами, захваченными в плен в деревне Медвежье. Председателем трибунала был сам Роберт Петрович Эйдеман, заместитель командующего войсками Украины, имевший задание непосредственно возглавить операции по ликвидации махновщины. «Из предварительного опроса пленных никаких сведений от них о банде добиться не удалось», – сообщали из штаба 7-й дивизии (78, оп. 2, д. 185, л. 52). Нераскаявшихся бандитов приговорили к расстрелу и приговор привели в исполнение. Эйдеман был тоже романтик войны, а потому не терпел сантиментов.

Окаянные упорствовали в своем окаянстве, но вызвать движение в народе уже не могли. Махно пришел к крестьянам звать в бой за волю, а те не откликнулись. Они не отнеслись враждебно к нему, но, кажется, не выявили и сочувствия. Только старые, закоренелые в ожесточении партизаны с подходом Махно оживились.

В середине июня на станцию Сахновщина налетела банда некоего Иванюка и учинила разгром. Рота курсантов, охранявшая состав с боеприпасами, была перебита с примерным беспощадством: в окна вагона, где курсанты то ли ели, то ли спали, бандиты сунули несколько пулеметов и с криками «Здравствуйте, товарищи!» открыли огонь, превратив в решето внутренность вагона. Состав подожгли, три вагона снарядов расхитили.

«Банда Иванюка… местного значения, – оправдывалась разведка 7-й дивизии перед начальством за недогляд, – периодически собирается, производит налеты и снова рассеивается по хуторам. С приближением или при переходе наших частей всякая деятельность банды замирает. Ликвидация ее происходит за счет усиленной агентурной разведки, каковая работает крайне слабо за отсутствием хорошей агентурной связи» (78, оп. 2, д. 185, л. 71–75).

Из всех этих жалких самооправданий Эйдеман делал собственные выводы. Он был настоящий, талантливый игрок: к июню он уже почти все в тактике Махно понял и лишь кое-что по ходу дела додумывал. «Банда местного значения»! Но, во-первых, местные опасных и дерзких налетов на станции не совершают, а, во-вторых, мужикам снаряды не нужны. Снаряды нужны лишь атаманам с очень большим замахом – уж не на батьку ли самого работает Иванюк?!

Махно тем временем неутомимо вредительствовал. 11 июня он занял Чупаховский сахарный завод. Что могли, махновцы попортили, прихватили немного сахару. По словам местных жителей, в отряде активных бойцов было человек 500 и около ста раненых в предыдущих боях – на тачанках.

И вновь – красные части пришли на место позже чем надо, вновь преследование не дало результатов… 12 июня Махно проходит через Диканьку, 13-го идет на Сагайдак, 15-го возвращается в Решетиловку, где уже ночевал однажды. Все по кругу, неостановимо, неизменно, безнадежно.

Фрунзе тихонечко доходил в своем бронепоезде, курсирующем в районе боевых действий. Разговоры по прямому проводу с командирами частей, приказы, доклады. Ночные, как правило, визиты Эйдемана с новостями. 14 июня Эйдеман приказал срочно выслать ему 300 пудов бензину на 16 бронемашин. Планировалось в Решетиловке махновцев все-таки окружить и – уничтожить. 16 июня Эйдеман прибыл к поезду Фрунзе не ночью, как обычно, а в 6 часов утра, чтобы в очередной раз сообщить, что банда из окружения ушла. С этим сообщением он и уехал.

А Фрунзе не выдержал. Бесконечные «бандсводки» и доклады надоели ему смертельно. Он велел оседлать коней. Через несколько минут появился с маузером через плечо. Дальнейшее великолепно описал в своих воспоминаниях комдив И. Кутяков, получивший назначение на Украину и, как старый боевой товарищ Фрунзе еще по Восточному фронту, сопровождавший его в этой операции.

– Куда едем? – спросил Кутяков.

– Поедем в местечко Решетиловку, – сказал Фрунзе с чуть заметной нервностью.

Ординарец Фрунзе и его адъютант взяли карабины. Стояло тихое ясное утро. Вокруг сочно зеленели поля после прошедшего ночью дождичка. Поглядывая вокруг, группа выехала на бугор, с которого Решетиловку было видно как на ладони.

«В это время, – пишет Кутяков, – из местечка послышалась беспорядочная ружейно-пулеметная стрельба, а через несколько минут все стихло. Это, как впоследствии выяснилось, банда Махно окружила в одном дворе автомобиль Эйдемана. Ему удалось благополучно, хотя и на пробитой машине, отбиться и присоединиться к истребительному отряду. Когда услышали стрельбу, Фрунзе сказал: „Нужно поторопиться“, и мы подняли коней в рысь» (43, 119).

Но едва только группа, проскакав улицей, выскочила на церковную площадь, как из другой улицы показалась «колонна в строю повзводно. Впереди ехали трое – один в черной бурке, без шапки, длинные черные волосы зачесаны на лоб, а остальные тоже в черных бурках, но в кубанках. В первом ряду развевалось красное знамя, в центре колонны – свернутое знамя черного цвета. Всего всадников насчитали не более двухсот человек. Сзади было несколько тачанок с пулеметами и каким-то имуществом…

При виде этой колонны мы все четверо осадили коней и оказались… на расстоянии тридцати метров. Колонна, вероятно, от неожиданности, остановилась. С минуту мы молча смотрели друг на друга. Я успел разглядеть лица бойцов. Загорелые, они выглядели старше тридцати лет. У меня сразу блеснула мысль, что в нашей армии осталась двадцатитрехлетняя молодежь. Значит, это махновцы, и мы влопались. Перевожу взгляд на плотного всадника с длинными черными волосами, без фуражки. По фотокарточке, которую я видел в вагоне Фрунзе, можно безошибочно сказать, что этот самый и есть батька Махно.[29]

В это время задние взводы поднажали на передних… а первые ряды всадников начали спокойно снимать карабины.

Нас почти отрезали от дорог и прижали к какому-то огороду, обнесенному какими-то плетнями и изгородью.

Фрунзе спросил, какая часть. Главарь ему ответил: эскадрон 138-й бригады.

Я одновременно с вопросом Фрунзе наставляю с неимоверной быстротой наган и кричу:

– Стреляю на ять, осадите фланги!

Они молча, но медленно пятят лошадей. Тогда Махно сам спросил, кто мы, и в то же время ловко взбросил карабин

наизготовку. Я в ужасе крикнул:

– Не стреляй, это комвойск Фрунзе!

В это время раздался залп. Сквозь дым и свист я видел, что Фрунзе удержался на коне и бросился через изгородь на дорогу, что ведет на Полтаву.

Тогда я дал коню шпоры и помчался на Решетиловскую дорогу, так как мне отрезали путь махновцы. Около пятидесяти человек устремилось за мной…

Мой адъютант, вероятно, заслушался и не держал коня в сборе. Его сразу же окружили и зарубили. Фрунзе и я обязаны ему жизнью, ибо первым бойцам Махно он преградил своим телом дорогу. Это позволило нам оторваться метров на двадцать.

Таким образом, я и ординарец скакали по Решетиловской дороге, а Михаил Васильевич по Полтавской, причем эти дороги идут верст пять параллельно и расходятся к востоку. Наша дорога шла низкой местностью, а дорога Фрунзе – по возвышенности, и мне было хорошо видно и слышно беспорядочную стрельбу и крики…

На фоне голубого неба кровный рыжий конь Фрунзе кажется черным… А за ним – с полсотни человек, тоже на приличных конях, с шашками наголо… в развевающихся от быстрого хода черных бурках и разных цветов башлыках. Видно было по вспышкам дыма, что Фрунзе отстреливается из маузера» (43, 119–120).

Конь Фрунзе оказался хорош – вынес хозяина. Да и Михаил Васильевич был не робкого десятка: оторвавшись подальше от банды, он спешился и выстрелами из маузера отогнал тех, кто гнался за ним. В результате Фрунзе отделался легким ранением в руку. Но больше истерических попыток самостоятельно захватить Махно он не предпринимал.

На заседании Совнаркома Украины, состоявшемся на следующий день, Х. Раковский сделал доклад о случившемся. Фрунзе похвалили за проявленную отвагу, но рекомендовали впредь воздерживаться от личного участия в боях.

Однако товарищи из Совнаркома, видимо, поняли, что главком «дошел» и начал терять самообладание. Буквально накануне решающего столкновения с ядром банды, 26 июня, непосредственное руководство операциями против Махно было передано В. К. Авксентьевскому, заместителю Фрунзе. В паре с ним работал Р. Эйдеман, крупнейший специалист по борьбе с партизанами. Он понял, в частности, что преследование Махно – дело хоть и небезнадежное, но недостаточное. Казалось, что его гонят и ведут, но в результате выходило, что ведет-таки он и, хоть и кругами, приходит в назначенное место. Значит, нужно было

понять, куда он захочет двинуться, чтобы разбить встречным ударом. Эйдеман предположил, что теперь Махно двинется к сахарным заводам в район местечка Недригайлов, чтобы разгромить их.

Расчет оказался верным. 27 июня под Недригайловом махновцы напоролись на части ударной группы, возглавляемой Григорьевым, – в жестоком встречном бою было убито около 200 человек. В рубке с красной кавалерией погиб Феодосии Щусь, легендарный щеголь махновщины, батькин спутник с 1918 года. Махновцы опять смяли красные заслоны и опять ушли из подготовленного Эйдеманом окружения, но от этого удара оправиться уже не смогли.

Банда круто ушла на юг. Одной из самых филигранных операций махновцев Эйдеман назвал переход ими в ночь с 6 на 7 июля железной дороги Лозовая—Константиноград, по которой курсировали 5 бронепоездов. Этот переход даже не был замечен: банда перешла железную дорогу ночью, на широком участке, небольшими группами, определив место сбора в двенадцати верстах южнее линии железной дороги. Уже вечером Махно был вновь обнаружен и вновь окружен. Ему опять удалось вырваться, набросившись всеми силами на истреботряд, а затем, разделив людей на несколько групп, запутать погоню. Одна группа, правда, была настигнута на хуторе Марьевка и изрублена. Вместе с товарищами сложил в рубке свою голову бунтарь и партизан, красный командир и бандит Василий Куриленко…

Махно мог быть талантлив, неутомим, хитер, верток, беспощаден. Но против него работал механизм гораздо большей мощности. Система располагала неизмеримо большими ресурсами. Система заменила людей, сражавшихся против Махно: на него была брошена молодежь – по сути, поколение, сформировавшееся уже при большевиках, которое ничего не знало о «легендарном» Махно, об анархистской республике 1919 года, о героической партизанской борьбе, которое весьма смутно помнило пьяную от свободы весну 1917 года, но зато навечно несло в себе черный голод 1919-го и острую ненависть к врагам, кто бы те ни были.

Возможно, один из парадоксов истории в том, что Махно не мог быть уничтожен солдатами революции; он мог быть уничтожен только новым поколением призывников – солдатами Системы.

Противостояние махновцев как материализованной эмоции ненависти и Системы как равнодушной машины стало особенно наглядным, когда Эйдеман решил резко сократить число преследовавших махновцев истреботрядов и заменить их

бронечастями. Тут уж есенинское видение соревнующегося с паровозом жеребенка из поэтической метафоры перелилось в план совершенно практический. И конь стальной победил коня живого. Броневики в буквальном смысле слова загнали махновцев. Неделю без передышки 7 бронеавтомобилей, два грузовика с красноармейцами и две мотоциклетки, на которых гоняли разведчики, преследовали остатки банды. Уйти в район Гуляй-Поля Махно так и не удалось: его погнали по-над Юзовкой к верхнедонским степям, снова вытесняя в Россию. Погоня длилась до тех пор, пока партизаны не были совершенно измотаны и сломлены морально. К этому шло: люди много дней уже ничего не ели, не спали. Проносясь по селам, не успевали даже расправляться с советскими работниками, только меняли коней, иногда буквально вырывая их у крестьян. Бойцы бронеотряда отмечали, что после махновских реквизиций крестьяне, не ерепенясь, указывали броневикам дорогу. Крестьяне, глядя на полубезумные, изможденные лица повстанцев, тоже ведь понимали: э-э-э, да от этих что ж добра искать… Хватит. Дурные, шалые, окаянные – ничего не будет от них, кроме беспокойства и худа…

Хроническая усталость наконец сказалась у махновцев в каком-то странном симптоме: они стали бояться броневиков. В принципе ведь броневик легко можно было подбить гранатой или захватить орудие у какой-нибудь части и воспользоваться им, чтоб разгромить весь этот бронеотряд к чертовой матери… Но нет: у партизан, забывших, казалось, о чувстве страха, по отношению к броневикам, неотступно преследующим их, неумолчно гудящим сзади моторами, развилась какая-то фобия. Они вдруг прониклись к ним ужасом, как немецкие солдаты, впервые увидевшие английские танки на Сомме в 1916 году… До добра это довести не могло. 15 июля преследуемая бронеотрядом банда скатилась в балку реки Ольховая и скрылась там. До подхода пехоты махновцам ничего не угрожало – машины не могли спуститься по крутым склонам оврага, – но чтобы поддержать паническое настроение отступающих партизан, броневики три часа по очереди поливали балку из пулеметов, пробуя простреливать ее то с одной, то с другой стороны. Кончилось тем, что один бронеавтомобиль подъехал почти к самому краю балки и, дав сигнал ракетой, включил сирену. Для издерганных махновцев этого оказалось достаточно, чтобы потерять хладнокровие: приняв ракету и гудок за сигнал к атаке (хотя пехота так и не подошла), они в панике бросились из оврага в поле, под беспощадный пулеметный огонь…

Здесь мы должны чуть-чуть перевести дыхание и оглянуться,

оглядеться вокруг себя. Река Ольховая – это ведь километров шестьдесят всего от станицы Вешенской, и даже если Махно к ней вышел в среднем течении – то максимум сто. Вот здесь опять – как когда-то на Кичкасском мосту, когда в 1917 году «черногвардейцы» разоружали идущие с фронта казацкие эшелоны, – могли бы встретиться махновцы и герои «Тихого Дона». Но какая пропасть пережитого пролегла меж ними за эти годы! Воевали вместе за красных, и друг против друга, и против красных вместе бандитствовали, но мы не знаем – встретились или нет. Махно промелькнул лишь в верховьях Дона: после разгрома остатки банды – всего около 60 человек с одним ручным пулеметом, – ударились на юг и, переправившись через Донец, ушли на территорию Северо-Кавказского военного округа, под Ростов. Проводником был, вероятно, Виктор Белаш, который со своими людьми уже пережидал весеннюю грозу в этих местах и имел здесь связи и агентуру. Возможно, Махно надеялся разыскать следы отрядов Бровы и Маслакова, возможно, рассчитывал на возмущение казаков, зная про их недовольство. Во всяком случае, на Украине ему нельзя было оставаться. Помимо истреботрядов была придумана подлость: добровольные отряды каэнэсов (комитетов незаможных селян), которых навербовали до 56 тысяч человек. Чем уж расплачивались с ними за «бандитов», остается сегодня гадать (за беглого зэка при Сталине таежные охотники получали сахар и муку, предъявив, как доказательство, отрезанную голову или ухо беглеца), но не могло быть, чтобы добровольная опричнина не получала доли с царской охоты: на этом всегда держалась власть Системы.

В середине июля красные «вычислили» и накрыли Иванюка под Полтавой и Савонова под Изюмом – их банды были раздавлены; под пытками открылись тайные места сберегаемого оружия. Махно лишился всех арсеналов, своих лучших снабженцев и вербовщиков. Но сам он об этом еще не знал. Он многого не знал. Не знал, что Антонов разбит. Он надеялся (как Антонов надеялся, тронув весною свои армии в Воронежскую губернию с целью пробиться – опять же, к Дону), что можно еще куда-то двинуться и найти таких же несмирившихся, чтобы плечом к плечу драться до последнего… Но никого не было: находились лишь отдельные люди, с судьбами, татуированвыми страшными письменами… 21 июля в селе Исаевке Махно и Белаш, собрав всех оказавшихся поблизости партизан, устроили последний совет остатков Повстанческой армии. Теперь это была тысяча отверженных, погубленных людей, у которых не осталось уже ни охоты, ни надежды вернуться к мирной жизни. Среди них мог быть с отчаяния подавшийся в бандиты Григорий Мелехов, но

у Мелехова – до последнего момента – была надежда, была любовь, был сын. Большинство же этих людей потеряли все. Быть может, они и хотели бы вернуться назад, да не могли: ничего не осталось в прошлом, все выгорело. Сами души этих людей выгорели от бесчисленных горестных потерь и множества совершенных злодеяний. А как вернешься вспять через пустыню собственной души, зная, что в прошлом и в будущем нет ничего – ни человеческого тепла, ни очага родного дома? То, чему научила их война, теперь, в мирное время, было не только уже не нужно людям, но и становилось опасно для них. Люди должны были возненавидеть их. Им оставалось исчезнуть. Надежнее всего – погибнуть.

Но не так-то просто было погибнуть достойно. Виктор Белаш предложил, договорившись с красными, уходить в Турцию, на помощь Мустафе Кемалю в его борьбе за республику. За этот «чегеваристский» вариант проголосовали человек 750. Махно же предложил уходить через Галицию на запад – чтобы оттуда раздуть пламя нового мятежа на Украине. Его поддержало человек четыреста. На следующий день отряды разошлись: Белаш и Махно расстались навсегда.

Махно решил в последний раз оглядеться: он не верил, что иссякла война, что, как вода в песок, ушли люди, что те, кто еще вчера держал винтовку в руках, – сгинули, развеяны по свету, загнаны страхом в глубокое молчание отчаяния. Он вновь со своими людьми кинулся в сторону верхнедонских станиц – но никто уже на этой опустошенной земле не откликнулся ему. Там, где в 1919 году горело верхнедонское восстание, остались лишь могилы да страх за последних мужиков. Слишком дорогую цену заплатили казаки большевикам за непокорство. Даже легендарного командарма Второй конной Миронова не пожалела большевистская власть, едва только он, вернувшись в родные места, посмел заикнуться, что недопустимо же такое издевательство – «расказачивание»…

В Поволжье нечего было ходить: земля высохла, как порох, в пищу – полынь да человечина… Бросившись на север, Махно достиг пределов воронежских и увидел, что пересохла река Чир, и Дон убавился наполовину, и от крестьян узнал, что Антонов разбит, обе его армии разгромлены Тухачевским, одиннадцать тысяч повстанцев пало убитыми, и нет уже в России места, где бы могли подняться мужики…

И тогда он повернул назад.

Он возвращался в Украину, в свою родную Украину – но и там уже все было по-другому. Села стояли притихшие, смирившиеся с новой жизнью. Он хотел вернуться в 1918 год,

когда все кипело под оккупантами и имя отчаянного молодца Махно звучало, как имя надежды, – но нельзя было вспять… Слишком дорого расплатились люди за прекраснодушные надежды свои! Страна больше не могла воевать. Жизнь целого поколения ушла на войну – а это было, пожалуй, слишком. Но Махно не мог смириться. Он готовился к этой войне всю жизнь. Он по-настоящему, вволю жил только эти вот три года войны. Война все дала ему: любовь, друзей, уважение и признательность людскую, власть… Война приковала его к себе мщением: она убила четырех его братьев, сожгла материнский дом, изломала его тело, испещрила его шрамами, приучила сердце к суровости и беспощадству.

Каким он, в сущности, зеленым – хоть и после каторги – устроителем человечества вернулся в Гуляй-Поле 1917 года! Какое упоение воздухом революции ощутил здесь в минуты своего торжества в 1919-м! Он пришел сюда наивным романтиком, а стал воином. Он остался один: война погубила почти всех его друзей. Он знал, за что они пали, почему не смирились, знал закон битвы: пригни голову – поставят на колени.

Но он знал только свою правду. Он не хотел видеть правду изменившегося времени: выросло новое поколение, которое хотело жить, а не воевать. С тех пор как рекрутов 1914 года позвали на фронт – оторвав от дела, от семей, от детей, – прошло семь лет, и за это время вызрела новая молодость, которая жаждала цветения, ибо таков закон жизни – а он со своей правдой, со своим девятнадцатым годом в сердце встал поперек этого закона.

Он был перестарком, юродом, который был смертельно опасен. Он требовал жить по своей ветхой, ненужной правде—и тут стояла смерть. Он требовал помощи и соучастия себе – но за помощь ему тоже была смерть.

Он нес смерть в себе и больше не был нужен. В этом смысле чрезвычайно показательно свидетельство, приведенное В. Волковинским: после переправы махновцев через Днепр в селе Мишурине крестьяне набросились на них спящих и пытались перебить. Махно был шесть раз задет пулями, но главная, шальная пуля его не нашла.

Но этот случай потряс его до глубины души. Он шел по тем самым местам, где когда-то бился с деникинцами, где полыхало григорьевское восстание… Все изменилось, он был чужой. Иногда встречались ему группки бандитов, закосневших в злодействе, с порыжевшими обрезами – уверяли, что будут ждать. Но их было мало. Большинство людей – кто мог – вернулись к обычной

трудовой жизни. Был поздний август. Люди убирали урожай 1921 года – первый после войны. И неторопливые реки с пленительными украинскими названиями текли из вечности в вечность…

Река Сугаклея уходит в камыш,
Бумажный кораблик плывет по реке…
Качается, ветер в песке шелестит
И все навсегда остается таким…

Но он не видел реки Сугаклеи, не видел Украины детства Арсения Тарковского (хотя они совпадали во времени), как не видел Миргорода и Диканьки Гоголя, где оставил лишь убитых да стреляные гильзы, – у него были свои меты на этой земле. Он уходил – его гнали (была применена обычная тактика преследования автоброневиками и летучими отрядами); ему казалось, что он вырывается из пространства, а на самом деле он рвался из времени. Человеку трудно жить по хронографу неторопливых равнинных рек – его время ломко, прерывисто, быстротечно. Человек может выпасть из времени, отстать от него и больше никогда не угнаться за своими современниками, навеки сделаться чужим для них. Это случилось с Махно…

Утром 20 августа остатки махновцев, безостановочно преследуемые красным истреботрядом, случайно влетели в расположение первой кавбригады 7-й кавдивизии: в оборванных, заросших щетиной бандитах, на лошадях, вполовину без седел, навряд ли могли узнать бойцы седьмой кавдивизии своих соратников по взятию Крыма. Да и вряд ли оставались в рядах дивизии бойцы, которые в ноябре двадцатого попустили корпусу Каретникова уйти из окружения под Евпаторией. Это было другое поколение, двадцатитрехлетние, молодежь. Однако ж красные мальчики внезапной встречи с яростным прошлым не вынесли – и бросились врассыпную. А махновцы, захватив у них 25 тачанок, ушли дальше, на Новый Буг.

Бригада потом собралась и вместе с истреботрядом пустилась в погоню, но все-таки прямого боя с «дикарями», похоже, никто не желал – «настигали» их, как правило, на переправах, когда плывущие через реку люди были практически беззащитны.

Случалось, по пути партизаны подбирали листовки: «Махно убит». Убит! – они хохотали над этой бессмысленной ложью, угадывая за нею испуг и вечную большевистскую врунявость. Ничто не могло причинить им большей радости, чем эти лживые листовки, подтверждающие, что они еще страшны, что только их смерть избавит врагов от страха.

22 августа на переправе через реку Ингул махновцев настиг истреботряд и в воде безнаказанно расстреливал, как дичь, на выбор. Махно был ранен в голову пулей, которая ударила его чуть ниже затылка и вышла, разорвав правую щеку от уха до самого рта, отчего на весь остаток жизни раскраивал лицо его рубец, как от сабельного удара. На ингульской переправе погибло человек сорок, среди них – Тарановский и Петренко, немногие из уцелевших еще старых товарищей. В живых осталось еще человек семьдесят. Преследовал их в последние дни совсем небольшой отряд с одним автоброневиком. Красные, по-видимому, тоже понимали: уходят. Не надо особенно мешать.

После 19 августа в постоянном совещании по борьбе с бандитизмом при Совнаркоме Украины уже не слушались доклады по махновщине, хотя в 1921 году именно Махно в основном были посвящены 32 его заседания.

Ранним утром 28 августа махновцы достигли Днестра. Над рекою клубился туман. За пеленою его была Бессарабия, тогда румынская – берег спасения, который для самого Махно станет лишь первым причалом ненавистной чужбины.

О переправе махновцев через Днестр ходят различные слухи: наиболее фантастическая версия описывает переправу на лодках гроба с телом якобы мертвого Махно, убранного согласно похоронному обряду какой-то секты…[30] В. Волковинский описывает короткую – на лету – стычку, опрокинувшую заставу пограничников возле Камянки, когда махновцы из последних сил рванулись – уже не обращая внимания на раненых, цеплявшихся за колеса тачанок…

Наиболее достоверным все же кажется рассказ, который поведала внучатому племяннику Махно В. И. Яланскому, Галина Андреевна, жена батьки, когда в 1976 году она была в Гуляй-Поле. Он безыскусен, в нем нет ничего надуманного, ничего «героического»: ранним утречком 28 августа у Днестра махновцы наскочили на пограничный разъезд. Сориентировались мгновенно: благо, одеты все были в гимнастерки, красноармейские буденновки и фуражки. Не замедляя хода, помчались к пограничникам. «Зачем вы нас вызывали?!» – громко крикнул Левка Задов с тачанки. «А мы не вызывали вас», – удивленно ответил взводный. Пока произносились эти две фразы, пограничники были окружены. Сопротивляться им не было никакого смысла: разъезд был человек двенадцать, махновцев – семьдесят восемь.

Днестр – бурливая река. Один из пограничников показал, где можно переправиться.

Галина Андреевна – «она ведь любопытная была…» –

спросила парня, как хоть его звать, чтобы помянуть потом добрым словом. Он сказал фамилию. Она запомнила на всю жизнь: Олексенко.

Оружие красноармейцев забрали все с собой, чтоб не стреляли в спину. Левка Задов помог перебинтованному батьке слезть с тачанки и войти в реку, держась за седло. Конь вошел в воду. Левка поплыл рядом. Какая-то дальняя застава вроде бы пыталась стрелять по ним, но безуспешно…

На румынском берегу их встретил разъезд. Опять же Левка объяснился: так, мол, и так, мы эмигранты, просим у вас убежища…

У хлопцев сразу забрали оружие. Нестор свой пистолет отдал, Галина – свой, хоть ее и не обыскивали как жену командира. И тут же она скинула свою юбочку-спидницу – мокрая же стала, через реку пока плыла, – и аккурат приехал начальник их заставы. «О, – говорит. – Среди вас женщина?» Попросил назваться. Назвались.

– Вы прошли славный путь…

На заставе их накормили, дали выпить. Потом сдали властям. А власти, не долго разбираясь, – за дощатый забор, в лагерь для интернированных.

Через день к месту происшествия прибыл главнокомандующий войсками Украины и Крыма М. В. Фрунзе. Вроде бы долго стоял, глядя на противоположный берег. 21 сентября газета «Коммунист» напечатала его слова: «Факт перехода в Бессарабию махновской банды установлен мною при посещении приграничной полосы» (12, 217).

Для Фрунзе этот вариант был, пожалуй, наилучшим из всех возможных. Махно стоил ему столько нервов, что, пожалуй, какая-то болезненная, губительная ненависть стала привязывать его к этому человеку (помните неотступно глядящую на него фотокарточку врага в вагоне бронепоезда?). Поистине, эта роковая страсть могла серьезно поколебать его психику, и в другой раз – случись она, – встреча Махно и Фрунзе, двух заклятых врагов, могла бы закончиться роковым образом – гибелью обоих. Теперь эта опасность миновала. Враг ушел. 25 октября 1921 года Фрунзе, после более чем годичного отлучения, был, наконец, лично принят Лениным.

В июле того же двадцать первого года, когда в Москве проходил очередной парадный съезд – на сей раз Профинтерна, – тринадцать анархистов в таганской тюрьме объявили голодовку, требуя либо осудить их открыто, либо, если судить не за что, выпустить. История с голодовкой стала известна делегатам конгресса на десятый день, во избежание международной огласки

анархистов выпустили из тюрьмы. На всякий случай предложили уехать за границу. Тех, кто не последовал этому честному предупреждению, потом погубили. Уехавшие остались в живых. Среди них был Всеволод Волин, бывший председатель Реввоенсовета Повстанческой армии. Перед отъездом он пришел проститься с братом – будущим известным литературоведом Борисом Эйхенбаумом. Братья проговорили всю ночь. В этом разговоре промелькнула – и врезалась в память Бориса (и так уцелела) поистине замечательная фраза брата Всеволода, которую, по совести говоря, следовало бы сделать обязательным эпиграфом к каждой книге, посвященной Махно: «Не верьте ни одному слову из того, что вам будут рассказывать о махновщине…»

В ИЗГНАНИИ. РУМЫНИЯ, ПОЛЬША, ДАНЦИГ

Всеволод Волин, будучи высланным, обосновался в Германии, представлявшей тогда широкий простор для эмигрантов всех мастей: политические деятели, литераторы, художники – все оседали здесь, даже если потом им суждено было двинуться далее – во Францию или за океан. Махно же оказался в королевской Румынии, связанной с Советской Россией Рижским мирным договором (по нему Румыния обязалась освободить Бессарабию, но, не выполнив этого обязательства, продолжала тянуть дело на свой страх и риск, воздерживаясь от дипломатических отношений с РСФСР). В этом смысле Румыния не была убежищем ни желанным, ни даже надежным. Военное вторжение советских войск не случилось в 1919 году только благодаря мятежу атамана Григорьева, войска которого, по замыслу красных, и должны были поднять на штыки последнюю захудалую монархию Гогенцоллернов, так что к бывшей Российской империи, ставшей государством рабочих и крестьян, в Румынии относились настороженно. Опасались здесь и революции – в этом смысле страна была не только не либеральной, но прямо враждебной всякой революционности. Именно поэтому повстанцы Махно, о которых румыны толком ничего не знали, были для начала обезоружены, потом погружены в вагон и отвезены сначала в Рашков, потом в Бельцы и, наконец, в Брашов, где был лагерь для интернированных.

Однако прибывшие, как оказалось, небезразличны Стране Советов. Вскоре после того как горстка переодетых головорезов пересекла границу королевства и была расселена в бараках, советский комиссар по иностранным делам Чичерин и председатель совнаркома Украины Раковский, несмотря на то, что между РСФСР и Румынией не было дипломатических отношений, отправили телеграмму румынскому премьеру генералу Авереску. В телеграмме сообщалось, что перешедшая на территорию Румынии группа является группой бандитов, вследствие чего русское и украинское правительства обращаются к румынскому правительству с просьбой выдать как обычных уголовных преступников главаря упомянутой банды и его сообщников. (94, 305). Чичерин рассчитывал, видимо, на то, что румынам в любом случае не до Махно и уж во всяком случае не до «бандита». Признание его политическим противником обрекло бы просьбу о выдаче на провал. Однако генерал Авереску не

спешил выполнять требование Советов: он был не дурак и понимал, что не всякий раз министры иностранных дел и главы правительств проявляют заинтересованность касательно «обыкновенного бандита».

В телеграмме от 27 сентября 1921 года генерал Авереску ответил Чичерину: «Я получил вашу радиограмму от 17 текущего месяца и не могу согласиться ни с ее формой, ни с ее содержанием. Если преступники действительно нашли прибежище на территории румынского королевства, ваши власти могут требовать выдачи этих людей, и, хотя между нашими странами не существует договоренности на этот счет, румынское правительство могло бы, на взаимной основе, дать ход подобному ходатайству. Но в таком случае следовало бы действовать в соответствии с нормами международного права, иначе говоря, следовало бы отправить постановление об аресте, исходящее из соответствующего юридического органа, в котором были бы перечислены статьи уголовного кодекса, вменяемые преступникам. Более того, следовало бы дать детальное описание преступников. В связи с тем, что в Румынии отменена смертная казнь, необходимо, кроме того, чтобы вы в официальном порядке заявили, что наказание смертью не будет применено к выданным лицам. Когда эти условия будут выполнены, румынское правительство изучит дело бандита Махно и его сообщников и вынесет решение, будет ли дан ход вашей просьбе об их выдаче» (94, 306).

Чичерин выказал признаки нервозности – к черту это международное право! Только как убедить в этом болванов-румын? Он пытается сдержать эмоции, но это не удается ему. «Российское и украинское правительства считают, – телеграфировал он 22 октября, – что формальные процедуры имеют второстепенное значение и полностью теряют смысл перед фактом, что банда преступников, которые в течение долгого времени терроризировали мирное население Украины, нашла убежище под покровительством румынского правительства…» (94, 307).

Очевидно, что Махно не мог быть посвящен в тонкости этого дипломатического обмена мнениями. Однако что-то наверняка стало известно ему, потому что очень скоро по прибытии в лагерь он оставляет своих товарищей почивать на нарах и есть мамалыгу, а сам вместе с Галиной Кузьменко и братьями Задовыми отправляется в Бухарест для осуществления довольно-таки рискованной миссии – связаться с представителями петлюровского штаба и с их помощью подготовить переход своих людей в Польшу. В Бухаресте им удается найти жилье, но не

деньги. В конце концов Лев и Даниил Задовы покидают батьку и добровольно отправляются обратно в лагерь – там, по крайней мере, хоть есть давали. Махно (не зная ни одного языка, кроме русского и украинского) тем не менее разыскивает в румынской столице петлюровцев и просит дать ему возможность встретиться с представителями штаба Петлюры, чтобы обсудить возможности совместных действий по освобождению Украины от ее врагов (94, 308). В конце концов Махно получил приглашение в резиденцию петлюровцев в Бухаресте, чтобы поговорить об интересующем предмете с дипломатическим представительством петлюровского штаба, расположенным тогда в Варшаве. Махно сказал, что повстанческих сил, которые действуют сейчас от Дона до Воронежа, недостаточно, чтобы сопротивляться специализированным отрядам Красной армии: вот почему он пришел к выводу о необходимости совместных действий с петлюровцами.

Батька блефовал. В действительности махновцы никогда не сотрудничали с петлюровцами и прекрасно знали, какая пропасть их разделяет. Однако он понимал и то, что партизанам не на что рассчитывать в Румынии, что только благоприятное стечение обстоятельств до поры до времени уберегает их от выдачи красным и что их единственный шанс состоит в союзе – пусть временном и вынужденном обстоятельствами – с Петлюрой. Их собеседник в Бухаресте не дал себя одурачить и в своем рапорте петлюровскому «правительству» советовал «полностью покончить с этим движением и его верхушкой, после чего оставшиеся могут быть влиты в националистическое движение Украины» (94, 310). Однако Махно получил, по-видимому, заверения в самых благих намерениях, ибо он начинает вызывать к себе из лагеря повстанцев, прося их предварительно обзавестись оружием. Иван Лепетченко, вместе с Махно ушедший в Румынию, полтора месяца (то есть сентябрь и половину октября) служил у помещика в городе Плоешти, после чего получил из Бухареста от Махно записку, в которой говорилось, чтобы он разжился у своего хозяина оружием и приезжал в Бухарест в личное распоряжение Махно. Лепетченко «забрал болгарский наган» (93, 107) и приехал в Бухарест. Махно там тоже заимел браунинг и чувствовал себя относительно свободно. Очевидно, петлюровцы пообещали ему «провести» его в Польшу по своим адресам, ибо батька предпринял попытку самостоятельно перебраться через границу, чтобы достигнуть главного штаба Петлюры. У границы его разведчик попал в засаду (видимо, не случайно); вместе с ним исчезли бумаги с адресами явок, пользуясь которыми, можно было перейти границу, и Махно вынужден был вернуться в

Бухарест.

Тем временем дипломатические переговоры о Махно на высшем уровне продолжались. Делом Махно занялся министр иностранных дел Румынии Таке Ионеску. И хотя он принципиально не был противником выдачи повстанцев, он, однако, желал, чтобы все осуществлялось по закону (телеграмма 29 октября). Чичерин поспешил воспользоваться этим, чтобы выдачу Махно сделать условием нормализации отношений между Румынией и советскими республиками. Он написал, что вопрос о Махно является сейчас более принципиальным для нормализации отношений между Румынией и Советами, чем территориальный спор о Бессарабии, которая была спорной территорией между Румынией и страной Советов с марта 1918-го. Такая постановка вопроса привела румын в полное замешательство. С одной стороны, им хотелось соблюсти свои территориальные интересы – то есть добиться за Бессарабией признания бесспорной румынской территорией, с другой – кто такой Махно, если за него Советы готовы пожертвовать столь многим? Не продешевят ли они, выдав его, и не потеряют ли международное лицо? Первым делом они обратились за разъяснениями о Махно к петлюровцам, которые занимали в Румынии видное положение. Петлюровцы объяснили румынам, кто такой Махно, но заметили, что повстанцы очень скрытны, ничего не говорят о своих силах, планах и намерениях, а также о причинах, которые заставили их покинуть Украину (94, 309).

Румыны медлили с ответом. Чичерин нервничал. Переговоры с Румынией, несмотря на самые щедрые посулы, не дали никаких результатов. Тогда Чичерин специально отправил в Варшаву своего представителя Карахана – для того, чтобы тот мог здесь встретиться с представителями румынского правительства и во всех деталях обговорить вопрос о выдаче Махно. Румыны истолковали всё это в том смысле, что Махно – политический противник большевиков, имеющий влияние в рядах крестьянства, и вероломная выдача его, в случае возможных военных действий, создала бы им дополнительные проблемы с недружелюбно настроенным населением. Возможно, они даже взяли бы Махно под свою опеку, но тут Лепетченко со своим браунингом попался за незаконное хранение оружия. Его посадили на четыре месяца в тюрьму, откуда он бежал опять на квартиру батьки в Бухарест. Часть махновцев уже перебралась туда же, нищенствуя и занимаясь разоружением румынских полицейских для того, чтобы добыть оружие. Такие беспокойные питомцы были королевству не нужны.

О переходе Махно через польскую границу ходит много

слухов (один из них повествует о том, что бывшие повстанцы захватили машину или, скорее, автобус – ибо какая машина увезет 17 человек? – и попросту проскочили польские пограничные посты). Но поскольку вряд ли кто-то из повстанцев умел водить машину, нам придется принять какую-нибудь менее романтическую версию. Скажем, о том, что румыны решили просто-напросто «выслать» махновцев в Польшу. Поляки тоже не горели желанием их принимать и отправили обратно в Румынию. В течение одной апрельской ночи 1922 года ситуация повторялась несколько раз, пока, наконец, пограничные власти не уладили вопрос, и Махно с женой и семнадцатью повстанцами не оказался на польской территории.

Что же стало с теми, кто остался? Ведь Днестр в августе 1921-го вместе с Махно перешли больше семидесяти человек… Можно предположить, что они, подобно Лепетченко, работали батраками у помещиков или, как братья Задовы, ворочали бревна на лесопилках. В любом случае, уделом их в чужой стране стала тяжкая работа, которая едва-едва кормила их.

В 1924 году румынская сигуранца создала террористическую группу для переброски ее в СССР. Л. Н. Зиньковский-Задов согласился эту группу возглавить. Переправившись через Днестр, Левка воскликнул:

– Ребята, ну его к черту, этот террор. Пошли сдаваться… (93, 91).

Несколько месяцев братья Даниил и Левка просидели в тюрьме Одесского ГПУ, давая показания. После этого оба они были устроены… в то же ГПУ. Ходили слухи, что милость гэпэушников Задов купил, выдав им места, где были захоронены махновские сокровища. На новой службе Лев Задов сделал неплохую карьеру, став полковником госбезопасности. За то время, что он занимался контрразведкой, одна за другой выходили книги, в которых его по неведомо откуда взявшейся традиции называли главой контрразведки махновцев, садистом и палачом. Он ни словом не отвечал на эти оскорбления. С прошлым было покончено. Писатели могли выдумывать что угодно. Он не был на виду и вел совсем другую жизнь. В его послужном списке – благодарности, денежные премии, награждения именным боевым оружием.

В 1937-м его взяли, обвинили в связи с иностранными разведками, прежде всего с румынской. Левка все отрицал. Несмотря на лихой 1937 год, следствие не смогло предъявить Особому совещанию НКВД СССР никаких обвинительных материалов. Тогда следователь Яков Шаев-Шнайдер применил к Зиньковскому «особые методы». Под пытками Левка сознался, что

работал на румынскую и английскую разведки. Это признание было равносильно смертному приговору. Разумеется, Лев Зиньковский об этом знал.

* * *

12 апреля 1922 года Нестор Махно с женой и горсткой товарищей вновь оказался в лагере для интернированных. На этот раз в Щелково – на территории Польской республики. В Польше, совсем недавно пережившей войну с Советской Россией, причем войну, неожиданно закончившуюся для поляков победой, несмотря на то, что Первая конная едва не взяла Варшаву, превосходно чувствовали себя петлюровцы, штаб которых действовал в полном согласии со штабом Войска Польского, но у батьки не было и тени сомнения, что для поляков революционеры любого толка, в том числе он и его люди, – приобретение весьма сомнительной ценности. Поэтому, не вступая больше ни в какие переговоры с петлюровцами, к которым он, по видимости, так «стремился» в Румынии, он отправляет во все польские официальные инстанции письма с просьбой выпустить его на жительство в Чехию или в Германию. Такие письма были направлены в министерство иностранных дел, главе республики маршалу Юзефу Пилсудскому, руководству польской социалистической партии и т. д. Увы, все двенадцать писем остались без ответа. Впрочем…

Впрочем, в этом деле быстро обнаружилась сторона, которая проявила к повстанцам пристальный интерес: разумеется, это была Страна Советов.

30 июня лагерь для интернированных в Щелково посетила советская комиссия по репатриации. Четверо махновцев, целый год уже отирающие лагерные нары, обратились к батьке с просьбой не препятствовать им вернуться на родину. Махно пошел к комиссару лагеря просить, чтобы этих четырех перевели в барак для уезжающих. Комиссар лагеря неожиданно отказал. «Ни вам, – заявил он, – ни вашим людям уезжать нельзя. Если же вы будете на этом настаивать, к вам будут применены репрессии…» («Американские известия», 12 декабря 1923 года). Репрессии… Почему? На каком основании? Почему желающие не могут покинуть лагерь? Странно… 18 июля Махно послал в Варшаву, в министерство военных и внутренних дел жену, Галину Кузьменко, – лично хлопотать о выезде из Польши. В министерстве внутренних дел она добилась приема у некоего Желиховского, начальника по делам интернированных, и в ответ

на просьбу разрешить находящимся в лагере покинуть Польшу она опять услышала угрозы: «Ждите. Придет время, ваше дело будет рассмотрено, тогда и видно будет, как с вами поступить. Мы не можем отпустить вас безнаказанно, ибо от вашей деятельности в России пострадали польские подданные».

У Махно было достаточно опыта, чтобы не воспринимать сказанное как ошибку (ну в самом деле: какие «польские подданные» пострадали от махновцев, если за всю Гражданскую войну они видели только одного – польского анархиста Казимира Теслара, да и тот принят был в Гуляй-Поле со всей душой?). Нет, это явно было давление, которое, очевидно, должно было побудить Махно к каким-то действиям. К каким? События не заставили себя долго ждать. Вскоре в Щелково приехала еще одна комиссия, но на этот раз ее составляли офицеры польской контрразведки (дефензивы) – майор Шарбсон и лейтенант Блонский, – в задачу которых входило убедить Махно остаться в Польше и рассмотреть кое-какие предложения дефензивы. «Ну зачем вам уезжать из Польши? – прямо обратился к Махно Блонский. – Чехия – это подлая страна, она вас выдаст большевикам. А Германия – это опять большевики. Вы оставайтесь у нас. Только станьте на платформу УНР (петлюровская республика) и у вас все будет хорошо». Махно решительно отказался.

После этого отношение к нему властей резко изменилось. Был ужесточен лагерный режим содержания махновцев; к бараку, где жил Махно, приставили несколько человек часовых, на окна надели решетки и замки, регулярно часовые врывались в помещение для проверки. Стоило, черт возьми, стремиться из Румынии в Польшу, чтобы угодить здесь чуть ли не в тюрьму! В один из таких пустых, «тюремных» дней у Махно состоялся разговор с Яковом Красновольским. Вернее сказать, Красновольский, один из собратьев по заключению в лагере, пришел к Махно с предложением обратиться не к полякам, а в советское консульство с просьбой о помиловании, в обмен на обещание возглавить крестьянское движение среди украинского населения Восточной Галиции (ныне – Западной Украины) с тем, чтобы отторгнуть эту территорию от Польши.

Красновольский не был махновцем. Он пристал к батькиным людям еще в Румынии, неоднократно пытался войти в доверие к Махно, испрашивая у него поручения, но успеха не имел. Батька был человек подозрительный, и чрезмерно предупредительное поведение Красновольского только усиливало его подозрительность. Батька чуял в нем провокатора. Однако для столь сурового обвинения, которое в среде махновцев обычно

каралось смертью, у батьки не было достаточного основания. Позднее он писал в письме Жану Граву, что в тот раз решительно отказал Красновольскому, сказав, что «не может вступать ни в какие серьезные переговоры с большевиками, покуда все анархисты и махновцы, заключенные в российские тюрьмы, не будут освобождены» (94, 311). Вероятно, это была отговорка: Махно должен был прекрасно понимать, что большевики ни при каких обстоятельствах не будут иметь с ним дела, и единственное, что им еще нужно от него, – так это его голова.

Красновольский, несомненно, был провокатором Москвы. Впоследствии выяснилось, что в Польше он был завербован и польской дефензивой. В этом была своя логика. Потеряв надежду добиться от поляков выдачи Махно дипломатическим путем (Польша, враждебно настроенная по отношению к Советской России, не склонна была вести с нею переговоры), большевики запустили механизм провокации, надеясь, что преступные намерения Махно (восстание в Галиции!) возмутят поляков и заставят их выдать Махно Москве. Правда, большевики не учли, что и сами поляки не прочь посчитаться с Махно за несговорчивость и в этом смысле могут, не выдавая батьку, придумать для него какое-нибудь другое наказание.

Так или иначе провокация была запущена. Махно не попался на уговоры Красновольского сразу и, возможно, поразмыслив, все же вывел бы его на чистую воду, но в ночь со 2 на 3 августа 1922 года Красновольский совершает «побег» из лагеря в Щелково, добирается до Варшавы, тут «попадается» в руки дефензивы и чистосердечно рассказывает о том, что он с планшетом шифрованных документов был послан Нестором Махно к советскому дипломатическому представителю в Варшаве Максимовичу. Поскольку письма были написаны обычным шифром, который Красновольский мог знать, так как Махно всегда использовал его, переписываясь с другими повстанцами и друзьями за границей, расшифровать перехваченные «документы» не составило труда. В них, как легко догадаться, содержался план восстания в Восточной Галиции с целью отторжения ее от Польши в пользу Советской Украины. Налицо было готовое «дело». Вскоре все махновцы, содержавшиеся в Щелковском лагере, были схвачены и переведены в Варшавскую тюрьму. Спустя полгода большая часть их была отпущена. Перед судом должны были предстать лишь четверо – Н. Махно, И. Хмара, Я. Дорошенко и Г. Кузьменко, несмотря на то, что в тюрьму она попала на последних месяцах беременности. Процесс против них готовился 13 месяцев. За это время Галина Кузьменко 30 октября 1922 года родила дочь Елену (Люси). За все время предварительного

заключения Махно смог увидеть жену и дочь лишь однажды (94, 312).

Заключение батьки в тюрьму наделало шума во всей анархической печати. Впервые его имя замелькало на страницах всех проанархистски настроенных изданий. Аршинов, обосновавшийся в Берлине, спешно готовил издание «Истории махновского движения» на русском языке, после того как она появилась на немецком, французском и испанском. О Махно писали «Американские известия», объявившие сбор пожертвований в пользу интернированных в Польше и Румынии махновцев (было собрано 1476 долларов). Непосредственно перед судом о Махно вновь писали анархические газеты всего мира, в его поддержку выступили Рудольф Рокер, Себастьян Фор, Луи Лекуан, Александр Беркман, Эмма Голдман и другие уважаемые люди «черного интернационала». В Польше бил в набат польский анархист Казимир Теслар. Все боялись, что Махно будет выдан России, где легко было предсказать судьбу, которая его ожидает. Болгарские анархисты открыто грозили взорвать несколько польских посольств в разных странах мира (94, 313).

Небезынтересно, что выпущенный с другими повстанцами на свободу, Иван Лепетченко, сын убитого анархотеррористами в 1907 году гуляйпольского пристава Лепетченко, а потом верный телохранитель Махно, – немедленно начинает подготавливать план побега своего атамана из тюрьмы. Не зная польского языка, он тем не менее связался с польскими анархистами (очевидно, через Казимира Теслара), нашел взрывчатку, оружие, людей, готовых пойти с ним на это рискованное предприятие. Налет на тюрьму вполне мог бы закончиться удачно, но Лепетченко получил записку от Махно, что дело следует отменить. Махно уже проникся уверенностью, что международный скандал в прессе был устроен не напрасно и судьям нелегко будет засудить его. В варшавской тюрьме он изучал эсперанто (модный в ту пору «универсальный язык», с которым, как он полагал, ему легче всего будет обойтись в разных странах, куда ему суждено будет попасть) и – что для нас несомненно важнее, – впервые начал писать мемуары. Именно в Варшаве им были написаны «Записки», благодаря которым мы можем составить себе хоть какое-то представление о раннем детстве и юности Махно.

* * *

Суд по обвинению Махно в организации восстания в Восточной Галиции и присоединения последней к

большевистскому государству состоялся 27 ноября 1923 года. Председателем суда был судья Гжибовский, помощниками которого были судьи Рыкачевский и Ясинский. Обвинителем по делу был помощник прокурора Вассербергер. Защитниками – адвокаты Рудзинский, Пасхальский и Стжалковский. Хотя «дело Махно» стряпалось на протяжении тринадцати месяцев, в руках обвинения не было других доказательств виновности подсудимых, кроме документов, перехваченных польской дефензивой у Красновольского в августе 1922 года.

На суде эксперты-каллиграфы представили заключение, что документы эти поддельные, несмотря на примененный при их написании «махновский шифр». Лишь одно письмо было написано почерком, сходным с почерком Галины Кузьменко, но все без исключения подписи – и самого Махно, и его жены – были грубой подделкой. Совершенно ошарашенный неожиданным поворотом судебного разбирательства, Махно, по сообщениям польских газет, часто брал слово для разъяснения, подчеркнул, что в разгар советско-польской войны отказался послать руководимую им Повстанческую армию на польский фронт и никогда ничего не замышлял против Польши. В своем последнем слове Махно сказал, что перешел границу Польши, надеясь найти гостеприимство у братского славянского народа. «Но произошла большая историческая ошибка, и я оказался на скамье подсудимых, – заключил Махно. – Я убежден, что ошибка будет исправлена».

«В 10 часов вечера, – сообщали „Американские известия“ 26 декабря 1923 года, – был объявлен оправдательный вердикт, который… явился полной неожиданностью как для публики, так и больше всего для самих обвиняемых. Они радостно пожимали руки своих защитников… Махно охотно вписывал свое имя в альбомы, которые подносились из публики…»

Правда, после вынесения оправдательного приговора злоключения Махно не кончились. Целый месяц он прожил под надзором полиции в городе Торунь, пока польские власти решали, куда бы его определить. Рядом с ним по-прежнему был верный телохранитель Иван Лепетченко, который устроился работать сапожником. И лишь когда в конце 1923 года Махно получил визу в Данциг (в то время – немецкий «вольный город» в устье Вислы), Лепетченко вернулся в Варшаву. Делать на чужбине ему было нечего, но тут он был быстренько арестован по вздорному обвинению в подготовке взрывов артиллерийских складов вместе со старым товарищем Черняком. Выпутавшись из лап дефензивы, Лепетченко понял, что жизни в Польше ему не будет, и обратился в советское консульство с просьбой разрешить

ему выехать на Украину. Шел уже 1924 год. Советский консул сказал ему, что сможет помочь, если Лепетченко ему расскажет о настроениях среди польских анархистов, проживающих в Варшаве. Что было делать? В конце концов настроения – они и есть настроения. Своим рассказом Лепетченко никого не закладывал. Но в результате желанное разрешение вернуться на родину было получено. В Славуте Лепетченко был встречен старым знакомым Иосифом Тепером и еще одним сотрудником Харьковского ГПУ. Он нужен был чекистам для основательной проработки…

* * *

С отъездом в Данциг, однако, злоключения Махно не кончились. Напротив, в некотором смысле ему стало даже сложнее – жена с дочерью уехали прямиком во Францию, старые повстанцы осели кто в Румынии, кто в Польше. Он был один в большом незнакомом городе, вдалеке от русских анархистов-эмигрантов, без денег, предоставленный самому себе.

К тому же Москва не оставила попыток залучить к себе Махно: в один прекрасный день к нему явились несколько человек, назвавшихся представителями торгпредства, и предложили ему вернуться в Россию под торжественную гарантию советского посольства в Берлине. Махно ответил, что не может принять решение, не повидав своих товарищей-анархистов, которые жили тогда в Берлине (Волин, Аршинов, Беркман, Рокер). Очевидно, он хотел воспользоваться автомобилем «представителей советской торговли», чтобы, достигнув Берлина, бежать к «своим». Представители торгпредства согласились. Вместе с одним анархистом, которому тоже необходимо было пробраться в Берлин, Махно выехал из Данцига. Однако дорогой он, возможно, вспомнил слова лейтенанта польской дефензивы Блонского о том, что в Германии большевики чувствуют себя, как дома, и стал думать, как обезопасить себя от элементарного увоза. Ничего толкового не придумав, перед тем как пересечь германскую границу, Махно заявил, что в Берлине он готов говорить лишь с одним человеком – советским послом Крестинским, и при этом не на территории посольства, а где-нибудь на нейтральной территории. Если представители торгпредства были чекистами – а они, безусловно, были ими, – то они были чекистами неопытными. План увоза Махно, по-видимому, не был проработан в деталях, разговор с послом и с друзьями анархистами не был в нем предусмотрен (хотя,

разумеется, Крестинский мог дать Махно любые заверения в его неприкосновенности, чтобы доставить его живого и невредимого заинтересованному в нем ведомству). Вообще, весь план похищения Махно был, похоже, сработан «на авось» и далеко отличался по продуманности от плана «выманивания» Савинкова (1924) чекистом А. П. Федоровым. Так или иначе, после заявления Махно представители торгпредства почему-то занервничали (может, боялись упустить батьку и получить за это нагоняй по своей чекистской линии?), развернули машину и вернулись в Данциг, где сдали Махно прусской полиции.

В ноябре 1924 года он, таким образом, снова оказался в тюрьме по обвинению в погромах немецких колонистов на Украине в 1918 году. Поистине, Махно с момента своего перехода на румынскую территорию ступал из огня да в полымя. И если в Польше его пытались засудить по полностью сфабрикованному делу, то в Данциге, находившемся под германским протекторатом, все могло обернуться иначе: ведь колонистов махновцы жгли беспощадно, а кроме того, ничего не стоило вменить ему в вину партизанские действия против германской армии…

По поводу очередного заключения Махно в тюрьму «Американские известия» (12.11.1924) с сарказмом писали: «В „вольном городе“ Данциге… местными властями арестован Нестор Махно. В то время как признанные немцами и властями большевистские агенты свободно передвигаются из страны в страну, Махно, боровшемуся с большевиками и их ярому противнику, не дают визы на въезд в Германию… Где бы ни появлялся Махно, за ним неотступно следуют большевистские агенты и всячески стараются под разными предлогами натравить против него местные власти… Вместе с тем большевистские агенты пытаются вести с ним „миролюбивые переговоры“».

К счастью, на этот раз до суда не дошло. Здоровье Махно ухудшилось, и из тюремной камеры он был переведен в госпиталь. Здесь он быстро оправился и, связавшись с местными анархистами, с их помощью бежал из тюремной больницы. Побег удался – но сам Махно отныне оказался на нелегальном положении. Теперь ему предстояло каким-то образом выбраться из «данцигской мышеловки», чтобы присоединиться к старым товарищам по борьбе. Он рассчитывал на их помощь. Прежде всего на помощь Волина, который получил 75 долларов от украинского анархиста, проживающего в Америке, которых с избытком хватило бы на переезд Махно из Данцига в Берлин. Волин, который сам жил в крайней бедности с женой и пятью маленькими детьми, истратил эти деньги на собственные нужды.

Данцигские анархисты написали Волину, что медлить нельзя, что положение Махно на конспиративных квартирах таково, что его в любой день могут схватить и препроводить в тюремный замок, откуда никакой побег уже невозможен. Неожиданно Волин ответил, что отказывается от этого дела.

«Дорогой дедушка, вы пишете, что отказываетесь от ведения порученного вам организацией дела помощи мне выбраться из Данцига, – яростно отписал Махно Волину. – Я просить вас не буду. Мне очень надоело слышать от вас обещания и невыполнение. Уходите к черту от дела. Но пришлите мне 75 долл., которые тов. Карнук прислал на ваш адрес для меня из Северной Америки…» (55, 224). Махно сидел на нелегальных квартирах уже больше месяца, когда, наконец, Волин (правда, без обещанного Махно паспорта) прислал в Данциг немецкого анархиста-индивидуалиста из Гамбурга, который сам жил на нелегальном положении и мечтал пробраться в Берлин. У этого нелегала было 300 марок золотом, которые он по наивности или неосторожности отдал капитану катера, который должен был доставить их в порт Штетин. Капитан в первую же ночь пропил эти деньги, а наутро отказался от своих обещаний. Измученный этими проволочками, Махно решил уходить из Данцига пешком и перейти границу нелегально. Вместе с ним ушел один немецкий анархист и посланный ему Волиным на помощь индивидуалист. Как ни странно, этот дерзкий план удался, и вскоре Махно был уже в Берлине среди своих товарищей из России и других анархистов, которые были здесь: Рудольф Рокер, Уго Фиделли, Александр Беркман и другие. В Германии Махно мог вновь, как и в Данциге, подвергнуться преследованиям как партизан, активно действовавший против германских войск и немецких колонистов в 1918 году. Поэтому он воспользовался помощью Давида Полякова, русского анархиста, живущего во Франции, и в апреле 1925-го, выправив паспорт на фамилию Михненко (94, 317), перебрался в Париж, где ему, по крайней мере, не грозила опасность от властей.

ПАРИЖ: ПОСЛЕДНЕЕ ПРИСТАНИЩЕ

Итак, Махно в Париже! Здесь ему не грозила опасность ни от белых, ни от красных, здесь были его друзья и семья. Первоначально Махно с семьей приняла близкая к анархистским кругам Мэй Пиккерей, у которой всегда «наготове был горячий суп и кофе» для друзей, попавших в беду. У нее маленькая семья Махно нашла временный кров, и, кроме того, хозяйка вверила батьку услугам знакомых врачей, ибо здоровье его было расшатано тюрьмами и долгими беспокойными странствиями. Французские анархисты тоже хорошо приняли Махно, о котором узнали из книги Аршинова и публикаций в анархических изданиях.

Однако идиллия продолжалась недолго. Махно не мог все время жить по гостям, хотя за год он сменил несколько дружеских квартир, покуда французский анархист Фюш не отыскал ему маленькую однокомнатную квартирку в Венсенне, тогдашнем пригороде Парижа, на улице Жарри,18, куда семья и переехала в июне 1926-го. Квартира была недорога, но, как бы то ни было, за нее нужно было платить. А значит – работать. А как найти нормальную работу, не зная французского языка? Ида Метт в своих воспоминаниях пишет, что Махно так и не овладел французским, и, во всяком случае, его язык был так плох, что он не мог объясняться без переводчика даже с иностранными друзьями. Что же говорить о работодателях, которые не испытывали к нему никаких чувств? Он долго искал работу и, как правило, нигде не задерживался. Одно время он работал помощником литейщика в мастерской неподалеку от дома, потом токарем на заводе Рено, но состояние здоровья уже не позволяло ему выполнять сколь-либо тяжелую физическую работу. Галина подрабатывала на обувной фабрике, потом в бакалейной лавке… Отчуждение – страшная болезнь эмиграции – всей тяжестью навалилось на него. Махно привык быть в центре внимания, более того, решать все на свой страх и риск, ставить, если необходимо, на карту свою жизнь и жизнь товарищей. Но здесь, в «городе света», никому, кроме нескольких русских друзей, в общем-то, не было до него никакого дела. То же самое происходило со многими революционерами-анархистами, которые волею судьбы вынуждены были покинуть родину. Один из них, Василий Заяц, 1 октября 1926 года застрелился от безысходности прямо в комнате Махно. Жизнь в Париже, поначалу казавшаяся Махно избавлением от всех мучений, связанных с унизительными последствиями Гражданской войны, которые неизбежно, как

морок, преследовали его и в Румынии и в Польше, неожиданно обернулась для него совсем непредвиденной стороной: он попросту никому не был нужен. А если вдруг и оказывался в центре внимания, то совсем не по желаемому им поводу.

Одной из неприятных неожиданностей, стоивших Махно много нервов, стало убийство Петлюры, совершенное в Париже 25 мая 1926 года Соломоном Шварцбардом, анархистом с Украины, решившим при помощи нескольких револьверных выстрелов отомстить за своих родственников, убитых петлюровцами во время Гражданской войны. Выяснилось, что накануне покушения Шварцбард был у Махно и поведал ему о своем замысле. Махно было принялся отговаривать его, убеждая, что лично Петлюра был против еврейских погромов, однако молодой террорист остался при своем мнении. Суд над Шварцбардом всколыхнул еврейский вопрос, которого, в той или иной степени, не были чужды все участники Гражданской войны в России и на Украине, к какому бы стану они ни принадлежали. По злой иронии судьбы, почувствовав, в какую сторону сдвигается намагниченная стрелка общественного интереса, заштатный писатель Йозеф Кессель – тоже еврей с Украины – быстренько накропал «бездарный и бредовый» роман под названием «Махно и его еврейка». В нем Махно изображен патологически жестоким бандитом, дегенератом и погромщиком, который, внезапно потрясенный красотой еврейской девушки, влюбляется в нее без памяти и, позабыв свой антисемитизм, ведет ее в церковь к венцу, дабы сбылась мечта его жизни: обратить любимую в православие…

Этот «роман» не только был ложью на все сто процентов, но и представлял определенную опасность для Махно. Кто мог поручиться, что в эмигрантском тупике не отыщется какой-нибудь неуравновешенный тип, который, начитавшись подобного чтива, не вздумает оправдать свое существование, расправившись с Махно так же, как Шварцбард с Петлюрой?

Махно, на протяжении всей своей жизни постоянно подвергавшийся самым нелепым обвинениям, счел необходимым публично отвести от себя обвинения в антисемитизме, посвятив этому вопросу статью «Несколько слов о национальном вопросе на Украине» и обращение «К евреям всех стран». Вообще, со временем «выяснение отношений» с противниками и хулителями стало настоящим наваждением для него. Воистину, он вступал в зрелый период эмигрантской жизни, когда старые товарищи расходятся в разные лагеря, а «общественное мнение» питается склоками, сплетнями и пересудами.

По счастью, в этот критический момент один довольно богатый французский анархист дал Махно денег, чтобы он мог

начать работу над своими мемуарами. Он принялся за дело, и в 1927 году первый том (на французском языке) вышел в свет. Однако книга, переполненная незнакомыми, да, пожалуй, и ненужными французскому читателю подробностями, расходилась плохо, так что в результате в деньгах ему было отказано, и два последующие тома, подготовленные к печати в 1929 году, вышли в свет только после его смерти. Несомненно, в этом вина и самого Махно, литературный стиль которого так и не позволил ему выбраться из нагромождения второстепенных деталей и рассказать о главных событиях махновщины (как мы знаем, третий том обрывается описаниями событий ноября 1918 года, когда самое интересное в его повстанческой жизни еще даже не началось). Попытки Иды Метт каким-то образом повлиять на его литературные пристрастия, сконцентрировать и «ускорить» повествование, привели только к тому, что он обиделся и перестал говорить с нею на эти темы. Не могла повлиять на него и Мария Исидоровна Гольдсмит,[31] старая анархистка, сподвижница П. А. Кропоткина.

Ко всему прочему, у сорокалетнего партизана начались серьезные проблемы со здоровьем: раздробленная разрывной пулей лодыжка нестерпимо болела. Видимо, в ноге остались осколки, потому что рана не заживала и гноилась. Операция, на которую он решился в 1928 году, так и не привела к желаемому выздоровлению. Махно отказался от ампутации стопы, но весь остаток жизни был хромым. Сказывались и другие раны. Доктор Люсиль Пеллетье, которая по мере возможности лечила его, позже признавалась, что никогда не видела ничего подобного: его тело все было исполосовано шрамами. Вдобавок, у него вновь обострился туберкулез. Под предлогом изоляции маленькой Люси от больного туберкулезом отца Галина Кузьменко съехала из квартиры в Венсенне. Однако это знаменовало, на самом деле, конец супружеской жизни, в которой Махно мог рассчитывать если не на счастье, то хотя бы на какое-то взаимопонимание и поддержку. Горячо любимая жена, которая еще так недавно участвовала с ним в боях и походах, в эмиграции превратилась в абсолютно чужого человека. «В Париже Галина Кузьменко подрабатывала то в качестве домработницы, то кухарки, считая при этом, что природой ей уготована иная, лучшая участь, – подтверждает в своих воспоминаниях Ида Метт. – В 1926—27 годах она даже написала прошение в адрес Советского посольства, чтобы ей разрешили вернуться в Россию. Насколько мне известно, Москва отвергла ее просьбу. Кажется, после этого она вновь сошлась с Махно. Не думаю, чтобы он простил ей подобный поступок, однако оба они, видимо, поступили так по

причине взаимной моральной опустошенности…» (56, 3).

После того положения, которое занимала Галина Кузьменко, будучи женой батьки в годы Гражданской войны на Украине, быть швеей, уборщицей, кухаркой или прачкой в пансионе для детей русских эмигрантов казалось ей нестерпимым унижением. Она не хотела жить в маленькой комнатке вместе с больным мужем и трехлетней дочерью. В Париже супруги многократно расходились и сходились вновь, но в доме уже не могло быть мира. Отчаяние, вызванное невозможностью вырваться из нищеты и одиночества, находило выход в злобных нападках на мужа, которого Галина упрекала в неспособности прокормить семью, в пьянстве, в мании величия. В конце концов она связалась с просоветски настроенным «Союзом украинских граждан во Франции», стала работать экспедитором газеты этой организации и в 1927-м официально развелась с Махно. Правда, они продолжали видеться, ибо Махно регулярно бывал у жены, чтобы повидать дочь, которую очень любил. «Когда его дочь была маленькой и оставалась под его присмотром, он исполнял любые ее капризы, – вспоминала Ида Метт, – хотя иногда случалось, что, будучи в состоянии нервного расстройства, он бил ее, после чего ужасно переживал от одной мысли о том, что поднял на нее руку. Он мечтал о том, что его дочь станет высокообразованной женщиной. Мне довелось как-то видеть ее после смерти Махно: ей было 17 лет, внешне она очень походила на отца, однако она мало что знала о нем, и я не уверена, что ей вообще хотелось что-либо о нем узнать…» (56, 4).

Был ли Махно пьяницей? Эта тема была козырной картой советской «махнографии» и проскользнула даже в книгу Волина. Ида Метт категорически отрицает это: «В течение трех лет пребывания в Париже я ни разу не видела его пьяным, а виделась я с ним в то время часто. Мне приходилось сопровождать его в качестве переводчика на разных приемах, организовывавшихся в его честь иностранными анархистами. Он пьянел от первой же рюмки, глаза его загорались, прорезалось красноречие, но по-настоящему пьяным я его не видела никогда» (56, 6). Разумеется, будь Махно горьким пьяницей или алкоголиком, он не мог бы не обнаружить этого – такова уж физиология алкоголизма как болезни. Нет, не пьянство добивало Махно в Париже, а растущее с годами социальное изгойство, невостребованность.

От медленного угасания Махно в буквальном смысле слова спас Петр Аршинов, поселившийся в том же доме, где жил Нестор. Вместе они смогли наладить издательство русскоязычного анархического журнала «Дело труда», куда Махно регулярно (едва ли не в каждый номер) писал статьи, что

позволяло ему чувствовать себя все-таки причастным к политической жизни если не эпохи, то, по крайней мере, эмиграции. Перед лицом большевизма, который, несмотря на известные за границей партийные распри и гонения на инакомыслящих, победоносно разворачивался на гигантской политической площадке СССР, анархизм переживал глубочайший кризис. Аршинов взял на себя ревизию ошибок и четкую формулировку основных принципов анархо-коммунизма, исходя из опыта русской революции. Он предложил приверженцам анархизма «платформу», на которую могли бы при желании встать и анархисты-коммунисты, и синдикалисты, и индивидуалисты. «Платформа» подразумевала, что анархизм является революционным учением, которое приводит в движение классовая борьба, средством которой является синдикализм, а целью – освобождение личности. Эта формулировка вызвала целую бурю в международных анархистских кругах. Все эмигрантские анархические издания (прежде всего во Франции и в США) обсуждали ее со страстью, которую могут испытывать лишь революционеры, «отвергнутые» революцией. То, что после Октябрьского переворота анархисты оказались по существу отстраненными от революционных преобразований, явно указывало, что в теории и в практике анархизма нужно что-то решительно менять. Но что? Далеко не все согласились с «платформой» Аршинова. Как это ни странно, одним из главных противников группы «Дело труда» стал Всеволод Волин. Прекрасно владея несколькими иностранными языками, имея несравненно больший, чем Махно и Аршинов, опыт эмигрантской и, в частности, парижской жизни, несравненно больше знакомств в анархических кругах и знаний о проблемах, занимавших в первую очередь европейских анархистов, Волин мечтал выдвинуться в заглавную фигуру, представляющую русский анархизм. Он понимал, чго европейские анархисты не имеют того «пораженческого» комплекса, которым была заражена вся русская революционная эмиграция, и гораздо в большей степени дорожат своими «принципами» и «свободой вероисповедания», чем русские, которых неудачи 1918–1921 годов подталкивали к сплочению. Волин назвал аршиновскую платформу попыткой «обольшевичить анархизм» и стал проповедовать идею «синтеза» всех анархических течений, которую изначально выдвинул Себастьян Фор. «Синтез» отличался от «Платформы» несколько большей расплывчатостью и необязательностью принципов и в этом смысле больше подходил привыкшим к плюрализму мнений европейцам.

27 марта 1927 года состоялось обсуждение проекта

«Платформы» в кинотеатре «Ле Роз»: присутствовали представители анархических организаций России, Польши, Болгарии, Италии и даже Китая. Оповещенная «внутренними информаторами» французская полиция не осталась безучастной и, опасаясь крупного «международного заговора», арестовала всех, кто принимал участие в заседании. Вновь попавший в руки жандармов Махно получил предписание оставить Францию не позднее 16 мая. Только неоднократные обращения французского анархиста Луи Лекуана, известного своей антивоенной деятельностью, к префекту парижской полиции избавили Махно от нового изгнания, которое, вероятно, просто разрушило бы его. Выдворение Махно из Франции было отменено с условием, что последний на три месяца испытательного срока полностью откажется от политической активности и в дальнейшем воздержится от любой политической деятельности, которая могла бы затронуть интересы Франции. Отныне и навсегда Махно, над которым, как дамоклов меч, висела угроза изгнания, вынужден был вариться в эмигрантской среде, переживать и пережевывать былое и не помышлять более о борьбе в настоящем.

Лишь однажды судьба улыбнулась ему: в июле 1927 года на банкете, посвященном освобождению испанских анархистов Аскасо, Дуррути и Ховера, он почувствовал подобие ветерка, долетавшего из Испании. Там определенно назревали революционные события. После банкета Махно зазвал испанских анархистов в свою квартирку и через переводчика, Якова Дубинского, проговорил с ними много часов, рассказывал об опыте своей борьбы и под конец заключил: «У себя в Испании вы обладаете организацией, которой так недоставало нам в России, однако именно организация ведет революцию к глубоким преобразованиям и к победе… Я никогда не отказывался от борьбы – и, как только я увижу, что вы начинаете свою, – я буду с вами» (94, 322).

Увы, этим мечтам не суждено было сбыться! Уже спустя четыре года, когда испанские анархисты вновь обратились к нему с предложением возглавить герилью в Каталонии во время революционного кризиса 1931 года, он не смог ответить согласием: здоровье его было полностью разрушено, и единственное, что он мог сделать и сделал, – это опубликовать две статьи о революционном движении и роли анархистов в Испании в «Деле труда».

До самой смерти ему так и не удалось переломить печальные обстоятельства судьбы политэмигранта. За годы бури и натиска ему приходилось расплачиваться теперь годами иссушающего душу нищего существования, когда, несмотря на свои волевые

качества, он чем дальше, тем в большей степени становился заложником никак не зависящих от него обстоятельств. Стечением таких обстоятельств стал резкий разрыв Махно с Волиным. Дело в том, что в 1927-м советский историк М. Кубанин выпустил в свет несомненно талантливое (и на ту пору в России лучшее) исследование о махновщине (40), в котором, в частности, были приведены слова Волина о махновской контрразведке, которые он произнес за столом следователя ревтрибунала 14-й Красной армии после ареста зимой 1919 года: «Для меня контрразведка была ужасом». Под трибуналом всякий человек, понятно, принимает свою стратегию, которая убергла бы его, по крайней мере, от расстрела – и Махно понимал это. Но его взорвало то, что бывший председатель Реввоенсовета Повстанческой армии, прекрасно осведомленный о всех ее делах, а в эмиграции ставший едва ли не главным «толкователем» махновщины, ни минуты не сомневаясь, «осудил» злоупотребления контрразведки, заверил следователя Вербина, что по этому поводу у него были постоянные конфликты с Махно и Задовым (которого Волин почему-то назвал начальником контрразведки), и вообще, рассказал про контрразведку все, что тому угодно было услышать.

Махно написал в ответ Кубанину одну из важнейших своих работ – «Махновщина и ее вчерашние союзники – большевики», – где, в частности, разобрал и случай Волина, который в конце ноября 1919 года, в сопровождении, кстати, настоящего начальника контрразведки Льва Голика и других верных людей выехал из Екатеринослава в Кривой Рог для организации там анархической конференции, но на пути решил свернуть в село, занятое частями 14-й Красной армии. Голик предупредил Волина о том, что село занято красными и он, несомненно, будет арестован. На что Волин ответил, что у него есть бумага за подписью батьки Махно и его никто не тронет. Таким образом, Волин либо попал в руки красных по собственной глупости, либо сдался добровольно.

Резкий тон отповеди и обвинение в добровольной сдаче красным вынудили Волина, в свою очередь, написать оправдательное «Разъяснение», в котором он старательно отводил от себя обвинения Махно. Этого Махно стерпеть уже не мог и обрушился на Волина переполненной сарказмом статьей «По поводу „разъяснения“ Волина», в которой прямо обвиняет последнего во лжи и криводушии. «Волин с конца августа месяца 1919 г. занял в армии повстанцев махновцев пост председателя Военно-Революционного Совета. Мог ли он не знать, что товарищ Л. Голик (а не Задов. – В. Г.) начальник армейской

контрразведки? В то время… начальник контрразведки равнялся высшему военному командиру, и на всех серьезных совещаниях этих командиров и президиума Реввоенсовета его присутствие было обязательным, и он всегда присутствовал. Каким же это образом могло случиться, что председатель Реввоенсовета армии не знал, кто является начальником армейской контрразведки? Нет, тут что-то неладное творится с Волиным… „Незнание“ его того, что т. Голик был начальником армейской контрразведки, что он, – т. Голик, – был послан мною вместе с Волиным в район Кривого Рога с определенной ответственной задачей и что т. Голик по моему официальному предписанию подобрал несколько человек из лучших контрразведчиков, по желанию самого же Волина, сопровождать его в пути и всюду по району на митингах, – незнание всего этого Волиным теперь, – есть гнуснейшая ложь…» (55, 217–218). «И не из-за личной неприязни, – продолжает Махно, – я отвернулся от Волина… От известного времени, после встречи с ним здесь, за границей, я его просто не считаю товарищем…» (55, 223).

Махно не мог отказаться от подробного разбирательства каждой лжи, высказанной по его поводу, и в этом смысле ссора с Волиным была не просто конфликтом между интеллигентом-«теоретиком» и простолюдином, волею судьбы ставшим во главе повстанческого движения: Махно чувствовал себя единственным уцелевшим защитником правды о повстанчестве, единственным носителем светлой памяти о товарищах – тех, что погибли, и тех, что остались в живых, но так и не были «признаны» революцией и вынуждены были таить от большевиков свою мечту о «вольных советах». В 1927 году в СССР бывшим махновцам вышла амнистия, но это не означало, что они могут открыто исповедовать свои взгляды, – немало их подало заявления в ВКП(б), многие были даже приняты в партию, однако ГПУ пристально следило за всеми, кто когда-то воевал в партизанской армии Махно и через своих сексотов вынуждено было констатировать, что внутренне они так и не расстались со своим прошлым, хотя по видимости смирились и терпеливо работали на советскую власть. Публикации о махновщине, появившиеся за эти годы в СССР, не оставляли никакой надежды на то, что о повстанческом движении будет рассказана правда.

В этом смысле особенно знаменательны «Воспоминания» Виктора Белаша, отрывок из которых был опубликован в 1928 году в харьковском журнале «Летопись революции». «Воспоминания» начальника штаба Повстанческой армии, охватывающие весь период махновщины, были бы поистине бесценным документом… если бы не подозрение, что написать

мемуары Виктору Федоровичу помогли в тюрьме работники ГПУ. Как мы уже писали, на следующий день после совещания 21 июля 1921 года в селе Исаевке под Таганрогом Махно и Белаш расстались. Махно ушел в Бессарабию, а возглавляемая Белашом группа двинулась на Кубань в поисках отряда Маслакова, но, не обнаружив его следов, по-видимому, быстро рассеялась. В сентябре в станице Должанской Виктор Белаш попал в руки Чека. Второе после батьки лицо в Повстанческой армии, оказавшись в руках чекистов, казалось бы, должно было подвергнуться жестким репрессиям, вплоть до расстрела. Однако репрессий таких не воспоследовало. Почему? Очевидно, чекисты решили воспользоваться начальником махновского штаба в других целях. В каких? Как известно, многие анархисты, связанные когда-то с махновским движением (например, Иосиф Тепер, автор книги о Махно), а также махновские командиры, сдавшиеся после 1921 года, выговаривали себе жизнь либо обязательством сотрудничества с ГПУ (как Лев и Даниил Задовы), либо обещанием выдать один из батькиных секретов (Иван Лепетченко, скажем, пообещал чекистам указать, где спрятаны ценности, изъятые махновцами в 1919 году из ломбардов Екатеринослава). Белаш же оказался поистине уникальным информатором. Он не запирался на следствии, а последовательно сдавал старых товарищей. Часть показаний Белаша попала и в книгу Кубанина о махновщине. Видя эту покладистость, чекисты, очевидно, решили использовать его для более масштабного дела. Поскольку попытки выхватить Махно у румын или выманить его из Польши, чтобы судить его как бандита и окончательно втоптать в грязь истории, окончились неудачей, в Москве и Харькове стали готовить заочный процесс, который должен был доказать, что Махно – чистейшей воды уголовник и кровавый бандит. Делом занялась обширная группа следователей, собравшая (во многих случаях – сфабриковавшая) огромное количество сведений, которые должны были подтвердить большевистскую версию роли Махно во время революции и Гражданской войны.

Вот тут-то, пишет Лев Яруцкий в своем исследовании «белых пятен» махновского движения, и пригодился Виктор Белаш, ближайший сподвижник батьки: «Конечно, бывший начальник штаба махновской армии многое знал и многое помнил. Однако его обширнейшие показания-воспоминания (целая объемистая книга) насыщены таким множеством мельчайших подробностей – цифрами, датами, документами, – что не остается сомнений: такой „отчет“ под силу составить только многочисленной группе следователей и бухгалтеров, да и то в результате многомесячной кропотливой работы. Виктор же Белаш, оказавшийся в чекистской

тюрьме весьма покладистым, написал и то, что досконально знал и помнил, и то, что подсказали ему солдаты железного Феликса» (93,128). Отсидев два с половиной года в большевистской тюрьме, Виктор Белаш был без суда отпущен на свободу. По-видимому, уже тогда он был завербован ГПУ и, продолжая пользоваться несомненным авторитетом в среде анархистов восстановленной на Украине федерации «Набат», продолжал выявлять «недобитое и законспирированное».

Страшно и больно писать о том, как бесстрашный партизан и талантливый полководец чернит все, чему служил, и превращается в агента-провокатора: но в тогдашнем СССР иначе сохранить себе жизнь было невозможно. Белаш «заложил» намеченный на июнь—август 1924 года подпольный съезд анархистов Украины, участники которого были заблаговременно арестованы и отправлены в Нарым. Сам он тоже был сослан – но по щадящему принципу – в Ташкент, иначе распознать в нем сексота не составило бы никакого труда. Вернувшись из ссылки в 1926 году, Виктор Федорович продолжил тайную работу по выявлению бывших махновцев. Самой большой его «удачей» было раскрытие замысла антисоветского восстания, которое подготавливали бывший член штаба Повстанческой армии Буданов и Белочуб, доверившиеся старому товарищу и в награду получившие расстрельный приговор. Впрочем, не избежал расстрела и сам Виктор Белаш, несмотря на проделанную им огромную агентурную работу. В 1937 году он, как и все бывшие командиры Революционно-повстанческой армии Махно, был расстрелян. Перед смертью написал обширную исповедь, содержание которой явно говорит о том, что он надеялся на благополучное решение своей судьбы (93, 309). Однако на этот раз перо не спасло его. Свое дело он сделал и больше был не нужен.

* * *

Какое счастье, что Махно не знал о предательствах своих товарищей! Если бы жуткая правда о происходящем в Советской Украине, правда о людях, которых он помнил и любил, стала известной ему, добавилась к семейным неурядицам, разрыву с бывшими соратниками по борьбе, бедности, болезням, он мог бы не выдержать и сломаться гораздо раньше. По счастью, он ничего не знал. Он продолжал вести свою борьбу, по фрагментам прописывая в своих статьях отдельные эпизоды махновщины, надеясь когда-нибудь восстановить всю историю движения «день

за днем». Несомненно, у него не хватало на это ни средств, ни литературного дарования, ни сил, но он упорно работал, регулярно публикуя в «Деле труда» статьи, страстный стиль и содержание которых не оставляли сомнения в том, кем является их автор. Не прочитав их, трудно составить себе верное представление о Несторе Махно. По счастью, стараниями Александра Скирда, главные публикации Махно собраны в одну книгу, в 2004 году вышедшую на русском языке (55). Эти статьи написал не бандит, не политический авантюрист, а революционер, страстный, прямолинейный, так и не научившийся политическому лукавству, столь характерному для послереволюционного времени, так и не взявший, по счастью, в толк, что слово – мягкая материя, – и при желании за словом можно спрятаться и без особого труда изобразить любую картину, в которой только есть нужда и которую подсказывает воображение. Пожалуй, именно это невладение словом обусловило неспособность Махно лгать. Для него слово твердо, не пластично. Он набивает слова в строку, как пули в пулеметную ленту.

В быту он был гораздо мягче. Очень страдал от одиночества, от нехватки общения. Париж двадцатых – тридцатых годов, Париж, в котором жили и работали его враги – Деникин, Врангель, Раковский (послом СССР), Троцкий (в первое время эмиграции), а уж тем более Париж Пиаф, Элюара, Дали, Хемингуэя – оставался совершенно чужд ему. Он посещал эмигрантские сходки, явно страдая от недуга, свойственного большинству выдающихся личностей, не способных вернуться к жизни простого, «повседневного» человека. При этом он совершенно преображался перед широкой аудиторией, и его манера торжественно выражаться, смешная в узком кругу, неожиданно находила отклик среди большой массы слушателей, и он на несколько минут превращался в великого оратора. «Казалось, он бывал обеспокоен, когда о нем переставали говорить, и тогда раздавал интервью журналистам всех мастей, – вспоминает Ида Метт, – отлично осознавая враждебное к нему отношение большинства политических партий и деятелей. Как-то раз его попросил об интервью один украинский журналист, причем при моем посредничестве. Я советовала ему отказаться, предвидя, что журналист все переиначит и что при этом у Махно не будет никакой возможности защитить свои права. Моего совета он, естественно, не принял, и журналист потом напечатал все то, что посчитал нужным для себя, а отнюдь не то, что говорил бывший батька. Махно был вне себя от ярости, однако не думаю, чтоб этот случай его чему-нибудь научил» (56, 5).

Действительно, таким же образом на вечере советских русских в доме 16 на рю де Каде «познакомился» с Махно корреспондент «Огонька» Лев Никулин. Там автор статьи услышал обрывок разговора:

«…– Это, стало быть, когда мы обошли вашу дивизию…

Я обернулся, – пишет Лев Никулин. – Мягкий высокий голос, певучий тенорок. Статный высокий юноша разговаривал с низеньким угловатым человеком. Человек этот одет был так, как одеваются русские за границей, русские, не привыкшие к газовым печам, к завтракам в двенадцать и обедам в семь, к французской кухне и легкому климату. На этом человеке был стандартный готовый костюм из универсального магазина, красненький галстучек и мягкая рубашка с отложным воротником. На руке у него было стандартное непромокаемое пальтецо и мягкая фетровая шляпа в руке. Усы у человека были подстрижены как полагается, как любят французские парикмахеры. И все же за двадцать шагов вы безошибочно угадывали русского. Глубокий шрам от рта до уха пересекал угловатое лицо. Шрам от удара саблей или плетью. Человек этот явно хромал. У него были бегающие, внимательные, колючие глаза…

Этот человек был Нестор Иванович Махно» (93, 307).

Несмотря на все старания «удержаться на плаву», жизнь Махно в Париже складывалась все тяжелее. Он переменил несколько работ – одно время был плотником на киностудии, но в конце концов зарабатывал вместе с Аршиновым плетением женской веревочной обуви. Разумеется, эта работа приносила ему гроши, но в конце концов и она перестала кормить его, когда некий производитель обуви выбросил на рынок дешевые туфли машинного плетения, которые мгновенно вытеснили продукцию русских ремесленников.

Французские анархисты создали комитет помощи Махно и в газете «Le Libertaire» объявили сбор средств в поддержку своего товарища, и эта мера даже оказалась действенной—во всяком случае, весь 1929 год Махно еженедельно получал небольшую сумму, достаточную для скромной жизни. Однако в 1930 году в редакции еженедельника произошли изменения: «антиплатформисты» взяли верх над «платформистами», а поскольку Махно был ярым сторонником «платформы», газета сняла с себя обязательство собирать средства в его пользу, напечатав лишь адрес, по которому желающие могли перечислить деньги. Объявление было опубликовано в газете неоднократно, но после отказа от централизованного сбора пожертвований финансовое положение Махно катастрофически ухудшилось. Но материальные невзгоды не шли ни в какое сравнение с теми

моральными ударами, которые ждали его в ближайшем будущем.

В 1931 году Петр Аршинов выпустил книгу «Анархизм и диктатура пролетариата», в которой открыто исповедовался в признании правоты большевиков. Он поверил, что сила – это правота. Так случалось не только с ним. Оппоненты Аршинова обвинили его в сотрудничестве с ГПУ и прямой провокационной работе в анархистском движении. Запахло отвратительнейшей склокой и жуткими подозрениями, что весь круг «Дела труда» распропагандирован Лубянкой. Аршинов, верный Аршинов, старый друг, уехал в СССР!

Для Махно отъезд Петра Андреевича был страшным ударом. Мало того, что теперь он остался совершенно один. И даже хуже, чем один, – ибо подозрения, павшие на Аршинова, коснулись и его. Но если бы речь шла только о подозрениях, о провокации, о злом навете! Нет. Теперь Махно на собственной шкуре почувствовал, что такое предательство. Не только его самого, не только идеи, но и всего прошлого. Погибших товарищей, сожженных деревень, растерзанного Гуляй-Поля, всех тех лет неравной борьбы, что вели они так долго бок о бок. Как мог он понять Аршинова, который всего за несколько месяцев до своего отъезда писал разоблачительные статьи о сталинско-большевистском режиме? Да, после поражения «платформы» Аршинов стал белой вороной в анархистских кругах. Да, жена его устала от эмигрантской жизни и грозила забрать сына и уехать в СССР. Наконец, его выслали из Франции – и, возможно, именно эта высылка переполнила чашу его терпения. Но Махно, остававшийся один на один с обстоятельствами во много раз более тяжкими, не мог понять этого.

Когда-то Аршинов в Бутырской тюрьме сидел вместе с Серго Орджоникидзе – и в трудную минуту воспользовался старой дружбой, чтобы вернуться в СССР, вырваться из круга отверженных, спасти себя, сохранить семью… Он ставил на карту все. Среди старых товарищей-анархистов имя его было проклято. По выбранному пути нужно было идти до конца. Он попробовал. В 1935 году в «Известиях» появилась очередная его статья – «Крах анархизма» – но в те годы, когда Сталин ломал хребты «ленинской гвардии», своих старых товарищей по партии, полководцев, стяжавших победу в Гражданской войне, подобное самоотречение уже ничего не значило. Как и все раскаявшиеся «попутчики», Аршинов был расстрелян в 1937-м. В том же году, не желая быть причисленным к пособникам Сталина, застрелился его друг Серго.

Но предательством Аршинова не исчерпался круг страшных утрат Махно. В самом конце 1932 года покончила с собой Мария

Гольдсмит. Теперь в огромном Париже Махно буквально «осиротел»: никто не мог ни вступиться за него, ни поддержать, кроме нескольких болгарских анархистов и эмигрантов с Украины, связанных с махновщиной. Единственная газета, которая продолжала его печатать, была американская анархическая газета «Рассвет» (Орган русских рабочих США и Канады). Здесь в 1932-м Махно удалось опубликовать «Азбуку анархиста-революционера». Лишенный элементарных условий существования, больной человек, которого недоброжелатели называли за глаза «живым трупом», находит в себе силы, чтобы написать: «Опытом практической борьбы я подкреплял убеждение, что анархизм – учитель жизни человека, – он революционен так же, как жизнь человека, так же разнообразен и могу*1*! в своих проявлениях: ибо анархизм есть свободная творческая жизнь человека» (55, 122). Почему же легально идея анархизма нигде не живет? Да потому, пишет Махно, «что в данный период развития человеческой жизни общество в человеческом смысле не живет своей жизнью, а живет жизнью своего слуги и господина – государства. Даже более того, – общество совсем обезличилось. Его нет в действительности. Все функции его, все сознание и функции в области общественных дел перешло в ведение государства. Последнее и считается теперь обществом. Группа людей, выползшая на шее всего человечества и искусно создавшая „законы“ жизни этого последнего, является теперь человеческим обществом. Человек в одиночку в своей многомиллионной массе – ничто по сравнению с этой группой бездельников, носящей имя правителей и хозяев, эксплуататоров и насильников» (55, 126). Что же делать человеку массы, все функции которого присвоило себе государство? «Бунтуй, восставай, угнетенный брат! Восставай против всякой власти! Разрушай власть буржуазии и не допускай к жизни власти социалистов и большевиков-коммунистов. Разрушай всякую власть и гони от себя ее выразителей, ибо среди них нет твоих друзей!» (55, 128).

Да уж, бунтарь Махно оставался бунтарем до конца. Слишком, увы, скорого.

Бедность, плохое питание, курение, отверженность и одиночество сделали свое дело: обычное заболевание гриппом открыло путь застарелой чахотке, которая как хозяйка ворвалась в его истерзанные легкие. На этот раз обострение было слишком серьезным, чтобы Махно мог просто «отлежаться». 16 марта 1934 года Махно положили в бедняцкий госпиталь Тенон. Парижские анархисты очнулись, вновь создали «комитет Махно» для сбора средств при газете «Le Libertaire», но было слишком поздно. В

июле врачи сделали Махно операцию, удалив два пораженных туберкулезом ребра. Однако и эта мера была запоздалой. Смерть неумолимо шла за ним, и единственное, что можно было еще сделать, – это отсрочить конец. Его поместили под кислородный полог. Бывшая жена, пришедшая навестить Нестора Ивановича, увидела слезы, беззвучно катящиеся из его глаз. В ночь с 24 на 25 июля 1934-го Махно не стало. Среди бумаг покойного Галина Кузьменко обнаружила текст последней статьи Махно «Над свежей могилой Н. А. Рогдаева», посвященной памяти несгибаемого русского анархиста, умершего в ссылке в Средней Азии. Ее Махно закончил еще до болезни, в январе 1934-го, но не сумел переправить в Америку из-за того, что у него не было денег даже на почтовую марку.

Для Махно Рогдаев был не просто легендарным пропагандистом анархизма эпохи первой русской революции, когда он целые южнорусские губернии с губернскими городами «излечивал» от социал-демократии и эсерства и «перекрещивал» в анархизм. Рогдаеву Махно обязан был лично.[32]

Но, может быть, больше, чем за прежние заслуги, он ценил погибшего в ссылке анархиста за то, что тот не сломался, не предал, не изменил своим убеждениям в этот проклятый век измен… Ибо на кого еще было равняться ему, оказавшемуся в кромешном одиночестве? Если не осталось живых – оставалось на мертвых… Неожиданно сильной вышла эта предсмертная статья… К несчастью для историков, в руках бывшей жены Махно и Волина – который после смерти Махно и предательства Аршинова становился главным «интерпретатором» махновщины, – оказались не только эта рукопись, но и дневник, который Махно вел в Париже. По-видимому, многие записи в нем свидетельствовали и против Галины Кузьменко, и против Всеволода Волина – во всяком случае, «дневник Махно» исчез навсегда.

Жизни этих двоих были и дальше тесно связаны – по упорно ходившим слухам, Волин стал гражданским мужем «матушки Галины». После немецкого вторжения во Францию он бежал в неоккупированный Марсель, где издал по-французски книгу «Неизвестная революция» – свою версию истории махновщины, лишь недавно переведенную на русский язык. Жил в нищете, скрывался от немцев, в сентябре 1945 года, как и Махно, умер от туберкулеза в Париже. Еще более драматично сложилась жизнь Галины Кузьменко. В годы войны немцы вывезли ее дочь Елену на работу в Берлин, она поехала следом, и они пережили сначала англоамериканские бомбежки, потом штурм города советскими войсками, а в августе 1945 года были арестованы «органами».

Галина Андреевна, как вдова «заклятого врага Советской власти», получила восемь лет лагерей, Елена Несторовна – пять лет ссылки. Они оказались в Казахстане, где провели долгие годы в нелегком труде и тщетном ожидании снятия «вражеского» клейма. Мать умерла в 1978 году, дочь дожила до официальной реабилитации в 1989-м. Но было уже поздно – жизнь прошла…

* * *

После кремации прах Махно был захоронен на кладбище Пер-Лашез рядом со «стеной коммунаров» в ячейке № 6686. Позднее ячейку украсили медным барельефом, на котором изображен Махно во френче. Имя написано латинскими буквами. Годы жизни. Букетик оставленных кем-то цветов.

Без проводника найти захоронение Махно в том огромном и даже роскошном городе мертвых, которым является кладбище Пер-Лашез, очень трудно. Я сам убедился в этом, оказавшись в Париже осенью 1997 года. Ночью прошел дождь и сбил наземь множество листьев вековых платанов, растущих вдоль кладбищенских аллей. Несколько негров с воздуходувными машинами, похожими на большие пылесосы, закрепленные на спине, наподобие рюкзака, сдували палую листву с главного проспекта. Я проходил мимо великолепных надгробий наполеоновских маршалов, писателей, масонов, спиритов, памятников ополченцам 1870 года, фамильных склепов и скромных могил великих писателей. В какой-то момент задача – найти захоронение Махно – показалась мне невыполнимой, но дух батьки определенно реял надо мною, ибо в минуты отчаяния перед моими глазами на внутренней стене кладбища возникала одна и та же триада имен, написанных, как мантра, при помощи спрея: Jim Morrison. Oscar Wilde forever. И Viva Nestor Makhno! Они не забыты – великий рок-музыкант, великий писатель-романтик и великий революционер, хотя к ним приходят совсем по разным надобностям совершенно разные люди, говорящие на разных языках…

ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНОЕ СЛОВО

На этом я заканчиваю свое повествование. Возможно, точку нужно было поставить еще раньше – ибо уже Днестром обрезается История и начинаются частные судьбы и события жизни людей, которые были когда-то вовлечены в исторический вихрь и, словно поднятые ветром песчинки, придали ему тяжесть и всесокрушающую силу. Потом ураган утих, и уцелевшие с удивлением обнаружили себя в разных местах Земли – частными лицами с повседневными и несвойственными им прежде заботами. Уходя в Румынию, Махно думал, что вернется назад, – и не смог. Не смог возвратиться в историю. Река Сугаклея все так же текла из вечности в вечность, но это уже была не та река, что вчера. Жар крестьянской войны на Украине и в России дотлевал долго – и в 1922 и в 1923 годах еще чекисты отлавливали по селам и в днепровских плавнях недобитых бандитов, но это не имело уже, собственно, отношения к махновщине, которая сравнима, если использовать геологические аналогии, с грандиозным тектоническим сдвигом, с извержением вулкана.

Я не уверен, что когда-либо можно будет до конца понять смысл революционных событий, происшедших в России, тем более что на наше восприятие прошлого накладываются смысловые фильтры наших дней. Я надеюсь лишь, что эта книга поможет осознать читателю огромность случившегося. Это был грандиозный выброс неуправляемой энергии, копившейся десятилетия, сжатой, слепо ищущей выхода в недрах старого жизнеустройства царской России, которое из далека времени представляется подчас даже идиллическим. Не знаю, стоит ли в очередной раз судить об этом. Сейчас я хочу сосредоточиться и обозначить только одно: масштаб явления.

Можно взять карту и, развернув ее перед собой, попытаться обозреть охваченные махновским движением страны. Я говорю «страны», ибо здесь – Танаис, самый дальний край эллинистической цивилизации, от которой до нашего времени сохранились в Приазовье греческие села и, одновременно, край Русской земли, Дикое Поле; на днепровских порогах убит печенегами князь Святослав; здесь южный отрог Орды и северный удел турецкого султана – Крым, – и дикая ногайская степь, против которой все на тех же порогах Днепра встанет твердыня Запорожской Сечи; отсюда будут ходить на Турцию и Крым вольные казаки, окрестьянившиеся потомки которых развернут над головами черное знамя в битве за землю и волю; здесь – Таврия, гренадерские полки князя Потемкина, фаворита

Екатерины II, новая колония Российской империи, куда, по указам императрицы, двинутся с тощих прибалтийских песков Пруссии и Мекленбурга на жирные степные черноземы немцы-колонисты, не подозревающие, что их потомкам уготована гибель в огне российской смуты; здесь – обманом уничтоженная казацкая вольность, губернское правление – первые оковы имперской власти, аракчеевские военные поселения и ключом бьющая жизнь селянства, Сорочинская ярмарка и Миргород Гоголя, Умань, где снами о былой славе жили потомки польских воевод; южнорусские степи под Курском и Орлом, тургеневский Бежин луг, краснокирпичные, железные города XIX столетия – Луганск и Юзовка, евреи-торговцы, азовские рыбаки, контрабандисты – все было здесь, на этой земле. Шестьсот километров с севера на юг, столько же с запада на восток – вот территория, по которой три года гулял смерч махновщины. Сколько тысяч людей сгубили в этом вихре головы свои? Мы не знаем, ибо ни одна революция не ведет точный счет своим жертвам.

Одно чувство неуклонно овладевало мной во время работы – чувство невероятной боли и ужаса перед тем, что произошло. Ужас – перед тою огромной, непомерной энергией разрушения и зла войны, болезней, беженства, одичания, против которой бессилен один человек в кротком достоинстве своем, пред которой один – ничто, подножная слякоть. Боль – за то, что сделала революция с великой страной, что сделала она с людьми, погубив одних, а в души других заронив семена растления, предательства, страха и лжи, которые взошли не сразу, но все-таки взошли, когда Сталин потребовал, чтобы запущенный механизм ненависти отработал свое до конца.

После такого опоя кровью, как Гражданская война, – десятилетия бы длилось похмелье, прежде чем страна окончательно пришла бы в себя. А тут – новый разгул подлости, доносительства, потом коллективизация, репрессии, война – и новая репрессивная волна – и так далее, вплоть до мелкотравчатого вранья дней сегодняшних. Сердце сжимается: как же до сих пор мы живы? Да вот так и живы: ведь не только люди лучшие выбиты, но и чувства хорошие повытоптаны, дух народа отравлен какой-то заразой, унижен и ожесточен!

В 1930 году М. Пришвин записал в дневник сущую, по тем временам, крамолу: «Я, когда думаю теперь о кулаках, о титанической силе их жизненного гения, то Большевик представляется мне не больше, чем мой „Мишка“ (игрушка) с пружинкой сознания в голове… Все они даровитые люди и единственные организаторы прежнего производства, которыми до сих пор… мы живем в значительной степени. Все эти люди,

достигая своего, не знали счета рабочим часам своего дня…» (64, 165).

«Кулаки» 1930 года – это либо дети тех, кто участвовал в последней крестьянской войне, либо непосредственно молодые ее участники.

Их «ликвидировали как класс».

Уничтожили интеллигенцию.

Уничтожили тех военачальников, которые стяжали большевикам победу. Уничтожили почти поголовно всех, кто обладал хоть каким-то достоинством, хоть какой-то индивидуальностью.

Во что это обошлось, мы начинаем понимать только теперь, хотя и не знаем еще, где конец распаду и разложению и во что, в результате, начавшееся в 1917-м встанет нам. И если для Есенина «страна негодяев» – любимая его Россия, увидевшаяся ему после Америки, была всего лишь минутным кошмаром и поэтической метафорой, то мы, возможно, вскоре окажемся гражданами этой страны. Если только давно не являемся ими.

Ужас не в том, что большевики победили. Ужас в том, что они превратили революцию из стихийного поиска правды в какую-то инквизицию, наплодив людей, необходимых для такого дела, промотав весь нравственный капитал, накопленный русскими революционерами от Софьи Перовской и Веры Фигнер до Льва Мартова и Александра Богданова, бывшего члена большевистского ЦК, отступившегося от политики, от власти и погибшего в результате опыта по переливанию крови. Если под революцией подразумевать то, что, подобно Кропоткину, стал подразумевать в конце своей революционной карьеры Исаак Штейнберг (член ЦК левых эсеров) – чистый, свободный поступок, нравственное преображение, то большевики поступки заменили ритуалом, а веру – ее имитацией.

К сожалению, закончив книгу, я убедился, что весьма мало приблизился к разгадке главной тайны революции – почему победили большевики. Только сплоченностью их, только жестокостью, только принципиальной беспринципностью это объяснить невозможно. Равно как и бесчисленными ошибками их врагов. Равно как и германскими миллионами.

Эта книга – о стихийном сопротивлении большевизму. Оно было неистовым. Оно было массовым. Но если бы мы увидели только эту сторону революции, получилась бы лживая картина. Была и массовая поддержка большевиков. Они действительно смогли подмять под себя, загипнотизировать большую часть городских рабочих. За ними пошла значительная часть интеллигенции. Более того – военные. Им удалось расколоть,

расслоить по волоскам и поджечь даже такой непонятный, чуждый для них материал, как крестьянство. Как? Почему? Непонятно.

Есть несколько соображений на этот счет. Первое связано с мистикой тоталитарных режимов, с притягательностью тоталитаризма. Большевики пропустили страну через зверские испытания. На первое место обычно ставят террор. Но, наверно, вернее будет поставить на первое место голод. Разруху. Тиф. Общий результат: многолетний страх смерти. Ко всему этому большевики причастны непосредственно, но со временем все бедствия войвы стали восприниматься как стихийные силы, а большевики – как организующее начало, как избавители от голода и эпидемий, ужасов войны.

Вновь невольно вспоминается Великий Инквизитор Достоевского: «Кончится тем, что понесут свою свободу к ногам нашим и скажут: „Лучше поработите нас, но накормите нас…“ Они будут дивиться на нас и будут считать нас за богов за то, что мы, став во главе их, согласились быть свободными и над ними господствовать – так ужасно им станет под конец быть свободными!»

В словах Великого Инквизитора заключено пророчество несказанной глубины: правда о невыносимости свободы. О том, что для большинства людей она – непосильное бремя. Чтобы выносить его, нужна большая духовная сила. Махно пытался ставить на силу человека – и проиграл. А большевики ставили на слабость – выиграли. Здесь мы подходим к другой теме, гораздо более широкой, – теме общего кризиса современной культуры. Большевизм XX века – одно из самых ярких проявлений этого кризиса. Весьма показательно то, что, начавшись как движение за освобождение трудящихся, революционное движение в России в конце концов породило партию большевиков, которая установила один из самых удивительных по несвободе режимов и утвердила миропонимание, полностью противоположное мятежному, романтическому духу революционеров добольшевистской эры. Более того – она их физически истребила. В этом заключена какая-то мистика.

Удивительно, что «просвещенная» интеллигенция все-таки легче приняла большевизм, чем «темное» крестьянство. Впрочем, если поразмыслить, удивительного тут ничего нет: интеллигенция более всех других классов зависит от власти, крестьянство же наиболее независимо от нее. Поэтому оно дольше всего и сопротивлялось ей: дико, слепо, жестоко.

Интеллигенция тоже сопротивлялась. И в белом движении, и среди оставшихся в красном стане было немало л юдей, которые

не замарали своей чести и, в общем-то, ни минуты не обманывались. Но если бы значительная часть интеллигенции не поддержала режим большевистской диктатуры, она бы не устояла, несмотря на всю свою свирепость. Поддержав большевиков, интеллигенция обрекла себя на уничтожение. В этом – тоже мистика.

Чтобы уместить все это в голове, понять все это, нужно, наверно, написать еще одну книгу – «Оправдание большевизма». Какая-то правда за большевиками была. По крайней мере, правда Великого Инквизитора.

Может показаться странным, что я ни слова не сказал о национальной специфике махновщины. Дело в том, что это в значительной мере надуманный вопрос, по крайней мере, в том смысле, в каком ставится он в наши дни, когда национальные чувства носят болезненно-обостренный характер и сериями лепятся национальные герои.

Никаких националистических или сепаратистских лозунгов махновщина никогда не выдвигала. Более того, она открыто противостояла всем трем режимам, которые в том или ином виде представляли независимую украинскую государственность: Центральной раде, правительству гетмана Скоропадского, петлюровской Директории. Она – вне национальной проблематики. Она не противостоит России. Она подчиняется макроритмам русской революции. В ней – не разность, а общность судеб России и Украины.

Махновщина вообще интернациональна. В Повстанческой армии было много евреев, много и русских. Были греки. Был отбившийся от красных эстонский военный оркестр. Были даже немцы, хотя (единственный национальный «пунктик») антинемецкие настроения были довольно сильны среди партизан. Сказались оккупация и неосознанная зависть крестьян по отношению к немцам-колонистам.

Теперь, когда мы проговорили все это, самое время сказать о национальной специфике махновского движения. Ибо она все-таки была. Она заключалась в невозможности для левобережного селянства, в жилах которого текла кровь запорожцев, принять чуждую для себя и жестокую власть, в невозможности примириться с ней. Любовь к вольности, неприятие бюрократической государственности – вот что так долго питало махновщину. В блокноте у Фрунзе есть любопытная запись о том, что в 1920 году в частях Южного фронта, воевавших на Украине, украинцев было всего 9 %. Фрунзе объясняет это несовершенством мобилизационного аппарата. Это объяснение удобное, но поверхностное. Потому что в 1919 году мобилизации

были объявлены, но провалились. В то же время мобилизации Махно и в 1919-м, и в 1920-м проходили успешно, хотя Повстанческая армия всегда страдала от различного рода нехваток. Тут и есть «специфика»: революция на Украине началась с крестьянского восстания против оккупантов, началась как партизанская борьба, предводителями в которой были крестьяне, считавшие себя анархистами, большевиков было мало. Большевики захотели эту стихию себе подчинить – у них ничего не вышло. На Украине почти вся энергия революции ушла сначала в повстанчество, а потом – в бандитизм. Бандитизм стал формой участия народа в Гражданской войне. Естественно, взвесить и учесть эту форму – невозможно. Поддавались учету только те 9 % мобилизованных, которые были уловлены большевиками. Остальные оказались частью среди петлюровцев, частью – у Махно. Вот такая национальная специфика. К слову сказать, когда в 1921 году от Фрунзе категорически потребовали покончить с Махно, ему было поручено сформировать для борьбы с ним украинские партизанские отряды, потому что к исходу Гражданской войны какое-то раздражение против русских, являвшихся то в виде белых, то в виде красных, у украинских крестьян все-таки возникло. И чтобы этого момента не усугублять, потребовалось создать национальные карательные формирования. Чтобы быть до конца честными, скажем, что создать украинские партизанские отряды Фрунзе удалось. Но не они сыграли в разгроме Махно решающую роль.

Нельзя не признать очевидного и более глубокого, тайного трагизма судьбы Махно. Очевидный трагизм лежит на поверхности: он хотел служить революции – ему не дали; он мечтал быть народным вождем, а в результате превратился в ужасающую фигуру действительно уже на любое злодеяние отчаявшегося бандита. Он много сделал для разгрома белых и ждал признания революционных заслуг своих, он тоже хотел ходить в усах, как Буденный, – а его запихали в разбойники, записали в злейшие, смертельные враги.

И он стал врагом. Беспощадным. Расчетливым. Смертельным.

Его развело с большевиками, по сути, нечто совсем эфемерное: чувство собственного достоинства. Он не хотел быть безропотным исполнителем чужой воли, не хотел быть козлом отпущения. Только поэтому он был обречен, как Эдип, – идти от одного страшного разочарования к другому. Время от времени он начинал надеяться, что ему удастся договориться с большевиками – так было зимой 1919 года, уже после объявленной ему летом анафемы, так было даже в 1920-м, хотя его дважды уже объявляли вне закона. Он не мог поверить, что махновщина и большевизм

принципиально нестыкуемы, ибо первая, хоть и в упрощенном виде, представляет анархистский принцип спонтанной самоорганизации общества, а другой воплощает принципы тоталитаризма и, следовательно, беспрекословного подчинения масс – вождям, всех государственных структур – партии, а партии – идее. Одной. Он хотел служить революции, но не мог служить революции большевистской, как хотели, но не смогли его командиры, его войска. Они были слишком независимы, слишком свободны, они не могли вписаться в систему большевистской инквизиции, ибо были еретики. Сама махновщина – крестьянская ересь в революции, воспользовавшаяся для выражения своего кредо языком еретического же (во все времена и во всех ипостасях) учения – анархизма. Как всякая ересь, махновщина была обречена навлечь на себя гнев сильных мира сего. Но только как ересь она и интересна.

И не тремя книжками неоконченных мемуаров оправдан Махно перед историей. Он вошел в нее как еретик; его оправдание, его слово, его завет – в беспощадной и бескомпромиссной битве. С белыми. С красными. В непокорстве. В сопротивлении до конца, вопреки логике и здравому смыслу. Это дано не многим: противоречить, когда другие уже смирились, драться, когда другие опасливо пригибаются, продираться к смертельной свободе безудержно и слепо, как рыба, идущая на нерест в верховья реки…

Если бы Махно в 1919 году влился – чего, собственно, и ждали от него – в ряды большевистской армии, то сегодня в глазах потомков он был бы одним из длинного ряда красных командиров, которые, будучи лично храбрыми и отважными людьми, стали, в лучшем случае, лишь добросовестными исполнителями чужой воли. Но он споткнулся в своем упрямом непокорстве – и вынужден был начать собственную борьбу. Которую проиграл.

Или выиграл?

Судить трудно – но, во всяком случае, имя его не вписано в общий унылый список. Оно стоит особняком. Оно будоражит умы. Вероятно, Махно был совсем другим, нежели мы думаем о нем, нагружая его образ своими смыслами. В некотором смысле слова, любой исторический герой – это литературный персонаж. Махно это касается в огромной степени. И возможно, все было не так, как здесь рассказано. И вполне может статься, что гениальный партизан, «комбриг батько-Махно» на самом деле прожил не свою жизнь, по молодости и по глупости подхватив ношу, которую бросило ему время, и что на самом деле был он мирным селянином, тихим вечером возвращающимся домой с ярмарки…

Здесь – возможная тайная трагедия Махно.

Он мечтал вернуться на родину, но не мог – по злой иронии судьбы имя его было включено в список самых злейших врагов Советской власти вместе с именами гетмана Скоропадского, Петлюры, генералов Врангеля и Кутепова (называю лишь тех, с кем ему приходилось непосредственно бороться). Он вовеки не подлежал амнистии.

Девять лет Махно просидел в тюрьме за юношеский террористический акт. Четыре года вел войну. Тринадцать лет влачил скудную жизнь эмигранта. Смысл всей его жизни придала война, вернее последние два ее года, когда он бился один против всех – и стяжал в этой битве железную стойкость несмирившегося бойца. Может быть, потом он даже сожалел об этом. Но такие награды невозможно отдать назад.

И перед потомками он оправдан своею бескомпромиссной битвой, своей драгоценной стойкостью. В Париже бывший командир Повстанческой армии в нищете и забвении дал свой последний бой, спасая себя, своих товарищей и идею народной свободы от лжи и грязных наветов. Через два года после смерти Махно черное знамя анархии подхватили анархисты Испании. И хотя это была все та же история – история борьбы человека за свою свободу, – Махно уже не имел к ней отношения. Или имел? Чьими именами вдохновлялись испанские повстанцы? И почему латиноамериканские guerrileros до сих пор воздают хвалу Нестору Махно на стенах кладбища Пер-Лашез?

Анархизм, оказавшись в центре внимания этой книги, ставит нас перед проблемой свободы. По крайней мере, в том виде, в котором она существовала в первой трети прошлого века. Может показаться, что битва за свободу проиграна. Найдется предостаточно аргументов в пользу того, что мы движемся к полностью несвободному обществу, где тотальное управление людьми будет осуществляться с помощью денег, внушенных страхов и смыслов, навязанных рекламой и пропагандой.

И тем не менее проблема свободы возникает вновь.

Она возникает, несмотря ни на что.

И это оставляет нам надежду. Сейчас я говорю уже не об анархической свободе и вообще не о политической свободе, а о свободе, как о величайшей загадке, стоящей и перед каждым из нас в отдельности и перед всем человечеством. Окажется ли каждый из нас способен так сражаться за свою свободу, как сражался когда-то Махно? Хотелось бы верить.

По-моему, символично, что в кружках «анархистов-мистиков», действовавших в 1920-е годы при музее П. А. Кропоткина в Москве (а в 1930-е – подпольно, в связи с арестом

руководителей), был молодой анархист из Гуляй-Поля, учитель Игорь Брешков.

Каким-то образом батькина «воля» отозвалась в душе его односельчанина поисками духовной свободы. Руководители кружков А. А. Солонович и Н. И. Преферансов считали, что революция бессмысленна без духовного преображения человека. «Мистики» были связаны с древней эзотерической традицией мистических орденов Европы, изучали восточную мудрость, вопросы искусства… Против них ополчились анархисты-практики, в том числе и аршиновское «Дело труда». Но вдова Кропоткина, Софья Григорьевна, и старая народоволка Вера Фигнер признали в них продолжателей дела князя-бунтовщика. Они понимали, что дело отнюдь не в «мистицизме». Вера Николаевна Фигнер просидела в Шлиссельбурге двадцать лет и знала, о чем идет речь: дух ищет свободы. А она знала, что такое свобода после двадцати лет заточения! После двадцати лет окружающего ее отчаяния, попыток самоубийства, самосожжений, сумасшествий – она знала, что в конечном счете важным является только одно: свобода внутренняя, над которой не властны даже стены тюрьмы, – а не то, кем человек числит себя и с какою яростью клеймит противников… Она понимала, как понимали и руководители кружка, что большинство его участников при существующем режиме обречены. Об этом предупреждали всех вступающих. Она понимала, что ее, как реликт русской революции, не посмеют тронуть, и до поры прикрывала своим авторитетом крохотный островок свободомыслия… Она понимала также и то, что многие молодые люди, собирающиеся в помещении кропоткинского музея, не выдержат удара власти. Кто-то погибнет. Кто-то совершит предательство. Но кто-то достигнет успокоения человека, приговоренного к свободе. У свободы нет других путей от рождества Христова.

И есть высшая свобода – чистота сердца и мир его. И есть семь господств гнева: тьма, вожделение, лукавство плоти, яростная мудрость… И последняя всего опаснее, ибо сказано:

> Мир вам! Мир мой,
> Приобретайте его себе! Берегитесь, как бы
> Кто-нибудь не ввел вас в заблуждение, говоря:
> «Вот сюда!» или «Вот туда!»
> Ибо Сын человека
> внутри вас. Следуйте
> за ним! Кто ищет его,
> найдут его… (20, 325).

Читателю может показаться, что мы отошли слишком далеко от темы: Махно и мистический анархизм как будто никак не связаны. Сам он понять нового «интеллигентного» течения, конечно, не мог бы и, вероятно, испытал бы смутную враждебность к его приверженцам. Но существует Игорь Брешков, 1913 года рождения, которого детские воспоминания о черных знаменах махновщины привели на конспиративные квартиры последних анархистов в Москве. Он не был близок руководителям кружка и не входил в круг посвященных; легенды, которые многовековая традиция мистических орденов требовала передавать только изустно, – не были поведаны ему. Но вольнослушателю кружка Брешкову все же вменялось в вину слушание «стихов анархического содержания» поэта М. Волошина – значит, стихи, по крайней мере, он слышал? И, следовательно, живым, неосквернённым воздухом дышал?

Значит, дышал.

Нет, Брешков не повинен в том, что он остался всего лишь начинающим учеником свободы. В первый раз он был арестован в 1932 году, вторично – в 1936-м. На следствии давал сдержанные показания, но, в общем, держался неплохо. Отсидел свой срок. Работал по реабилитации библиотекарем. Сын его не зарядился от отца энергией бунта против закабаленное™, которая одних толкает на мятеж, а других – на великое подвижничество. В нем, следовательно, магнетизм махновщины иссяк. Но он обнаруживается вдруг в других людях, вступивших на тропы свободы, ибо бунт против несправедливости – первая и необходимая ступень в борьбе за нее.

Мне не хотелось бы делать никаких окончательных выводов. Революция – слишком страшная драма, чтобы успокоиться наклеиванием ярлыков на ее участников. Россия страшно наказана за вступление в «господство гнева» и попустительство «яростной мудрости». Гнев стал ее болезнью, гневом она разрушает и подтачивает себя. Если она не преодолеет внутреннего озлобления, она погибнет. Для этого нужна и переоценка прошлого. Я просил бы моих дорогих читателей, дошедших до конца этой книги, отыскать еще замечательные очерки Сент-Экзюпери, посвященные гражданской войне в Испании, которая в 1936-м, как Россия в 1917-м, жаждала преображения:

«Сами того не зная, мы ищем новые заповеди, которые оказались бы выше всех наших временных, предварительных заповедей… Мы идем на войну друг против друга по направлению одной и той же земли обетованной… Мы идем к грозовому Синаю…» (88, 40–44).

Очень хочется верить, что это действительно так, и грозовой Синай – новый смысл, который был бы выше всех частных, разделяющих человечество смыслов, – в конце концов после мучительных поисков будет все-таки найден нами.

ОСНОВНЫЕ ДАТЫ ЖИЗНИ И ДЕЯТЕЛЬНОСТИ Н. И. МАХНО

1888, 26 октября – в селе Гуляй-Поле в семье кучера Ивана Родионовича Михненко (Михно) и его жены Евдокии Матвеевны родился пятый ребенок – сын Нестор.

1889, 15 сентября – смерть отца.

1895 – чтобы помочь семье, Нестор начинает работать пастухом. 1897– закончив два класса земской школы, нанимается в батраки. 1903 – начало работы на чугунолитейном заводе М. Кернера в Гуляй-Поле.

1906, август – вступление в анархистскую организацию «Союз бедных хлеборобов».

5 сентября – участие в ограблении купца И. Брука «для дела революции».

1907, сентябрь – арестован по подозрению в участии в экспроприациях и хранении оружия, освобожден через четыре месяца по недостатку улик.

1908, 25 августа – новый арест за соучастие в убийстве пристава.

1910, 22 марта – приговорен Екатеринославским военно-окружным судом к смертной казни, замененной на пожизненную каторгу.

1911, 2 августа – переведен для отбытия каторжного срока в Бутырскую тюрьму в Москве, где провел шесть лет.

1917, 2 марта – освобожден из тюрьмы Февральской революцией. 22 марта – вернулся в Гуляй-Поле.

29 марта – избран председателем Гуляй-Польского крестьянского союза.

Май – брак с Анастасией Васецкой (до 1918 года). Август – избран председателем Гуляй-Польского волостного совета.

25 сентября – подписал декрет совета о разделе помещичьей земли между крестьянами.

Декабрь – участвует в работе губернского съезда Советов в Екатеринославе.

1918, март – оккупация Украины немецкими войсками.

Апрель – Махно создает партизанский отряд для борьбы против оккупантов.

29 апреля – участие в анархистской конференции в Таганроге, куда отряд Махно отступил под натиском интервентов. Май – решив получше разобраться в революции, Махно посещает Царицын, Саратов, Астрахань.

Июнь – поездка в Москву, встреча с П. А. Кропоткиным, беседы с В. И. Лениным и Я. М. Свердловым.

21 июля – возвращение в Гуляй-Поле с поддельным паспортом, выданным большевиками.

Сентябрь – возглавил партизанский отряд в Александровском уезде Екатеринославской губернии.

1 октября – бой в селе Дибривки, в ночь перед которым повстанцы объявили Махно своим «батькой». Октябрь—ноябрь – бои отряда Махно против австро-германских войск и гетманской полиции.

27 ноября – занял Гуляй-Поле, сделав его своей столицей.

29 декабря – совместно с большевистским ревкомом и его дружиной занял Екатеринослав (ныне Днепропетровск), вошел в состав губернского В РК.

31 декабря – после поражения от петлюровцев оставил Екатеринослав и вернулся в Гуляй-Поле.

1919, январь – создание повстанческого фронта против наступающей на Украину Добровольческой армии белых.

21 февраля – Махно назначен командиром 3-й бригады 1-й Заднепровской дивизии Красной армии.

Март – гражданский брак с Галиной Кузьменко.

15 марта – взятие махновцами Бердянска.

27 марта – взятие Мариуполя, за которое Махно был удостоен ордена Боевого Красного Знамени под номером 4.

29 апреля – визит в Гуляй-Поле командующего Украинским фронтом В. А. Антонова-Овсеенко и его встреча с Махно.

7 мая – встреча с прибывшими в Гуляй-Поле Л. Б. Каменевым и К. Е. Ворошиловым.

8 мая – мятеж комдива Н.А. Григорьева, после которого большевистские власти начинают газетную травлю махновцев.

4 июня – приказом Л. Д. Троцкого Махно объявлен вне закона.

9 июня – отправляет телеграммы большевистским руководителям, сообщая об отказе от должности комдива.

11 июня – ушел за Днепр с партизанским отрядом.

27 июля – Махно и его помощник Чубенко застрелили атамана Григорьева во время переговоров.

14 августа – мятеж 58-й дивизии Красной армии и ее переход к махновцам. Формирование повстанческой армии.

12 сентября – начало деникинского наступления на армию Махно.

26 сентября – сражение под Уманью. Прорыв Махно из окружения и разгром им деникинского тыла.

27 октября – на съезде Советов в Александровске (ныне

Запорожье) Махно объявил о создании в тылу деникинских войск «вольных советов».

2 ноября – махновские части вновь заняли Екатеринослав. 21–24 декабря – взятие белыми Екатеринослава.

1920, 1 января – дружеская встреча повстанцев Махно с Красной армией.

9 января – Махно вновь объявлен вне закона командованием Красной армии. Разоружение основных сил махновцев и уход самого Махно с его штабом в район Гуляй-Поля. 26 февраля – на митинге в селе Святодуховка Махно призывает к беспощадной борьбе с большевиками.

Май—август – рейды махновцев в Екатеринославе кую, Полтавскую и Харьковскую губернии с целью срыва земельной политики большевиков.

29 августа – ранен в ногу в бою у города Изюм, почти месяц лечился в лазарете города Старобельска.

2 октября – второе соглашение с большевиками о совместных действиях против Русской армии П. А. Врангеля. Начало переговоров об интеграции «вольных советов» в систему большевистской власти.

Октябрь-ноябрь – активное участие махновцев в разгроме Врангеля и занятии Крыма.

7—8 ноября – переход махновцев и Красной армии через Сиваш, взятие укреплений белых на Перекопском перешейке и Литовском полуострове.

14 ноября – решение ЦК КП(б)У о ликвидации отрядов Махно.

26 ноября – вероломное нападение красных на Гуляй-Поле и штаб Махно. Арест политической делегации махновцев в Харькове. Разгром Крымского корпуса Махно.

14 декабря – бой под Андреевкой и прорыв махновцев из окружения.

1921, 3 января – махновцами убит командир 14-й кавалерийской дивизии красных А. Я. Пархоменко.

Январь – рейд махновцев в Курскую и Белгородскую губернии. 10 февраля – мятеж комбрига Первой конной Г. С. Маслакова, присоединившегося к отрядам Махно.

20 марта – после очередного ранения скрывается в немецкой колонии у села Заливного. Временное прекращение военных действий.

27 июня – разгром махновцев в бою под Недригайловом.

21 июля – военный совет в селе Исаевка, после которого Махно с частью отряда решил пробиваться к границе.

28 августа – Махно с отрядом в 77 сабель уходит в Румынию.

1922, 12 апреля – Махно с женой и частью соратников перебирается в Польшу и попадает в Щелковский лагерь интернированных. Август – польские власти заключают Махно и его жену в тюрьму. 30 августа – в тюрьме родилась дочь Махно Елена Михненко.

27 ноября – решением суда оправдан, отправлен на поселение в город Торунь.

1923– выход в Берлине книги П. Аршинова «История махновского движения».

1924, 14 апреля – выслан польскими властями в вольный город Данциг. Ноябрь – заключен в тюрьму за действия против немецких колонистов в годы Гражданской войны. Из-за болезни переведен в госпиталь, откуда бежал.

Декабрь – нелегально переходит границу с Германией в компании двух немецких анархистов.

1925, апрель – переезд Махно к семье в Париж.

1927– издана книга «Великая русская революция на Украине» – первый том воспоминаний Махно.

1929 – заканчивает две книги воспоминаний, доведенные до конца 1918 года и опубликованные посмертно.

1934, 25 июля – умер в парижском госпитале Тенон.

28 июля – урна с прахом Махно замурована в стену колумбария на кладбище Пер-Лашез.

КРАТКАЯ БИБЛИОГРАФИЯ

1. Антонов-Овсеенко В. А. Записки о Гражданской войне. Т. 3–4. М.; Л., 1933.

2. Аршинов П. А. История махновского движения. Берлин, 1923.

3. Аскольдов С. А. Религиозный смысл русской революции. В кн.: Вехи. Из глубины. М., 1991.

4. Ашахманов П. Махно и его тактика: (К годовщине гибели петроградской бригады) // Военное знание. 1921. № 18.

5. Бек А. А. Такова должность. М., 1973.

6. Белаш В. Ф. Махновщина // Летопись революции. Т. X. 1928. № 3.

7. Белая Россия: Сб. материалов. № 1. Нью-Йорк, 1931.

8. Белоусов В. В. Воспоминания. Архив автора.

9. Валентинов А. А. Крымская эпопея: Архив русской революции. Т. 5. М., 1991.

10. Вересаев В. В. В тупике: Воспоминания об истории создания романа // Огонек. 1988. № 30. С. 30.

11. Волков С. Е. Банда Махно в Курской губернии. Курск, 1929.

12. Волковинский В. Н. Махно и его крах. М., 1991.

13. «Вольный Бердянск». Газета. Бердянск, 1919.

14. «Вся земля – народу в собственность». Брошюра. Государственный архив Российской Федерации. Ф. 355. Оп. 1. Д. 26.

15. Герасименко Н. В. Батько Махно: Мемуары белогвардейца. М., 1990.

16. Городской вестник. Самара, 1918.

17. Деникин А. И. Очерки русской смуты. Т. V. Берлин, 1926.

18. Дубинский И. В. В строю червонных казаков // Новый мир. 1959. № 2.

19. Дубровский З., Кузнецов Е. История одного забытого имени (О Полонском) // Индустриальное Запорожье. 1988. 10 июля.

20. Евангелие от Марии. В кн.: Апокрифы древних христиан. М., 1989.

21. Егоров А. И. Разгром Деникина. М., 1931.

22. Есаулов П. Налет Махно на Бердянск // Летопись революции. 1924. № 34.

23. Зозуля Е.Д. Мелочь. В кн.: Зозуля Е. Д. Собр. соч. М.; Л., 1928.

24. Ефимов Н. А. Действия против Махно с января 1920 по

январь 1921. В кн.: Сборник трудов военно-научного общества при Военной академии. Кн.1. М., 1921.

25. Иванов В. Пархоменко: Роман. М., 1951.

26. Игренев Г. Екатеринославские воспоминания. В кн.: Революция и Гражданская война в воспоминаниях белогвардейцев. Гражданская война на Украине. М.; Л., 1925.

27. Из боевой деятельности тов. Тимошенко в годы Гражданской войны // Красный архив. 1941. № 1. С. 101.

28. Известия Временного рабоче-крестьянского правительства Украины. Харьков, 1919.

29. Информационные материалы для иностранной печати о ходе земельной реформы. ГАРФ. Ф. 355. Оп. 1. Д. 35.

30. Келли А. Самоцензура и русская интеллигенция 1905–1914 гг. // Вопросы философии. 1990. № 10.

31. Кин Д. Крестьянство и Гражданская война // На аграрном фронте. 1925. № 11–12.

32. Кларов Ю. Побочный сын анархизма // Советская Россия. 1987. 24 мая.

33. Коломнин С. Загадки ордена Красного Знамени // On-line Альманах «Марс». 2006. № 4.

34. Комин В. В. Нестор Махно: мифы и реальность. М., 1990.

35. Конивец Г. 1919 год в Екатеринославе и Александровске // Летопись революции. Вып. X. 1924. № 4.

36. Корк А. И. Взятие перекопско-юшуньсккх позиций войсками 6-й армии в ноябре 1920 г. В кн.: Этапы большого пути. М., 1962.

37. Кривошеее А. Воспоминания о XIII армии. В кн.: Гражданская война. Сборник. М., 1923.

38. Кропоткин П. А. Нужно ли нам заняться рассмотрением идеалов будущего строя? В кн.: Утопический социализм в России. М., 1985.

39. Кропоткин П. А. Нравственные начала анархизма. В кн.: Этика. М., 1991.

40. Кубанин М. Махновщина. Л., 1927.

41. Кузьменко Г. А. Дневник: 40 дней в Гуляй-Поле. М., 1991.

42. Кузьменко Г. А. Письмо гуляйпольскому краеведу: ксерокопия. Архив автора.

43. Кутяков И. С. Три эпизода. В кн.: М. В. Фрунзе: Воспоминания друзей и соратников. М., 1965.

44. Лебедь Д Итоги и уроки трех лет анархомахновщины. Харьков, 1921.

45. Ленин В. И. Биографическая хроника. М., 1974.

46. Ленин В. И. Полное собрание сочинений. М., 1958–1965.

47. Лихаревский Е. Андреевский конфуз // Армия и

революция. Т. X. 1921. № 34.

48. Маркс К, Энгельс Ф. Собрание сочинений. М., 1960.

49. Маслаков Г. С. Биографическая справка РГВА по запросу автора от 24.3.1992 № 203и. Архив автора.

50 Махно Н. И. Мятежная юность. Париж, 2006.

51. Махно Н. И. Великая русская революция на Украине. Париж, 1929.

52. Махно Н. И. Письмо П.А.Кропоткину. ГАРФ. Ф. 1129. Оп. 2. Д. 1710.

53. Махно Н И. Под ударами контрреволюции. Париж, 1936.

54. Махно Н. И. Украинская революция. Париж, 1937.

55. Махно Н. И. На чужбине. (Сборник статей с предисловием А. Скирда). Париж, 2004.

56 Метт И. Воспоминания о Несторе Махно // Официальный сайт Нестора Ивановича Махно www.makhno.ru.

57 Мишин И. А. Письмо и расшифровка беседы. Архив автора.

58. Никитин А. Л. Последние итоги анархического движения в России // Вопросы философии. 1991. № 8.

59. Никулин Л. В. Гибель махновщины // Знамя. 1941. № 3.

60. Новополин Г. Махно и гуляйпольская группа анархистов // Каторга и ссылка. 1927. № 5 (кн. 30).

61. Орлов Е. П. Воспоминания: Расшифровка беседы. Архив автора.

62. Ортега-и-Гасет Х. Восстание масс // Вопросы философии. 1989. № 3.

63. Особое мнение членов комиссии по пересмотру проекта земельного положения (при Деникине). ГАРФ. Ф. 355. Оп. 1. Д. 30.

64. Пришвин М. М. Дневники. М., 1991.

65. Протокол заседаний съезда фронтовиков, советов и продотделов, состоявшегося 12 февраля 1919 г. Гуляй-Поле, 1919.

66. Равич-Черкасский М. Махно и махновщина. Екатеринослав, 1920.

67. Рапопорт А., Алексеев Ю. Измена Родине. Очерки по истории Красной Армии. Лондон, 1988.

68. Свобода России. М., 1918.

69. Семанов С Н. Махновщина и ее крах // Вопросы истории. 1966. № 9.

70. Слащев Я. А. Операции белых против Махно и Петлюры // Военный вестник. 1922. № 9—12.

71. Соболев М. Н. Записка в Особое совещание главнокомандующего ВСЮР по поводу Земельной реформы. ГАРФ. Ф. 355. Оп. 1. Д. 29.

72. Спиридонова М. Открытое письмо центральному

комитету партии большевиков // Горизонт. 1990. № 5.

73. Стингл М. Индейцы без томагавков. М., 1984.

74. Сухогорская Н. Воспоминания о махновщине. В кн.: Кандальный звон. Одесса, 1927.

75. Тепер И. Махно. Киев, 1924.

76. Толстой А. Хождение по мукам: Роман. В кн.: Толстой А. Н. Собр. соч. в 10 т. Т. 6. М., 1959.

77. Троцкий Л. Д. Что означает переход Махно на сторону советской власти? М., 1920.

78. Фонд 4-й армии Южного фронта. РГВА. Ф. 182.

79. Фонд 6-й армии Южного фронта. РГВА. Ф. 189.

80. Фонд 7-й Владимирской стрелковой дивизии. РГВА. Ф. 39688.

81. Франк С Л. Смысл жизни // Вопросы философии. 1990. № 6.

82. Фрунзе М. В. Личный архив. РГВА. Ф. 32392.

83. Приказы М. В. Фрунзе. В кн.: М. В. Фрунзе на фронтах Гражданской войны. М., 1941.

84. Фрунзе М. В. Приказ от 15.11.1920 г. В кн.: Избранные произведения. М., 1951.

85. Черномордик С. Махно и махновщина: Анархисты за «работой». М., 1933.

86. Штейнберг И. З. Нравственный лик революции. Берлин, 1923.

87. Эйдеман Р. Пятая годовщина одного урока // Война и революция. 1926. Кн. 12.

88. Экзюпери А. Художественная публицистика. М., 1986.

89. Экспедиция Каменева для продвижения продгрузов к Москве // Пролетарская революция. 1925. № 6.

90. Эсбах Э. Последние дни махновщины на Украине // Война и революция. 1926. Кн. 12.

91. Яковлев Я. А. Русский анархизм в великой русской революции. Харьков, 1921.

92. Яланский В. И. Расшифровка беседы. Архив автора. 93 Яруцкий Л. Махно и махновцы. Мариуполь, 1995.

94. Skirda A. Nestor Makhno. Paris, 1982.

95. Voline V. La revolution inconnue. Paris, 1969.

Далее перечислены издания, вышедшие после публикации в 1997 году первого варианта данной книги и не включенные в общую библиографию во избежание путаницы в справочном аппарате.

Веллер М. И. Махно. М., 2007.

Волин В. М. Неизвестная революция, 1917–1921. М., 2005. Махно Н. Я. Азбука анархиста. М., 2005. Махно Н. И.

Воспоминания. М., 1996. Мосияш С. Одиссея батьки Махно. М., 2002.

Нестор Махно. Крестьянское движение на Украине. 1918–1921. Документы и материалы. Под ред. В.Данилова и Т. Шанина. М., 2006.

Савченко В. А. Махно. Харьков, 2002.

Семанов С. И. Махно. Подлинная история. М., 2001.

Семанов С Н. Нестор Махно: Вожак анархистов. М., 2005.

Скирда А. Нестор Махно, казак свободы. Париж, 2005.

Телицын В. Нестор Махно: Историческая хроника. Смоленск, 1998.

Чоп В. Н. Нестор Иванович Махно. Запорожье, 1998.

Шубин А. В. Анархия – мать порядка. Между красными и белыми. М., 2005.

Шубин А. В. Махно и махновское движение. М., 1998. Шумов С, Андреев А. Махновщина. М., 2005.

Яланский В., Веревка Л. Нестор \ Галина: розповщають фотокартки. Киев, 1999.

notes

Примечания

1

Командующий Балтфлотом адмирал А. М. Щастный был вызван из Петрограда в Москву и здесь неожиданно приговорен только что созданным Верховным революционным трибуналом Советской республики к смертной казни за контрреволюционное намерение захватить власть. Настоящих улик против него не было. Тем не менее приговор был приведен в исполнение. Это был первый смертный приговор ревтрибунала, в свое время вызвавший бурные, хотя и безрезультатные протесты демократических кругов.

2

Все цитаты приводятся с сохранением орфографии и пунктуации оригиналов, без исправления грамматических ошибок и опечаток. В скобках приводятся номер источника по списку, страница или дата.

3

В украинском языке слово «батько» является ласково-почтительным обращением к отцу, а в другом своем смысле значит – военачальник, командир. Накладываясь друг на друга, эти смыслы составляют единство, которое по-русски передается лишь несколько устаревшей аналогией – «отец-командир». Вот почему, даже будучи красным комбригом, Махно неизменно продолжал подписывать приказы – «комбриг батько Махно».

4

Ныне принято написание Гуляйполе. С 1938 года этот населенный пункт является городом, центром Гуляйпольского района Запорожской области Украины.

5

Малый рост Махно – общее место для всех, кто пишет о нем. Однако очень трудно узнать, какого роста он был на самом деле. Сведения об этом сохранились только в архиве Александровской уездной тюрьмы, где его рост определили в 2 аршина и 4 вершка, то есть 160 сантиметров. Это больше тех 150–155 сантиметров, о которых обычно упоминают историки, и вполне сравнимо с ростом Ленина (165 см) и Сталина (163 см).

6

Стихи цитируются по книге внучатого племянника Махно Виктора Яланского и журналиста Ларисы Веревки «Нестор і Галина: розповідають фотокартки» (Киев, 1999). В этом издании история Махно и его семьи воссоздается с помощью рассказов родственников батьки и его земляков – жителей Гуляй-Поля.

7

Метт (Гильман) Ида (1901, Сморгонь, Белоруссия—1973, Париж) – активистка революционного анархо-синдикалистского движения. Родители, евреи-торговцы, дали ей возможность получить медицинское образование. Подвергшись аресту по обвинению в подрывной деятельности, она в конечном счете смогла выехать из России. После двухлетнего пребывания в Польше она в 1926 году приезжает в Париж. Здесь знакомится с П. Аршиновым, В. Волиным и Н. Лазаревичем, позже ставшим ее мужем. Группа издает газету «Дело труда», в которой сотрудничал Н. Махно. В 1928 году Ида и Николай порывают с группой и издают газету «Профсоюзное освобождение», однако в ноябре их высылают за пределы Франции. Живут и работают в Бельгии, Испании, с 1936-го – снова во Франции. В 1940 году супругов арестовывают немцы. Ида с сыном в течение года содержатся в лагере Риекро, затем, благодаря вмешательству Бориса Суварина, их переводят на юг Франции, в департамент Вар под полицейский надзор. С 1948 года Ида работала врачом, позднее – переводчицей. Автор ряда произведений, в том числе книги «Кронштадтская коммуна».

8

Нет никакого сомнения, что «основания» отыскать было можно. Много позднее, при напоминании об экспроприированном у горожан белье, Маруся покрывалась стыдливым румянцем. Гораздо интереснее другое совпадение: во время взятия Елисаветграда предводительница отряда черногвардейцев заприметила в толпе симпатичного мальчика и, подозвав, подарила ему леденец из какой-то ближайшей лавки. Этим мальчиком был будущий поэт Арсений Тарковский, который сам рассказывал об этом эпизоде Евгении Александровне Таратуте, от которой я и узнал о нем. События Гражданской войны, «бандитов сумасшедшие обрезы» совершенно явственно проступают в стихотворении А. Тарковского «Веши».

9

Державная варта (государственная охрана) – созданные режимом гетмана Скоропадского полицейские формирования. После прихода к власти петлюровской Директории заменены народной милицией.

10

Газета «Час пик». СПб. 14 октября 1991 года.

11

В Добровеличковке училась в женской духовной семинарии «матушка Галина». И в дальнейшем на Правобережье отряд шел по местам, ей хорошо знакомым, что дает повод историкам говорить об усилении ее влияния в армии.

12

Из-за отсутствия источника (Краткая история 1-го офицерского Симферопольского полка. Лос-Анджелес, 1963) в наших библиотеках цитата дана в обратном переводе с французского по книге: Skirda Л. Nestor Makhno. Paris, 1982.

13

Позднее другой член левоэсеровского ЦК И. З. Штейнберг в книге «Нравственный лик революции» (БерлинД923) перечислил все наиболее вопиющие случаи революционного самосуда в 1917–1918 годах: расправу над флотскими офицерами в Финляндии и Севастополе, убийство матросами в больнице двух бывших министров Временного правительства Кокошкина и Шингарева, расправы стремящихся с фронта домой солдат над железнодорожными служащими и потрясающие своей жестокостью самосуды толпы над уголовниками. Штейнберг подчеркивал, что эти вспышки гнева были бессистемны, спорадичны – хотя и признавал ответственность своей партии за «великий грех революции», грех насилия, которому левые эсеры не сразу и не в должной мере воспротивились, из-за чего нравственный капитал нескольких поколений русских революционеров был в одночасье промотан большевиками, превратившими террор в систему.

Фельштинский Ю. Г. Большевики и левые эсеры. На пути к однопартийной диктатуре. Париж, 1985.

15

Большевики, а вслед за ними и советские историки с неизменным успехом «ловят» махновцев на том, что мобилизация была обязательная, а не добровольная. Это противопоставление формально: Украина была вся охвачена восстанием, и мобилизация действительно осуществлялась добровольно.

16

Известен как автор мемуаров «1919 год в Екатеринославе и Александровске» (35).

17

Напомню, что так называется есенинская поэма 1923 года, герой которой – бунтарь и бандит с легко узнаваемым именем Номах – сталкивается в поединке с комиссаром по фамилии Чекистов.

18

Арон Барон – анархист «с подросткового возраста». Был сослан в Сибирь, бежал в США, редактировал анархистскую газету в Чикаго. В России – с 1917 года, член Киевского совета депутатов, член секретариата «Набата». Не раз арестовывался ЧК. Его жену Фаню расстреляли в 1921 году вместе с Львом Черным. Сам А. Барон был казнен в 1937 году.

Благодаря этому красноармейские документы часто звучат на два голоса. На обороте разведывательной телеграммы, наклеенной на какой-то документ таврической казенной палаты, вдруг можно прочесть, например: «1913 года декабря 19 дня, я, податный инспектор 1-го уч. Мелитопольского уезда, проводил ревизию документов, находящихся в мануфактурной торговле Моисея и Анны Ароновичей Глухберг…» (78, оп. 3, д. 439, л. 60). При этом отчет написан каллиграфическим почерком, от которого веет скукой и безмятежным покоем. Так случайно накладываются друг на друга два ритма, два разных времени.

То есть сторонников мягкой линии, сотрудничества с большевиками. К 1920 году большинство членов этого крыла левоэсеровской партии были уже полностью «обольшевичены» и часто просто были «двойными агентами» в революционном движении.

21

Успеху ночного прорыва 21 октября способствовало то, что за несколько дней до этого махновцы обнаружили среди противостоящих им врангелевских частей «бригаду имени батько Махно», в свое время созданную белыми в ознаменование союза с крестьянством. После расстрела командира бригады Володина, заподозренного в симпатиях к большевикам, махновцам не составило большого труда распропагандировать нового комбрига Никиту Чалого – также бывшего партизана. Накануне красного выступления «бригада имени батько Махно» арестовала приставленных офицеров и предоставила махновцам схему дислокации частей Дроздовской дивизии. Более того, Чалый пропустил через фронт и вывел в тыл дроздовцам кавалерию Марченко и смешанную артиллерийско-пулеметную группу Петренко. Как всегда, махновцы действовали здесь чисто партизанскими методами. Но весьма сомнительно, что регулярные войска, действуя по всем правилам тактики, добились бы большего успеха.

22

Численность крымского корпуса махновцев вызывает споры. А. И. Корк называет минимальную цифру – 1700 человек при 191 пулемете («пулеметный полк» Фомы Кожина). Стремление преуменьшить участие махновцев в разгроме Врангеля понятно, особенно в 1930-е годы, когда вышли воспоминания Корка. Советские историки, обвиняя Махно в том, что он послал на фронт совсем небольшой отряд, сосредоточив главные силы в Гуляй-Поле, просто повторяют известное место из приказа Фрунзе о разоружении корпуса Каретникова. Однако сегодня мы должны отдавать себе трезвый отчет, что это была ложь: с Махно в Гуляй-Поле было лишь 300 человек, новые части находились в стадии формирования, на фронт были посланы лучшие части. В сборнике военной академии «Гражданская война», появившемся в 1930 году под редакцией С. Каменева, А. Бубнова и Р. Эйдемана (т. 3, с. 510–540), силы корпуса махновцев определяются в 5–6 тысяч человек. В другой академической работе двадцатых годов говорится о 5 тысячах человек. Это больше похоже на правду. И в самом деле, если придерживаться той точки зрения, что Фрунзе в ночь на 6 ноября приказал ничем не подкрепленному отряду кавалерии в 1700 человек ворваться в Крым (а в случае неуспеха – выдать место предполагаемого главного удара), то ничего не остается, как считать этот заведомо невыполнимый приказ или провокацией, или поистине непростительной глупостью.

23

Забавно, что в советской историографии главным крымским героем стал командарм Первой конной С. М. Буденный, которому, в действительности, принадлежала в значительной степени театральная роль триумфатора. Буденный стал стаскивать к себе перекопскую славу, когда большинства его соратников по Крыму уже не было в живых: командарм Второй конной Миронов был расстрелян в 1921 году, командующий Южфронтом Фрунзе скончался в 1925-м после неудачной полостной операции, в 1937-м были репрессированы командарм—6 Корк и командарм—13 Уборевич, в 1938-м – командарм—4 Лазаревич, комкор—3 Каширин и комдив—51 Блюхер. Попытка воздвигнуть себе памятник на трупах товарищей кажется просто личностной патологией. Однако попьггка удалась – на нее работала сталинская историческая наука, стереотипы которой живут чуть ли не по сегодняшний день.

Среди попавших в плен были: разведчики – Васюк Мефодий, Илюсенко Иван, Николаенко Иван, Колмаков Егор, Шульков Петр, Мара Степан, Пилипенко Сергей, Маначински Антон, Марченко Андрей, Гак Фока, Порода Иван, Васин Василий; пулеметчики – Багиевский Григорий, Шевченко Федор; рядовой Марченко Илья; конюхи – Сниридов Иван, Прокопенко Кирилл, Прощенко Андрей, Мухин Трофим; зав. эвакогоспиталем Ромашек Фома; подводчики – Крахман Петр и Петр Петренко; вольный – Митник Абрам и разведчик Колтако (78, оп. 3, д. 589, л. 9).

25

Любопытно, что неудачу уничтожения махновских войск в Крыму советские историки объясняют крайней усталостью частей после наступления – как будто махновцы не разделяли общих невзгод похода! Это не помешало им, однако, выйти из Крыма за два дня, почти без потерь, действуя на удивление собранно. Значит, дело в другом. После разгрома Врангеля красноармейцы действительно не знали, зачем им дальше воевать. Казенные харчи, табак и обмундирование были явно недостаточными стимулами для продолжения войны. Солдаты перестали ощущать личную причастность к событиям, «революционный дух» поддерживался взвинченностью митингов и экзекуций. Психологически для махновцев ситуация была совсем другая: они мгновенно поняли, что «комиссары» их предали, а значит, предано все крестьянское дело и их задача – быстро и без потерь прорваться обратно к батьке, чтобы решить, кого и в какой последовательности бить.

26

Сразу после объявления вне закона махновцев обвинили, например, в грабеже Симферополя, хотя непосредственно в город корпус Каретникова даже не входил. Последующие фантазии неисчислимы. Обратим внимание на тонкую фальшивку А. И. Корка. В своей работе «Взятие перекопско-юшуньских позиций…» командарм—6 говорит о потерях своей армии в ходе операции. Они на удивление невелики – 650 убитых и 4500 раненых (еще одно косвенное свидетельство в пользу того, что расстрелянных после окончания операции в Красной армии было больше, чем убитых во время боев). Примечательно, что в графе «потери» против отдельно вычлененного «корпуса Каретникова» значится лживая отметка: «не выяснены» (35, 452). Хотя Август Иванович прекрасно знал, как обстояли дела в действительности…

В действительности больше. Даже если строго следовать признаваемой советскими исследователями статистике и считать 2 /з от 133 тысяч красноармейцев Южфронта, получится 88 тысяч человек.

28

Второй приступ болезни случился у него в конце марта в последний перед отъездом день очередной командировки в Москву, когда стало ясно, что встреча с любимым вождем снова не состоится. Вообще, хотя это лишь частное мое предположение, похоже, что цель – вернуть себе расположение Ленина – определяла в это время все поведение Фрунзе. Он кропотливо и усердно решал какие-то наваленные на него хозяйственные задачи, занимался хлебозаготовками, добычей соли, транспортом. Но за всем этим стояла еще одна козырная возможность заставить Ленина повернуться к себе: «подарить» ему Махно.

29

В своей монографии (12) В. Волковинский утверждает, что Махно никогда не вспоминал о встрече с Фрунзе и, следовательно, возглавлял отряд кто-то другой. Но в то время банда не была распылена, Махно шел с основной группой. Да и Кутяков, наверное, был не слепой.

30

См.: Спектор М., Коротеев Н. В логове Махно. Повесть. Альманах «Подвиг», приложение к журналу «Сельская молодежь». Т. 5. М., 1969.

31

Гольдсмит Мария Исидоровна(1858–1932) – доктор естественных наук, профессор Сорбонны, последовательница Кропоткина; с 1887 года в эмиграции во Франции. В 1903–1914 годах одна из организаторов и постоянных авторов анархистских печатных органов «К оружию», «Грузия», «Хлеб и воля»; руководитель «группы русских анархистов-коммунистов в Париже», член секретариата Федерации русских групп анархистов-коммунистов за границей; после отъезда в 1917 году П. А. Кропоткина в Россию хранила его личный архив, занималась издательской деятельностью, собирала материалы по истории анархизма.

32

Приведем отрывок из статьи: «Как известно, в 1920 году Ульянов-Ленин, будучи хорошим личным другом „дяди Вани“ (псевдоним Рогдаева. – В. Г.) еще по эмиграции, вызвал его к себе в Москву, в Кремль, и предложил ему, как знающему европейские языки, видный пост при штабе главнокомандующего на Западном фронте. Одновременно просил его, „дядю Ваню“, посетить штаб Махно и уговорить самого Махно подчиниться „советской“ власти. Тогда Рогдаев ответил Ленину: „С вашего, Владимир, согласия ведомо: советская власть под водительством руководимой вами партии разгромила все анархические организации; и это мне, старому революционеру-анархисту, не дает права принять предлагаемый вами пост. Что же касается уговаривания Махно, то это совсем невозможно. Вы все сделали, чтобы Махно выступил против творимого советской властью произвола над тем трудовым населением, которое создало революционное повстанчество и признало Махно своим вождем“. На эту тему Ленин много говорил с „дядей Ваней“, но ни к чему не договорился…» (55, 155).